МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОГО ДЕТЕКТИВА



Джон Ле КАРРЕ

ВОЙНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Шпион, вернувшийся с холода. Война в Зазеркалье. В одном немецком городке

Джон Ле Карре

Аннотация
Джон Ле Карре
ШПИОН, ВЕРНУВШИЙСЯ С ХОЛОДА
Глава 1. Контрольно-пропускной пункт
Глава 2. Цирк
Глава 3. Падение
Глава 4. Лиз
Глава 5. Кредит
Глава 6. Контакт
Глава 7. Кифер
Глава 8. Мираж
Глава 9. Второй день
Глава 10. Третий день
Глава 11. Друзья Алека
Глава 12. Восток
Глава 13. Скрепки и сорта бумаги
Глава 14. Письмо к клиенту
Глава 15. Приглашение на бал
Глава 16. Арест
Глава 17. Мундт

Глава 18. Фидлер
Глава 19. Партийное собрание
Глава 20. Трибунал
Глава 21. Свидетель
Глава 22. Председатель трибунала
Глава 23. Признание
Глава 24. Комиссар
Глава 25. Стена
Глава 26. С холода
ВОЙНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Предисловие
Часть первая. МИССИЯ ЭЙВЕРЛИ
Глава 1
Часть вторая. МИССИЯ ЭЙВЕРЛИ
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Часть третья. МИССИЯ ЛЕЙЗЕРА
Глава 10
Глава 11
Глава 12

Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ
Пролог. ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ И ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ
1. МЕДОУЗ И КОРК
2. «...ПО ТЕЛЕФОНУ БЫЛО СЛЫШНО, КАК ОНИ ВОПЯТ»
3. АЛАН ТЕРНЕР
4. В ТЕ ДЕКАБРИ ВОЗОБНОВЛЯЛСЯ ДОГОВОР
5. ДЖОН ГОНТ
6. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ ПОМНИТ
7. ДЕ ЛИЛЛ
8. ДЖЕННИ ПАРДЖИТЕР
9. РОКОВОЙ ЧЕТВЕРГ
10. «KULTUR» У БРЭДФИЛДОВ
11. КЁНИГСВИНТЕР
12. «И ТАМ БЫЛ ЛЕО. В БУФЕТЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

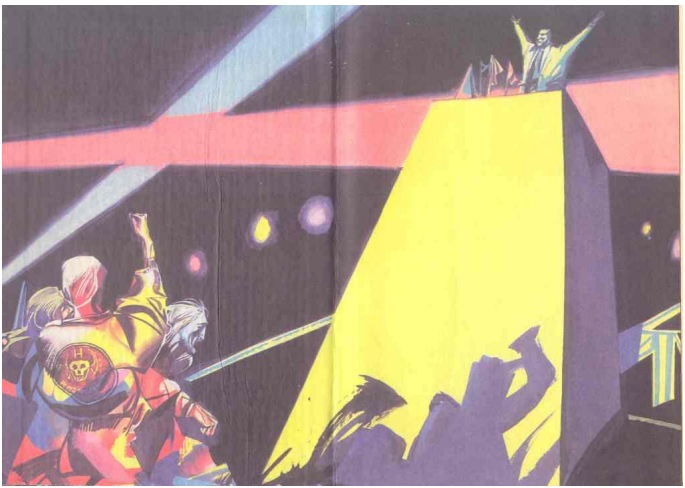
ВТОРОГО КЛАССА»
13. НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ ИЩЕЙКИ
14. ЧЕТВЕРГОМ РОЖДЕННОЕ
15. «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
16. «ВЕСЬ ЭТОТ ОБМАН»
17. ПРАШКО
Эпилог

Аннотация

Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Корнуэлл) — известный английский мастер политического детектива.

Роман «Шпион, пришедший с холода», в основе которого лежит история разгадки политической тайны, принес автору всемирный успех. В двух других романах, включенных в сборник, сочетаются антифашистская направленность, проблема политического выбора, прослеживается характерный для автора интерес к ситуации, когда социальной системе, порождающей зло, противостоит герой-одиночка.

Джон Ле Карре



ШПИОН, ВЕРНУВШИЙСЯ С ХОЛОДА

ШПИОН, ПРИШЕДШИЙ С ХОЛОДА

РОМАН



Глава 1
Контрольно-пропускной пункт

Американец протянул Лимасу еще одну чашку кофе и сказал:

— Почему бы вам не пойти поспать? Мы позвоним, как только он появится.

Ничего не ответив, Лимас уставился в окно КПП на пустую улицу.

— Нельзя же ждать бесконечно, сэр. Может, он придет в другой раз. Берлинская полиция сообщит в агентство, и вы через двадцать минут снова будете тут.

— Нет, — сказал Лимас. — Уже почти стемнело.

— Но не ждать же вечно. Он опаздывает на девять часов.

— Хотите уйти — идите. Вы хорошо поработали, — добавил Лимас. — Я скажу Крамеру, что вы чертовски хорошо поработали.

— А сколько вы будете ждать?

— Пока он не придет.

Лимас подошел к наблюдательному окошку и встал между двумя неподвижными полицейскими. Их бинокли были привычно нацелены на

КПП восточной стороны.

— Он дожидается, пока стемнеет, — пробормотал Лимас. — Уверен, что дело в этом.

— Утром вы говорили, что он придет с рабочими.

Лимас обернулся.

— Агенты — не самолеты. Они не прибывают по расписанию. Он провалился. Он в бегах. Он перепуган. Мундт висит у него на хвосте. Как раз сейчас. У него остался один-единственный шанс. И уж позвольте ему самому выбирать время.

Американец вздохнул, явно желая уйти, но находя это неудобным.

В домике зазвенел звонок. Они замерли, насторожившись. Полицейский сказал по-немецки:

— Черный «опель-рекорд» с федеральным номером.

— Он не мог разглядеть, слишком темно. Он просто догадался, — прошептал американец. — А как Мундт засек его?

— Заткнитесь, — сказал Лимас, глядя в окно.

Один из полицейских вышел из домика и направился к заграждению из мешков с песком в полуметре от белой демаркационной линии, разделявшей трассу, словно теннисную площадку. Другой подождал, пока напарник склонился к

подзорной трубе, установленной за мешками, а затем опустил бинокль, снял с крючка возле двери черную каску и аккуратно водрузил ее на голову. Где-то наверху, над КПП, ожили прожекторы, заливая участок дороги театральными лучами света.

Полицейский начал докладывать. Лимас знал наперед, что тот скажет.

— Машина остановлена на первом контроле. Только один пассажир. Женщина. Препровождена к КПП для проверки документов.

— Что он сказал? — спросил американец.

Лимас молчал. Схватив запасной бинокль, он напряженно глядел в сторону восточногерманского КПП.

— Мистер Лимас, это ваш человек? — снова затеребил его американец. — Я должен позвонить в агентство.

— Погодите.

— А где сейчас машина? Что там происходит?

— Таможенный досмотр. Рутина, — отмахнулся Лимас.

Он не отрывал глаз от машины. Двое полицейских стояли у дверцы водителя. Один проводил опрос, другой вроде бы просто дожидался. Третий возился с машиной. Он поднял капот, затем

вернулся к водителю. Ему нужен был ключ. Он открыл багажник, заглянул внутрь, закрыл, вернул ключ и двинулся вперед, туда, где метрах в тридцати от машины между двумя глядящими друг на друга КПП стоял одинокий часовой — почти квадратная фигура в мешковатых брюках и сапогах. Они о чем-то заговорили, исполненные уверенности, в ослепительном свете прожекторов.

Затем небрежно махнули машине. Машина подъехала к ним и остановилась посреди дороги. Они обошли ее кругом, опять о чем-то потолковали. Наконец с явной неохотой позволили ей пересечь границу с Западным сектором.

— Мистер Лимас, это ваш человек? — снова спросил американец.

— Да, это он.

Подняв воротник куртки, Лимас вышел на улицу. Дул ледяной октябрьский ветер. И тут он увидел толпу. В домике забываешь о них — недоумевающих, озадаченных лицах. Так выглядят беспомощные свидетели дорожной катастрофы: никто не знает, что произошло, никто не знает, можно ли прикасаться к телу. Между лучами прожекторов пробивался то ли дым, то ли пыль — вибрирующая пелена в рамке света.

Лимас подошел к машине и спросил:

— Где он?

— За ним пришли, и он скрылся. Он взял велосипед. Про меня они ничего не знали.

— Куда он отправился?

— У нас была квартирка в районе Бранденбургских ворот. Над рестораном. Он держал там кое-что — деньги, бумаги. Думаю, он поехал туда. А потом будет переходить.

— Сегодня ночью?

— Он сказал, что сегодня. Остальных всех взяли — Пауля, Фирека, Лендзера, Заломона. У него мало времени.

Лимас молча уставился на нее. Потом спросил:

— И Лендзера тоже?

— Прошлой ночью.

К Лимасу подошел полицейский.

— Вам придется отъехать отсюда, — сказал он. — Запрещено загораживать дорогу.

— Пошел-ка ты… — бросил через плечо Лимас.

Немец заметно напрягся, и женщина сказала:

— Садитесь в машину. Давайте доедем до угла.

Он сел рядом с ней, и они медленно поехали к ближайшей развилке.

— Не знал, что у вас есть машина.

— Машина мужнина, — равнодушно объяснила она. — Карл, конечно, не говорил вам, что

я замужем? — Лимас молчал. — Мы с мужем работаем на оптическом заводе. Они позволяют нам заниматься бизнесом. Карл назвал вам мою девичью фамилию. Он не хотел, чтобы я… чтобы я связывалась с вами.

Лимас достал из кармана ключ.

— Вам надо где-то остановиться, — сухо сказал он. — Вот ключ от квартиры на Альбрехт-Дюрер-штрассе, рядом с музеем. Номер 28-а. Там есть все, что вам может понадобиться. Я позвоню, как только он появится.

— Я подожду его вместе с вами.

— Я тут не останусь. Поезжайте на квартиру. Я вам позвоню. Не имеет смысла ждать его здесь.

— Но он будет переходить здесь.

Лимас удивленно поглядел на нее.

— Он так сказал?

— Да. Тут у него есть знакомый полицейский. Сын его бывшего помещика. Это может пригодиться. Поэтому Карл выбрал именно это место.

— И сказал об этом вам?

— Он мне доверяет. Он все рассказывает мне.

— О Боже!

Он отдал ей ключ, а сам снова отправился на КПП. Когда он вошел, полицейские зашушукались, а один, самый высокий, демонстративно

отвернулся.

— Извините, ребята, — сказал Лимас. — Простите, что нахамил вам.

Он открыл обшарпанный портфель и пошарил в нем. Наконец нашел то, что искал, — полбутылки виски. Кивнув ему, старший полицейский взял бутылку, разлил виски в кофейные чашки и разбавил черным кофе.

— А куда подевался американец? — спросил Лимас.

— Кто?

— Тот парень из ЦРУ. Что был со мной.

— Пошел баиньки, — сказал старший, и все расхохотались.

Лимас поставил чашку на стол и спросил:

— У вас есть разрешение стрелять, чтобы прикрыть перебежчика? Если его преследуют.

— Нам разрешается открывать огонь только тогда, когда они обстреливают наш сектор.

— Значит, вы не можете стрелять, пока он не пересечет черту?

— Не имеем права, мистер…

— Томас, — представился Лимас. — Мистер Томас.

Они обменялись рукопожатиями, и полицейские тоже назвали свои имена.

— Не имеем права открывать огонь. Вот в чем штука. Нам говорят, что иначе начнется война.

— Чушь собачья, — вмешался тот, что помоложе. — Не будь тут союзников, Стены давно бы не было.

— И Берлина тоже, — буркнул старший.

— Сегодня ночью у меня перебежчик, — сказал Лимас.

— Здесь? На нашем КПП?

— Его нужно спасти во что бы то ни стало. За ним охотятся люди Мундта.

— Ну, через Стену можно кое-где перелезть, — заметил молодой полицейский.

— Нет, это не по нему. Он попытается перехитрить их. У него есть документы, если только их не засветили. И велосипед.

В будке была лишь одна настольная лампа с зеленым абажуром, но свет прожекторов, словно свет искусственной луны, заливал все помещение. За окном становилось все темнее и все тише. Они говорили так тихо, точно боялись, что их могут подслушать. Лимас встал у окна, глядя на дорогу и Стену прямо перед собой — грязное уродливое сооружение из кирпича, цемента и колючей проволоки, похожее на декорацию концлагеря. По обе стороны Стены тянулись не

восстановленные кварталы Берлина — целое царство развалин, нарисованное в двух измерениях. Утесы минувшей войны.

Проклятая баба, думал Лимас, и этот идиот Карл, совравший ему про нее. Солгавший намеренно, как лгут они все — агенты во всех странах мира. Ты учишь их обманывать, заметать следы, а они заодно начинают обманывать и тебя самого. Карл показал ее только один раз — в прошлом году после ужина на Шюрц-штрассе. Он сыграл тогда свою козырную карту, и Контролер захотел поглядеть на него. Контролер любит удачливых агентов. Они ужинали втроем — Лимас, Контролер и Карл. Карлу такое нравилось. Он был похож на пай-мальчика из воскресной школы, начищенного, сияющего и почтительно снимающего шляпу.

Контролер минут пять тряс ему руку, говоря: «Карл, мы вами очень довольны. Помните, что мы чертовски довольны вами». Лимас глядел на них, понимая, что теперь Карлу прибавят еще пару сотен в год.

После ужина Контролер снова с воодушевлением пожал им руки, многозначительно кивнул и, намекнув, что ему сегодня предстоит рискнуть своей жизнью еще в одном месте, уселся на заднее

сиденье служебной машины. И тут Карл рассмеялся, а глядя на него, расхохотался и Лимас. Они допили шампанское, продолжая со смехом вспоминать Контролера. А потом поехали на Альтер Фасе — на этом настоял сам Карл, — где их ждала Эльвира, властная сорокалетняя блондинка.

— Это, Алек, моя самая большая тайна, — сказал Карл.

Лимас рассвирепел. Оставшись одни, они бешено разругались.

— Что ей известно? Кто она такая? Как вы познакомились?

Карл надулся и отказался отвечать. После этого дела пошли скверно. Лимас попробовал было словчить: изменил места встреч и пароли, но Карлу это не понравилось. Он догадался, что за этим кроется, и разобиделся.

— Доверяете вы ей или нет, все равно уже поздно, — заявил он.

Лимас понял намек и предпочел заткнуться. Правда, теперь он был начеку: сообщал Карлу куда меньше, чем раньше, и значительно чаще прибегал к всевозможным уловкам, именуемым техникой шпионажа. И вот она здесь — вылезает себе из машины, зная абсолютно все: агентов, явочные квартиры, все. И Лимас — увы, далеко

не впервые — поклялся не доверять впредь ни одному агенту.

Он подошел к телефону и набрал номер своей квартиры. Трубку взяла фрау Марта.

— У нас сегодня будут гости, — сказал он. — Мужчина и женщина.

— Супруги? — спросила фрау Марта.

— Вроде того, — ответил он, и она засмеялась своим жутковатым смехом.

Как только он положил трубку, его окликнул один из полицейских:

— Мистер Томас, скорее!

Лимас шагнул к наблюдательному окошку.

— Мужчина, мистер Томас, — зашептал молодой полицейский, — на велосипеде.

Лимас поднес к глазам бинокль.

Это был Карл, даже на таком расстоянии ошибиться было невозможно. Одетый в старый плащ армейского образца, он вовсю жал на педали. «Прорвался-таки», — подумал Лимас. Карл уже прошел проверку документов, оставалась только таможня. Лимас видел, как Карл ставит велосипед у перил и с деланным равнодушием подходит к будке. «Не переигрывай, парень», — подумал он. Наконец Карл вышел из будки, дружески помахал человеку за барьером, и огни, белый и красный,

лениво поехали вперед. Он прорвался, он ехал к ним — все удалось. Только часовой посреди дороги, а затем черта и полная безопасность.

И в это мгновенье Карл, похоже, услышал какой-то звук, почуял какую-то опасность. Оглянувшись через плечо, он низко склонился к рулю и принялся бешено жать на педали. Перед ним по-прежнему был лишь часовой на мосту, он обернулся и смотрел на Карла. И вдруг зажглись прожектора, белые и слепящие. Они взяли Карла на мушку, поймали в своих лучах, как ловят кролика автомобильные фары. Послышался океанский рев сирены, звук выкрикиваемых команд. Неподалеку от Лимаса двое полицейских опустились на колени, глядя в щели между мешками и быстро заряжая автоматические винтовки.

Восточногерманский часовой выстрелил в собственном секторе, очень аккуратно. Первый выстрел, казалось, подтолкнул Карла вперед, второй — отшвырнул назад. Но он все еще продолжал ехать мимо часового, а часовой продолжал стрелять в него. Потом он поник, рухнул наземь, и они довольно явственно услышали грохот упавшего велосипеда. Лимас молил Бога, чтобы они не взяли Карла живым.

Глава 2
Цирк

Лимас наблюдал, как остается внизу взлетная полоса аэропорта Темпельхоф. Он не был склонен к раздумьям или философствованию. Лимас знал, что он — человек конченый, и с этим обстоятельством ему впредь предстояло считаться, как человек считается с тем, что у него рак, или с тем, что его ждет длительное тюремное заключение. Он понимал, что нет никакого способа навести мост над пропастью между вчера и сегодня. Он принял свое поражение так, как когда-нибудь примет и смерть, — с циничной горечью и отвагой одиночки. Он продержался дольше, чем многие другие, теперь его победили. Говорят, что беззубая собака на свете не жилица; образно выражаясь, Лимасу выбили все зубы. И выбил их Мундт.

Десять лет назад, возможно, ему еще что-нибудь светило: есть и канцелярская работа в том безымянном правительственном учреждении на Кембриджской площади, которой Лимас мог бы заняться и проторчать на этой службе еще

Бог знает сколько лет. Правда, такое было не по нему. С тем же успехом можно предложить жокею вести делопроизводство в конюшне. Лимас не смог бы променять оперативный простор на теоретические построения и интриги в кулуарах Уайтхолла. Он оставался в Берлине, прекрасно понимая, что в конце каждого года в отделе кадров с пристрастием просматривают его личное дело, — упрямый, своевольный, он плевать хотел на инструкции, руководства, убеждая себя, что все как-нибудь образуется. В работе разведки существует один-единственный нравственный закон: цель оправдывает средства. С этим законом поневоле считались даже мудрецы из Уайтхолла, а Лимас умел добиваться цели, пока не появился Мундт.

Поразительно все-таки, как быстро Лимас сообразил, что именно Мундт начертал на стене его Валтасаровы письмена.

Ганс Дитер Мундт, сорока двух лет, место рождения Лейпциг. Лимас видел его досье, видел фотографию на внутренней стороне папки: жесткое, непроницаемое лицо, соломенного цвета волосы; знал назубок историю подъема Мундта на второй по значению пост восточногерманской разведки — на должность начальника опера-

тивного отдела. Лимас знал это по рассказам перебежчиков и от Римека, который, как член Президиума СЕПГ, встречался с Мундтом на заседаниях Комитета безопасности и боялся его. Боялся Римек не зря — именно Мундт его и убил.

До 1959 года Мундт подвизался в разведке на третьих ролях, обитая в Лондоне под крышей Восточногерманской сталелитейной компании. Ему пришлось спешно удирать в Восточную Германию, убив перед этим двух своих агентов, чтобы спасти собственную шкуру. Потом о нем не было слышно больше года. А затем он внезапно выплыл в главном управлении разведки в Лейпциге главой бюджетного отдела, то есть стал заведовать финансами, оснащением и людьми, предназначенными для сугубо специальных заданий. В конце того же года в восточногерманской разведке разыгралась нешуточная битва за власть. Резко сократили количество советских инструкторов, соответственно упало и их влияние. Несколько работников из старой гвардии были уволены по идеологическим причинам, а три человека выплыли на самый верх: Фидлер в качестве главы контрразведки, Ян, которому достался прежний пост Мундта, и сам Мундт, получивший самый жирный кус — должность

начальника оперативного отдела, — и это в возрасте сорока одного года. Работа пошла в новом стиле. Первым агентом, которого потерял Лимас, была молодая девушка. Она не играла в сети значительной роли, выполняя лишь функции связного. Ее пристрелили прямо на улице, когда она выходила из кинотеатра в Западном Берлине. Полиция, разумеется, не нашла убийцу. Да и сам Лимас поначалу вовсе не был склонен связывать ее смерть с работой своей шпионской сети. Но месяц спустя дрезденский вокзальный носильщик, бывший агент из сети Петера Гийома, был найден убитым и обезображенным возле путей. И Лимас понял, что это не случайное совпадение. Вскоре были арестованы и приговорены к смертной казни два агента из сети Лимаса. Так все и пошло — устрашающе и безжалостно.

И вот настал черед Карла Римека, и Лимас покидал Берлин с тем, с чем когда-то сюда явился — без единого мало-мальски стоящего агента. Мундт победил.

Лимас был коренастым мужчиной с коротко остриженными серо-седыми волосами и фигурой пловца. Физически он был очень силен. Эту силу можно было угадать по его спине и плечам, по шее и жилистым рукам с короткими пальцами.

К одежде он подходил весьма утилитарно, как, впрочем, и ко всему остальному. Даже очки, которые он порой надевал, были в дешевой стальной оправе. Костюмы носил в основном из синтетики, и ни один из них не был тройкой. Ему нравились американские рубашки с пуговками на воротнике и башмаки на резиновом ходу.

У него было приятное лицо — мускулистое и с волевой складкой у рта, маленькие карие глаза. Такие называют ирландскими. Распознать, кто он, было совсем не просто. Если ему случалось заглянуть в какой-нибудь из лондонских клубов, портье никогда не путал его с постоянными членами, а в берлинских ночных ресторанах ему без разговоров давали лучший столик. Он выглядел человеком, с которым шутки плохи, который знает счет деньгам и своего не упустит, даже если придется действовать не совсем поджентльменски.

Стюардесса нашла его интересным мужчиной. Она предположила, что он с севера Англии (и это, в общем, соответствовало действительности) и что он богат (а это действительности не соответствовало), что ему лет пятьдесят (и это было близко к истине) и что он одинок (а это было верно лишь наполовину: когда-то он разошелся с

женой, где-то росли его дети, теперь уже подростки, и алименты на них перечислялись через один не совсем обычный банк в Сити).

— Если хотите еще виски, — сказала стюардесса, — вам следует поторопиться. Через двадцать минут мы приземлимся в Лондоне.

— Мне хватит.

Он даже не взглянул на нее. Он смотрел в окно на серо-зеленые поля Кента.

Фаули встретил его в аэропорту и повез в город.

— Контролер просто взбесился из-за Карла, — сказал он, искоса поглядывая на Лимаса.

Тот кивнул.

— Как это произошло?

— Его застрелили. Мундт достал его.

— Насмерть?

— Во всяком случае, сейчас он уже мертв. Хотелось бы надеяться. Все сорвалось в последний момент. Ему не следовало так жать на педали. Они ведь ничего не могли знать наверняка. Разведка прибыла на КПП, когда он уже прошел его. Они включили сирену, и часовой пристрелил его метрах в двадцати от линии. Упав, он еще шевелился, а потом затих.

— Разнесчастный сукин сын.

— Вот именно, — сказал Лимас.

Фаули не любил Лимаса. Впрочем, узнай Лимас об этом, ему было бы наплевать. Фаули был из тех, кто состоит в клубах, носит дорогие галстуки, дорожит реноме спортсмена и делает карьеру в разведке, ведя служебную переписку.

— Где вы сейчас служите? — спросил Лимас.

— В отделе кадров.

— И вам нравится?

— Чрезвычайно.

— А что теперь будет со мной? На свалку?

— Об этом лучше услышать от самого Контролера.

— Но вы в курсе дела?

— Разумеется.

— Тогда какого черта вы не скажете?

— Извините, старина, — важно проговорил Фаули, и Лимас почувствовал, что вот-вот сорвется. Но потом решил, что Фаули просто делает вид, будто что-то знает.

— Ладно, скажите мне только одну вещь, если вы не против: стоит ли мне подыскивать себе жилье в Лондоне?

Фаули почесал за ухом.

— Не думаю, дружище, не думаю.

— Нет? Ну и слава Богу.

Они припарковались на стоянке возле Кембриджской площади и вместе вошли в вестибюль.

— У вас, конечно, нет пропуска? Заполните-ка вот этот листок.

— С каких это пор у нас тут пропуска? Маккол знает меня как облупленного.

— Просто новые порядки. Вы же знаете, Цирк разрастается.

Ничего не ответив, Лимас кивнул Макколу и прошел в лифт без всякого пропуска.

Контролер пожал ему руку со всей осторожностью, точно врач, ощупывающий кость.

— Вы, должно быть, чудовищно устали, — извиняясь, сказал он. — Садитесь, пожалуйста.

Все тот же меланхолический голос, занудный и противный. Лимас уселся в кресло, лицом к оливково-зеленому электрокамину, на котором с трудом удерживался котелок с водой.

— Холодно, не правда ли? — спросил Контролер.

Он склонился над камином, потирая руки. Из-под черной куртки виднелся поношенный коричневый джемпер. Лимасу вспомнилась жена Контролера — маленькая глупая женщина, которая, по-видимому, полагала, что муж занимается

черной работой. Джемпер она, наверное, связала ему сама.

— Холодно и сухо — вот что скверно, — продолжал Контролер. Он подошел к столу, нажал какую-то кнопку. — Посмотрим, не дадут ли нам кофе. У Джинни сейчас отпуск, вот что скверно. Они прислали мне какую-то новенькую. И это просто ужасно.

Он казался меньше ростом, чем помнилось Лимасу, а в остальном ни капли не изменился. Все та же нарочитая отрешенность, все те же старомодные выражения, та же боязнь сквозняков; плюс учтивость, соответствующая догмату, выработанному за тысячи миль от всего, чем жил Лимас. Та же молочно-белая улыбка, та же деланная скромность, та же конфузливая приверженность стилю поведения, который сам он якобы находил смешным. И та же банальность во всем.

Он достал из стола пачку сигарет, предложил Лимасу закурить.

— Довольно дорогие сигареты, — произнес он.

Лимас покорно кивнул, после чего Контролер положил пачку в карман. Они помолчали. Наконец Лимас сказал:

— Римек мертв.

— В самом деле, — отозвался Контролер таким

тоном, словно Лимас удачно пошутил. — Нам очень не повезло. Чрезвычайно… Наверное, его заложила эта девица. Как ее… Эльвира? Должно быть, она.

Лимас не стал спрашивать, откуда Контролеру известно про Эльвиру.

— И Мундт пристрелил его, — добавил Контролер.

— Да.

Контролер поднялся и походил по кабинету в поисках пепельницы. Наконец нашел какую-то, поставил ее на пол между креслами.

— И что вы ощущали? Я имею в виду, когда на ваших глазах застрелили Римека. Вы ведь все видели, правда?

Лимас пожал плечами.

— Это было чертовски мерзко.

Контролер склонил голову к плечу, полузакрыв глаза.

— Наверное, вы почувствовали еще что-то? Наверняка вы были взбешены. Это был бы более естественно.

— Да, я был взбешен. А кто на моем месте не взбесился бы?

— Вам нравился Римек? Я имею в виду — как человек?

— Пожалуй что так, — мрачно сказал Лимас. — Думаю, сейчас нет смысла обсуждать это.

— Как вы провели ночь, вернее, конец ночи после того, как Римека застрелили?

— Послушайте, в чем дело? — вспыхнул Лимас. — К чему вы клоните?

— Римек был последним, — ответил Контролер, — самым последним из целой серии жертв. Если мне не изменяет память, все началось с девушки, которую застрелили у кинотеатра в Ведингe. Потом тот человек из Дрездена и аресты в Йене. Словно десять негритят. А теперь Пауль, Фирек и Лензер — все мертвы. И, наконец, Римек, — он зловеще улыбнулся. — Довольно существенные потери, не так ли? Я бы не удивился, узнав, что вы сыты по горло.

— Что это значит — сыт по горло?

— Я подумал, не устали ли вы. Не выдохлись ли?

Наступила долгая пауза.

— Это уж вам решать, — произнес наконец Лимас.

— Мы привыкли не выказывать сочувствия, верно? Да и как иначе? Мы заражаем друг друга этим бесчувствием, этой безжалостностью, но на самом-то деле мы не такие. Я имею в виду, что…

невозможно быть в действии бесконечно. Рано или поздно наступает пора, так сказать, уйти с холода… Вы можете взглянуть на это дело трезво?

Лимас мог. Он взглянул и увидел долгую дорогу за окраиной Роттердама, долгую прямую дорогу в дюнах и поток беженцев на ней, увидел крошечный самолет вдалеке за много миль, увидел, как шествие замерло и все уставились в небо, увидел, как самолет приблизился, четко вырисовываясь над дюнами, увидел хаос и разверзшуюся бездну ада, когда на толпу обрушились бомбы…

— Контролер, такие разговоры не по мне, — сказал наконец Лимас. — Чего вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы вы еще некоторое время не уходили с холода.

Лимас ничего не ответил, и Контролер продолжал:

— Этический принцип нашей деятельности, как я его понимаю, базируется на одной главной предпосылке. А именно на том, что мы никогда не выступаем агрессорами. Вы находите это справедливым?

Лимас кивнул: все что угодно, лишь бы не отвечать.

— И хотя порой мы делаем недостойные дела, мы всего лишь обороняемся. Это, я полагаю, тоже

справедливо. Мы делаем недостойные дела, чтобы простые люди здесь и где угодно могли спать спокойно. Или это звучит слишком романтично? Разумеется, мы иногда делаем крайне недостойные дела. Просто грязные. — Он по-мальчишески ухмыльнулся. — А в рассуждениях о морали мы сплошь и рядом прибегаем к некорректным сравнениям: нельзя же, в конце концов, сравнивать идеалы одной стороны с практическими методами другой.

Лимас растерялся. Ему не раз приходилось слышать, как этот человек нес всякий вздор, прежде чем засадить кому-нибудь нож под ребро, но ничего похожего на сегодняшнее еще не бывало.

— Я полагаю, что методы надлежит сравнивать с методами, а идеалы с идеалами. Я бы сказал, что со времен войны методы — наши и наших противников — стали практически одинаковыми. Я имею в виду то, что мы не можем действовать менее безжалостно, чем противоположная сторона, на том лишь основании, что политика нашего правительства более миролюбива. — Он негромко посмеялся собственным словам. — Такого просто не может быть.

«О Господи, — подумал Лимас, — как будто я работаю на попов. Но к чему он все-таки ведет?»

— Вот почему, — продолжал Контролер, — мне кажется, что мы должны попытаться избавиться от Мундта… Да, кстати, — спохватился он, оборачиваясь к двери, — где же этот чертов кофе?

Он подошел к двери, открыл ее и что-то сказал девице в соседнем помещении. Вернувшись, он продолжал:

— Мы просто обязаны избавиться от него, если, конечно, это нам удастся.

— Но зачем? У нас больше ничего не осталось в Восточной Германии, буквально ничего. Вы же сами сказали — Римек был последним. Нам больше некого там защищать.

Контролер снова сел в кресло и опустил глаза.

— Это не совсем так, — произнес он наконец. — Но не думаю, что стоит обременять вас деталями.

Лимас пожал плечами.

— Скажите-ка, — спросил Контролер, — вам не надоела разведка? Простите, если я повторяюсь. Просто здесь мы, знаете ли, порой с таким сталкиваемся… Вроде как в авиастроении усталость металла, так, кажется, звучит этот термин. Ответьте же начистоту.

Лимас подумал о своем утреннем возвращении на самолете и удивился.

— Если вы устали, — добавил Контролер, — нам придется разобраться с Мундтом как-нибудь иначе. То, что я мог бы вам предложить, прозвучит несколько необычно.

Девица внесла кофе, поставила поднос на стол и разлила кофе по чашкам. Контролер подождал, пока она вышла.

— Такая дуреха, — сказал он, обращаясь как бы к самому себе. — Просто поразительно, что в последнее время они не в состоянии подобрать подходящую. Скверно, что Джинни выбирает для отпуска такие дни, как нынче.

Он рассеянно помешал сахар.

— Нам нужно дискредитировать Мундта, — сказал Контролер. — Скажите, вы крепко выпиваете? Виски и всякое такое?

Лимас считал, что хорошо знает Контролера.

— Пью прилично. Больше, чем многие другие, как мне сдается.

Контролер понимающе кивнул.

— А что вам известно о Мундте?

— Он убийца. Год или два назад он был здесь в качестве представителя Восточногерманской сталелитейной компании. Тогда у нас был тут свой человек — Мастон.

— Верно.

— Мундт завербовал агента — жену одного из служащих МИДа. И убил ее. Он пытался убить и Джорджа Смайли. И, разумеется, убил мужа завербованной. Отвратительный субъект. Юность в гитлерюгенде и прочее. Отнюдь не коммунист-интеллектуал. Практик. Боец «холодной войны».

— Вроде нас, — сухо заметил Лимас.

Контролер не улыбнулся.

— Джордж Смайли полностью в курсе дела. Он больше у нас не служит, но, думаю, вам будет полезно порасспросить его. Сейчас он занимается немецкой литературой семнадцатого века. Живет в Челси, сразу за Слоан-сквер, на Байуотер-стрит. Да вы, наверное, знаете?

— Знаю.

— Гийом тоже занимался этим вопросом. Он в отделе Сателлиты-Четыре, на втором этаже. Боюсь, что с ваших времен здесь все сильно переменилось.

— Пожалуй.

— Проведите с ними денек-другой. Им известно, что я намерен предпринять. И еще мне хотелось бы пригласить вас к себе на уик-энд. Супруги, к сожалению, не будет, — добавил он поспешно. — Она ухаживает за больной матерью. Мы с вами будем вдвоем.

— Спасибо. С удовольствием.

— Там мы сможем хорошенько все обсудить. Славно скоротаем время. Думаю, это дело принесет вам хорошие деньги. Собственно говоря, любые.

— Благодарю вас.

— Это, разумеется, в том случае, если вы абсолютно уверены, что… никакой усталости и тому подобное…

— Если дело идет к тому, чтобы убить Мундта, я в игре.

— Вы уверены? — вежливо уточнил Контролер. И затем, задумчиво глядя на Лимаса, произнес:

— Да, судя по всему, вы уверены. Но мне не хотелось бы, чтобы вы считали себя обязанным делать это. Понимаете, в том мире, в котором мы существуем, мы слишком быстро выходим за пределы регистров ненависти и любви. Вроде того как собаки не воспринимают некоторые звуки. И в итоге у нас остается лишь чувство тошноты, и не хочется больше никому и никогда причинять страдания. Простите, но разве не это вы почувствовали, когда на ваших глазах застрелили Карла Римека? Не ненависть к Мундту, не жалость к Римеку, а лишь отупляющую боль, точно от тяжелого удара по телу? Мне доклады-

вали, что вы потом бродили всю ночь — просто бродили по улицам. Это верно?

— Да, я гулял.

— Всю ночь?

— Да.

— А что сталось с Эльвирой?

— А Бог ее знает… Но я хотел бы хорошенько врезать Мундту.

— Вот и хорошо… вот и славно. Кстати, если вам случится в ближайшие дни встретить кого-нибудь из старых друзей, не стоит, я полагаю, обсуждать с ними то, о чем мы беседовали. На вашем месте, — добавил Контролер, — я бы с ними и вовсе не стал говорить. Дайте им понять, что мы списали вас со счета. В каждом деле главное правильно начать, верно?

Глава 3
Падение

Мало кого удивило, что Лимаса списали в архив. Как бы то ни было, рассуждали все вокруг, уже несколько лет в Берлине один провал следовал за другим, и кто-то должен был за это ответить. Кроме того, он стал староват для оперативной работы, требующей остроты реакции профессионального теннисиста. Лимас неплохо потрудился во время войны, и никто не забывал об этом. В Норвегии и Голландии он избежал гибели разве что чудом. По окончании войны его наградили медалью и отпустили на все четыре стороны. Потом, понятно, он снова вернулся. Вот только с пенсией ему решительно не повезло. Бухгалтерия, а именно Элси, допустила в этом отношении утечку информации. Элси рассказала в буфете, что бедному Алеку Лимасу причитается всего четыреста фунтов в год, поскольку в его стаже был перерыв. «Такие порядки, — добавила Элси, — давно пора менять, в конце концов, мистер Лимас отслужил полный срок, не так ли? Но с них теперь глаз не спускает казначейство, не то что

в былые годы, и они ничего не могли поделать. Даже в те дурные времена, при Мастоне, дела и то шли лучше».

Лимас, говорили новички, типичный представитель старой школы: характер, выдержка, любовь к крикету и французский язык на уровне колледжа. Тут они заблуждались: по-английски и по-немецки он говорил одинаково свободно, по-голландски весьма прилично и к тому же терпеть не мог крикет. Правда, высшего образования у него и впрямь не было.

Контракт Лимаса истекал лишь через несколько месяцев, и его перевели в расчетный отдел. Расчетный отдел — это не бухгалтерия: там ведутся дела по финансированию операций на континенте, по выплате вознаграждения агентам и тому подобное. Большую часть здешней работы мог бы выполнять обычные служащий, если бы не высокая степень секретности, и поэтому расчетный отдел был одним из подразделений Цирка, слывущих последним пристанищем для сотрудников, уже практически списанных со счетов.

Лимас катился по наклонной плоскости.

В большинстве случаев этот процесс бывает довольно длительным, но с Лимасом дело об-

стояло иначе. На глазах у сослуживцев и коллег он стремительно превращался из человека, вполне достойно отстраненного от оперативной работы, в разобиженного жалкого пьянчужку. Произошло это буквально за пару месяцев. Пьяницам свойственна своеобразная, граничащая с глупостью простота — особенно когда им случается быть трезвыми, — некая отрешенность от мира, которую сторонний наблюдатель может принять за робость или неуверенность, и Лимас достиг этого состояния со сверхъестественной скоростью. Он стал врать по мелочам, одалживал мелкие суммы у секретарш и не возвращал, опаздывал на службу или норовил смыться пораньше под каким-нибудь нелепым предлогом. Сперва сослуживцы терпели его выходки: возможно, его падение пугало их, как, например, любого из нас пугает вид калек, нищих и инвалидов, потому что мы боимся, не дай Бог, и сами стать такими. Но в конце концов его нерадивость, грубая и беспричинная злость отвратили от него всех.

К всеобщему изумлению, Лимас, казалось, вовсе не был огорчен отстранением от оперативной работы. Его воля словно бы вдруг полностью угасла. Дебютирующие в разведке сотрудники, твердо убежденные в том, что такая служба не

для простых смертных, с тревогой наблюдали за тем, как он все более утрачивал человеческий облик. Он все меньше внимания уделял своей внешности и реакции на него окружающих: завтракал в буфете, что подобало лишь младшему персоналу, все откровеннее прикладывался к бутылке. От него веяло одиночеством, трагическим одиночеством деятельных людей, которых преждевременно отстраняют от деятельности: пловца, вынужденного проститься с дорожкой, или актера, изгнанного со сцены.

Кое-кто утверждал, что он жестоко просчитался в Берлине, и его агентурную сеть свернули именно поэтому, но никто ничего не знал наверняка. Все были единодушны в том, что с ним обошлись с беспримерной жестокостью, даже если учесть, что отдел кадров и в остальном мало походил на благотворительное общество. На него показывали пальцем, как указывают на сошедшего со спортивной арены атлета, и говорили: «Это вон Лимас. Он вляпался в Берлине. Жутко видеть, как он себя доканывает».

И вдруг однажды он исчез. Ни с кем не попрощался, даже, судя по всему, с самим Контролером. Это, собственно говоря, не было особенно удивительным. Природа тайной службы такова,

что прощание с нею, как правило, протекает отнюдь не в торжественной обстановке и без публичного вручения золотых часов, но даже по здешним меркам Лимас исчез слишком странно. Произошло это за несколько дней до истечения его контракта. Элси из бухгалтерии подкинула еще чуток информации: Лимас затребовал вперед наличными все, что ему причиталось, а это, по мнению всезнающей Элси, могло означать только одно: у него были финансовые затруднения. Выходное пособие — а оно не составляло даже четырехзначной цифры — Лимасу предстояло получить в конце месяца. Его карточку государственной страховки уже отослали. «Конечно, в отделе кадров знают, где он живет, но уж они-то никому этого не скажут, на то они и кадры», — заключила, фыркнув, Элси.

Затем пошли разговоры о недостаче. Откуда-то (как всегда, неизвестно, откуда именно) просочилось, что внезапное исчезновение Лимаса было связано с нехваткой какой-то суммы в расчетном отделе. И довольно приличной (не трехзначной, стало быть, а четырехзначной, согласно утверждению дамы с подсиненными волосами, работавшей телефонисткой), и эти деньги вернули почти полностью, задержав ему выплату

пенсии. Многие отказывались поверить в это: если бы Алек вздумал сорвать куш, говорили они, он изобрел бы что-нибудь получше, чем махинации с бухгалтерскими счетами. Но те, кто не столь свято верил в выдающиеся криминальные способности Лимаса, указывали на его пристрастие к бутылке, на финансовые затруднения из-за ведения холостяцкого хозяйства и выплаты алиментов, на роковую и непривычную для него разницу между тем, что ему платили за границей и дома, а главное, на искушение, которое одолевает человека, имеющего доступ к большим деньгам и знающего, что его дни в Цирке сочтены. И все сошлись на том, что, если Алек в самом деле решил погреть руки и попался, с ним покончено раз и навсегда: бюро по трудоустройству перестанет замечать его, а отдел кадров не выдаст характеристики или выдаст такую ледяную, что любого потенциального нанимателя бросит от нее в дрожь. Стоит только допустить промашку, отдел кадров никогда не позволит тебе забыть о ней и сам тоже не забудет. Если Алек и впрямь грабанул кассу, гнев отдела кадров будет преследовать его до могилы, причем они не возьмут на себя даже похоронные расходы.

Недели две после исчезновения Лимаса кое-

кто еще задумывался над тем, что с ним стало. Правда, его прежние друзья давно уже в душе расстались с ним. Он сделался довольно надоедливым брюзгой, вечно обрушивающим все новые обвинения на службу и ее руководство и особенно придиравшимся к «кавалеристам», которые, как он утверждал, превратили разведку в разновидность офицерского собрания. И никогда не упускал случая поиздеваться над американцами и их разведывательной службой. Казалось, он ненавидел их куда сильнее, чем восточногерманскую разведку, которую упоминал крайне редко. Лимас неоднократно намекал на то, что именно американцы виноваты в провале его агентуры, брань по их адресу стала его коньком, и худо приходилось тому, кто пытался его образумить. И вот даже те, кто давно знал и любил его, постепенно от него отвернулись. Исчезновение Лимаса вызвало лишь легкую рябь на воде, а когда подул другой ветер, о нем уже никто не помнил.

Квартирка у него была крошечная и убогая. Коричневые стены с дешевыми фотографиями. Вид из нее открывался на серую заднюю стену трехэтажного магазина, окна которого из соображений эстетики были выкрашены креозотом. Над магазином проживало итальянское

семейство, скандалившее по вечерам и выбивавшее ковры по утрам. У Лимаса не было вещей, которые могли бы хоть немного оживить его жилище. Он купил только абажуры на лампочки, два комплекта постельного белья вместо грубой мешковины, предложенной хозяином. На все остальное он решил не обращать внимания: на цветные занавески, мятые и не подрубленные, вытертые коричневые дорожки, громоздкую темную мебель вроде той, что держат в портовых гостиницах. Желтая и дребезжащая газовая колонка за дополнительный шиллинг снабжала его горячей водой.

Пора было устраиваться на работу. Денег у него не было, буквально ни гроша. Так что слухи об ограблении кассы, возможно, не лишены были какой-то подоплеки. Предложения по трудоустройству, сделанные ему Цирком, он счел отвратительными и совершенно неподходящими. Сперва он решил попытать счастья в коммерции. Фирма, занимающаяся промышленными поставками клейких веществ, пошла навстречу его желанию занять место заместителя директора по кадрам. Не обратив внимания на малосимпатичную характеристику Цирка и на отсутствие специальной подготовки, они предло-

жили ему шесть сотен в месяц. Лимас проработал там неделю и за это время совершенно провонял запахом разлагающегося рыбьего жира, который пропитал его одежду и волосы и преследовал его, точно смрад самой смерти. От этой вони не спасало никакое мытье, и в конце концов ему пришлось остричься почти наголо и выкинуть на помойку два своих костюма. Следующую неделю Лимас посвятил продаже энциклопедий пригородным домохозяйкам, но он был не из тех, кто мог бы им понравиться и кого они могли бы понять: им не было никакого дела до Лимаса, не говоря уж о его энциклопедиях. Каждый вечер он возвращался домой усталый с пачкой энциклопедий под мышкой. В конце недели он позвонил в книжную лавку и сообщил, что ему не удалось продать ни одного экземпляра. Не выразив особого удивления, ему сообщили, что, если он собирается уволиться, книги надлежит вернуть, и повесили рубку. Лимас в бешенстве выскочил из телефонной будки, оставив там всю пачку, пошел в кабак и напился в стельку на сумму в двадцать пять шиллингов, которой у него не оказалось. Его вышвырнули на улицу, когда он наорал на женщину, попытавшуюся было подцепить его, посоветовали больше туда не показываться, но

уже через неделю позабыли свой совет. К Лимасу начали привыкать в этом кабаке.

Постепенно к нему начали привыкать и в других местах, к этому зачуханному постояльцу меблированных комнат. Он не произносил ни единого лишнего слова, не завел себе ни друга, ни подруги, ни кошки, ни собаки. Полагали, что он от кого-то скрывается — сбежал от жены или что-то в этом духе. Он никогда не знал, что сколько стоит, и не запоминал, если ему это сообщали. Ища мелочь, он неизменно выворачивал все карманы; он не носил сумки, каждый раз при необходимости покупая полиэтиленовые мешки. Его не любили, но, пожалуй, немного жалели. Его считали, кроме того, и неряхой, потому что он не брился по выходным и никогда не крахмалил сорочек. Некая миссис Маккайрд с Садбери-авеню взялась было прибираться у него раз в неделю, но, не услышав от него ни единого приветливого слова, ушла. Однако она стала важным поставщиком информации для соседей, а главное, для торговцев, нуждающихся в сведениях о кредитоспособности клиента на случай, если тому вздумается покупать в кредит. Согласно мнению миссис Маккайрд, кредита ему предоставлять не следовало. Лимасу ничего не приходило по почте,

объясняла она, и торговцы соглашались, что это недобрый знак. У него не было в доме картин и всего несколько книг, причем одна из них, как ей казалось, была похабной, однако сказать точнее она не могла, потому что книга была написана по-иностранному. Она говорила, что у него было кое-что припасено на черный день и сейчас этот черный день настал. И что по четвергам ему что-то платили. Улица была предупреждена, и второго предупреждения не требовалось. От миссис Маккайрд лавочники узнали, что он пьет как лошадь, то же самое утверждал и бармен. Бармены и приходящая прислуга обычно не обслуживают своих клиентов в кредит, но полученная от них информация очень ценится всеми теми, кто обслуживает.

Глава 4
Лиз

Наконец он решил пойти работать в библиотеку. Бюро по трудоустройству рекомендовало ему отправиться туда каждый раз, когда он приходил по четвергам, но он всякий раз отвергал это предложение.

— Собственно говоря, эта работа не совсем для вас — сказал мистер Питт, — но жалование приличное, а справиться с ней грамотному человеку не составит труда.

— А что это за библиотека? — спросил Лимас.

— Бейсуотерская библиотека психологических исследований. Это фонд пожертвований. Там тысячи книг любого сорта, и им передают все больше и больше. Они просили прислать им помощника.

Лимас взял пособие и листок бумаги.

— Довольно нелепая там подобралась компания, — добавил мистер Питт. — Но вы ведь все равно нигде подолгу не задерживаетесь, правда? Думаю, вам стоит попробовать теперь там.

С этим мистером Питтом все было не так про-

сто. Лимас был уверен, что видел его раньше. В Цирке во время войны.

Библиотечное помещение напоминало церковный неф и было таким же холодным. Черные масляные радиаторы в обоих концах зала заполняли его запахом керосина. В центре располагалась будка вроде выгородки для свидетелей, и там сидела мисс Крейл, библиотекарша.

Лимасу и в голову не приходило, что он может оказаться под началом женщины. В бюро по трудоустройству его об этом не предупредили.

— Прислан вам на подмогу, — сказал он. — Меня зовут Лимас.

Оторвавшись от каталожных карточек, мисс Крейл вскинула на него глаза, словно он произнес что-то неприличное.

— На подмогу? Что вы имеете в виду?

— Помощником библиотекаря. Бюро по трудоустройству. Мистер Питт.

Он подтолкнул к ней по столу свой анкетный лист, заполненный косым почерком. Она взяла анкету и изучила ее.

— Вас зовут мистер Лимас. — Это прозвучало не как вопрос, а как вступление к форменному дознанию. — И вы из бюро по трудоустройству.

— Нет. Меня послало сюда бюро на работу. Они

сказали, что вам нужен помощник.

— Понятно, — с ледяной улыбкой сказала мисс Крейл.

В это мгновение зазвонил телефон, она схватила трубку и принялась яростно переругиваться с кем-то. Лимас заподозрил, что эта ругань носит перманентный характер, потому что спорщики обошлись без прелюдий. Голос мисс Крейл поднялся на октаву выше, и она начала обсуждать вопрос о билетах на какой-то концерт. Он постоял, слушая, минуту-другую, а затем направился к книжным стеллажам. В одной из ниш он заметил девушку, стоявшую на стремянке и сортировавшую какие-то огромные тома.

— Я новенький, — сказал он, — меня зовут Лимас.

Она слезла со стремянки и пожала ему руку, пожалуй, чуть чопорно.

— Меня зовут Лиз Голд. Здравствуйте. Вы уже виделись с мисс Крейл?

— Да. Но ее перехватили по телефону.

— Наверное, ее мать. И, конечно, они скандалят. А что вы собираетесь делать?

— Не знаю. Работать.

— Мы сейчас занимаемся каталогами. Мисс Крейл вводит новую индексацию.

Она была долговяза и довольно нескладна, с длинной талией и длинными ногами. На ней были балетного типа туфли без каблука, несколько скрадывавшие ее рост. Ее лицо, подобно телу, было крупным, с крупными чертами, которые, казалось, колебались между бесцветностью и красотой. Лимас решил, что ей года двадцать два — двадцать три и что она еврейка.

— Мы просто занимаемся проверкой того, все ли книги на месте. Видите, они под рубриками. Проверив, вы помечаете ее карандашом в каталоге и продолжаете индексацию.

— А что потом?

— Только мисс Крейл имеет право обводить рубрики чернилами. Таково правило.

— Чье правило?

— Мисс Крейл. Может быть, вы начнете с книг по археологии?

Лимас кивнул, и она направилась в соседнюю нишу, где на полу стояла обувная коробка с каталожными карточками.

— Вы когда-нибудь уже занимались этим? — спросила Лиз.

— Нет. — Он нагнулся, взял пригоршню карточек и потасовал их. — Меня прислал мистер Питт. Из бюро. — Он швырнул карточки в коробку. — А

заполнять чернилами карточки тоже имеет право только мисс Крейл?

— Да. Только она.

Лиз Голд оставила его, и, чуть помедлив, он взял книгу и прочитал название. Это были «Археологические находки в Малой Азии», том IV. Других томов вроде бы не было.

Был уже час дня, и Лимас изрядно проголодался. Он заглянул в соседнюю нишу, где работала Лиз, и спросил:

— А как насчет ленча?

— А-а, у меня есть с собой бутерброды. — Она казалась слегка обескураженной. — Угощайтесь, если хотите. А кафе тут поблизости нет.

Лимас покачал головой.

— Благодарю, но я пойду. Надо купить кое-что.

Она смотрела, как он выбирается на улицу через дверь-вертушку.

Вернулся Лимас в половине третьего. От него слегка попахивало виски. Он принес два пакета с овощами и другими продуктами, швырнул их на пол в углу и устало вернулся к книгам по археологии. Он занимался ими минут десять, пока не заметил, что за ним внимательно наблюдает мисс Крейл.

— Мистер Лимас.

Он как раз забирался на стремянку, а потому полуобернулся и сказал:

— Да?

— Вы не знаете, откуда здесь взялись эти пакеты?

— Это мои пакеты.

— Понятно. Значит, это ваши пакеты.

Лимас молчал.

— Весьма сожалею, но у нас не разрешается проносить в библиотеку пакеты с продуктами.

— А где же мне было их оставить? Больше, сами понимаете, негде.

— Только не в библиотеке.

Лимас никак не отозвался на ее слова и отвернулся к книгам.

— Если бы ваш перерыв не затянулся дольше принятого, у вас не нашлось бы времени на покупки. Ни у кого из нас — ни у меня, ни у мисс Голд — времени на это нет.

— А почему бы и вам не прихватить еще полчаса? — возразил Лимас. — Тогда и у вас было бы время. А если так уж нужно, можно и вечером поработать лишние полчаса. Если приспичит.

На несколько мгновений она просто онемела, молча глядя на него и не зная, что сказать. Наконец она выдавила: «Мне придется обсудить это с

мистером Айронсайдом», — и удалилась.

Ровно в половине шестого мисс Крейл надела пальто и, демонстративно бросив: «До свидания, мисс Голд», покинула библиотеку. Лимас был уверен, что мысль о пакетах не давала ей покоя все это время. Он вошел в соседнюю нишу. Лиз Голд сидела на последней ступеньке стремянки, читая какую-то брошюру. Заметив Лимаса, она с виноватым видом сунула ее в сумку и поднялась.

— А кто такой мистер Айронсайд? — спросил он.

— Мне кажется, его просто не существует, — ответила Лиз. — Это ее главный козырь, когда ей нечего сказать. Однажды я ее спросила, кто он такой. Она напустила тумана, а потом сказала: «Не важно». По-моему, его вообще не существует.

— Я не уверен, что и сама мисс Крейл существует, — сказал Лимас, и Лиз улыбнулась.

В шесть она заперла помещение и передала ключ старику-привратнику, контуженному, как сказала Лиз, в первую мировую войну, отчего он не спит по ночам, постоянно ожидая контратаки немцев. На улице было чертовски холодно.

— Далеко вам? — спросил Лимас.

— Минут двадцать пешком. Я всегда хожу домой пешком. А вам?

— Тоже близко, — сказал Лимас. — До свидания.

Он медленно побрел домой. Войдя, повернул выключатель. Никакого результата. Он попробовал включить свет в маленькой кухоньке, а затем электрокамин у кровати. У двери на коврике лежало письмо. Он вышел с ним под желтый свет лампы на лестничной площадке. Письмо было от электрокомпании, с сожалением извещавшей, что у них не было другого выхода, кроме как отключить свет, пока не будет оплачен просроченный счет на сумму в девять фунтов четыре шиллинга и восемь пенсов.

Лимас стал врагом мисс Крейл, а она очень любила иметь врагов. Она рычала на него или вовсе не замечала, а стоило ему подойти к ней, начинала дрожать и оглядываться по сторонам в поисках то ли орудия обороны, то ли пути к бегству. Порой она поднимала визг по самому пустячному поводу, например, когда он повесил плащ на ее крючок, и трясясь, стояла перед ним добрых минут пять, пока Лиз, чтобы поддразнить ее, не окликнула Лимаса.

Лимас потом подошел к ней и спросил:

— В чем дело, мисс Крейл?

— Ни в чем, — ответила она, бурно дыша и

всхлипывая. — Абсолютно ни в чем.

— Вот и ладно, — сказал он и вернулся к стеллажам, а она не могла успокоиться весь день и коротала время, драматическим шепотом разговаривая по телефону.

— Жалуется матери, — объясняла Лиз. — Она на всех жалуется. На меня тоже.

Мисс Крейл развила в себе столь сильную ненависть к Лимасу, что просто не могла общаться с ним. В дни получки он, возвращаясь с обеда, находил конверт с жалованьем на третьей ступеньке своей стремянки. На конверте с намеренной ошибкой было написано его имя. В первый раз, заметив это, он подошел к ней и сказал:

— Надо писать Лимас с одним «м» и с одним «с», мисс Крейл.

В ответ на это она впала в форменную истерику, закатывала глаза и судорожно махала руками, пока он не отошел. А потом на несколько часов погрузилась в разговор по телефону.

Недели через три после устройства Лимаса в библиотеку Лиз пригласила его к себе поужинать. Она сделала вид, будто эта мысль пришла ей в голову неожиданно часов в пять вечера. Похоже, она хорошо понимала, что если пригласит его на завтра или послезавтра, он или забудет

о приглашении, или просто не придет. Поэтому она сказала об этом только в пять вечера. Лимас, казалось, не хотел принимать приглашения, но все-таки согласился.

Они шли к ней под дождем, такое могло происходить где угодно — в Берлине в Лондоне, в любом городе, где под вечерним дождем брусчатка превращается в озера света и машины неторопливо скользят по мокрой мостовой.

То был первый из многих вечеров, проведенных им в ее квартире. Он приходил, когда она его приглашала, а приглашала она часто. Когда Лиз поняла, что он будет приходить, она стала накрывать на стол с утра перед уходом на работу. И даже заранее мыла овощи и ставила свечи на стол, потому что любила ужинать при свечах. Она постоянно ощущала, что Лимас чем-то сломлен, что с ним что-то не ладно и что однажды по какой-то неизвестной причине он может внезапно и навсегда исчезнуть из ее жизни.

Она хотела, чтобы он понял, что ей известно об этом. Однажды она сказала:

— Можешь уйти, когда захочешь, Алек. Я не буду удерживать тебя и не буду за тобой гоняться.

Он внимательно посмотрел на нее своими карими глазами.

— Я скажу тебе, когда придет время, — ответил он.

У нее была однокомнатная квартирка с кухней. В комнате стояли два кресла, тахта и стеллаж с копеечными изданиями классиков, большую часть которых она никогда не читала.

После ужина обычно она что-нибудь рассказывала ему, а он лежал на тахте и курил. Лиз не знала, слушает ли он ее, да и не слишком интересовалась этим. Она просто становилась на колени возле тахты, прижимала его руку к своей щеке и рассказывала.

Как-то вечером Лиз спросила;

— Во что ты веришь, Алек? Только, пожалуйста, не смейся. Ответь мне.

Они помолчали, и наконец он произнес:

— Я верю, что автобус номер одиннадцать довезет меня до Хаммерсмита. Но я не верю, что это произойдет по воле господней.

Она поразмышляла какое-то время над сказанным, а потом повторила:

— Но во что же ты все-таки веришь?

Лимас пожал плечами.

— Должен же ты во что-то верить, — не унималась она, — в Бога или во что-то еще. Я знаю, Алек, что ты веришь. Иногда у тебя такой вид,

словно на тебя возложена какая-то миссия вроде пастырской. Не смейся, Алек, это так.

Он покачал головой.

— Мне жаль, Лиз, но ты ошибаешься. Я не люблю американцев и государственные школы. Я не люблю военные парады и людей, играющих в солдатики. — И без улыбки добавил:

— А еще я не люблю разговоры о смысле жизни.

— Но, Алек, тем самым ты говоришь, что…

— И должен добавить, — перебил ее Лимас, — что не люблю людей, которые объясняют мне, что мне следует думать.

Она почувствовала, что он готов рассердиться, но ее уже понесло.

— Это потому, что ты не хочешь задумываться, ты просто не решаешься! У тебя в душе какой-то яд, какая-то ненависть. Ты фанатик, Алек, я знаю, что ты фанатик, но не понимаю, в чем смысл твоего фанатизма. Ты фанатик, не желающий проповедовать свою веру, а такие люди всегда опасны. Ты похож на человека, принесшего обет отмщения… или чего-то в таком роде.

Карие глаза смотрели на нее, не отрываясь. Когда он заговорил, ее испугала угроза, прозвучавшая в его голосе.

— На твоем месте, — грубо отрезал он, — я бы не лез в чужие дела.

И вдруг улыбнулся нахальной ирландской улыбкой. Так он еще не улыбался ни разу, и Лиз поняла, что он работает на обаяние.

— А во что верит крошка Лиз?

— Меня так просто не купишь, Алек, — отрезала она.

Позже, тем же вечером, они снова вернулись к этой теме, причем разговор завел Лимас. Он спросил, религиозна ли она.

— Ты меня неправильно понял, Алек, — ответила Лиз. — Совершенно неправильно. В Бога я не верю.

— А во что же ты веришь?

— В историю.

Он с изумлением поглядел на нее и расхохотался.

— Ох, нет! Ох, Лиз! Ты случайно не из этих вонючих коммунистов?

Покраснев, как девочка, она кивнула, рассерженная его смехом и в то же время обрадованная тем, что ему и на это наплевать.

В ту ночь она оставила его у себя, и они стали любовниками. Он ушел от нее в пять утра. Лиз ничего не могла понять: она была так горда собой,

а он казался пристыженным.

Выйдя от нее, он пошел пустынной улицей в сторону парка. Было туманно. Чуть дальше — метрах в двадцати — двадцати пяти, — опершись об ограду, стоял человек в плаще, приземистый, пожалуй, даже толстый. Его фигура смутно вырисовывалась в тумане. Когда Лимас подошел ближе, пелена, казалось, стала еще гуще, скрыв фигуру из виду, а когда туман рассеялся, человек исчез.

Глава 5
Кредит

И вот однажды, примерно неделю спустя, он не пришел в библиотеку. Мисс Крейл была довольна, в половине двенадцатого она сообщила об этом своей матери, а воротясь с обеда, направилась прямо в нишу с книгами по археологии, где он обычно работал, и с преувеличенным вниманием принялась осматривать полки с книгами. Лиз поняла, что она делает вид, будто ищет следы кражи.

Лиз старалась не обращать на нее внимания весь остаток дня, не отвечая на прямые обращения к себе и работая с деланной одержимостью. Вечером она вернулась домой и рыдала, пока не заснула.

На следующий день она пришла в библиотеку пораньше. Ей почему-то казалось, что чем раньше она окажется тут, тем скорее придет и Лимас, но ближе к полудню ее надежда угасла, и она поняла, что он не придет никогда. Она забыла в этот день взять на работу бутерброды и решила съездить на Бэйсуотер-роуд в кафе.

Она не ощущала голода, лишь тошноту и боль. Может, отправиться на поиски Лимаса? Но она же обещала не навязываться ему. Да ведь и он обещал сказать ей, когда решит уйти. Так, может, все-таки отправиться на поиски?

Она взяла такси и назвала его адрес.

Лиз поднялась по захламленной лестнице и позвонила. Звонок, должно быть, был сломан, так как она ничего не услышала. На полу на коврике она увидела три бутылки молока и письмо от электрокомпании. Она поколебалась с минуту, а потом забарабанила в дверь, и вскоре из глубины квартиры раздался слабый стон. Она бросилась на этаж ниже, позвонила и постучала. Никто не ответил, и ей пришлось спуститься еще ниже. Она оказалась в служебном коридоре бакалейной лавки. В углу, раскачиваясь в качалке, сидела старуха.

— На верхнем этаже кто-то очень болен, — почти закричала она. — У кого запасной ключ?

Старуха уставилась на Лиз, а потом крикнула в глубь магазина:

— Артур, поди-ка сюда, Артур, тут какая-то девица!

В дверь высунулся мужчина в коричневом костюме и фетровой шляпе.

— Девица?

— Там, наверху, в квартире очень болен человек, — сказала она. — Он не может подойти к двери, чтобы открыть. У вас нет запасного ключа?

— Нет, — ответил лавочник, — но у меня есть молоток.

И они помчались наверх, Лиз и лавочник в шляпе, с тяжелым коловоротом и молотком в руках. Он резко постучал в дверь, затаив дыхание, они прислушались, но было тихо.

— Я слышала стоны, клянусь вам, слышала, — шептала Лиз.

— Вы заплатите за дверь, если я сломаю?

— Ну конечно.

Молоток застучал с чудовищным грохотом. Тремя ударами лавочник выбил кусок косяка, и замок открылся. Лиз ворвалась в квартиру, лавочник за ней. В комнате было жутко холодно и темно, на кровати в углу они разглядели человека.

«О Господи, — подумала Лиз, — если он умер, я, наверно, не смогу до него дотронуться». Но все же подошла к нему — он был жив. Раздвинув шторы, она опустилась возле кровати.

— Я вам позвоню, если вы понадобитесь, — ска-

зала она, не оборачиваясь.

Лавочник кивнул и вышел.

— Алек, что с тобой? Чем ты болен? Что с тобой, Алек?

Лимас шевельнул головой на подушке. Глаза его были закрыты. Темная щетина оттеняла болезненную бледность щек.

— Алек, ответь мне, пожалуйста, Алек! — Она держала его руку.

Слезы бежали у нее по щекам. В отчаянии она не понимала, что делать. Потом бросилась в кухоньку и поставила на плиту воду. Лиз толком не знала, что предпримет, но ей было легче чем-нибудь заниматься. Оставив кастрюлю на огне, она взяла с ночного столика ключи от квартиры и бегом кинулась на улицу в аптеку мистера Слимана. Она купила студня из телячьих ножек, куриного мяса, бульонные кубики и флакончик аспирина. Пошла к двери, но затем вернулась и купила пачку сухарей. В общей сложности это обошлось в шестнадцать шиллингов, после чего у нее осталось четыре шиллинга в кошельке и одиннадцать фунтов на книжке, но снять их до следующего утра было невозможно. Когда она вернулась, вода как раз закипела.

Она развела бульон, как обычно делала мать,

опустив в стакан ложечку, чтобы он не треснул. И все время оглядывалась на Лимаса, словно боясь, что он вот-вот умрет.

Ей удалось усадить его, чтобы он смог выпить бульон. У него была только одна подушка, диванных тоже не было, и ей пришлось снять с вешалки пальто, скатать и подложить под подушку. Лиз было боязно притрагиваться к нему: он жутко вспотел, короткие седые волосы были мокрыми и липкими. Поставив стакан возле постели и придерживая его голову рукой, она поила его из ложечки. После нескольких глотков бульона Лиз дала ему в той же ложечке толченого аспирина. Она разговаривала с ним, словно с ребенком, смотрела на него, иногда проводила рукой по голове и лицу и вновь и вновь шептала: «Алек, Алек».

Постепенно дыхание у него выровнялось, и мучительная лихорадка сменилась покоем сна: Лиз почувствовала, что худшее позади. Внезапно она заметила, что почти стемнело… Ей стало стыдно, что она до сих пор не прибралась тут. Она вскочила, взяла на кухне совок и щетку и с лихорадочной энергией принялась за уборку. Нашла чистую скатерть и аккуратно расстелила ее на ночном столике, потом вымыла чашки и блюдца,

которыми была беспорядочно уставлена кухня. Когда она закончила, было уже полдевятого. Лиз снова поставила воду и подошла к постели. Лимас глядел на нее.

— Алек, только не злись. Пожалуйста, не злись. Я уйду, обещаю тебе, я уйду. Но позволь, я сначала приготовлю тебе нормальный обед. Ты ведь болен, Алек, тебе нельзя дальше так, ты — о Господи, Алек! — Она разрыдалась, прикрыв лицо руками, и слезы катились у нее между пальцев, как у ребенка. Он дал ей выплакаться, глядя на нее карими глазами и придерживая руками простыню.

Она помогла ему вымыться и побриться и отыскала пару чистых простыней. Потом покормила его студнем и курицей, купленными в аптеке. Сидя на постели, она смотрела, как он ест, чувствуя, что никогда еще не была так счастлива.

Вскоре он снова уснул, Лиз прикрыла ему плечи одеялом и подошла к окну. Раздвинув шторы, она выглянула наружу. Оба окна напротив были освещены. В одном мерцал голубоватый свет телеэкрана, перед которым неподвижно застыли люди, в другом молодая женщина закручивала волосы на бигуди. Лиз стало так жаль их, что захотелось заплакать.

Она заснула в кресле и проснулась лишь к

рассвету от холода и неудобной позы. Подошла к кровати. Лимас поежился во сне под ее взглядом, и она коснулась его губ кончиком пальца. Не открывая глаз, он нежно взял ее за руку и привлек к себе, и вдруг ей ужасно захотелось его, и ничто больше не имело никакого значения, она целовала его снова и снова, а когда смотрела на него, ей казалось, что он улыбается.

Лиз приходила к нему еще в течение шести дней. Он был не особенно разговорчив, а когда она однажды спросила, любит ли он ее, ответил, что не верит в волшебные сказки. Она обычно лежала, положив голову ему на грудь, а он иногда запускал свои толстые пальцы ей в волосы и довольно сильно дергал, и Лиз говорила, смеясь, что ей больно. В пятницу вечером она застала его одетым, но не бритым, и удивилась, отчего он не побрился. Почему-то это ее встревожило. В комнате не было кое-каких привычных вещей — часов и дешевого транзистора, стоявшего обычно на столе. Ей хотелось спросить, что это значит, но она не решилась. Лиз принесла яиц и ветчины и принялась готовить ужин, а он сидел на кровати и курил одну сигарету за другой. Когда ужин был: готов, он вышел на кухню и вернулся с бутылкой красного вина.

За ужином он почти ничего не говорил, и она следила за ним с растущим страхом. Наконец страх стал невыносимым, и она заплакала.

— Алек, о Господи, Алек… что все это значит? Это прощание?

Он поднялся из-за стола, взял ее за руки, поцеловал так, как никогда не целовал прежде, и нежно заговорил с ней. Он говорил долго, рассказывал ей о чем-то, чего она не воспринимала и не понимала, потому что знала, что это конец, а все остальное уже не имело значения.

— Прощай, Лиз, — сказал он и повторил:

— Прощай. И не ищи меня. Никогда больше не ищи.

Она кивнула и пролепетала:

— Как мы договаривались.

Она была рада холоду и ночной тьме на улице, в которой было не разглядеть ее слез.

На следующее утро в субботу Лимас попросил лавочника отпустить ему в кредит. Сделал он это весьма бесцеремонно, словно и не стремился получить то, о чем просил. Он выбрал с полдюжины вещей на сумму не больше фунта, а когда их упаковали и положили в пакет, сказал:

— Пришлите-ка мне лучше счет.

Лавочник криво улыбнулся:

— Боюсь, это невозможно, — сказал он, намеренно опустив обычное «сэр».

— Что значит невозможно? — заорал Лимас, и выстроившаяся за ним очередь глухо заворчала.

— Вы не являетесь постоянным покупателем.

— Какого черта! Я таскаюсь сюда уже четыре месяца.

Лавочник побагровел.

— Прежде чем предоставить кредит, мы просим предъявить чековую книжку.

Лимас взорвался.

— Не пори чушь! — заорал он. — Половина твоих покупателей сроду не видала чековой книжки и помрет, так и не увидев ее.

Это было чудовищной наглостью, поскольку полностью соответствовало действительности.

— Я вас не знаю, — внушительно повторил лавочник, — и вы мне не нравитесь. А теперь убирайтесь отсюда!

Он попытался вырвать у Лимаса пакет, но тот крепко держал его.

О том, что произошло вслед за этим, рассказывали по-разному. Одни говорили, что лавочник, отнимая сумку, толкнул Лимаса, другие, что не толкал. Так или иначе, Лимас ударил его. По свидетельству большинства присутствовавших,

даже дважды, не прибегая к помощи правой руки, в которой все еще держал сумку. Кажется, он ударил не кулахом, а ребром ладони. А потом тем же неуловимым быстрым движением — локтем. Лавочник рухнул как подкошенный и замер. Позднее на суде было сказано — и не опротестовано защитой, — что лавочнику были нанесены два телесных повреждения: первым ударом раздроблена скула, а вторым выбита челюсть. Освещение этого инцидента в ежедневных новостях было адекватным, но не слишком детальным.

Глава 6
Контакт

Ночами он лежал на койке, прислушиваясь к шуму тюрьмы. Один парень все время хныкал, а какой-то старик без умолку пел похабщину, отбивая такт на жестяной миске. Надзиратель после каждого куплета кричал ему: «Заткнись, Джордж, мать твою так», — но и он, и все остальные плевать на это хотели. Был тут и ирландец, распевавший гимны ИРА, хотя, как поговаривали, сел он за изнасилование.

Лимас что было сил выкладывался днем на работе в надежде, что это поможет ему уснуть ночью, но все было напрасно. Ночью ты понимаешь, что сидишь в тюрьме, ночью нет ничего — ни обмана зрения, ни самообмана, — способного уберечь тебя от тошнотворного сознания того, что ты в камере. Ночью тебе не избавиться от вкуса тюрьмы, от запаха арестантской одежды, от вони дезинфицирующих средств, на которые тут не скупятся, от звуков упрятанных сюда людей. Именно ночами унизительность несвободы становится особенно нестерпимой, именно но-

чами Лимасу особенно хотелось пройтись по залитому солнцем Лондонскому парку. Именно тогда он особенно сильно ненавидел гротескную стальную клетку, в которой оказался, и ему с трудом удавалось подавить в себе желание голыми руками сломать ее прутья, разбить головы тюремщикам и вырваться на волю, в свободный, бесконечно свободный Лондон. Иногда он вспоминал Лиз. Он наводил свои мысли на нее ненадолго, словно фотокамеру, лишь на мгновение позволяя себе вспомнить нежно-упругое прикосновение ее длинного тела, и сразу же прогонял это воспоминание прочь. Лимас был не из тех, кто привык витать в облаках.

С сокамерниками он держался высокомерно, а те ненавидели его. Они ненавидели его за то, что ему удалось воплотить собой их сокровенную мечту — быть загадкой. Он не давал заглянуть себе в душу, в самую главную ее часть; его невозможно было подловить на минутном расслаблении, когда бы он вдруг пустился в рассказы о своей девке, семье или детях. Они ничего не знали о Лимасе, они ждали, что он наконец расколется, но ждали напрасно. Новички в камере обычно бывают двух сортов: одни от стыда или ужаса сами стремятся к скорейшему посвящению

в убийственные тайны тюремной жизни, другие, спекулируя на своей жалкой неопытности, пытаются остаться в стороне. Лимас не делал ни того, ни другого. Он, казалось, довольствовался тем, что презирал всех, а они ненавидели его за то, что он, подобно миру за тюремной стеной, прекрасно обходился без них.

Дней через десять терпение их иссякло. Сила солому ломит — и они окружили его в очереди за обедом. Подобное окружение в восемнадцативековой тюремной практике неизбежно предшествует избиению «втемную». Началось все как бы случайно, когда жестяная миска одного из заключенных вдруг опрокинулась, забрызгав содержимым его одежду. Его толкнули с одной стороны, а с другой ему на плечо легла услужливая рука, и дело было сделано. Лимас ничего не сказал, задумчиво поглядел на тех двоих по обе стороны от него и безропотно снес грязное замечание тюремщика, прекрасно понимавшего, что тут произошло.

Четыре дня спустя, мотыжа тюремную клумбу, Лимас вроде бы вдруг споткнулся. Он держал мотыгу обеими руками, из правого кулака торчал конец рукоятки длиной дюймов в шесть. Когда он восстановил равновесие и выпрямился, заклю-

ченный, работавший справа от него, согнулся в чудовищных муках, прижимая руки к животу. «Темная» больше не повторялась.

Самым, пожалуй, странным из всего, связанного с тюрьмой, был упакованный в коричневую бумагу сверток, который ему вручили при выходе. Почему-то это напомнило ему обряд бракосочетания: этим кольцом я венчаю вас, с этой упаковкой я возвращаю тебя миру. Они отдали ему сверток и заставили расписаться за него — в нем содержалось все, чем он в этом мире владел. Больше у него ничего не было. Лимас счел это самым унизительным из всего, что ему довелось вытерпеть за три месяца, и твердо решил выкинуть сверток, как только выйдет на улицу.

Поведение его в тюрьме не вызывало нареканий. Жалоб на него не поступало. Начальник тюрьмы, слегка поинтересовавшись этим делом, втайне списал все на горячую ирландскую кровь, которую — он готов был поклясться в этом — распознал в Лимасе.

— Чем вы намерены заняться, выйдя отсюда? — спросил он Лимаса.

Без тени улыбки тот ответил, что намерен начать жизнь сначала, и начальник тюрьмы заявил, что это великолепное решение.

— А что с семьей? — спросил он. — Вы не думаете помириться с женой?

— Я-то думаю, — равнодушно ответил Лимас, — только она замужем.

Сотрудник по надзору за бывшими заключенными порекомендовал Лимасу место санитара в психиатрической лечебнице в Букингемшире, и Лимас не стал спорить. Он даже взял расписание электропоездов до Мерилибона.

— Теперь электричка ходит до самого Грит-Миссендена, — добавил сотрудник. Лимас сказал, что это как нельзя кстати.

И вот ему выдали упакованный в бумагу сверток и отпустили. Он доехал автобусом до Мраморной Арки, а дальше пошел пешком. У него было немного денег, и он решил как следует пообедать. Он собирался дойти через Гайд-парк до Пикадилли, а затем через Гринпарк и Сент-Джеймс-парк до Парламентской площади, пройти мимо Уайтхолла до Стренда, где можно зайти в большое кафе возле станции Чаринг-кросс и заказать отменный бифштекс за шесть шиллингов.

В тот день Лондон был очень красив. Стояла поздняя весна, в парке цвели крокусы и нарциссы. Свежий, прохладный ветер дул с юга — Лимас мог бы бродить так целый день. Но в руках у него

все еще был сверток, и ему предстояло от него избавиться. Урны на улицах слишком малы, и было бы нелепо пытаться засунуть сверток в одну из них. Кроме того, не мешало бы кое-что извлечь из свертка, в основном бумаги: страховую карточку, водительские права и его Е.93 (что бы это ни значило) в большом официальном конверте, но вдруг он почувствовал, что ему не до этого. Он сел на скамью и положил сверток рядом с собой, но не слишком близко, а потом еще чуть отодвинулся. Через несколько минут он встал и пошел к аллее, оставив сверток на скамье. Он уже дошел до аллеи, когда его окликнули. Он обернулся — быть может, излишне резко — и увидел человека в плаще армейского покроя, держащего в руках сверток.

Лимас остановился, не вынимая рук из карманов и глядя через плечо на человека в плаще. Тот колебался, вероятно полагая, что Лимас подойдет к нему или хоть как-то выкажет свою заинтересованность, но Лимас оставался безразличен. Более того, он пожал плечами и снова пошел по аллее. Его еще раз окликнули, но он даже не обернулся, понимая, что мужчина последует за ним. Он услышал шаги, быстро приближающиеся по гравию, а затем голос, запыхавшийся и

раздраженный:

— Эй, вы! Я ведь вам говорю! — Тут он догнал Лимаса, и тот остановился и обернулся.

— В чем дело?

— Это ведь ваш сверток? Вы забыли его на скамейке. Почему вы не остановились, когда я кричал вам?

Мужчина был высокого роста с вьющимися каштановыми волосами. Оранжевый галстук, бледно-зеленая сорочка. «То ли щеголь, то ли в душе лидер, — подумал Лимас. — Наверное, учитель, выпускник Лондонского экономического колледжа, руководит драмкружком где-нибудь в пригороде. Явно близорук».

— Разрешаю вам его выкинуть, — сказал Лимас. — Мне он не нужен.

Мужчина покраснел.

— Но не можете же вы бросать вот так на скамейке. Это ведь мусор.

— Поверь, приятель, могу, — возразил Лимас. — А вдруг кому-то он пригодится.

Он собрался было идти дальше, но незнакомец продолжал стоять перед ним, держа сверток, словно младенца, обеими руками.

— Ну-ка, посторонитесь, — сказал Лимас. — Да и в чем, собственно, дело?

— Послушайте, — голос незнакомца поднялся на пару тонов, — я ведь хотел оказать вам услугу, почему же вы хамите мне?

— Вы так хотите оказать мне услугу, что преследуете меня уже полчаса?

«Держится он неплохо, — подумал Лимас, — не отступается, хотя я здорово достал его».

— По правде говоря, мне показалось, что мы с вами встречались в Берлине.

— И вы тащились за мной полчаса, чтобы сказать мне это?

— Ну уж и полчаса, ничего подобного. Я увидел вас возле Мраморной Арки и подумал: «Да это, верно, Алек Лимас. Тот самый, у которого я когда-то призанял деньжат». Я работал в Берлине на Би-Би-Си, и там тогда был человек, у которого я одолжил деньги. С тех пор меня мучает совесть. Вот почему я пошел за вами. Хотел убедиться, что это вы и есть.

Лимас молча продолжал разглядывать его, думая о том, что тип этот держится недурно, хотя и не слишком хорошо. Байка была весьма неправдоподобной, но дело не в ней. Главное, что она оказалась наготове, едва Лимас свел на нет ситуацию, которая была поистине классическим поводом для знакомства.

— Я-то Лимас, — сказал он наконец. — А вы, черт побери, кто такой?

Его звали, как он сказал, Эш, с одним «ш» на конце, добавил он сразу же, и Лимас понял, что имя не настоящее. Эш сделал вид, будто не до конца уверен, что Лимас — это Лимас, поэтому за обедом они вскрыли пакет и уставились на страховую карточку, словно — подумалось Лимасу — два подростка на порнографическую открытку. Эш заказывал блюда с чуть меньшей оглядкой на цены, чем следовало бы: сейчас они пили дорогое немецкое вино в память о былых временах. Лимас начал с настойчивых уверений в том, что не может вспомнить Эша, а Эш ответил, что это его чрезвычайно удивляет. И постарался, чтобы Лимас почувствоввл в его голосе обиду. Они встретились на вечеринке, напомнил он, которую давал Дерек Уильямс в своей квартирке на Курфюрстендам (что и впрямь могло иметь место), и там были все парни из газет, Алек наверняка помнит это. Но Алек не помнил. Ну хорошо, но Дерека-то из «Обзервер», того славного мужика, который устраивал замечательные вечеринки с пиццей, он помнит? Нет, у Лимаса чертовски плохая память на имена, и вообще они говорят о пятьдесят четвертом годе, а с тех пор

Бог знает сколько воды утекло… Эш (его полное имя Уильям, но, по правде говоря, большинство знакомых зовут его просто Биллом) вспомнил все до мельчайших подробностей. Они пили коктейли, коньяк и creme de menthe, все уже были изрядно под мухой, а Дерек назвал в гости отменных бабенок, полкабаре из Малькастена, ну теперь-то Алек припоминает? Лимас подумал, что и впрямь все вспомнит, если Билл немедленно не заткнется.

Однако Билл не заткнулся, он явно импровизировал на ходу, но делал это неплохо, нажимая в том числе и на секс: он напомнил, как они закончили вечер в ночном клубе с тремя из этих девиц: Алек, парень из политической консультационной службы и Билл, но Билл, к собственному удивлению, обнаружил, что остался без копейки, и Алек заплатил за него, а затем Биллу захотелось прихватить одну из девиц к себе, и Алек ссудил его еще десяткой.

— Господи, — сказал Лимас, — ну, кажется, теперь припоминаю. Конечно, припоминаю.

— Я знал, что вы вспомните, — с блаженной улыбкой отозвался Эш, кивая Лимасу поверх бокала. — А не взять ли нам еще полбутылочки?

Эш был типичным представителем той породы

людей, что строит взаимоотношения с остальным миром на принципе спроса и предложения. Или, если угодно, наступления и обороны. Почуяв слабину, он наступал, а натолкнувшись на сопротивление, отступал. Он с одинаковой охотой готов был пить чай у Фортнума и пиво на проспекте Уитби, слушать духовой оркестр в Сент-Джеймс-парке или джаз в подвале на Комптон-стрит, его голос мог сочувственно задрожать, когда он говорил о притеснениях негров в Шапервилле, или налиться гневом, когда речь заходила о том, как обнаглело в Англии цветное население. Лимасу подобное хамелеонство было омерзительно, оно будило в нем зверя: он то и дело загонял собеседника в ловушку, вынуждая его высказать собственное суждение, а затем резко менял точку зрения, так что Эша весь вечер кидало из огня да в полымя. По ходу беседы не раз возникали моменты, когда Эш просто обязан был прервать его — тем более что по счету предстояло платить ему, — но он этого не делал. Грустный коротышка в очках, в одиночестве сидевший за соседним столиком, уткнувшись в книгу по производству шарикоподшипников, мог бы решить (если бы прислушался к их беседе), что Лимас страдает садистскими наклонностями, или (если

бы оказался достаточно проницательным) догадаться о том, что подобное обращение с собой может вынести лишь человек, преследующий какие-то тайные цели.

Счет они попросили только около четырех. Лимас попытался было настоять на оплате половины суммы, но Эш и слышать об этом не желал. Он оплатил счет и вынул чековую книжку, намереваясь уладить дело со своим долгом Лимасу.

— Двенадцать гиней, — сказал он и проставил дату.

Потом поглядел на Лимаса, все так же услужливо.

— Полагаю, чек вас устроит?

— Я еще не успел открыть счет, — покраснев, ответил Лимас, — понимаете ли, я только что вернулся из-за границы, нужно было кое-что закончить. Дайте мне чек, и я получу по нему в вашем банке.

— Дорогой мой, я не могу вас так затруднять! Вам пришлось бы отправиться с ним в Розерхис!

Лимас пожал плечами. Эш рассмеялся, и они порешили встретиться здесь же завтра, когда у Эша будут наличные.

Эш поймал такси на углу Комптон-стрит, и Лимас махал ему вслед, пока тот не скрылся из

виду. Затем поглядел на часы. Было четыре. Полагая, что за ним еще ведется слежка, он прошел пешком вниз по Флит-стрит и выпил чашку кофе в «Блэк энд Уайт». Потом заглянул в книжный магазин, прочел вечерние газеты в витринах редакции и вдруг неожиданно — будто эта мысль осенила его только что — вскочил в подошедший автобус. Автобус шел по Дадгейт-Хилл, где попал в пробку у станции метро. Лимас слез и вошел в метро. Он купил шестипенсовый билет, сел в последний вагон и сошел на следующей остановке. Пересел на другую линию к Юстону и поехал в сторону Чаринг-кросс. Когда он добрался туда, было уже девять, и стало довольно холодно. У станции стоял фургон, водитель дремал в кабине.

Лимас посмотрел на номер, подошел и спросил через стекло:

— Вы из Клементса?

Водитель сразу очнулся и спросил в свой черед:

— Вы мистер Томас?

— Нет, — ответил Лимас, — Томас не смог прийти. Я Эмис из Хаунслоу.

— Забирайтесь, мистер Эмис, — сказал водитель и открыл дверцу.

Они поехали на запад по направлению к Кингсроуд. Водитель хорошо знал дорогу.

Дверь открыл Контролер.

— Джордж Смайли в отъезде, — сказал он. — Я пока решил пожить тут. Заходите.

Контролер не зажигал света в доме, пока Лимас не вошел и не закрыл за собой дверь.

— За мной следили с обеда, — сказал Лимас.

Они прошли в небольшую гостиную. Повсюду были книги. Комната была очень красивая — с высокими потолками, лепниной восемнадцатого века, длинными окнами и добротным камином.

— Они вышли на контакт сегодня утром. Человек, назвавшийся Эшем. — Лимас зажег сигарету. — Явно пидер. Мы договорились с ним на завтра.

Контролер внимательно выслушал отчет Лимаса, звено за звеном, начиная с того дня, когда он ударил бакалейщика, и до встречи с Эшем.

— Ну и как вам понравилось в тюрьме? — осведомился он, словно речь шла о пребывании на курорте.

— Жаль, что мы не могли обеспечить вам условий получше, создать хотя бы минимальный комфорт, но это испортило бы все дело.

— Разумеется.

— Нужно вести себя последовательно. На каждом этапе вести себя последовательно. Кроме того, нельзя было пресекать слухи. Как я знаю, вы болели. Приношу соболезнования. Что с вами было?

— Обычная простуда.

— Сколько дней вы проболели?

— Дней десять.

— Какая жалость! И, разумеется, никто за вами не ухаживал.

Последовала долгая пауза.

— Вы ведь знаете, что она состоит в коммунистической партии?

— Знаю. — Снова пауза. — Мне не хотелось бы, чтобы ее в это впутывали.

— Кому это нужно? — резко бросил Контролер, на мгновение, как показалось Лимасу, утратив флер академического бесстрастия. — Почему вы решили, что ее впутывают?

— Ничего я не решал, — ответил Лимас. — Я просто высказал свое мнение. Мне прекрасно известно, как проходят такие штуки — все эти наступательные операции. Всегда возникает побочный эффект и развитие в непредвиденных направлениях. Вы думаете, что открываете Индию, а на самом деле открываете Америку. Я

настаиваю, чтобы она оставалась в стороне от всего этого.

— Понятно, понятно.

— А что это за человек в бюро по трудоустройству по имени Питт? Он не работал в Цирке во время войны?

— Я не знаю человека с такой фамилией. Как вы сказали — Питт?

— Да, Питт.

— Нет, это имя мне ничего не говорит. В бюро по трудоустройству?

— Ах, да ради Бога… — внятно пробормотал Лимас.

— Извините, — сказал Контролер, вставая, — я забыл о своих хозяйских обязанностях. Не угодно ли выпить?

— Нет. Я хочу уйти отсюда сегодня ночью. Уехать из Лондона и потренироваться. Наш «дом» открыт?

— Я позабочусь о машине. В котором часу, вы говорите, у вас встреча с Эшем? В час?

— Да.

— Я позвоню Хэлдену и скажу ему, что вам хочется поразмяться. Вам не мешало бы проконсультироваться у врача. Эта ваша простуда…

— Обойдусь без врача.

— Хорошо, на ваше усмотрение.

Контролер налил себе виски и принялся меланхолически разглядывать книги на полках.

— А почему нет Смайли? — спросил Лимас.

— Ему не нравится эта операция, — равнодушно ответил Контролер. — Она кажется ему мерзкой. Он понимает, что она необходима, но не хочет принимать в этом участие. Его обычная болезнь.

— Не могу похвастаться, что он встретил меня с распростертыми объятиями.

— Вот именно. Он не желает в этом участвовать. Но ведь он рассказал вам о Мундте и его окружении, не так ли?

— Так.

— Мундт на редкость крутой человек, — сказал Контролер. — Мы ни на секунду не должны забывать об этом. И превосходный контрразведчик.

— А Смайли знает, в чем смысл операции? Ее особая цель?

Контролер кивнул и отхлебнул виски.

— И тем не менее она ему не нравится?

— Это не имеет никакого отношения к этической стороне вопроса. Просто он вроде хирурга, уставшего от крови. Предоставляет оперировать другим.

— Послушайте, а вы абсолютно уверены в том,

что это приведет туда, куда нам надо? Откуда вы знаете, что это именно восточные немцы, а не чехи? Не русские?

— Давайте предположим, — с некоторой торжественностью произнес Контролер, — что все это учтено.

Когда они подошли к выходу. Контролер слегка коснулся плеча Лимаса.

— Это ваше последнее задание, — сказал он. — Потом вы сможете уйти с холода. А что касается этой девицы, не хотите ли сделать какие-нибудь распоряжения? Деньги или что-нибудь еще?

— Когда все будет позади. Но тогда я сам обо всем позабочусь.

— Вот и прекрасно. Было бы крайне неосмотрительно предпринимать что-нибудь прямо сейчас.

— Только пусть ее оставят в покое, — с нажимом повторил Лимас. — Я не желаю, чтобы ее впутывали. Заводили на нее досье и всякое такое. Лучше всего просто забыть о ней.

Он кивнул Контролеру и скользнул в ночь. В ночной холод.

Глава 7
Кифер

На следующий день Лимас опоздал на встречу с Эшем на двадцать минут, и от него пахло виски. Однако это ничуть не убавило радости Эша при виде Лимаса. Он заявил, что сам приехал только что, задержавшись в банке. И протянул Лимасу конверт.

— По одному фунту, — сказал Эш. — Так, наверное, лучше?

— Спасибо, — ответил Лимас. — Давайте выпьем.

Он не побрился, и воротник его рубашки был грязноват. Он подозвал официанта и распорядился насчет напитков: большое виски для себя и джин с тоником для Эша. Когда напитки были уже на столе и Лимас начал наливать в стакан содовую, рука у него дрожала так, что он едва не пролил через край.

Они хорошо поели и основательно выпили. Разговор вел главным образом Эш. Как Лимас и ожидал, он для начала пустился в разглагольствования о себе самом — трюк не новый, хотя

и неплохой.

— Сказать по чести, дела у меня нынче идут совсем недурно, — начал Эш. — Статьи по договору на английские темы для зарубежной прессы. После нашей встречи в Берлине чем только мне не приходилось заниматься! Корпорация не возобновила контракт, и я пошел работать в тошнотворный еженедельник, занимающийся проблемами досуга, причем для тех, кому за шестьдесят. Можете себе вообразить, как это было мерзко? Там я вкалывал до первой забастовки печатников. Представляете, какое облегчение она мне принесла? Затем некоторое время жил вместе с матерью в Челтенхеме — у нее антикварная лавка, кстати говоря, весьма прибыльная. А потом получил письмо от старого дружка — его зовут Сэм Кифер, — который основал новое агентство, специализирующееся на внутренней жизни Великобритании с расчетом на зарубежного читателя. Ну, вы понимаете, о чем я говорю: шестьсот слов о танцульках у Морриса и тому подобное. Однако в работе у Сэма было и кое-что новенькое: он продавал материалы уже в переводе на иностранные языки, а тут, знаете ли, большая разница. Всегда кажется, что можешь нанять переводчика или перевести сам,

но когда получаешь полстолбца для своей статьи, просто не хочется тратить время и деньги на перевод. Идея Сэма состояла в том, чтобы вступить в непосредственный контакт с издателями — он мотался, бедняга, по всей Европе, как цыган, но это окупилось с лихвою.

Эш сделал паузу, чтобы дать Лимасу возможность поговорить теперь о себе самом, но тот не воспользовался ею, а лишь кивнул и сказал:

— Не слабо.

Эш хотел было заказать вина, но Лимас заявил, что по-прежнему предпочитает виски, и к тому времени, когда подали кофе, пропустил уже четыре порции. Похоже, он был в скверной форме: у него появилась типичная для пьяниц привычка присасываться во время питья губами к краешку стакана, словно боясь выронить или разбить его.

Эш ненадолго умолк.

— Вы ведь не знакомы с Сэмом? — спросил он.

— С каким еще Сэмом?

— С Сэмом Кифером, моим шефом. С тем парнем, о котором я рассказывал сейчас. — В голосе Эша послышались нотки раздражения.

— Он что, тоже был в Берлине?

— Нет, не был. Он превосходно знает Германию, но в Берлине никогда не жил. Сэм изрядно

повкалывал в Бонне внештатным корреспондентом. Там вы могли с ним встретиться. Сэм просто миляга.

— Не припоминаю.

Они снова замолчали.

— А чем вы, старина, собственно, занимаетесь? — спросил Эш.

Лимас пожал плечами.

— Меня поставили на полку, — сказал он с дурашливой ухмылкой. — Взяли со стола и поставили на полку.

— Я что-то запамятовал, чем вы занимались в Берлине. Кажется, вы были одним из таинственных рыцарей «холодной войны»?

«О господи, — подумал Лимас, — ты слишком напрямик рвешься к цели». Вздохнув, а затем, покраснев, он возразил:

— Просто занимался конторской работой для этих поганых янки. Как и большинство из нас.

— Знаете ли, — сказал Эш, делая вид, будто собирается изложить итог длительных размышлений, — вам надо бы повидаться с Сэмом. Он вам понравится. — И вдруг озабоченно добавил:

— Алек, я ведь даже не знаю, как в случае чего с вами связаться.

— Это у вас и не получится, — бесхитростно

заявил Лимас.

— Не понимаю, старина. Где вы живете?

— Где придется. Так, мотаюсь туда-сюда. У меня сейчас нет работы. А эти сукины дети нагрели меня с пенсией.

Эш с ужасом уставился на него.

— Но, Алек, почему же вы мне ничего не сказали? Ну, например, вы могли бы пожить у меня. Квартирка так себе, но вдвоем поместиться можно, если вас устроит раскладушка. Вы же не можете ночевать в кустах!

— Ну, теперь-то я в полном порядке, — возразил Лимас, похлопав себя по карману, в котором лежал конверт с деньгами. — Работу мне обещали. — Он кивнул, как бы в подтверждение собственных слов. — Через недельку или дней через десять. И тогда вообще никаких проблем.

— А что за работа?

— А черт ее знает. Работа — и точка.

— Нельзя так швыряться собой, старина! Вы же говорите по-немецки не хуже немца, я сейчас вспомнил. Это открывает перед вами огромные возможности.

— У меня уже были огромные возможности. Я торговал энциклопедиями в какой-то дурацкой американской фирме, разбирал книги в библио-

теке по психиатрии, вешал табельный номерок на вонючей клеевой фабрике. А что еще я могу делать?

Он не глядел на Эша, уставившись глазами в стол, а его повлажневшие губы быстро шевелились. Эш, почувствовав его волнение, перегнулся к нему через стол и заговорил с убежденностью, близкой к ликованию:

— Но, Алек, вам нужны связи, разве не так? Я хорошо понимаю, как это бывает, сам оказывался в переплетах вроде вашего. Главное — понять, к кому обращаться. Не знаю, чем вы занимались в Берлине, да и знать этого не хочу, но ведь это была не та работа, где можно встретить влиятельных людей, верно? Если бы я не встретил Сэма пять лет назад в Познани, я по-прежнему сидел бы в дерьме по самые уши. Послушайте, Алек, поедем ко мне. Поживите у меня недельку-другую. Мы потолкуем с Сэмом и, может, еще с парочкой газетчиков из Берлина, если кто-то из них сейчас в Лондоне.

— Но ведь я не журналист, — возразил Лимас. — Писать я не умею.

Эш положил руку ему на плечо.

— Не суетитесь. Давайте-ка делать все по порядку. Где ваше барахло?

— Мое что?

— Ваши вещи: одежда, пожитки и всякое такое.

— У меня ничего нет. Я все продал, кроме того, что в свертке.

— В каком свертке?

— Коричневом бумажном пакете, который вы подобрали на скамье. Который я собирался выкинуть.

Эш жил на Дольфин-сквер. Квартира была именно такая, какую и ожидал увидеть Лимас, — маленькая и безликая, с подобранными на скорую руку вещицами из Германии: пивными кружками, крестьянской трубкой и несколькими второсортными фарфоровыми безделушками.

— Уик-энд я обычно провожу у матери в Челтенхеме, — сказал Эш. — Здесь бываю только по будням. Тут очень близко, — добавил он примирительно.

Они поставили раскладушку в крошечной гостиной. Было примерно половина пятого.

— Давно вы здесь живете? — спросил Лимас.

— Год или чуть больше.

— И легко сняли?

— Эти квартиры, знаете ли, не проблема. Даете объявление, и однажды утром вам звонят и на-

зывают адрес.

Эш приготовил чай. Лимас пил угрюмо, как человек, не привыкший к комфорту. Даже Эш, казалось, был чем-то подавлен. После чая он сказал:

— Пойду куплю чего-нибудь, пока не закрылись лавки. А потом решим, что делать дальше. Попозже я позвоню Сэму. Думаю, чем скорее вы с ним увидитесь, тем лучше. Советую вам немножко поспать — у вас очень усталый вид.

Лимас кивнул.

— Вы чертовски добры ко мне. — Он описал круг рукой. — Со всем этим.

Эш похлопал его по плечу, надел плащ и вышел.

После того как Эш, по расчетам Лимаса, вышел на улицу, Лимас выскользнул из квартиры и спустился в нижний холл, где были две телефонные будки. Он набрал номер в Майда-Вейле и попросил к телефону секретаршу мистера Томаса. Ему тотчас же ответил женский голос:

— Секретарь мистера Томаса у телефона.

— Я звоню по поручению мистера Сэма Кифера, — сказал Лимас. — Он принимает приглашение и намерен встретиться с мистером Томасом сегодня вечером.

— Я передам это мистеру Томасу. Ему известно, где вас можно найти?

— Дольфин-сквер, — сказал Лимас и назвал точный адрес. — До свидания.

Проделав определенные разыскания у стола привратника, он поднялся в квартиру Эша, сел на раскладушку, крепко сцепил ладони и опустил голову. Потом прилег, решив последовать совету Эша и немного отдохнуть. Закрыв глаза, он представил, что находится на Бейсуотер-стрит и рядом с ним лежит Лиз, и на секунду позволил себе задуматься о том, что с ней сейчас.

Его разбудил Эш, пришедший вместе с маленьким, довольно полным господином в двубортном костюме и с длинными, зачесанными назад седеющими волосами. Он говорил с легким акцентом — должно быть, немец, но судить наверняка трудно. Он сказал, что его зовут Кифер. Сэм Кифер.

Они пили джин с тоником, и говорил в основном Эш. Все как в добрые старые времена в Берлине, сказал он: мужская компания и вся ночь впереди. Кифер возразил, что не намерен слишком засиживаться: завтра с утра ему предстоит работать. Решили поужинать в китайском ресторане, который порекомендовал Эш, напротив Лимхаузского полицейского участка: туда

можно приходить со своим вином. У Эша, словно по заказу, на кухне нашлось бургундское, и они прихватили его с собой в такси.

Еда была отменной, и они выпили обе бутылки. Кифер позволил себе чуть-чуть приоткрыться: он, оказывается, только что вернулся из Германии и Франции. Во Франции полный бардак, де Голля со дня на день могут сместить, и одному Богу известно, что тогда будет. Принимая во внимание сотни тысяч деморализованных алжирских колонистов, вынужденных вернуться во Францию, ее скорее всего ожидал фашизм.

— А что в Германии? — подкинул ему тему Эш.

— Вопрос в том, смогут ли янки с ними управиться. — Кифер испытующе поглядел на Лимаса.

— Что вы имеете в виду? — спросил тот.

— Именно то, что сказал. Одной рукой Даллес предоставил им право на самостоятельную внешнюю политику, а другой рукой Кеннеди отобрал это право. Кому бы такое пришлось по вкусу?

— Типично для идиотов американцев, — кивнул Лимас.

— Алек, похоже, недолюбливает наших американских кузенов, — с нажимом произнес Эш, и Кифер как бы про себя пробормотал:

— Вот как?

Кифер, понял Лимас, настроился на затяжную игру. Как опытный лошадник, выжидающий, пока лошадь сама подойдет к нему. Он превосходно играл роль человека, знающего, что у него попросят об одолжении, и не собирающегося делать его немедленно.

После ужина Эш сказал:

— Я знаю одно местечко на Уордор-стрит — да, вы, Сэм, там бывали. Там умеют доставить удовольствие. Почему бы не взять такси и не поехать туда?

— Минуточку, — сказал Лимас, и в голосе его было нечто заставившее Эша встревоженно поглядеть на него. — Объясните-ка мне кое-что, ладно? Кто за все это платит?

— Я, — ответил быстро Эш. — То есть мы с Сэмом.

— Вы так договорились заранее?

— Мы? Нет.

— Я ведь практически без гроша, и это вам вроде бы известно? Во всяком случае, я не могу швыряться деньгами.

— Разумеется, Алек. Но ведь до сих пор я обо всем заботился, верно?

— Да, — буркнул Лимас. — Что верно, то верно.

Казалось, он собирался что-то добавить, но затем передумал. Эш выглядел обеспокоенным, но не обиженным, а Кифер держался по-прежнему невозмутимо.

В такси Лимас демонстративно молчал. Эш попытался было примирительно поговорить с ним, но он только раздраженно пожал плечами. Они прибыли на Уордор-стрит и вылезли из машины, причем ни Лимас, ни Кифер не сделали ни малейшей попытки расплатиться с шофером. Эш повел их мимо витрины, уставленной журналами для мужчин, по узкой аллее, в дальнем конце которой сияла неоновая вывеска: «Клуб ласковых кошечек — вход только членам клуба». По обеим сторонам от двери висели фотографии девиц, к каждой была прикреплена полоска бумаги со словами: «Осмотр достопримечательностей. Только для членов клуба».

Эш позвонил. Дверь сразу же открыл великан в белой рубашке и черных брюках.

— Я член клуба, — сказал Эш, — а эти джентльмены — мои гости.

— Позвольте взглянуть на ваш билет.

Эш достал из бумажника карточку и передал ее вышибале.

— Вашим гостям придется заплатить по фунту

с каждого за временное членство. Вы ведь рекомендуете их, не так ли?

Он протянул карточку Эшу, но Лимас перехватил ее. Внимательно рассмотрел, а потом вернул Эшу. Достав два фунта из заднего кармана брюк, Лимас вложил их в руку вышибалы.

— Два фунта, — сказал Лимас, — с гостей.

И, не обращая внимания на возмущенные восклицания Эша, прошел, увлекая за собой остальных, через занавешенные двери в полутьму клубного холла.

— Найди-ка нам, парень, столик, — обернулся он к вышибале. — И принеси бутылочку шотландского виски. Да проследи, чтобы нам никто не мешал.

Вышибала заколебался, но решил не спорить и проводил их вниз по лестнице в ресторан. Спускаясь, они слышали приглушенные звуки оркестра, исполнявшего какую-то невнятную мелодию. Им достался столик в конце зала. Музыкантов было всего двое, а вокруг сцены за столиками по две и по три сидели девицы. Заметив новых гостей, две из них поднялись с места, но великан-вышибала отрицательно покачал головой, Пока не принесли виски, Эш то и дело опасливо поглядывал на Лимаса, а Кифер, казалось, слегка скучал.

Официант принес бутылку виски и три бокала, и они молча глядели, как он понемногу наливал в каждый бокал. Лимас отобрал у него бутылку и долил всем троим. После чего перегнулся через стол и спросил Эша:

— А теперь объясните, что все это, черт побери, значит?

— А в чем дело? — кажется, растерялся Эш. — Что вы имеете в виду, Алек?

— В тот день, когда меня выпустили из тюрьмы, вы тащились за мной от самых ворот, — спокойно начал Лимас. — С какой-то дурацкой историей о встрече в Берлине. Вы вернули мне деньги, которых у меня не одалживали. Вы кормили меня роскошными обедами и привезли к себе домой.

— Ну, если все дело в этом… — покраснев, пробормотал Эш.

— Не перебивайте меня, — рявкнул Лимас. — Подержите язык за зубами, пока я не договорю до конца, ясно? Ваш членский билет выписан на имя Мерфи. Это ваше имя?

— Нет, не мое.

— Значит, ваш друг по фамилии Мерфи одолжил вам свой членский билет?

— Нет, по правде говоря, это не так. Я иногда захожу сюда подцепить девку. И вступил в клуб

под фальшивым именем.

— Тогда почему ваша квартира зарегистрирована на имя Мерфи? — спросил Лимас.

Тут наконец заговорил Кифер.

— Езжай-ка домой, — сказал он Эшу. — Мы сами разберемся.

На сцене девица исполняла стриптиз — молодая, довольно неряшливого вида, с темным синяком на ляжке. Ее нагота была столь жалкой и тщедушной, что даже не возбуждала — безвкусная и антиэротичная. Она медленно поворачивалась, временами дергая руками и ногами, словно музыка доходила до нее лишь урывками, и не сводила с публики глаз заинтригованного ребенка, внезапно оказавшегося в компании взрослых. Вдруг темп музыки резко ускорился, девица отреагировала на это, как собака на свист, и начала раскачиваться туда-сюда. Сняв на последней ноте бюстгальтер, она подняла его высоко над головой, выставив на всеобщее обозрение тощее тело с тремя нелепыми полосками фольги, болтавшимися на нем, как мишура на осыпавшейся елке.

Стриптиз они посмотрели молча, Лимас и Кифер.

— Вероятно, сейчас вы приметесь уверять меня,

что мы с вами видели в Берлине кое-что получше, — сказал в конце концов Лимас, и Кифер заметил, что он все еще в бешенстве.

— Вы, думаю, действительно, видели, — мирно ответил он. — Сам я частенько бывал в Берлине, но, боюсь, ночные клубы не по моей части.

Лимас ничего не сказал на это. — Не подумайте, что я ханжа. Скорее уж прагматик. Если мне нужна женщина, я знаю много способов заполучить ее подешевле, а когда мне хочется потанцевать, нахожу для этого более подходящие места.

Лимас, казалось, не слушал его.

— Может быть, вы все-таки объясните мне, почему этот пидер пристал ко мне? — спросил он.

Кифер кивнул.

— Разумеется. Пристал, потому что я приказал ему.

— Для чего?

— Вы представляете для меня определенный интерес. Я хотел бы сделать вам предложение по части работы — журналистской, разумеется.

Снова пауза.

— Журналистской, — сказал Лимас. — Понятно.

— Я руковожу агентством. Международная служба информации, знаете ли. Мы хорошо пла-

тим, очень хорошо, за интересный материал.

— Кто публикует материал?

В голосе Лимаса послышались угрожающие нотки, и на мгновенье, всего на мгновенье, по гладкому лицу Кифера пробежала тень уважительного признания.

— Клиенты международного ранга. У меня есть компаньон в Париже, который размещает большую часть моего материала. Часто я сам не знаю, кто именно публикует. Признаться, — добавил он с обезоруживающей улыбкой, — мне на это наплевать. Они платят и просят приносить еще. Это, Лимас, люди, не привыкшие мелочиться, они платят щедро, они, например, готовы переводить деньги на счета в иностранные банки, где никого не заботят такие пустяки, как подоходный налог.

Лимас ничего не ответил. Он сидел, держа обеими руками бокал и уставясь в него.

«О Господи, — думал он, — они нарушают собственные правила, это уже ни в какие ворота не лезет». Ему пришла в голову дурацкая шутка, бытующая на танцульках: подобное предложение порядочная девушка не может принять до тех пор, пока не поймет, сколько ей заплатят. Тактически, решил он, они действуют совершенно правильно: я сижу в полном дерьме, только что

из тюрьмы, сильнейшее неприятие окружающего. Святую невинность я из себя строить не стану и не стану говорить, будто они оскорбили во мне чувства британского джентльмена и патриота.

С другой стороны, они не могут не считаться с практическими препятствиями и затруднениями. Они понимают, что ему, конечно, страшно, ибо британская разведка преследует предателей и перебежчиков, как Господь Бог Каина. И вообще, во всем этом деле есть немалый риск. Они должны учитывать то, что непоследовательность, свойственная человеческой природе, может свести на нет наилучшим образом спланированную операцию; что мошенники, лжецы и преступники способны порой устоять перед любым давлением, тогда как респектабельного джентльмена можно при случае склонить к государственной измене за понюшку табаку».

— Здорово же им приходится платить, — пробормотал он наконец.

Кифер подлил ему виски.

— Они предлагают единовременную выплату в размере пятнадцати тысяч фунтов. Деньги уже переведены на счет Кантонального банка в Берне. Предъявив удостоверяющие личность документы, которыми мои друзья снабдят вас,

вы сможете снять деньги со счета. Мои клиенты оставляют за собой право в течение года обратиться к вам за дополнительной информацией за дополнительную плату в пять тысяч фунтов. Они также готовы помочь вам решить любые проблемы по… ну, скажем, по перемене места жительства, если возникнет необходимость.

— Когда вы хотите получить ответ?

— Немедленно. Вам незачем фиксировать все ваши воспоминания на бумаге. Вы встретитесь с моим клиентом, и он устроит так, что предоставленный вами материал обработают… литературные «негры».

— Где я должен с ним встретиться?

— Мы полагаем, что для всех будет удобнее встретиться за пределами Соединенного Королевства. Мой клиент предлагает Голландию.

— Но у меня нет заграничного паспорта, — мрачно сказал Лимас.

— Я позволил себе позаботиться об этом, — учтиво заметил Кифер. Ни в его голосе, ни в манере держаться не было и намека на то, что заключается нечто иное, чем обычное деловое соглашение. — Мы летим в Гаагу завтра утром в 9.45. Не поехать ли нам ко мне, чтобы обстоятельно обсудить все детали?

Кифер расплатился, они взяли такси и поехали во вполне приличный район неподалеку от Сент-Джеймс-парка.

Квартира Кифера была дорогой и шикарной, но ее обстановка почему-то наводила на мысль, что все приобретено в крайней спешке. Есть, говорят, в Лондоне такие лавки, где вам продадут книги под цвет обоев и обои под цвет книг. Лимас, не будучи особенно чувствительным к тонкостям такого рода, все же с трудом поверил, что находится на частной квартире, а не в гостиничном номере. Когда Кифер провел его в отведенную комнату (окна которой, кстати, выходили в темный внутренний двор, а не на улицу), Лимас спросил:

— И давно вы тут живете?

— Ах, недавно, — небрежно бросил Кифер. — Всего несколько месяцев.

— Обошлось, верно, недешево. Впрочем, вы, думаю, таких денег стоите.

— Благодарю вас.

В комнате Лимаса на посеребренном подносе стояла бутылка виски и сифон с содовой. Занавешенная дверь в дальнем конце комнаты вела в ванную и клозет.

— Недурное гнездышко. И за все это платит

великое государство трудящихся?

— Ну-ка заткнитесь, — рявкнул Кифер и тут же добавил:

— Если я понадоблюсь, вот внутренний телефон. Я ложиться не буду.

— Спасибо, ширинку я и сам расстегнуть сумею, — ответил Лимас.

— Что ж, доброй ночи, — бросил Кифер и вышел.

«Он ведь тоже на пределе», — подумал Лимас.

Лимаса разбудил звонок телефона на ночном столике. Звонил Кифер.

— Шесть утра. Завтрак в половине седьмого.

— Ладно, — буркнул Лимас и повесил трубку. С похмелья у него трещала голова.

Кифер, должно быть, вызвал такси по телефону, потому что ровно в семь в дверь позвонили.

— Вы собрались? — спросил Кифер.

— У меня нет вещей, только зубная щетка и бритва.

— Об этом уже позаботились. А в остальном вы готовы?

— Думаю, что да, — пожал плечами Лимас. — У вас нет сигарет?

— Нет, — ответил Кифер. — Они найдутся в самолете. Поглядите-ка лучше вот на это.

И он протянул Лимасу британский паспорт. Он был выписан на имя Лимаса с его фотографией и проштемпелеван в углу печатью министерства иностранных дел. Паспорт был не новым, но и не слишком потрепанным; Лимас был охарактеризован в нем как клерк, по семейному положению холостой. Взяв его в руки, Лимас впервые чуть занервничал. Это ведь все равно что жениться: как бы дело ни повернулось, назад дороги уже нет.

— А как насчет денег?

— Они вам не понадобятся. Все предусмотрено.

Глава 8
Мираж

Утро было холодным, легкий туман, липкий и серый, покусывал кожу. Аэропорт напомнил Лимасу дни войны: едва различимые в пелене самолеты терпеливо поджидали свои экипажи, гулкие голоса, внезапный окрик и неуместный тут стук девичьих каблучков по бетону, рев двигателя прямо у тебя над ухом. И повсюду та заговорщицкая атмосфера, которая окутывает людей, поднявшихся до зари, — некое чувство превосходства над всеми остальными, не замечающими, как уходит ночь и наступает утро. Экипаж, несущий на себе печать раннего вставания и утреннего холода, обращался с пассажирами с равнодушием солдат, только что вернувшихся с фронта: презренные смертные — это утро не для них.

Кифер снабдил Лимаса багажом, что было очень предусмотрительно, и Лимас оценил это. Пассажиры без багажа бросаются в глаза, что вовсе не входило в планы Кифера. Они отметились у стойки и направились по указателю к

паспортному контролю. Но тут случилась нелепая заминка: они пошли не в том направлении, и Кифер наорал на носильщика. Лимас решил, что Кифер нервничает из-за паспорта — и совершенно напрасно, потому что, на его взгляд, паспорт был в полном порядке.

Паспорта проверял сравнительно молодой плюгавый мужчина в галстуке, какие носят в разведывательных войсках, и с каким-то загадочным значком на лацкане. У него были рыжие усики и областной говор, наверняка причинявший ему неимоверные страдания.

— Надолго едете, сэр? — спросил он Лимаса.

— На пару недель.

— Будьте внимательны, сэр. Ваш паспорт действителен только до тридцать первого.

— Знаю, — сказал Лимас.

Они вместе прошли в зал ожидания. По дороге Лимас заметил:

— А вам, Кифер, палец в рот не клади.

Тот улыбнулся.

— Мы же не можем позволить, чтобы вы пустились во все тяжкие. Это не входит в условия контракта.

Предстояло ждать еще двадцать минут. Они сели за столик и заказали кофе.

— И приберите-ка здесь, — сказал Кифер официанту, указав на грязные чашки и пепельницы на столе.

— Это сделает уборщица, — ответил официант.

— Я сказал, приберите, — сердито повторил Кифер. — Какая гадость, как можно оставлять на столе грязную посуду!

Официант отвернулся и пошел прочь. Но не к стойке и вовсе не затем, чтобы принести кофе. Кифер побелел от гнева.

— Ради Бога, — пробормотал Лимас, — не стоит так расстраиваться. Жизнь коротка.

— Наглый ублюдок, вот он кто! — бросил Кифер.

— Ладно, ладно, устройте скандал. Момент самый подходящий — они запомнят нас на всю жизнь.

Необходимые формальности в гаагском аэропорту оказались очень просты. Кифер вроде бы снова обрел прежнее хладнокровие. Он выглядел очень оживленным и весело болтал, пока они шли от самолета к таможне. Молодой голландский таможенник небрежно осмотрел их багаж и паспорта и сказал на чудовищном гортанном английском:

— Желаю вам хорошо провести время в Ни-

дерландах.

— Спасибо, — ответил Кифер с излишним подобострастием. — Большое спасибо.

Из таможни они прошли по коридору в зал прилета на другом конце аэровокзала. Кифер направился к главному выходу мимо небольших группок туристов, разглядывающих витрины киосков с духами, фотоаппаратами и фруктами. Когда они прошли через стеклянную вертушку, Лимас позволил себе обернуться. У газетного киоска, углубившись в чтение «Континентал дейли мейл» стоял маленький, похожий на лягушку человечек в очках, вид у него был очень серьезный и озабоченный. Он смахивал на чиновника. Или на кого-то в этом роде.

Машина ожидала их на стоянке. «Фольксваген» с нидерландским номером. За рулем сидела женщина, не обратившая на них никакого внимания. Она вела машину очень медленно, неизменно останавливаясь на желтый свет, и Лимас предположил, что таков был приказ и что за ними следует машина сопровождения. Он посмотрел в боковое зеркальце, пытаясь ее высмотреть, но безуспешно. Правда, он заметил черный «пежо» с номером SD, но после поворота за ними следовал только мебельный фургон. Он неплохо знал Гаагу

еще со времен войны и сейчас пытался определить, куда они держат путь. Куда-то, решил он, на северо-запад по направлению к Схевенингу. Вскоре остались позади и городские окраины, и они очутились в каком-то пригороде, застроенном виллами, тянущимися вдоль прибрежных дюн.

Здесь они и остановились. Женщина вышла, оставив их в машине, и позвонила в колокольчик у дверей небольшого кремового цвета бунгало. На железной вывеске у входа бледно-голубой готической вязью было выведено: «Мираж». В окошке белело объявление, что свободных мест нет.

Дверь открыла добродушная толстая женщина, сразу же переведшая взор с женщины-водителя на машину. И тотчас же направилась им навстречу, улыбаясь и лучась радостью. Глядя на нее, Лимас вспомнил свою старую тетушку, которая поколачивала его в детстве за разорванные шнурки.

— Как хорошо, что вы приехали! — воскликнула она. — Мы так рады, так рады!

Она прошла следом за ними в бунгало, впереди шел Кифер, за ним Лимас. Лимас оглянулся на дорогу: метрах в трехстах от них припарковался черный автомобиль, не то «фиат», не то «пежо». Из машины вышел мужчина в плаще.

В холле женщина дружески пожала ему руку.

— Добро пожаловать. Добро пожаловать в «Мираж»! Надеюсь, вы хорошо доехали?

— Превосходно, — ответил Лимас.

— Добирались самолетом или пароходом?

— Мы летели, — сказал Кифер. — На редкость удачный рейс.

Он говорил как владелец авиакомпании.

— Я приготовлю вам завтрак, — сказала женщина. — Отменный завтрак по такому случаю. Чего бы вам хотелось?

— Ах, да ради Бога… — вполголоса сказал Лимас, и в этот миг зазвонил колокольчик.

Женщина быстро удалилась в кухню, а Кифер пошел открывать дверь.

Он был в плаще с кожаными пуговицами. Ростом не выше Лимаса, но, пожалуй, постарше. Лимас решил, что ему лет пятьдесят пять. Лицо жесткое, сероватого оттенка, с глубокими морщинами; вероятно, он был военным. Он протянул руку.

— Меня зовут Петерс. — Пальцы были тонкие с ухоженными ногтями. — Хорошо добрались?

— Да, — поспешно ответил Кифер. — Без всяких осложнений.

— Нам с мистером Лимасом нужно многое

обсудить. Не думаю, Сэм, что нам понадобится ваша помощь. Вы можете вернуться в город на «фольксвагене».

Кифер улыбнулся. Лимас заметил, что улыбнулся он с облегчением.

— До свидания, Лимас, — сказал Кифер чуть шутливо. — Удачи вам, старина.

Лимас кивнул, игнорируя протянутую ему на прощание руку.

— До свидания, — повторил Кифер и спокойно вышел из дома.

Лимас пошел вслед за Петерсом в комнаты. На окнах висели тяжелые кружевные гардины, причудливо драпированные. Подоконники были уставлены цветочными горшками с большими кактусами, душистым табаком и каким-то любопытным деревцем с широкими, словно резиновыми листьями. Громоздкая мебель в псевдостаринном стиле. В центре комнаты стоял стол, покрытый ржавого цвета скатертью, больше похожей на ковер, возле стола — два резных кресла. Перед каждым из кресел на столе лежала стопка бумаги и карандаш. Сбоку стояли виски и содовая. Петерс смешал им обоим по стаканчику.

— Послушайте, — внезапно сказал Лимас, — те-

перь мы можем обходиться без лишних церемоний. Понимаете? Мы оба знаем, о чем идет речь, мы оба профессионалы. Вы получили перебежчика по корыстным мотивам — вам повезло. Только, ради Бога, не делайте вид, будто прониклись ко мне внезапной симпатией.

Он, казалось, был на грани нервного срыва и сомневался, сможет ли на ней удержаться.

Петерс кивнул.

— Кифер сказал мне, что вы человек гордый, — бесстрастно заметил Петерс. А потом без улыбки добавил:

— В конце концов, с чего бы иначе вы стали бросаться на бакалейщика?

Лимасу показалось, что Петерс русский, хотя он не мог бы дать стопроцентной гарантии. Его английский был почти безупречен, ему были присущи спокойствие и манеры человека, давно привыкшего к цивилизованному обращению.

Они сели за стол.

— Кифер сообщил вам, сколько я намерен заплатить?

— Да. Пятнадцать тысяч фунтов в Бернском банке.

— Совершенно верно.

— Он сказал, что у вас могут быть дополнитель-

ные вопросы в течение года, — сказал Лимас. — И тогда, если я окажусь под рукой, вы заплатите еще пять тысяч.

Петерс кивнул.

— Я не согласен на такие условия, — продолжал Лимас. — Вы не хуже меня понимаете, что так дело не пойдет. Я хочу получить пятнадцать тысяч и смыться. Ваши молодчики не больно-то церемонятся с перебежчиками — наши тоже. Я не намерен просиживать штаны в Швейцарии, пока вы будете вылавливать одну мою сеть за другой. У нас тоже не дураки работают, они мигом сообразят, с кого за это спросить. Насколько мы с вами можем судить, они уже взяли нас на заметку.

Петерс кивнул.

— Вы могли бы, конечно, перебраться в какое-нибудь место понадежнее.

— За «железный занавес»?

— Да.

Лимас лишь покачал головой и продолжал:

— Я полагаю, вам понадобятся дня три на предварительное дознание. А затем вы вернетесь и потребуете более детального отчета.

— В этом нет необходимости.

Лимас с интересом взглянул на Петерса.

— Ага, понятно. Вы специалист. Значит, в игру

вступил московский центр?

Петерс молчал и только смотрел на Лимаса, пристально вглядываясь в него. Наконец он взял карандаш и сказал:

— Начнем с вашей работы во время войны.

— Как прикажете, — пожал плечами Лимас.

— Значит, начнем с войны. Рассказывайте.

— Я был призван в инженерные войска в 1939 году. И уже прошел спецподготовку, когда поступило извещение о приглашении людей со знанием иностранного языка на особую службу за границей. Я знал немецкий и голландский и неплохо говорил по-французски. Солдатчиной я был сыт по горло — и я записался. Я хорошо знал Голландию: у моего отца было агентство по продаже станков в Лейдене, я прожил там девять лет. Для начала я прошел обычную проверку, а потом меня определили в школу в окрестностях Оксфорда, где обучили всей нашей рутине.

— Кто заведовал школой?

— Тогда я и сам этого не знал. Потом познакомился со Стид-Эспри и оксфордским профессором по фамилии Филдинг. Они-то и заведовали. В сорок первом меня забросили в Голландию, и я пробыл там почти два года. В те дни мы теряли агентов раньше, чем успевали завербовать но-

вых, — это была просто мясорубка. Голландия — поганая страна для такого рода работы, тут практически нет малонаселенной сельской местности, негде устроить лежбище и разместить радиопередатчик. Вечно в пути, вечно в бегах. Это жутко выматывало. Я выбрался отсюда в сорок третьем и провел пару месяцев в Англии, потом меня перекинули в Норвегию, по сравнению с Голландией это было просто загородной прогулкой. В сорок пятом меня уволили в запас, и я вернулся в Голландию, чтобы попытаться возобновить отцовское дело. Ничего путного из этого не вышло, поэтому я вступил в долю к одному старинному приятелю, державшему в Бристоле бюро путешествий. Через восемнадцать месяцев мы обанкротились. И тут совершенно неожиданно я получаю письмо из департамента с вопросом, не угодно ли мне вернуться на службу. Тогда мне казалось, что с меня довольно, и я ответил, что должен подумать, а сам снял коттедж на Анди Айленд. Там я просидел с год, потом мне и это обрыдло, и я написал им, что согласен. Осенью сорок девятого я вернулся на службу. Конечно, стаж у меня был прерван — урезанная пенсия и всякая такая чертовщина. Вы успеваете записывать?

— Пока успеваю, — ответил Петерс и налил себе еще виски. — Разумеется, впоследствии мы обсудим все более детально с именами и датами.

В дверь постучали, и женщина принесла им завтрак — огромное количество холодного мяса, хлеб и суп. Петерс отложил в сторону записи, и они позавтракали в молчании. Дознание началось.

Остатки завтрака были убраны из комнаты.

— Итак, вы вернулись в Цирк, — сказал Петерс.

— Да. Какое-то время я сидел на канцелярской работе, составлял отчеты, давал предполагаемую оценку военной мощи стран Востока, прослеживал цепочки связей и всякое такое.

— В каком отделе?

— Сателлиты-Четыре. Я был там с февраля пятидесятого по май пятьдесят первого.

— С кем вы работали?

— С Петером Гийомом, Брайаном де Греем и Джорджем Смайли. Смайли ушел от нас в начале пятьдесят первого и перешел в контрразведку. В мае пятьдесят первого меня направили в Берлин в качестве ЗИР — заместителя инспектора района. Это означало, что ко мне перешла вся оперативная работа.

— Кто был у вас под началом?

Петерс быстро записывал. Лимас решил, что тот владеет какой-то разновидностью стенографии.

— Хэккет, Сарроу и Де Йонг. Де Йонг погиб в дорожной катастрофе в пятьдесят девятом. Мы предполагали, что это было убийство, но доказать ничего не могли. У каждого была своя агентурная сеть, а я был начальником над всеми. Вам нужны детали? — сухо спросил он.

— Разумеется, но позже. Продолжайте.

— В конце пятьдесят четвертого нам удалось наконец подцепить на крючок в Берлине крупную рыбу: Фрица Фегера, второе лицо в министерстве обороны ГДР. До той поры нам нечем было похвастаться, но с ноября пятьдесят четвертого у нас появился Фриц. Он продержался почти два года, а затем вдруг исчез, и больше мы о нем ничего не слышали. Вроде бы умер в тюрьме. Прошло еще целых три года, прежде чем нам удалось подыскать ему достойную замену. В пятьдесят девятом появился Карл Римек. Карл был в президиуме СЕПГ. Он был лучшим из всех агентов, с какими мне когда-либо доводилось работать.

— Его уже нет в живых, — отметил Петерс.

По лицу Лимаса пробежала тень стыда.

— Я был там, когда его застрелили, — пробормотал он. — У него была любовница, перебежавшая

на Запад как раз перед его гибелью. Он рассказывал ей все, она знала всю его агентуру. Ничего удивительного, что он провалился.

— К берлинским делам мы вернемся позже. Скажите-ка мне вот что. После смерти Карла вы улетели в Лондон. Вы там и оставались, пока вас не уволили.

— Ну, это было совсем недолго. Да, там и оставался.

— А что за работу вам дали в Лондоне?

— Расчетный отдел: надзор за выплатой жалования агентам, заграничные выплаты на оперативные цели. С этим мог бы управиться и ребенок. Мы получали указания и подписывали бланки. Иногда устраивали проверку надежности.

— Вы были связаны с агентами напрямую?

— Нет, каким образом? Резидент в какой-либо конкретной стране требовал денег. Вышестоящая инстанция ставила на его запросе свое «добро» и передавала его нам, чтобы мы осуществили платеж. В большинстве случаев мы переводили деньги в соответствующий банк, где резидент мог бы получить их и передать агенту.

— Как проходили в документах агенты? Под кличками?

— Под цифровыми обозначениями. В Цирке их называют комбинациями. Каждой агентурной сети дается своя комбинация, каждый агент обозначался подстрочным индексом. Комбинация Карла была 8-А дробь 1.

Лимас покрылся потом. Петерс хладнокровно разглядывал его, прикидывая его силу — силу профессионального игрока. На сколько тянет Лимас? Что способно сломить его, а что — привлечь или напугать? Что он ненавидит, а главное — что знает? Не придержит ли он свой главный козырь, стремясь продать его подороже? Это Петерс считал маловероятным: Лимас слишком был выбит из равновесия, чтобы блефовать или жульничать. Он поставил на карту самого себя: свою судьбу, убеждения — и, поставив, предал их. Петерс сталкивался с этим и раньше. Он сталкивался с этим даже в таких людях, которые претерпевали полный идеологический перелом, которые в часы ночных размышлений сумели выковать для себя новую веру и в полном одиночестве, опираясь лишь на внутреннюю силу своих новых убеждений, предавали свое призвание, свою семью и свою родину. И даже они, исполненные новых надежд и видящие перед собой новую цель, с трудом выносили клеймо

предательства, даже они боролись с почти физической боязнью рассказать то, о чем, как их учили, нельзя говорить ни при каких условиях. Подобно вероотступникам, которым все равно страшно сжигать крест, они метались между подсознанием и сознанием, и Петерс, зараженный такой же полярностью, должен был даровать им утешение и обуздать их гордыню. Смысл этой ситуации отлично понимали они оба, а потому Лимас изо всех сил противился установлению чисто человеческого контакта с Петерсом, ибо этого не допускала его гордость. Петерс понимал, что именно по этой причине Лимас может и солгать. Солгать скорей всего по оплошности, но солгать и из-за собственной гордыни, от подспудной враждебности или извращенной сущности самого шпионского ремесла. И Петерсу предстоит разоблачить его ложь. Он знал также, что сам профессионализм Лимаса может сработать против его собственных интересов, потому что он станет отбирать и подбирать факты там, где Петерсу не нужны ни отбор, ни подбор. Лимас попытается предугадать тот тип дознания, который нужен Петерсу, и, поступая так, возможно, упустит из виду какую-нибудь крупицу информации, которая, не исключено, окажется жизненно

важной для Петерса. А вдобавок ко всему Лимас выказывал признаки капризного тщеславия, свойственного забулдыгам.

— Пожалуй, — сказал Петерс, — мы сейчас более детально займемся вашей работой в Берлине. Итак, с мая пятьдесят первого по март шестьдесят первого. Налейте себе еще.

Лимас смотрел, как Петерс достает сигарету из пачки на столе и закуривает. Он отметил две вещи: во-первых, Петерс был левшой, и, во-вторых, он снова зажег сигарету с того конца, где была марка, чтобы та поскорее сгорела. Этот жест понравился Лимасу: он свидетельствовал о том, что Петерс, как и он сам, бывал в переделках.

У Петерса было странное лицо: невыразительное и серое. Краска сошла с его щек, должно быть, давным-давно — возможно, в какой-нибудь тюрьме первых послереволюционных лет, — и затем черты лица застыли и определились: таким, как сейчас. Петерс останется до самой смерти. Только седоватая щетина на голове побелеет, а лицо не изменится. Лимас подумал о том, как же Петерса зовут на самом деле и женат ли он. Во всем его облике было нечто весьма традиционное, и Лимасу это нравилось. То была традиционность силы, традиционность уверенности. Если Петерсу и

придется солгать, это будет осмысленной ложью, ложью продуманной и необходимой, не идущей ни в какое сравнение с мелким враньем Эша.

Эш, Кифер, Петерс — с появлением каждого из них нарастало качество, нарастали полномочия, что для Лимаса было аксиомой разведывательной иерархии. И, как ему казалось, нарастала идейная убежденность его контрагентов. Эш — мелкий наемник, Кифер — попутчик, и вот, наконец, Петерс, цели и средства которого соответствовали друг другу.

Лимас начал рассказывать о Берлине. Петерс редко прерывал его, редко задавал вопросы или делал замечания, но когда это случалось, демонстрировал профессиональную заинтересованность и квалификацию, полностью отвечающую темпераменту самого Лимаса. Лимас, казалось, даже упивался бесстрастным профессионализмом своего инквизитора — теми же качествами обладал и он сам.

Потребовалось немало времени, чтобы, сидя в Западном Берлине, создать приличную агентурную сеть в Восточной зоне, объяснил Лимас. В прежние годы город кишмя кишел второсортными агентами: разведка не внушала доверия и настолько рассматривалась как часть повсе-

дневной жизни, что вы могли завербовать агента на вечеринке с коктейлями, дать ему задание за обедом и потерять его к завтраку. Для профессионалов это было сущим кошмаром: десятки агентурных сетей, в половине которых работали двойные агенты, тысячи зацепок, слишком много намеков, слишком мало надежных источников и оперативного простора. Перелом наступил в пятьдесят четвертом с появлением Фегера. Но в пятьдесят шестом, когда каждый отдел разведки требовал первоклассной информации, у них заштилило. Фегер скармливал им третьеразрядный материал, лишь на день-другой опережавший официальную информацию. Им нужно было нечто исключительное, но такого случая пришлось ждать еще три года.

И вот однажды Де Йонг отправился на загородную прогулку в лес на окраине Восточного Берлина. Свою машину с номером британской военной миссии он оставил на гравиевой дорожке возле канала, заперев, разумеется, дверцу. После пикника его дети весело побежали с корзинкой к машине. Но, добежав до нее, испуганно выронили корзинку и бросились обратно. Кто-то взломал дверцу — ручка была сломана, а дверца машины приоткрыта. Де Йонг точно помнил, что

оставил в ящике для перчаток фотоаппарат. Он подошел к машине и осмотрел ее. Дверь открыли, судя по всему, отмычкой, какую всегда можно спрятать в рукаве пальто. Но фотоаппарат был на месте, так же как его пальто и вещи жены. На переднем сиденье лежала коробка из-под табака, а в ней — маленькая никелевая гильза. Де Йонг сразу сообразил, что это такое: то была кассета с микропленкой, сделанной сверхминиатюрным фотоаппаратом, скорей всего Миноксом.

Он отправился домой и проявил пленку. Она содержала протоколы заседаний Президиума СЕПГ — коммунистической партии восточных немцев. По случайному совпадению обстоятельств материал удалось проверить из другого источника, и он оказался подлинным.

Тогда за дело взялся Лимас. Ему чертовски не хватало успеха. С того времени, как прибыл в Берлин, он, в сущности, не представил в Лондон ничего серьезного, а лимит времени, отпущенный на оперативную работу, уже истекал. Ровно через неделю он, взяв машину Де Йонга, поехал на то же место и отправился гулять в лес.

Местность выглядела довольно уныло: полоска канала с грудами пустых ящиков вдоль него, глинистые поля, а к востоку, метрах в двухстах

от дороги, редкий сосновый бор. Но было у этого места и одно несомненное достоинство — его заброшенность, а найти такое в Берлине совсем не просто. Лимас бродил по лесу. Он не следил за машиной, не собирался этого делать, потому что не знал, с какой стороны к ней могут подойти. Если бы его заметили в этот момент, шансы на доверие информанта были бы сведены к нулю. Нельзя вспугивать дичь.

Когда он вернулся, в машине ничего не было, и он поехал обратно в Западный Берлин, проклиная себя за глупость: ведь Президиум должен был собираться только через две недели. Лишь после заседания он снова взял у Де Йонга машину и тысячу долларов двадцатками и отправился к каналу. Он на два часа оставил машину незапертой и, вернувшись, нашел в ящике микрофильм. Сумка с двадцатками исчезла.

На пленках оказалась первоклассная документация. В последующие шесть недель он еще два раза ездил к каналу — и с теми же результатами.

Лимас понял, что напал на золотую жилу. Он дал источнику информации кличку Майфэр и отослал в Лондон весьма пессимистическое послание. Лимас знал, что стоит открыть Лондону хотя бы половину правды, они начнут руково-

дить агентом непосредственно, чего он отчаянно стремился избежать. Операция такого размаха была единственным средством, способным помешать им отозвать его из Германии, но в то же время достаточно заманчивой приманкой, чтобы им захотелось вступить в игру самим. Даже если он попробует припрятать источник, в Цирке будут изобретать всевозможные теории, делать предположения, требовать гарантий и действий. Например, они могут потребовать, чтобы он производил выплаты только новыми купюрами в один доллар, и попытаются проследить их путь, запросят в Лондон кассеты на проверку, запланируют какую-нибудь нелепую слежку и доложат обо всем в Департамент. Больше всего, разумеется, они захотят поставить в известность Департамент, а это погубит все дело. Три недели он работал как одержимый. Он составил досье на каждого из членов Президиума. Составил список всего технического персонала, имеющего и способного получить доступ к документации. Из списка адресатов рассылки на последнем листе документов он взял еще дополнительные фамилии, и в итоге число потенциальных информаторов свелось к тридцати одному, включая технический персонал.

Понимая, что выявить одного информатора из такого списка — задача почти неразрешимая, Лимас снова обратился к самим документам, чем, как ему теперь стало ясно, нужно было заняться сразу же. Ему бросилось в глаза то, что ни на одной из полученных фотокопий не было постраничной нумерации и пометок о секретности и что в первой и во второй порциях документов некоторые слова были вычеркнуты простым или цветным карандашом. Он пришел к выводу, что имеет дело с фотокопиями не самих документов, а черновиков. Значит, информатор был членом Секретариата, а Секретариат очень мал. Черновики были сфотографированы профессионально и тщательно, что свидетельствовало о том, что у фотографа было и время и место, чтобы этим заниматься.

Лимас вновь обратился к перечню возможных кандидатов. В нем был и некто Карл Римек, член Секретариата, в войну капрал медицинской службы, отбывший три года в плену в Англии. Его сестра жила в Померании, когда туда вошли советские войска, и с тех пор он не имел о ней никаких сведений. Он был женат, и у него была дочь по имени Карла.

Лимас решил рискнуть. Он выяснил в Лондоне

номер, под которым находился в плену Римек (29012) и дату его освобождения — 10.12.45. Он купил восточногерманскую детскую книжку научной фантастики, написал на титуле детским почерком по-немецки: «Эта книга принадлежит Карле Римек, родившейся 10.12.45 в Бейфорде, Северный Девон» и подписал все это: «Лунная дева № 29012», а внизу добавил: «Желающим принять участие в космических полетах обращаться за инструкцией лично к К. Римек. Форма обращения прилагается. Да здравствует Народная Республика Демократического Космоса!»

Он разлиновал на листе бумаги анкету с указанием имени, адреса, возраста и написал внизу: «Каждый из кандидатов должен пройти личное собеседование. Напишите, где и когда вы желаете встретиться. Обращения принимаются в течение семи дней. К. Р.»

Лимас вложил лист в книгу, поехал на обычное место в машине Де Йонга и оставил книгу на переднем сиденье, засунув под суперобложку пять неновых стодолларовых купюр. Когда он вернулся из леса, книга исчезла, а на ее месте лежала коробка из-под табака. В ней было три микропленки. Той же ночью Лимас проявил их: одна, как всегда, содержала черновой набросок

материалов к заседанию Президиума, вторая сообщала о связях ГДР с СЭВ, а третья раскрывала всю структуру восточногерманской разведывательной службы с названиями и функциями отделов и детальными сведениями о конкретных личностях.

— Погодите, — перебил его Петерс, — погодите. Вы хотите сказать, что вся информация о разведке исходила только от Римека?

— А почему бы и нет? Вы же знаете, как много он видел и знал.

— Это маловероятно, — заметил Петерс, как бы говоря это самому себе. — У него наверняка был помощник.

— Помощники появились потом. Я до этого дойду.

— Я знаю, о ком вы собираетесь рассказать. Но неужели у вас никогда не возникало ощущения, что он получал определенные сведения от кого-то сверху, а не только от агентов, которых завербовал позже?

— Нет. Никогда. Мне это даже в голову не приходило.

— Ну, а если вы еще раз все обдумаете? Ведь правда, похоже?

— Не особенно.

— А когда вы переслали все материалы в Цирк, им тоже не показалось странным, что дела разведки были уж слишком доступны для человека в его статусе?

Лимас помедлил с ответом.

— Нет… — сказал он. — Клянусь, никогда не спрашивали.

— Весьма примечательно, — сухо заметил Петерс. — Но извините и, пожалуйста, продолжайте.

Ровно через неделю, продолжил свой рассказ Лимас, он поехал к каналу. На этот раз он изрядно нервничал. Свернув на гравиевую дорогу, заметил в траве три велосипеда, а метрах в двухстах ниже увидел трех мужчин с удочками. Он, как обычно, вышел из машины и направился к лесу. Пройдя метров двадцать, он услышал крик. Обернувшись, увидел, что один из рыболовов машет ему рукой. Двое других тоже обернулись и не спускали с него глаз. Лимас был в старом плаще, руки в карманах, вынимать их оттуда сейчас не стоило. Он понимал, что эти двое прикрывают того, что в центре, и если он попытается вынуть руки, пристрелят его, решив, что он достает пистолет. Лимас остановился метрах в десяти от мужчины.

— Вам что-то от меня нужно? — спросил Лимас.

— Вас зовут Лимас? — Это был невысокий полноватый человек с весьма уверенной манерой держаться Он говорил по-английски.

— Да.

— Номер вашего британского паспорта?

— PRT — L 58003-1.

— Где вы были вечером пятнадцатого августа сорок пятого?

— В Лейдене в Голландии, сидел с голландскими друзьями в конторе моего отца.

— Давайте пройдемся немного, мистер Лимас. Плащ вам не понадобится. Снимите его и положите на землю возле себя. Мои друзья присмотрят за ним.

Лимас помедлил, потом пожал плечами и снял плащ. Они быстро направились в сторону леса.

— Вам не хуже моего известно, кто это был, — устало сказал Лимас. — Третий человек в министерстве внутренних дел, член секретариата Президиума, начальник координационной службы комитета государственной безопасности. Думаю, там-то он и вышел на Де Йонга и меня: просмотрел заведенные на нас в отделе досье. У него было сразу три козыря: Президиум, знание

внутренней политики и экономики и, наконец, доступ к документам восточногерманской разведки.

— Но лишь весьма ограниченный доступ, — вмешался Петерс. — Они никогда не позволяют посторонним просматривать все их досье.

— А вот ему позволили, — пожал плечами Лимас.

— А куда он девал получаемые от вас деньги?

— С того дня я перестал платить ему. Оплатой стал ведать Цирк. Деньги переводились в западногерманский банк. Он даже вернул мне то, что я уже выплатил ему. Лондон перевел и эти деньги в банк. — А многое вы сообщили в Лондон? — После этой встречи все, что знал. У меня не было иного выхода. А Цирк, разумеется, сообщил в Департамент. И с этого момента, — желчно добавил Лимас, — его провал стал уже вопросом времени. С Департаментом за плечами Цирк нагулял себе аппетит. Они начали нажимать на нас, требовать как можно больше информации, готовы были дать ему большие деньги. В конце концов мне пришлось предложить Карлу завербовать новых агентов, образовать агентурную сеть. Это было крайне глупо: мы перенапрягли Карла, встревожили его, подорвали доверие к нам. Это было

началом конца.

— Ну, и много ли вам удалось получить от него?

— Много ли? — вздохнул Лимас. — Господи, вот уж не знаю. Это и так длилось невероятно долго. Я думаю, его засветили гораздо раньше, чем взяли. Скатывание вниз началось за несколько месяцев до его гибели. Они начали его подозревать и преградили ему доступ к подлинной информации.

— И все же, если подытожить, что вы от него получили? — настаивал Петерс.

Фрагмент за фрагментом Лимас восстановил полный объем сделанного Римеком. Память Лимаса, как с удовольствием заметил Петерс, была на редкость точна, особенно если учесть, сколько он уже выпил. Он называл даты и имена, он помнил, как на что реагировал Лондон и какие осуществлял проверки. Он называл суммы денег, запрошенные и выплаченные, даты подключения к сети новых агентов.

— Простите, — сказал наконец Петерс, — но я просто не могу поверить, что один-единственный человек, какой бы ответственный пост он ни занимал, как бы он ни был осторожен, предприимчив и удачлив, может обеспечить столько информации и с такими деталями. Кстати, даже

если бы он и получил доступ к ней, ему все равно не удалось бы сфотографировать ее.

— А вот Карлу удалось, — упрямо и раздраженно возразил Лимас. — Ему, черт побери, удалось — в этом-то все и дело.

— И Цирк никогда не давал вам задания разобраться, как именно ему это удается делать и при каких обстоятельствах?

— Нет, — буркнул Лимас, — Римек очень болезненно реагировал на это, и Лондон решил проявить деликатность.

— Допустим, — сказал Петерс, а чуть погодя спросил:

— А вам известно о женщине?

— Какой еще женщине?

— О любовнице Римека, той, что перебралась в Западный Берлин в ту самую ночь, когда его застрелили?

— Ну и что с ней?

— Найдена мертвой неделю назад. Ее застрелили из машины, когда она выходила из своего дома.

— Это был мой дом, — машинально заметил Лимас.

— Возможно, она знала об агентурной сети Римека больше, чем вы, — предположил Петерс.

— Что, черт побери, вы имеете в виду?

Петерс помолчал.

— Все это очень странно, — сказал он наконец. — Не понимаю, кому понадобилось убивать ее.

До конца разобравшись с делом Карла Римека, они перешли к обсуждению менее значительных агентов, а затем к тому, как функционировала западноберлинская контора Лимаса, ее связи, персонал, тайная инфраструктура — явочные квартиры, транспорт, записывающее и фотографирующее оборудование. Они проговорили до поздней ночи и весь следующий день, и когда назавтра вечером Лимас добрался до своей постели, он знал наверняка, что сдал противнику всю разведывательную службу союзников и выпил за два дня две бутылки виски.

Его сильно озадачивало одно обстоятельство: упорство, с каким Петерс настаивал на том, что у Римека был помощник, причем вышестоящий. Контролер, как он вспомнил сейчас, спрашивал о том же — откуда у Карла доступ к такой информации. Почему оба они так убеждены в том, что Карл не мог бы управиться сам? Разумеется, у него были помощники вроде тех, кто охранял его в тот день у канала. Но это были мелкие сошки, и

Карл все рассказывал ему о них. И все же Петерс — а Петерс, не следует забывать, должен знать точно, к чему мог, а к чему не мог получить доступ Карл, — и все же Петерс не верил в то, что Карл работал в одиночку. В этом пункте мнения Петерса и Контролера совпадали.

Может быть, так оно и было. Возможно, за Карпом стоял кто-то еще. Быть может, именно его и стремился уберечь от Мундта Контролер. В таком случае выходит, что Карл работал на пару с этим секретным агентом и поставлял Лимасу материал, добытый ими совместно. Может быть, именно об этом Контролер беседовал с Карлом в берлинской квартире Лимаса, когда они остались наедине.

Так или иначе, утро вечера мудренее. Утром он вынет из рукава свой козырной туз.

Он задумался над тем, кому все-таки понадобилось убивать Эльвиру. И зачем? Разумеется, в этом был какой-то смысл, здесь таилась возможная разгадка: Эльвира, если она знала помощника Римека, им же и была убита… Нет, тут слишком большая натяжка. Не учтены трудности перехода с Востока на Запад, а ведь убили ее в Западном Берлине.

Его удивляло, почему Контролер не сказал

ему о том, что Эльвира убита. Хотя бы для того, чтобы он правильно отреагировал на сообщение Петерса. Но гадать об этом было бессмысленно. Наверняка Контролер имел на то свои причины, а его причины обычно столь запутаны, что в них сам черт ногу сломит.

Засыпая, он пробормотал: «Карл был просто идиот. Эта баба предала его, клянусь, что она его предала». Эльвира теперь мертва — что же, поделом. Он вспомнил Лиз.

Глава 9
Второй день

На следующее утро Петерс появился в восемь, и без долгих церемоний они уселись за стол и продолжили беседу.

— Итак, вы вернулись в Лондон. Чем вы там стали заниматься?

— Меня поставили на полку. Я понял, что со мной все кончено, как только увидел в аэропорту этого засранца из отдела кадров. Я обязан был сразу явиться к Контролеру и сообщить ему о Карле. Римек был мертв — о чем тут еще было говорить?

— И что же они с вами сделали?

— Сперва сказали, что я могу поболтаться в Лондоне, пока мне не выбьют приличную пенсию. Они вели себя столь великодушно, что я взбесился и сказал им: раз уж вы так обо мне печетесь и вам не жаль на меня денег, то почему бы вместо того, чтобы охать да вздыхать, не засчитать мне просто непрерывный стаж? И тут они рассердились. Меня отправили в расчетный отдел, а там одни бабы. Этот период я помню не слишком от-

четливо: я уже начал довольно крепко выпивать. Так сказать, поплыл.

Он закурил. Петерс понимающе кивнул.

— Поэтому, собственно, меня и поперли. Им не нравилось, что я пил.

— И все же расскажите все, что сможете вспомнить, о расчетном отделе.

— Там было на редкость погано. Я всегда знал, что не гожусь для канцелярской работы. Поэтому я так и цеплялся за Берлин. Я знал, что если меня отзовут, то посадят за бумажную работу, прости Господи.

— Чем вы там занимались?

Лимас на минуту задумался.

— Отсиживал задницу в компании двух баб — Тыозби и Лэррет. Я, правда, называл их несколько иначе. — Он глуповато ухмыльнулся.

Петерс непонимающе поглядел на него.

— Ну, просто тасовали бумажки. Например, из финансового отдела поступал документ: «Платежное поручение о выплате семисот долларов такому-то и такому-то вступает в силу с такого-то по такое-то. Просим исполнить». Вот и все. Подружки мои немножко волынили, потом отмечали бумажки, ставили печать, а я подписывал чек или отдавал распоряжение в банк произве-

сти выплату.

— В какой банк?

— «Блэтт и Родни», небольшой респектабельный банк в Сити. В Цирке господствует убеждение, что выпускники Итонского колледжа умеют держать язык за зубами.

— То есть, вам известны имена агентов во всем мире?

— Вовсе нет. Там была одна закавыка. Я подписывал чек или платежное поручение в банк, оставляя пропуск на месте фамилии получателя. Сопроводительное письмо и все остальное подписывалось мною, а затем бумаги поступали обратно в особый отдел.

— А что это за особый отдел?

— Там хранятся все досье на наших агентов. Они вписывают там имя и передают бумаги в банк. Неплохо придумано, ничего не скажешь.

Петерс разочарованно поглядел на него.

— Значит, вы вообще не знали имен получателей?

— В большинстве случаев — нет.

— А в порядке исключения?

— Ну, кое-что время от времени просачивалось и к нам. Вся эта возня с банком, финансовым отделом и особым отделом, разумеется, приво-

дила порой к накладкам. Слишком уж много ухищрений. Так что иногда удавалось заглянуть в щелку на чужую, так сказать, жизнь. — Лимас поднялся. — Я приготовил список всех выплат, которые смог припомнить. Он у меня в комнате. Пойду принесу.

Он вышел из комнаты весьма нетвердой походкой, которую приобрел уже здесь, в Голландии. Когда он вернулся, в руке у него было несколько листков линованной бумаги, вырванных из дешевого блокнота.

— Я написал это ночью, — пояснил он. — Думаю, так дело пойдет быстрее.

Петерс взял листки и, не торопясь, внимательно прочел их. Похоже, они произвели на него впечатление.

— Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо.

— Лучше всего я запомнил операцию под кодовым названием «Роллинг Стоун». Благодаря ей я пару раз съездил за границу. В Копенгаген, а потом в Хельсинки. Просто чтобы поместить деньги в банк.

— Сколько?

— Десять тысяч долларов в Копенгагене и сорок тысяч западногерманских марок в Хельсинки.

Петерс положил карандаш на стол.

— Для кого?

— Откуда я знаю. Мы работали в «Роллинг Стоун» на принципе вкладов на депозит. Мне выдавали фальшивый британский паспорт, я обращался в Королевский скандинавский банк в Копенгагене и в Национальный банк в Хельсинки и получал банковскую книжку на два лица — на себя под фальшивым именем и на кого-то другого, — очевидно, на агента под фальшивым именем. Я оставлял в банке образец своей и его подписи (его подпись предоставлял мне Цирк). Затем агент получал банковскую книжку и поддельный паспорт, который он предъявлял в банке, снимая деньги со счета. Мне известен только его псевдоним. — Он слышал собственные слова, и они казались ему чудовищно неправдоподобными.

— Это общепринятая процедура?

— Нет. Это особая форма платежа. Только по определенному списку. Со специальной пометкой.

— А что это такое?

— В ней было кодовое название, известное очень немногим.

— Какое название?

— Я же говорил вам — «Роллинг Стоун». Опера-

ция по выплате сумм в тысячу долларов каждая в разных валютах и в разных столицах.

— Всегда только в столицах?

— Насколько мне известно, всегда. Кажется, припоминаю, я видел в досье упоминание о выплатах, проводившихся до того, как я поступил в отдел. В тех случаях проведение операции поручалось местному резиденту.

— А те платежи, до вашего поступления, где они осуществлялись?

— Один — в Осло. А другие — не помню.

— Псевдоним агента всегда был одним и тем же?

— Нет. Тут тоже проявляли осторожность. Потом я узнал от кого-то, что мы слизали всю эту процедуру у русских. Это была самая надежная и подстрахованная со всех сторон операция, с какими мне вообще приходилось иметь дело. Я, кстати, тоже выступал под разными именами и, соответственно, получал разные паспорта. — Это должно было понравиться Петерсу, тут было за что ухватиться.

— А эти поддельные паспорта, которые вручались агенту для получения денег, — вы что-нибудь о них знаете? Как их изготовляли, где регистрировали?

— Нет, не знаю. Ах да, вот только помню, что на каждом была въездная виза страны, где находился банк, и штамп о въезде.

— Штамп о въезде? Вот как!

— Да. Мне кажется, эти паспорта никогда не предъявлялись на границе, а только в банке для получения денег. Агент, должно быть, въезжал в страну под собственным именем, совершенно законно прибывал в страну, где его дожидались деньги, а затем использовал в банке поддельный паспорт. Во всяком случае, так мне это представляется.

— А вам известно, почему сначала выплаты осуществлялись через резидента, а в дальнейшем через человека, привозившего деньги из Лондона?

— Известно. Я спрашивал об этом у своих бабенок в расчетном отделе. Дело в том, что Контролер боялся…

— Контролер? Вы хотите сказать, что эти выплаты курировал сам Контролер?

— Да, он. Он боялся, что местного резидента могут опознать в банке, поэтому решил посылать почтальона и выбрал для этой цели меня.

— Когда состоялись ваши поездки?

— В Копенгаген — пятнадцатого июня. В тот же

вечер я улетел обратно. А в Хельсинки — в конце сентября. Там я пробыл два дня. — Он ухмыльнулся, но Петерс не обратил на это ни малейшего внимания.

— А другие выплаты? Как производились они?

— Вот этого, прошу прощения, не помню.

— Но одна совершенно наверняка в Осло?

— Да, в Осло.

— С каким интервалом производились две первые выплаты через резидентов?

— Точно не знаю. Думаю, с небольшим. Месяц или вроде того. Может, чуть больше.

— Как вы думаете, работал этот агент до того, как была произведена первая выплата? Не было ли это указано в досье?

— Нет, в досье были только даты выплат. Первая — в начале пятьдесят девятого. И никаких других сведений. Все операции со специальной страховкой проводятся по этому принципу. В разных досье хранятся сведения по одному и тому же делу. Только тот, у кого главный ключ, может сложить все фрагменты воедино.

Петерс теперь писал, не переставая. Лимас был уверен, что где-то в комнате работает и магнитофон. Но расшифровка магнитограммы потребует определенного времени. То, что Петерс записы-

вает сейчас, ляжет в основу телеграммы, которая уже сегодня вечером уйдет в Москву, а тем временем шифровальщики в советском посольстве в Гааге проведут ночь за передачей дословного текста их многочасовой беседы.

— Скажите-ка, — начал Петерс, — ведь речь идет о крупных суммах. И метод их передачи очень непростой и дорогостоящий. Что вы сами думаете по этому поводу?

Лимас пожал плечами.

— А что мне думать? Должно быть, у Контролера появился чертовски ценный агент, но я не видел материалов и ни о чем не могу сказать наверняка. Мне не нравилось, как все это делалось — слишком уж сложно, слишком хитро и изобретательно. Почему бы просто не встретиться и не передать наличными? Зачем заставлять агента пересекать границу с настоящим паспортом, держа в кармане поддельный? Все это как-то странно.

Лимас чувствовал, что рыбка клюнула, теперь нужно было набраться терпения.

— Что вы имеете в виду?

— А то, что, насколько мне известно, деньги из банка ни разу не забирались. Возможно, это был какой-то высокопоставленный агент из стра-

ны за «железным занавесом» — значит, деньги должны были быть у него под рукой на случай необходимости. Так мне кажется, но я об этом не очень-то задумывался. Зачем мне это? В том-то суть нашего ремесла: знать только фрагменты общей картины. А стоит сунуть нос куда не следует, тебе же и не поздоровится.

— Если деньги, как вы предполагаете, не были востребованы, то к чему все эти предосторожности с паспортами?

— Когда я работал в Берлине, мы разработали определенный механизм для Карла Римека на случай, если ему придется бежать и он не сможет вступить с нами в контакт. Мы держали для него поддельный западногерманский паспорт на явочной квартире в Дюссельдорфе. Он мог его получить в любую минуту при соблюдении определенной процедуры. Паспорт ни разу не был просрочен — отдел специальных поездок возобновлял паспорт и визу, как только их срок истекал. Возможно, Контролер использовал ту же методику и с этим агентом. Правда, это всего лишь мое предположение.

— А откуда вам известно, что паспорта продлевались?

— Есть соответствующие пометки в досье,

циркулирующих между расчетным отделом и отделом спецпоездок. Отдел спецпоездок как раз и ведает поддельными паспортами и визами.

— Понятно. — Петерс задумался на минуту, а потом спросил:

— Под каким именем вы бывали в Копенгагене и Хельсинки?

— Роберт Ланг, инженер из Дерби. Так меня звали в Копенгагене.

— Какого числа вы были в Копенгагене?

— Я уже говорил вам — пятнадцатого июня. Я прибыл туда в половине двенадцатого. — И в какой банк вы обратились?

— Боже мой, Петерс, — наливаясь гневом, сказал Лимас, — в Королевский скандинавский. У вас это уже записано.

— Просто хотелось удостовериться, — спокойно ответил Петерс. — А как вас звали в Хельсинки?

— Стефен Беннет, инженер-кораблестроитель из Плимута. А там я был в конце сентября, — с сарказмом добавил он.

— Вы побывали в банке в день прибытия?

— Да, двадцать четвертого или двадцать пятого, точно не помню, это я тоже говорил вам.

— Вы привезли деньги с собой из Англии?

— Разумеется, нет. В обоих случаях мы перево-

дили их на счет местного резидента. Резидент снимал их, встречал меня в аэропорту и передавал сумку с деньгами, а я отвозил их в банк.

— Кто сейчас резидент в Копенгагене?

— Петер Йенсен, книготорговец из университетской книжной лавки.

— А какие псевдонимы использовал агент?

— Хорст Карлсдорф в Копенгагене. Кажется, так. Да, точно: Карлсдорф. Помню, мне все время хотелось сказать: «Карлхорст».

— Профессия?

— Менеджер из Клагенфурта, Австрия.

— А другой псевдоним? Для Хельсинки?

— Фехтман. Адольф Фехтман из Сент-Галлена, Швейцария. У него было ученое звание. Да, доктор Фехтман, архивариус.

— Понятно. У обоих родной язык немецкий.

— Да, я тоже обратил на это внимание. Но немцем он быть не мог.

— Почему же?

— Я ведь был главой всей немецкой агентуры. Подобное дело не прошло бы мимо меня. Агента такого уровня нужно курировать из Западного Берлина. Я бы о нем, конечно, знал.

Лимас поднялся, подошел к буфету и налил себе виски. Предложить виски Петерсу он и не

подумал.

— Вы же сами говорили, что в данном случае осуществлялась особая подстраховка, специальная процедура. Может быть, им незачем было ставить вас в известность.

— Не порите чушь, — резко возразил Лимас. — Конечно, они поставили бы меня в известность.

С этой позиции его было не сбить, как бы они ни старались. Это должно было внушить им уверенность, будто со стороны им виднее, и придать большую достоверность тому, что он говорил. «Пусть они сами сделают должные выводы вопреки тому, что будете утверждать вы, — сказал ему Контролер. — Вам следует дать им материал и не соглашаться с выводами, которые они станут делать. Положитесь на их ум, тщеславие и на их подозрительность друг к другу — и тогда мы добьемся своего».

Петерс кивнул, как бы соглашаясь с некой утешительной истиной.

— Вы гордец, Лимас, — снова сказал он.

Вскоре после этого Петерс ушел. Он пожелал Лимасу хорошо отдохнуть и пошел по дороге вдоль берега моря. Было время обеда.

Глава 10
Третий день

Петерс не появился ни вечером, ни на следующее утро. Лимас сидел дома, с нарастающим раздражением дожидаясь какой-нибудь вести от него, но ее все не было. Он осведомился у домовладелицы, но та лишь улыбнулась в ответ и пожала полными плечами. На следующий день часов в одиннадцать он вышел прогуляться вдоль берега, купил сигарет и угрюмо полюбовался морем.

На берегу спиной к Лимасу стояла девушка и кормила хлебом чаек. Ветер с моря играл ее длинными черными волосами, обдувал плащ, превращая ее фигуру в своего рода лук, изогнутый в сторону суши. Лимас знал, чем его наградила на прощание Лиз: заботой о повседневном, верой в обыденную жизнь, той простотой, которая заставляет вас завернуть в бумагу кусок хлеба и отправиться на прогулку вдоль берега, чтобы покормить чаек. И когда-нибудь ему придется попробовать самому испытать это, впрочем, если он вообще когда-нибудь сумеет вернуться в Англию. То было уважение к банальности повседневной

жизни, которого у него никогда прежде не было; вернувшись, он попытается обрести его, и может быть, Лиз поможет ему в этом. Еще неделя, самое большее две, и он будет дома. Контролер сказал, что он вправе оставить себе все, что они заплатят, а этого ему вполне достаточно. С пятнадцатью тысячами фунтов, наградными и пенсией из Цирка человек, как выразился Контролер, имеет возможность и право навсегда уйти с холода.

Он повернул назад и возвратился в бунгало без четверти двенадцать. Хозяйка впустила его, не говоря ни слова, но, пройдя к себе в комнату, он услышал, как она сняла трубку и набрала какой-то номер. Говорила она всего несколько секунд. В половине первого она принесла ему ленч и, к его радости, английские газеты. Лимас, как правило, вообще ничего не читающий, читал сейчас их медленно и сосредоточенно. Он запоминал всевозможные детали, имена и адреса людей, о которых говорилось в крошечных заметках. Он делал это почти бессознательно, как человек, тренирующий память, и это занятие полностью поглотило его.

В три наконец появился Петерс. Едва увидев его, Лимас понял, что дела завертелись. Тот не стал садиться и даже не снял плаща.

— У меня для вас плохие новости, — сказал он. — Вас разыскивают в Англии. Они установили слежку в портах. Я узнал об этом сегодня утром.

— По какому обвинению? — вяло спросил Лимас.

— Якобы из-за неявки на регистрацию в полицейский участок в надлежащий срок после выхода из тюрьмы.

— А на самом деле?

— Ходят слухи, будто вы представляете угрозу для национальной безопасности. Ваши фотографии во всех лондонских вечерних газетах. Сообщения крайне туманные.

Лимас молча слушал его.

Контролер взялся за дело. Контролер устроил переполох. Другого объяснения быть не могло. Даже если они схватили Эша и Кифера и те заговорили, ответственность за переполох все равно лежала на Контролере. «Пару недель займет, так сказать, расследование, — говорил он Лимасу. — Пару недель они будут проверять вас и испытывать. А затем все пойдет своим чередом. Вам придется залечь на дно, пока не осядет пыль, но с вами все будет в порядке, я уверен. Я договорился держать вас на оплате оперативного работника до той поры, пока Мундта не

уничтожат: так, по-моему, будет наиболее справедливо».

А теперь вдруг такой оборот.

Этого они не обговаривали и не предвидели. Интересно, что, по их разумению, он должен делать сейчас? Если он заартачится и откажется ехать туда, куда велит ему Петерс, он провалит операцию, и ведь не исключено, что Петерс солгал и его просто испытывают. Что ж, тогда тем более он обязан соглашаться. Но если он согласится и его отправят на Восток — в Польшу, Чехословакию или еще Бог знает куда, — у его противников не будет никаких резонов отпускать его — никаких еще и потому, что и у него самого (человека, за которым охотятся на Западе) вроде бы не будет никаких резонов возвращаться.

Все это устроил Контролер — в этом Лимас не сомневался. Условия были слишком щедрыми — он понимал это с самого начала. Они не кидают деньги на ветер, кроме тех случаев, когда обрекают тебя на возможную гибель. Деньги, предложенные ему, были douceur за неудобства и риск, о которых Контролер не пожелал заговорить с ним открыто. Деньги вроде этих были сигналом опасности, а Лимас не понял сигнала.

— А как, черт побери, они до этого доперли? —

внешне спокойно спросил он. Потом, словно бы только что догадавшись, добавил:

— Конечно, это могли сказать им ваши друзья Эш или Кифер.

— Возможно, — ответил Петерс. — Вам не хуже моего известно, что такие вещи никогда не исключены. Наша профессия не дает стопроцентной гарантии. Так или иначе, — раздраженно добавил он, — теперь вас станут искать в любой стране на Западе.

Лимас, казалось, пропустил его слова мимо ушей.

— Теперь я у вас на крючке, верно, Петерс? Ваша компания небось помирает со смеху. Быть может, вы сами сообщили все в Лондон?

— Вы преувеличиваете собственную значимость, — брезгливо заметил Петерс.

— Тогда какого черта вы следите за мной? Сегодня утром я отправился на прогулку. И метрах в двадцати друг за дружкой за мной все время следовали двое в коричневых костюмах. А когда я вернулся, хозяйка сразу же позвонила вам.

— Давайте придерживаться того, что нам известно наверняка. Как именно ваше начальство вышло на вас, сейчас особой роли не играет. Главное, что оно вышло.

— А у вас есть лондонские вечерние?

— Разумеется, нет. Их здесь не достать. Мы получили телеграмму из Лондона.

— Вы лжете. Вы прекрасно знаете, что ваши люди в Лондоне имеют право поддерживать связь только через Центр.

— В данном случае было разрешено прямое взаимодействие двух резидентур, — сердито возразил Петерс.

— Ладно, ладно, — с кривой ухмылкой сказал Лимас. — Понятно, что вы птица высокого полета. Или это не Центр руководит операцией? — добавил он так, словно это предположение только сейчас пришло ему в голову.

Петерс ничего на это не ответил.

— Вам предстоит выбор, и вам известны альтернативы, — сказал он. — Или вы позволяете нам позаботиться о вас и обеспечить вам безопасный уход, или действуете на свой страх и риск, что означает неминуемый провал. У вас нет поддельных документов, нет денег, вообще ничего. Ваш британский паспорт через десять дней окажется просроченным.

— Но ведь есть и третья возможность. Дайте мне швейцарский паспорт, немного денег и отпустите на все четыре стороны. О себе я сумею

позаботиться и сам.

— Боюсь, что это крайне нежелательно.

— То есть вы еще не закончили расследование. И до тех пор вы меня не отпустите?

— Грубо говоря, так.

— А что вы намерены делать со мной, когда расследование закончится? Петерс значительно помолчал.

— А чего бы вам хотелось?

— Новые документы. Быть может, скандинавский паспорт. Деньги.

— Пока это разговор чисто теоретический. Но я постараюсь доложить об этом по начальству. Итак, вы едете?

Лимас помедлил. Потом улыбнулся чуть неуверенно и сказал:

— А что вы со мной сделаете, если я откажусь? Так или иначе, мне есть что порассказать нашим. Вам не кажется?

— Истории такого рода доказать очень трудно. Я уезжаю сегодня вечером. А что касается Эша и Кифера… — Он запнулся. — Какое это сейчас имеет значение?

Лимас подошел к окну. Над Северным морем собиралась гроза. Он глядел на чаек, метавшихся под черными тучами. Девушки на берегу не

было.

— Ладно, — сказал он. — Заметано.

— Самолета на Восток до завтра нет. Через час рейс в Западный Берлин. Мы можем успеть, но надо поторопиться.

Пассивная роль, которую в тот вечер играл Лимас, позволила ему еще раз по достоинству оценить безупречную продуманность действий Петерса. Паспорт был приготовлен заранее — об этом, должно быть, позаботился Центр. Он был выписан на имя Александра Свейта, коммивояжера, и заполнен визами и отметками о въезде — старый, захватанный паспорт профессионального путешественника. Голландский пограничник в аэропорту лишь кивнул и поставил в него еще одну печать. Петерс стоял в очереди человека на три сзади, не выказывая ни малейшего интереса к происходящему.

Войдя в дверь с надписью «Только для отлетающих», Лимас увидел газетный стенд. Там была расставлена целая коллекция международной печати: «Фигаро», «Монд», «Нейе цюрихер цайтунг», «Ди вельт» и с полдюжины английских газет и еженедельников. Пока он смотрел на них, к киоску подошла девушка с пачкой «Ивнинг-стандард». Лимас рванулся к ней и схватил газету.

— Сколько с меня? — спросил он. Опустив руку в карман, он вдруг сообразил, что у него нет голландских денег.

— Тридцать центов, — ответила девушка. Она была довольно миловидна — темноволосая и приветливая.

— У меня тут два английских шиллинга. По-вашему — гульден. Годится?

— Конечно.

Лимас заплатил. Обернувшись, он увидел, что Петерс еще не прошел контроля и стоит к нему спиной. Лимас бросился в мужской туалет. Там он быстро, но внимательно просмотрел каждую страницу газеты и швырнул ее в мусорный ящик. Все верно: в газете была его фотография с туманным сообщением о причине ее публикации. «Интересно, попалась ли она на глаза Лиз», — подумал он. Потом не спеша вернулся к остальным пассажирам. Через десять минут они улетали в Западный Берлин через Гамбург. В первый раз за всю операцию Лимасу стало страшно.

Глава 11
Друзья Алека

В тот же вечер к Лиз пришли двое. Лиз жила в северной части Бэйсуотера. В крошечной квартирке были диван-кровать и довольно симпатичная газовая плита — известняково-серая с современной горелкой. Когда здесь бывал Лимас, Лиз порой зажигала ее, и тогда только пламя горелки освещало все помещение. Он лежал на диване, а она сидела возле него, целовала или просто смотрела на огонь, прижавшись к Лимасу щекой. Сейчас она боялась думать о нем слишком подолгу, потому что забыла, как он выглядит, и ее мимолетные воспоминания о нем были подобны беглому взору, брошенному на туманный горизонт. Но она помнила какие-то сказанные им пустяки, странный взгляд, которым он порой смотрел на нее, и как он очень часто вообще не замечал ее. Но самым ужасным было то, что у нее не осталось ничего на память — ни фотографии, ни подарка, ничего. Даже ни одного общего знакомого — разве что мисс Крейл в библиотеке, чья ненависть к Лимасу оказалась оправдана его

внезапным исчезновением. Лиз однажды зашла в дом, где жил Лимас, и поговорила с его хозяином. Она и сама не знала, зачем ей это, но все же набралась смелости и сходила туда. Домовладелец очень тепло отзывался о Лимасе: он платил как джентльмен все время, пока жил, после него, правда, остался должок за неделю-другую, но потом зашел приятель мистера Лимаса и заплатил за все, причем без всяких разговоров. Да, он может сказать о мистере Лимасе — и от своих слов не отступится — это настоящий джентльмен. Без высшего образования, понятно, без всяких там закидонов, но все же настоящий джентльмен. Конечно, он бывал грубоват да и пил, пожалуй, больше, чем следовало бы, но домой всегда возвращался трезвым. А тот недомерок, который заходил сюда, тот коротышка в очках, сказал, что мистер Лимас чрезвычайно беспокоится о том, чтобы было выплачено все до последнего пенни. И если это не джентльменское поведение, то непонятно, что вообще можно называть таковым. Бог его знает, откуда у него были деньги, но мистер Лимас был человеком основательным. А с бакалейщиком Фордом он обошелся именно так, как хотели бы многие еще с самой войны. Заняли ли комнату? Да, заняли. Джентльмен

из Кореи через два дня после того, как мистера Лимаса забрали.

Может быть, именно поэтому она и продолжала работать в библиотеке — там он по крайней мере все еще существовал. Стремянка, полки, книги, каталог — все это он видел, ко всему этому прикасался и, кто знает, может быть, когда-нибудь вернется сюда. Мисс Крейл полагала, что он обязательно вернется: она обнаружила, что осталась должна ему — она постоянно ему недоплачивала, — и ее прямо-таки бесило, что это чудовище оказалось недостаточно чудовищным, чтобы явиться за долгом. После исчезновения Лимаса Лиз постоянно задавала себе один и тот же вопрос: почему он ударил бакалейщика? Она знала, что он жутко вспыльчив, но тут что-то было не так. Он задумал это заранее, как только выздоровел. Разве иначе он стал бы прощаться с ней накануне вечером? Он знал, что ударит бакалейщика. Лиз не желала принимать всерьез другое объяснение: что он просто устал от нее, решил порвать с ней, а на следующий день, все еще под воздействием эмоционального стресса, не сдержался во время ссоры с бакалейщиком и ударил его. Нет, ведь она с самого начала прекрасно знала, что существует нечто, чему посвятил себя

Алек. Но чему — об этом Лиз могла лишь гадать.

Возможно его ненависть к бакалейщику коренится в глубоком прошлом. Какая-нибудь история с девицей или родственниками Алека. Но стоило поглядеть на бакалейщика, и подобные подозрения отпали сами собой. Это был типичный petit-bourgeois, расчетливый, скаредный, подловатый. Но даже если Алек и решил за что-то отомстить бакалейщику, почему он выбрал для этого субботний день, когда в лавке полно покупателей, а следовательно, свидетелей?

Они обсуждали этот случай на заседании партячейки. Джордж Хэнби, их казначей, случайно оказался в лавке во время скандала, хотя почти ничего не сумел разглядеть в толчее. Но он разговорился с человеком, который стоял близко от прилавка. История эта произвела на Хэнби столь сильное впечатление, что он позвонил в «Уоркер», и те прислали на суд своего корреспондента, поэтому и появилось сообщение в газете. «Это был чистейший случай социального протеста, внезапного взрыва ненависти и бунта против господствующего класса» — так писалось в «Уоркере». Тот тип, с которым говорил Хэнби (собственно, не тип, а невзрачный коротышка в очках, похожий на чиновника), сказал, что все

произошло как гром среди ясного неба, что, по мнению Хэнби, лишний раз доказывало неустойчивость капиталистического строя. Пока Лиз слушала Хэнби, у нее не раз перехватывало дыхание; никто из членов их ячейки, разумеется, ничего не знал о ней и Лимасе. И вдруг она почувствовала, что ненавидит Хэнби, похотливого нахала, вечно пялившегося на нее и норовившего ее полапать.

А затем пришли эти двое.

Она сразу подумала, что они выглядят слишком прилично для полицейских: они приехали на небольшой черной машине с антенной. Один был мал ростом и довольно тучен. Он носил очки и был одет дорого и безвкусно. Он казался добрым и чем-то озабоченным, и Лиз почему-то сразу прониклась к нему доверием. Второй был довольно привлекателен, но не смазлив, со стройной юношеской фигурой, хотя, как решила Лиз, ему было не менее сорока. Они объяснили, что работают в особом отделе, и показали удостоверение с фотографиями в целлофановой обложке. Беседу главным образом вел коротышка.

— Я знаю, что вы дружите с Алеком Лимасом, — начал он.

Лиз готова была рассердиться, но у коротышки

был слишком уж серьезный вид.

— Да, — ответила она. — А откуда вам это известно?

— Мы только вчера случайно узнали об этом. Понимаете, когда человек попадает… попадает в тюрьму, он должен назвать ближайших родственников. Лимас заявил, что у него вообще их нет. Он солгал. Тогда его спросили, кого известить, если с ним что-то случится в тюрьме. И он назвал вас.

— Понятно.

— Кто-нибудь еще знает о вашей дружбе?

— Нет, никто.

— Вы были на суде?

— Нет.

— И не встречались с газетчиками, кредиторами и тому подобное?

— Нет, я же сказала вам. Никто ничего не знает. Даже мои родители. Мы, конечно, работали вместе в библиотеке психиатрических исследований, но об этом знает только мисс Крейл, библиотекарша. Думаю, она даже не заметила, что между нами что-то было. Она слегка тронутая, — с обезоруживающей простотой добавила Лиз.

Коротышка некоторое время серьезно глядел на нее, а потом спросил:

— Вас удивило то, что Лимас ударил бакалейщика?

— Конечно.

— А как вам кажется, почему он это сделал?

— Не знаю. Наверно, потому, что тот отказал ему в кредите. Но, по-моему, он все равно сделал бы так.

Тут она подумала, не сказала ли чего-то лишнего, но ей было так одиноко и так хотелось с кем-то поговорить, а эти люди не внушали тревоги.

— Накануне вечером, перед тем как все это случилось, мы с ним разговаривали. Мы ужинали как-то необычно торжественно. Алек позаботился об этом, и я поняла, что это прощание. Он принес бутылку красного вина, мне вино не очень нравится, и почти всю бутылку выпил он сам. Потом я спросила: «Это что, прощание? Между нами все кончено?»

— И что ответил он?

— Он сказал, что ему предстоит какое-то дело. Отплатить кому-то за то, что тот сделал с его другом. Честно говоря, я тогда почти ничего не поняла.

Воцарилось долгое молчание. Коротышка выглядел теперь еще более встревоженным, чем поначалу. Наконец он спросил:

— И вы ему поверили?

— Не знаю. — Ей вдруг стало страшно за Алека, хотя она не могла понять почему.

— У Лимаса было двое детей от первого брака, он говорил вам об этом? — Лиз промолчала. — И тем не менее как своего ближайшего родственника он указал вас. Как вы думаете, почему?

Коротышка, казалось, удивился собственному вопросу и смущенно перевел взгляд на свои сцепленные на коленях пухлые руки. Лиз покраснела.

— Я была влюблена в него.

— А он в вас?

— Может быть. Не знаю.

— И вы по-прежнему его любите?

— Да.

— Он обещал вам когда-нибудь вернуться? — спросил тот, что помоложе.

— Нет.

— Но он с вами попрощался? — быстро спросил коротышка. — Он ведь попрощался, не так ли? — переспросил он уже медленно и доброжелательно. — С ним больше ничего не случится, обещаю вам. Но мы хотим; помочь ему, и если у вас появятся какие-то мысли по поводу того, почему он ударил бакалейщика, если вы: что-ни-

будь еще вспомните, хоть самую малость из того, что он говорил или делал, сообщите об этом нам; для его же пользы.

Лиз покачала головой.

— Пожалуйста, уходите, — сказала она. — Пожалуйста, не спрашивайте больше ни о чем и уходите.

Уже возле двери тот, что постарше, задержался, достал из бумажника визитную карточку и осторожно, словно стараясь не шуметь, положил ее на край стола. Лиз подумала, что он, наверное, очень робкий.

— Если вам понадобится какая-то помощь, если произойдет что-то связанное с Алеком или еще что-нибудь, позвоните мне. Вы поняли?

— А кто вы такой?

— Я друг Алека. — Он вздохнул. — И еще один вопрос. Теперь уже действительно последний. Алек знал о том… он знал, что вы в партии?

— Да, — грустно сказала она. — Я ему говорила.

— А партия знала про вас и Алека?

— Я же вам сказала: никто не знал. — И затем, побледнев, она вдруг заплакала. — Где он? Скажите, где он. Почему вы не хотите сказать мне? Я могла бы помочь ему, неужели вам это не понятно? Я могла бы присмотреть за ним. Даже если он

сошел с ума, клянусь, мне все равно… все равно… Я писала ему в тюрьму. Я знала, что не должна этого делать, я знала. Я просто написала ему, что он может вернуться, когда захочет… я буду ждать его всегда… — Не в силах говорить, она принялась всхлипывать, стоя посреди комнаты и закрыв руками лицо.

Коротышка внимательно глядел на нее.

— Он за границей, — мягко сказал он. — Где точно, вы и сами не знаем. Он не сошел с ума, но ему не следовало говорить вам так много. Очень жаль.

Тот, что помоложе, сказал:

— Мы позаботимся, чтобы с вами было все в порядке. Деньги и все такое.

— Кто вы такие? — снова спросила она.

— Друзья Алека, — ответил более молодой. — Добрые друзья.

Она слышала, как они тихо спустились вниз по лестнице и вышли на улицу. Из окна она видела, как они садятся в машину и отъезжают в сторону парка.

Потом она вспомнила о визитной карточке, подошла к столу, взяла ее и поднесла к свету. Карточка была шикарная. Куда богаче, чем мог бы позволить себе полицейский, подумала Лиз.

С гравировкой. Ни профессии, ни номера полицейского участка. Просто имя с обращением «мистер». Да и с каких это пор полицейские стали проживать в Челси? «Мистер Джордж Смайли. Байуотер-стрит, 9. Челси». А ниже номер телефона.

Все это было очень странно.

Глава 12
Восток

Лимас отстегнул пристежной ремень.

Говорят, что люди, приговоренные к смерти, переживают мгновения внезапного душевного подъема: словно мотыльки, летящие на огонь, они могут испытать истинное наслаждение, лишь погибая. Твердо следуя принятому решению, Лимас ощущал сейчас нечто подобное: облегчение, пусть недолгое, но утешительное и вселяющее силы. Правда, к этому примешивались голод и страх.

Да, он устал. Контролер был прав.

Впервые он заметил это в начале года, ведя дело Римека. Карл прислал ему сообщение: он приготовил для Лимаса нечто особенное и намерен совершить один из редких визитов в Западную Германию на какую-то вполне официальную конференцию в Карлсруэ. Лимас долетел до Кельна, а там взял напрокат машину. Было еще очень рано, и он надеялся, что дорога окажется довольно пустынной, однако тяжелые грузовики уже потоком шли в Карлсруэ. Он ехал со

скоростью сто сорок километров в час, лавируя между машинами и рискуя разбиться, как вдруг маленькая машина, кажется «фиат», вынырнула прямо перед ними метрах в сорока. Лимас нажал на тормоза, включил на полную мощность передние фары, засигналил — и с божьей помощью избежал столкновения: все решила какая-то доля секунды. Обогнав машину, они боковым зрением увидел на заднем сиденье «фиата» четырех детей, смеющихся и весело машущих ему, и глупое, перепуганное лицо отца за рулем. Матерясь про себя, он поехал дальше, и тут это случилось: руки его лихорадочно задрожали, лицо покрылось горячим потом, сердце бешено заколотилось. У него едва хватило сил выехать на обочину. Он вылез из машины и стоял, тяжело дыша и глядя на стремительный поток гигантских грузовиков. Ему привиделась маленькая машина, сдавленная, смятая, искореженная, и вот уже все кончено, лишь истерический вой клаксонов, синие сигнальные огни и изуродованные тела детей, похожие на трупы беженцев в дюнах.

Остаток пути он ехал очень медленно и опоздал на встречу с Карлом.

С тех пор всякий раз, садясь в машину, он каким-то закоулком памяти вспоминал рас-

трепанных детишек, машущих ему с заднего сиденья, и отца, вцепившегося в руль, как фермер в рукоятку плуга.

Контролер назвал бы это болезнью.

Лимас мрачно сидел у окна над крылом. Возле него сидела американка в туфлях на высоком каблуке и полиэтиленовых ботиках. Он задумался на секунду, не передать ли через нее записку своим людям в Берлине, но тут же отбросил эту мысль. Она решит, что он вздумал пофлиртовать с ней, а Петерс непременно это заметит. К тому же в этом не было никакого смысла. Контролер знал, что произошло, ведь это произошло по его воле. Что тут еще можно добавить.

Он стал прикидывать, что же с ним теперь будет. Контролер никогда не говорил об этом — только о технической стороне операции.

— Не раскрывайте им всего сразу. Заставьте их как следует потрудиться. Путайте их в мелочах, выпускайте кое-какие факты, ступайте по собственному следу. Будьте раздражительны, будьте требовательны, трудны в общении. Пейте как лошадь, не напирайте на идеологию, они вам все равно не поверят. Им хочется иметь дело с человеком, которого они купили, получить информацию от достойного противника, а полу-

спятивший ренегат им ни к чему. А главное, они хотят докопаться до истины. Почва подготовлена, мы проделали все это давным-давно: мелочи, детали, отдельные факты. Вы для них — последняя отмычка к сейфу.

Он не мог отказаться: нельзя же покидать поле решающего сражения, когда за тебя уже провели все предварительные бои.

— Могу вам сказать только одно, Алек: дело того стоит. Оно связано с нашими особыми интересами. Не погубите его — и мы одержим крупную победу.

Лимас не верил, что сможет выдержать пытки. Он вспомнил книгу Кестлера, в которой старый революционер готовит себя к пыткам, поднося к пальцам зажженные спички. Читал он мало, но эту книгу прочел и запомнил.

Когда они приземлились в Темпельхофе, уже почти стемнело. Лимас видел, как несутся им навстречу берлинские огни, почувствовал тупой толчок, когда самолет коснулся земли, и заметил спешащих из темноты пограничников и таможенников.

На мгновение он испугался, как бы кто-нибудь из старых знакомых случайно не опознал его в аэропорту. Но когда они бок о бок с Петерсом шли

бесконечными коридорами — пограничная проверка, таможня и прочее — и ни одно знакомое лицо не повернулось к нему, он понял, что то был вовсе не испуг, а надежда, надежда, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства пресекут его отчаянное решение довести дело до конца.

Ему показалось любопытным, что Петерс перестал делать вид, будто они не знакомы. Похоже, Петерс считал Западный Берлин совершенно безопасной почвой, где можно на время оставить бдительность и настороженность, просто перевалочным пунктом по пути на Восток.

Они прошли через большой зал для прилетающих к главному выходу, но тут Петерс, словно внезапно переменив решение, круто свернул в сторону и вывел Лимаса через боковой выход на стоянку такси и личных машин. Здесь он чуть помедлил, постоял под фонарем над дверью, опустил чемодан на землю, демонстративно достал из-под мышки газету, развернул ее, затем вновь свернул, сунул в левый карман плаща и поднял чемодан. Сразу же вслед за этим со стороны стоянки на мгновение сверкнули и погасли фары.

— Идемте, — сказал Петерс и быстро зашагал по бетонированной площади. Лимас на некотором расстоянии следовал за ним. Когда они

подошли к первому ряду машин, дверца черного «мерседеса» распахнулась и внутри приветливо зажегся свет. Петерс, обогнавший Лимаса метров на десять, быстро подошел к машине, о чем-то тихо переговорил с водителем, а затем подозвал Лимаса.

— Наша машина. Поторапливайтесь.

Это был старый «мерседес-180». Лимас безропотно залез в машину. Петерс уселся рядом с ним. Они обогнали маленькую ДКВ с двумя пассажирами на заднем сиденье. Впереди метрах в двадцати виднелась телефонная будка. Какой-то мужчина говорил по телефону, он продолжал говорить и когда они проезжали мимо. Лимас оглянулся и заметил, что ДКВ следует за ними. «Славно встречают», — подумал он.

Они ехали очень медленно. Лимас сидел, сложив руки на коленях и глядя прямо перед собой. Смотреть в окно на Берлин ему не хотелось. Он знал, что это его последний шанс. Сидя рядом с Петерсом, он мог неожиданно ударить его ребром правой ладони по шее и сломать ее. Мог открыть дверцу и броситься бежать, петляя, чтобы увернуться от пуль из машины. Он мог спастись — здесь, в Берлине были люди, которые позаботились бы о нем, — он сумел бы ускользнуть.

Но он не шевельнулся.

Переезд в Восточный сектор оказался на редкость простым. Лимас не думал, что все будет так просто. Минут десять они постояли, и Лимас понял, что они дожидаются определенного времени. Когда они подъехали к западноберлинскому КПП, их с чудовищным ревом обогнала все та же машина и замерла у будки. «Мерседес» остановился метрах в тридцати сзади. Две минуты спустя красный и белый флажки дали отмашку, пропуская ДКВ, и по этому сигналу обе машины тронулись одновременно, мотор «мерседеса» скрежетал на второй скорости, водитель откинулся на спинку сиденья, держа руль вытянутыми руками.

Пока они проезжали пятьдесят метров, разделявшие два КПП, Лимас почти машинально отметил про себя новые укрепления с восточной стороны стены — железные зубья на шоссе, наблюдательные вышки и двойное заграждение из колючей проволоки. Дела шли все круче.

«Мерседес» не стал останавливаться у второго КПП, шлагбаум был уже поднят, они проехали, не замедляя хода, а восточногерманские полицейские просто наблюдали за ними в бинокль. ДКВ куда-то пропала, Лимас вновь заметил ее

только минут через десять. Теперь они ехали очень быстро. Лимас ожидал, что они остановятся в Восточном Берлине, быть может, поменяют машину и поздравят друг друга с успешной операцией. Но они продолжали ехать в восточном направлении.

— Куда мы едем? — спросил он Петерса.

— Мы уже приехали. Германская Демократическая Республика. Вас тут ждут.

— Я думал, мы поедем дальше на восток.

— Мы и поедем. Но сперва проведем тут пару дней. Нам кажется, что немцам захочется поговорить с вами.

— Понятно.

— В конце концов, ваша деятельность протекала главным образом на немецкой земле. Я отправил им некоторые данные из полученной от вас информации.

— И они пожелали со мной встретиться?

— Им никогда не попадался человек вроде вас, человек, столь близко стоящий, так сказать, к первоисточнику. Мое начальство решило, что мы не можем отказать им во встрече с вами.

— А куда мы поедем потом? Из Германии?

— Дальше на восток.

— С кем из немцев мне предстоит говорить?

— Это имеет для вас какое-то значение?

— Не особенное. Просто я знаю по имени большинство сотрудников отдела. Вот и поинтересовался.

— Кого вы ожидали здесь встретить?

— Фидлера, — спокойно ответил Лимас. — Заместителя начальника разведки. Помощника Мундта. Все серьезные дознания проводит он. Порядочный сукин сын.

— Почему же?

— Жестокий ублюдок. Я о нем наслышан. Он поймал одного агента Петера Гийома и запытал его чуть ли не до смерти.

— Шпионаж — это вам не игра в крикет, — кисло заметил Петерс, после чего они оба погрузились в молчание.

«Значит, Фидлер», — подумал Лимас. Лимас в самом деле знал Фидлера. Знал по фотографиям в досье и по отчетам своих бывших подчиненных. Стройный, подтянутый человек, еще сравнительно молодой, с приятной внешностью. Темные волосы, яркие карие глаза. Интеллигент и дикарь, как говорили о нем Лимасу. Легкое, стремительное тело и цепкий пытливый ум. Человек, внешне лишенный личных амбиций, но не ведающий колебаний там, где речь шла

о жизни других. В Отделе Фидлер был «белой вороной» — не участвовал в тамошних интригах, казалось, вполне довольствуясь второстепенной ролью в тени у Мундта и без всяких шансов на повышение. Его невозможно было отнести ни к одной из известных Цирку группировок: даже те, кто работал с ним в Отделе, не могли бы с уверенностью сказать, какое место он там занимает и какую имеет власть. Фидлер был одиночкой: его боялись, его не любили и ему не доверяли. Любые чувства он умело прятал под маской сокрушительного сарказма.

— На Фидлера мы и сделаем ставку, — сказал Контролер.

Они обедали втроем — Лимас, Контролер и Гийом — в мрачном маленьком доме в Саррей, где Контролер жил со своей женой в окружении резных индийских столиков с медными столешницами.

— Фидлер — это служка, который в один прекрасный день всадит нож в спину своему первосвященнику. Он единственный, кто может сравниться с Мундтом. — Тут Гийом утвердительно кивнул головой. — И ненавидит его всеми фибрами души. Фидлер, конечно же, еврей, а Мундт нечто совсем иное. Довольно взрывоопас-

ное сочетание. Мы решили, — сказал он, имея в виду себя и Гийома, — вложить Фидлеру в руки оружие, которым он уничтожит Мундта. И вам, мой милый Лимас, предстоит подвигнуть его на это. Разумеется, косвенно, потому что вы с ним не встретитесь. По крайней мере мне хочется на это надеяться.

И все расхохотались, в том числе и Лимас. Тогда это казалось недурной шуткой, во всяком случае, для такого остряка, как Контролер.

Должно быть, уже перевалило за полночь. Некоторое время они ехали грунтовой дорогой. Наконец остановились, и мгновение спустя на дороге показалась ДКВ. Выйдя из машины, Лимас заметил, что в ДКВ было уже три пассажира. Двое вышли, а третий остался, проглядывая при свете лампочки какие-то бумаги — худощавая фигура, почти неразличимая в полутьме.

Они находились возле какой-то заброшенной конюшни, метрах в тридцати стоял дом. При свете фар Лимас разглядел низкое строение из бревен и побеленного кирпича. Луна светила так ярко, что на фоне бледного неба четко вырисовывались поросшие лесом вершины холмов. Они направились к дому. Петерс и Лимас впереди, двое других следом. Третий пассажир все еще

оставался в машине.

У двери Петерс остановился, поджидая тех двоих. У одного в руках была связка ключей, и пока он возился с замками, его напарник стоял, руки в карманах, охраняя его.

— Да, с ними шутки плохи, — заметил Лимас. — А что они думают насчет того, кто я такой?

— Им платят не за то, чтобы они думали, — ответил Петерс и, обернувшись к ним, спросил по-немецки:

— Он идет с нами?

Немец, пожав плечами, поглядел в сторону машины.

— Придет. Но он любит ходить в одиночку.

Они вошли в дом, человек с ключами шел впереди. Внутреннее убранство напоминало охотничий домик, кое-где старый, кое-где подновленный. Тусклые лампы под потолком слабо освещали помещение. Во всем сквозила какая-то заброшенность и неуютность, словно тут бывали только от случая к случаю. На всем был налет казенщины: инструкции по противопожарной безопасности, канцелярская зелень стен, тяжелые пружинные замки, а в гостиной, довольно комфортабельной по сравнению с другими комнатами, тяжелая темная исцарапанная мебель и

обязательные портреты советских вождей. Для Лимаса такие отступления от принципа анонимности были верным признаком постепенного сращения Отдела с бюрократией. Нечто подобное он замечал и в Цирке.

Петерс сел, а вслед за ним и Лимас. Они подождали минут десять, может, чуть больше, а затем Петерс обратился к одному из немцев, почтительно застывших у двери:

— Пойдите и скажите ему, что мы ждем. И принесите что-нибудь поесть. Мы голодны. — А когда тот уже собирался выйти, добавил:

— И виски! Пусть принесут виски и стаканы.

Немец пожал плечами и с явной неохотой вышел, не закрыв за собой двери.

— Вы уже тут бывали? — спросил Лимас.

— Да, несколько раз.

— По какому поводу?

— Вроде вашего. Не совсем, конечно, просто по делам службы.

— Вместе с Фидлером?

— Да.

— И каков он?

Петерс помедлил.

— Для еврея совсем недурен.

В этот момент Лимас обернулся на шум и

увидев в проеме двери Фидлера. В одной руке он держал бутылку виски, в другой — стаканы и минералку. Рост примерно метр семьдесят. Темно-синий костюм с длинным не по фигуре однобортным пиджаком. Вид довольно холеный, глаза карие и блестящие. Смотрел Фидлер не на них, а на охранника у двери.

— Ступай прочь, — приказал он. В его немецком сквозил легкий саксонский выговор. — Ступай прочь и скажи напарнику, чтобы принес нам поесть.

— Я уже говорил ему, — вмешался Петерс. — Им уже было сказано. Но они и пальцем не шевельнули.

— Много о себе мнят, — сухо сказал Фидлер, переходя на английский. — Они полагают, что мы должны держать для этого прислугу.

Фидлер провел годы войны в Канаде. Лимас вспомнил об этом, услышав его английский. Родители Фидлера были евреи-эмигранты из Германии, убежденные марксисты, и в сорок шестом они вернулись на родину, исполненные решимости принять участие в построении сталинской Германии, чего бы им это ни стоило.

— Здравствуйте, — сказал он вскользь Лимасу. — Рад видеть вас.

— Здравствуйте, Фидлер.

— Вот и кончилось ваше странствие.

— Что вы имеете в виду, черт побери? — вскинулся Лимас.

— Прямо противоположное тому, что говорил вам Петерс. Никуда дальше вы не поедете. К сожалению, — с усмешкой добавил он.

Лимас резко обернулся к Петерсу.

— Это правда? — Голос его задрожал от ярости. — Это правда? Ну, выкладывайте!

Петерс кивнул.

— Да, правда. Я всего лишь посредник. Нам пришлось поступить так. Уж извините.

— Но почему же?

— Force majeure, — вмешался Фидлер. — Ваше первоначальное дознание происходило на Западе, а там только посольства в состоянии обеспечить связь такого рода, какая нужна нам. Но у ГДР нет посольств в странах Запада. Пока еще нет. Поэтому в посольствах наших союзников соответствующие отделы предоставляют нам средства связи и тому подобное — все, в чем нам до поры отказано.

— Сукин ты сын, — прошипел Лимас, — паршивый сукин сын! Ты знал, что я ни за что не отдамся в руки вашей поганой контрразведки,

поэтому меня и обманули, так? Поэтому вы и обратились к русским?

— Мы воспользовались помощью советского посольства в Германии. А что нам оставалось делать? Но это была наша операция. И мы поступили вполне разумно. Кто же знал, что ваши любезные англичане так быстро по вас затоскуют?

— Кто знал? Когда вы сами натравили их на меня? Разве не так, Фидлер? Недурно подстроено!

«Постоянно давайте им понять, что не любите их, — говорил Контролер. — Тогда они вдвойне будут ценить то, что услышат от вас».

— Смехотворное предположение, — сухо сказал Фидлер и, поглядев на Петерса, добавил что-то по-русски.

Тот кивнул и поднялся.

— Прощайте, — сказал он Лимасу. — И удачи вам! — Устало улыбнувшись, он кивнул Фидлеру и пошел к двери. Уже взявшись за ручку, обернулся и повторил:

— Удачи вам.

Казалось, он ждет каких-то прощальных слов от Лимаса, но тот словно не слышал его. Смертельно побледнев, он опустил руки вдоль тела, но при этом выставил большие пальцы вперед,

будто готовясь к драке. Петерс застыл у двери.

— Мне следовало помнить, — начал Лимас со странной смесью истерики и гнева, — следовало бы знать, что у тебя, Фидлер, никогда не хватит смелости выгребать дерьмо собственными руками. Это ведь так типично для вашей ублюдочной полустраны и для вашей ублюдочной разведки — дерьмо за вами выгребает добрый дядюшка. Да и какая вы страна, какое у вас, к черту, правительство — третьесортная диктатура политических неврастеников. Ублюдок, садист! — указывая пальцем на Фидлера, заорал Лимас. — Я тебя знаю, это на тебя похоже! Ты ведь всю войну проторчал в Канаде? Неплохое местечко, чтобы спокойно отсидеться. Держу пари, что ты прятал голову к мамочке под юбку, как только над вами пролетал самолет. Ну, и кем ты стал теперь? Вонючая шестерка на подхвате у Мундта! Да еще двадцать две русские дивизии, чтобы вы не дергались. Ладно, мне жаль тебя, Фидлер, проснешься однажды утром — а русские ушли. Тут уж с тобой разделаются — не спасет тебя ни мамочка, ни добрый русский дядюшка. И поделом тебе!

Фидлер пожал плечами.

— Знаете, Лимас, вам лучше рассматривать это как визит к зубному врачу. Чем быстрей все

будет сделано, тем скорее вы отправитесь домой. Поешьте и ложитесь спать.

— Вы прекрасно знаете, что мне нельзя домой. Вы сами об этом позаботились. Растрезвонили обо мне по всей Англии — вы, вы оба. Вы прекрасно знаете, что если бы это зависело от меня, я никогда бы сюда не приехал.

Фидлер опустил глаза. У него были тонкие, длинные пальцы.

— Едва ли стоит сейчас заниматься философствованием, — сказал он. — По-моему, вам пока не на что жаловаться. Наша работа — и ваша, и моя — строится на принципах теории, гласящей, что общее куда важнее индивидуального. Вот почему для коммунистов секретная служба — это орудие в борьбе, и вот почему разведка в вашей стране так старательно прикрывается pudeur anglaise. Эксплуатацию отдельного человека можно оправдать только интересами коллектива, не так ли? Ваше негодование кажется несколько смешным. Мы здесь не для того, чтобы препираться о моральном кодексе добропорядочного англичанина. Кстати говоря, — добавил он вкрадчиво, — ваше собственное поведение, если взглянуть на него с пуританской точки зрения, тоже не отличалось особой безупречностью.

Лимас глядел на него с нескрываемым отвращением.

— Знаю я ваш расклад. Ты ведь у Мундта на побегушках, верно? Говорят, ты метишь на его место. Думаю, теперь ты его получишь. Всесилие Мундта подходит к концу. Начинается твое.

— Не понимаю, — возразил Фидлер.

— Ведь я — твое достижение, разве не так? — хмыкнул Лимас.

Фидлер на мгновение задумался, а потом пожал плечами и сказал:

— Операция проведена успешно. Теперь вопрос в том, многого ли вы стоите. Но операция была удачной. Она отвечает главному требованию нашей профессии: она сработала.

— Полагаю, что честь ее проведения вы припишете себе, — сказал Лимас, бросив взгляд на Петерса.

— Дело не в том, кто себе ее припишет, — возразил Фидлер, — вовсе не в этом. — Он уселся на подлокотник дивана и задумчиво поглядел на Лимаса. — Но один повод для негодования у вас все же есть. Кто сообщил вашей разведке о нашем соглашении? Мы этого не делали. Можете мне не верить, но это правда. Мы не сообщали. Нам вовсе не хотелось, чтобы они об этом знали. У нас были

свои планы насчет дальнейшего сотрудничества с вами — планы, которые теперь выглядят просто смешными. Итак, кто же сообщил им? Вы — отрезанный ломоть, вы катились по наклонной плоскости, у вас не было ни жилья, ни друзей, ни связей. Как же, черт побери, они пронюхали о вашем исчезновении? Кто-то сообщил им — едва ли Эш или Кифер, поскольку они арестованы.

— Арестованы?

— Так нам кажется. Не обязательно за участие в вашем деле, были ведь и другие…

— Понятно, понятно.

— Я говорю вам сейчас все как есть. Нам хватило бы подробного отчета Петерса из Голландии. Вы получили бы свои деньги и могли бы уехать. Но вы не рассказали всего, что знаете, а мне нужно знать все. Да кстати, ваше присутствие здесь — это для нас лишние хлопоты.

— Да уж, вы совершили промах. Мне, черт побери, известно все на свете, так что милости просим.

Воцарилось молчание. Тем временем Петерс, сухо и отнюдь не дружелюбно кивнув Фидлеру, тихо вышел из комнаты. Фидлер взял бутылку виски и плеснул в оба стакана.

— Увы, наверное, нет содовой, — сказал он. —

Хотите с водой? Я велел принести содовую, а они притащили какой-то вонючий лимонад.

— Да идите вы к черту, — сказал Лимас. Он вдруг почувствовал жуткую усталость. Фидлер покачал головой.

— Вы гордец, Лимас, — сказал он. — Но ничего страшного. Поешьте и ложитесь спать.

В комнату вошел охранник с подносом, уставленным тарелками — сосиски, зеленый салат, черный хлеб.

— Грубовато, но сытно, — сказал Фидлер. — К сожалению, без картошки. У нас временные перебои с картофелем.

Они молча принялись за еду. Фидлер ел с предельной сосредоточенностью человека, подсчитывающего поглощаемое им количество калорий.

Охранники препроводили Лимаса в спальню. Чемодан нес он сам — тот чемодан, которым снабдил его Кифер перед отлетом из Англии. Он шагал между ними по широкому коридору, который вел от центрального входа в глубь дома. Они подошли к большой двустворчатой двери, один из охранников отпер ее и приказал Лимасу войти первым. Тот распахнул дверь и очутился в маленькой барачного типа комнате с двумя кой-

ками, креслом и чем-то вроде письменного стола. Все это походило на тюремную камеру. Стены были увешаны фотографиями девиц, но ставни на окнах закрыты. Поставив чемодан на пол, он пошел открыть вторую дверь. Помещение за нею было точной копией первого, но тут стояла только одна койка и на стенах не было фотографий.

— Тащите сюда вещи, — сказал Лимас. — Я устал.

Не раздеваясь, он улегся на постель и через несколько минут уже крепко спал.

Его разбудил охранник, принесший завтрак: черный хлеб и эрзац-кофе. Лимас поднялся и подошел к окну.

Дом стоял на холме, сразу под окном склон круто уходил вниз, но кроны высоких елей возвышались над вершиной холма. За ними удивительно симметрично тянулась в даль бесконечная череда холмов, поросших густым лесом. То тут, то там лесные овраги и пожары образовали узкие просветы, похожие на Ааронову тропу среди чудесным образом расступившегося моря деревьев. Нигде не было ни единого намека на человеческое жилье: ни дома, ни церкви, ни даже каких-нибудь развалин, только грязная желтая дорога, тонкой линией прочертившая до-

лину. Ниоткуда не доносилось ни звука. Казалось невероятным, что такое огромное пространство может быть столь безмолвным. День был холодный, но ясный. Ночью, должно быть, шел дождь, почва была влажной, и весь ландшафт так четко вырисовывался на фоне белого неба, что Лимас различал даже отдельные деревья на самых дальних холмах.

Он неторопливо одевался, попивая противный кислый кофе. Когда он уже почти оделся и хотел было приняться за хлеб, в комнату вошел Фидлер.

— Доброе утро, — приветливо сказал он. — Пожалуйста, завтракайте.

Он присел на кровать. Лимас не мог не признать, что выдержки у него хватает. И дело не в смелости, с которой он вошел, ведь полицейские, конечно, находятся в соседней комнате. Но в повадке Фидлера были упорство и уверенность, которые Лимас заметил и поневоле оценил.

— Вы задали нам весьма интересную задачку, — сказал Фидлер.

— Я рассказал все, что знал.

— Куда там, — улыбнулся Фидлер. — Куда там, далеко не все. Вы рассказали нам то, что помните сознательно.

— Чертовски тонко подмечено, — пробормотал Лимас, отставляя в сторону тарелку и закуривая сигарету — последнюю.

— Позвольте задать вам один вопрос, — с преувеличенной вежливостью человека, предлагающего партию в шахматы, сказал Фидлер. — Что бы вы, как опытный сотрудник разведки, стали делать с той информацией, которую вы нам предоставили?

— С какой именно?

— Мой дорогой Лимас, вы сообщили нам только часть информации. Вы рассказали нам о Римеке. Вы рассказали об устройстве нашей берлинской организации, о служащих и агентах. Но это, если можно так выразиться, прошлогодний снег. Информация, конечно, точная. Хорошо прописанный задний план, занимательное чтение, то там, то тут второстепенные факты, то там, то тут мелкая рыбешка, которую мы можем выловить. Но, говоря откровенно, все это далеко не то, за что платят пятнадцать тысяч фунтов, во всяком случае, в разведке. И не по нынешним расценкам, — снова улыбнулся он.

— Послушайте, — сказал Лимас. — Эту сделку предложили вы, а не я. Вы, Кифер и Петерс. Я не ползал на коленях перед вашими друзьями,

подсовывая лежалый товар. Машину раскрутили вы сами, Фидлер. Вы назначили цену, вы пошли на риск. Кроме того, я пока еще не получил ни гроша. Так что не вините меня, если ваша операция окончилась пшиком.

«Пусть они сами сделают первый шаг навстречу», — подумал Лимас.

— Вовсе не пшиком, — возразил Фидлер. — Операция еще не закончилась. Да и не могла закончиться. Ведь вы не рассказали нам все, что знаете. Вы предоставили нам пока только один фрагмент актуальной информации. Я имею в виду «Роллинг Стоун». Позвольте снова задать вам тот же вопрос: как бы вы поступили, если бы я, или Петерс, или кто-нибудь еще преподнес вам подобную историю?

Лимас подумал.

— Мне было бы не по себе, — ответил он. — Такое случалось. Вы получаете намек или ряд намеков на то, что в определенном отделе или на определенном уровне у вас завелся вражеский агент. Ну и что дальше? Вы же не можете арестовать всех служащих. Вы не в состоянии расставить капканы на всех. Вы просто мотаете на ус. В случае с «Роллинг Стоун» вы даже не знаете, в какой стране он работает.

— Вы, Лимас, практик, а не теоретик, — улыбаясь, заметил Фидлер. — Позвольте задать вам несколько элементарных вопросов.

Лимас ничего не ответил.

— Досье — текущее досье дела «Роллинг Стоун» — какого цвета оно было?

— Серое с красным крестом — это означает ограниченный доступ.

— А что-нибудь еще на обложке было?

— Предупреждение. Список с пометкой, что любой человек, не поименованный в нем, если ему случайно попадет в руки досье, должен сразу, не открывая, вернуть его в расчетный отдел.

— А кто был в этом списке?

— Допущенных к «Роллинг Стоун»?

— Да.

— Заместитель Контролера, Контролер, его секретарша, расчетный отдел, мисс Брем из специальной регистрации и Сателлиты-Четыре. Кажется, все. И, наверное, отдел особой рассылки, но насчет этого я не уверен.

— Сателлиты-Четыре? А чем они занимаются?

— Странами за «железным занавесом», кроме СССР и Китая. Зоной.

— То есть Германской Демократической Республикой?

— То есть Зоной.

— А разве не странно, что в этом списке оказался целый отдел?

— Да, пожалуй, странно. Впрочем, не знаю, ведь прежде я никогда не имел дела с материалами ограниченного доступа. Кроме как в Берлине. Но там все было по-другому.

— А кто в это время работал в Сателлитах-Четыре?

— О Господи! Гийом, Хэверлейк, Де Йонг. Да, кажется, и он. Де Йонг как раз вернулся из Берлина.

— Им всем разрешалось читать это досье?

— Не знаю, Фидлер, — чуть раздраженно ответил Лимас. — И будь я на вашем месте…

— Разве не странно, что целый отдел попадает в список, хотя в остальных случаях в него включены лишь отдельные сотрудники?

— Говорю вам, не знаю. Да и откуда мне знать? В этом деле я был всего лишь клерком.

— А кто носил досье от одного человека к другому?

— Кажется, секретарши. А впрочем, не помню. С тех пор прошло несколько месяцев…

— Тогда почему этих секретарш не было в списке? Ведь секретарша Контролера в него попала?

На мгновенье наступило молчание.

— Да, вы правы, — сказал Лимас. — Я сейчас вдруг вспомнил, — и в голосе его послышалось удивление, — что мы передавали его из рук в руки.

— Кто еще из расчетного отдела имел дело с досье?

— Никто. Этим сразу начал заниматься я, как только пришел туда. До меня им занимался кто-то женщин, но как только появился я, досье передали мне, а ее вычеркнули из списка.

— Значит, вы лично относили досье следующему сотруднику?

— Да, кажется, так.

— А кому вы его передавали?

— Я?.. Не помню.

— Подумайте, — сказал Фидлер, не повышая голоса, но его настойчивость, похоже, застала Лимаса врасплох.

— Заместителю Контролера вроде бы, чтобы доложить, какую акцию мы предпринимаем или рекомендуем.

— Кто приносил досье?

— Что вы имеете в виду? — Лимас, казалось, совершенно был сбит с толку.

— Кто приносил досье вам? Кто-то из поимено-

ванных в списке, так?

Лимас нервно потер щеку.

— Да, кто-то из них. Понимаете, Фидлер, мне довольно трудно вспомнить это, я в те дни уже здорово пил. — В его голосе неожиданно зазвучали примирительные нотки. — Вы даже не представляете, как трудно…

— Я еще раз спрашиваю вас, Лимас. Подумайте. Кто приносил досье вам?

Лимас уселся за стол и покачал головой.

— Не могу вспомнить. Может, потом вспомню. Но сейчас, правда, не могу. И не надо меня так теребить.

— Это ведь не могла быть секретарша Контролера, верно? Вы всегда передавали досье заместителю Контролера, возвращали досье лично ему. Вы сами мне сказали. Так что все поименованные в списке должны были получать досье раньше Контролера.

— Да, думаю, так и было.

— Тогда остается отдел специальной регистрации. Мисс Брем.

— Нет, она просто заведовала кабинетом секретной документации. Там хранилось досье, пока я с ним не работал.

— Значит, — вкрадчиво спросил Фидлер, — до-

сье попадало к вам от Сателлитов-Четыре, не так ли?

— Думаю, так, — сказал Лимас беспомощно, словно был не в состоянии угнаться за блистательной работой мысли Фидлера.

— На каком этаже находится отдел Сателлиты-Четыре?

— На третьем.

— А расчетный?

— На пятом. Следующий после отдела специальной регистрации.

— И вы не помните, кто приносил досье наверх? Может быть, вы спускались к ним, чтобы забрать его?

Лимас в отчаянии покачал головой. Но вдруг резко обернулся к Фидлеру и буквально выкрикнул:

— Да я это был! Конечно же, я! А получал я его от Петера! — Лимас словно пробудился ото сна, он покраснел, лицо его было взволнованным. — Вот в чем штука: помню, я как-то забирал досье у Петера в его кабинете. Мы еще поболтали с ним о Норвегии. Нам случалось бывать там вместе.

— У Петера Гийома?

— Да, у Петера. Я о нем совсем забыл. Он вернулся из Анкары за несколько месяцев до этого.

Петер был в списке! Конечно, он там был! Вот в чем штука. Там стояло «Сателлиты-Четыре», а в скобках ПГ — инициалы Петера. До него этим занимался кто-то другой, но специальная регистрация заклеила то имя белой бумагой и внесла инициалы Петера.

— А какой территорией ведает Гийом?

— Зоной. Восточной Германией. Экономика. Маленький отдел, тихая заводь. Вот у него-то я и брал. А однажды, теперь припоминаю, он сам принес мне досье. Агентов у него не было. Я даже не понимаю, как он попал в эту историю. Петер еще с парочкой сотрудников занимался проблемами нехватки продовольствия. Реальным анализом положения.

— Однако, принимая во внимание особые предосторожности, окружающие «Роллинг Стоун», вполне возможно, что так называемая исследовательская работа Гийома на самом деле была частью операции по руководству этим агентом?

— Я ведь говорил Петерсу, — почти заорал Лимас, стукнув кулаком по столу, — что чертовски глупо думать, будто какая-то операция против Восточной Германии могла проводиться без моего ведома и, значит, без ведома всей берлинской

организации. Я бы знал об этом, понятно? Сколько раз можно повторять одно и то же! Я бы знал!

— Именно так, — мягко заметил Фидлер. — Разумеется, вы бы знали.

Он встал и подошел к окну.

— Видели бы вы, как тут осенью, — сказал он, глядя в окно. — Как здесь красиво, когда начинают желтеть листья.

Глава 13
Скрепки и сорта бумаги

Фидлеру нравилось задавать вопросы. Юрист по образованию, он иногда задавал их единственно из удовольствия задать и продемонстрировать несоответствие между фактом и абсолютной истиной. Так или иначе, Фидлер был наделен той инквизиторской настойчивостью, которая для адвокатов и журналистов есть вещь самоценная.

В тот день после полудня они отправились погулять и спустились по гравиевой дорожке вниз в долину, а затем свернули в лес, тянущийся вдоль широкой неровной дороги, выложенной бревнами. Фидлер все время испытывал Лимаса, нисколько не приоткрываясь сам. Расспрашивал о здании на Кембриджской площади, о людях, которые там работают. Какое у них социальное положение, в каких районах Лондона они живут, работают ли их мужья и жены в том же учреждении. Он спрашивал о жалованье, отпусках, о морали и о столовой, спрашивал об их личной жизни, какие сплетни они обсуждают, какую философию исповедуют. Больше всего его интере-

совала их философия. Для Лимаса это был самый сложный вопрос.

— Что вы называете философией? — удивлялся он. — Мы ведь не марксисты, мы люди обыкновенные. Просто люди.

— Но вы же христиане?

— Не многие из нас, как мне кажется. Я знаю не так уж много христиан.

— Тогда почему они этим занимаются? — настаивал Фидлер. — У них должна быть какая-то философия.

— Почему же должна? Может быть, они не знают, есть ли она, да и не задумываются об этом. Не у каждого есть своя философия, — отвечал Лимас, несколько сбитый с толку.

— Тогда объясните, в чем заключается ваша философия?

— Ах, ради Бога! — оборвал его Лимас, и некоторое время они шагали молча.

Однако Фидлер был не из тех, от кого легко отвязаться.

— Если они сами не знают, чего хотят, то почему они так уверены, что правы?

— А кто вам сказал, что они в этом уверены? — раздраженно возразил Лимас.

— Тогда в чем они видят оправдание своих

поступков? В чем? Для нас, как я уже говорил вам вчера вечером, все весьма просто. Отдел и прочие организации вроде него — это естественное оружие в руках партии. Они в авангарде борьбы за мир и прогресс. Они для партии — то же самое, что сама партия для социализма: они — авангард. Сталин говорил, — Фидлер сухо улыбнулся. — Сейчас не модно цитировать Сталина, но он сказал однажды: ликвидированные полмиллиона — это всего лишь статистика, а один человек, погибший в дорожной катастрофе, — национальная трагедия. Он, как видите, высмеивал буржуазную чувствительность масс. Он был великий циник. Но то, что он сказал, верно: движение, защищающееся от контрреволюции, едва ли вправе отказаться от эксплуатации или уничтожения определенных индивидуумов. Все это так, Лимас, мы никогда не претендовали на стопроцентную справедливость в процессе преобразования общества. Один римлянин сказал в Библии: лучше умереть одному, лишь бы процветали миллионы, не так ли?

— Кажется, так, — устало ответил Лимас.

— А что об этом думаете вы? В чем заключается ваша индивидуальная философия?

— Я просто думаю, что все вы — куча ублюд-

ков, — резко бросил Лимас.

Фидлер кивнул.

— Такую точку зрения я могу понять. Она примитивна, построена на голом отрицании и крайне глупа, но она существует и имеет право на существование. А что думают другие сотрудники Цирка?

— Не знаю. Откуда мне знать?

— Вы никогда не беседовали с ними на философские темы?

— Нет. Мы ведь не немцы. — Он помедлил и потом неуверенно добавил:

— Но думаю, что никому из них не нравится коммунизм.

— И этим, вы полагаете, можно оправдать убийства? Оправдать бомбу, подложенную в набитый людьми ресторан? Оправдать принесение в жертву агентов? Оправдать все это?

Лимас пожал плечами.

— Наверное, да.

— Вот видите, и у нас то же самое, — продолжил Фидлер. — Я сам, не колеблясь, подложил бы бомбу в ресторан, если бы знал, что это приблизит нас к цели. А потом подвел бы итог; столько-то погибших женщин, столько-то детей и вот на столько мы теперь ближе к цели. Но христиане

— а вы ведь христианская страна, — христиане не любят подводить итоги.

— А собственно, почему? Им ведь приходится думать о самообороне.

— Но они же верят в святость человеческой жизни. Они верят, что у каждого человека есть душа, которую можно спасти. Верят в искупительную жертву.

— Не знаю, — сказал Лимас, — меня это как-то не волнует. Да ведь и вашего Сталина тоже?

Фидлер улыбнулся.

— Люблю англичан, — сказал он, как бы размышляя вслух, — и мой отец тоже любил англичан. Просто обожал.

— Это вызывает во мне ответные теплые чувства, — буркнул Лимас.

Они остановились, Фидлер предложил Лимасу сигарету и дал прикурить.

Потом они стали подниматься круто наверх. Лимасу нравилась прогулка, нравилось идти широким шагом, выставив вперед плечи. Фидлер шел сзади, легкий и подвижный, как терьер, следующий за хозяином. Они прошагали уже час, а то и больше, когда деревья вдруг расступились и показалось небо. Они добрались до вершины холма, откуда смогли бросить взгляд на плот-

ную массу елей, кое-где прерываемую серыми полосками почвы. На противоположном холме, чуть ниже вершины, виднелся охотничий домик, темный и низкий по сравнению с деревьями. В прогалине стояла грубая скамья, а возле нее — поленница дров и кострище.

— Присядем на минутку, — сказал Фидлер, — а потом нам пора обратно. — Он помолчал. — Скажите: те деньги, те крупные вклады в иностранных банках, что вы об этом думаете? Для чего они предназначались?

— О чем это вы? Я же говорил вам, что это были выплаты агенту.

— Агенту из-за «железного занавеса»?

— Наверное, да, — устало бросил Лимас.

— А почему вы так считаете?

— Ну, во-первых, это куча денег. Во-вторых, все те сложности с порядком оплаты. Особая подстраховка. И, наконец, тут был задействован сам Контролер.

— А что, по вашему мнению, агент делал с деньгами?

— Послушайте, я же говорил вам — не знаю. Не знаю даже, получил ли он их. Ничего не знаю, я был почтальоном, и только.

— А что вы делали с банковской книжкой на

ваше имя?

— Вернувшись в Лондон, сразу же возвращал ее вместе с фальшивым паспортом.

— А вам кто-нибудь писал из копенгагенского или хельсинкского банков? Я имею в виду — вашему начальству?

— Понятия не имею. Так или иначе, любую корреспонденцию, конечно, передавали прямо в руки Контролеру.

— А у Контролера был образчик подписи, которой вы открыли счет?

— Да. Я долго тренировался, их осталось очень много.

— Не один?

— Целые страницы.

— Понятно. Значит, письма могли направляться в банк после того, как вы открыли счет. Вас не обязательно было ставить в известность. Они могли подделать подпись и отправить письмо, не уведомляя вас.

— Да, верно. Думаю, так оно и было. Я вообще подписывал кучу всяких бланков. Я всегда полагал, что корреспонденцией у нас ведает кто-то другой.

— Но вы не знаете точно, была ли такая корреспонденция?

Лимас покачал головой.

— Вы все это неправильно понимаете, вы применяете тут не совсем верный масштаб. У нас была уйма всяких бумаг, гулявших туда и сюда, это была просто часть каждодневной рутины. Я никогда над этим особенно не задумывался. К чему мне это? Все делалось шито-крыто, но я всю жизнь занимаюсь вещами, о которых знаю лишь какую-то часть, а остальное известно кому-нибудь другому. К тому же меня всегда воротило от бумаг. Или, скорее, меня от них в сон клонило. Мне нравится разъезжать с оперативными заданиями. А сидеть целыми днями за столом, ломая голову, кто такой «Роллинг Стоун», — нет, извините. Кроме того, — он сконфуженно улыбнулся, — я ведь уже здорово выпивал.

— Так вы утверждаете, — заметил Фидлер. — И, разумеется, я вам верю.

— Плевать я хотел, верите вы мне или нет, — вскипел Лимас.

Фидлер улыбнулся.

— Вот и прекрасно, — сказал он. — В этом ваше огромное достоинство. В том, что вам на все наплевать. Чуток негодования тут, чуток излишней гордости там — это не в счет, как помехи на магнитной ленте. Главное, вы объективны. Кстати, я

вдруг подумал, что вы все-таки могли бы помочь нам установить, снимались ли деньги со счетов. Ничто не мешает вам написать в оба банка и спросить о состоянии собственного счета. Вы напишете как бы из Швейцарии, мы снабдим вас адресом. Не возражаете?

— Может, оно и получится. Все зависит от того, сообщил ли Контролер банкам о моей фальшивой подписи. Иначе ничего не выйдет.

— Думаю, мы ничем особенно не рискуем и ничего не потеряем.

— А что вы выиграете?

— Если деньги были сняты, что — я согласен с вами — маловероятно, мы узнаем, где агент находился в определенный день. А знать это не мешает.

— Опомнитесь, Фидлер! Вам никогда не поймать его. Во всяком случае, с нынешней вашей информацией. Оказавшись на Западе, он может обратиться в любое консульство в самом маленьком городке и получить визу на въезд в любую страну. Как вы тогда выловите его среди всех остальных? Вы даже не знаете, восточный он немец или нет. За кем вы гонитесь?

Фидлер ответил не сразу.

— Вы говорили, что привыкли располагать

лишь частью информации. Я не могу ответить вам, не посвящая вас в то, что вам не следует знать. — Он на секунду замолчал. — Но операция «Роллинг Стоун» проводится против нас, в этом я могу вас заверить.

— Против кого это «вас»?

— Против ГДР. — Он улыбнулся. — Против Зоны, если вам угодно. На самом деле, я отнюдь не так уж чувствителен.

Лимас задумчиво смотрел на Фидлера.

— Ну, а как быть со мной? В случае, если я не стану писать это письмо? — спросил Лимас, повышая голос. — Не пора ли нам потолковать обо мне?

Фидлер кивнул.

— А почему бы и нет? — согласился он.

Наступила долгая пауза, потом Лимас сказал:

— Я сделал все, что мог. Вы с Петерсом получили все, что я знаю. У нас не было уговора, чтобы я писал в банк. Это может оказаться для меня чертовски опасным. Вам, как я понимаю, на это наплевать. Ради ваших интриг мной можно просто пожертвовать.

— Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным, — ответил Фидлер. — Как вам известно, в работе с перебежчиком существуют две

стадии. Первая стадия вашего дела практически завершена: вы рассказали нам все, мало-мальски достойное упоминания. Вы не говорили нам о том, какие скрепки и сорта бумаги предпочитают у вас в разведке, потому что мы вас об этом не спрашивали и потому что вы сами считали это несущественным. Подобное расследование всегда строится на принципе подсознательного отбора фактов, причем с обеих сторон. Но ведь возможно — вот это, Лимас, нас и волнует, — всегда возможно, что через месяц-другой обнаружится, что нам крайне важно знать как раз о скрепках и сортах бумаги. Это и предусмотрено во второй стадии работы — в том разделе нашего соглашения, который вы отвергли тогда в Голландии.

— То есть вы намерены держать меня на поводке?

— Профессия перебежчика, — улыбнулся Фидлер, — требует великого терпения. Весьма немногие обладают им в достаточной мере.

— И на сколько времени все это затянется?

Фидлер молчал.

— Ну!

— Даю вам честное слово, что отвечу на ваш вопрос сразу же, как только смогу. Послушайте, я ведь мог бы вам соврать, правда? Мог бы сказать,

что месяц или даже меньше, лишь бы держать вас в рабочем состоянии. Но я говорю вам: не знаю, потому что на самом деле не знаю. Вы навели меня на кое-какие мысли, и пока мы не продумаем все до конца, не может быть и речи о том, чтобы я вас отпустил. Но потом, если все будет складываться так, как я предполагаю, вам понадобится Друг. И этого друга вы найдете во мне. Даю вам честное слово немца.

Лимас был так ошарашен, что некоторое время просто не знал, что сказать.

— Ладно, — выдавил он наконец, — я согласен. Но если вы водите меня за нос, я все равно найду способ сломать вам шею.

— Тогда это скорей всего уже не понадобится, — спокойно ответил Фидлер.

Человек, играющий спектакль не для зрителей, а сам по себе, подвержен опасностям психологического рода. Просто обманывать не так уж трудно: все зависит от опыта и профессиональной компетентности, эти качества может развить в себе почти каждый. Но в отличие от виртуозного фокусника, актера или шулера, которые, окончив представление, могут влиться в ряды публики, тайный агент лишен такой возможности. Для него обман — это прежде всего средство

самозащиты. Он должен обезопасить себя не только извне, но и изнутри, должен остерегаться самых естественных импульсов: зарабатывая кучу денег, он не вправе приобрести даже иголку с ниткой; он может быть умницей и эрудитом, но ему придется бормотать глупости и банальности; он может быть образцовым мужем и семьянином, но будет вынужден при всех обстоятельствах сторониться тех, кого любит.

Хорошо понимая, какие жуткие искушения подстерегают человека, запертого в оболочке исполняемой им роли, Лимас прибегал к единственному спасительному средству: даже оставаясь наедине с собой, он продолжал существовать в пределах той личности, которую изображал. Говорят, что Бальзак даже на смертном одре интересовался здоровьем и состоянием дел придуманных им персонажей. Нечто подобное делал и Лимас: оставаясь творцом образа, он жил в нем и полностью отождествлял себя с ним. Качества, которые он демонстрировал Фидлеру — беспокойство и неуверенность, прикрываемые бахвальством, за которым скрывался стыд, — были как бы преувеличенным отражением тех чувств, которые он испытывал на самом деле. Сюда же следовало отнести шаркающую походку,

небрежение к своему внешнему виду, равнодушие к еде и растущую зависимость от алкоголя и никотина. Он оставался таким же и наедине с собой. И даже чуть переигрывал, когда, ложась в постель, бормотал под нос ругательства по поводу неблагодарности своих былых начальников.

Лишь крайне редко — как, например, сегодня — он, засыпая, позволял себе опасную роскошь подумать о том, в какой паутине лжи живет.

Контролер оказался абсолютно прав. Фидлер, точно лунатик, брел к заданной ему цели, брел прямо в силки, расставленные для него Контролером. Даже неприятно было видеть растущую взаимозависимость интересов Фидлера и Контролера: все выглядело так, словно они действовали в рамках единого плана, а Лимасу оставалось лишь координировать их поступки.

Может быть, здесь и таилась разгадка? Может быть, Фидлер и был тем самым агентом, которого так хотел уберечь Контролер? Лимас не слишком задумывался о такой возможности. Он не хотел этого знать. В подобных случаях он как бы начисто лишался своей профессиональной въедливости: он понимал, что в сложившихся обстоятельствах любые его умозаключения не принесут никакой пользы. И тем не менее он

молил Бога, чтобы так оно и было. Ибо в таком случае — и только в таком — оставалась зыбкая надежда на то, что ему удастся вернуться домой.

Глава 14
Письмо к клиенту

На следующее утро, когда Лимас был еще в постели, Фидлер принес ему на подпись письма. Одно было на тонкой синей бумаге с маркой отеля «Зайлер Альпенбрик» на озере Шпиц в Швейцарии, другое — на бумаге отеля «Палас» в Гштаде. Лимас прочел первое письмо:

«Директору Королевского скандинавского банка, Копенгаген.

Дорогой сэр! Уже несколько недель я нахожусь в разъездах и не получаю почты из Англии. Соответственно, я не получил и Вашего ответа на мое письме от 3-го марта относительно состояния банковского счета, к которому я имею совместный с мистером Карлсдорфом доступ. Чтобы избежать дальнейших затяжек, не будете ли вы так любезны прислать мне дубликат Вашего ответа на адрес, по которому я буду находиться в течение двух недель, начиная с 2-го апреля: (для передачи) мадам де Сангло, 13, авеню де Коломб, Париж-XII, Франция.

Извините за беспокойство.

Ваш (Роберт Ланг)».

— А что за чепуха насчет письма от третьего марта? Я не писал им никакого письма.

— Конечно, не писали. И насколько нам известно, никто не писал. Если существует хоть малейшая неувязка между вашим нынешним письмом и письмами Контролера, они решат, что разгадка заключена в письме от третьего марта. Они отправят вам требуемую справку с сопроводительным письмом, в котором выразят сожаление о том, что не получили предыдущего письма.

Второе письмо было идентично первому, отличаясь только именами и местом отправки. Но парижский адрес был тот же самый. Лимас взял авторучку и лист бумаги, поупражнялся в подписи «Роберт Ланг» и подписал первое письмо. Встряхнув ручку, он попрактиковался в другой подписи, а затем вывел «Стефен Беннет» под вторым письмом.

— Замечательно, — сказал Фидлер, — просто замечательно.

— Ну, и что теперь будет?

— Завтра их отправят из Швейцарии — из Интерлакена и Гштада. Наши люди известят меня по телеграфу, как только получат ответ. Это про-

изойдет примерно через неделю.

— А до тех пор?

— А до тех пор я составлю вам компанию. Понимаю, что вам это не по вкусу, и приношу свои извинения. Мы с вами погуляем, поездим по окрестностям, словом — скоротаем время. Мне хотелось бы, чтобы вы немного расслабились и просто поболтали — о Лондоне, о Цирке, о работе в Департаменте, пересказали бы тамошние сплетни, разговоры о жалованье, отпусках, помещениях, бумагах и людях. Скрепки и сорта бумаги. Я хотел бы услышать о мелочах, которые не имеют особого значения. И кстати… — Он неожиданно изменил тон.

— Что?

— У нас тут есть кое-какие удобства для людей, которых мы приглашаем в гости. Отдых, развлечения и тому подобное.

— Вы предлагаете мне женщину?

— Да.

— Нет, благодарю. В отличие от вас я предпочитаю устраиваться без посредников.

Фидлер, казалось, не обратил внимания на его слова.

— Но у вас, кажется, была женщина в Англии? Девица из библиотеки, — спросил он.

Лимас обернулся к нему, угрожающе расставив руки.

— Вот что, — заорал он, — вот что! Не заикайтесь об этом даже в шутку, не пытайтесь угрожать или давить на меня, потому что это не сработает, Фидлер, просто не сработает. Я замолчу, и вы больше не услышите от меня ни слова, хоть режьте. И передайте это Мундту, Штамбергеру и прочей сволочи, которой вам полагается докладывать. Передайте им то, что я вам сказал.

— Передам, — ответил Фидлер, — передам. Но боюсь, что уже слишком поздно.

После обеда они снова отправились на прогулку. Небо было облачным и темным, воздух теплым.

— Я только один раз был в Англии, — замел Фидлер. — Перед войной с родителями, когда мы уезжали в Канаду. Я тогда был еще маленьким. Мы пробыли там два дня.

Лимас кивнул.

— Знаете — сейчас я могу сказать вам это, — я чуть было не оказался там снова несколько лет назад. Мне предстояло заменить Мундта в нашей Сталелитейной компании. Вам ведь известно, что он находился тогда в Лондоне.

— Известно, — коротко ответил Лимас.

— Мне бы очень хотелось знать, что это за работа.

— Обычные игры с миссиями других стран блока. Какие-то контакты с британским бизнесом, но весьма незначительные.

Лимас, казалось, скучал.

— Но Мундт со всем этим неплохо справлялся. И прекрасно проявил себя.

— Да, я слышал. Он даже сумел убить парочку людей.

— Вы слышали и об этом?

— От Петера Гийома. Он участвовал в операции вместе с Джорджем Смайли. Мундт едва не прикончил и самого Смайли.

— Операция по делу Феннана, — задумчиво произнес Фидлер. — Удивительно все-таки, что Мундту удалось улизнуть от вас, правда?

— Да, удивительно.

— Кто бы мог поверить, что сотрудник иностранной компании, чьи данные имеются в досье британского МИДа, может переиграть всю британскую службу безопасности.

— Насколько мне известно, они не особенно старались поймать его.

Фидлер застыл на месте.

— Как вы сказали?

— Петер Гийом говорил мне, что поимка Мундта не входила в их планы, вот и все, что я знаю. У нас тогда была другая структура управления: Советник, а не Оперативный Контролер. Советника звали Мастон. Как сказал Гийом, Мастон с самого начала слишком переусердствовал с этим делом Феннана. Петер объяснил мне, что, если бы они схватили Мундта, поднялся бы страшный шум. Его пришлось бы судить и, наверное, вешать. И шум вокруг этого процесса мог погубить всю карьеру Мастона. Петер не знал, как именно там все происходило, но божился, что настоящей охоты на Мундта не было.

— Вы уверены в этом? Уверены, что Гийом выразился именно так: настоящей охоты на Мундта не было?

— Разумеется, уверен.

— А Гийом никогда не высказывал своих догадок по поводу того, почему они позволили Мундту уйти?

— Что вы имеете в виду?

Фидлер молча покачал головой, и они пошли дальше по тропе.

— Сталелитейная миссия была прикрыта сразу после дела Феннана, — сказал он чуть погодя. — Вот почему я не поехал в Англию.

— Мундт, должно быть, сумасшедший. Можно надеяться ускользнуть после убийства на Балканах или у вас, но не в Лондоне.

— И все-таки ему это удалось, правда? — быстро подхватил Фидлер. — И он недурно потрудился.

— Навербовал людей вроде Кифера и Эша? Ну, уж извините!

— Баба Феннана была у них на крючке задолго до скандала.

Лимас лишь пожал плечами.

— Скажите-ка мне вот что, — продолжил разговор Фидлер. — Карл Римек, кажется, один раз виделся с Контролером?

— Да, в Берлине год назад, может, чуть больше.

— А где именно?

— Мы сидели втроем у меня дома.

— А зачем они встречались?

— Контролер любил встречаться с удачливыми агентами. Мы получили от Карла массу первосортного материала, думаю, все в Лондоне были этим довольны. Контролер ненадолго прибыл в Берлин и попросил меня организовать встречу.

— Вас это расстроило?

— С какой стати?

— Ну, Карл был вашим агентом. Вам могла быть не по вкусу его встреча с другим резидентом.

— Контролер не резидент, он глава Департамента. Карл знал об этом, и это ему льстило.

— Вы все время беседовали втроем?

— Да. Хотя нет, погодите-ка. Я оставил их вдвоем на четверть часа или чуть больше. Так просил Контролер, ему хотелось побыть несколько минут с глазу на глаз с Карлом. Бог его знает зачем. И я под каким-то предлогом — не помню, под каким, — ушел. Ах да, вспомнил. Я сделал вид, будто у меня кончилось виски. Я вышел и взял бутылку у Де Йонга.

— А вам известно, о чем они говорили, пока вас не было?

— Откуда мне знать? Да меня это и не интересовало.

— А Карл вам потом ничего не рассказывал?

— Я его не спрашивал. Кое в чем Карл был порядочным индюком: любил делать вид, будто я не полностью в курсе дела. Мне не понравилось, как он подхихикивал потом над Контролером. Хотя, честно говоря, он имел на это право — уж больно смешное представление тот устроил. Не было ни малейшего смысла подстегивать тщеславие Карла, а тот вечер был задуман как что-то вроде допинга для него.

— Карл был тогда чем-то подавлен?

— Какое там! Он чувствовал себя на коне. Ему слишком много платили, его слишком любили, ему слишком доверяли. Отчасти по моей вине, отчасти по вине Лондона. Если бы его не перехвалили, он не проболтался бы своей чертовой бабенке об агентурной сети.

— Эльвире?

— Ну да.

Некоторое время они шли молча, потом Фидлер, стряхнув с себя задумчивость, заметил:

— Вы начинаете мне нравиться. Но одна вещь в вас меня озадачивает. Странно, такого со мной еще не случалось.

— И что же вас озадачивает?

— Почему вы вообще к нам пришли. Почему стали перебежчиком.

Лимас собрался было что-то ответить, но тут Фидлер расхохотался.

— Боюсь, это прозвучало не слишком тактично? — заметил он.

Всю ту неделю они целыми днями бродили по холмам. Возвращаясь, ели скверный ужин, запивая его бутылкой дешевого белого вина и подолгу просиживали с выпивкой у огня. Насчет огня придумал Фидлер: вначале его не было, но как-то вечером Лимас услышал, как Фидлер

велел охраннику принести дров. После этого коротать время стало веселее: после многочасовой прогулки при свете очага и с выпивкой Лимас часами охотно рассказывал о Цирке. Он подозревал, что их пишут на магнитофон, но ему было наплевать.

Он замечал, как с каждым днем растет волнение и напряженность его собеседника. Однажды вечером они довольно поздно поехали куда-то на ДКВ и притормозили возле телефонной будки. Оставив Лимаса в машине и не выключив мотор, Фидлер о чем-то долго говорил по телефону.

Когда он вернулся, Лимас спросил:

— Почему вы не позвонили из дому?

— Надо быть начеку, — ответил тот, покачав головой. — И вам тоже следует быть начеку.

— Почему? Что происходит?

— Деньги, которые вы вносили в копенгагенский банк… Вы ведь написали туда, помните?

— Конечно, помню.

Фидлер больше ничего не сказал и молча поехал дальше. Потом они остановились. Внизу, затененная вершинами елей, виднелась долина. По обе стороны от нее круто вверх поднимались склоны холмов. В сгущающихся сумерках они постепенно меняли окраску, становясь серыми и

безжизненными.

— Что бы ни случилось, — сказал Фидлер, — не волнуйтесь. В итоге все будет хорошо, понимаете? — Голос его звучал глухо и торжественно, узкая рука легла на плечо Лимасу. — Вам немного придется позаботиться о себе самом, но это ненадолго, понимаете? — снова спросил он.

— Нет, не понимаю. И пока вы не объясните, мне остается ждать и приглядываться. И не надо слишком дрожать за мою шкуру, Фидлер.

Он шевельнул плечами, но рука Фидлера не отпускала его. Лимас терпеть не мог, когда его трогали.

— Вы знаете Мундта? — спросил Фидлер. — Вы о нем знаете?

— Мы же с вами говорили о Мундте.

— Да, — подхватил Фидлер, — мы о нем говорили. Он сперва стреляет, а потом начинает задавать вопросы. Устрашающий принцип. И довольно странный для профессии, где вопросы принято считать куда более важным делом, чем выстрелы.

Лимас прекрасно понимал, что именно хочет сказать ему Фидлер.

— Довольно странный принцип, если только ты не боишься услышать ответ, — понизив голос,

сказал Фидлер, Лимас выждал, и Фидлер заговорил дальше:

— Прежде он никогда не проводил дознание, всегда поручал это мне. Он говорил: «Допросы — ваш конек. Тут с вами никто не сравнится. Я буду их ловить, а у вас они запоют». Он любит говорить, что контрразведчики подобны художникам, за спиной которых всегда должен стоять человек с молотком, чтобы ударом возвестить окончание работы. Иначе они забывают, ради чего принялись за нее. «Я — ваш молоток», — говорил он мне. Сперва это было просто шуткой, а потом стало реальностью, когда он начал убивать людей, убивать прежде, чем они запоют. Как вы сами говорили, одного прирежет, другого пристрелит. Я просил его, я его умолял: «Почему не арестовать их? Почему вы не передадите их мне на месяц-другой? Какой нам от них толк, когда они уже трупы?» А он только качал головой и говорил, что почки следует подрезать прежде, чем они распустятся. У меня было такое чувство, будто он готовил ответ раньше, чем я задавал вопрос. Он хороший оперативник, просто отличный. В Отделе он проделал чудеса, да вы сами это знаете. У него есть своя теория на этот счет, мне доводилось беседовать с ним об этом ночами.

За кофе — он ничего не пьет, только кофе. Он считает, что немцы слишком сосредоточены на себе, чтобы готовить хороших агентов, и это сказывается на работе контрразведки. Он говорит, что контрразведчики вроде волков, грызущих пустую кость, — приходится отнимать ее, чтобы заставить их выйти на поиски новой добычи. И это в самом деле так, я понимаю, что он имел в виду. Но Мундт зашел слишком далеко. Зачем он убил Фирека? Почему он отнял его у меня? Фирек был свежей добычей, фигурально выражаясь, с этой кости мы даже не успели обгрызть мясо. Так почему же он отнял его у меня? Почему, Лимас, почему?

Рука Фидлера крепко впилась в плечо Лимасу. Несмотря на полную темноту в машине, Лимас отчетливо ощущал пугающую взвинченность собеседника.

— Я гадал об этом день и ночь. Когда застрелили Фирека, я спросил себя, кому это на руку. Ответ сперва показался мне фантастическим. Я сказал себе, что просто завидую его успехам, что я переутомился, и мне за каждым кустом стали мерещиться предатели. В нашей работе такое бывает. Но я уже ничего не мог с собой поделать, мне нужно было докопаться до истины. Ведь кое-

что подобное уже случалось и раньше. Он боялся, он явно боялся, что мы поймаем кого-нибудь, кто скажет нам слишком много!

— Что вы несете! Да вы с ума сошли! — сказал Лимас, и в его голосе послышался испуг.

— Понимаете, все сходится одно к одному. Мундту с поразительной легкостью удалось удрать из Англии, вы же сами мне говорили. А помните, что вам сказал Гийом? Он сказал, что им не особенно хотелось поймать его! А собственно, почему? Я вам скажу почему: он стал их агентом, они перевербовали его, как только поймали, разве не понятно? Такова была цена его освобождения. Ну и деньги, которые ему стали платить.

— Говорю вам, вы сошли с ума! — прошипел Лимас. — Он прикончит вас, как только заподозрит, что вы стали думать об этом. Это пустышка, Фидлер. Заткнитесь и поехали домой.

Мертвая хватка на плече у Лимаса чуть ослабла.

— Вот тут вы ошибаетесь, Лимас. Вы сами предоставили нам доказательства. Да, вы сами. Вот почему нам следует держаться друг друга.

— Это чушь! — заорал Лимас. — Сколько раз вам повторять: так быть не могло. Цирк не мог задействовать его против Восточной Германии

без моего ведома. У нас нет такой оперативной возможности. Вы стараетесь доказать мне, будто Контролер через голову регионального резидента лично руководил заместителем начальника восточногерманской разведки. Вы сошли с ума, Фидлер! Вы просто спятили, черт побери! — Лимас вдруг беззвучно расхохотался. — А, ясно! Вы решили сесть на его место, идиот вы несчастный! Что ж, оно и понятно. Ну, такая штука может сработать против вас как бумеранг.

Некоторое время оба молчали.

— Те деньги в Копенгагене, — сказал наконец Фидлер. — Банк ответил на ваш запрос. Директор весьма озабочен возможным недоразумением. Деньги были сняты вторым держателем счета через неделю после того, как вы их внесли. Указанная дата совпадает с двухдневной поездкой Мундта в Данию в феврале. Он был там под чужим именем, якобы встречался с нашим агентом-американцем, который приехал туда на международную научную конференцию. — Фидлер чуть помолчал, а потом добавил:

— Полагаю, вам следует написать в банк и сообщить им, что все в порядке, не так ли?

Глава 15
Приглашение на бал

Лиз разглядывала письмо из партийного комитета и гадала, что бы это могло значить. Все было как-то странно. Она готова была признать, что очень польщена, но почему они сначала не посоветовались с ней? Кто внес ее имя — члены ячейки или окружной комитет? Но в комитете ее никто не знал, так, по крайней мере, считала Лиз. Конечно, ей доводилось слушать выступления партийных ораторов, а на общем собрании она обменивалась рукопожатиями с тем или иным функционером. Может быть, о ней вспомнил тот человек из отдела культуры — красивый, весьма женственного типа мужчина, который почему-то был так любезен с ней? Эш, так его звали. Он проявил к ней тогда некоторый интерес, и Лиз допускала, что он записал ее имя, а когда пришла стипендия, вспомнил о ней. Странный он человек: пригласил ее на чашку кофе в «Блэк энд Уайт» и принялся расспрашивать о кавалерах. Он не флиртовал с ней, ничего такого — он вообще показался ей чуточку голубым, — но задал ей

кучу вопросов. Давно ли она состоит в партии? Тоскует ли, живя без родителей? Много ли у нее парней или она отдает предпочтение кому-то одному? Он не произвел на Лиз особого впечатления, но разговаривать с ним было интересно: рабочее государство в Германской Демократической Республике, концепция рабочей поэзии и всякое такое. О Восточной Европе он знал, кажется, все, должно быть, немало поездил по свету. Лиз решила, что он учитель: было в его речах что-то назидательное и навязчивое. Потом у них был сбор средств в фонд борьбы; Эш пожертвовал целый фунт, чем совершенно очаровал Лиз. Да, так оно, конечно, и было, теперь Лиз уже не сомневалась: о ней вспомнил Эш. Он рассказал о ней кому-то в лондонском комитете, а те сообщили в центральный комитет или куда-то еще. Конечно, это все равно было странно, но партия всегда предпочитала тайные методы и средства, вероятно, потому, что она была революционной партией. Таинственность эта не нравилась Лиз, она находила ее бесчестной, но, как видно, необходимой, ибо, кто знает, сколько тайных врагов партии погорело на этом.

Лиз снова перечитала письмо. Оно было отпечатано на комитетском бланке с жирной красной

шапкой и начиналось обращением «дорогой товарищ». На вкус Лиз это звучало чересчур по-армейски, она ненавидела обращение «товарищ» и никак не могла привыкнуть к нему.

«Дорогой товарищ, в ходе недавних переговоров с товарищами из социалистической единой партии Германии о возможности эффективного обмена делегациями наших партий мы пришли к обоюдному соглашению. Оно базируется на эквивалентном обмене по рангу и уровню партийных работников между нашими организациями. СЕПГ понимает, что дискриминационные ограничения британского МИДа, существующие в настоящее время, едва ли позволят их делегации прибыть в Великобританию сейчас или в ближайшем будущем, но полагает, что тем более важно провести в нынешних условиях обмен опытом. Руководство СЕПГ великодушно предоставило нам возможность самим выбрать пять секретарей местных ячеек, обладающих опытом работы на местах и стимуляции массовых выступлений уличного типа. Каждый из отобранных товарищей проведет три недели в дискуссиях по близкой ему тематике, ознакомится с достижениями промышленного прогресса и социального обеспечения, а главное, своими

глазами увидит фашистские происки Запада. Это приглашение дает нашим товарищам исключительную возможность извлечь пользу из опыта молодой социалистической системы.

Исходя из этого, мы опросили округа на предмет поиска молодых кадровых трудящихся, проживающих в вашем районе, для которых такая поездка была бы наиболее полезной, и ваше имя было названо в числе первых. Мы предлагаем вам поехать, если вы сможете, и просим выполнить вторую намеченную нами задачу, которая заключается в установлении контактов с восточногерманскими товарищами, работающими в профессионально родственной вам области и, следовательно, сталкивающимися с проблемами, аналогичными вашим. Южно-Бэйсуотерский округ породнен с Нойхагеном, пригородом Лейпцига. Фреда Люман, секретарь нойхагенского комитета, наметила для вас широкую программу мероприятий. Мы убеждены в том, что вы наилучшим образом подходите для выполнения этой задачи и что ваша поездка пройдет на редкость успешно. Все расходы по ней берет на себя министерство культуры ГДР.

Мы убеждены, что вы понимаете, сколь велика оказанная вам честь, и не сомневаемся, что

никакие колебания или возражения личного характера не заставят вас отказаться от поездки. Визиты намечены на конец следующего месяца, примерно на 23-е, но все товарищи поедут раздельно, чтобы исключить дублирование. Пожалуйста, сообщите нам как можно скорее, принимаете ли вы приглашение, и мы ознакомим вас с дальнейшими деталями».

Чем внимательнее Лиз вчитывалась в текст письма тем более странным оно ей казалось. Начать, например, с того, что они словно бы знают, что она может уйти из библиотеки. Но тут она вдруг вспомнила, как Эш спрашивал, что она делает в отпуске, брала ли его в этом году и может ли, если понадобится, взять за свой счет. Но почему они не сообщают имена остальных кандидатов? Собственно, они не обязаны сообщать, но все же странно, почему они этого не сделали. А какое длинное письмо! У них в комитете вечно не хватало секретарш, и они старались писать покороче или просили товарищей звонить по телефону. А это письмо такое деловое и так хорошо отпечатано, словно было вовсе не из комитета. Но оно было подписано заведующим отделом культуры. То была, конечно, его подпись, Лиз десятки раз видела ее под документами. Кроме

того, письму был присущ тот неуклюжий, полубюрократический, полумессианский стиль, к которому Лиз постепенно привыкла, так и не научившись любить его. Глупо писать о ее умении стимулировать массовые выступления уличного типа. Не было у нее такого умения. Честно говоря, она ненавидела эту часть партийной работы — громкоговорители у фабричных ворот, продажа «Дейли» на перекрестке, обход квартир перед местными выборами. Борьба за мир была ей не так противна, она имела для Лиз некоторый смысл. Всегда можно поглядеть на ребятишек на улице, на матерей с колясками, на стариков у ворот и сказать себе: «Я делаю это ради них». Вот что такое борьба за мир.

Но ей никак не удавалось так же относиться к борьбе за голоса избирателей и за тираж газеты. Может быть, тут недостаток количества переходил в качество. Куда проще собираться всем вместе, человек двенадцать, на заседание ячейки, перестраивать мир, маршировать в авангарде социализма и рассуждать о поступательном ходе истории. Но потом приходилось выходить на улицу с пачкой «Дейли уоркер» и простаивать час, а то и два, пока продашь хоть один экземпляр. Иногда она жульничала — как,

впрочем, жульничали и остальные — и сама платила за дюжину экземпляров, лишь бы поскорее избавиться от них и пойти домой. На следующий день они хвастались друг перед другом своими успехами, словно позабыв о том, что сами купили все газеты: «Товарищ Голд продала в субботу вечером восемнадцать экземпляров, подумайте только — восемнадцать!» Сообщение об этом могло попасть в протокол или даже в партийный листок. В округе потирали от удовольствия руки, и при случае ее имя упоминалось в небольшой заметке о сборе пожертвований в фонд борьбы на первой странице листка. Они жили в очень тесном мирке, и Лиз хотелось, чтобы мирок этот был почестнее. Но ведь и она сама лгала себе. Должно быть, все они лгали. Но может, другим более понятно, для чего им приходится врать?

Странно, что ее выбрали секретарем ячейки. Предложил это Маллиган: «Нашего юного, энергичного и привлекательного товарища…» Он думал, что после этого она станет спать с ним. Остальные проголосовали за Лиз, потому что она им нравилась и умела печатать на машинке. Потому что считали, что она будет заниматься делом и собирать их — по выходным. Но только не слишком часто. Они голосовали за нее потому,

что им хотелось превратить ячейку в маленький уютный клуб, славный и революционный, но без лишней суеты. От всего этого разило жутким мошенничеством. Алек, кажется, понял это — он просто не принял ее дел всерьез. «Одни заводят канареек, другие вступают в партию», — сказал он однажды и был прав. По крайней мере в том, что касалось Южно-Бэйсуотерского района. В окружном комитете это тоже все прекрасно понимали. Вот почему и удивительно, что выбрали для поездки именно ее, ей трудно было поверить, что сделал это округ. Единственным объяснением был Эш. Может, он положил на нее глаз? Может, он вовсе не голубой, а только кажется таким?

Лиз беспомощно дернула плечами — жест, свойственный одиноким людям, находящимся на грани нервного срыва. Как бы то ни было, она сможет побывать за границей, поездка была бесплатной и сулила много интересного. Лиз никогда не бывала за границей, и за свой счет ей такую поездку было бы не осилить. Она наверняка получит большое удовольствие. Правда, у нее есть определенное предубеждение против немцев. Лиз знала — ей не раз говорили об этом, — что в Западной Германии милитаризм и реваншизм, а Восточная Германия — миролю-

бивая и демократическая. Но Лиз не верилось в то, что все дурные немцы собрались в одном государстве, а все хорошие — в другом. Ее отца убили дурные немцы. А может быть, партия выбрала ее именно поэтому — в качестве щедрой репарации за прошлое? Может быть, об этом думал тогда Эш? Ну конечно, вот и разгадка. Лиз почувствовала глубокую благодарность к партии. Они удивительно порядочные люди, и Лиз горда, что входит в их ряды. Она выдвинула ящик стола, где хранила в стареньком школьном ранце партийные документы и взносы, вставила лист бумаги в допотопный ундервуд — ей прислали его из комитета, когда узнали, что она умеет печатать, ход у него был скачущий, но в остальном машинка исправная, — и напечатала милое благодарственное, письмо, извещавшее, что она готова поехать. Комитет — прекрасная организация, строгая, благосклонная, безличная и вечная. Какие хорошие, добрые люди. Борцы за мир. Задвигая ящик, Лиз заметила визитную карточку Смайли.

Она вспомнила маленького человечка с серьезным морщинистым лицом, вспомнила, как он спросил, стоя в дверях: «Партия знает про вас с Алеком?» Как глупо она себя вела. Ладно, поездка

хоть немного отвлечет ее.

Глава 16
Арест

Остаток пути Фидлер и Лимас ехали молча. В темноте холмы казались черными и изрытыми пещерами, свет фар пробивался сквозь мрак, подобно судовым прожекторам в море.

Фидлер припарковал машину возле конюшни, и они направились к дому. Они были уже на пороге, когда сзади кто-то громко окликнул Фидлера. Обернувшись, Лимас различил в сумерках метрах в двадцати от них троих мужчин, которые, по-видимому, дожидались их.

— Чего вам нужно? — спросил Фидлер.

— Поговорить с вами. Мы из Берлина, — крикнули в ответ.

Фидлер заколебался.

— Где этот чертов охранник? — пробормотал он. — На главном входе должен стоять охранник.

Лимас ничего не ответил.

— Почему не горит в доме свет? — снова спросил Фидлер, а потом с явной неохотой направился к мужчинам.

Лимас подождал секунду-другую, но ничего

не услышал и прошел через темный дом в пристройку. То была убогая хижина, лепившаяся к стене дома и скрытая с трех сторон от посторонних взоров зарослями молодого ельника. В пристройке были три проходные спальни, не разделенные даже коридором. В средней спал Лимас, а в клетушке ближе к дому — оба охранника. Кто обитает в третьей спальне, Лимас не знал. Один раз он попытался открыть ведущую туда дверь, но она оказалась заперта. На следующее утро на прогулке он заглянул в просвет между шторами и увидел., что там тоже спальня. Охранники, повсюду следовавшие за ним на расстояние метров пятидесяти, еще не вышли из-за угла дома, и Лимас успел глянуть в окно. В комнате стояли узкая застеленная кровать и небольшой письменный стол с бумагами. Лимас понял, что кто-то со свойственной немцам дотошностью следит за ним оттуда, но он был слишком опытным разведчиком, чтобы волноваться из-за дополнительной слежки. В Берлине слежка была обычным делом, куда хуже, если ты не мог обнаружить «хвоста», — это означало, что либо противник перешел к более изощренным методам работы, либо ты просто утратил бдительность. Обычно он замечал их, поскольку знал в этом толк, был наблюдателен

и имел хорошую память — короче, был профессионалом. Он знал, какую численность нарядов предпочитает противник, знал его приемы, его слабости, выдававшие его секундные промашки. Лимаса не волновало то, что здесь за ним следят, но сейчас, войдя в спальню охранников, он заподозрил что-то неладное.

Свет в пристройке включался с какого-то общего распределительного щитка. И делала это чья-то незримая рука. По утрам его будила внезапная вспышка лампочки над головой. А по вечерам загоняла в постель механически наступавшая темнота. Сейчас было лишь девять вечера, а свет уже не горел. Обычно его выключали не раньше одиннадцати, но сейчас все было погашено, и шторы на окнах опущены. Лимас оставил открытой дверь из дома, и сюда из коридора проникал свет, но такой слабый, что он смог разглядеть только пустые койки охранников. Удивленный тем, что комната пуста, он остановился, и тут дверь у него за спиной закрылась. Может, сама по себе, но Лимас не стал открывать ее. Стало совсем темно. Дверь закрылась бесшумно — ни скрипа, ни звука шагов. Предельно насторожившемуся Лимасу почудилось, словно внезапно отключили звук. Затем он уловил запах сигарного дыма.

Этот запах был тут и раньше, но до сих пор он не замечал его. Внезапная темнота обострила его обоняние и осязание.

В кармане у него были спички, но он не стал зажигать их. Он сделал шаг в сторону, прижался к стене и застыл. Смысл происходящего можно было истолковать только так: они думали, что он пройдет через комнату охранников к себе в спальню. Поэтому он решил остаться пока тут. Вскоре со стороны главного здания он явственно различил шум шагов. Кто-то проверил, закрыта ли дверь, и запер ее на ключ. Лимас не шевельнулся. Даже теперь. Хотя с ним явно не шутили — он превратился в узника. Опустив руку в карман пиджака, он медленно и бесшумно присел на корточки. Лимас был совершенно спокоен и, предвидя, что сейчас произойдет, испытывал почти облегчение. Мысли стремительно проносились в голове: «Почти всегда под рукой оказывается какое-нибудь оружие: пепельница, несколько монет или авторучка. Что-то, чем можно ударить или проколоть». И излюбленное наставление кроткого сержанта-валлийца, тренировавшего его в лагере близ Оксфорда в годы войны: «Никогда не пускай в ход обе руки разом, даже если у тебя нож, пистолет или палка.

Оставляй левую руку свободной и держи ее у живота. Если ударить нечем, держи ладони раскрытыми, а большие пальцы напряженными». Правой рукой Лимас раздавил коробок спичек так, чтобы крошечные острые щепки торчали между пальцами, и пробрался вдоль стены к креслу, которое, как он помнил, стояло в углу. Резко выдвинул кресло на середину комнаты, не беспокоясь, что его услышат, а затем, считая шаги, отошел назад и встал в углу. Как только он остановился, дверь из его спальни распахнулась. Человека в дверном проеме он разглядеть не сумел — было слишком темно, свет в его спальне тоже был выключен. Лимас не бросился вперед, поскольку перед ним стояло кресло. В этом было его тактическое преимущество: он знал, где стоит кресло, а противник не знал. Только нужно, чтобы они подошли к нему, нельзя дожидаться, пока их помощник врубит свет в доме.

— А ну-ка идите сюда, говнюки, — по-немецки прошипел он. — Я тут, в углу. Ну-ка, возьмите меня. Или слабо?

В ответ ни шороха, ни звука.

— Я тут. Вы что, не видите меня? Ну, в чем дело? Давайте, ребята, поживей!

Он услыхал, как шагнул вперед один, потом

другой. Послышалась брань налетевшего на кресло охранника. Этого знака и дожидался Лимас. Бросив на пол коробок, он, крадучись, шаг за шагом, двинулся вперед, выставив левую руку, как человек, раздвигающий ветви в лесу. Наконец он почувствовал под рукой чью-то руку и теплую, колючую ткань солдатской формы. Он тихонько постучал левой рукой по руке солдата, и тут же услышал испуганный шепот.

— Это ты, Ганс? — спросил солдат по-немецки.

— Заткнись, идиот, — прошептал, в ответ Лимас и в тот же миг схватил противника за волосы, рванул его голову на себя и вниз, нанес ребром правой ладони жуткий режущий удар в затылок, рванул его кверху и ударил кулаком в горло. Когда он отпустил солдата тот безжизненно рухнул на пол. И тут же во всем доме зажегся свет.

В проеме двери стоял молодой капитан народной полиции с сигарой в зубах. Сзади были еще двое. Один довольно молодой в гражданском платье и с пистолетом в руке. Лимасу показалось, что это пистолет чешского производства с обоймой в рукояти. Все трое глядели на лежавшего на полу. Кто-то отпер наружную дверь. Лимас обернулся на шум, но тут же раздался чей-то крик — кажется, капитана, приказывавшего ему не

шевелиться. Он снова повернулся к ним.

Лимас не успел защититься от удара. Страшного удара, будто проломившего голову. Падая и теряя сознание, Лимас спросил себя, чем же они его ударили — может быть, револьвером старого образца.

Он очнулся под пение заключенных и ругань тюремщика, приказывающего им заткнуться. Лимас открыл глаза, и мозг яркой вспышкой пронзила боль. Он лежал неподвижно, стараясь не закрывать глаз и следя за яркими фрагментами видений, проносящихся перед его взором. Прислушался к собственным ощущениям: ноги были холодны, как лед, разило кислым запахом арестантской одежды. Пение смолкло, и Лимасу вдруг захотелось услышать его вновь, хотя он прекрасно понимал, что этого не будет. Он попробовал поднять руку, чтобы стереть со щеки запекшуюся кровь, но обнаружил, что руки скручены за спиной. Ноги тоже, должно быть, были связаны, они затекли и поэтому были такими холодными. Он с трудом огляделся, пытаясь хоть немного оторвать голову от пола, и с удивлением увидел собственные колени. Попробовал было вытянуть ноги, но тут же почувствовал такую боль, что не смог сдержать затравленного, го-

рестного крика, похожего на вопль казнимого на дыбе. Он полежал немного, тяжело дыша и стараясь совладать с болью, а потом со свойственной ему извращенной настырностью решил еще раз, теперь уже медленней, вытянуть ноги. Сразу же вернулась мучительная боль, и Лимас понял наконец ее причину: ноги и руки были скованы между собой за спиной. Как только он разгибал ноги, цепь натягивалась, вдавливая плечи и израненную голову в каменный пол. Они, должно быть, сильно избили его, пока он был без сознания, все тело онемело и жутко ныло в паху. Интересно, убил ли он охранника? Хотелось надеяться, что убил.

Над головой горел свет — яркий, больничный, слепящий. Никакой мебели, только белые стены, обступавшие его со всех сторон, да серая стальная дверь приятного известнякового цвета, какой можно увидеть в обставленных со вкусом лондонских домах. Больше ничего. Ничего, на чем можно было бы сосредоточиться, только дикая боль.

Он лежал так, наверное, долгие часы, прежде чем за ним пришли. От яркого света было жарко. Жутко хотелось пить, но Лимас не желал ни о чем просить их. Наконец дверь открылась, и на

пороге появился Мундт. С первого взгляда Лимас понял, что это он. Смайли много рассказывал ему о Мундте.

Глава 17
Мундт

Его развязали и помогли подняться, но едва кровь прихлынула к рукам и ногам, а суставы освободились от чудовищного напряжения, он снова рухнул на пол. Больше ему не помогали, они просто стояли над ним, глазея на него с любопытством детей, разглядывающих насекомое. Потом из-за спины Мундта вышел охранник и крикнул Лимасу, чтобы тот вставал. Лимас подполз к стене и, цепляясь дрожащими руками за белый кирпич, стал медленно подниматься. Он почти уже был на ногах, но тут охранник ударил его, и он упал. И снова начал подниматься. Теперь уже никто не мешал ему. И вот он наконец встал, прислонившись спиной к стене. Тут он заметил, что охранник переносит тяжесть тела на левую ногу, и понял, что тот снова ударит его. Собрав остатки сил, Лимас рванулся вперед и двинул охранника головой в лицо. Теперь они рухнули вместе, Лимас оказался наверху. Высвободившись, охранник встал, а Лимас продолжал лежать, ожидая неминуемой кары. Но Мундт что-

то сказал охраннику, и Лимас почувствовал, как его схватили за руки и за ноги. Когда его волокли по коридору, он услышал, как захлопнулась дверь камеры. Страшно хотелось пить.

Его втащили в маленькую уютную комнату с письменным столом и креслами. На зарешеченных окнах полуопущенные шведские шторы. Мундт сел за стол а Лимас, чуть прикрыв глаза, сидел в кресле. Охранники встали у двери.

— Пить, — попросил Лимас.

— Виски?

— Воды.

Мундт наполнил графин из-под крана в углу комнаты и поставил его вместе со стаканом на стол.

— Принесите чего-нибудь поесть, — распорядился он.

Один из охранников вышел и вернулся с чашкой бульона и кусочками колбасы. Пока Лимас ел, они молча наблюдали за ним.

— Где Фидлер? — спросил он наконец.

— Арестован, — коротко ответил Мундт.

— За что?

— Заговор с целью подрыва госбезопасности.

Лимас спокойно кивнул.

— Значит, ваша взяла. Когда его арестовали?

— Прошлой ночью.

Лимас помолчал, пытаясь сосредоточиться на Мундте.

— А что будет со мной? — спросил он.

— Вы свидетель по его делу. Потом вас, разумеется, тоже будут судить.

— Выходит, я участник лондонской операции по дискредитации Мундта?

Мундт кивнул. Потом прикурил сигарету и передал ее через охранника Лимасу.

— Совершенно верно, — сказал он.

Охранник подошел к Лимасу и с явным отвращением сунул ему в рот сигарету.

— Изящная операция, — заметил Лимас. — Ну и мудрецы эти китайцы, — добавил он.

Мундт промолчал. В ходе дальнейшей беседы Лимас постепенно привык к таким паузам. У Мундта был довольно приятный голос, чего Лимас никак не ожидал, но говорил он редко. В этом и заключался секрет его исключительного самообладания: он говорил лишь тогда, когда считал нужным. Это отличало его от большинства профессиональных следователей, которые обычно брали инициативу на себя, создавая атмосферу некоторой доверительности и используя в своих целях психологическую зависимость

заключенного от тюремщика. Мундт презирал подобные методы работы: он был человеком фактов и поступков. Лимасу был по душе именно такой стиль.

Внешность Мундта полностью соответствовала его темпераменту. У него было телосложение атлета. Красивые волосы были коротко острижены, причесаны и приглажены. Черты его молодого лица были жесткими и резкими, выражение — устрашающе прямым: тут не было места ни юмору, ни фантазии. Выглядел он молодо, но не слишком: старшие, должно быть, относились к нему со всей серьезностью. Он был хорошо сложен. Стандартная одежда прекрасно сидела на его стандартной фигуре. Глядя на Мундта, Лимасу нетрудно было вспомнить о том, что тот убийца. В нем ощущалась холодность и безжалостная самоуверенность, делавшие его великолепным кандидатом на роль палача. Это был крайне жестокий человек.

— Обвинение, по которому вы, если потребуется, предстанете перед судом, — убийство, — спокойно сказал Мундт.

— Значит, охранник мертв? — спросил Лимас.

Волна резкой боли снова захлестнула мозг.

Мундт кивнул.

— С учетом данного обстоятельства обвинение в шпионаже представляет собой чисто академический интерес. Я рекомендовал публичное слушание дела Фидлера. Такова же и рекомендация Президиума.

— И вам нужно мое признание?

— Да.

— Другими словами, у вас нет никаких доказательств.

— Доказательства у нас появятся. У нас будет ваше признание. — В голосе Мундта не было злобы. Не было в нем и нажима или театрального наигрыша. — С другой стороны, в вашем случае можно будет говорить о смягчающих обстоятельствах: вас шантажировала британская разведка; они обвинили вас в краже денег и потребовали участия в реваншистском заговоре против меня. Такая речь в вашу защиту, несомненно, понравится суду.

Лимас, казалось, вдруг начисто утратил самообладание.

— Как вы узнали о том, что меня обвинили в краже?

Мундт молчал.

— Фидлер оказался сущим идиотом, — наконец заговорил он. — Как только я прочитал отчет

нашего друга Петерса, я сразу понял, для чего вас заслали. И понял, что Фидлер на это купится. Фидлер безумно ненавидит меня. — Мундт кивнул, как бы подтверждая истинность собственных слов. — А вашим людям это, конечно, известно. Весьма хитрая операция. Кто же ее придумал? Наверняка Смайли. Он?

Лимас ничего не ответил.

— Я затребовал у Фидлера отчет о его расследовании ваших показаний, — продолжал Мундт. — Велел ему прислать мне все материалы. Он стал тянуть время, и я понял, что не ошибся. Вчера он разослал материалы всем членам Президиума, забыв прислать мне копии. Кто-то в Лондоне очень хорошо поработал.

Лимас снова промолчал.

— Когда вы в последний раз виделись со Смайли? — как бы между прочим спросил Мундт.

Лимас помедлил, не зная, что говорить. Голова раскалывалась от боли.

— Когда вы виделись с ним в последний раз? — настаивал Мундт.

— Не помню, — ответил Лимас. — Он, собственно уже отошел от дел. Просто заглядывает к нам время от времени.

— Они ведь большие друзья с Петером Гийо-

мом?

— Кажется, да.

— Гийом, как вам известно, ведал экономической ситуацией в ГДР. Крошечный отдел в вашем Департаменте. Вы, наверное, даже толком не знали, чем они там занимаются.

— Да.

От чудовищной боли в голове Лимас почти ничего не видел и не слышал. Его тошнило.

— Ну, и когда же вы виделись со Смайли?

— Не помню… не могу вспомнить…

Мундт покачал головой.

— У вас поразительно хорошая память, во всяком случае, на все, что может опорочить меня. Любой человек в состоянии вспомнить, когда он в последний раз виделся с кем-нибудь. Ну, скажите-ка, это было после вашего возвращения из Берлина?

— Кажется, да. Я случайно столкнулся с ним в Цирке… в Лондоне. — Лимас закрыл глаза. Он обливался потом. — Я не могу больше разговаривать, Мундт. Мне плохо… мне очень плохо…

— После того как Эш вышел на вас — угодил в подстроенную ему ловушку, — вы, кажется, с ним обедали?

— Да, обедал.

— Вы расстались примерно в четыре часа. Куда вы пошли потом?

— Вроде бы в Сити. Точно не помню. Ради Бога, Мундт, — застонал он, сжимая голову руками, — я больше не могу… Проклятая голова…

— Ну, и куда же вы отправились? Почему избавились от «хвоста»? Почему вы так старались улизнуть от слежки?

Лимас ничего не ответил. Сжимая голову, он судорожно глотал воздух.

— Ответьте на один только этот вопрос, и я отпущу вас. Вас уложат в постель. Позволят спать сколько захотите. А иначе вас отправят в ту же камеру. Понятно? Свяжут, закуют и оставят валяться на полу, как животное. Ясно? Ну, куда вы отправились?

Дикая пульсация боли в голове еще больше усилилась, комната заплясала перед глазами. Лимас услышал чьи-то голоса и шум шагов, вокруг заскользили призрачные тени; кто-то что-то кричал, но кричал не ему, кто-то открыл дверь, да, конечно, кто-то открыл дверь. Комната заполнилась людьми, кричали все разом, потом стали уходить, кто-то ушел, Лимас слышал, как они уходят, грохот их шагов отзывался ударами в его голове. Потом все замерло и наступила тишина.

На лоб, словно длань самого Милосердия, легло мокрое полотенце, и чьи-то добрые руки понесли его куда-то.

Он очнулся в больничной кровати, у изножья которой, покуривая сигарету, стоял Фидлер.

Глава 18
Фидлер

Лимас огляделся по сторонам. Постель с простынями. Палата на одного, окно без решеток, лишь занавески, а за ними матовое стекло. Бледно-зеленые стены, темно-зеленый линолеум на полу. И Фидлер, стоящий над ним с сигаретой в зубах.

Санитарка принесла еду: яйца, жидкий бульончик и фрукты. Чувствовал он себя отвратительно, но решил, что поесть все же следует. Он принялся за еду. Фидлер продолжал глядеть на него.

— Как вы себя чувствуете?

— Чудовищно, — ответил Лимас.

— Но немного получше?

— Вроде бы да. — Лимас помолчал. — Эти мерзавцы измолотили меня.

— Вы убили охранника. Вам это известно?

— Я так и предполагал… А чего они ожидали, действуя столь идиотично? Почему не взяли нас обоих сразу? Зачем было вырубать свет? Они явно перестарались.

— Боюсь, что мы, немцы, всегда готовы перестараться. У вас там довольствуются тем, что

необходимо.

Они замолчали.

— А что было с вами? — спросил Лимас.

— Тоже допросили с пристрастием.

— Люди Мундта?

— Они и лично Мундт. Очень странное ощущение!

— Можно сказать и так.

— Нет, нет, я говорю не о физической боли. В смысле боли это было сущим кошмаром. Но у Мундта, видите ли, были личные причины поглумиться надо мной. Независимо от моих показаний.

— Потому что вы высосали из пальца всю эту историю?

— Потому что я еврей.

— О Господи, — вздохнул Лимас. — Поэтому меня обрабатывали с особым усердием. А он стоял рядом и все время шептал мне… Все это очень странно…

— Что он шептал?

Фидлер помолчал, а потом пробормотал:

— Ладно, все уже позади.

— Но что все это значит? Что случилось?

— В тот день, когда нас арестовали, я обратился в Президиум за ордером на арест Мундта.

— Вы рехнулись, Фидлер. Я говорил вам, что вы просто рехнулись. Он никогда…

— Кроме предоставленных вами, у нас имелись против него и другие улики. Я собирал их по крупицам в течение последних трех лет. Вы дали нам решающее доказательство, вот и все. Как только это стало ясно, я разослал докладную всем членам Президиума. Кроме Мундта. Они получили ее в тот день, когда я потребовал его ареста.

— В тот день, когда он арестовал нас.

— Да. Я знал, что Мундт без боя не сдастся. Знал, что у него есть в Президиуме друзья или по крайней мере сторонники. Люди, которые испугаются и прибегут к нему, как только получат докладную. Но я был уверен, что в конце концов он проиграет. Президиум получил страшное оружие против него — мою докладную. Нас тут пытали, а они тем временем читали и перечитывали ее, пока не поняли, что все в ней точно. И каждый из них понял, что все остальные тоже понимают это. И они начали действовать. Объединенные общим страхом, общей слабостью и общим знанием фактов, они выступили против него и назначили трибунал.

— Трибунал?

— Закрытый, разумеется. Он состоится завтра.

Мундт арестован.

— А какие у вас еще улики? Что вам удалось собрать?

— Завтра узнаете, — улыбаясь, ответил Фидлер. — Всему свое время.

Он замолчал, глядя на Лимаса.

— А этот трибунал, — спросил Лимас, — как он проводится?

— Все зависит от президента. Не забывайте, это ведь не народный суд. Скорее похоже на следственную комиссию — заседание комиссии, назначенной Президиумом для расследования обстоятельств определенного дела. Трибунал не выносит приговор, он дает рекомендацию. Но в случае вроде нынешнего рекомендация равнозначна приговору. Просто она остается секретной как часть работы Президиума.

— А как ведется расследование? Адвокат? Судьи?

— Там будут трое судей, — сказал Фидлер, — и адвокат. Завтра я выступлю обвинителем по делу Мундта. А защищать его будет Карден.

— Кто такой Карден?

Фидлер помолчал.

— На редкость крутой мужик, — сказал он. — Внешне смахивает на сельского врача — невзрач-

ный и благодушный. Но он прошел через Бухенвальд.

— Почему Мундт не взял защиту на себя?

— Не захотел. Говорят, у Кардена есть свидетель защиты.

Лимас пожал плечами.

— Ну, это уже ваши проблемы, — сказал он.

Они снова замолчали. Потом Фидлер сказал:

— Я бы не удивился — во всяком случае, не настолько удивился, — если бы он истязал меня из ненависти или зависти ко мне. Понимаете? Бесконечная, мучительная боль и все время твердишь себе: или я потеряю сознание, или сумею перетерпеть ее, природа решит сама. А боль все усиливается и усиливается, словно натягивается струна. Ты думаешь, что это уже предел, что сильнее болеть не может, а оно болит сильней и сильней, а природа помогает только в одном — различать степень боли. И все это время Мундт шептал мне; «Жид… жид поганый…» Я мог бы понять — наверняка мог бы, — если бы он пытал меня во имя идеи, если угодно, во благо партии или из ненависти лично ко мне. Но это было не так, он ненавидит…

— Ладно, — оборвал его Лимас. — Он ублюдок. Вам следовало бы знать это.

— Да, — согласился Фидлер, — он ублюдок.

Фидлер казался взволнованным. «Ему нужно выговориться», — подумал Лимас.

— Я постоянно вспоминал вас, — продолжал Фидлер. — Часто вспоминал наш разговор, вы помните, тот, про мотор.

— Какой еще мотор?

Фидлер улыбнулся.

— Извините, это буквальный перевод. Я имею в виду Motor — двигатель, движитель, побудительную силу, как там это называют верующие христиане…

— Я не верующий.

Фидлер пожал плечами.

— Вы понимаете, что я имею в виду. — Он снова улыбнулся. — То, что вас потрясает… Ну, попробую сформулировать это иначе. Допустим, Мундт прав. Знаете, он заставлял меня признаться в том, что я вступил в сговор с британской разведкой, решившей разделаться с ним. Понимаете его логику? Будто бы вся операция была задумана британской разведслужбой с целью втянуть нас, точнее, меня в дело по ликвидации самого опасного для них человека в Отделе. То есть заставить нас обратить собственное оружие против себя самих.

— Он подъезжал с этим и ко мне, — равнодушно заметил Лимас. — Будто бы я все это и задумал.

— Я говорю сейчас не о том: допустим, все так и было. Допустим, это правда. Я говорю это исключительно ради примера, как гипотезу. Так вот, вы могли бы убить человека, невинного человека?..

— Мундт сам убийца.

— Ну, а допустим, он не был бы убийцей? Допустим, что задумали бы убить меня? Лондон пошел бы на это?

— В зависимости от обстоятельств. В зависимости от того, насколько это необходимо…

— Ах, вот как, — с удовлетворением отметил Фидлер. — В зависимости от обстоятельств. Точно так же поступал и Сталин. Статистика жертв и дорожная катастрофа. Что ж, для меня это большое облегчение.

— Почему?

— Вам надо поспать, — сказал Фидлер. — Закажите, что хотите на обед. Вам принесут все, что скажете. Поговорим завтра. — Уже дойдя до двери, он обернулся и добавил:

— Мы все одинаковы, вот что забавно. Мы все одинаковы.

Лимас вскоре заснул в твердой уверенности, что Фидлер — его союзник и что в ближайшее

время они вместе поставят Мундта к стенке. Именно этого уже давно хотелось Лимасу.

Глава 19
Партийное собрание

Лиз нравилось в Лейпциге. Ей нравилась даже скудная обстановка — это привносило в поездку элемент самопожертвования. Дом, где ее поселили, был маленький, темный и бедный, еда плохая, и лучший кусок отдавали детям. За столом они постоянно беседовали о политике — Лиз и фрау Люман, секретарь местного комитета округа Лейпциг-Нойхаген, маленькая седая женщина, муж которой был начальником карьера по добыче гравия неподалеку от города. «Это похоже на жизнь в религиозной общине, — думала Лиз, — на жизнь в монастыре или, например, в кибуце. На пустой желудок мир выглядит гораздо привлекательней». Лиз немного знала немецкий, которому ее учила тетка и теперь с удивлением обнаружила, что быстро совершенствуется. Сперва она заговорила по-немецки с детьми, они улыбнулись и принялись помогать ей. Дети с самого начала обходились с ней крайне почтительно, словно она была выдающейся личностью или важной шишкой. На третий день один маль-

чик набрался храбрости и спросил, не привезла ли она им «оттуда» шоколада. Лиз стало стыдно, что она даже не подумала о гостинцах. А дети после этого перестали замечать ее.

Вечерами они занимались партийной работой. Распределяли литературу и посещали членов партии, которые не платили взносы или не являлись на собрания, устраиваемые округом на тему «Проблемы централизованного распределения сельскохозяйственной продукции», на которых присутствовали все секретари местных ячеек. Побывали они и на собрании консультативного совета рабочих машиностроительного завода на окраине города.

Наконец на четвертый день состоялось собрание их партийной ячейки. Лиз ожидала его с большим волнением, как пример того, чем станут когда-нибудь их заседания в Бэйсуотерском округе. Для обсуждения выбрали замечательную тему: «Мирное сосуществование после двух войн», и число участников обещало быть рекордным. О собрании оповестили всех работников отрасли, предусмотрели, чтобы в это время не было других мероприятий, и выбрали день, когда рано закрываются магазины.

На собрание пришло семь человек.

Семь человек да еще Лиз, секретарь ячейки и представитель округа. Лиз старалась бодриться, но на самом деле была крайне растеряна. Она плохо слушала оратора, к тому же он употреблял такие длинные сложноподчиненные предложения, что она ничего не могла разобрать, даже когда пыталась. Это было так похоже на их собрания в Бэйсуотере или на церковную службу в будний день (когда-то Лиз ходила в церковь) — та же маленькая группка потерянных и неуверенных в себе людей, та же напыщенность, то же ощущение великой идеи, запавшей в никудышные головы. На таких сборищах она всегда чувствовала одно и то же: ей было неприятно, но все же не хотелось, чтобы сюда зашел кто-то посторонний, ибо само по себе это было нечто абсолютное, предполагающее гонения и унижения и вызывающее в тебе ответную реакцию.

Но семь человек — это ничто, даже хуже, чем ничто, так как это свидетельствовало об инертности и равнодушии масс. И надрывало душу.

Помещение здесь было лучше, чем у них в Бэйсуотере, но и это не радовало. Дома ей доставляло удовольствие заниматься поисками помещения. Поначалу они пытались делать вид, будто они вовсе не партийная ячейка. Арендовали маленькие

залы в барах, кафе или тайком собирались друг у друга на квартирах. Затем в ячейку вошел Билл Хейзел и предоставил для собраний классную комнату в школе, где он работал. Но даже это было весьма рискованно: директор полагал, что Билл ведет драматический кружок, так что, по крайней мере теоретически, их могли вышвырнуть оттуда в любой момент. И все же в каком-то смысле это больше нравилось Лиз, чем здешний Зал Мира со стенами из бетонных блоков, с трещинами по углам и большим портретом Ленина. И зачем они поместили портрет в такое дурацкое обрамление? Органные трубы по углам и тусклые лампочки. Это было похоже на сцену фашистских похорон. Время от времени ей приходило в голову, что Алек был прав: человек верит в то, во что хочет верить, но то, во что он верит, не обладает само по себе никакой ценностью. Как это он говорил? «Собака ищет, где у нее чешется. У разных собак чешется в разных местах». Нет, нет, Алек не прав, нельзя так говорить. Мир, свобода, равенство — все это ценности, бесспорные ценности. А история? Законы, которые доказала партия? Нет, Алек не прав: истина лежит вне конкретного человека, это подтверждено историей, человек должен склониться перед этим, а

если необходимо, то им можно и пожертвовать. Партия — авангард истории, главное оружие в борьбе за мир… Она просто растерялась. Она надеялась, что придет побольше народу. Семь человек — это маловато. И все такие раздраженные. Раздраженные и голодные.

После собрания Лиз ждала, пока фрау Люман соберет нераспроданную литературу с массивного стола у входа, заполнит ведомость и наденет пальто, ведь вечер выдался холодный. Докладчик ушел, не дожидаясь дискуссии, пожалуй, слишком поспешно, подумала Лиз. Когда фрау Люман подошла к выключателю, из темноты в проеме двери появился какой-то мужчина. На мгновение Лиз показалось, что это Эш. Мужчина был высок и красив, на нем был плащ с кожаными пуговицами.

— Товарищ Люман? — спросил он.

— Да.

— Я ищу товарища из Англии по фамилии Голд. Она живет у вас?

— Я Элизабет Голд, — вмешалась Лиз.

Мужчина вошел, прикрыв за собой дверь. Свет падал на его лицо.

— Я Халтен из округа.

Он показал фрау Люман какой-то документ, та

кивнула и внимательно поглядела на Лиз.

— Меня уполномочили передать товарищу Голд сообщение Президиума. Оно касается изменения в вашей программе. Вы приглашаетесь на специальное собрание.

— Да? — чуть глуповато спросила Лиз. Ей представлялось невероятным, чтобы кто-то в Президиуме мог знать о ней.

— Это жест доброй воли, — сказал Халтен.

— Но я… но фрау Люман… — беспомощно начала Лиз.

— Я убежден, что в сложившихся обстоятельствах фрау Люман поймет вас правильно.

— Разумеется, — быстро сказала фрау Люман.

— А где состоится собрание?

— Нужно выехать сегодня вечером, — ответил Халтен. — Ехать нам далеко. Почти до Горлица.

— До Горлица? Где это?

— На востоке страны, — встряла фрау Люман. — На границе с Польшей.

— Сейчас мы отвезем вас домой. Вы заберете вещи, и мы сразу же выедем.

— Как? Сегодня? Сейчас?

— Да.

Халтен, судя по всему, полагал, что у Лиз не должно быть никаких поводов для колебаний.

На улице их ждала большая черная машина. Спереди сидел водитель. На капоте торчал флажок. Машина была похожа на армейскую.

Глава 20
Трибунал

Зал суда был не больше школьного класса. На пяти или шести скамьях сидели охранники и несколько зрителей — члены Президиума и другие высокопоставленные чиновники. В другом конце зала в креслах с высокими спинками восседали за дубовым нелакированным столом трое членов трибунала. К потолку над ними на проводах была подвешена большая деревянная красная звезда. Стены были белые, как в камере Лимаса.

По обе стороны от стола в чуть выдвинутых вперед и развернутых друг к другу креслах сидели двое. Один пожилой, лет шестидесяти, в черном костюме и сером галстуке — так одеваются здесь в селах, отправляясь в церковь. Другим был Фидлер.

Лимас сидел сзади вместе с двумя охранниками. Поверх голов зрителей он видел Мундта, тоже под охраной полицейских. Его красивые волосы были острижены совсем коротко, а широкие плечи обтягивала арестантская одежда. То,

что Мундт был в арестантской робе, а сам он в обычном платье, свидетельствовало, по мнению Лимаса, или о настроении трибунала, или о настойчивости Фидлера.

Как только Лимас уселся, председатель трибунала, сидевший в центре, позвонил в колокольчик. Обернувшись на звук, Лимас взглянул на председателя и вдруг с ужасом понял, что это женщина. Впрочем, ничего удивительного, что он не разглядел этого раньше. На вид она была лет пятидесяти, темноволосая, с маленькими глазами. Короткая мужская стрижка и строгое, темное платье, какие любят жены советских функционеров. Она оглядела зал, кивнула охраннику, чтобы тот закрыл дверь, и без всякого вступления начала:

— Вам всем известно, для чего мы собрались. Прошу не забывать, что заседание носит сугубо секретный характер. Трибунал назначен Президиумом. И подотчетны мы только Президиуму. Мы будем заслушивать показания до тех пор, пока не сочтем их достаточными. — Она небрежно кивнула Фидлеру. — Товарищ Фидлер, начинайте.

Фидлер поднялся. Коротко кивнув в сторону трибунала, он вынул из портфеля стопку бумаг, скрепленных в углу черным шнурком.

Он заговорил спокойно и убедительно, со скромностью, которой Лимас прежде не замечал в нем. «Неплохой спектакль, — подумал Лимас, — и Фидлер недурно исполняет роль человека, вынужденного к собственному сожалению отправить на виселицу своего начальника».

— Прежде всего я хотел бы сообщить вам, если вы этого не знаете, — начал он, — что в тот день, когда Президиум получил мою докладную о деятельности товарища Мундта, я был арестован вместе с перебежчиком Лимасом. Нас бросили в тюрьму и подвергли допросу с пристрастием с целью вынудить нас признаться в том, что обвинение было якобы ничем иным как фашистским заговором против нашего честного товарища.

Из докладной, которую я представил в ваше распоряжение, вам известно, каким образом Лимас попал в зону нашего внимания. Мы сами вышли на него, побудили его перейти на нашу сторону и доставили в Германскую Демократическую Республику. Можно ли привести лучшее доказательство полнейшей непредвзятости Лимаса по данному вопросу, чем то, что он до сих пор отказывается поверить, что Мундт — британский агент. Следовательно, нелепо было бы предполагать, будто Лимас выполняет задание

противника. Инициативу проявили мы сами, а фрагментарные, хотя и чрезвычайно существенные, факты, полученные от него, были лишь последним доказательством в длинной цепи улик, которая ковалась три года. Перед вами письменное изложение всего дела. Нам остается только прокомментировать уже известные вам факты.

Мы обвиняем товарища Мундта в том, что он является агентом империалистической державы. Я мог бы предъявить и другие обвинения — то, что он снабжал информацией британскую секретную службу, то, что он превратил вверенное ему учреждение в невольного пособника буржуазного государства, намеренно прикрывал антипартийные реваншистские группировки и получал в порядке вознаграждения крупные суммы в иностранной валюте. Но все эти обвинения вытекают из первого и главного — из того, что Ганс Дитер Мундт является агентом империалистической державы. За это преступление предусмотрен смертный приговор. В нашем уголовном кодексе нет более тяжкого преступления, более опасного для государства и требующего большей бдительности партийных органов. — Фидлер отложил бумаги в сторону. — Товарищу

Мундту сорок два года. Он заместитель главы комитета государственной безопасности. Он холост. Товарищ Мундт всегда считался исключительно деятельным сотрудником, без устали служащим интересам партии и не знающим колебаний в ее защите.

Позвольте напомнить вам некоторые детали его карьеры. Он поступил на службу в органы в возрасте двадцати восьми лет и прошел необходимую подготовку. По окончании испытательного срока его направили на оперативную работу в скандинавские страны — то есть в Норвегию, Швецию и Финляндию, — где он преуспел в создании агентурной сети, ведущей борьбу против пропагандистов фашизма в самом вражеском лагере. Он прекрасно справился с заданием, и нет никаких оснований предполагать, что уже тогда он был кем-то иным, чем образцовым сотрудником комитета. Но, товарищи, нам не следует упускать из виду его возникшую в то время связь со Скандинавией. Агентурные сети, созданные товарищем Мундтом вскоре после войны, давали ему повод и впоследствии ездить в Финляндию и Норвегию на якобы деловые встречи и снимать со счетов в иностранных банках тысячи долларов вознаграждения за предательскую деятельность.

Не подумайте только, что товарищ Мундт пал жертвой тех, кто стремится обратить вспять ход истории. Нет, его мотивами были сначала трусость, потом слабость и, наконец, жадность; желание разбогатеть стало его мечтой. По иронии судьбы именно его корыстолюбие, а также тщательно разработанная система, посредством которой оно удовлетворялось, и способствовали его разоблачению.

Фидлер сделал паузу и обвел горящими глазами зал. Лимас с восхищением следил за ним.

— Да будет это уроком, — повысив голос, продолжал Фидлер, — всем врагам нашего государства, которые во мраке ночи плетут сети своих подлых заговоров и преступлений!

Со стороны зрителей послышат я одобрительно-негодующий шепоток.

— Им не обмануть бдительности народа, кровью которого они готовы торговать!

Фидлер говорил так, словно обращался не к маленькой кучке слушателей в жалкой комнатушке с белыми стенами, а к огромной толпе.

Лимас понял, что Фидлер старается действовать наверняка: позиция трибунала, обвинителей и свидетелей должна быть политически безупречной. Прекрасно понимая опасность последующей

контратаки со стороны Мундта, он стремился подстраховаться: все прения будут зафиксированы на бумаге, и нужно обладать большой смелостью, чтобы попытаться опровергнуть подобные обвинения.

Фидлер открыл лежащее перед ним досье.

— В конце 1956 года Мундт был направлен в Лондон в качестве сотрудника Восточногерманской сталелитейной миссии. Ему было дано особое задание по подрыву деятельности эмигрантских групп. В ходе выполнения последнего он подвергался немалому риску — на этот счет у нас нет ни малейших сомнений — и добился недюжинных результатов.

Внимание Лимаса вновь привлекли трое за председательским столом. Слева от председателя сидел, чуть опустив веки, сравнительно молодой мужчина. У него были прямые, темные, непослушные волосы и серый, аскетический цвет лица. Тонкие руки без конца теребили стопку бумаг на столе. Лимас решил, что это сторонник Мундта, хотя и не смог бы сказать почему. С другой стороны сидел человек постарше, лысоватый, с открытым, дружелюбным лицом. Лимас подумал, что он, наверное, не семи пядей во лбу. Когда на весы ляжет судьба Мундта, молодой человек

скорее всего будет защищать Мундта, а председатель осудит. Несовпадение во взглядах коллег, конечно, собьет с толку второго мужчину, но в конце концов он примет сторону председателя трибунала.

Фидлер продолжил свою речь:

— Вербовка Мундта противником имела место в конце его пребывания в Лондоне. Я уже говорил, что он подвергался немалому риску, в частности, попал в поле зрения британской секретной службы, давшей ордер на его арест. Не имея дипломатической неприкосновенности (Великобритания, как член НАТО, не признает нашего государства), Мундт вынужден был скрываться. Его искали во всех портах, по всей стране были разосланы его фотографии и описание примет. И тем не менее, пробыв два дня в подполье, товарищ Мундт затем приехал на такси в лондонский аэропорт и улетел в Берлин. Фантастика, скажете вы, и это действительно фантастично. Хотя вся британская полиция была поднята на ноги, а все автомобильные и железные дороги, порты и аэропорты находились под постоянным наблюдением, товарищу Мундту удалось улететь из лондонского аэропорта. Фантастика! Или, быть может, рассматривая этот случай задним числом,

стоит, товарищи, признать, что бегство Мундта из Англии было слишком фантастическим, слишком легким и что оно вообще не могло бы иметь места без содействия со стороны британских властей.

Новая волна шепота из задних рядов — на этот раз более угрожающего.

— Разгадка заключается в следующем: товарищ Мундт был арестован англичанами. В ходе короткого, но важного разбирательства они поставили его перед классическим выбором. Годы в империалистической тюрьме и конец блестящей карьеры или неожиданное возвращение на родину и перспективы, которые перед ним открывались. Разумеется, условием возвращения англичане назначили сотрудничество с ними, подсластив пилюлю предложением больших денег. В ситуации между кнутом и пряником Мундт выбрал пряник.

Теперь дальнейшее продвижение Мундта по службе было уже в интересах британской стороны. В настоящее время мы еще не можем доказать то, что успехи Мундта в деле ликвидации незначительных агентов Запада были работой его империалистических хозяев, жертвовавших своими собственными приспешниками — из

числа тех, кого им было не жаль, — для того, чтобы окреп престиж Мундта. Мы пока не можем доказать это, но на основании собранного нами материала мы вправе сделать такое предположение.

Начиная с 1960 года, то есть с того времени, как Мундт стал главой контрразведки, с разных концов света стали поступать свидетельства и намеки на то, что в наших рядах на чрезвычайно высоком посту имеется предатель. Вам всем известно, что Карл Римек был шпионом; мы надеялись, что после его ликвидации зло будет выкорчевано. Однако слухи о шпионаже продолжали доходить до нас.

В конце 1960 года один из наших бывших агентов обратился в Ливане к некоему англичанину, известному своими связями с британской разведкой, предложив ему, как мы вскоре выяснили, полное раскрытие двух секций Отдела, на которые он раньше работал. После рассмотрения в Лондоне его предложение было отклонено. Это выглядело весьма странно и могло объясниться только тем, что британская сторона уже располагала таковой информацией и что ее информация была более актуальной.

Начиная с середины шестидесятого года мы с

тревожащей скоростью стали терять нашу заграничную агентуру. Нередко их арестовывали через пару недель после засылки или вербовки. Иногда противник пытался перевербовать наших агентов, но такое случалось не часто. Создавалось впечатление, что они не нуждаются в этом.

И затем — если мне не изменяет память, в начале 1961 года — нам выпала удача. При обстоятельствах, которых я здесь не буду касаться, мы получили сведения обо всей информации, которой располагает о нашей работе британская разведка. Эти сведения были поразительно точными, всеобъемлющими и свежими. Я, разумеется, показал полученные материалы Мундту — он ведь был моим начальником. Мундт заявил мне, что это его ничуть не удивляет, что у него проводится определенная операция и я не должен предпринимать никаких действий, чтобы не сорвать ее. Признаюсь вам, именно в этот момент в моем мозгу впервые вспыхнула странная и фантастическая догадка, что Мундт сам снабдил противника этой информацией. Были и другие улики…

Едва ли нужно говорить вам, что в шпионаже в пользу противника лишь в самую последнюю очередь можно заподозрить главу контрразведки.

Мысль эта представляется столь вызывающей, столь мелодраматической, что мало кто способен додумать ее до конца, не говоря уже о том, чтобы высказать ее вслух! Сознаюсь, что я тоже виновен в том, что долго колебался, прежде чем сделать столь фантастический вывод. В этом была моя ошибка.

Но, товарищи, наконец нам в руки попало решающее доказательство, и сейчас я вам его предъявлю. — Он бросил взгляд в конец зала. — Вызовите свидетеля Лимаса.

Охранники по обе стороны Лимаса поднялись с мест, и он прошел по узкому полуметровому проходу между рядами на середину зала. Охранник предложил ему встать лицом к столу. Фидлер стоял метрах в двух от него. Первой обратилась к Лимасу председатель трибунала.

— Свидетель, как ваше имя?

— Алек Лимас.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят.

— Вы женаты?

— Нет.

— Но были женаты?

— Сейчас не женат.

— Кто вы по профессии?

— Помощник библиотекаря.

— Вы ведь служили раньше в британской разведке? Разве нет? — прервал его Фидлер.

— Служил. Год назад.

— Трибунал ознакомился с материалами вашего дознания, — продолжил Фидлер. — Но я хотел бы, чтобы вы еще раз рассказали о вашей беседе с Петером Гийомом, имевшей место приблизительно в мае прошлого года.

— Когда мы говорили с ним про Мундта?

— Да.

— Я вам уже рассказывал. Это было в Цирке, в нашей лондонской штаб-квартире на Кембриджской площади. Я тогда столкнулся с Петером в коридоре. Я знал, что он был задействован в деле Феннана, и спросил его, что стало с Джорджем Смайли. Потом мы поговорили о Дитере Фрее, которого уже не было в живых, и о Мундте, замешанном в этой истории. Петер сказал, что Мастон — а этим делом ведал тогда Мастон — не слишком-то хотел, чтобы Мундта поймали. Так, мол, ему показалось.

— И что вы подумали, услышав это? — спросил Фидлер.

— Я знал, что Мастон чудовищно напортачил с делом Феннана. Я решил, что он не хочет снова

баламутить воду, а с арестом Мундта это было бы неизбежно.

— Если бы Мундта поймали, ему было бы предъявлено официальное обвинение? — спросила председательница.

— Все зависит от того, кто бы его поймал. Если полиция, то они обязательно доложили бы в МВД. И тогда уже ничто не могло бы приостановить официальное расследование.

— А если бы поймала секретная служба? — спросил Фидлер.

— Ну, тогда другое дело. Думаю, они выкачали бы из него все, что можно, а потом попытались обменять на кого-нибудь из наших людей в ваших тюрьмах. Или выписали бы ему путевку.

— Что это значит?

— Избавились бы от него.

— То есть ликвидировали?

Теперь допрос вел Фидлер, а все члены трибунала что-то писали в своих бумагах.

— Точно не знаю. Я никогда не вмешивался в такие игры.

— А может быть, они попробовали бы перевербовать его?

— Конечно, но у них ничего бы не вышло.

— На каком основании вы утверждаете это?

— О Господи! Я вам уже тысячу раз говорил. Я вам не попугай! Я был четыре года резидентом берлинской разведки. Если бы Мундт работал на нас, я бы это знал. Я не мог не знать этого.

— Понятно.

Фидлера, казалось, удовлетворил ответ Лимаса. Может быть, именно потому, что членов трибунала он явно не удовлетворил. Затем он перешел в операции «Роллинг Стоун», еще раз заставив Лимаса подробно рассказать об особых мерах предосторожности, связанных с передачей досье, о письмах в Стокгольм и в Хельсинки и о полученном оттуда ответе. Обратясь непосредственно к трибуналу, он пояснил:

— У нас нет ответа из Хельсинки, и я не знаю почему. Но вот вам мои предположения. Лимас положил деньги в стогкольмский банк пятнадцатого июня. Среди представленных вам материалов есть письмо из Королевского скандинавского банка, адресованное Роберту Лангу. Роберт Ланг — фиктивное имя, на которое Лимас открыл счет в копенгагенском банке. Из этого письма (в ваших бумагах оно значится под номером двенадцать) вы можете узнать, что вся сумма в десять тысяч долларов была снята вторым держателем счета неделю спустя. Я полагаю, — продолжал

Фидлер, кивая в сторону неподвижно сидящего Мундта, — что обвиняемый не станет отрицать того факта, что он отбыл в Копенгаген двадцать первого июня, якобы выполняя секретную работу в интересах Отдела. — Он сделал небольшую паузу. — Визит Лимаса в Хельсинки — вторая поездка с целью помещения денег — имел место примерно двадцать четвертого сентября. — Глядя прямо на Мундта, Фидлер громко сказал:

— А третьего октября товарищ Мундт совершил нелегальную поездку в Финляндию, тоже якобы в интересах Отдела.

Наступила тишина. Фидлер медленно отвернулся от Мундта и вновь обратился к трибуналу. Приглушенным, но грозным голосом он спросил:

— Находите ли вы подобное совпадение случайным? Позвольте напомнить вам кое-что еще. — Он повернулся к Лимасу. — Свидетель, в период вашей деятельности в Берлине вы вступили в контакт с Карлом Римеком, бывшим секретарем Президиума СЕПГ. Какова была природа этого контакта?

— Римек был моим агентом. Пока люди Мундта не убили его.

— Именно так. Его убили люди Мундта. И это был не первый случай, когда Мундт ликвидиро-

вал вражеских агентов прежде, чем допросить их. Но до этого Римек был агентом британской тайной разведки?

Лимас кивнул.

— Опишите нам встречу Римека с человеком, которого вы называете Контролером.

— Контролер приехал из Лондона в Берлин, чтобы повидаться с Карлом. Римек был одним из лучших агентов, и Контролер захотел познакомиться с ним.

— Одним из лучших и самых надежных, — уточнил Фидлер.

— Да, конечно же, так. В Лондоне любили Карла: он не совершал ошибок. Когда Контролер приехал, я позвал Карла к себе и мы пообедали втроем. Честно говоря, мне это было не по душе, но я не мог сказать об этом Контролеру. Это трудно объяснить. Они сидят там у себя в Лондоне и придумывают всякое в полном отрыве от реальной работы. Я боялся, что они, чего доброго, решат руководить Карлом напрямую, с них бы вполне сталось.

— Итак, вы организовали встречу, — прервал его Фидлер. — И что же произошло дальше?

Контролер заранее попросил меня устроить все так, чтобы он мог четверть часа поговорить

с Карлом с глазу на глаз. Поэтому я сделал вид, будто у меня кончилось виски, и отправился к Де Йонгу. Там я пропустил рюмку-другую, взял бутылку виски и вернулся.

— А что увидели, когда вернулись?

— В каком смысле?

— Они все еще беседовали? И о чем?

— Нет, они сидели молча.

— Благодарю вас. Можете сесть.

Лимас вернулся на свое место. Фидлер заговорил, обращаясь к членам трибунала:

— Для начала я хочу остановиться на убитом Мундтом шпионе Карле Римеке. Перед вами лежит перечень информации, переданной Римеком Лимасу, или, по крайней мере, все, что смог вспомнить Лимас. Это впечатляющее свидетельство предательства. Позвольте суммировать эти сведения. Римек передал своим хозяевам информацию обо всей структуре и личном составе Отдела. Если верить Лимасу, Римек сумел описать всю работу наших наиболее засекреченных служб. Будучи секретарем Президиума, он передал записи всех самых секретных его заседаний.

Это было ему не трудно: он сам обрабатывал протоколы заседаний. Но доступ Римека к тайнам Отдела — это, знаете ли, уже совсем иное. Кто в

конце 1959 года кооптировал Римека в комитет защиты интересов трудящихся, координирующий и проверяющий деятельность органов безопасности? Кто предоставил ему право доступа к служебным досье Отдела? Кто на каждом этапе служебной карьеры Римека начиная с 1959 года (как вы помните, именно тогда Мундт вернулся из Англии) отмечал его и выдвигал на чрезвычайно ответственные посты? Я вам напомню! Это был тот самый человек, который обладал, кроме того, уникальной возможностью прикрывать шпионскую деятельность Римека. Это был Ганс Дитер Мундт. Давайте вспомним, как Римек вступил в контакт с западными разведорганами в Берлине — как он нашел машину приехавшего на пикник Де Йонга и положил в нее микрофильм. Разве вас не удивляет его сверхъестественная способность предугадывать события? Откуда он знал, где искать машину и в какой именно день? Своей машины у Римека не было, так что он не мог выследить Де Йонга от его дома в Западном Берлине. Он мог узнать об этом только одним способом — от нашей собственной службы госбезопасности, как и положено, доложившей о приезде Де Йонга, как только его машина прошла через наш КПП. Знать об этом мог только Мундт,

а Мундт сообщил об этом Римеку. Вот мое обвинение против Ганса Дитера Мундта: Римек был его креатурой, его порождением, его связным между ним и его империалистическими хозяевами!

Фидлер сделал паузу, потом спокойно продолжал:

— Мундт — Римек — Лимас, такова была цепочка. К азам техники международного шпионажа принадлежит правило оставлять по возможности каждое звено такой цепочки в неведении о наличии остальных. Поэтому Лимас не лжет, когда утверждает, что ничего не знает о предательстве Мундта, — это всего лишь еще одно доказательство хорошей страховки его лондонских хозяев.

Вам также известно, с какими исключительными предосторожностями проводилась операция под кодовым названием «Роллинг Стоун», известно, что Лимас имел весьма смутное представление о деятельности разведывательного подразделения под руководством Петера Гийома, занимавшегося якобы экономической ситуацией в нашем государстве, — подразделения, тем не менее почему-то подключенного к засекреченной операции «Роллинг Стоун». Позвольте напомнить вам, что Петер Гийом был в числе офицеров британской контрразведки, расследо-

вавших деятельность Мундта в Англии.

Молодой член трибунала перестал писать и, сурово глядя на Фидлера холодными, широко раскрытыми глазами, спросил:

— Если Римек был агентом Мундта, то зачем же Мундт его ликвидировал?

— У него не было иного выбора. Римек попал под подозрение. Его предала слишком болтливая любовница. Мундт велел Римеку бежать, а сам приказал застрелить его. Таким образом опасность разоблачения была устранена. Потом Мундт ликвидировал и любовницу Римека.

Хочу коротко остановиться на технике, применявшейся Мундтом. После его возвращения из Англии в 1959 году британская разведка настроилась на затяжную игру и не стала давить на него. Однако согласие Мундта сотрудничать с ними нуждалось в подтверждении, поэтому они дали ему инструкции и стали ждать, готовые платить деньги в надежде на большую удачу. В то время Мундт еще не занимал высокого поста ни в госбезопасности, ни в партии, но знал он, конечно, немало и начал докладывать обо всем, что знал. Разумеется, он не имел возможности поддерживать с англичанами постоянный контакт. Следует предположить, что он встречался

с ними в Западном Берлине, во время коротких поездок в Скандинавию и прочее — встречался и докладывал обо всем. Англичане, конечно, были очень осторожны, оно и понятно. Они, тщательно взвешивали полученную информацию и сличали ее с другими источниками, а главное, они боялись с его стороны двойной игры. Но постепенно они начали понимать, что напали на золотую жилу. Мундт занялся своей предательской деятельностью с той методичностью и эффективностью, которые нам всем хорошо известны. Сначала — это мое предположение, но предположение, основанное на длительном опыте работы и на показаниях Лимаса, — первые несколько месяцев они не решались создать агентурную сеть, которая включала бы в себя Мундта. Они предоставили ему охотиться в одиночку. Они создавали ему необходимые условия, платили и инструктировали вне связи со своей берлинской резидентурой. Они организовали в Лондоне под руководством Петера Гийома (ибо это он завербовал Мундта) небольшой полуподпольный отдел, функции которого — за исключением нескольких лиц — были не известны никому даже в самом Цирке. Они платили Мундту по специальной системе в рамках операции «Роллинг Стоун» и, без

сомнения, относились к поставляемой им информации с величайшей осмотрительностью. Как видите, это полностью объясняет утверждения Лимаса о том, что он ничего не знал об этой роли Мундта, хотя — и теперь нам это ясно — Лимас не только сам платил Мундту, но и в конце концов получал от него через Римека разведывательную информацию для передачи в Лондон.

К концу 1959 года Мундт сообщил своим лондонским хозяевам, что ему удалось найти среди членов Президиума человека, который будет действовать как связной. Этим человеком был Карл Римек.

Как Мундт вышел на Римека? Как сумел вступить с ним в контакт и выявить его склонность к сотрудничеству? Здесь нельзя упускать из виду исключительно высокое положение, занимаемое Мундтом: он имел доступ ко всем секретным досье, имел возможность прослушивать телефонные разговоры, перлюстрировать письма, вести наблюдение, он имел неоспоримое право допрашивать кого угодно, заранее узнав всю подноготную допрашиваемого. А главное, он был в состоянии мгновенно усыпить любые подозрения, обратив против интересов народа, — голос Фидлера дрожал от ненависти, — то оружие, ко-

торое было выковано для защиты трудящихся.

Легко вернувшись к прежнему деловитому тону, Фидлер продолжал:

— Теперь вам понятно, что сделал Лондон. По-прежнему держа работу Мундта под покровом глубочайшей тайны, они воспользовались вербовкой Римека для того, чтобы осуществлять прямой контакт между Мундтом и своей берлинской резидентурой. Вот в чем смысл сотрудничества Римека с Де Йонгом и Лимасом. Именно так нам следует расценивать показания Лимаса и подойти к вопросу о предательстве Мундта. — Он обернулся и, глядя прямо в лицо Мундта, воскликнул; — Вот он предатель! Вот он убийца! Вот человек, посягнувший на свой народ!

Я практически закончил свое выступление. Добавлю только одно. Мундт завоевал себе репутацию преданного и проницательного защитника интересов трудящихся и заставил навеки умолкнуть всех тех, кто мог раскрыть его тайну. Он убивал от имени трудящихся лишь для того, чтобы спасти от разоблачения свою фашистскую, изменническую деятельность и продвинуть собственную карьеру. Невозможно представить себе преступление более чудовищное. Вот почему он,

сделавший все возможное, чтобы защитить от подозрений Карла Римека — эти подозрения нарастали постоянно, — в конце концов приказал застрелить его на глазах у всех. Вот почему он распорядился устранить и любовницу Римека. Когда вы будете докладывать свои выводы Президиуму, не бойтесь раскрыть зверскую сущность этого человека. Для Ганса Дитера Мундта слишком мягок даже смертный приговор.

Глава 21
Свидетель

Председатель трибунала обратилась к человечку, сидевшему напротив Фидлера:

— Товарищ Карден, вы представляете интересы товарища Мундта. У вас есть вопросы к свидетелю?

— Да-да, разумеется, в свое время, — ответил тот, деловито поднимаясь со стула и поправляя за ушами дужки очков в золотой оправе. Вид у него был благодушный и чуть простоватый, волосы седые.

— Позиция товарища Мундта, — начал он мягким голосом с довольно приятными модуляциями, — заключается в том, что Лимас лжет, а товарищ Фидлер, по злому умыслу или просто вследствие злосчастной ошибки оказался втянут в заговор, направленный на ослабление работы органов, стоящих на страже интересов нашего социалистического государства. Мы не оспариваем того факта, что Карл Римек был английским шпионом, — это доказано. Но мы оспариваем утверждение, будто товарищ Мундт сотрудничал

с ним и принимал денежные вознаграждения за свою измену. Мы находим, что данное обвинение не подкреплено объективными доказательствами и что товарищ Фидлер ослеплен своим политическим честолюбием и потерял способность мыслить здраво. Мы утверждаем, что Лимас с момента его возвращения из Берлина в Лондон жил по написанному для него сценарию, что он симулировал быстрое падение, погружение в пьянство и долги, что он на виду у всех напал на торговца, а также постоянно демонстрировал свои антиамериканские настроения единственно с целью привлечь к себе внимание Отдела. Мы утверждаем, что британская секретная служба намеренно окружила товарища Мундта сетью свидетельств, которые внешне выглядят как изобличающие его улики: счета в иностранных банках, снятие денег, по времени совпадающее с пребыванием товарища Мундта в той или иной стране, якобы случайные высказывания Петера Гийома, о которых нам известно лишь со слов Лимаса, тайная встреча Контролера с Римеком, на которой обсуждались вопросы, оставшиеся неизвестными Лимасу, — все это создает цепь фиктивных доказательств, и товарищ Фидлер, с амбициями которого не зря считались англичане,

принял эти доказательства за подлинные и тем самым стал участником чудовищного заговора, имеющего целью уничтожить — уничтожить физически, ибо сейчас на карту поставлена жизнь товарища Мундта, — одного из самых активных защитников интересов народа.

Но разве, припомнив многочисленные проявления британского коварства и бесцеремонности в обращении с чужой жизнью, мы найдем подобный заговор маловероятным? Да и что им остается делать сейчас, когда Берлин разделен стеной и поток западных шпионов находится под строгим контролем? Мы пали жертвой этого заговора: можно сказать, что товарищ Фидлер в лучшем случае лишь совершил тягчайшую ошибку, а в худшем — вступил в союз с империалистическими агентами с целью подорвать обороноспособность нашего государства и пролить невинную кровь.

У нас есть свидетель. — Он дружелюбно кивнул в сторону трибунала. — Да, у нас тоже есть свидетель. Ибо неужели вы допускаете, что все это время товарищ Мундт пребывал в неведении относительно лихорадочных действий заговорщика Фидлера? Неужели вы можете допустить такое? Уже многие месяцы умонастроение Фид-

лера не составляло тайны для товарища Мундта. Ведь не кто иной, как сам товарищ Мундт санкционировал предложение, сделанное нами в Англии Лимасу. Неужели вы думаете, что он пошел бы на такой риск, если бы не чувствовал себя безупречно лояльным по отношению к народу и к партии?

А когда первые сообщения о результатах допроса Лимаса в Гааге попали в Президиум, неужели вы думаете, что товарищ Мундт не удосужился прочитать их? И потом, когда Лимас был доставлен в нашу страну и Фидлер начал собственное расследование, никому не докладывая о результатах, неужели вы полагаете, что товарищ Мундт не понял, чего тот добивается? Как только первые сообщения поступили от Петерса из Гааги, Мундту достаточно было увидеть даты визитов Лимаса в Копенгаген и Хельсинки, чтобы понять, что вся эта история подстроена, — и подстроена для того, чтобы дискредитировать самого товарища Мундта. Эти даты и впрямь совпадают с датами поездок Мундта в Данию и Финляндию, именно для этого они и были названы. Мундту стало известно об этих первых намеках на его связь с врагом в то же самое время, что и Фидлеру, заметьте это. Ведь Мундт тоже старался раскрыть

предателя в рядах сотрудников отдела…

И вот, когда Лимаса доставили в ГДР, Мундт стал с интересом следить за тем, как тот намеками и якобы случайными проговорками укрепляет подозрения Фидлера, ничего не форсируя, нигде не пережимая, но подбрасывая то тут, то там новые фиктивные улики. Почва для этого была уже подготовлена: агент в Ливане, таинственная информация, на которую ссылается Фидлер, все это, казалось бы, неопровержимо доказывает наличие в рядах сотрудников Отдела высокопоставленного вражеского агента….

Все было разыграно как по нотам. Это могло — да и по-прежнему может — превратить поражение, понесенное британской разведкой в связи с потерей Римека, в их полную победу.

Пока англичане с помощью Фидлера готовили уничтожение Мундта, товарищ Мундт тоже предпринял кое-какие действия. Он организовал тщательное расследование лондонской подоплеки событий. Проверил каждую деталь той двойной жизни, которую Лимас вел в Бэйсуотере. Он искал, как вы понимаете, какую-нибудь чисто человеческую ошибку в этой почти сверхчеловеческой по своей хитрости схеме. Где-нибудь, решил он, в своем долгом странствии в потемках

Лимас, возможно, отступился от принесенного им обета нищеты, пьянства, падения, а главное, одиночества. Ему, вероятно, понадобился друг или, скажем, подруга, потребовалось тепло человеческого общения, чтобы душа не задохнулась под маской играемой им роли. И, как вы увидите, товарищ Мундт оказался прав. Лимас, искусный и опытный агент, допустил ошибку настолько элементарную, настолько житейскую, что… — Он улыбнулся. — Я вызову свидетеля, но не сейчас. Свидетель здесь, о его доставке позаботился товарищ Мундт. Это было необходимо. Позже я вызову этого свидетеля. — Вид у него был лукавый, словно он готовил собравшимся забавную шутку. — А сейчас с вашего позволения я хотел бы задать парочку вопросов главному свидетелю обвинения мистеру Алеку Лимасу.

— Скажите-ка, — начал он, — вы человек состоятельный?

— Не валяйте дурака, — отрезал Лимас. — Вам прекрасно известно, на чем я купился.

— Да, в самом деле, — заявил Карден, — это был мастерский ход. Следовательно, мы можем допустить, что у вас вообще нет денег?

— Можете.

— А нет ли у вас друзей, готовых одолжить вам

деньги или попросту подарить их? Или оплатить ваши долги?

— Будь у меня такие друзья, меня бы здесь не было.

— Значит, их нет? И вы не допускаете того, что какой-нибудь добрый дядюшка, о котором вы, возможно, и думать забыли, решит позаботиться о том, чтобы помочь вам встать на ноги, разберется с вашими кредиторами и тому подобное?

— Нет, не допускаю.

— Благодарю вас. Еще один вопрос. Вы знакомы с Джорджем Смайли?

— Разумеется, знаком. Мы с ним работали в Цирке.

— Он больше не работает там?

— Он ушел в отставку после дела Феннана.

— Ах да, того дела, в котором сыграл определенную роль и Мундт. И вы его с тех пор не видели?

— Пару раз видел.

— Вы видели его после того, как сами ушли из Цирка?

Лимас помолчал.

— Нет, — ответил он наконец.

— Он не навещал вас в тюрьме?

— Меня никто там не навещал.

— А до тюрьмы вы с ним встречались?

— Нет.

— А после, в день выхода из тюрьмы, когда с вами вступил в контакт человек по имени Эш?

— А что было в тот день?

— Вы пообедали с Эшем в Сохо, потом попрощались. А куда вы отправились?

— Не помню. Наверное, в пивную. Начисто не помню.

— Позвольте помочь вам вспомнить. Вы пошли на Флит-стрит, сели там на автобус, потом пересели на метро и наконец сели в чью-то машину. Не слишком профессионально для человека с вашим опытом. Вот так вы и попали в Челси. Вспоминаете? Если хотите, я могу предъявить вам письменное изложение событий, оно у меня под рукой.

— Должно быть, вы правы. Ну и что с того?

— В Челси живет Джордж Смайли. На Байуотер-стрит, сразу за Кингс-роуд. Вот о чем я и говорю. Машина привезла вас на Байуотер-стрит, и наш агент докладывает, что вы вышли у дома номер девять. А это дом Джорджа Смайли.

— Чушь какая-то. Я, наверное, пошел в «Восемь колоколов», это моя любимая забегаловка.

— И поехали туда на чьей-то личной машине?

— Ерунда. Я, скорей всего, ехал на такси. Когда

у меня есть деньги, я не жмотничаю.

— А зачем вы так петляли по городу?

— Глупости. Они, должно быть, потеряли меня и пошли за кем-то другим. Такое бывает.

— Возвращаясь к вопросу, заданному мной ранее: допускаете ли вы, что Джордж Смайли мог проявить интерес к вам после того, как вы покинули Цирк?

— О Господи! Конечно, нет!

— И он не мог уладить ваши дела, когда вы попали в тюрьму? Уплатить ваши долги? И не захотел повидаться с вами после вашего знакомства с Эшем?

— Нет. Я не понимаю, куда вы гнете, Карден, но в любом случае мой ответ — нет. Если бы вы когда-нибудь увидели Смайли, вы не задавали бы подобных вопросов. Мы с ним далеко не пара.

Карден, казалось, был вполне удовлетворен услышанным. Он улыбался, кивал головой, поправлял очки и листал лежащее перед ним досье.

— Да, кстати, — сказал он, словно только сейчас вспомнив нечто важное, — когда вы попросили кредит у бакалейщика, сколько у вас было денег?

— Ни гроша, — беспечно ответил Лимас. — Я

уже неделю сидел на мели. А может быть, и дольше.

— А на что вы жили?

— Да так, перебивался кое-как. Я перед этим болел. Простуда какая-то. Неделю вообще ничего не ел. Возможно, поэтому так и психанул. Сдали нервы.

— Но ведь вам кое-что причиталось в библиотеке?

— Откуда вы знаете? — вспыхнул Лимас. — Вы что, были…

— Почему же вы не пошли получить их? Тогда не пришлось бы просить кредита. Не так ли, Лимас?

Лимас пожал плечами.

— Не помню почему. Кажется, библиотека в субботу утром закрыта.

— Понятно. Вы уверены, что в субботу утром библиотека была закрыта?

— Нет, не уверен. Просто мне так кажется.

— Вот именно. Благодарю вас. Это все, что мне хотелось выяснить.

Когда Лимас сел на место, дверь открылась и в зал вошла огромного роста уродливая женщина в сером мундире с нашивкой на рукаве. Следом за ней шла Лиз.

Глава 22
Председатель трибунала

Она медленно вошла в зал суда, глядя по сторонам широко раскрытыми глазами, похожая на разбуженного ребенка, попавшего в залитую светом комнату. Лимас успел забыть о том, как она молода. Заметив его между двумя охранниками, она остановилась.

— Алек!

Шедший рядом охранник положил руку ей на плечо и подтолкнул туда, где только что стоял Лимас. В зале было очень тихо.

— Как тебя зовут, детка? — быстро спросила председательница.

Лиз остановилась, опустив руки по швам и распрямив пальцы.

— Как тебя зовут? — уже громче повторила председательница.

— Элизабет Голд.

— Ты член британской коммунистической партии?

— Да.

— Сейчас гостишь в Лейпциге?

— Да.

— Когда ты вступила в партию?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом. Нет, в пятьдесят четвертом. Кажется, так…

Ее отвлек шум в зале, грохот отодвигаемых стульев и голос Лимаса — страшный, угрожающий, истерический:

— Эй вы, ублюдки! Оставьте ее в покое!

Лиз в ужасе обернулась и увидела, что он вскочил с места, что лицо его залито кровью, а одежда в беспорядке. Она увидела, как охранник ударил его кулаком, так что он едва удержался на ногах. Потом они накинулись на него вдвоем и заломили назад руки. Голова его упала на грудь, затем дернулась в сторону от боли.

— Если он не успокоится, выведите его, — распорядилась председательница и, сурово кивнув Лимасу, добавила:

— Вам дадут слово позже, если пожелаете. А сейчас помолчите. — И, обернувшись к Лиз, резко сказала:

— Ты наверняка помнишь, когда вступила в партию.

Лиз ничего не ответила. Немного подождав, председательница пожала плечами и, пристально глядя не нее, спросила:

— Элизабет, тебе когда-нибудь объясняли, что партийные дела носят сугубо секретный характер?

Лиз кивнула.

— А тебе говорили, что никогда не следует пытаться узнать, какое именно место занимает тот или иной товарищ в организационной структуре партии?

— Да, конечно, — снова кивнула Лиз.

— Сегодня тебе придется пройти серьезную проверку в этом вопросе. Для тебя же лучше, гораздо лучше, что ты ничего не будешь знать. Ничего, — неожиданно подчеркнула она. — Тебе достаточно знать только одно: мы трое за этим столом являемся партийными работниками очень высокого ранга. Мы действуем по распоряжению нашего Президиума в интересах партии. Нам надо задать тебе несколько вопросов, и твои ответы имеют для нас большое значение. Отвечая на них честно и бесстрашно, ты поможешь делу социализма.

— Но кого здесь судят? — прошептала Лиз. — Что сделал Алек?

Председательница через ее голову взглянула на Мундта и сказала:

— Может быть, никого не судят. В том-то и дело. Может быть, только обвиняют. Для тебя

не имеет значения, кого именно обвиняют. Твое незнание этого — гарантия беспристрастности твоих ответов.

На мгновение в маленьком зале воцарилась тишина, а потом Лиз спросила так тихо, что председательница, чтобы услышать, невольно наклонилась вперед.

— Это Алека судят? Алека Лимаса?

— Я тебе уже говорила: для тебя же лучше не знать ничего. Расскажешь правду — и тебя отпустят. Так будет разумнее всего.

Лиз, должно быть, снова прошептала что-то или сделала какой-то жест, потому что председательница вновь наклонилась к ней и настойчиво повторила:

— Послушай, детка, ты хочешь вернуться домой? Делай, как я скажу, и ты вернешься. А иначе… — Она запнулась, а потом добавила чуть загадочно, указывая рукой на Кардена:

— Этот товарищ хочет задать тебе несколько вопросов. Совсем немного. А потом тебя отпустят. Но только говори правду.

Карден поднялся и улыбнулся доброй, благодушной улыбкой.

— Элизабет, — начал он, — Алек Лимас был твоим любовником?

Лиз кивнула.

— Вы познакомились в Бэйсуотере в библиотеке, где ты работаешь?

— Да.

— А до того вы никогда не встречались?

Лиз покачала головой.

— Мы познакомились в библиотеке.

— Элизабет, у тебя было много любовников?

Ее ответ заглушил яростный крик Лимаса:

— Карден! Ты свинья!

Лиз быстро обернулась и сказала:

— Не надо, Алек. Они тебя выведут.

— Да, — сухо подтвердила председательница, — выведем.

— Скажи-ка мне, — переменил тему Карден, — Лимас был коммунистом?

— Нет.

— А он знал, что ты коммунистка?

— Да, знал. Я ему сказала.

— А что сказал он, узнав об этом?

Лиз не понимала, врать ли ей или говорить правду, и это было самым мучительным. Вопросы сыпались с такой быстротой, что она не успевала их обдумать. А они слушали, следили, ждали ее слова или жеста, способного навредить Алеку. Она не могла врать, пока не поняла, что именно

поставлено на карту, ведь она могла попасть впросак и погубить Алека, а то, что Алек в опасности, — в этом она уже не сомневалась.

— Так что же он сказал? — повторил Карден.

— Он рассмеялся. Ему было наплевать на такие вещи.

— И ты поверила, что ему наплевать?

— Разумеется.

И тут во второй раз заговорил более молодой член трибунала. Глаза его были полузакрыты:

— И ты считаешь это нормальной реакцией человека? То, что ему наплевать на диалектику и законы развития истории?

— Не знаю. Просто я ему поверила, вот и все.

— Это не важно, — сказал Карден. — Скажи, а он вообще-то был весельчаком? Довольным жизнью и прочее?

— Нет. Он редко смеялся.

— Но узнав, что ты член партии, он рассмеялся. Как ты думаешь, почему?

— Думаю, он презирает коммунистов.

— Презирает или ненавидит? — уточнил Карден.

— Не знаю, — жалобно ответила Лиз.

— А вообще, он способен был сильно чувствовать — любить? Ненавидеть?

— Нет, пожалуй, нет.

— Но он ударил бакалейщика. Почему же он так поступил?

Лиз вдруг перестала доверять Кардену, его ласковому голосу и лицу доброго волшебника.

— Не знаю.

— Но ты задумывалась над этим?

— Да.

— Ну, и к каким же выводам ты пришла?

— Ни к каким, — равнодушно сказала Лиз.

Карден поглядел на нее задумчиво и чуть разочарованно, так, словно она не выучила заданного урока.

— А знала ли ты, — задал он, вероятно, один из самых существенных вопросов, — что он собирается избить бакалейщика?

— Нет, — ответила Лиз, пожалуй чересчур поспешно, отчего после некоторой паузы улыбка на лице Кардена сменилась выражением явной озадаченности.

— Когда ты в последний раз видела Лимаса? — спросил он наконец. — Я имею в виду до сегодняшнего дня.

— Я не видела его с тех пор, как он попал в тюрьму.

— Ну, а когда же ты видела его в последний

раз? — Голос Кардена был мягок, но настойчив.

Лиз было жутко стоять спиной к залу, ей хотелось обернуться, посмотреть на Лимаса, увидеть выражение его лица, найти в нем какую-нибудь подсказку. Ей стало страшно и за себя: все эти вопросы базировались на каких-то подозрениях и обвинениях, о которых она не имела ни малейшего представления. Они, конечно, понимают, что ей хочется помочь Алеку, понимают, что она боится. Но кто поможет ей? Почему никто не хочет помочь ей?

— Элизабет, когда ты в последний раз встречалась с Алеком Лимасом?

Опять этот голос! Как она ненавидела этот ласковый, бархатный голос!

— Вечером, перед тем как это случилось. Накануне его драки с бакалейщиком.

— Драки? Это была не драка, Элизабет. Бакалейщик не дал Лимасу сдачи, у него просто не было такой возможности. На редкость неспортивный прием! — засмеялся Карден, и было особенно страшно оттого, что никто в зале не подхватил его смеха. — Скажи, где вы встречались в последний раз?

— У него на квартире. Он тогда болел, не ходил на работу. Он лежал в постели, а я приходила и

готовила ему еду.

— И покупала продукты?

— Да.

— Как это мило с твоей стороны. Должно быть, пришлось выложить кучу денег? — участливо спросил Карден. — Ты в состоянии была содержать его?

— Я вовсе не содержала его. Он давал мне деньги. Он…

— Ах, вот как? — резко сказал Карден. — Значит, у него были деньги?

«О Господи, — подумала Лиз, — Господи, что я наделала».

— Немного, — быстро сказала она, — совсем немного. Фунт-другой, не больше. Нет, больше у него не было. Он даже не мог оплатить счета — за электричество, за квартиру. Все это оплатили потом, когда он исчез. Оплатил его друг, а не он сам. За все заплатил его друг.

— Ну конечно, — сказал очень мягко Карден, — за все заплатил его друг. Специально пришел и заплатил по счетам. Старинный друг, из тех, верно, с кем он дружил до переезда в Бэйсуотер. А вы, Элизабет, когда-нибудь видели этого друга?

Лиз покачала головой.

— Понятно. А какие еще счета оплатил этот

друг, не знаешь?

— Нет… не знаю.

— А почему ты запнулась?

— Говорю вам, не знаю, — сердито сказала Лиз.

— Но ты запнулась, — пояснил Карден. — По-моему, ты что-то хотела сказать, но потом передумала.

— Нет.

— Лимас когда-нибудь рассказывал тебе об этом друге? У которого много денег и который знает его адрес?

— Он вообще никогда не упоминал ни о каких друзьях. Я думала, что у него нет друзей.

— Понятно.

В зале установилась зловещая тишина, особенно зловещая для самой Лиз, потому что она, подобно слепому ребенку, была как бы отрезана от окружающего мира; они могли оценить ее ответы по какой-то лишь им одним известной мерке, а страшная тишина никак не давала ей понять, что именно они выяснили.

— Сколько ты зарабатываешь, Элизабет?

— Шесть фунтов в неделю.

— У тебя есть сбережения?

— Немного. Несколько фунтов.

— А сколько ты платишь за квартиру?

— Пятьдесят шиллингов в неделю.

— Довольно солидно, не так ли? А ты аккуратно платишь за квартиру?

Она беспомощно покачала головой.

— А почему? — продолжал Карден. — Не хватает денег?

— Я получила договор об аренде, — прошептала она. — Кто-то оплатил аренду и прислал мне договор.

— Кто же?

— Не знаю. — Слезы катились у нее по лицу. — Не знаю… Пожалуйста, не спрашивайте меня больше. Я не знаю, кто это был… Шесть недель назад мне прислали договор из банка в Сити… какой-то благотворительный фонд… тысячу фунтов… Клянусь, я не знаю, кто это сделал… Взнос из благотворительного общества, сказали мне. Вам же все известно… скажите мне, кто…

Закрыв лицо руками, она заплакала, стоя спиной к залу и сотрясаясь от рыданий. Никто не шелохнулся. Наконец она опустила руки, но продолжала глядеть вниз.

— А почему ты сама с этим не разобралась? — спросил Карден. — Или тебе часто дарят по тысяче фунтов?

Лиз ничего не ответила.

— Ты не стала разбираться потому, что кое-что предположила. Верно? Снова закрыв лицо руками, она кивнула. — Ты решила, что деньги пришли от Лимаса или от его друга. Так?

— Да, — с трудом ответила она. — Я слышала, что бакалейщик тоже получил какие-то деньги, кучу денег откуда-то вскоре после суда. Об этом много судачили на улице, и я подумала, что это, наверное, друг Алека…

— Чрезвычайно странно, — сказал Карден, как бы самому себе. — Чрезвычайно… Скажи, Элизабет, а после того как Алек попал в тюрьму, с тобой никто не пытался увидеться?

— Нет, — соврала она. Теперь она понимала совершенно отчетливо, что они пытаются узнать об Алеке что-то скверное, что-то связанное с деньгами или его друзьями, что-то связанное с бакалейщиком.

— Ты уверена? — удивленно спросил Карден, и его брови поднялись над золотой оправой.

— Уверена.

— Но твой сосед, Элизабет, — терпеливо продолжал спрашивать Карден, — уверяет, что к тебе приходили мужчины, двое мужчин, вскоре после того, как Лимаса приговорили к тюремному заключению. Или это были просто любовники?

Случайные любовники, вроде Лимаса, которые давали тебе деньги?

— Алек не был случайным любовником! — закричала Лиз. — Как вы можете…

— Но он давал тебе деньги. Эти двое тоже?

— О Господи, — всхлипнула она, — не спрашивайте…

— Кто это был?

Лиз не ответила, и тогда Карден вдруг закричал впервые за все время:

— Кто?!

— Не знаю. Они приехали на машине. Друзья Алека.

— Опять друзья Алека? Чего они хотели?

— Не знаю. Они все время спрашивали меня о том, что мне рассказывал Алек. Они сказали мне чтобы я разыскала их, если…

— Как? Как разыскала? Каким образом?

Наконец она сказала:

— Он живет в Челси… Его зовут Смайли… Джордж Смайли… Я должна была позвонить ему.

— И ты позвонила?

— Нет!

Карден захлопнул свое досье. Смертельная тишина воцарилась в зале. Указав пальцем на Лимаса, Карден заговорил совершенно бесстраст-

но, отчего его слова казались еще страшнее:

— Смайли хотел выяснить, не слишком ли много разболтал ей Лимас. Лимас сделал то, чего никак не могла ожидать от него британская разведслужба: он завел себе девицу и выплакался у нее не груди.

Карден негромко засмеялся, словно все это было лишь милой шуткой.

— Точно так же, как Карл Римек. Лимас совершил ту же ошибку.

— Лимас когда-нибудь рассказывал о себе? — продолжил допрос Карден.

— Нет.

— И ты ничего не знаешь о его прошлом?

— Нет. Я знаю, что он чем-то занимался в Берлине. Какое-то правительственное задание.

— Значит, он все-таки кое-что рассказывал? Он говорил тебе, что был женат?

После долгого молчания Лиз кивнула.

— А почему ты не повидалась с ним, когда он попал в тюрьму? Ты ведь могла навестить его.

— Я думала, что ему этого не хочется.

— Понятно. А ты писала ему?

— Нет. Да, один раз… просто, чтобы сказать ему, что я буду его ждать. Я не думала, что он придаст этому какое-то значение.

— А ты не думала, что он тоже этого хочет?

— Нет.

— А когда его выпустили, ты не пыталась встретиться с ним?

— Нет.

— Он должен был куда-то поехать? Его ждала какая-нибудь работа или друзья?

— Не знаю… не знаю…

— Значит, у вас все было кончено? — спросил Карден с ухмылкой. — Ты завела себе другого любовника?

— Нет! Я ждала его… я всегда буду ждать его. — Она замолчала, а потом уточнила:

— Я просто хочу, чтобы он вернулся.

— Тогда почему ты не написала ему? Почему не попыталась найти его?

— Он запретил мне это. Он… он заставил меня поклясться, что я… никогда не буду искать его…

— Значит, он собирался попасть в тюрьму? — торжествующе спросил Карден.

— Нет. Не знаю. Я не могу говорить то, чего не знаю.

— А в тот последний вечер, — голос Кардена звучал теперь резко и грубо, — в тот вечер перед дракой он заставил тебя повторить эту клятву? Да?

Совершенно обессилев, она кивнула с жалобным выражением капитуляции на лице.

— Да.

— И вы простились?

— Да, мы простились.

— После ужина, разумеется. Было уже довольно поздно. Или ты провела с ним всю ночь?

— Я ушла после ужина. Пошла домой, но не сразу. Сперва бродила, сама не знаю где. Просто бродила по улицам.

— А как он объяснил ваш разрыв?

— Он не рвал со мной, — сказала она. — Нет, не рвал. Просто он сказал, что ему нужно кое-что сделать, отплатить кому-то, чего бы это ни стоило, а потом, когда все будет позади, он вернется и, если я еще буду ждать…

— И ты, конечно, сказала, — насмешливо предположил Карден, — что всегда будешь ждать его? Верно? Уверен, что так. Что ты его никогда не разлюбишь. Так?

— Да, — просто ответила Лиз.

— И он сказал, что пришлет тебе деньги?

— Он сказал… сказал, что все не так страшно, как кажется. Что я… что обо мне позаботятся.

— И поэтому ты не стала разбираться, когда какой-то благотворительный фонд ни с того ни с

сего уплатил за тебя тысячу фунтов?

— Да! Именно поэтому. Вы теперь все знаете. Вы знали все с самого начала. Если вы и так все знали, для чего вы посылали за мной?

Карден невозмутимо дождался, пока она перестанет всхлипывать.

— Вот, — сказал он, обращаясь к трибуналу, — вот вам свидетельство защиты. Мне только очень жаль, что девица, у которой чувства подменяют разум, а честность сведена на нет крупной суммой денег, была признана нашими британскими товарищами достойной вести партийную работу.

Поглядев на Лимаса, а затем на Фидлера, он грубо бросил:

— Она просто идиотка. Но тем не менее очень хорошо, что она подвернулась Лимасу. Уже не в первый раз реваншистский план наших врагов рушится из-за извращенности его создателей.

Он коротко и рассчитанно поклонился трибуналу и сел на место.

Они там в Лондоне, должно быть, совсем рехнулись. Он же говорил им, чтобы ее оставили в покое. А теперь стало ясно, что с того самого момента, когда он исчез из Англии, даже еще раньше — с того момента, как он угодил в тюрь-

му, какой-то паршивый идиот взялся за дело — платил по счетам, ублажал бакалейщика, домовладельца, а главное, Лиз. Какой бред! Какое безумие! Чего они хотели? Убить Фидлера? Убить своего агента? Провалить собственную операцию? Неужели все это сделал Смайли? Неужели из-за уколов своей паршивой совести? Теперь ему оставалось только одно — взять все на себя и попытаться спасти Лиз и Фидлера.

Но как, черт побери, им все это стало известно? Он был уверен, что избавился от «хвоста», когда направлялся после обеда с Эшем к дому Смайли. А деньги? Откуда им известна байка о том, что он якобы украл в Цирке деньги? Эта байка была исключительно для внутреннего пользования… Откуда же они узнали про нее? Откуда, черт побери?

Озадаченный, сердитый и крайне пристыженный, он медленно пошел между рядами, машинально переступая одеревеневшими ногами, точно человек, идущий на эшафот.

Глава 23
Признание

— Ладно, Карден.

Лицо его было белым и неподвижным, словно изваянным из камня, голова чуть откинута назад и вбок, точно он прислушивался к какому-то отдаленному звуку. В нем ощущался некий пугающий покой — не поражения, а самоконтроля, и все тело, казалось, держалось железной рукой его воли.

— Ладно, Карден. Пусть ее уведут.

Лиз смотрела на него, лицо ее было сморщенным и некрасивым, темные глаза были полны слез.

— Нет, Алек… нет, — сказала она. Для нее словно не было больше никого в зале, только Лимас, высокий и стройный, как воин.

— Не говори им, — начала она громко, — если это ради меня, то не надо ничего рассказывать им. Не думай обо мне, Алек. Мне уже все равно. Правда, все равно.

— Заткнись, Лиз, — грубовато сказал Лимас. — Все равно слишком поздно. — Он повернулся к

председательнице. — Она ничего не знает. Буквально ничего. Уведите ее отсюда и отправьте домой. А я расскажу вам все остальное.

Председательница быстро переглянулась с другими членами трибунала. Немного подумав, она сказала:

— Она может покинуть зал суда, но ее не отправят домой до окончания слушания дела. А там посмотрим.

— Я же говорю вам, она ничего не знает! — заорал Лимас. — Неужели вы не понимаете, что Карден прав? Это была операция, спланированная нами операция. Что она могла знать об этом? Она же просто маленькая зачуханная девица из паршивой библиотеки. С нее вам взять нечего.

— Она свидетельница, — сухо возразила председательница. — Фидлер, возможно, захочет задать ей какие-нибудь вопросы.

Товарища Фидлера для нее уже не существовало. При упоминании своего имени Фидлер, казалось, очнулся от размышлений, в которые был погружен, и Лиз впервые за все время внимательно поглядела на него. Его глубоко запавшие карие глаза на мгновение остановились на ней, и он слегка улыбнулся ей, как еврей еврейке. Он показался ей маленьким, одиноким и странно

спокойным.

— Она ничего не знает, — сказал он. — Лимас прав. Пусть она уйдет.

Голос его звучал устало.

— Вы отдаете себе отчет в том, что сказали? — , спросила председательница. — Вы отдаете себе отчет в том, что это означает? У вас действительно нет к ней никаких вопросов?

— Она сказала все, что было необходимо. — Он сидел, сцепив руки на коленях и разглядывая их. Это занятие, казалось, интересовало его больше, чем дальнейший ход заседания. — Все было очень хитро придумано. — Он кивнул. — Пусть она уйдет. Она не может рассказать то, чего не знает. — И добавил с насмешливой официальностью:

— У меня нет вопросов к свидетельнице.

Охранник открыл дверь и что-то крикнул в коридор. В тишине, царившей в зале, было слышно, как ему ответил женский голос, потом послышались медленно приближающиеся шаги. Фидлер резко поднялся с места и, взяв Лиз под руку, проводил ее к двери. Дойдя до выхода, она обернулась и посмотрела на Лимаса, но тот стоял, отвернувшись, как человек, который не выносит вида крови.

— Возвращайтесь в Англию, — сказал ей Фидлер. — Вам нужно обязательно вернуться в Англию.

Лиз неожиданно для себя вдруг начала всхлипывать. Охранница положила ей руку на плечо, скорее чтобы поддержать, чем утешить, и вывела из зала. Охранник закрыл дверь. Плач Лиз постепенно замер вдали.

— Не стану особенно распинаться, — начал Лимас. — Карден прав. Это была ловушка. В лице Карла Римека мы потеряли нашего лучшего агента в Зоне. Всех остальных мы потеряли еще раньше. Мы не могли понять, что происходит: Мундт хватал их, казалось, раньше, чем мы успевали завербовать. Я вернулся в Лондон и увиделся с Контролером. Там были еще Петер Гийом и Джордж Смайли. Джордж уже в отставке и занимается чем-то жутко умным. Филологией, что ли.

Так или иначе, они это все и придумали. Нужно подставить им человека, чтобы они на него попались, сказал Контролер. Стань наживкой и погляди, клюнут ли они на тебя, сказал он мне. Затем мы разработали все в деталях — в обратном, так сказать, порядке. Методом индукции, как выразился Смайли. Как мы платили бы, если

бы Мундт и в самом деле был нашим агентом, как вели бы досье и тому подобное. Петер вспомнил, что какой-то араб хотел продать нам агентурную сеть Отдела год или два назад, а мы послали его подальше. И совершенно напрасно, как выяснилось потом. У Петера возникла мысль сыграть и на этом — будто бы мы отказались потому, что все знали и без него. Это было очень умно придумано.

Остальное вы легко можете себе представить. Я сделал вид, что сошел с круга: пьянство, долги, разговоры о том, что Лимас ограбил свою контору. Все одно к одному. Мы подключили Элси из бухгалтерии, чтобы она распространяла слухи, и кой-кого еще. Все они поработали на славу, — с некоторой гордостью добавил Лимас. — Затем я выбрал подходящее время — субботнее утро, когда вокруг полно народу, и затеял драку. Дело попало в местную прессу, кажется, даже в «Уоркер». Думаю, тогда-то ваши люди и вышли на меня. С этого момента вы начали рыть себе яму.

— Рыть яму вам, — спокойно заметил Мундт. Он задумчиво глядел на Лимаса светлыми, белесыми глазами. — И может быть, товарищу Фидлеру.

— Вам едва ли следует в чем-то винить Фидлера, — равнодушно возразил Лимас. — Он просто

подвернулся нам под руку. Он далеко не единственный в Отделе, кто с удовольствием отправил бы вас на виселицу.

— Вас мы отправим на виселицу в любом случае, — обнадежил его Мундт. — Вы убили охранника. И пытались убить меня.

Лимас сухо улыбнулся.

— Ночью все кошки серы, Мундт… Смайли все время твердил, что дело может сорваться. Что могут начаться процессы, которых мы не сможем остановить. У него сдали нервы — впрочем, вы это знаете. По большому счету он потерял себя после дела Феннана — после Мундтовых дел в Лондоне. Говорят, с ним что-то тогда случилось, поэтому он и ушел из Цирка. Но вот чего я не могу понять: зачем они оплатили счета, послали деньги девушке и прочее. Должно быть, Смайли намеренно решил погубить операцию — да, наверное, так и было. У него муки совести, душевный кризис, ему кажется, что никого нельзя убивать и всякое такое. Какое безумие — после такой подготовки, такой отличной работы провалить из-за этого операцию…

Но Смайли ненавидит вас, Мундт. Мы все ненавидим вас, хотя и не говорим об этом вслух. Мы планировали операцию, словно игру… трудно

сейчас объяснить. Мы понимали, что нас приперли к стенке, что Мундт взял над нами верх, и мы попытались его уничтожить. Но все равно это казалось какой-то игрой. — Повернувшись к трибуналу, он сказал:

— А насчет Фидлера вы не правы. Он не наш человек. К чему Лондону было бы идти на такой риск, имея агентом Фидлера? На него делали ставку, это точно. Было известно, что он ненавидит Мундта. Да и кто бы на его месте не ненавидел? Фидлер ведь еврей. Вы же знаете, наверняка знаете, как Мундт относится к евреям. И какова его репутация в этом вопросе.

Я скажу вам еще кое-что, больше вам этого никто не скажет, так что послушайте меня. Мундт пытал Фидлера, избивал его и все время, не переставая, издевался над ним, потому что Фидлер еврей. Всем вам прекрасно известно, что за человек Мундт, но вы терпите его, поскольку он хороший контрразведчик. Но… — на мгновение Лимас запнулся, а потом продолжил:

— Но ради Бога… в этой истории погибло уже довольно людей. Голова Фидлера вам ни к чему. С Фидлером все в порядке… он идеологически выдержан, так, кажется, у вас говорят?

Он поглядел на членов трибунала. Они спокой-

но и даже с некоторым любопытством наблюдали за ним, глаза у них были холодные и неподвижные. Фидлер, сидевший в своем кресле и слушавший его с нарочитым безразличием, на секунду поднял глаза и безучастно посмотрел на Лимаса.

— И вы погубили всю операцию, Лимас? — спросил Фидлер. — Вы, опытный боец, проводящий коронную операцию, главную в своей жизни, влюбились в — как вы там ее назвали? — маленькую зачуханную девицу из паршивой библиотеки? Лондон должен был обо всем этом знать, Смайли не мог действовать в одиночку. — Фидлер обернулся к Мундту. — Вот что странно, Мундт, они наверняка понимали, что вы проверите в этой истории каждый пункт. Вот почему Лимасу пришлось старательно играть свою роль. Но затем они послали деньги бакалейщику, заплатили за квартиру Лимаса и за арендный договор девушки. И самое странное во всей истории — чтобы люди с их опытом выплатили тысячу фунтов девушке, члену коммунистической партии, которая должна была верить в то, что Лимас — человек конченый. Только не рассказывайте мне, что совесть Смайли настолько чувствительна. Что за нелепый риск!

Лимас пожал плечами.

— Смайли оказался прав в одном отношении: мы не смогли приостановить начавшихся процессов. Мы не допускали того, что вам удастся завлечь меня сюда. В Голландию — да, но не сюда же. — Он немного помолчал. — А я не мог и вообразить, что вы привезете сюда девушку. Ну и дурак же я был!

— Вы — да, но не Мундт, — быстро вставил Фидлер. — Мундт знал, что ему нужно искать, он даже заранее знал, что девушка предоставит необходимое доказательство. Крайне проницательно с его стороны. И что самое поразительное — Мундт знал о тысяче фунтов. Хочется спросить, как ему удалось до этого докопаться? Девушка ведь никому не рассказывала. Я видел девушку и уверен, что она никому ничего не говорила. — Взглянув на Мундта, он спросил; — Может, нам объяснит это сам Мундт?

Мундт помедлил — чуть дольше, чем следовало, как показалось Лимасу.

— Все дело в ее партийных взносах. Примерно месяц назад она стала платить на десять шиллингов больше. Я узнал об этом. И постарался выяснить, почему она может себе это позволить. И я выяснил.

— Блестящее объяснение, — сухо заметил Фидлер.

Наступила тишина.

— Полагаю, — начала председательница, переглянувшись с остальными членами трибунала, — теперь мы можем передать дело на рассмотрение Президиума. Разумеется, — добавила она, глядя на Фидлера маленькими, злобными глазами, — если вам больше нечего добавить.

Фидлер покачал головой. Казалось, что-то по-прежнему не дает ему покоя.

— В таком случае, — продолжила председательница, — мы с коллегами единодушны в том, что товарищ Фидлер должен быть освобожден от своих обязанностей до того момента, пока дисциплинарный комитет Президиума не вынесет соответствующего решения. Лимас уже находится под арестом. Напомню вам, что у нашего трибунала нет права выносить приговор. Прокурор республики совместно с товарищем Мундтом, без сомнения, разберутся в том, какой кары заслуживает британский шпион, провокатор и убийца.

Поверх головы Лимаса она поглядела на Мундта. Но сам Мундт не сводил глаз с Фидлера. Это был бесстрастный взор палача, прикидывающе-

го, какой длины веревка ему понадобится.

И вдруг с внезапным озарением человека, которого слишком долго обманывали, Лимас понял весь дьявольский механизм.

Глава 24
Комиссар

Лиз стояла у окна спиной к охраннице и тупо смотрела на маленький дворик. «Сюда, должно быть, выводят на прогулку заключенных», — решила она. Она находилась в каком-то кабинете, на столе стояла еда, но Лиз не могла к ней притронуться. Она чувствовала себя больной и жутко усталой, физически усталой. Болели ноги, а лицо онемело и опухло от слез. Она казалась себе грязной, ей хотелось помыться.

— Почему ты не ешь? — снова спросила охранница. — Все уже позади.

Она произнесла это без малейшего сочувствия, так, словно девушка была идиоткой, не понимающей, что перед ней еда.

— Я не голодна.

Охранница пожала плечами.

— Возможно, тебе предстоит долгая поездка, да и готом тебя едва ли накормят.

— Что вы имеете в виду?

— В Англии трудящиеся голодают, — заявила охранница. — Капиталисты заставляют их уми-

рать с голоду.

Лиз хотела было возразить, но передумала. Кроме того ей нужно, просто необходимо узнать кое-что, а узнать она могла только у этой женщины.

— Где я нахожусь?

— А разве ты не знаешь? — засмеялась охранница. — Надо бы спросить вон у тех, — она кивнула в сторону окна, — они объяснят где.

— Кто они?

— Заключенные.

— Какого рода заключенные?

— Политические. Враги народа. Шпионы, агитаторы.

— Откуда вы знаете, что они шпионы?

— Партия все знает. Партия знает о людях больше, чем они сами. Разве тебе не говорили этого? — Она посмотрела на Лиз и осуждающе покачала головой. — Ох уж эти англичане! Богачи сжирают ваше будущее, а вы сами им тарелки подносите. Все вы такие.

— Кто вам говорил о нас такое?

Охранница снисходительно улыбнулась и ничего не ответила. Казалось, она была очень довольна собой.

— Значит, это тюрьма для шпионов? — попы-

талась разобраться Лиз.

— Эта тюрьма для тех, кто отказывается признать реальность социализма, кто полагает, что у него есть право на сомнения, кто идет не в ногу со всеми. Для предателей, — кратко резюмировала она.

— Но что они сделали?

— Мы не можем построить коммунизм, не покончив с индивидуализмом. Нельзя, возводя великое здание, разрешать свиньям устраивать себе хлев возле его стен.

Лиз изумленно уставилась на нее.

— Кто вам все это наговорил?

— Я коммунистка, — гордо ответила та. — А здесь в тюрьме я — комиссар.

— Какая вы умная, — сказала Лиз.

— Я представитель трудящихся, — ответила женщина. — Мы отвергаем теорию о превосходстве умственного труда. Мы все здесь просто трудящиеся. Мы не признаем различий между умственным и физическим трудом. Ты читала Ленина?

— Значит, в этой тюрьме сидят люди умственного труда?

— Да, — улыбнулась охранница, — реакционеры, которые воображают себя представителями

прогресса: они, видите ли, защищают личность от государства. Ты слышала, что сказал Хрущев о венгерских контрреволюционерах?

Лиз покачала головой. Нужно постоянно проявлять интерес, если она хочет заставить охранницу разговориться.

— Он сказал, что там ничего бы не произошло если бы вовремя расстреляли парочку писателей.

— А кого расстреляют сейчас? — быстро спросила Лиз. — После суда?

— Лимаса, — равнодушно ответила комиссар, — и этого жида Фидлера.

Лиз на мгновение показалось, что она теряет сознание. Она вцепилась в подлокотник кресла и села.

— А что сделал Лимас? — прошептала она.

Женщина поглядела на нее крошечными, хитрыми глазами. Она была высокая, толстая и рыхлая с одутловатым лицом и собранными в пучок жидкими волосами.

— Он убил охранника.

— За что?

Женщина пожала плечами.

— А что касается жида, — сказала она, — то он оклеветал честного коммуниста.

— И за это Фидлера расстреляют? — спросила, не веря собственным ушам, Лиз.

— Жиды все одинаковы, — пояснила охранница. — Товарищ Мундт знает, как с ними следует обращаться. Они нам тут ни к чему. Когда они вступают в партию, то считают, что вся партия принадлежит им одним. А когда их отказываются принимать, они заявляют, что против них плетут интриги. Говорят, Лимас и Фидлер действовали против товарища Мундта в сговоре. Ну что, будешь есть? — Она снова кивнула на еду на столе, а Лиз снова отрицательно покачала головой. — Тогда придется съесть мне, — сказала охранница, подчеркнуто демонстрируя свое нежелание. — Картошку, видишь ли, дали. Должно быть, повар в тебя влюбился.

И хихикая над собственной шуткой, она принялась за еду.

А Лиз снова подошла к окну.

В круговороте стыда, страха и горя, в смятении духа главным для Лиз оставалось воспоминание о Лимасе в зале суда, о том, как он неподвижно сидел в кресле, отвернувшись и не глядя на нее. Она подвела его, и он не осмеливался взглянуть на нее перед смертью, не хотел, чтобы она увидела презрение или, может быть, страх, написанные

у него на лице.

Но разве она могла поступить иначе? Если бы Лимас рассказал, что собирается делать — а она не понимала этого даже сейчас, — она, конечно, солгала бы, что угодно совершила бы ради него. Если бы он сказал! Ведь он знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что она поступит так, как он велит, что она станет частью его самого, его волей, его желаниями, его жизнью, его болью, что она молит его только об этом. Но откуда ей было знать, как отвечать на те коварные, завуалированные вопросы? Казалось, не будет конца бедам, которые она причиняет. Пребывая все в том же лихорадочном тумане, она вспомнила, как еще ребенком с ужасом узнала, что каждый ее шаг по земле приносит гибель тысячам крошечных созданий, раздавленных ее ногой. А сейчас, если бы она солгала, или сказала правду, или просто промолчала, она все равно помогла бы погубить человеческое существо. А может быть, и два, потому что там был еще тот еврей Фидлер, который держался с ней так ласково, взял под руку и посоветовал вернуться в Англию. Фидлера расстреляют, так сказала охранница. Но почему именно Фидлера, а не того старика, задавшего ей столько вопросов, или того красавчика, сидевше-

го впереди между двумя солдатами и все время улыбавшегося? Куда бы Лиз ни повернулась, она неизменно видела его белокурую голову, его гладкое, жестокое лицо и улыбку, словно все это было отличной шуткой. Ее немного утешало лишь то, что Лимас и Фидлер сражались на одной стороне.

Она снова обернулась к охраннице и спросила:

— А чего мы ждем?

Та отодвинула тарелку и встала.

— Указаний. Они решают, останешься ли ты тут.

— Останусь? — переспросила Лиз.

— Все дело в свидетельских показаниях. Фидлера, возможно, еще будут допрашивать. Я ведь уже говорила: есть подозрение, что Лимас и Фидлер действовали заодно.

— Но против кого? И как Лимас мог действовать в Англии? И вообще, как он сюда попал? Он ведь не член партии.

— Это тайна, — покачала головой охранница. — Это касается только Президиума. Должно быть, его привез сюда этот жид.

— Но вы же знаете, — упрашивала Лиз. — Вы же комиссар. Наверняка они вам сказали.

— Может быть, — самодовольно ответила та. —

Но это тайна.

Зазвонил телефон. Женщина взяла трубку и мгновение спустя поглядела на Лиз.

— Да, товарищ. Немедленно. — Она положила трубку. — Ты должна остаться тут. Делом Фидлера займется Президиум. А ты пока останешься тут. Так хочет товарищ Мундт.

— А кто такой Мундт?

Женщина хитровато посмотрела на Лиз.

— Таково требование Президиума.

— Но я не хочу оставаться тут, — закричала Лиз. — Я хочу…

— Партия знает о нас больше, чем знаем мы сами, — прервала ее комиссар. — Ты должна остаться. Такова воля партии.

— А кто такой Мундт? — повторила Лиз, но ее вопрос снова остался без ответа.

Лиз медленно шла следом за женщиной по бесконечным коридорам через решетчатые двери с охранниками возле них, мимо железных дверей, из-за которых не доносилось ни звука, по бесконечным лестницам, через огромные помещения под землей, пока ей не начало казаться, что она попала в глубь самого ада, где никто даже не скажет ей, что Алек уже мертв.

Она не знала, сколько уже времени, когда услы-

шала шаги в коридоре. Быть может, часов пять, а может, полночь. Она не спала, а просто сидела и тупо глядела в кромешную тьму, пытаясь хоть что-нибудь услышать. Она никогда прежде не подозревала, что тишина бывает такой страшной. Один раз она крикнула и не услышала в ответ даже эха. Осталась только память о том, что она кричала. Она представила себе, как звук ее голоса бьется о плотную тьму, точно кулаку о стену. Сидя на кровати, она стала двигать руками, и они показались ей тяжелыми, словно она гребла в воде. Лиз знала, что камера очень маленькая, тут были только кровать, раковина без крана и неуклюжий стол. Она заметила все это, когда ее ввели сюда. Потом свет мгновенно погас, и Лиз опрометью бросилась туда, где должна была стоять кровать, ударилась о нее ногой, села да так и сидела, дрожа от страха. Но вот наконец послышались чьи-то шаги. Дверь камеры распахнулась.

Она сразу узнала его, хотя в бледно-голубом свете коридора можно было различить только силуэт. Подтянутая, крепкая фигура, твердый очерк скул и красивые короткие волосы, чуть подсвеченные горевшим позади него светом.

— Я Мундт, — сказал он. — Иди за мной. Ско-

рее.

Голос у него был самоуверенный, но слегка приглушенный, словно он боялся, что его услышат.

Лиз охватил ужас. Она вспомнила слова охранницы: «Мундт знает, как надо обращаться с евреями». Она стояла у кровати, испуганно глядя на него и не зная, что делать.

— Поторапливайся, идиотка! — Мундт схватил ее за руку. — Живо!

Лиз позволила ему вывести себя в коридор. И с удивлением смотрела, как Мундт тихонько запирает дверь опустевшей камеры. Потом он грубо рванул ее за руку и потащил почти бегом по коридору. Лиз слышала шум кондиционеров и иногда звук шагов в других коридорах. Она заметила, что Мундт идет с осторожностью, останавливаясь и даже отступая назад от некоторых проходов, или заходя вперед, чтобы удостовериться, что там никого нет, и лишь затем давая ей знак следовать за ним. Казалось, он был уверен, что Лиз не отстанет и что она понимает, куда он ее ведет. Словно Лиз была его сообщницей.

Вдруг Мундт остановился и вставил ключ в замочную скважину обшарпанной железной двери. Лиз ждала, охваченная паникой. Он резко распахнул дверь, и свежий, холодный воздух

зимнего вечера ударил ей в лицо. Он кивнул ей все с той же настойчивостью, и Лиз спустилась по двум ступенькам вниз и пошла за ним по гравиевой дорожке через заброшенный огород.

Они подошли к вычурным готическим воротам. За ними было шоссе. У ворот стояла машина. А возле нее Алек Лимас.

— Стой тут, — одернул ее Мундт, когда Лиз рванулась было вперед. — Жди меня здесь.

Мундт прошел вперед, и Лиз, казалось, целую вечность смотрела, как двое мужчин о чем-то тихо переговариваются, стоя у машины. Сердце Лиз бешено колотилось, она дрожала от холода и страха. Наконец Мундт вернулся.

— Пошли, — сказал он и повел ее к Лимасу. Некоторое время мужчины молча глядели в глаза друг другу.

— Прощайте, — равнодушно бросил Мундт. — Вы дурак, Лимас. Она ведь той же породы, что и Фидлер.

Он быстро повернулся и скрылся в сумерках.

Лиз протянула руку и дотронулась до Лимаса. Он отвернулся и отвел ее руку. Потом открыл дверцу машины и кивнул, чтобы она садилась, но Лиз медлила.

— Алек, — прошептала она, — что ты делаешь?

Почему он позволил тебе бежать?

— Заткнись! — прошипел Лимас. — Забудь об этом раз и навсегда, ясно? Залезай в машину!

— Алек, что он сказал про Фидлера? Почему он нас отпустил?

— Отпустил потому, что мы сделали то, что от нас требовалось. Полезай в машину. Живо!

Под напором его неумолимой воли Лиз влезла в машину и закрыла дверцу. Лимас сел рядом.

— Какую сделку ты с ним заключил? — настаивала она со все большим подозрением и страхом. — Мне сказали, что вы действовали заодно — ты и Фидлер. Почему же Мундт отпустил тебя?

Лимас завел машину, и вскоре они уже мчались по узкому шоссе. По одну сторону были голые поля, по другую — темные однообразные холмы, постепенно сливающиеся с темнеющим небом. Лимас взглянул на часы.

— Нам пять часов до Берлина, — сказал он. — Без четверти час надо быть в Кепенике. Мы успеем.

Некоторое время Лиз молча глядела в окно на пустую дорогу, смущенная и заплутавшая в лабиринте не додуманных до конца мыслей. Поднялась полная луна, мороз сковал тонкой

пленкой поля. Они выехали на автостраду.

— Я на твоей совести, Алек? — спросила она наконец. — Поэтому ты и заставил Мундта освободить меня?

Лимас ничего не ответил.

— Вы ведь с Мундтом враги. Правда?

Он снова промолчал. Ехали они очень быстро, на спидометре было сто двадцать километров. Автострада была в рытвинах и колдобинах. Лиз заметила, что Лимас врубил фары на полную мощность и не гасил их перед встречными машинами. Он гнал машину, наклонившись вперед и почти упершись локтями в руль.

— Что будет с Фидлером? — спросила Лиз.

На этот раз Лимас ответил ей:

— Его расстреляют.

— А почему они не расстреляли тебя? Ты же вместе с Фидлером действовал против Мундта, так мне сказали. Ты убил охранника. Почему Мундт позволил тебе бежать?

— Ладно! — внезапно закричал Лимас. — Я объясню тебе. Я расскажу тебе то, чего ты ни в коем случае не должна знать. Ни ты, ни я. Так вот, слушай: Мундт — наш человек, он британский агент, его завербовали, когда он был в Англии. Мы с тобой участвовали во вшивой, поганой

операции по спасению его шкуры. По спасению Мундта от маленького хитрого еврея в его же департаменте, который начал догадываться об истине. Нас заставили убить его. Понимаешь, убить этого еврея. Ну вот, теперь ты все знаешь, и да поможет нам Бог.

Глава 25
Стена

— Если все это так, Алек, — сказала Лиз, — то в чем заключалась моя роль?

Она говорила спокойно, почти деловито.

— Я могу только строить догадки на основе того, что знаю и что рассказал мне Мундт. Фидлер подозревал Мундта, подозревал с тех самых пор, как тот вернулся из Англии. Фидлер считал, что Мундт ведет двойную игру. Конечно, он ненавидел Мундта — это вполне понятно, но он оказался прав: Мундт действительно был агентом Лондона. Фидлер был слишком влиятелен, чтобы Мундт мог свалить его в одиночку, поэтому в Лондоне решили сделать это за него. Представляю себе, как они там все это разрабатывали, эти чертовы интеллектуалы. Так и вижу, как они сидят рядышком у камина в каком-нибудь из своих поганых клубов. Они понимали, что мало просто убрать Фидлера: он мог что-то рассказать друзьям или опубликовать свои улики. Они хотели уничтожить само подозрение как таковое. Публичная реабилитация — вот что они решили

организовать для Мундта.

Он свернул на левую полосу, чтобы обогнать грузовик с прицепом. И в это мгновение перед ними внезапно вырос грузовик. Лимасу пришлось выжать тормоза, чтобы не врезаться в ограждение.

— Они сказали, что я должен подловить Мундта, — спокойно продолжал он, — сказали, что его нужно уничтожить и что я буду наживкой. И что это будет моим последним заданием. И вот я начал пить, потом избил бакалейщика… Ну, остальное ты знаешь.

— И завел роман? — кротко спросила она.

Лимас покачал головой.

— Но дело, понимаешь, в том, что Мундт обо всем знал. Ему был известен весь план. Он вышел на меня вместе с Фидлером, а потом позволил тому взять дело в свои руки потому, что был уверен, что Фидлер в конце концов сам совьет себе веревку. Я должен был навести их на то, что на самом деле было правдой — на то, что Мундт английский шпион. — Он помолчал. — А ты должна была дискредитировать меня. Фидлера уничтожили, а Мундт вышел сухим из воды, спасся, вырвавшись из сетей империалистического заговора. Есть ведь старое правило: после ссоры

любовь вдвое слаще.

— Но как они могли узнать обо мне? Как могли вычислить, что мы встретимся? — воскликнула Лиз. — Неужели они способны знать заранее, что люди полюбят друг друга?

— Это не имело значения — не на том все строилось. Они выбрали тебя потому, что ты молода и хороша собой. Потому что состоишь в коммунистической партии. Потому что знали, что ты поедешь в Германию, если получишь приглашение. Тот человек в бюро по трудоустройству, Питт, направил меня в библиотеку, потому что знал, что я соглашусь на такую работу. В годы войны Питт служил у нас в Цирке. Думаю, они и сейчас задействовали его. Им просто нужно было организовать наше знакомство, нашу встречу, хотя бы на день. Остальное не имело значения, потому что потом они уже могли позвонить тебе, послать тебе деньги, представить дело так, словно между нами был роман, даже если бы на самом деле его и не было. Возможно, представить это как случайную связь. Главным в нашем знакомстве было то, что потом они могли послать тебе как бы от моего имени деньги. А мы с тобой просто облегчили им задачу…

— Облегчили, — согласилась Лиз. — Мне так

пакостно, Алек. Так пакостно, словно я в хлеву побывала.

Лимас промолчал.

— Скажи, людям из твоего департамента легче разбираться с собственной совестью, когда они используют… члена компартии, а не просто обычного человека?

— Наверно, — сказал Лимас. — Впрочем, они не мыслят в подобных категориях. Такова была оперативная необходимость.

— Но меня ведь могли оставить там, в тюрьме? Разве не этого хотел Мундт? Он считал, что не следует рисковать — я ведь могла услышать что-то лишнее и что-нибудь заподозрить. В конце концов, Фидлер тоже ни в чем не был виноват. Но он еврей, — раздраженно добавила она, — и поэтому тоже вроде бы не в счет?

— Ради Бога, перестань, — вздохнул Лимас.

— Все-таки странно, что Мундт отпустил меня. Странно, даже если это часть сделки с тобой, — продолжала размышлять вслух Лиз. — Ведь он пошел на риск, правда? Я ведь представляю собой опасность для него. Я имею в виду, когда мы вернемся в Англию: член партии, который знает так много… Непонятно, как он решился отпустить меня.

— Думаю, — предположил Лимас, — он воспользуется нашим побегом, чтобы доказать членам Президиума, что в Отделе остались люди Фидлера, подлежащие выявлению и уничтожению.

— Тоже евреи? Как Фидлер?

— Это даст Мундту шанс укрепить свои позиции, — равнодушно ответил Лимас.

— Убив еще и других ни в чем не повинных людей? Кажется, тебя это не слишком волнует?

— Разумеется, это меня волнует. Меня наизнанку выворачивает от стыда и ярости… Но я иначе устроен. Лиз. Я не могу видеть все только в черных или белых тонах. Люди, играющие в эту игру, вынуждены рисковать. Фидлер проиграл, а Мундт выиграл. Главное — выиграл Лондон. Это была поганая, чертовски поганая операция. Но она себя оправдала, а это единственное правило в такой игре. — Он говорил все громче и громче, почти кричал.

— Ты просто себя уговариваешь, — таи же громко возразила Лиз. — Они совершили подлость. Как ты мог погубить Фидлера? Он был хороший человек, Алек, я поняла, я почувствовала это, а Мундт…

— Какого черта ты расхныкалась? — грубо оборвал ее Лимас. — Твоя партия вечно воюет.

Жертвует личностью во имя общества. Так ведь у вас говорится? Социалистическая реальность — сражаться денно и нощно, вечный бой, разве не так? В конце концов, ты осталась в живых. Что-то мне не доводилось слышать, чтобы коммунисты проповедовали священную неприкосновенность человеческой жизни. Хотя, может, я чего-то не понял, — саркастически добавил он. — Ладно, я согласен, что тебя полагалось уничтожить. Так было у него в планах. Мундт — подлая скотина, ему не имело смысла оставлять тебя в живых. Его обещания (а я думаю, он дал обещание сделать для тебя все, что в его силах) гроша ломаного не стоят. Так что тебе предстояло умереть — сейчас, через год или лет через двадцать — в тюрьме, устроенной в социалистическом раю. А может, и мне тоже. Но твоя партия, как мне кажется, стремится уничтожить целые классы людей. Или я опять что-то путаю?

Достав из кармана пачку сигарет, он протянул ей две штуки и спички. Она прикурила и передала одну Лимасу. Руки ее дрожали.

— Ты, кажется, все очень хорошо продумал. Правда? — спросила Лиз.

— Случилось так, что нами законопатили трещину, — упорно продолжал он. — Жаль, конечно.

И жаль всех остальных, кем тоже законопатили трещину. Но только не надо оспаривать термины и категории, Лиз. В тех же терминах и категориях мыслит твоя партия. Небольшая потеря и огромные достижения. Один, принесенный в жертву во имя многих. Неприятно, конечно, решать, кто именно должен стать жертвой. Неприятно переходить от теории к практике.

Она слушала, видя перед собой лишь набегающую дорогу и ощущая охвативший ее тупой ужас.

— Но они заставили меня полюбить тебя, — сказала она наконец. — А ты заставил меня поверить тебе. И полюбить тебя.

— Они просто использовали нас, — безжалостно возразил Лимас. — Они обошлись с нами обоими, как с последними дешевками. Потому что это было необходимо. Это был единственный шанс. Фидлер был почти у цели, понимаешь? Он разоблачил бы Мундта, неужели ты не можешь итого понять?

— Зачем ты ставишь все с ног на голову! — вдруг закричала Лиз. — Фидлер был добрым и порядочным человеком, он просто честно работал и делал свое дело. А вы убили его. Ты убил его! А Мундт был шпионом и предателем — а

ты спас его! Мундт — нацист, ты это знаешь? Он ненавидит евреев. А на чьей стороне ты? Как ты можешь…

— В этой игре действует только один закон, — возразил Лимас. — Мундт — агент Лондона, он поставляет Лондону то, что нужно. Это ведь нетрудно понять, правда? Ленинизм говорит о необходимости прибегать к помощи временных союзников. Да и кто такие, по-твоему, шпионы: священники, святые, мученики? Это неисчислимое множество тщеславных болванов, предателей — да, и предателей тоже, — развратников, садистов и пьяниц, людей, играющих в индейцев и ковбоев, чтобы хоть как-то расцветить свою тусклую жизнь. Или ты думаешь, что они там в Лондоне сидят как монахи и держат на весах добро и зло? Если бы я мог, я убил бы Мундта. Я ненавижу его, но сейчас не стал бы убивать его. Случилось так, что он нужен Лондону. Нужен для того, чтобы огромные массы трудящихся, которых ты так обожаешь, могли спать спокойно. Нужен для того, чтобы и простые, никчемные людишки вроде нас с тобой чувствовали себя в безопасности.

— А как насчет Фидлера? Тебе совсем не жаль его?

— Идет война, — ответил Лимас. — Жесткая и неприятная, потому что бой ведется на крошечной территории лицом к лицу. И пока он ведется, порой гибнут и ни в чем не повинные люди. Согласен. Но это ничем, повторяю, ничем не отличается от любой другой войны — от той, что была, или той, что будет.

— О Господи, — вздохнула Лиз. — Ты не понимаешь. Да и не хочешь понять. Ты пытаешься убедить самого себя. То, что они делают, на самом деле куда страшнее; они находят что-то в душе человека, у меня или у кого-то еще, кого они хотят использовать, обращают в оружие в собственных руках и этим оружием ранят и убивают…

— Черт побери! — заорал Лимас. — А чем еще, по-твоему, занимаются люди с самого сотворения мира? Я ни во что такое не верю, не думай, даже в разрушение или анархию. Мне тоже противно убивать, но я не знаю, что еще им остается делать. Они не проповедники, они не поднимаются на кафедры или партийные трибуны и не призывают нас идти на смерть во имя Мира, Господа или чего-то еще. Они просто несчастные ублюдки, которые пытаются помешать этим вонючим проповедникам взорвать к черту весь мир.

— Ты не прав, — безнадежно возразила Лиз. —

Они куда хуже нас всех.

— Лишь потому, что я занимался с тобой любовью, пока ты принимала меня за ханыгу?

— Потому, что они все на свете презирают, и добро и зло, они презирают любовь, презирают…

— Да, — неожиданно устало согласился Лимас. — Это цена, которую они платят, одним плевком оплевывая и Господа Бога, и Карла Маркса. Если ты это имеешь в виду.

— Но в этом и ты похож на них, на Мундта и всех остальных… Мне следовало бы знать, что со мной не станут церемониться. Верно? Они не станут, и ты тоже, потому что тебе на все наплевать. Только Фидлер был не таким… А вы все… вы обращались со мной так, словно я… ну, буквально ничего не значу… просто банкнота, которой предстоит расплатиться… Вы все одинаковы, Алек.

— О Боже, Лиз, — с отчаянием в голосе сказал он, — ради всего святого, поверь мне. Мне омерзительно все это, омерзительно. Я устал. Но ведь сам мир, само человечество сошло с ума. Наши жизни — цена еще сравнительно небольшая, но ведь повсюду одно и то же: людей обманывают и надувают, их жизнями швыряются без раздумий, людей расстреливают и бросают в тюрьмы, целые группы и классы списываются в расход. А твоя

партия? Бог вам судья, она воздвигла свое здание на костях обыкновенных людей. Тебе, Лиз, никогда не доводилось видеть, как умирают люди. А сколько мне пришлось на это насмотреться…

Пока он говорил, Лиз вспоминала грязный тюремный двор и охранницу, объяснявшую ей: «Эта тюрьма для тех, кто отказывается признать реальность социализма, кто полагает, что у него есть право на сомнения, кто идет не в ногу со всеми».

Лимас вдруг напрягся, вглядываясь через стекло в дорогу. В свете фар Лиз разглядела какую-то фигуру. Человек сигналил им фонариком.

— Это он, — пробормотал Лимас, выключил фары и мотор и затормозил. Когда они остановились, Лимас перегнулся назад и открыл боковую дверцу.

Лиз даже не обернулась, чтобы поглядеть на севшего в машину. Она продолжала смотреть на ночную дорогу под дождем.

— Скорость тридцать километров, — сказал незнакомец. Голос его звучал испуганно и глуховато. — Я покажу, как ехать. Когда мы доедем до места, вам нужно вылезти и бежать к Стене. Прожектор будет направлен как раз туда, где вы будете перелезать. Оставайтесь в его луче. А

когда луч уйдет в сторону, лезьте. У вас на это полторы минуты. Вы лезете первым, — сказал он Лимасу, — а девушка следом. В нижней части Стены есть железные скобы, ну, а дальше подтягивайтесь. Вы взберетесь на Стену и втащите девушку наверх. Понятно?

— Понятно, — сказал Лимас. — Сколько у нас осталось времени?

— Если вы поедете со скоростью тридцать километров, мы будем там примерно через девять минут. Луч прожектора появится ровно в пять минут второго. Они дают вам полторы минуты. Ни секундой больше.

— А что случится через полторы минуты? — спросил Лимас.

— Они дают вам полторы минуты, — повторил незнакомец. — Иначе это слишком опасно. В курсе дела лишь один патруль. Им дали понять, что вас перебрасывают в Западный Берлин. Но им велено не выстилать вам ковровую дорожку. Полутора минут достаточно.

— Будем надеяться, что так, — сухо заметил Лимас. — Сколько на ваших часах?

— Я сверил свои с часами начальника патруля, — ответил человек на заднем сиденье. В руке у него вспыхнул и погас фонарик. — Двенадцать

сорок восемь. Мы тронемся без пяти час. Осталось семь минут.

Они сидели в полной тишине, только дождь барабанил по крыше машины. Перед ними тянулась вымощенная булыжником дорога с тусклыми фонарями через каждые сто метров. На дороге никого не было. Небо над ними было освещено неестественным светом дуговых ламп. Временами вспыхивал и исчезал луч прожектора. Слева, на большом расстоянии от них, Лимас заметил над горизонтом пульсирующий свет, напоминающий отблески пожара.

— Что это такое? — спросил он.

— Световой телеграф. Служба информации. Передают заголовки новостей в Западный Берлин.

— Понятно, — пробормотал Лимас. Конец пути был уже совсем близок.

— Отступаться нельзя, — сказал незнакомец. — Он говорил вам об этом? Другого шанса вам не дадут.

— Знаю, — ответил Лимас.

— Если что-то пойдет не так, если вы упадете или поранитесь, все равно не возвращайтесь. Они застрелят вас прямо в зоне Стены. Вам обязательно нужно перелезть.

— Мы знаем, — сказал Лимас. — Он говорил

мне это.

— Как только выйдете из машины, вы окажетесь в простреливаемой зоне.

— Знаю, — бросил Лимас. — А теперь помолчите. Машину отгоните вы сами? — добавил он.

— Как только вы выйдете. Для меня, видите ли, это тоже очень опасно.

— Весьма сожалею, — сухо заметил Лимас.

Они снова замолчали. Затем Лимас спросил:

— У вас есть оружие?

— Есть, но я не могу отдать его вам. Он сказал, чтобы я не отдавал вам, хотя вы наверняка попросите…

Лимас негромко засмеялся.

— На него похоже.

Он нажал на стартер. С ревом, который, казалось, заполнил все вокруг, машина медленно двинулась вперед.

Они проехали метров триста, и тут человек на заднем сиденье взволнованно зашептал:

— Вот сюда, прямо, а потом налево.

Они свернули на узкую улочку. По обеим сторонам стояли пустые рыночные ларьки, машина с трудом лавировала между ними.

— Поворот налево! Вот здесь!

Они быстро повернули еще раз между двумя

зданиями в какой-то проезд. Через улицу была натянута бельевая веревка. Сумеют ли они проехать, не сорвав ее, спросила себя Лиз. Казалось, они попали в тупик, но тут Лимас снова услышал команду:

— Снова налево и прямо по дорожке.

Он въехал на тротуар, а потом повел машину по широкой пешеходной дорожке, слева была поломанная изгородь, а справа — глухая стена какого-то здания. Откуда-то сверху послышался крик — кричала женщина. Лимас пробормотал «заткнись», с трудом повернул направо, и они сразу же оказались на шоссе.

— Куда теперь?

— Прямо вперед, мимо аптеки. Между аптекой и почтой — вон туда!

Человек на заднем сиденье наклонился вперед, и их лица оказались почти на одной линии. Вытянув руку, он уперся пальцем в ветровое стекло.

— Прочь! — прошипел Лимас. — Руки прочь! Какого черта! Я не могу ехать, когда вы машете рукой у меня перед носом.

Переключив двигатель на первую скорость, он быстро пересек какую-то широкую дорогу. Поглядев налево, он вдруг с изумлением увидел громоздкий силуэт Бранденбургских ворот в

каких-нибудь трехстах метрах от себя и мрачное скопление военных машин возле них.

— Куда мы едем? — вдруг спросил он. — Мы почти приехали. Теперь поезжайте медленней. Налево! Налево! Налево! — кричал он, и Лимас с каждым выкриком поворачивал руль.

Через узкую арку они въехали в какой-то двор. Половина окон была без стекол или заколочена, пустые дверные проемы слепо зияли им навстречу. В другом конце двора были раскрытые ворота.

— Сюда, — шепотом прозвучала команда, в темноте этот шепот казался особенно настойчивым. — И резко вправо. Справа от вас будет фонарь. А второй, за ним, разбит. Когда доедете до второго фонаря, выключайте двигатель и подъезжайте к пожарному насосу. Вон там.

— Какого черта вы не ведете машину сами?

— Он велел, чтоб вели вы. Сказал, так надежней.

Проехав через ворота и резко свернув вправо, они оказались на узкой совершенно темной улочке.

— Выключайте фары!

Лимас выключил фары и медленно поехал к первому фонарю. Впереди уже был виден вто-

рой. Он не горел. Лимас выключил мотор, и они медленно проехали мимо второго фонаря. И вот, метрах в двадцати перед ними показались очертания пожарного насоса. Лимас затормозил, машина остановилась.

— Где мы? — прошептал Лимас. — Мы, кажется, пересекли Аллею Ленина?

— Нет, Грейфевальдер-штрассе. Потом повернули на север. Мы к северу от Бернауэр-штрассе.

— В Панкове?

— Примерно так. Вон, видите?

Он указал на улицу слева от них. В дальнем конце ее они увидели небольшой кусок Стены, серо-коричневый в утомительном свете дуговых ламп. По верху Стены была протянута колючая проволока.

— А как она перелезет через проволоку? — спросил Лимас.

— В том месте проволока перерезана. У вас минута на то, чтобы добраться до Стены. Прощайте.

Они вылезли из машины — все трое. Лимас взял Лиз под руку, но она отпрянула, словно он больно ударил ее.

— Прощайте, — повторил немец.

Лимас в ответ прошептал:

— Не включайте мотор, пока мы не перелезем.

Лиз быстро взглянула на немца и на мгновение увидела молодое, симпатичное лицо — лицо мальчика, отчаянно делающего вид, будто он не трусит.

— Прощайте, — сказала Лиз.

Она освободилась от руки Лимаса и пошла вслед за ним через дорогу, потом по узкой улочке, ведущей к Стене.

Идя по улочке, они услышали шум мотора. Машина рванула с места и поехала в ту сторону, откуда они прибыли.

— Наложил полные штаны, засранец, — пробормотал Лимас, глядя через плечо на быстро удаляющуюся машину.

Лиз, казалось, не слышала его слов.

Глава 26
С холода

Они быстро пошли вперед. Лимас время от времени оглядывался, чтобы убедиться, что Лиз идет следом. В конце улицы он остановился, отошел в тень подъезда и взглянул на часы.

— Две минуты, — пробормотал он.

Лиз ничего не ответила. Она смотрела на Стену прямо перед собой и на торчащие за Стеной коричневые руины.

— Две минуты, — повторил Лимас.

Впереди была полоса земли шириной метров в тридцать. Она тянулась вдоль Стены. Примерно в семидесяти метрах справа была сторожевая вышка, луч прожектора играл на полосе. Моросил дождь, и лампы светили тускло, оставляя во мраке весь остальной мир. Никого не было видно, ниоткуда не доносилось ни единого звука. Просто пустая сцена.

Прожектор с вышки начал двигаться по Стене к ним навстречу, медленно и словно бы неуверенно; каждый раз, когда он застывал на месте, им были видны отдельные кирпичи и кривые

полосы в спешке положенного известкового раствора. И вот луч замер прямо перед ними. Лимас поглядел на часы.

— Ты готова? — спросил он.

Лиз кивнула.

Взяв ее за руку, он размеренным шагом двинулся к Стене. Лиз хотела было пуститься бегом, но он держал ее так крепко, что у нее ничего не вышло. Они были уже на полпути к Стене. Они шли в ярком полукруге света, как бы подталкивающего их вперед, луч светил прямо у них над головами. Лимас старался держать Лиз как можно ближе к себе, словно боялся, что Мундт нарушит обещание и в последний момент каким-то образом похитит ее у него.

Они почти дошли до Стены, когда луч скользнул в сторону, мгновенно оставив их в полной темноте. По-прежнему держа Лиз за руку, Лимас вслепую пошел вперед, шаря перед собой левой рукой, пока не ощутил ладонью грубое прикосновение шершавого кирпича. Теперь он уже мог различить очертания Стены а наверху — тройной ряд колючей проволоки и крепкие крючья, на которых она держалась. В Стену были вбиты железные скобы вроде тех, которыми пользуются при восхождении альпинисты. Добравшись

до верхней скобы, Лимас быстро подтянулся на руках и очутился на Стене. Он рванул на себя нижний ряд проволоки — она действительно была разрезана.

— Давай, — быстро прошептал он. — Давай, забирайся.

Лежа на Стене, он опустил руку вниз, ухватил Лиз за запястье и, как только она встала на скобу, начал медленно подтягивать ее к себе.

И вдруг весь мир точно окунулся в пламя; повсюду — и сверху, и сбоку — зажглись мощные огни, они вспыхивали над головой с безжалостной неумолимостью.

Лимаса ослепило, он отвернулся и дико вцепился в руку Лиз. Сейчас ее ноги уже ни во что не упирались, Лимас решил, что она оступилась, и стал окликать ее, продолжая подтягивать к себе. Он ничего не видел — только безумные сполохи света, плясавшие перед глазами.

Затем послышался истерический вой сирен и резкие выкрики команд. Стоя на коленях у края стены, он держал Лиз за обе руки и медленно, дюйм за дюймом, подтягивал наверх, сам на волосок от того, чтобы рухнуть вниз.

И тут они начали стрелять: одиночные выстрелы, три или четыре. Он почувствовал, как

дернулось ее тело. Ее тонкие руки выскользнули из его ладоней. Он услышал, как кто-то закричал по-английски с западной стороны Стены:

— Прыгай, Алек! Прыгай!

Теперь уже кричали все разом: по-английски, по-французски и по-немецки. Лимас услышал где-то рядом голос Смайли:

— Девушка, где девушка?

Прикрыв рукой глаза, он посмотрел вниз и увидел Лиз, неподвижно лежащую у подножия Стены. Секунду-другую он помедлил, а потом неторопливо соскользнул вниз по тем же скобам и очутился возле нее. Она была мертва. Лицо было повернуто в сторону, черные волосы разметались по щеке, словно бы для того, чтобы защитить ее от дождя.

Они, казалось, некоторое время колебались, прежде чем снова начать стрелять: кто-то уже отдал приказ, а они все равно не стреляли. Наконец они выстрелили в него два или три раза. Он стоял, озираясь по сторонам, как ослепленный светом бык на цирковой арене. Падая, он успел увидеть маленькую легковушку, зажатую между огромными грузовиками, и детей, весело машущих ему из окна.

ВОЙНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ВОЙНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

РОМАН



Я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли в игру.

Л. Кэррол. Алиса в Зазеркалье

«Непосредственно перед сеансом связи не рекомендуется брать в руки и переносить тяжеловесные предметы — сундуки, чемоданы и т. п., — так как мышцы предплечья, кисть и пальцы теряют чувствительность, необходимую для четкой работы с ключом Морзе».

Ф. Тэйт. Полный курс «Морзе» Изд-во «Питмэн»

Джеймсу Кеннавею посвящается

Предисловие

Люди, клубы, учреждения и разведывательные организации, описанные в моих книгах, не существуют и, насколько мне известно, не существовали никогда. Я хочу это подчеркнуть.

Я должен поблагодарить Общество радиолюбителей Великобритании и мистера Р. Е. Молланда, редакторов и сотрудников журнала «Эвиэйшн Уик энд Спэйс Текнолоджи» и мистера Рональда Коулса за ценные технические консультации; я также благодарен моему секретарю мисс Элизабет Толлингтон.

Но более всех я обязан моей жене за неутомимое сотрудничество.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ Агиос Николаос, Крит Май 1964 г.

Часть первая
МИССИЯ ЭЙВЕРЛИ

Здесь лежит дурак, который пытался
обдурить Восток.
Р. Киплинг

Глава 1

Летное поле было покрыто снегом.

Нанесло его с севера, надуло в тумане ночным ветром, пахнущим морем. Здесь ему и лежать всю зиму, невозмутимо, колючей леденистой пылью припорошив серую землю, не примерзая к ней и не тая, как будто нет других времен года. Перемежающийся туман наплывал, как дым войны, проглатывал ангар, радарную кабину, аэродромные машины, потом обнажал, смыв краски, то одно, то другое — их черные, помертвевшие остовы торчали на белом пустыре.

Вид без перспективы, впадин и теней. Небо и земля сливались; силуэты людей и зданий оцепенели от холода, будто смерзлись под слоем льда.

По ту сторону летного пола не было ничего

— ни дома, ни пригорка, ни дороги, не было даже забора или дерева; только небо, придавившее дюны, и бегущие мглистые облака над грязным балтийским берегом. Где-то сзади были горы.

Ребятишки в школьных бескозырках столпились у обзорного окна, оживленно болтая по-немецки. На некоторых были лыжные костюмы. Тэйлор глядел мимо них со скучающим видом и, так и не сняв перчаток, держал в руках стакан. Один ид мальчиков обернулся и уставился на него, потом покраснел и что-то шепнул другим. Они все примолкли.

Резким движением руки как бы описав полукруг, он выпростал запястье из рукава и взглянул на часы — это было в его стиле, ему хотелось, чтобы по жесту в нем узнавали военного человека, и не просто, а из приличного полка, члена приличного клуба, человека, который понюхал пороху.

Без десяти четыре. Самолет запаздывает уже на час. Сейчас должны объявить — почему. Всякое могут сказать — туман, или просто — задержан вылет. Скорее всего, сами не знают и уж точно не. объявят, что он на двести миль отклонился от курса и сейчас находится где-то южнее Ростока. Тэйлор допил стакан и огляделся, не зная, куда поставить. У него мелькнула мысль, что иные

крепкие напитки хорошо пить там, где их делают. И в критической ситуации, когда нужно убить пару часов, а за окном десять градусов ниже нуля, стаканчик «Штайнхегера» — не самый худший вариант. По возвращении он постарается, чтобы несколько ящиков выписали для клуба «Алиби». Все с ума сойдут.

Громкоговоритель тихо гудел, но вдруг рявкнул, потом замолк и заговорил снова, теперь отрегулированный. Дети уставились на него выжидательно. Объявляли вначале по-фински, потом по-шведски, наконец по-английски. Северные авиалинии сожалели о задержке рейса 290 из Дюссельдорфа. Ни намека, на сколько и почему. Скорее всего, и сами не знали.

А Тэйлор знал. Что будет, подумал он, если он сейчас неторопливой походкой подойдет к развязной девице в стеклянной кабине и скажет: 290-й прибудет не скоро, милочка, его сдуло с курса северным штормовым ветром и несет теперь с Балтики в сторону Хейде. Девушка, ясное дело, его слушать не станет, решит, что он чокнутый. Потом она кое-что узнает и только тогда поймет, что он совсем не простой, очень не простой человек.

Понемногу темнело. Земля теперь стала светлее неба; расчищенные взлетно-посадочные полосы

на фоне снега напоминали канавы, усеянные янтарными пятнами посадочных, огней. Свет неоновых ламп с ближних ангаров проливал унылую бледность на лица и самолеты; на секунду картина оживилась: короткой вспышкой пробежал луч контрольной вышки. Из боксов слева выехала пожарная машина и встала рядом с тремя «скорыми» вблизи от центральной полосы. Одновременно на всех машинах завертелись синие маячки; автомобили стояли в один ряд, настойчиво мигая. Дети указывали на них пальцами и возбужденно переговаривались.

Из громкоговорителя вновь раздался голос девушки, хотя после предыдущего объявления прошло всего несколько минут. Дети опять умолкли и прислушались. Рейс 290 задерживается по меньшей мере еще на час. Дополнительно сообщат, как только поступит информация. Что-то среднее между удивлением и тревогой, прозвучавшее в голосе девушки, передалось полудюжине людей, которые сидели в противоположном конце зала ожидания. Пожилая женщина что-то сказала мужу, встала, взяла сумку и подошла к детям. Некоторое время она в какой-то растерянности вглядывалась в сумерки. Не найдя за окном утешения, она повернулась к Тэйлору и спросила

по-английски: «Что случилось с самолетом из Дюссельдорфа?» В ее голосе звучала гортанная интонация возмущенной голландки. Тэйлор пожал плечами. «Наверное, снег»», — сказал он. Он говорил отрывисто: это, как ему казалось, соответствовало его облику военного.

Толкнув вертящуюся дверь, Тэйлор спустился в зал прилета. У главного входа он узнал желтую эмблему Северных авиалиний. За столом сидела девушка, очень хорошенькая.

— Что происходит с дюссельдорфским рейсом? — У него были доверительная манера говорить; считалось, что он был специалистом по молоденьким девушкам.

Она улыбнулась и пожала плечами:

— Вы же видите, снег. У нас часто бывают задержки осенью.

— А нельзя спросить у шефа? — предложил он, кивнув на стоящий перед ней телефон.

— По громкоговорителю сообщат, — сказала она, — как только узнают.

— А кто штурман, милочка?

— Как вы сказали?

— Ну, штурман, командир?

— Капитан Лансен.

— Как он вообще, справляется?

Девушка была шокирована.

— Капитан Лансен очень опытный пилот.

Тэйлор окинул ее оценивающим взглядом, усмехнулся и сказал:

— Как бы то ни было, милочка, а пилот он очень везучий.

Считалось, что старина Тэйлор кое в чем разбирается. Во всяком случае, так говорили в клубе «Алиби» каждую пятницу, вечером.

Лансен. Странно было вот так запросто услышать это имя. В конторе оно никогда не произносилось. Говорили иносказательно, употребляли клички, все что угодно, только не настоящее имя: наш сизокрылый, летучий друг, наш северный друг, паренек-фотограф; в разговоре иной раз проскакивало сочетание букв и цифр, которыми он обозначался в документах, — но никогда, ни при каких обстоятельствах не называли его настоящего имени.

Лансен. Леклерк показал его фотографию еще в Лондоне: приятной наружности тридцатипятилетний блондин с живой улыбкой. Девушки, что работают в аэропорту, должны по нему сходить с ума. Все они такие, хочешь не хочешь, легкая добыча для летчика. Но здесь был замкнутый круг, со стороны никто не допускался.

Тэйлор торопливо ощупал карман плаща — просто удостоверился, что конверт на месте. Никогда прежде он не носил с собой таких денег. Пять тысяч долларов за один полет, тысяча семьсот фунтов за то, чтобы сбиться с дороги над Балтийским морем, и налогов с них не надо платить. И все-таки не каждый же день Лансену приходилось это делать. Это был особый случай, сказал Леклерк. А что, если сейчас наклониться над стойкой и сказать девушке, кто он на самом деле, и деньги в конверте показать? Такой у него никогда не было — первоклассной девушки, высокой и молодой.

Он опять поднялся в бар. Бармен уже стал его узнавать. Тэйлор указал на бутылку «Штайнхегера» на средней полке и сказал:

— Дайте мне еще одну такую, пожалуйста. Вон ту, прямо сзади вас, вашу местную отраву.

— Ее немцы делают, — сказал бармен.

Тэйлор открыл бумажник и вынул купюру. В прозрачном кармашке была фотокарточка девочки лет девяти, в очках, с куклой в руках.

— Дочка, — объяснил он бармену, и тот натянуто улыбнулся.

Голос у него в разных случаях звучал по-разному, как у путешествующего коммерсанта. Он

неестественно растягивал слова, когда разговаривал с людьми своего круга, чтобы казаться значительнее, или когда нервничал, как сейчас.

Признаться, было страшно. Ситуация жутковатая, в его-то годы. Вот так вдруг, после привычной работы курьером, на тебе — оперативное задание. Это работа для всякой сволочи из Цирка, а вовсе не для его конторы. Совсем иначе он привык зарабатывать свой кусок хлеба, начиная с самого младшего чина, в каком был когда-то. А теперь сиди на краю света, у чертовой бабушки. Кому могло прийти в голову построить аэропорт в таком Богом забытом месте? Вообще-то заграничные поездки ему нравились, как правило: в Гамбурге он заходил иногда к старому Джимми Гортону, например, или в Мадриде можно было поразвлечься. Ему было приятно уезжать на время от Джоани. И в Турции он пару раз побывал, хотя азиатов не любил. И даже те поездки были несравненно лучше: билет первого класса, вещи на соседнем сиденье, в кармане спецпропуск НАТО — у человека был статус при такой работе, не хуже, чем у дипломатов, или почти как у них. Но сейчас все было иначе, и это ему не нравилось.

Леклерк сказал — это очень серьезное дело, и

Тэйлор поверил ему. Ему сделали паспорт на другое имя. Малхербе. Произносится — Малаби, так ему сказали. Только Бог знает, откуда взялось это имя. Тэйлор даже не знал, как его правильно написать: когда утром расписывался в гостиничной книге, перепачкал всю страницу. Фантастические командировочные, конечно: пятнадцать фунтов в день на оперативные расходы, без всяких отчетных бумажек. Говорят, что Цирк платит семнадцать. Кое-что можно, пожалуй, сэкономить — на какой-нибудь подарочек для Джоани. Но ей, наверное, наличные приятней.

Ей он, конечно, сказал: не должен был, но Леклерк с Джоани не были знакомы. Он взял сигарету, затянулся, зажав ее в кулаке, как часовой на посту. Как же так — взять и махнуть в Скандинавию и жене ничего не сказать?

Интересно, что эти ребятишки там рассматривают, прилепившись к окну. Диву даешься, как они освоили иностранный язык. Опять взглянул на часы, почти не обращая внимания на время, и потрогал конверт в кармане. Лучше больше не пить, голова должна быть ясной. Он попытался представить себе, что сейчас делает Джоани. Наверное, присела отдохнуть и потягивает джин с чем-нибудь. Шутка ли, весь день пришлось

проработать.

Вдруг он почувствовал, что стало очень тихо. Бармен замер, прислушиваясь. Пожилые люди за столом тоже прислушивались к чему-то, тупо уставившись в окно. Затем он услышал явственный гул самолета, еще далекий, но приближающийся к аэропорту. Он быстро пошел к окну, но еще не успел дойти, как услышал по радио немецкую речь; после первых же слов дети, как стайка голубей, перепорхнули в зал ожидания. Люди за столом встали, женщины достали из сумочек перчатки, мужчины потянулись за своими пальто и саквояжами. Наконец было сделано объявление по-английски. Лансен заходил на посадку.

Тэйлор устремил взгляд в темноту. Ни намека на самолет. Он ждал, беспокойство росло. Прямо край света, думал он, здесь кончается наш поганый мир. А если Лансен разобьется? Если найдут фотокамеры? Эх, был бы на его, Тэйлора, месте кто-нибудь другой! Вудфорд, почему Вудфорд не занялся этим, и могли ведь послать Эйвери, отличника колледжа? Ветер крепчал, Тэйлор готов был поклясться, что ветер стал гораздо сильнее: это было видно по тому, как он закручивал и швырял снег на взлетно-посадочную

полосу, как раскачивал посадочные фонари, как на горизонте взметал белые колонны и яростно крушил их, испытывая ненависть к своему творению. Порыв ветра вдруг ударил в окно, заставив Тэйлора отшатнуться, по стеклу забарабанили мелкие льдышки, и коротко проворчала что-то деревянная рама. Он опять взглянул на часы, это уже стало привычкой: делается как-то легче, когда знаешь время.

Нет, в таких условиях Лансену не сесть ни за что.

Сердце замерло. Сирена, вначале тихая, стремительно превращалась в вой: четыре гудка завывали над затерянным летным полем, как голодные звери. Пожар… Значит, на самолете пожар. Он горят в будет пытаться сесть… Он нервно обернулся: может, кто-нибудь объяснит, что случилось.

Бармен стоял рядом, протирая бокал, и смотрел в окно.

— Что происходит? — вскрикнул Тэйлор. — Почему орут сирены?

— Всегда в плохую погоду включают сирены, — ответил тот. — Это правило.

— Почему ему разрешают приземлиться? — настаивал Тэйлор. — Почему не отправить его

южнее? Здесь так мало места; отчего не полететь ему туда, где аэродром побольше?

Бармен безразлично покачал головой.

— Не так у нас плохо, — сказал он, указывая на летное поле. — Кроме того, он сильно опоздал. Может, у него нет горючего.

Они увидели самолет низко над землей, его мигающие огни над сигнальными фонарями аэродрома; свет фар побежал по посадочной полосе. Сел, благополучно сел, и они услышали рев моторов, когда он начал заруливать к месту высадки пассажиров.

* * *

Бар опустел. Тэйлор остался один. Заказал выпить. Он знал свою задачу: сиди в баре, сказал Леклерк, Лансен придет в бар. Не сразу: нужно разобраться с летными документами, вынуть пленку из фотокамеры. Снизу слышалось детское пение и какая-то женщина запевала. Какого черта он должен сидеть среди женщин и детей? Разве это не мужская работа — особенно если в кармане фальшивый паспорт и пять тысяч долларов?

— Сегодня больше самолетов не будет, — сказал бармен. — Все полеты сейчас отменены.

Тэйлор кивнул:

— Знаю. Ужас, что делается на улице, ужас.

Бармен убирал бутылки.

— Опасности не было, — добавил он успокоительным тоном. — Капитан Лансен — очень хороший пилот. — Он колебался, не зная, убрать или оставить бутылки «Штайнхегера».

— Конечно, бояться было нечего, — огрызнулся Тэйлор. — Разве кто говорил об опасности?

— Еще налить? — спросил бармен.

— Нет, но налейте себе. Вы должны выпить.

Бармен неохотно наполнил себе стакан и убрал бутылку.

— И все-таки, как им это удается? — спросил Тэйлор примирительным тоном. — В такую погоду ничего не видно, ни черта. — Он задумчиво улыбнулся. — Сидите вы, значит, в кабине пилота, и совершенно безразлично, открыты у вас глаза или закрыты, толку от них нет. Я видел это однажды, — добавил Тэйлор, его руки с чуть согнутыми пальцами лежали на стойке, будто на рычагах управления. — Я знаю, о чем говорю… и если что-то не так, первым гибнет пилот. — Он покачал головой. — Они выдерживают, — твердо сказал он. — Они имеют право на каждый пенс своего заработка. Особенно в воздушном змее таких размеров. Все его части держатся на нитке,

самой обычной нитке.

Бармен едва заметно кивнул, допил свой стакан, вымыл, вытер и поставил на полку под стойкой. Расстегнул свой белый пиджак.

Тэйлор не шелохнулся.

— Ладно, — сказал бармен, хмуро улыбаясь, — теперь нам пора домой.

— Кому это нам? — спросил Тэйлор, широко раскрыв глаза и откинув назад голову. — Кому, собственно? — Теперь все равно, на ком сорвать напряжение: Лансен приземлился.

— Я должен закрывать бар.

— Конечно, пора домой. Выпьем только еще. Можете идти домой, если хотите. Я-то, к несчастью, живу в Лондоне. — Его голос звучат вызывающе, в чем-то игриво, но все более злобно. — И раз ваши авиакомпании не могут доставить меня в Лондон, и вообще никуда до утра, посылать меня туда — не самое умное с вашей стороны, или я не прав, дружище? — Он все еще улыбался, но улыбка была злой и судорожной, как у нервного человека, когда он выходит из себя. — И в следующий раз, когда случится принять от меня угощение, старина, я советую быть повежливее…

Открылась дверь, и вошел Лансен.

* * *

Все произошло не так, как предполагалось, вовсе не так, как ему говорили. Оставайтесь в баре, сказал Леклерк, сядьте за столиком в углу, выпейте, шляпу и плащ положите на другой стул, как будто вы кого ждете. Лансен, как прилетит, всегда приходит выпить пива. Ему нравится бар в аэропорту, это в его вкусе. Кругом будет копошиться народ, сказал Леклерк. Местечко небольшое, но там всегда идет какая-то жизнь, в таких аэропортах. Он оглядится, где бы ему присесть, — вполне открыто, не стесняясь, — затем подойдет к вам и спросит, не занят ли другой стул. Вы скажете, что ждали приятеля, но приятель не пришел; Лансен спросит, может ли он, сесть с вами. Он попросит пива, потом скажет: «Приятель или приятельница?» Вы скажете ему, что нужно быть тактичным, вы оба немного посмеетесь и начнете говорить. Задайте два вопроса: о высоте и скорости. Исследовательский отдел должен знать высоту и скорость. Деньги оставьте в кармане плаща. Он подойдет к вашему плащу, повесит свой рядом и сам незаметно, без суеты, возьмет конверт и бросит пленку в карман вашего плаща. Вы допьете, пожмете друг другу руки, и дело в

шляпе. Утром полетите домой. В устах Леклерка все звучало так просто.

Большими шагами Лансен прошел через пустую комнату прямо к ним — высокая, сильная фигура в синем макинтоше и кепке. Коротко взглянул на Тэйлора и поверх его головы сказал бармену:

— Йенс, дай мне пива.

Повернувшись к Тэйлору, спросил:

— А вы что пьете?

Тэйлор слабо улыбнулся:

— Что-то местное.

— Налей ему, чего он хочет. Двойную порцию.

Бармен быстро застегнул пиджак, отпер шкаф и налил большую порцию «Штайнхегера». Лансену он подал пиво из холодильника.

— Вы от Леклерка? — коротко спросил Лансен. Кто угодно мог услышать.

— Да. — И с большим опозданием смиренно добавил:

— От Леклерка и компании в Лондоне. — Лансен взял свое пиво и отнес на ближайший столик. У него тряслась рука. Они сели.

— Тогда вы мне скажете, — сказал он с яростью, — какой идиот давал мне инструкции?

— Я не знаю, — смутился Тэйлор. — Я даже не

знаю, какие у вас были инструкции. Это не моя вина. Меня послали забрать пленку, вот и все. Это даже не моя работа. Я не занимаюсь подобными делами, я только курьер.

Лансен наклонился над столом, его рука легла на локоть Тэйлора. Тэйлор почувствовал, что он дрожит.

— Я тоже не занимался подобными делами. До вчерашнего дня. На борту были дети. Двадцать пять немецких школьников — у них зимние каникулы. Целая куча детишек.

— Да. — Тэйлор с усилием улыбнулся. — Да, в зале ожидания собрался комитет по встречам.

Лансен взорвался:

— Что мы ищем, вот чего я не пойму. Чем так интересен Росток?

— Я ведь сказал, что не имею к этому отношения. — И непоследовательно прибавил:

— Не Росток, сказал Леклерк, а район южнее.

— Южный треугольник:. Калькштадт, Ланг-дорн, Волькен. Мне не нужно рассказывать про этот район.

Тэйлор озабоченно посмотрел в сторону бармена.

— По-моему, мы не должны говорить так громко, — сказал он. — Этот парень мне не нра-

вится. — Он отпил немного «Штайнхегера».

Лансен взмахнул рукой, будто отогнал от лица муху.

— Все кончено, — сказал он. — Больше я не желаю. Кончено. Одно дело — летишь себе своим курсом и фотографируешь все, что внизу; но это уже слишком, ясно? Это чересчур, будь все проклято. — Он говорил невнятно, с сильным акцентом.

— Снимки вы сделали? — спросил Тэйлор. Он должен был взять пленку и уйти.

Лансен пожал плечами, сунул руку в карман плаща, извлек оттуда цинковую капсулу для тридцатимиллиметровой пленки и, к ужасу Тэйлора, протянул ее через стол.

— Так из-за чего сыр-бор? — спросил опять Лансен. — Что они хотели найти в таком месте? Я пошел под облако, сделал круг над всем районом. Никаких атомных бомб не видел.

— Что-то важное — вот все, что мне сказали. Что-то очень серьезное. Это надо было сделать, понимаете? Над районом вроде этого просто так не полетаешь. — Тэйлор повторял сказанное кем-то другим. — Или авиалиния, зарегистрированная авиалиния, или вообще ничего. Другого пути нет.

— Послушайте. Как только я долетел до места, два МИГа сели мне на хвост. Откуда они взялись, вот бы узнать? Как только я их увидел, я ушел в облако; они за мной. Я дал сигнал, запросил пеленг. Когда вышел из облака, они опять были тут как тут. Я думал, они заставят меня спуститься, прикажут сесть. Пытался сбросить фотокамеру, но она застряла. Дети столпились у окон, махали МИГам. Некоторое время они летели рядом, потом отвалили. Летели близко, совсем вплотную. Для детей это было чертовски опасно. — Он не прикоснулся к пиву. — Какого хрена им было надо? — спросил он. — Почему они меня не посадили?

— Говорю вам, я ничего об этом не знаю. Это в принципе не моя работа. Но что бы Лондон ни искал, они знают, что делают. — Он как будто убеждал себя: ему нужно было верить в Лондон. — Они не тратят понапрасну свое время. Или ваше, дружище. Они знают, чего хотят.

Он нахмурился, чтобы показать убежденность, но Лансен, казалось, не обратил внимания.

— Они также не одобряют ненужного риска, — сказал Тэйлор. — Вы хорошо поработали, Лансен. Каждый из нас должен вносить свой вклад… рисковать. Мы асе рискуем. Я, знаете, рисковал

на войне. Вы слишком молоды, чтобы помнить войну. Это такая же работа, мы боремся за то же самое. — Вдруг он вспомнил два вопроса. — На какой высоте вы летели, когда сделали снимки?

— По-разному. Над Калькштадтом — шесть тысяч футов.

— Больше всего их интересовал Калькштадт, — сказал Тэйлор с удовлетворением. — Отлично, Лансен, отлично. А какая у вас была скорость?

— Двести… двести сорок. Что-то в этом роде. Ничего там не было, говорю вам, ничего. — Он закурил. — Теперь все кончено, — повторил Лансен. — Независимо от серьезности объекта. — Он встал. Тэйлор тоже встал, сунул правую руку в карман пальто. Вдруг в горле стало сухо: деньги, где деньги?

— Поищите в другом кармане, — посоветовал Лансен.

Тэйлор отдал ему конверт.

— Будут неприятности из-за этого? Из-за МИГов?

Лансен пожал плечами:

— Едва ли, прежде со мной такого не случалось, Один раз мне поверят; поверят, что из-за погоды. Я сошел с курса примерно на полпути. Наземное управление могло ошибиться. Это бывает при

передаче данных.

— А штурман? А остальные в экипаже? Они-то что думают?

— Это мое дело, — раздраженно сказал Лансен. — Передайте Лондону: все кончено.

Тэйлор озабоченно посмотрел на него.

— Вы просто расстроены, — сказал он, — от нервного напряжения.

— Пошел к черту, — тихо сказал Лансен. — Пошел к чертям собачьим.

Он отвернулся, положил монету на стойку и большими шагами вышел из бара, небрежно сунув в карман плаща продолговатый светло-коричневый конверт, в котором были деньги.

Почти сразу за ним вышел Тэйлор. Бармен видел, как он толкнул дверь и исчез на ступеньках, ведущих вниз. Очень неприятный человек, размышлял он; но, в сущности, ему никогда не нравились англичане.

* * *

Тэйлор решил поначалу, что не будет брать такси до гостиницы. Можно было туда дойти за десять минут и чуть-чуть сэкономить на командировочных. Дежурная по аэропорту кивнула ему, когда он проходил к главному входу. Зал

прилета был отделан деревом, с пола поднимались потоки теплого воздуха. Тэйлор шагнул наружу. Холодный ветер пронзил его сквозь одежду; незащищенное лицо быстро онемело. Он передумал и торопливо огляделся в поисках такси. Он был пьян. Вдруг поднял, что опьянел от свежего воздуха. Стоянка пустовала. Впереди на дороге, ярдах в пятидесяти, стоял старый «ситроэн» с работающим двигателем. «И печку небось включил, черт везучий», — . подумал Тэйлор и поспешил вернуться назад.

— Я хочу взять такси, — сказал он дежурной. — Вы не знаете, как это сделать? — Он очень надеялся, что выглядит еще прилично. Что за безумие столько пить. Не надо было принимать угощение от Лансена.

Она покачала головой.

— Все машины увезли детей, — сказала она. — По шестеро в каждой. Это был последний самолет сегодня. Зимой здесь мало такси. — Она улыбнулась. — Очень маленький аэропорт.

— А вон там на дороге, такая старая машина. Это не такси? — Он говорил невнятно.

Она подошла к дверям и посмотрела. У нее была отработанная, на вид естественная походка, невольно привлекающая мужское внимание.

— Я не вижу никакой машины, — сказала она.

Тэйлор смотрел в сторону.

— Там был старый «ситроэн». С включенными фарами. Наверное, уехал. Я просто спросил. — Боже, машина проехала рядом, а он не слышал.

— Все такси — «вольво», — заметила девушка. — Может, одно из них вернется, когда отвезет детей. Почему вам не пойти выпить?

— Бар закрыт, — раздраженно сказал Тэйлор. — Бармен ушел домой.

— Вы, наверно, остановились в гостинице при аэропорте?

— Да, в Регине. Вообще говоря, у меня мало времени. — Он почувствовал себя лучше. — Я жду звонка из Лондона.

Она с сомнением посмотрела на его плащ из грубой непромокаемой ткани.

— Вы могли бы пойти пешком, — предложила она. — Это десять минут, по дороге все прямо. Багаж вам могут прислать потом.

Тэйлор взглянул на часы, вновь описав полукруг рукой:

— Багаж уже в гостинице. Я приехал утром.

У уего было такое измятое, озабоченное лицо, какое можно увидеть только у эстрадного актера, притом бесконечно печальное; лицо, на кото-

ром глаза бледнее кожи и морщины сходятся у ноздрей. Вероятно, зная об этом, Тэйлор, отрастил пошленькие усики, которые не скрывали недостатков его лица, а, напротив, усугубляли их. В конечном счете его облик вызывал недоверие нt оттого, что он был мошенник, а именно потому, что не умел обманывать. К тому же у него были привычки, которые он у кого-то перенял, — например, раздражающая манера неожиданно по-солдатски выпрямлять спину, будто он увидел себя в неподобающей позе, или манера трясти локтями и коленями, что отдаленно напоминало движения лошади. Но что-то в нем выражало боль, словно он твердо держался на ногах, противостоя порывам жестокого ветра, и эта боль придавала ему достоинство.

— Если пойдете быстро, — сказала девушка, — это займет не больше десяти минут.

Тэйлор терпеть не мог ждать. Он считал, что ждать могут только несолидные люди: ждать — и если вас еще увидят — оскорбительно. Он поджал губы, тряхнул головой и, бросив раздраженно: «Доброй ночи, леди», резко шагнул в морозный воздух.

* * *

Такого неба Тэйлор никогда не видел. Бесконечное, оно опускалось к занесенным снегом полям, горизонт кое-где затягивался туманной дымкой, заморозившей скопления звезд, четким контуром выделялся желтый полумесяц. Небо страшило его, как море страшит неопытного моряка. Он ускорил свой неверный шаг, покачиваясь на ходу.

Он шел уже около пяти минут, когда позади появилась машина. Боковой дорожки для пешеходов не было. Снег поглотил шум двигателя, и он заметил перед собой только свет от фар, не отдавая себе отчета, откуда он идет. Луч света устало ложился на заснеженные поля, и какое-то время казалось, что это прожектор аэропорта. Потом тень Тэйлора на дороге стала укорачиваться, свет неожиданно стал ярче, и он понял, что это машина. Он шел по правой стороне, ловко переставляя ноги у самой кромки заледенелого края. Вопреки обыкновению, свет был ярко-желтый, из чего он заключил, что на машине противотуманные фары — как принято во Франции. Этот маленький опыт дедуктивного анализа доставил ему удовольствие, старые мозги еще были ясные.

Он не оглянулся, не посмотрел через плечо, в чем-то он бывал робок, он не хотел, чтобы показалось, что он просит подвезти. Но у него мелькнула мысль, может быть с небольшим опозданием, что на континенте обычно ездят по правой стороне, и, значит, строго говоря, он шел не по той стороне, и, может, надо перейти на другую.

Машина ударила его сзади, сломала ему позвоночник. В эту ужасную секунду Тэйлор воспроизвел классическую мученическую позу: голова и руки с силой отброшены назад, пальцы растопырены. Он не вскрикнул. Будто его тело и душа полностью слились в этой финальной сцене боли, сцене гораздо более выразительной в смерти, чем любой крик живого человека. Вполне вероятно, что водитель ничего не заметил: удар тела о машину едва ли можно было отличить от удара камня по бамперу.

Машина протащила его ярд или два, прежде чем отбросила в сторону, где он остался лежать мертвый на пустой дороге — окоченелое, сокрушенное тело на краю пустынной земли. Его фетровая шляпа лежала рядом. Внезапный порыв ветра схватил ее и потащил по сугробу. Обрывки его плаща из грубой непромокаемой ткани колыхались на ветру, тщетно пытаясь достать

до цинковой капсулы, которая тихо покатилась к обледенелой обочине, где она на секунду задержалась, чтобы опять возобновить усталое движение вниз по склону.

Часть вторая
МИССИЯ ЭЙВЕРЛИ

Есть вещи, требовать которых от белого человека не вправе никто.
Джон Бакен. М-р Стэндфаст

Глава 2

Прелюдия

Было три часа утра.

Эйвери положил трубку, разбудил Сару и сказал:

— Погиб Тэйлор. — Конечно, он не должен был ей этого говорить.

— Кто это Тэйлор?

Зануда, подумал Эйвери, он его помнил очень смутно. Ужасный зануда, какие бывают только в Англии.

— Из отделения курьеров, — сказал он. — И во время войны он у них работал. Надежный был человек.

— Ну конечно! Все у тебя надежные. Как же то-

гда он погиб? Как он погиб? — Она приподнялась и села в постели.

— Пока неясно. Леклерк ждет подробностей.

Эйвери всегда было неловко одеваться у нее на глазах.

— Он хочет, чтобы ты помог ему ждать?

— Он хочет, чтобы я пришел в офис. Я ему нужен. Неужели ты думаешь, что я сейчас опять лягу спать?

— Я только спросила, — сказала Сара. — Ты всегда так стараешься для Леклерка.

— Тэйлор работал у нас много лет. Леклерк очень встревожен.

Ему еще слышались нотки торжества в голосе Леклерка: «Приезжайте немедленно, возьмите такси; еще раз посмотрим досье».

— И часто это случается? Часто у вас погибают? — В ее голосе звучало возмущение, как будто ничего подобного она предположить не могла; как будто только ее одну ужасала смерть Тэйлора.

— Не вздумай никому рассказывать, — сказал Эйвери. Это был его метод нейтрализовать жену. — Даже то, что я вышел из дому посреди ночи. Тэйлор отправился в поездку под другим именем. — Он добавил:

— Кто-то должен будет сказать его жене, — и стал искать очки.

Она встала и накинула халат.

— О, господи, перестань разговаривать, как ковбой. Почему нельзя знать женам, если знают секретарши? Или женам у вас сообщают только о смерти мужа?» — Она пошла к двери.

Она была среднего роста, и у нее были распущенные волосы, которые не слишком гармонировали со строгостью лица. Лицо было отчасти недовольное, напряженное, озабоченное, словно она всегда ждала чего-то неприятного. Они познакомились в Оксфорде; она закончила университет с лучшим дипломом, чем он. Но брак сделал ее, некоторым образом, инфантильной; чувство зависимости стало определять ее манеру поведения, как будто она отдала ему нечто невозместимое и все время требовала вернуть. Сын для нее был не продолжением жизни, а скорее извинением перед ней, стеной, которую она поставила между собой и всем миром, и в той стене не было лазейки.

— Куда ты идешь? — спросил Эйвери. Иногда она что-нибудь делала назло — возьмет и порвет билет на концерт.

Она сказала:

— У нас ребенок, ты помнишь?

Он услыхал плач Энтони. Они, должно быть, его разбудили.

— Я позвоню с работы.

Он пошел к входной двери. А она, перед тем как войти в детскую, обернулась. Эйвери знал, о чем она думала — что они не поцеловались.

— Зря ты бросил издательское дело, — сказала она.

— Ты тогда тоже не слишком была довольна.

— Почему за тобой не пришлют машину? — спросила она. зал, у вас полно машин.

— Она ждет за углом.

— Но почему за углом?

— Так безопаснее, — ответил он.

— А чего ты боишься?

— У тебя есть какие-нибудь деньги? У меня, кажется, кончились.

— Зачем тебе?

— Ну, деньги, просто! Не могу же я бегать по городу без гроша в кармане.

Она вынула из сумочки десять шиллингов и дала ему. Быстро закрыв за собой дверь, он спустился по ступенькам на аллею Принс-оф-Уэльс.

Он миновал окно в первом этаже, из которого — он знал и не глядя-на него через занавеску

смотрела, не выпуская из рук кошки, миссис Йейтс, как она денно и нощно следила за всеми.

Было страшно холодно. Дуло как будто с реки и со стороны парка. Он глянул направо и налево. Дорога была пустой. Надо было вызвать такси по телефону, но он хотел поскорее выбраться из дому. Кроме того, он сказал Саре, что за ним пришлют машину. Он прошел ярдов сто, до электростанции, потом передумал и повернул назад. Хотелось спать. Было странное ощущение, будто и на улице он продолжал слышать телефонный звонок. Вспомнилось, что на Альберт Бридж в любой час всегда стояло такси; пожалуй, это было лучше всего. Он прошел через ворота, которые вели к его дому, поднял глаза наверх, на окно детской — оттуда выглядывала Сара. Наверное, хотела увидеть машину. Она держала Энтони на руках, и он знал, что она плачет, потому что он не поцеловал ее. Такси до Блэкфрайерз Роуд он нашел только через полчаса.

* * *

Навстречу Эйвери бежали фонари. Он был достаточно молод и принадлежал к той категории современных англичан, которым приходится искать компромисс между степенью бакалав-

ра искусств и нетвердым заработком. Он был рослый, интеллигентного вида, с рассеянным взглядом за стеклами очков, с мягкими, скромными манерами, за которые его так любили родственники преклонного возраста. Такси ласково укачивало его, как успокаивает ребенка покачивание в люльке.

Он доехал до Сент-Джордж-серкус, миновал Глазную больницу и оказался на Блэкфрайерз Роуд. Вдруг понял, что уже приехал, но водителю велел остановиться чуть подальше, на следующем углу: «Будь осторожен», — говорил Леклерк.

— Остановите здесь, — сказал он. — Мне здесь удобней.

Департамент располагался в обшарпанном, почерневшем от сажи особняке с огнетушителем на балконе. Дом будто был навечно выставлен на продажу. Никто не знал, почему в Министерстве решили окружить его, как кладбище, стеной: чтобы закрыть особняк от непрошеных взоров или — живых от взглядов мертвых? Во всяком случае, не для того, чтобы вырастить сад, потому что в нем не росло ничего, кроме травы, и та кое-где вытерлась, как шкура старой дворняги. Парадная дверь была выкрашена темно-зеленой краской, она никогда не открывалась. Того же

цвета фургоны без надписей иногда проезжали днем по запущенной аллее, но разгружались и загружались на заднем дворе. Соседи, если им в разговорах вообще случалось упоминать это место, называли его Министерским Домом, что было неточно, так как Департамент был отдельным ведомством, хотя и подчинялся Министерству. У здания был тот безошибочный вид подконтрольной обветшалости, который так характерен для государственных учреждений во всем мире. Для тех, кто работал в нем, его тайна была как таинство материнства, его выживание во времени было как одна из британских загадок. Он укрывал их и окутывал, нянчил и поддерживал в них сладостную иллюзию ухоженности.

Эйвери помнил, как фогг, бывало, льнул к штукатурке стен особняка или как иной раз летом к нему в кабинет сквозь ткань занавесок проскальзывал солнечный луч, не согревая и не раскрывая их тайн. Он будет помнить и это зимнее утро, рассвет, почерневший фасад, уличные фонари, отблескивающие в каплях дождя на покрытых сажей окнах. Во всяком случае, особняк ему вспоминался не как учреждение, где он работал, а как дом, где он жил.

Он обогнул здание по дорожке, позвонил и стал

ждать, когда Пайн откроет дверь. В окне Леклерка горел свет.

Он показал Пайну пропуск. Вероятно, оба подумали о войне: Эйвери — о том, что знал из книг, Пайн — о том, что знал по собственному опыту.

— Хороша луна. сэр, — сказал Пайн.

— Да. — Эйвери вошел в дом.

Заперев дверь, Пайн последовал за ним.

— В свое время такую луну ребята крыли самыми последними словами.

— Это точно, — рассмеялся Эйвери.

— Слыхали про матч в Мельбурне, сэр? Брэдли вышел из игры с тремя очками.

— Боже мой, — мягко сказал Эйвери. Он не любил крикет.

На потолке вестибюля горела синяя лампа, напоминавшая ночное освещение в викторианской больнице. Эйвери поднимался по лестнице, ему было холодно и неуютно. Где-то раздался звонок. Странно, что Сара не слышала телефона, когда позвонил Леклерк.

Леклерк ждал его.

— Нам нужен человек, — сказал он. Он говорил машинально, как бы на ходу. Настольная лампа освещала досье перед ним.

Это был маленький человечек, гладенький и

очень мягкий; одним словом, кот, лоснящийся и выхоленный кот. Он носил подрезанные воротнички, отдавал предпочтение одноцветным галстукам: он, видно, знал, что нехитрые привычки лучше, чем никакие. У него были темные внимательные глаза; он носил пиджаки с двойным разрезом, в рукаве держал платок; старался улыбаться, когда говорил, но улыбка получалась безрадостная. По пятницам он надевал замшевые ботинки, говорили, что он ездит за город. Но, кажется, никто не знал, где он живет. В комнате стоял полумрак.

— Другого полета не будет. Этот был последним, меня предупредили в Министерстве. Придется забросить человека. Я просматривал старые досье, Джон. Есть один, по имени Лейзер, поляк. Он подходит.

— Что случилось с Тэйлором? Кто его убил?

Эйвери подошел к дверям и включил верхний свет. Они смотрели друг на друга с неловкостью.

— Извините, я еще не проснулся, — сказал Эйвери.

Наступила пауза.

Теперь говорил Леклерк:

— Вы припозднились, Джон. Что-нибудь не в порядке дома? — Он не был прирожденным

начальником.

— Я не мог найти такси. Хотел вызвать по телефону, но никто не брал трубку. Пошел на Альберт Бридж, и там не было. — Он очень не любил досаждать Леклерку.

— Вы все можете включить в счет, — суховато сказал Леклерк, — телефонные звонки в том числе. Жена в порядке?

— Я уже сказал, она тут ни при чем. С ней все нормально.

— Она не возражала?

— Конечно, нет.

Они никогда не говорили о Саре. Леклерк спрашивал о ней изредка, только из вежливости. Он сказал:

— Она не должна скучать, у нее ведь есть сын, ваш мальчик.

— Разумеется.

Знание того, что это был мальчик, а не девочка, наполняло Леклерка гордостью.

Он взял сигарету из серебряной коробки на столе. Как-то он рассказывал Эйвери, что сигаретницу ему подарили, подарили еще во время войны. Человек, который подарил ее, умер, повод для подарка давно забыт; на крышке не было дарственной надписи. Даже сейчас, говаривал

он, у него не было полной уверенности, на чьей стороне тот человек воевал, и Эйвери смеялся, чтобы доставить ему удовольствие.

Взяв досье со стола, Леклерк держал его теперь прямо под лампой, как будто там было что-то, что ему нужно очень внимательно рассмотреть.

— Джон.

Эйвери подошел к нему, стараясь не касаться его плеча.

— Что вам говорит это лицо?

— Не знаю. Трудно судить по фотографии.

Это было лицо мальчика, круглое и ничего не выражающее, с длинными светлыми волосами, зачесанными назад.

— Лейзер. Выглядит подходяще, пожалуй. Конечно, снимок сделан двадцать лет назад, — сказал Леклерк. — Мы ему дали очень высокую оценку. — Он неохотно положил досье на стол, щелкнул зажигалкой и поднес огонь к сигарете. — Ладно, — сказал он, оживляясь, — кажется, нам придется кое-что предпринять. Понятия не имею, что произошло с Тэйлором. У нас есть официальный консульский отчет, вот и все. Сбила машина, явный несчастный случай. Несколько мелких подробностей, ничего достойного внимания. То, что сообщают ближайшим род-

ственникам. Из Форин Офис нам переслали телекс, как только получили. Там знают, что это один из наших паспортов».

Он подвинул к Тэйлору через стол листок тонкой бумаги. Ему нравилось делать так, чтобы сидящий у него что-нибудь читал. Леклерк при этом наблюдал за его лицом. Эйвери посмотрел на листок.

— Малхербе? Это имя, которое взял Тэйлор?

— Да. Придется затребовать пару машин у Министерства, — сказал Леклерк. — Очень глупо, что у нас нет своих. А у Цирка полно машин; — Он добавил:

— Может, теперь в Министерстве мне поверят. Может, в конце концов там согласятся с тем, что мы по-прежнему оперативный департамент.

— Тэйлор взял пленку? — спросил Эйвери. — Нам что-нибудь известно об этом?

У меня нет описи его личных вещей, — раздраженно ответил Леклерк. — В настоящий момент все его вещи в руках финской полиции. Возможно, и пленка в том числе. Это маленькое местечко, я думаю, там стараются держаться буквы закона. — И добавил как бы между прочим, но Эйвери понял, что это существенно:

— В Форин Офис опасаются, как бы чего не об-

наружилось.

— Боже мой, — сказал Эйвери машинально. Такие выражения были в ходу в Департаменте, старомодные и сдержанные.

Леклерк взглянул на него теперь в упор, с интересом:

— Финский дипломатический представитель в Форин Офис беседовал с замминистра полчаса назад. В Форин Офис не хотят иметь с нами ничего общего. Там говорят, что мы неофициальная организация и должны все делать собственными силами. Кто-нибудь должен поехать как ближайший родственник; этот путь они одобряют. Востребовать тело и личные вещи и привезти сюда. Я хочу, чтобы поехали вы.

Внимание Эйвери вдруг привлекли развешанные в комнате фотографии ребят, которые сражались в войну. Они висели в два ряда по шесть штук, справа и слева от модели бомбардировщика «Веллингтон», покрытой слоем пыли и выкрашенной в черный цвет, без отличительных знаков. Большая часть фотографий была сделана под открытым небом. На втором плане видны были ангары, а между молодыми улыбающимися лицами — частично замаскированные фюзеляжи самолетов.

Внизу каждой фотокарточки были подписи, уже коричневые и поблекшие, одни — плавные и энергичные, другие — ребята, видно, были в младших званиях — старательно выведенные, словно те, кто подписывались, неожиданно для себя добились известности. Вместо фамилий были прозвища из журналов для детей: Джекко, Шорти, Пип, Дакки Джо. Одинаковыми у них были только спасательные жилеты, длинные волосы и лучистые улыбки. Фотографировались явно с удовольствием, словно, когда они собирались вместе, у них был случай посмеяться, а другого такого могло и не представиться. Те, кто на переднем плане, сидели на корточках, без напряжения, как люди, привыкшие скрючиваться в танке; те, кто сзади-, беззаботно положили руки друг другу на плечи. Не было притворства, только естественная доброжелательность, которая очень редко выживает на войне и на фотографиях.

На всех снимках, от первого до последнего, присутствовало одно лицо: это был стройный мужчина с умными глазами. Он был в шерстяном пальто и вельветовых брюках. На нем не было спасательного жилета, и он стоял чуть в стороне от других, будто имел особый статус. Он был меньше ростом, чем другие, и постарше. У

него были твердые, хорошо определенные черты лица; у него была цель, которой не было у других. Возможно, он был их инструктор. Как-то Эйвери стал искать его подпись, чтобы посмотреть, изменилась ли она за эти девятнадцать лет, но Леклерк не оставил своей подписи. Он все еще был очень похож на свои фотографии; может, едва наметился второй подбородок да чуть меньше стало волос.

— Но это будет оперативная работа, — неуверенно сказал Эйвери.

— Конечно. Мы оперативный департамент, вы ведь знаете. — Он пригнул голову. — Вам полагается оперативное содержание. Все, что вы должны сделать, — это забрать вещи Тэйлора. Привезете сюда все, кроме пленки, которую передадите адресату в Хельсинки. По этому поводу получите отдельные инструкции. Когда вернетесь, поможете мне с Лейзером…

— А не мог бы заняться этим Цирк? Я хочу сказать, не проще ли им будет все сделать?

Леклерк сдержанно улыбнулся:

— Боюсь, это не подходящее решение вопроса. Это наше дело, Джон, исключительно нашей компетенции. Военный объект. Передать дело Цирку — значит уклониться от наших обязанностей.

Задачи Цирка — политические, политические, и только. — Его маленькая рука пробежала по волосам, движением коротким и точным, напряженным и отработанным. — В общем, это наш вопрос. В Министерстве пока одобряют мою позицию, — любимое выражение Леклерка. — Могу послать кого-нибудь другого, если хотите — Вудфорда или одного из тех, кто постарше. Я думал, вы будете довольны. Дело важное, как вы понимаете, что-то новое для вас.

— Конечно. Я хотел бы съездить… если вы считаете, что я справлюсь.

Леклерк был доволен. Он сунул в руку Эйвери лист голубой чертежной бумаги. Он был исписан почерком Леклерка, мальчишеским и округлым. Сверху он надписал: «Вариант» — и подчеркнул. На полях слева были его инициалы, все четыре, а ниже слова: «Без грифа секретности». Эйвери снова стал читать.

— Если будете читать внимательно, — сказал он, — вы увидите, что мы не указываем точно, что вы являетесь ближайшим родственником, мы просто даем выписку из анкеты Тэйлора. Это максимум, на что согласны в Форин Офис. Они согласились послать это в местное консульство через Хельсинки.

Эйвери читал: «Из Консульского отдела. Ваш телекс относительно Малхербе. Джон Сомертон Эйвери, паспорт Великобритании №, сводный брат скончавшегося, назван в паспортной анкете Малхербе как ближайший родственник. Эйвери извещен, предполагаемый вылет сегодня, он заберет тело и имущество. Рейс NAS-201 через Гамбург, прибытие 18.20 по местному времени. Просим предоставить соответствующие средства и оказать содействие».

— Мне не был известен номер вашего паспорта, — сказал Леклерк. — Самолет вылетает в три часа дня. Это маленькое местечко. Консул, наверно, встретит вас в аэропорту. Рейсы из Гамбурга через день. Если вам понадобится в Хельсинки, можете вернуться тем же самолетом.

— Не мог бы я быть его братом? — неуверенно спросил Эйвери. — Сводный брат звучит сомнительно..

— Уже нет времени, чтобы сделать вам другой паспорт. В Форин Офис очень не любят возиться с паспортами. У нас столько было возни из-за паспорта Тэйлора. — Он вернулся к досье. — Очень много возни. Понимаете, вам тогда придется тоже стать Малаби. Не думаю, что в Форин Офис обрадуются. — Он говорил механически, почти

рассеянно.

В комнате было очень холодно.

Эйвери сказал:

— А что наш скандинавский друг… — Леклерк смотрел на него с непонимающим видом. — Лансен? С ним не должен кто-нибудь связаться?

— Я занимаюсь этим.

Леклерк не любил, когда ему задавали вопросы, и ответы давал осторожно, будто боялся, что кто-то его слова мог повторить.

— А жена Тэйлора? — Назвать ее вдовой казалось излишним педантизмом. — А ею вы занимаетесь?

— Я думаю, утром первым делом мы зайдем к ней. У нее не берут трубку. Слишком мало можно сказать в телеграмме.

— Мы? — спросил Эйвери. — Мы должны идти оба?

— Вы ведь мой помощник?

Было слишком тихо. Эйвери хотелось слышать уличный шум и телефонные звонки. Днем вокруг были люди, топот курьеров, шум тележек с документами. Когда он оставался наедине с Леклерком, у него появлялось чувство, что они ждут кого-то еще. Никто другой не заставлял его так остро, ощущать все, что он сам говорил и

делал, ни с кем другим не было так трудно поддерживать разговор. Лучше бы Леклерк дал ему прочесть что-нибудь другое.

— Что вы знаете о жене Тэйлора? — спросил Леклерк. — Она надежный человек?

Видя, что Эйвери не понимает, он продолжал:

— Понимаете, она может поставить нас в неловкое положение. Если захочет. Придется действовать осторожно.

— Что вы скажете ей?

— Будем, как говорится, играть по слуху. Как тогда, на войне. Вы увидите, она ни о чем не догадается, даже не узнает, что он был за границей.

— Он мог ей сказать.

— Только не Тэйлор. Он работал у нас много лет. Он получал инструкции и знал порядок. Ей должны назначить пенсию, вот что очень важно. За действительную службу. — Он опять сделал резкое движение ладонью, рассекая воздух.

— А сотрудники, что вы скажете им?»

— Утром я соберу заведующих отделами. Всем остальным в Департаменте мы скажем — это был несчастный случай.

— Возможно, так и было, — высказал предположение Эйвери.

Леклерк опять улыбался; вместо улыбки — гри-

маса.

— В этом случае мы скажем правду, и у нас будет больше шансов получить пленку.

На улице по-прежнему было тихо, машин еще не было. Эйвери почувствовал, что голоден. Леклерк взглянул на часы.

— Вы смотрели донесение Гортона? — сказал Эйвери.

Леклерк покачал головой и с мечтательным видом прикоснулся к досье, как к любимому альбому пластинок:

— В нем ничего нет. Перечитал несколько раз. Остальные фотографии для меня увеличили, как только могли. Люди Холдейна занимались этим и днем и ночью. Больше ничего добиться не удается.

Сара была права: его задача — помогать ждать.

Леклерк сказал — и вдруг стало ясно, что это самое важное:

— Я договорился, что вы ненадолго встретитесь в Цирке с Джорджем Смайли, сегодня же утром, после собрания. Вы о нем слышали?

— Нет, — соврал Эйвери. Это была деликатная тема.

— В свое время он был одним из их лучших специалистов. Что, в общем, характерно для Цирка,

для их лучшей части. То он выходит в отставку, то возвращается. Слишком совестлив. Никогда не известно, работает он или нет. Многое у него уже позади. Говорят, сильно пьет. Смайли отвечает за Северную Европу. Он проинструктирует вас насчет пленки. Служба курьеров в нашей конторе расформирована, так что другого пути нет: в Форин Офис нас знать не хотят; после гибели Тэйлора я не допущу, чтобы вы расхаживали с этой штукой в кармане. Что вы знаете о Цирке? — Точно так он мог бы спросить о женщинах — подозрительный человек старше, чем он, но не имеющий опыта.

— Немного, — сказал Эйвери. — Что обычно рассказывают.

Леклерк встал и подошел к окну:

— Любопытный они народ. Есть хорошие люди, разумеется. Смайли был хорошим. Но мошенники, — вдруг вырвалось у него. — Я знаю, не годится так говорить о наших коллегах в Цирке, Джон. Но лживость — их вторая натура. Они сами не знают, когда говорят правду. — Он прилежно наклонял голову туда-сюда, стараясь разглядеть все, что двигалось внизу по просыпающейся улице. — Какая отвратительная погода. Знаете, во время войны между нашими конторами была

довольно острая конкуренция.

— Я слыхал.

— Это все позади. Я не завидую их работе. У них больше денег и больше людей, чем у нас. Они делают работу большего масштаба. Но я сомневаюсь, что они делают ее лучше, чем мы. Никто, например, не упрекнет наш исследовательский отдел. Никто.

У Эйвери вдруг возникло чувство, что Леклерк раскрыл ему что-то интимное, неудавшийся брак или недостойный поступок, и что теперь все уладилось.

— Когда вы встретитесь со Смайли, он может спросить про операцию. Я хочу, чтобы вы ему не рассказывали ничего, понимаете, за исключением того, что едете в Финляндию и, вероятно, у вас в руках окажется пленка, которую надо будет срочно переслать в Лондон. Если начнет допытываться, скажите, что, по-вашему, это учебное мероприятие. Вот все, что вам можно говорить. Всякие подробности, донесение Гортона, наши планы — это их никак не касается. Учебное мероприятие.

— Понятно. Но как ему не знать про Тэйлора, раз известно в Форин Офис?

— Это моя забота. Он также может попытаться

убедить вас в том, что у Цирка исключительное право забрасывать агентов. Но у нас такое же. Просто мы им не злоупотребляем. — Он повторил свою мысль другими словами.

Леклерк стоял спиной к Эйвери: стройный силуэт на фоне светлеющего неба за окном, человек за чертой, человек без визитной карточки, думал Эйвери.

— Мы можем разжечь камин? — спросил он и пошел по коридору к шкафу, в котором Пайн держал щетки и тряпки. Там были дрова и несколько старых газет. Он вернулся и присел перед камином, разгребая угольев и ссыпая пепел через решетку, как бы он делал в своей квартире на Рождество. — Не знаю, так ли уж разумно, что они встретились в аэропорту? — спросил он.

— Дело было срочное. После донесения Джимми Гортона очень срочное. И сейчас тоже. Мы не должны терять ни секунды.

Эйвери поднес спичку к газете и смотрел, как она загорелась. Как только занялись дрова, дым нежно коснулся его лица, и глаза за очками стали слезиться.

— Откуда им знать, куда летел Лансен?

— Полет был по расписанию. Разрешение на посадку он получил заранее.

Подбросив угля в огонь, Эйвери встал и ополоснул руки в раковине в углу, потом вытер платком.

— Я давно прошу Пайна выдать мне полотенце, — сказал Леклерк. — Работы у них маловато, вот что хуже всего.

— Ладно, ничего. — Эйвери сложил мокрый платок в карман. В кармане стало мокро и холодно. — Может, теперь работы у них прибавится, — заметил он без иронии.

— Я думал поговорить с Пайном, чтобы он постелил мне здесь. Тогда здесь было бы нечто вроде штабного кабинета. — Леклерк говорил осторожно, словно боялся, что Эйвери испортит ему удовольствие. — Вечером сможете позвонить мне сюда из Финляндии. Если пленка будет у вас, скажете просто «дело сделано».

— А если нет?

— Скажете «дело не сделано».

— Это звучит почти одинаково, — возразил Эйвери. — Особенно если будет шуметь в трубке — что «сделано», что «не сделано».

— Тогда скажете «они не заинтересованы». Скажете что-нибудь отрицательное. Вы понимаете, что я имею в виду».

Эйвери поднял пустой ящик для угля:

— Отнесу Пайну.

Он пошел через дежурную комнату. За уставленным телефонами столом дремал клерк в форме ВВС. По деревянной лестнице он спустился к входной двери.

— Босс просит немного угля, Пайн.

Швейцар встал, как всегда, когда с ним разговаривали, и стоял навытяжку словно у своей койки в казарме.

— Виноват, сэр. Не могу оставить дверь.

— Боже мой, я пригляжу за дверью. Мы наверху замерзаем.

Пайн взял ящик для угля, застегнул мундир и скрылся внизу. В последнее время он не насвистывал.

— Надо постелить ему в кабинете, — прибавил Эйвери, когда вернулся Пайн. — Может быть, скажете дежурному, когда проснется. Ах да, и полотенце. У Леклерка должно быть полотенце возле умывальника.

— Да, сэр. Как приятно видеть наш старый Департамент опять на марше.

— Где здесь рядом можно позавтракать? Есть что-нибудь поблизости?

— Кадена, — с сомнением ответил Пайн, — но боюсь, это не для босса, сэр. — Он ухмыльнул-

ся. — В старое время у нас была столовая. Сосиски с хлебом.

Было без четверти семь.

— Когда открывается «Кадена»?

— Не знаю, сэр.

— Скажите, вы вообще знаете мистера Тэйлора? — Он чуть не сказал «знали».

— Разумеется, сэр.

— А жену его видели когда-нибудь?

— Нет, сэр.

— На кого она похожа? Не представляете себе? Не слышали чего-нибудь?

— Не знаю, что вам сказать, сэр. Весьма прискорбное дело, да, сэр.

Эйвери смотрел на него с большим удивлением. Наверно, Леклерк сказал, подумал он, и пошел наверх. Рано или поздно придется позвонить Саре.

Глава 3

Решили где-нибудь позавтракать. Леклерк не захотел идти в «Кадену», и они очень долго куда-то шли, прежде чем им встретилось другое кафе, хуже «Кадены» и более дорогое.

— Я не помню его, — сказал Леклерк. — Как странно. Он опытный радист, это точно. Или был

в то время.

Эйвери думал, что он говорит о Тэйлоре.

— Сколько, вы сказали, ему лет?

— Сорок, можете чуть больше. Хороший возраст. Данцигский поляк. Естественно, говорит по-немецки. Не такой сумасшедший, как вообще славяне. После войны какое-то время валял дурака, потом взял себя в руки и купил гараж. Должно быть, неплохо зарабатывает.

— Ну, раз так, зачем ему…

— Чепуха. Еще скажет спасибо, должен, во всяком случае.

Леклерк заплатил и счет положил в карман. Когда они выходили из кафе, он что-то сказал о заработке и счете, который представит в бухгалтерию.

— Вы можете требовать дополнительную оплату за ночную работу. Или за время на объекте.

Они шли по дороге в обратную сторону.

— Билет на самолет вам забронирован. Кэрол заказала по телефону из своей квартиры. Пожалуй, мы выдадим вам аванс на расходы. Надо будет переправлять тело, всякое такое. По-моему, денег может уйти немало. Лучше отправьте его самолетом. Вскрытие произведем уже здесь, без огласки.

— Я еще никогда не видел покойника, — сказал Эйвери.

Они стояли на углу, в районе Кеннингтон, и пытались поймать такси; с одной стороны дороги газовый завод, с другой — пустырь: в таком месте можно было простоять весь день.

— Джон, постарайтесь ни с кем не говорить по второму вопросу, о том, что мы хотим кого-то забросить. Никто не должен знать, даже в Департаменте, ни один человек. Я думаю, будем называть его Мотыль. Я о Лейзере. Пусть он будет Мотыль.

— Хорошо.

— Тут дело тонкое; надо правильно выбрать время. Явно кое-кто будет против, и в самом Департаменте, и в других местах.

— А что насчет моей легенды, всякие такие вещи? — спросил Эйвери. — Я не вполне…

Мимо не останавливаясь проехало пустое такси.

— Сукин сын, — рявкнул Леклерк. — Почему не остановился?

— Он, видно, живет здесь рядом. Едет в Вест Энд. Так насчет легенды, — напомнил Эйвери.

— Вы поедете под вашим собственным именем. Не вижу в этом ничего особенного. Можете

использовать ваш домашний адрес. Назовитесь издателем. В конце концов, вы были им когда-то. Консул объяснит вам, что и как делать. О чем вы беспокоитесь?

— Ну, просто о деталях.

Выйдя из задумчивости, Леклерк улыбнулся.

— Я скажу вам кое-что о легенде, это вам следует знать. Никогда без надобности ничего не рассказывайте. Никто от вас не ждет, что вы начнете распространяться о себе. Что, в конце концов, вы можете рассказать? Условия все подготовлены, консул получит наш телекс. Покажите паспорт и дальше, как говорится, играйте по слуху.

— Постараюсь, — сказал Эйвери.

— Вы справитесь, — с чувством сказал Леклерк, и они оба неуверенно ухмыльнулись.

— А сколько до города? — спросил Эйвери. — От аэропорта?

— Около трех миль. Он обслуживает главные лыжные курорты. Только Бог знает, что консул делает целыми днями.

— А до Хельсинки?

— Я уже сказал. Сто миль. Или больше.

Эйвери предложил поехать автобусом, но Леклерк не хотел стоять в очереди, и они продолжали ждать на углу. Он снова заговорил о

государственных машинах.

— Ужасная нелепость, — сказал он. — В прежнее время у нас был целый автопарк, а теперь только два фургона, и Министерство финансов не разрешает платить водителям сверхурочные. Как в таких условиях я могу управлять Департаментом?

В конце концов они пошли пешком. Адрес Леклерк держал в голове: он считал, что подобные вещи надо запоминать. Эйвери было неловко шагать рядом, потому что ростом он был выше Леклерка, а тот пытался приспособить свой шаг к его. Эйвери старался идти медленнее, но иногда забывал, и тогда Леклерк, приноравливаясь к его шагу, нелепо выбрасывал ноги, подпрыгивая на каждом шагу. Все еще было очень холодно. Временами Эйвери чувствовал к Леклерку глубокую покровительственную любовь. У Леклерка было необъяснимое свойство вызывать чувство вины, будто тот, с кем он общался, не сумел стать для него в должной мере покровителем или другом. Как если бы существовал кто-то в прошлом, но ушел навсегда; может, весь мир или поколение; кто-то выпестовал его, а потом от него отказался; и, хотя иной раз Эйвери ненавидел его за то, что тот манипулировал им, хотя ему претили

его отработанные жесты, как претят ребенку выражения родительской любви, в следующий момент он готов был ринуться на его защиту, полный чувства ответственности и глубокой заботы. Оставляя в стороне тонкости их отношений, он был, в сущности, благодарен Леклерку за. то, что тот вынянчил его; и вот так они построили ту сильную любовь, какая бывает только между слабыми людьми; каждый из них стал сценой, на которой другой оценивал свои поступки.

— Было бы неплохо, — вдруг сказал Леклерк, — если бы вы тоже приняли участие во всем этом, когда появится Мотыль.

— С удовольствием.

— Когда вернетесь.

Адрес нашли по карте. Роксбург Гарденс, 34, — сбоку от Кеннингтонского шоссе. Дорога вскоре стала грязнее, дома — гуще населенными. Газовые фонари светили желтыми плоскими кругами, они были как бумажные луны.

— Во время войны нам для штаба дали общежитие.

— Может, опять дадут, — предположил Эйвери.

— С прошлого раза, когда мне пришлось делать то же самое, прошло двадцать лет.

— Вы один тогда пошли? — спросил Эйвери и тут же почувствовал неловкость. Леклерк был очень раним.

— В то время было проще. Мы могли сказать, что они умирали за родину. Мы не должны были сообщать подробности; никто не ждал от нас этого.

«Мы, значит…» — подумал Эйвери. Верно, кто-нибудь из тех парней, одно из тех улыбающихся лиц, что висят на стене.

— Каждый день кто-нибудь из летчиков погибал. Мы делали разведывательные полеты, как вы знаете, ну, и особые операции… Иногда бывает стыдно: не могу даже вспомнить имен. Они были так молоды, некоторые.

Перед мысленным взором Эйвери пробежала печальная вереница страдальческих лиц; матери и отцы, девушки и жены, он попытался разглядеть Леклерка среди них, простоватого, но твердо стоящего на ногах, как выглядит политический деятель на фоне катастрофы.

Они стояли на возвышенности, с которой открывался довольно удручающий вид. Дорога спускалась вниз и вела к ряду унылых безглазых домишек; над ними поднимался единственный многоквартирный дом — Роксбург Гарденс. Ряд

освещенных окон восходил к самой черепичной крыше с застекленными окнами мансард, которые делили все нагромождение на части. Это было большое здание, и очень уродливое для домов такого типа, открывавшего новую эпоху. У его подножия ютились черные обломки старины: обветшалые обшарпанные дома. Печальные лица людей двигались сквозь дождь, как сплавной лес в забытой бухте.

Леклерк сжал свои слабенькие кулачки; он стоял очень тихо.

— Там? — спросил Эйвери. — Там жил Тэйлор?

— А что такого? Это только часть общего плана новостроек…

Потом Эйвери понял: Леклерку было стыдно. Тэйлор некрасиво обманул его. Не это общество они защищали, не эти трущобы с их Вавилонской башней: в жизненной схеме Леклерка для них не было места. Только подумать, что человек, работающий в штате у Леклерка, каждый день выбирался из этой вонючей дыры и отправлялся в святилище Департамента: что, у него денег не было, пенсии? Что, не было у него ничего отложено, как у всех у нас, ну, просто сотня-другая, чтобы выкупить себя из этого убожества?

— Не хуже, чем Блэкфрайерз Роуд, — невольно

сказал Эйвери в утешение Леклерку.

— Всем известно, что прежде мы сидели на Бейкер-стрит, — возразил Леклерк.

Они быстро прошли к большому дому мимо витрин, забитых подержанной одеждой, ржавыми электрокаминами, всем тем печальным, беспорядочным набором бесполезных вещей, которые покупают только бедные. Там была свечная лавка; свечи были желтые, как могильные кости.

— Какой номер? — спросил Леклерк.

— Вы сказали, тридцать четвертый.

Они прошли между тяжелыми колоннами с грубой мозаичной отделкой, пошли по направлению, указанному гипсовыми стрелами с розовыми цифрами; потом проталкивались между рядами старых пустых машин, пока наконец не вышли к бетонному парадному с пакетами молока на ступенях. Двери не было, зато был ряд покрытых резиной ступенек, скрипевших от шагов. Пахло готовкой и тем жидким мылом, которое бывает в уборных на железной дороге. На толстой оштукатуренной стене написанное от руки объявление призывало не шуметь. Откуда-то доносилась музыка. Они поднялись еще на два пролета и остановились перед наполовину

застекленной зеленой дверью. На ней была цифра из белой искусственной резины — 34. Леклерк снял шляпу и вытер пот со лба. С такими же жестами он, наверно, входил в церковь. Дождь был сильнее, чем им казалось; их пальто были совсем мокрые. Он нажал кнопку звонка. Вдруг Эйвери стало очень страшно, он взглянул на Леклерка и подумал: «Ты все дело затеял — ты ей и скажи».

Музыка стала будто громче. Они напрягали слух, чтобы уловить еще какой-нибудь звук, но напрасно.

«Почему вы дали ему имя Малаби?» — вдруг спросил Эйвери.

Леклерк опять нажал на звонок; и тут они оба услышали писк, что-то среднее между всхлипыванием ребенка и жалобным воем кота, сдавленный, какой-то металлический вздох. Леклерк сделал шаг назад, а Эйвери схватил бронзовый молоток с ящика для писем и с силой ударил им. Когда эхо затихло, они услышали, что кто-то шел к двери, словно нехотя, но мягко ступая; потом звук отодвигаемого засова, отпираемого замка. Затем они услышали опять, уже громче и более явственно, тот же самый жалостливый монотонный звук. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, и Эйвери увидел ребенка, хилую, блед-

ную девочку не старше десяти лет. На ней были очки в металлической оправе, как у Энтони. У нее в руках была кукла с нелепо вывернутыми ручками и ножками и крашеными глазенками, которые таращились между краями рваной тряпки. Намалеванный рот был разинут, а голова висела сбоку, как будто кукла была сломана или мертва. Это была говорящая кукла, но ни одно живое существо не издавало такого звука.

— Где твоя мама? Дома? — спросил Леклерк голосом агрессивным и одновременно испуганным.

Девочка неопределенно покачала головой:

— Ушла на работу.

— А кто за тобой присматривает?

Она говорила медленно, будто думала о чем-то другом:

— Мама приходит пить чай в перерывы. Открывать дверь не велела.

— Где она? Куда она ходит?

— На работу.

— Кто тебе дает ленч? — настаивал Леклерк.

— Что?

— Кто тебя кормит обедом? — быстро спросил Эйвери.

— Миссис Брэдли. После школы.

Затем Эйвери спросил:

— Где твой папа?

Она улыбнулась и прижала пальчик к губам.

— Он улетел на самолете, — сказала она. — За деньгами. Но об этом говорить нельзя. Это тайна.

Оба стояли молча.

— Он привезет мне подарок, — добавила она.

— Откуда? — спросил Эйвери.

— С Северного полюса, но это тайна. — Ее рука все еще лежала на дверной ручке. — Где живет Санта Клаус.

— Скажи маме, что к ней приходили, — сказал Эйвери. — С работы твоего папы. Мы еще зайдем часов в пять.

— По важному делу, — сказал Леклерк.

Девочка как будто повеселела, когда услышала, что они знают ее папу.

— Он на самолете, — повторила она.

Эйвери пошарил в кармане и дал ей две полукроны, две монетки из тех десяти шиллингов, что ему дала Сара. Девочка закрыла дверь, оставив их стоять на той неприглядной лестничной площадке, куда из радиоприемника доносилась мечтательная мелодия.

Глава 4

Они стояли на улице, не глядя друг на друга. Леклерк сказал:

— Зачем вы задали ей этот вопрос, зачем было спрашивать про ее папу? — И когда Эйвери не ответил, он добавил без всякой связи:

— Дело не в том, нравится тебе человек или нет.

Иногда казалось, что Леклерк ничего не слышит и не чувствует; он погружался в себя, напрягал слух, словно играли что-то ему хорошо знакомое, а он не мог различить — что; казалось, он находился в глубоком и горестном недоумении, будто его только что предали.

— Боюсь, что не смогу вернуться сюда с вами сегодня, — мягко сказал Эйвери. — Может быть, Брюс Вудфорд будет готов…

— Брюс не годится. — И прибавил:

— Вы ведь будете на совещании, в десять сорок пять?

— Мне, возможно, придется уехать до конца совещания, чтобы успеть в Цирк и взять вещи. Сара неважно себя чувствует. Я останусь в конторе, сколько смогу. Я сам жалею, что задал этот

вопрос, честное слово.

— Никто не узнает. Первым делом я поговорю с ее матерью. Должно быть какое-то объяснение. Тэйлор работал у нас много лет. Он знал наши правила.

— Я буду молчать об этом, обещаю. Даже Мотыль не узнает.

— Я должен рассказать Холдейну о Мотыле. Он, конечно, будет против. Да, вот так мы и назовем… всю операцию. Будем ее называть «Мотыль».

Это решение смягчило его печаль.

Они торопливо пошли в свое учреждение, не на работу, а в укрытие, в безликость — состояние, которое стало для них необходимостью.

Соседним с кабинетом Леклерка был его, Эйвери. Дверь украшала табличка «Личный адъютант директора». Два года назад Леклерка пригласили в Америку, и эта надпись на табличке появилась после его возвращения. У сотрудников Департамента бытовали своего рода прозвища, соответствующие их кругу обязанностей. Поэтому Эйвери звали просто «Личный отдел»; Леклерк мог бы изменить надпись на табличке в любой момент, чего не скажешь о прозвище, уже вошедшем в обиход.

Без четверти одиннадцать к нему в кабинет

вошел Вудфорд. Эйвери знал, что тот зайдет: короткий непринужденный разговор перед началом собрания, намек на какой-то вопрос, выходящий за рамки повестки дня.

— Из-за чего это все, Джон? — Он раскурил трубку, откинул назад большую голову и потушил спичку широком взмахом руки. Этот крепко сбитый человек когда-то был школьным учителем.

— А по вашему мнению?

— Из-за бедняги Тэйлора.

— Именно так.

— Мне не хочется преждевременно бить тревогу, — сказал он и присел на краю стола, занятый своей трубкой. — Мне не хочется преждевременно бить тревогу, Джон, — повторил он. — Но есть еще одни вопрос, которым следует заняться, столь же трагичный, как смерть Тэйлора. — Он сунул жестяную табакерку в карман своего зеленого костюма и сказал:

— Сектор регистрации.

— Это епархия Холдейна. Исследовательский отдел.

— Я ничего не имею против старины Эйдриана. Он хороший разведчик. Мы с ним проработали бок о бок уже больше двадцати лет.

И значит, ты тоже хороший разведчик, подумал

Эйвери. У Вудфорда была привычка приближаться вплотную к тому, с кем он разговаривал, надвигаясь на собеседника тяжелым плечом, как лошадь, когда трется корпусом о ворота. Он наклонился вперед и пристально смотрел на Эйвери: всем своим видом он изображал прямого, порядочного человека, перед которым стоял выбор между дружбой и долгом. На нем был ворсистый костюм, слишком плотный, чтобы образовывать складки, местами вздувающийся как одеяло, с грубыми костяными пуговицами коричневого цвета.

— Джон, сектор регистрации разваливается, мы оба знаем об этом. Входящие документы не фиксируются, досье не приносят в назначенный срок. — Он покачал головой с безнадежным видом. — Не можем найти папку со страховкой морского фрахта — с середины октября. Исчезла, просто испарилась.

— Эйдриан Холдейн ни от кого пропажу не скрывает, — сказал Эйвери. — Мы все имеем к этому отношение, не один Эйдриан. У досье такое свойство — теряться. Пропажа, о которой вы говорите, — единственная, если считать с апреля, Брюс. Не так уж плохо, по-моему, только подумайте, какое количество документов попадает

к нам в руки. Мне кажется, сектор регистрации у нас один из лучших. Дела ведутся прекрасно. Исследовательский отдел, на мой взгляд, просто замечательный. И ведь здесь заслуга Эйдриана? Но все же, если вы беспокоитесь, почему не поговорить с Эйдрианом?

— Нет, нет. Это не так существенно.

Кэрол принесла чай. У Вудфорда для чая была большая керамическая чашка, на ней глазурью, крупно — его инициалы. Кэрол поставила поднос на стол и сказала:

— Вилф Тэйлор погиб.

— Я здесь с часу ночи, — соврал Эйверн. — Занимаемся этим вопросом. Проработали всю ночь.

— Директор очень расстроен, — сказала она.

— Кэрол, вы знаете что-нибудь о его жене?

Кэрол хорошо одевалась, ростом была чуть выше Сары.

— Ее никто не видел.

Она вышла, Вудфорд пристально глядел ей вслед. Потом вынул трубку изо рта и ухмыльнулся. Эйвери знал, что сейчас он скажет, хорошо бы переспать с Кэрол, и вдруг ему стало тошно.

— Чашку вам сделалц жена, Брюс? — быстро спросил он. — Говорят, она у вас мастерица.

— И блюдце тоже, — сказал он. Он начал рас-

сказывать о курсах по керамике, на которые она ходила, о том, каким неожиданным образом это стало модно в Уимблдоне, о том, как однажды его жену чуть не защекотали до смерти.

Было почти одиннадцать; слышно было, как в коридоре собираются люди.

— Я, пожалуй, зайду в соседнюю комнату, — сказал Эйвери, — погляжу, готов ли он. Последние восемь часов для него были очень нервные.

Вудфорд взял свою кружку и сделал маленький глоток:

— Если будет возможность, Джон, скажите боссу про сектор регистрации. Я не хочу поднимать этот вопрос при других. У Эйдриана и так гудит голова.

— Директор сейчас в весьма затруднительном положении, Брюс.

— Да, разумеется.

— Он не любит вмешиваться в дела Холдейна, вы сами знаете.

Уже в дверях он повернулся к Вудфорду и спросил:

— Помните, в Департаменте был человек по имени Малаби?

Вудфорд замер:

— Боже мой, помню. Молодой парень, вроде вас.

Во время войны. О Господи. — Потом серьезным тоном, но вовсе не похожим на его привычную манеру:

— При боссе это имя не упоминайте. Он очень переживал за парня, за Малаби. Один из лучших летчиков. Они почему-то были очень близки».

* * *

При дневном свете кабинет ЛеклеркЯ был не столь серым, скорее бросалась в глаза его неустроенность — казалось, что тот, кто его занимал, въехал в помещение в спешке, в чрезвычайных условиях и не знал, на сколько он здесь останется. На длинном, наспех сколоченном из досок столе в беспорядке лежали одна на другой раскрытые карты, некоторые — крупномасштабные, на таких были даже обозначены улицы и дома. Листки родовой бумаги с приклеенными полосками телетайпной ленты висели пачками на доске для объявлений, скрепленные крупными скрепками, как гранки, приготовленные для корректора. В углу стояла кровать, покрытая пледом. У раковины висело чистое полотенце. Письменный стол был новый, серой стали, государственный. Стены грязные. Кремовая краска кое-где облезла, проступила темно-зеленая. Комната была маленькая,

квадратная, с занавесками от Министерства общественных работ. В свое время по поводу занавесок был шум, вопрос стоял так: можно ли приравнять звание Леклерка к определенной гражданской должности. Это был единственный случай на памяти Эйвери, когда Леклерк сделал хоть какую-то попытку уменьшить беспорядок в своей комнате. Огонь почти потух. Иной раз, когда бывало очень ветрено, огонь вообще не горел, и Эйвери в соседнем кабинете весь день слышал, как в дымоходе падает сажа.

Эйвери смотрел, как они входили; первым Вудфорд, затем Сэндфорд, Деннисон и Мак-Каллох. Они все уже знали про Тэйлора. Нетрудно было представить, как распространяются новости в Департаменте — не так, как заголовки в газетах, а как маленькая, но приятная сенсация, оживляющая рабочий день, передаваемая из кабинета в кабинет, на минуту наполняющая их оптимизмом, как прибавка к жалованью. Они внимательно смотрели на Леклерка, так заключенные смотрят на надзирателя. Инстинктом они знали его привычки и ждали, когда он нарушит свой распорядок. Не было мужчины или женщины в Департаменте, кто бы не знал, что Леклерка вызвали посреди ночи и что он спал в

учреждении.

Они расселись вокруг стола, с шумом поставили перед собой чашки, как дети перед обедом, — во главе Леклерк, по обеим сторонам остальные, на другом конце — пустой стул. Вошел Холдейн, и Эйвери понял, как только увидел его, что это будет своего рода поединок — Леклерк против Холдейна.

Взглянув на пустующий стул, он сказал:

— Значит, мне придется сесть на самом сквозняке.

Эйвери поднялся, но Холдейн уже сел:

— Не беспокойтесь, Эйвери. Я все равно больной человек.

Он кашлянул так же, как он кашлял круглый год. Даже летом ему не становилось лучше; он кашлял в любое время года. Остальные неловко заерзали, Вудфорд взял пирожное. Холдейн бросил взгляд в сторону камина.

— Что, это лучшее, что для нас может сделать Министерство общественных работ? — спросил он.

— Дождь, — сказал Эйвери. — Дождь мешает. Пайн попробовал что-то исправить, но безуспешно.

— А-а.

Холдейн был худощав, с длинными беспокойными пальцами; замкнутый на себе человек, с медлительными движениями, подвижными чертами лица, лысеющий, скупой, склочный и сухой; со своим особым графиком и своей особой секретностью; любитель кроссвордов и акварелей прошлого века. Казалось, он презирал весь мир.

Вошла Кэрол с досье и картами, положила их на письменный стол, который в отличие от всего остального в комнате Леклерка был прибран. Все неловко ждали, когда она уйдет. Она вышла и плотно закрыла за собой дверь. Леклерк осторожно пригладил рукой свои темные волосы, будто они растрепались.

— Тэйлор убит. Вы все это уже знаете. Он был убит прошлой ночью в Финляндии — он поехал туда под другим именем. — Эйвери отметил про себя, что имя Малаби произнесено не было. — Мы не знаем подробности. По внешним признакам, он был сбит машиной. Я сказал Кэрол, чтобы она записала, что это был несчастный случай. Это ясно?

Да, сказали они, это вполне ясно.

— Он поехал забрать пленку у… одного человека, с которым мы держим связь в Скандинавии. Вы знаете, кого я имею в виду. Не в наших пра-

вилах использовать обычных курьеров для оперативной работы, но здесь другое дело; нечто очень важное. Я полагаю, Эйдриан меня поддержит.

Он выпростал запястья из белых манжет, вскинул их кверху и вертикально сложил вместе ладони и пальцы, будто молился, чтобы Холдейн его поддержал.

— Очень важное? — медленно повторил Холдейн. Голос был резкий, как он сам, хорошо поставленный голос без лишних акцентов, завидный голос. — Да, другое дело. Но не пустячное, — потому что Тэйлор погиб. Нельзя было использовать его, ни в коем случае, — категорически сказал он. — Мы нарушили первый принцип разведслужбы. Мы в тайной операции использовали официальное лицо. Не говоря уже о том, что у нас больше нет штата тайных агентов».

— Пусть судьями будут те, кто стоит над нами, — с притворной скромностью предложил Леклерк. — По крайней мере вы знаете, что Министерство давит на нас ежедневно: нужны результаты. — Он поворачивался лицом то к одним, то к другим: то к сидящим слева, то к сидящим справа, будто принимал их в держатели акций. — Пришло время всем вам узнать подроб-

ности. Как вы понимаете, перед нами поставлена задача исключительной степени секретности. Я предлагаю ограничить допуск уровнем заведующих отделами. На настоящий момент были допущены только Эйдриан Холдейн и один или двое его подчиненных из исследовательского отдела. Еще Джон Эйвери как мой помощник. Я подчеркиваю — наши коллеги из Цирка вообще ничего не знают об этом. В том числе о наших мероприятиях. Кодовое название операции — «Мотыль». — Он говорил ровным, хорошо поставленным голосом. — Оперативное досье в конце каждого дня будет доставляться непосредственно мне или Кэрол, если меня не будет; отдельно будет храниться библиотечная копия. Такой порядок ведения оперативных досье был у нас во время войны, и, по-моему, вы все с ним знакомы. Этот порядок мы теперь заведем у себя. Допускной список я дополню именем Кэрол».

Вудфорд указал на Эйвери своей трубкой и покачал головой. Только не молодой Джон: Джон не был знаком с этим порядком. Сэндфорд, сидевший рядом с Эйвери, пояснил. Библиотечная копия хранилась в шифровальной комнате. Выносить оттуда ее нельзя. В это досье подшивают все шифровки, как только их составляют; допускной

список — это список лиц, которым разрешается читать конкретное досье. Скрепками пользоваться не разрешается, страницы должны быть прошиты. Остальные сидели с самодовольным видом.

Сэндфорд был администрация; этот добродушный человек носил очки в золотой оправе и приезжал в учреждение на мопеде. Однажды Леклерк высказался против этого, правда без определенных мотивов, и теперь Сэндфорд ставил мопед чуть поодаль, напротив больницы.

— Теперь об операции, — сказал Леклерк.

Тонкая линия соединенных рук рассекала надвое его радостное личико. Один Холдейн не смотрел на него; его взгляд был обращен к окну. Шел дождь, капли задали мягко, словно весной — в темной аллее.

Леклерк резки встал и подошел к карте Европы на стене. В разных местах были приколоты флажки. Поднявшись на цыпочки и вытянув вверх руку, чтобы достать до Северного полушария, он сказал:

— Имеется опасный очаг в Германии. — Раздался смех. — Южнее Ростока: место называется Калькштадт, вот здесь. — Его палец двигался вдоль Балтийского моря. по береговой линии

Шлезвиг-Гольштейна, потом повернул па восток и остановился в дюйме или двух южнее Ростока. — Одним словом, имеются три признака, по которым можно предположить — я не говорю, что они вполне доказательны, — что там что-то происходит, нечто весьма значительное, похожее на подготовку к размещению новых военных объектов. Первый признак появился ровно месяц назад, когда мы получили донесение от нашего представителя в Гамбурге, Джимми Гортона.

Вудфорд улыбнулся: подумать только, неужели старина Джим еще существует?

— Беженец из Восточной Германии перешел границу в районе Любека. переплыл реку; железнодорожник из Калькштадта. Он пришел в наше консульство и предложил продать сведения о новой ракетной установке вблизи Ростока. Вы прекрасно понимаете, что в консульстве его послали куда подальше. Поскольку Форин Офис отказывается даже предоставить нам возможность пользоваться диппочтой, маловероятно, — он чуть улыбнулся, — что кто-то захочет купить для нас информацию оборонного значения. — Одобрительный гул приветствовал его шутку. — Тем не менее по счастливому стечению обстоятельств Гортон прослышал об этом человеке и поехал в

Фленсбург, чтобы с ним встретиться.

Вудфорду вспомнилось кое-что. Фленсбург? Ведь, кажется, именно там в сорок первом они засекли немецие подводные лодки. Во Фленсбурге тогда были серьезные дела.

Леклерк ласково кивнул Вудфорду, будто в знак того, что ему тоже вспомнился тот случай.

— Бедняга побывал во всех представительствах союзников в Северной Германии, но никто не пожелал его выслушать. Только Джимми Гортон с ним немного поболтал.

Леклерк строил свой рассказ так, что можно было подумать, будто Джимми Гортон — единственный умный человек среди кучи дураков. Он подошел к письменному столу, вынул сигарету из серебряной коробочки, закурил, взял папку с жирным красным крестом на обложке и тихо положил ее на стол, так, чтобы видели все.

— Это донесение Джимми, — сказал он. — Первоклассная работа по любым меркам. — Сигарета между пальцами казалась очень длинной. — Перебежчика зовут, — вдруг прибавил он, — Фритше.

— Перебежчик? — тут же возразил Холдейн. — Просто-напросто жалкий беглец, железнодорожник. Таких людей мы обычно не называем

перебежчиками.

Леклерк ответил, словно защищаясь:

— Он не только железнодорожник. Он немного механик и немного фотограф.

Мак-Каллох открыл папку и принялся методично перелистывать страницы. Сэндфорд наблюдал за ним через очки в золотой оправе.

— Первого или второго сентября — мы не знаем точной даты; потому что он не помнит, — ему случилось отработать две смены на разгрузочной базе в Калькштадте. Один из его товарищей был болен. Ему пришлось работать с шести утра до полудня и с четырех до десяти вечера. Когда он приехал на работу, там было двенадцать фопо — немецкая народная полиция — у входа на станцию. Все пассажирские перевозки были отменены. Фопо сверили его документы, удостоверяющие личность, со списком и приказали ему держаться подальше от ангаров на восточной стороне станции. Они сказали, — медленно добавил Леклерк, — что, если он приблизится к восточным ангарам, в него будут стрелять.

Это произвело впечатление. Вудфорд сказал:

— Это характерно для немцев.

— Сейчас наш противник — русские, — вставил Холдейн.

— Он не без странностей, этот парень. Он вступил с ними в спор. Он сказал им, что он ничем не хуже их, порядочный немец и член партии. Показал профсоюзное удостоверение, фотокарточки жены и всякое такое прочее. Конечно, это ничего ему не дало, потому что ему просто велели подчиняться приказу и держаться подальше от ангаров. Но, видно, он был им симпатичен, потому что в десять часов они сварили суп и пригласили его отведать свою стряпню. Во время еды он спросил их, что происходит. Они отвечали неохотно, но он видел, что они чем-то возбуждены. Потом было одно происшествие. Очень важное происшествие, — продолжал он. — Один из тех, кто помоложе, проговорился, что у них в ангарах есть одна штука — она за пару часов может выбить американцев из Западной Германии. В этот момент появился офицер и приказал всем вернуться к работе.

Холдейн стал кашлять. Кашель его был глубоким и безнадежным, похожим на эхо под старинными сводами.

— Что это был за офицер, — спросил кто-то, — немец или русский?

— Немец. Это самое существенное. Русских не было в помине.

Холдейн резко перебил его:

— Беженец не видел ни одного русского. Вот все, что мы знаем. Давайте будем аккуратны. — Он закашлялся опять. Многих это раздражало. — Как вам угодно. Он пошел домой и пообедал. Он злился, что в месте, где он давно работает, над ним стала командовать кучка парней, изображающих солдат. Он выпил пару стаканов шнапса и сидел, с грустью размышляя о разгрузочной базе. Эйдриан, если кашель вас так беспокоит?.. — Холдейн покачал головой. — Он вспомнил, что с северной стороны к ней примыкал старый склад и что в разделяющую их стену был вмонтирован вентилятор. У него родилась мысль заглянуть через вентиляционное отверстие со стороны старого склада, чтобы узнать, что же там находится. И таким образом поквитаться с солдатами.

Вудфорд рассмеялся:

— Потом он решился на большее — сфотографировать то, что там было.

— Для этого надо быть чокнутым, — прокомментировал Холдейн. — В это поверить невозможно.

— Чокнутый или нечокнутый, но он решился на это. Он разозлился, потому что ему не доверяли. Он считал, что имеет право знать, что на складе. — Леклерк сделал паузу и перешел к тех-

ническим подробностям:

— У него была камера Экза-2, зеркалка с одним объективом. Производства Восточной Германии. Дешевый корпус, но подходят все объективы от Экзакты; конечно, гораздо меньше выдержек, чем у Экзакты. — Он вопросительно посмотрел на технических специалистов, Деннисона и Мак-Каллоха. — Джентльмены, я прав? — спросил он. — Вы должны поправлять меня. — Они смущенно улыбнулись, потому что поправлять было нечего. — У него был хороший широкоугольный объектив. Трудно было со светом. Его следующая смена начиналась только в четыре, когда уже смеркалось, света в ангаре стало бы еще меньше. У него была одна высокочувствительная пленка Агфа, которую он припас для особого случая; пленка чувствительностью 27 DIN. Он решил взять ее. — Он сделал паузу, больше для эффекта, чем для вопросов.

— Почему он не дождался до утра? — спросил Холдейн.

— В донесении Гортона, — невозмутимо продолжал Леклерк, — вы найдете подробный отчет о том, как этот человек проник на склад, встал на бензиновую бочку и фотографировал через вентиляционное отверстие. Я не буду все повто-

рять. Он использовал максимально открытую диафрагму два и восемь, выдержки от четверти до двух секунд. Похвальная немецкая скрупулезность. — Никто не засмеялся. — Выдержки надо чувствовать, конечно. Он ставил выдержки в районе одной секунды. Только на трех последних кадрах что-то видно. Вот они.

Леклерк открыл ключом стальной ящик в письменном столе и вытащил набор глянцевых фотографий двенадцать дюймов на девять. Он слегка улыбался, будто разглядывал себя в зеркале. Все собрались вокруг, кроме Холдейна и Эйвери — они уже видели снимки.

Что-то там было.

При беглом взгляде можно было различить что-то скрытое в расплывающихся тенях; если вглядываться, темнота сгущалась и очертания пропадали. И все же что-то было; расплывчатая форма орудийного ствола, но заостренная и слишком длинная для лафета, намек на транспортер, смутный отблеск того, что могло бы быть платформой.

— Конечно, они должны быть зачехлены, — прокомментировал Леклерк, с надеждой следя за их лицами, ожидая, когда на них появится выражение оптимизма.

Эйвери посмотрел на часы: двадцать минут двенадцатого.

— Мне скоро надо будет уйти, директор, — сказал он. Он так еще и не позвонил Саре. — Мне надо к бухгалтеру насчет авиабилета.

— Задержитесь еще на десять минут, — попросил Леклерк, а Холдейн спросил:

— Куда он идет?

Леклерк ответил:

— По делам Тэйлора. Сейчас у него встреча в Цирке.

— Какие у Тэйлора дела? Он умер.

Наступила неловкая тишина.

— Холдейн, вы прекрасно знаете, что Тэйлор отправился в дорогу под чужим именем. Кто-нибудь должен забрать его личные вещи к пленку. Поедет Эйвери, как родственник. Одобрение от Министерства получено; я не знал, что понадобится ваше.

— За телом?

— За пленкой, — резко повторил Леклерк.

— Это оперативная работа, а у Эйвери нет подготовки.

— Во время войны у нас были ребята моложе, чем он. Он сумеет о себе позаботиться.

— Тэйлор не сумел. Что он с ней будет делать,

когда она попадет ему в руки, — спрячет в мыльницу?

— Не поговорить ли нам об этом попозже? — предложил Леклерк и опять обратил к ним свой лик с терпеливой улыбкой, словно хотел сказать — к старине Эйдриану надо привыкнуть. — Вот и все, что мы знаем. Но десять дней назад появился второй признак. Местность вокруг Калькштадга была объявлена закрытой зоной. — Возбужденные голоса. — Радиусом — насколько удалось установить — в тридцать километров. Весь район огорожен и закрыт для движения. Патрулируется пограничниками. — Он окинул взглядом стол. — Затем я сообщил Министру. Даже вам я не могу рассказывать всех деталей. Но одну я назову. — Последнюю фразу он сказал быстро, одновременно пригладив пучки седеющих волос над ушами.

Про Холдейна забыли.

— Загадкой для нас с самого начала, — он кивнул Холдейну, примирительный жест в минуту торжества, который Холдейн игнорировал, — было отсутствие советских войск. Они держат подразделения в Ростоке, Витмаре, Шверине. — Его палец двигался между флажками. — Но ни одного — это подтверждают другие агент-

ства, — ни одного в непосредственной близости от Калькштадта. Если там есть оружие, оружие огромной разрушающей силы, почему нет советских войск?

Мак-Каллох высказал предположение: не могут ли там находиться советские технические специалисты в штатском?

— Очень не похоже. — Сдержанная улыбка. — В случаях перемещения тактического оружия мы всегда замечали по крайний мере одно советское подразделение. С другой стороны, пять недель назад русских солдат видели в Гаствайлере, несколько южнее. — Он стоял спиной к карте. — Они провели вечер в пивной. У одних были артиллерийские нашивки, у других вообще не было знаков различия. На другой день рано утром они ушли на юг. Можно предположить, что они что-то привезли, оставили и опять ушли.

Вудфорд становился беспокойным. Что все это означало, хотел он знать, что об этом думают в Министерстве? У Вудфорда не было терпения разгадывать загадки.

Леклерк говорил учительским тоном. Словно хотел их запугать, мол, факты есть факты, нечто бесспорное.

«Исследовательский отдел провел прекрасную

работу. Общая длина объекта на фотографиях — можно рассчитать довольно точно — соответствует длине советской ракеты средней дальности. Учитывая все, что нам известно, — он легонько постучал по карте костяшками пальцев, и она стала раскачиваться на крючке, на котором висела, — в Министерстве считают, что в Восточной Германии, возможно, есть управляемые немцами советские ракеты. В исследовательском отделе, — быстро добавил он, — еще не пришли к такому заключению. Если оправдается точка зрения Министерства, если они окажутся правы, это значит, что мы перед лицом, — тут он торжествовал, — кризиса, вроде Карибского, но только, — он сделал попытку изобразить извиняющийся тон, чтобы его слова ярче прозвучали, — более опасного. — Вот почему, — объяснил. Леклерк, — в Министерстве решили дать добро на разведывательный полет. Как вам известно, на протяжении последних четырех лет Департаменту разрешалось делать аэрофотоснимки только на обычных гражданских или военных воздушных линиях. Даже для этого требовалось согласие Форин Офис. — Он погрузился в себя. — Очень было трудно.

Его взгляд словно искал что-то, чего не было в

комнате. Остальные озабоченно ждали, ждали, что же он скажет дальше.

— На этот раз в виде исключения от Министерства получено разрешение, и я рад, что задание провести операцию дали нашему Департаменту. Мы отобрали самого лучшего пилота из тех, что числятся за нами: Лансена. — Некоторые удивленно смотрели на него; настоящие имена агентов никогда не произносились. — За известное вознаграждение Лансен взялся отклониться от курса на рейсе из Дюссельдорфа в Финляндию. Тэйлора послали за пленкой, он погиб возле аэродрома. Его сбила машина, явный несчастный случай.

С улицы было слышно, как под дождем проезжали машины — так на ветру шуршит бумага. Огонь в камине потух, остался только дым, который как саван повис над столом.

Сэндфорд поднял руку:

— Какого рода могла быть эта ракета?

— «Сандалета», средней дальности. В исследовательском отделе мне сказали, что впервые их показали на Красной площади в ноябре шестьдесят второго. Печально известные ракеты. «Сандалеты» были на Кубе. Вообще «Сандалета», — взгляд в сторону Вудфорда, — это внучка

немецкой Фау-2 времен войны.

Он принес другие снимки с письменного стола и разложил их перед собой.

— Вот фотография «Сандалеты» из исследовательского отдела. Для нее характерно то, что называется юбка-клеш, — он указал на хвостовое оперение, — и маленькие стабилизаторы. Ее общая длина — около сорока футов, от головки до сопел. Если посмотрите внимательно, вы видите зажимы — вот здесь, — которые удерживают чехлы. Как это ни нелепо, но у нас нет фотографии зачехленной «Сандалеты». Может быть, есть такая у американцев, но в данный момент, мне кажется, к ним обращаться нецелесообразно.

Вудфорд прореагировал сразу.

— Конечно, нет, — сказал он.

— Министр дал понять, что не следует тревожить их преждевременно. Стоит только намекнуть американцам про ракеты, как мы увидим самую решительную реакцию. Не успеем оглянуться — их У-2 уже будут над Ростоком. — Ободренный их смехом, Леклерк продолжал:

— Вот по еще сказал Министр. Страна, которой больше всего угрожают эти ракеты — их радиус действия около восьмисот миль, — очень возможно, именно наша. Во всяком случае, не Со-

единенные Штаты. С политической точки зрения нам нежелательно прятаться за американскую юбку. В конце концов, как выразился Министр, у нас еще найдется парочка своих собственных зубов.

Холдейн сказал с сарказмом:

— Очаровательное замечание.

Эйвери повернулся к нему со злостью, которую до этого кое-как сдерживал.

— Не самая удачная из ваших шуток, — сказал он. И чуть не добавил: и без вас все непросто.

На секунду Холдейн задержал холодный взгляд на Эйвери, потом отвел в сторону: он не простит, вспомнит, когда надо.

* * *

Кто-то спросил, какой будет следующий шаг: положим, Эйвери не нашел пленки Тэйлора? Положим, ее просто не было? Можно организовать еще один разведывательный полет?

— Нет, — ответил Леклерк, — о новом полете речи быть не может. Слишком опасно. Придется придумать что-нибудь другое.

Он как будто не был расположен продолжать, но Холдейн сказал:

— Что, например?

— Возможно, нам придется забросить человека. Похоже, это единственный путь.

— Нашему Департаменту? — скептически спросил Ходдейн. — Забросить человека? Министерство никогда на это не пойдет. Вы хотите сказать, конечно, что попросите Цирк сделать это?

— Ситуацию я вам обрисовал. Боже правый, Эйдриан, только не говорите, что мы не справимся. — Он призывно посмотрел на сидящих вокруг. — Все, за исключением молодого Эйвери, в нашем деле уже двадцать лет и больше. Эйдриан, того, что вы о разведке забыли, половина людей в Цирке никогда не знала и не ведала.

— Это точно! — крикнул Вудфорд.

— Возьмем ваш отдел, Эйдриан, исследовательский. Наверное, наберется десяток случаев за последние пять лет, когда к вам приходили из Цирка, спрашивали совета, прибегали к вашей помощи, использовали ваш опыт. Может быть, настанет время, когда они к нам будут приходить, чтобы мы помогли им агентами? В Министерстве нам разрешили разведывательный полет. Отчего не разрешить нам иметь своего агента?

— Вы говорили о третьем признаке. Я что-то не понял. Это какой?

— Смерть Тэйлора, — сказал Леклерк.

Эйвери встал, кивнул на прощание и на цыпочках пошел к двери. Холдейн проводил его взглядом.

Глава 5

На столе была записка от Кэрол: «Звонила ваша жена».

Он вошел к Кэрол — она сидела за машинкой, но не печатала.

— Вы бы так не говорили о бедном Вилфе Тэйлоре, — сказала она, — если б знали его лучше.

— Как так? Я вообще о нем не говорил.

Он подумал, что должен как-нибудь успокоить ее, потому что порой, бывало, он ласково брал ее за руку; может быть, она сейчас ждала как раз этого.

Он склонился над ней, колючие концы ее волос коснулись его щеки. Он повернул голову и прикоснулся лбом к ее виску: сквозь нежную кожу он ощутил твердость височной кости. Минуту они были неподвижны, Кэрол сидела выпрямившись, глядя прямо перед собой, ее руки лежали по обеим сторонам машинки, над ней неловко нагнулся Эйвери. Ему хотелось протянуть руку

к ее груди, но он не стал этого делать; они мягко отодвинулись друг от друга и снова были одиноки. Эйвери выпрямился.

— Звонила ваша жена, — сказала она. — Я сказала ей, что вы на совещании. Она хочет срочно поговорить с вами.

— Спасибо. Я пойду.

— Джон, что происходит? Что означает разговор о Цирке? Что задумал Леклерк?

— Я думал, вы знаете. Он сказал, что включит вас в список.

— Я не об этом. Зачем он опять их обманывает? Он продиктовал мне меморандум для Контроля о каком-то тренировочном плане и о том, что вы едете за границу. Пайн отнесет бумагу сам. Он просто рехнулся из-за пенсии для миссис Тэйлор, искал прецеденты в прошлом и еще Бог знает что. Даже на ходатайстве о пенсии — гриф «сверхсекретно». Он строит один из своих карточных домиков, Джон, это точно. Кто такой Лейзер, кстати?

— Вам этого знать не положено Он разведчик, поляк.

— Работает на Цирк? — Она изменила тактику. — Но почему едете вы? Вот еще что я не могу понять. Да и почему должен был ехать Тэйлор?

Если у Цирка есть курьеры в Финляндии, почему не использовать их прежде всего? Зачем посылать бедного Тэйлора? Даже сейчас Форин Офис может все уладить, я уверена. Леклерк просто не дает им возможности: он хочет послать вас.

— Вам не понять, — резко сказал Эйвери.

— И еще одно, — сказала она, когда он уже выходил, — почему Эйдриан Холдейн вас так ненавидит?

Он зашел к бухгалтеру, потом взял такси до Цирка. Леклерк сказал, что за такси можно будет получить компенсацию. Он злился, что Сара пыталась дозвониться ему в такое напряженное время. Он просил ее никогда не звонить ему в Департамент. Леклерк сказал, это небезопасно.

* * *

— Что вы изучали в Оксфорде? Ведь вы учились в Оксфорде? — спросил Смайли и угостил его сильно помятой сигаретой из пачки на десять штук.

— Иностранные языки. — Эйвери ощупал карманы в поисках спичек. — Немецкий и итальянский. — Смайли ничего не сказал, тогда он добавил:

— В основном немецкий.

Смайли был небольшого роста, рассеянного вида человек с пухлыми пальцами, в облике его было что-то скользкое, ерзающее, будто он страдал от какого-то неудобства. Чего угодно ожидал Эйвери, только не этого.

— Так, так, — произнес Смайли как бы про себя и себе же кивнул головой. — Как я понимаю, речь идет о курьере в Хельсинки. Вы хотите передать ему пленку. Учебная операция.

— Да.

— Очень необычная просьба. Вы уверены… Вы знаете, какого пленка размера?

— Нет.

Долгая пауза.

— Такие вещи желательно знать, — мягко сказал Смайли, — чтобы курьер мог ее спрятать, если понадобится.

— Виноват.

— Ладно, не важно.

Эйвери вспомнился Оксфорд, как он читал свои эссе профессору.

— Пожалуй, — задумчиво проговорил Смайли, — я вам скажу одну вещь. Я уверен, Контроль уже дал знать об этом Леклерку. Мы готовы оказать вам любую помощь — любую. Было время, — размышлял он вслух с тем обычным для него

неопределенным выражением лица, как если бы он не видел своего собеседника, — когда наши департаменты конкурировали. Я всегда считал это очень нездоровым. И все-таки хотелось бы знать, можете вы рассказать мне чуть-чуть, ну чуть-чуть… Контроль так хотел помочь. Очень не хочется сделать ошибку по неведению.

— Это учебное мероприятие. Но все серьезно. Я сам мало что знаю.

— Мы хотим помочь, — спокойно повторил Смайли. — Какая страна — ваш объект, ваш условный объект?

— Не знаю. Моя роль очень маленькая. Мероприятие учебное.

— Но если учебное, почему все так секретно?

— Хорошо, Германия, — сказал Эйвери.

— Благодарю вас.

Казалось, Смайли смутился. Он поглядел па свои сложенные на столе руки и спросил Эйвери, идет ли еще дождь. Эйвери сказал — похоже, что да.

— Мне грустно было услышать про Тэйлора, — сказал он.

Эйвери сказал:

— Да, он был хороший человек.

— Вы знаете, в какое время получите пленку?

Сегодня вечером? Завтра? Леклерк думал, сегодня вечером, как я понял.

— Не знаю. Посмотрим, как пойдет дело. Просто не могу сейчас сказать.

— Конечно.

Последовала необъяснимо долгая пауза. Он как старик, подумал Эйвери, он забывает, что не один.

— Конечно, тут столько непредвиденного. Вы раньше делали что-нибудь похожее?

— Раз или два.

Опять Смайли ничего не сказал и, казалось, не замечал образовавшейся паузы.

— Как там все на Блэкфрайерз Роуд? Холдейна вообще вы знаете? — спросил Смайли. Он не ждал ответа.

— Он теперь в исследовательском отделе.

— Конечно. Хорошая голова. У людей из вашего исследовательского хорошая репутация, как вам известно. Мы сами не раз к ним обращались. С Холдейном мы учились в Оксфорде в одно время. Потом во время войны вместе работали какое-то время. У него отличное классическое образование. Мы хотели его взять к нам после войны; кажется, врачей смущали его легкие.

— Я не слышал.

— Не слышали? — Он комично приподнял брови. — В Хельсинки есть гостиница под названием «Принц Датский». Напротив главного вокзала. Случайно, не знаете?

— Нет, я никогда не бывал в Хельсинки.

— Вот как? — Смайли пристально смотрел на него с озабоченным видом. — Очень странная история. Тэйлор ваш — тоже участвовал в учебном мероприятии?

— Не знаю. Но гостиницу я найду, — сказал Эйвери, начиная терять терпение.

— Вы войдете в дверь, там в вестибюле продают журналы и открытки. Вход там один только. — Он мог говорить о соседнем доме. — И цветы. По-моему, лучше всего, если вы придете туда, когда у вас будет пленка. Скажете цветочнице, чтобы послали дюжину красных роз миссис Эйвери в отель «Империал» в Торки. Пожалуй, хватит полдюжины. Не будем бросаться деньгами. Цветы там дорогие. Вы поедете под вашим собственным именем?

— Да.

— Есть на то какая особая причина? Я не хочу быть любопытным, — добавил он торопливо, — но жизнь так коротка… особенно при нашей работе.

— Насколько я понимаю, требуется время, чтобы сделать фальшивый паспорт. А Форин Офис…

Не надо было отвечать. Надо было посоветовать ему заниматься своими делами.

— Очень жаль, — сказал Смайли и нахмурился, как если бы позволил себе бестактность. — Вы всегда можете обратиться к нам. За паспортом. — Это была только вежливость. — Просто пошлите цветы. Выходя из гостиницы, сверьте ваши часы с настенными в холле. Через полчаса возвращайтесь к главному входу. Таксист узнает вас и откроет дверцу машины. Садитесь, сделайте круг, передайте ему пленку. Да, и пожалуйста, заплатите ему. Ровно сколько полагается. Мелкие детали так легко забываются. Значит, учебное мероприятие — какого же рода?

— А если я пленку не достану?

— Тогда ничего не делайте. Не подходите близко к гостинице. Не ездите в Хельсинки. Забудьте обо всем.

У Эйвери мелькнула мысль, что его инструкции были удивительно ясные.

— Когда вы изучали немецкий, вы, случайно, не касались литературы семнадцатого века? — с надеждой спросил Смайли, когда Эйвери собрался уходить. — Грифиус, Лоэшптейн; такие имена

вам известны?

— Это был специальный предмет. Боюсь, что нет.

— Специальный, — пробормотал Смайли. — Какое глупое слово. Просто они выходят за рамки общего курса; какое неуместное слово.

Когда они подошли к двери, он сказал:

— У вас есть какой-нибудь портфель?

— Да.

— Когда у вас будет пленка, положите ее в карман, — посоветовал он, — и носите портфель в руке. Если за вами будут следить, их внимание отвлечет ваш портфель. Это так естественно. Если вы просто где-нибудь его бросите, может быть, вместо вас искать будут его. Мне кажется, финны не слишком искушенные люди. Это только учебный совет, разумеется. Но не волнуйтесь. Приверженность методу я всегда считал большой ошибкой.

Он проводил Эйвери к выходу, потом задумчиво направился по коридору к кабинету Контроля.

* * *

Эйвери поднимался в свою квартиру, размышляя, как Сара его встретит. Жаль, что он так и не позвонил домой. Как будет неприятно, если

она сейчас возится на кухне, а игрушки Энтони разбросаны по ковру гостиной. Очень неприятно приходить без предупреждения. Сара пугалась в таких случаях, словно он сделал что-то непоправимое.

Он не брал с собой ключа: Сара всегда была дома. Своих друзей у нее не было; она ни к кому не ходила пить кофе и не занималась покупками. Она не умела самостоятельно развлекаться.

Он нажал кнопку звонка, услышал, как Энтони зовет «мама, мама!», и ждал, когда раздадутся ее шаги. Кухня располагалась на другом конце коридора, но она вышла из спальни, почти бесшумно, будто была босиком.

Она открыла дверь, не глядя на него. На ней была ночная рубашка и вязаная кофта.

— Боже, как ты задержался, — сказала она, повернулась и неуверенным шагом направилась обратно в спальню. — Опять что-нибудь стряслось? — спросила она через плечо. — Еще кого-то убили?

— Что такое, Сара? Ты плохо себя чувствуешь?

Энтони носился по квартире и кричал, что папа пришел домой. Сара опять забралась в постель:

— Я звонила доктору. Я не знаю, что это, — сказала она, будто болезни не были постоянной

темой ее разговоров.

— У тебя температура?

Рядом с ней стоял таз с холодной водой и лежало полотенце. Он выжал полотенце и положил ей на лоб.

— Придется тебе потерпеть, — сказала она. — Боюсь, что это не так интересно, как твои шпионы. Ты не хочешь спросить, что со мной?

— Когда придет доктор?

— Он должен быть в операционной до двенадцати. Потом сразу придет, я думаю.

Он пошел на кухню. Энтони за ним. Остатка завтрака все еще стояли на столе. Он позвонил ее матери в Райгит и попросил немедленно приехать.

Был почти час, когда приехал доктор.

— Лихорадка, — сказал он, — какой-то вирус ходит по городу.

Эйвери боялся, что она расплачется, когда сказал ей, что уезжает за границу; она поняла, задумалась, потом сказала, чтобы он начинал собираться.

— Это важное дело? — вдруг спросила она.

— Естественно. Очень важное.

— Для кого?

— Для тебя, для меня. Для всех нас, наверное.

— И для Леклерка?

— Я сказал тебе. Для всех нас.

Он обещал Энтони, что привезет ему что-нибудь.

— Куда ты едешь? — спросил Энтони.

— Я лечу на самолете.

— Куда?

Он уже хотел сказать ему, что это большая тайна, но тут вспомнил девчушку Тэйлора.

Он поцеловал жену, вытащил чемодан в холл и поставил его на коврик. В двери было два замка, чтобы Сара чувствовала себя спокойней, открывать их надо было одновременно. Он услышал, как она сказала:

— А это опасно?

— Не знаю. Знаю только, что дело очень серьезное.

— Это действительно так, ты уверен?

Он закричал почти в отчаянии:

— Послушай, не за всех же я должен думать! И не в политике сейчас дело, понимаешь? Тут дело нешуточное. Ты мне не веришь? Хоть раз в жизни ты можешь сказать мне, что я делаю что-то хорошее? — Продолжая говорить, он пошел в спальню. Она держала перед собой книжку и делала вид, что читает. — Каждый из нас должен

знать, для чего он живет. И нечего все время спрашивать: «Ты уверен?» Все равно что спрашивать, иметь ли нам детей, быть ли нам женатыми. Просто нет смысла.

— Бедный Джон, — сказала она, отложив книгу и глядя на него. — Преданность без веры. Как ты должен страдать.

Ее голос звучал совершенно бесстрастно, будто, она говорила о социальном зле. Она поцеловала его, словно жертвуя тем, во что верила.

* * *

Холдейн смотрел, как последние выходили из кабинета: позднее других он приехал, позднее и уедет, только не вместе со всеми.

Леклерк сказал:

— Зачем вы меня мучаете?

Он говорил, как уставший от своей роли актер. Карты и фотоснимки покрывали стол вперемешку с пустыми чашками и пепельницами.

Холдейн не ответил.

— Что вы пытаетесь доказать, Эйдриан?

— Что это вы говорили о том, чтобы кого-то забросить?

Леклерк подошел к умывальнику в наполнил стакан водой из-под крана.

— Вы не любите Эйвери? — спросил он.

— Он молод. Я устал от культа молодости.

— У меня начинает болеть горло, когда я много говорю. Попейте воды тоже. Это помогает от кашля.

— Сколько лет Гортону? — Холдейн взял стакан, выпил и отдал обратно.

— Пятьдесят.

— Больше. Он наших лет. Он был нашим ровесником в войну.

— Многое забывается. Да, ему должно быть пятьдесят пять — пятьдесят шесть.

— Числится у нас на службе? — раздраженно спросил Холдейн.

Леклерк покачал головой:

— Он не годен. Прерванный стаж службы. После войны он стал работать в Контрольной комиссии. Когда Комиссия завершила свою деятельность, он пожелал остаться в Германии. Кажется, женат на немке. Он пришел к нам, и мы заключили с ним контракт. Мы бы никогда не могли позволить ему там оставаться, если бы он числился у нас на службе. — Он глотнул немного воды, осторожно, как ребенок. — Десять лет назад у нас было тридцать действующих агентов. Теперь только девять. У нас даже нет своих курьеров

— тайных. Все, кто сидел сегодня за этим столом, знают. Почему никто не говорил об этом?

— Как часто он посылает донесения, сведения от беженцев?

Леклерк пожал плечами.

— Ко мне попадает не все, что от него приходит, — сказал он. — Ваши люди должны знать лучше. Рынок сокращается, как я понимаю, теперь, когда в Берлине закрыли границу.

— Мне приносят лучшие донесения. Это первое из Гамбурга за последний год. Я всегда думал, что он занимается чем-то иным.

Леклерк покачал головой. Холдейн спросил:

— Когда надо будет возобновлять контракт?

— Не знаю. Просто не знаю.

— Я думаю, его это сильно беспокоит. Ему полагается пособие, когда он выйдет в отставку?

— Это просто трехгодичный контракт. Никакого пособия. Ничего дополнительно. Он, конечно, может продолжать работать после шестидесяти, если будет нам нужен. Такое преимущество есть у тех, кто работает по контракту.

— Когда в последний раз возобновлялся его контракт?

— Лучше спросите у Кэрол. По-моему, два года назад. Может, раньше.

Холдейн опять заговорил:

— Вы сказали, что надо кого-то забросить.

— Я сегодня опять встречаюсь с Министром.

— Вы уже направили Эйвери. Вы не должны были делать этого, вы знаете.

— Кому-то поехать надо. Или вы хотели, чтобы я обратился в Цирк?

— Эйвери очень нагло себя вел, — заметил Холдейн.

Дождь сбегал по водосточным трубам, расплывался серыми разводами на грязных стеклах. Леклерку, видимо, хотелось, чтобы говорил Холдейн, но Холдейну сказать было нечего.

— Я пока не знаю, что Министр думает по поводу смерти Тэйлора. Он меня сегодня спросит, и я скажу свое мнение. Конечно, мы все бродим в потемках. — В его голос вернулась сила. — Но он может поручить мне, что очень вероятно, Эйдриан, он может поручить мне забросить агента.

— Так что же?

— Предположим, я попросил вас сформировать оперативный отдел, провести соответствующие исследования, подготовить документы и снаряжение; предположим, я попросил, вас подыскать агента, подготовить и бросить на операцию. Сделали бы вы это?

— И чтобы Цирк ничего не знал?

— Подробностей. Время от времени нам, возможно, придется пользоваться их помощью. Это не означает, однако, что мы должны им все рассказывать. Это вопрос безопасности: только необходимая информация.

— Значит, без Цирка?

— Почему бы и нет?

Холдейн покачал головой:

— Потому что это не наша работа. У нас просто-напросто нет снаряжения. Передайте дело Цирку, поможете им с военной точки зрения. Пусть возьмется за это кто-нибудь с опытом, вроде Смайли или Леамаса…

— Леамас умер.

— Хорошо, тогда Смайли.

— Смайли едва дышит.

Холдейн покраснел:

— Тогда Гийом или кто-нибудь еще. Какой-нибудь профессионал. У них теперь большой штат. Пойдите х Контролю, пусть займется он.

— Нет, — твердо сказал Леклерк и поставил стакан на стол. — Нет, Эйдриан. Вы прослужили в Департаменте столько же, сколько и я, вы знаете наш устав. Используйте все возможности, говорится там, все возможности для добычи, анализа

и проверки данных разведки в тех районах, где условия не позволяют действовать обычными военными средствами. — Произнося каждое слово, он взмахивали опускал свой маленький кулачок. — Какое иное, по-вашему, основание дало мне право на разведывательный полет?

— Хорошо, — смягчился Холдейн. — У нас есть устав. Но жизнь меняется. Теперь совсем другие игры. В то время мы были в зовите — надувные лодки в безлунную ночь, захват вражеского самолета, беспроволочный радиопередатчик и всякое такое. Мы с вами знаем; мы все делали вместе. Но времена изменились. И война другая теперь; и ведут ее по-другому. И в Министерстве это отлично знают. — Он прибавил:

— И не слишком доверяйте Цирку, от них благотворительности не ждите.

Они с удивлением посмотрели друг на друга. В эту минуту их мысли сошлись. Леклерк сказал почти шепотом:

— У нас в разных странах прежде были сети агентов, все Началось с них. Помните, как Цирк их у нас сожрал одну за другой? А Министр говорил: «На польском направлении нам грозит дублирование, Леклерк. Я решил, что Контроль будет присматривать за Польшей». Когда это бы-

ло? В июле сорок восьмого. Это продолжалось год за годом. Почему, вы думаете, они покровительствуют вашему исследовательскому отделу? Не за прекрасные ваши досье; мы просто делаем то, что они хотят, вот в чем дело. Спутники! Неоперативный Департамент! От нас хотят избавиться! Знаете, как теперь нас называют в Уайтхолле? Белоснежка и семь гномов.

Они надолго умолкли.

Холдейн сказал:

— Я изучаю информацию, я не участвую в операциях.

— Вы участвовали в операциях, Эйдриан.

— Как все.

— Вам известна цель. Вы знаете всю подоплеку. Вы единственный можете этим заняться. Возьмите кого хотите — Эйвери, Вудфорда, любого.

— Мы от людей как-то отвыкли. То есть как с ними обращаться. — Холдейн на секунду сник, что было для него необычно. — Я изучаю информацию. Работаю с досье.

— Нам нечего было поручить вам за все это время. За сколько? За двадцать лет.

— Вам известно, что такое ракетная установка? — спросил Холдейн. — Вам известно, сколько она создает шума? Нужны стартовые платформы,

пламеотбойные щиты, кабельные трассы, здания управления; нужны бункеры для хранения боеголовок, трейлеры с горючим, и окислителями. Для начала прибывает все это. Ракеты не ползают по ночам; их транспортировка, напоминает передвижную ярмарку; мы бы уже получили новые данные; или Цирк. А что касается смерти Тэйлора…

— Послушайте, Эйдриан, неужели вы думаете, что разведка состоит из неопровержимых филососфских истин? Разве каждый священник должен доказывать, что Христос родился в Рождество? — Он приблизил свое маленькое личико к Холдейну, пытаясь вытянуть из него что-то. — Невозможно все вычислить, Эйдриан. Мы не профессора, мы служащие. Нам приходится иметь дело с личными вещами, такими, какие они есть. Нам приходится дело с людьми, с событиями!

— Очень хорошо, возьмем события: если он переплывал реку, как ему удалось уберечь пленку? Как он фотографировал в действительности? Почему нет следов смещения камеры? Он перед этим пил, снимал он стоя на цыпочках; экспозиции были большие, как вы знаете, по его словам — продолжительные. — Казалось, Хол-

дейн боялся — не Леклерка, не операции, а самого себя. — Почему Гортону он отдал бесплатно то, за что с других хотел получить деньги? Почему он вообще рисковал жизнью, когда делал снимки? Я послал Гортону список дополнительных вопросов. Он говорит, что все еще пытается разыскать того человека. — Его взгляд переместился на модель самолета и досье на письменном столе Леклерка. — Вы думаете о Пенемюнде, верно? — продолжал он. — Вам хочется, чтобы все было, как в Пенемюнде.

— Вы не сказали мне. что будете делать, если я получу то самое распоряжение.

— Ни за что не получите. Ни за что. — Он говорил с особенной категоричностью, почти с торжеством. — Мы умерли, разве вы не понимаете? Вы и сами так сказали. От нас хотят избавиться, они не хотят, чтобы мы воевали. — Он встал. — В общем, это не имеет значения. Академический вопрос, в конце концов. Можете ли вы в самом деле себе представить, чтобы Контроль нам помогал?

— Они согласились дать нам курьера.

— Да. По-моему, это чрезвычайно странно.

Холдейн остановился перед фотографией у двери.

— Это ведь Малаби? Я помню, он погиб. Почему вы выбрали это имя?

— Не знаю. Просто пришло в голову. Память может сыграть с тобой самую чудную штуку.

— Напрасно вы посылаете Эйвери. Это работа не для него.

— Я просмотрел картотеку вчера вечером. У нас есть человек, который сделает это. Человек, которого мы можем послать. — Он добавил уже смелее:

— Агент. Радист, с соответствующей подготовкой, говорит по-немецки, не женат.

Холдейн стоял неподвижно.

— Возраст? — спросил он наконец.

— Сорок лет. Чуть больше.

— Наверное, в войну был совсем мальчишка.

— Ему есть чем похвастаться. Его поймали в Голландии, и он бежал.

— А как его поймали?

Короткая пауза.

— Подробности не зафиксированы.

— Хорошо соображает?

— Кажется, у него отличные профессиональные качества.

Они опять надолго умолкли.

— У меня тоже. Посмотрим, что привезет Эй-

вери.

Леклерк дождался, когда в конце коридора затих кашель, и только потом надел пальто. Он сейчас прогуляется, немного подышит свежим воздухом и потом закажет в клубе самый лучший обед, какой ему смогут предложить. Впрочем, так ли уж будет хорош обед, который его ждет, думал он: с каждым годом клуб становился хуже. После обеда он пойдет к вдове Тэйлора. Затем в Министерство.

* * *

За обедом «У Горинджа» Вудфорд сказал жене:

— Молодой Эйвери отправился на свое первое задание. Кларки его послал. Думаю, справится, и с успехом.

— Может, и его прикончат, — сказала она раздраженно. Она не пила, ей не разрешали врачи. — Вот когда будет праздник. Торжественный вечер с балом! Приходите на Блэкфрайерз Роуд, на бал! — У нее дрожали губы. — Почему молодые всегда такие распрекрасные? Мы тоже были молодые… Господи, да мы и сейчас еще молоды! Мы-то чем плохи? Разве мы уже старики? Разве мы?..

— Ладно, Бэбз, — сказал он. Он боялся, что она

расплачется.

Глава 6

Старт

В самолете Эйверн вспомнился день, когда Холдейн не пришел на работу. Так вышло, что был первый день месяца, скорее всего июля, и Холдейн не пришел. Эйвери ничего не знал, пока Вудфорд не позвонил ему по внутреннему телефону и не сказал. «Холдейн, должно быть, заболел, — сказал Эйвери, — или какие-то личные дела». Но Вудфорд был непреклонен. Он был в кабинете Леклерка, сказал он, и посмотрел реестр отпусков: у Холдейна не могло быть отпуска до августа.

— Позвоните ему на квартиру, Джон, позвоните ему на квартиру, — настаивал он. — Поговорите с его женой. Выясните, что с ним случилось.

Эйвери был так поражен, что даже не знал, что сказать: эти двое двадцать лет работали бок о бок, и даже Эйвери знал, что Холдейн не женат.

— Выясните, где он, — настаивал Вудфорд. — Приступайте, я приказываю, звоните ему домой.

Так он и сделал. Он мог сказать Вудфорду, что-

бы тот позвонил сам, но не хватило смелости. Трубку взяла сестра Холдейна. Холдейн лежал в постели, его грудь разрывал кашель; он отказался сообщить ей телефон Департамента. Взгляд Эйвери скользнул по календарю, и вдруг он понял, почему Вудфорд так разволновался: начало квартала, Холдейн мог, не предупредив Вудфорда, поступить на новую работу в другое место и уйти из Департамента. Спустя день или два, когда Холдейн появился вновь, Вудфорд стал проявлять к нему необычную теплоту, мужественно заставляя себя не замечать его выходок; он был благодарен ему за возвращение. Через некоторое время Эйвери охватил страх. Вера его была поколеблена, он возвращался мыслями к тому, во что верил.

Он заметил, что они приписывали друг другу легендарные качества, — это был заговор, в котором участвовали все, кроме Холдейна. Леклерк, например, представляя Эйвери сотруднику вышестоящего Министерства, редко когда воздерживался от замечания: «Из наших звезд Эйвери — самая яркая»; или — чинам повыше: «Джон — моя память. Спросите у Джона». Они легко прощали друг другу ошибки, потому что не допускали мысли, ради своего же спокойствия,

что в Департаменте было место для дураков. Он понял, что Департамент предоставлял укрытие от сложностей современной жизни, там еще существовали государственные границы. Служащие Департамента, наподобие монахов, придавали ему, как своей обители, мистическую значимость: эта обитель царила над неуверенными в себе, греховными людьми, какими они были. Они могли цинично относиться к качествам друг друга, презирать свои собственные иерархические заботы, но их вера в Департамент была выше всего этого, и они называли ее патриотизмом.

Вот почему, когда он посмотрел на темнеющее под самолетом море, на холодные лучи солнца, скользящие по волнам, он почувствовал, как его сердце переполняется любовью. Вудфорд, со своей трубкой и прямым характером, стал частью той тайной элиты, к которой теперь принадлежал Эйвери. Холдейн, прежде всех Холдейн, со своими кроссвордами и странностями, играл роль бескомпромиссного интеллектуала, раздражительного и высокомерного. Жаль, что он был груб с Холдейном. А взять Деннисона и Мак-Каллоха: несравненные технические специалисты, тихие люди, молчаливые на собраниях, но неутомимые и всегда доказывающие свою правоту. Он был

благодарен Леклерку, сердечно благодарен за привилегию быть знакомым с этими людьми, за радость от полученного задания; за возможность сделать шаг от неопределенности прошлого к опыту и зрелости, стать мужчиной и работать плечом к плечу с другими, прошедшими через огонь войны: он был благодарен за четкость приказа, который привел в порядок сумятицу в его сердце. Он представил себе, что, когда Энтони немного подрастет, его тоже можно будет повести по этим обшарпанным коридорам, представить старине Пайну, который со слезами на глазах встанет в своей будке и тепло пожмет нежную руку мальчика.

Для Сары роль в этой сцене была не предусмотрена.

Эйвери легонько прикоснулся к кончику продолговатого конверта во внутреннем кармане. Там были деньги: двести фунтов в голубом конверте с правительственной короной. Он слыхал, что во время войны такие конверты зашивали в подкладку, и он пожалел, что для него не сделали то же. Ребячество, конечно; он даже улыбнулся, поймав себя на детской фантазии.

Ему вспомнился Смайли в то утро; теперь он понимал, что Смайли его просто немного напу-

гал. И вспомнился ребенок у двери. Мужчина не должен поддаваться чувствам.

* * *

— Ваш муж проделал замечательную работу, — говорил Леклерк. — Подробности я рассказывать не могу. Поверьте, он мужественно принял смерть.

У нее был некрасивый рот, к губам что-то прилипло. Леклерк никогда не видел столько слез: они текли как кровь из свежей раны.

— Что значит — мужественно? — Она зажмурилась. — Мы ни с кем не воюем. Хватит, это пустой разговор. Он умер, — оцепенело сказала она и уткнулась лицом в согнутую руку, лежавшую на обеденном столе как сломанная кукла. Ребенок таращился из угла.

— Я полагаю, — сказал Леклерк, — что получил ваше согласие на ходатайство о пенсии. Вы должны все предоставить нам. Чем скорее мы позаботимся об этом, тем лучше. От пенсии, — объявил он, как если бы оглашал девиз своего дома, — зависит очень многое.

* * *

Консул ждал у паспортного контроля; он шагнул навстречу Эйвери не улыбнувшись, по обязанности.

— Вы Эйвери? — спросил он.

Эйвери окинул взглядом высокого человека с суровым красным лицом. Он был в мягкой фетровой шляпе и темном плаще. Они пожали руки друг другу.

— Вы британский консул, мистер Сазерлэнд.

— Консул Ее Величества, вообще говоря, — немного язвительно ответил он. — Разница есть. — Он говорил с шотландским акцентом. — Как Вы узнали мое имя?

Они прошли вместе к главному входу. Все было очень просто. Эйвери заметил девушку за стойкой, блондинку и довольно красивую.

— Спасибо, что приехали меня встречать, — сказал Эйвери.

— Тут от города всего три мили.

Они забрались в машину.

— Несчастье случилось недалеко отсюда, там, на дороге, — сказал Сазерлэнд. — Хотите посмотреть место?

— Да, пожалуй. Потом расскажу матери.

На нем был черный галстук.

— Вас зовут Эйвери, не так ли?

— Именно так, вы видели мой паспорт у стойки.

Консулу это не понравилось, и Эйвери уже сожалел о том, что сказал. Саэрлэнд завел мотор. Он выруливал на середину дорога, когда сзади выскочил «ситроэн» и стремительно обогнал их.

— Болван! — рявкнул Сазерлэнд. — Дорога скользкая. Наверно, какой-нибудь летчик. Привык к сверхскоростям.

Они успели заметить форменную фуражку в заднем стекле быстро удалявшейся машины, следом взметалось снежное облачко, дорога во всю длину лежала через дюны.

— Где вы живете? — спросил он.

— В Лондоне.

Сазерлэнд указал прямо перед собой:

— Вон там погиб ваш брат. На обочине. В полиции считают, что водитель был навеселе. Знаете ли, в здешних местах с теми, кто пьет за рулем, разговор короткий.

Казалось, это было предупреждение. Эйвери глядел на заснеженные просторы с обеих сторон и представлял себе одинокого англичанина Тэйлора: как он с трудом бредет по дороге, как его

близорукие глаза слезятся от холода.

— Потом сходим в полицию, — сказал Саэрлэнд. — Нас ждут. Вам расскажут все подробности. Вы забронировали себе номер?

— Нет.

Когда они достигли верхней точки подъема, Сазерлэнд сказал со сдержанной вежливостью:

— Здесь как раз, если желаете выйти.

— Не беспокойтесь.

Сазерлэнд прибавил газу, будто хотел побыстрей уехать с того места.

— Ваш брат шел в гостиницу, в «Регину», сюда вот. Такси не было.

Теперь они спускались по склону с другой стороны; Эйвери увидел дальние огни гостиницы.

— На самом деле очень близко, — заметил Сазерлэнд. — Он добрался бы за пятнадцать минут. Даже меньше. Где живет ваша мать?

Вопрос застал Эйвери врасплох.

— В Вудбридже — в Саффолке.

Там проходили дополнительные выборы, это был первый город, который он вспомнил, хотя он не интересовался политикой.

— Почему он не вписал ее?

— Извините, не понял.

— Как ближайшую родственницу. Почему Ма-

лаби не вписал мать вместо вас?

Может быть, вопрос и не был целенаправленным; может, он просто хотел, чтобы Эйвери что-нибудь говорил, потому что молчание тягостно; тем не менее это действовало на нервы. Он утомился с дороги, он хотел, чтобы его принимали за того, за кого он себя выдавал, а не подвергали допросу. Он теперь понял, что недостаточно разработал предполагаемую родственную связь между Тэйлором и собой. Что Леклерк передал по телексу — единоутробный или сводный он брат? Он торопливо попытался представить себе цепочку семейных событий, смерть, новый брак или раздельную жизнь, которые помогли бы ему ответить на вопрос Сазерлэнда.

— Вот гостиница, — вдруг сказал консул и потом:

— Мне, впрочем, какое дело. Кого хотел, того и вписал.

Раздраженность была привычкой и своего рода философией Сазерлэнда. Он говорил так, будто каждое его слово противоречило общепринятой точке зрения.

— Ей много лет, — наконец сказал Эйвери. — Он, наверно, думал, как защитить ее от возможного удара. Наверно, он думал об этом, когда запол-

нял паспортную анкету. Она много болела, у нее плохое сердце. Перенесла операцию. — Это прозвучало слишком по-детски.

— А-а.

Они подъехали к городским окраинам.

— Будет вскрытие, — сказал Сазерлэнд. — По закону, как здесь принято, в случае насильственной смерти.

Леклерку это не понравится. Сазерлэнд продолжал:

— Для нас формальности только усложняются. Уголовная полиция не выдаст тело до окончания вскрытия. Я попросил, чтобы побыстрее, но очень их торопить мы не можем.

— Спасибо. Я думаю отправить тело в Англию самолетом. — Когда с главной дороги они свернули на рыночную площадь, Эйвери спросил невзначай, будто не был заинтересован:

— А как личные вещи? Не забрать ли мне их сразу?

— Вряд ли полиция их вам отдаст, прежде чем получит санкцию прокурора. Он изучает данные вскрытия, потом дает разрешение. Ваш брат ставил завещание?

— Понятия не имею.

— И наверно, не знаете, душеприказчик вы

или нет?

— Не знаю.

Сазерлэнд сухо усмехнулся.

— Извините, у меня такое чувство, что вы еще не вполне созрели. Ближайший родственник и душеприказчик — не одно и то же, — сказал он. — Боюсь, что у вас нет никаких прав, за исключением того, как поступить с телом. — Он замолчал, повернул голову назад и подал машину задним ходом, чтобы поставить ее на свободное место. — Даже если полиция передаст мне личные вещи вашего брата, я должен буду держать их у себя, пока не получу соответствующего указания из Форин Офис, а они, — быстро продолжил он, потому что Эйвери хотел перебить его, — мне такого указания не дадут, пока не будет оформлен документ о передаче вам прав на наследство или о полномочиях на управление наследством. Но я могу вам выдать свидетельство о смерти, — прибавил он в утешение, открывая дверцу, — если требуется для страховой компании. — Он искоса посмотрел на Эйвери, будто прикидывал, рассчитывает ли Эйвери на какое-то наследство. — Пять шиллингов вам будет стоить регистрационная запись в консульстве и пять шиллингов заверенная копия. Что вы сказали?

— Ничего.

Они поднимались по ступенькам в полицейское отделение.

— Нам придется встретиться с инспектором Пеерсеном, — заметил Сазерлэнд. — Он вполне хорошо к нам относится. С вашего позволения, разговор я возьму на себя.

— Конечно.

— Он мне очень помогает улаживать вопросы, связанные с ПБП.

— С чем?

— С Происшествиями с Британскими Подданными. В летний сезон у нас по одному ПБП на день. Просто позор. Между прочим, ваш брат не выпивал? По некоторым признакам он был…

— Возможно, — сказал Эйвери. — Я очень мало с ним общался последние несколько лет.

Они вошли в отделение.

* * *

Леклерк осторожно поднимался по широким ступеням Министерства. Оно находилось между Уайтхолл Гарденз и рекой, огромный обновленный портал окружали те ложноклассические статуи, которые так радуют глаз столичного начальства. Частично модернизированное здание

охранялось сержантами с красными повязками; оно было оборудовано двумя эскалаторами; тот, что двигался вниз, был полон: рабочий день кончился.

— Я вынужден, — робко начал Леклерк, обращаясь к замминистра, — я вынужден просить Министра разрешить новый разведывательный полет.

— Не теряйте попусту время, — твердо сказал тот. — Последний полет и так вызывал достаточно опасений. Од принял стратегическое решение — полетов больше не будет.

— Даже с задачей такого рода?

— Именно с задачей такого рода.

Замминистра прикоснулся пальцами к ящику для входящих бумаг — так управляющий банком прикасается к выписке счета.

— Вам придется придумать что-нибудь другое, — сказал он. — Что-нибудь другое. Нет ли какого безболезненного пути?

— Никакого. Можно попробовать спровоцировать побег из страны, из того района. Но это длинная история. Листовки, пропаганда по радио, денежные приманки. Это хорошо срабатывало во время войны. Придется иметь дело с множеством людей.

— Все это едва ли выполнимо.

— Да. Теперь многое изменилось.

— Так есть еще какой путь? — настаивал он.

Леклерк опять улыбнулся, словно хотел помочь другу, но не умел творить чудеса.

— Агент. Краткосрочная операция. Туда и обратно — неделя на все.

Замминистра сказал:

— Но кого вы найдете для такой работы? В наши-то дни?

— Кого, в самом деле? Дело очень рискованное.

Кабинет замминистра был большой, но темный, с рядами книжных полок. Модернизация дошла до его личной канцелярии, отделанной в современном стиле, и остановилась. Кабинету придется подождать, пока он выйдет на пенсию. В мраморном камине горел газ. На стене висела картина морской битвы, написанная маслом. Были слышны гудки барж в густом тумане. Будто все это происходило у моря.

— Калькштадт довольно близко от границы, — сказал Леклерк. — Мы бы не стали брать самолет из тех, что летают по расписанию. Мы бы организовали учебный полет, сбились с курса. Так делалось прежде.

— Именно так, — сказал замминистра и про-

должил:

— Этот ваш человек, который умер…

— Тэйлор?

— Меня не интересует, как его звали. Он был убит, верно?

— Это не доказано, — сказал Леклерк.

— Но вы-то считаете, что его убили?

Леклерк терпеливо улыбнулся:

— Я считаю, что мы оба знаем, как опасно делать обобщающие заключения, когда речь идет о стратегическом решении. Я все же прошу разрешить еще один полет.

Замминистра покраснел:

— Я сказал вам, исключается. Нет! Теперь ясно? Мы говорили об альтернативах.

— Есть одна альтернатива, которая, по-моему, почти не затронет мой Департамент. Это, скорее, дело для вас и Форин Офис.

— Да?

— Дайте намек лондонским газетам. Постарайтесь, чтобы материал давали как можно шире. Напечатайте фотографии.

— И?..

— Наблюдайте за ними. Наблюдайте за восточными немцами и советскими дипломатами, следите за их контактами. Бросьте камень в гнез-

до и смотрите, что будет.

— Я вам точно скажу, что будет. Протест со стороны американцев, от которого эти стены будут дрожать лет двадцать.

— Естественно. Я забыл об этом.

— Тогда считайте, что вам повезло. Вы предлагали забросить агента.

— Только гипотетически. У нас нет конкретного человека.

— Послушайте, — сказал замминистра с категоричностью многоопытного человека. — Позиция Министра очень проста. От вас поступило донесение. Если оно правдивое, оно должно изменить нашу систему обороны. И вообще оно должно все изменить. Терпеть не могу сенсаций, Министр тоже. Если уж собаки подняли зайца, вы по меньшей мере должны по нему выстрелить.

Леклерк сказал:

— Предположим, я нашел нужного человека, тогда надо изыскивать ресурсы. Деньги, снаряжение. Возможно, расширение штатов. Транспорт. В то время как перелет…

— Почему вы создаете так много трудностей? Насколько я понимаю, вы и ваши люди существуете как раз для таких вещей.

— Это входит в нашу компетенцию. Но нас ведь

сокращали, как вы знаете. Мы потеряли много. Некоторые функции нашего Департамента утрачены, если говорить честно. Я никогда не пытался повернуть стрелку часов в обратную сторону. В конце концов, — тонкая улыбка, — наше положение немного анахронистично.

Замминистра поглядел из окна на огни у реки.

— А по-моему, даже очень современное. Ракеты и прочее. Не думаю, чтобы Министру это представлялось анахронизмом.

— Я имею в виду не цель, а способ нападения: потребуется операция по прорыву границы. Со времени окончания войны этого почти никто не делал. Впрочем, это один из приемов тайной войны, который традиционно входит в компетенцию моего Департамента. Или входил.

— К чему вы клоните?

— Я всего только размышляю вслух. Вполне вероятно, что Цирк лучше нас оснащен для подобного дела. Может быть, вам стоит поговорить с Контролем. Мои специалисты по вооружению окажут ему поддержку.

— То есть вы думаете, что сами не справитесь?

— Мой Департамент, в его теперешнем виде, нет. А Контроль может. Если, конечно, Министр не будет против, чтобы подключить еще одно

ведомство. Точнее, два. Я не знал, что вас так беспокоит огласка.

— Два?

— Контролю придется доложить в Форин Офис. Это его обязанность. Так же как я докладываю вам. И тогда голова будет болеть у них.

— Если они узнают, — сказал с презрением замминистра, — на другой день это будет обсуждаться в каждом вшивом клубе.

— Такая опасность есть, — признал Леклерк. — Я подозреваю, в частности, что у Цирка нет специалистов по военным объектам. Ракетная установка — это сложное дело: стартовые платформы, пламеотбойные щиты, кабельные трассы; информация об этих вещах требует соответствующей обработки и оценки. Мне кажется, мы с Контролем могли бы объединить силы…

— Это исключено. Вы не умеете работать вместе. Если бы ваше сотрудничество и было успешным, это противоречило бы нашему принципу: не допускать монолита.

— Ах да, конечно.

— Предположим, вы займетесь этим сами; предположим, вы найдете человека; что еще потребуется?

— Дополнительные расчеты. Срочное предо-

ставление средств. Расширение штата. Тренировочный центр. Покровительство Министерства; спецпропуска и полномочия. — И опять укол ножом:

— И небольшая помощь Контроля… мы могли бы получить ее под каким-нибудь предлогом.

Над водой расплывалось жалобное эхо гудящих в тумане кораблей.

— Если иначе нельзя…

— Может быть, вы доложите Министру, — сказал Леклерк.

Пауза. Леклерк продолжал:

— В практическом смысле — нам нужно порядка тридцати тысяч фунтов.

— Подотчетных?

— Частично. По-моему, вы не хотели знать подробности.

— За исключением финансовых. Знаете, подготовьте записку о ваших расходах.

— Отлично. Набросаю в общих чертах.

Снова пауза.

— Едва ли это самая большая сумма по сравнению с риском, — сказал себе в утешение замминистра.

— С потенциальным риском. Мы хотим внести ясность. Я не делаю вид, что убежден. Просто

подозрение, очень серьезное подозрение. — Он добавил — не смог сдержаться:

— Цирк бы запросил вдвое больше. Им слишком легко дают деньги.

— Тридцать тысяч фунтов, значит, и наше покровительство?

— И человек. Но я должен найти его сам.

Короткий смешок. Замминистра резко сказал:

— Кое-какие детали Министр знать не захочет. Вам понятно?

— Конечно. По-моему, в основном говорить будете вы.

— А мне кажется, Министр. Вам удалось его сильно встревожить.

Леклерк заметил с ехидной почтительностью:

— Мы не должны так поступать с нашим руководителем, с нашим общим руководителем.

У замминистра было такое выражение лица, будто он не чувствовал, что над ним есть еще начальство. Они встали.

— Кстати, — сказал Леклерк, — о пенсии миссис Тэйлор. Я написал ходатайство в Министерство финансов. Там считают, что нужна подпись Министра.

— Боже мой, почему?

— Вопрос в том, был ли он убит при исполне-

нии.

Замминистра оцепенел.

— Какая бесцеремонность! Вы просите Министра подтвердить, что Тэйлор был убит.

— Я прошу о пенсии для вдовы, — с достоинством возразил Леклерк.

— Он был одним из моих лучших людей.

— Разумеется. Они все лучшие.

Министр не поднял глаз, когда они вошли.

* * *

А инспектор полиции поднялся со стула — маленький, толстый, с выбритой шеей. Он был одет в штатское. Эйвери предположил, что он детектив. Он пожал им руки с видом профессионального соболезнования, усадил их в современные стулья с тиковыми подлокотниками и предложил сигареты в жестяной коробке. Они отказались, тогда он закурил одну сам, и дальше она играла роль как бы удлинителя его коротких пальцев, когда он жестикулировал, и служила инструментом для рисования, когда в наполненном дымом воздухе он принимался очерчивать предметы, о которых говорил. Он то и дело отдавал должное печали Эйвери, погружая подбородок внутрь воротника и бросая интимно-сочувственный

взгляд из-под нахмуренных бровей. Вначале он рассказал обстоятельства происшествия, с утомительными подробностями расхваливая усилия полицейских в поисках машины, часто упоминал личную озабоченность начальника полиции, известного англомана, и выразил убеждение, что преступник будет найден и наказан по всей строгости финского закона. Некоторое время он говорил о своей любви к англичанам, восхищался королевой и сэром Уинстоном Черчиллем, рассуждал о преимуществах финского нейтралитета и наконец перешел к разговору о покойнике.

Вскрытие, с гордостью говорил он, завершено, и мистер прокурор (его собственные слова) объявил, что обстоятельства смерти мистера Малаби не дают повода для подозрений, несмотря на значительное присутствие в крови алкоголя. Бармен в аэропорту говорил о пяти порциях Штайнхегера. Он повернулся к Сазерлэнду.

— Он хочет видеть брата? — спросил он, явно предполагая особый такт в обращении в третьем лице.

Сазерлэнд смутился.

— Это как мистер Эйвери, — сказал он, как если бы дело было вне его компетенции. Оба посмотрели на Эйвери.

— Пожалуй, нет, — сказал Эйвери.

— Есть у нас одно затруднение. С установлением личности. — сказал Пеерсен.

— С установлением личности? — повторил Эйвери. — Моего брата?

— Вы видели его паспорт, — вставил Сазерлэнд, — до того как послали мне. В чем затруднение?

Полицейский кивнул:

— Да, да.

Он открыл ящик и вынул несколько писем, бумажник, и какие-то фотографии.

— Его звали Малаби, — сказал он. По-английски он говорил бегло, с тяжелым американским выговором, который хорошо сочетался с сигарой. — У него был паспорт на имя Малаби. Паспорт в порядке, верно?

Пеерсен взглянул на Сазерлэнда. На секунду Эйвери показалось, что озабоченное лицо Сазерлэнда выражайте искреннее сомнение.

— Конечно.

Пеерсен начал раскладывать письма — одни в стопку перед собой, другие обратно в ящик. То и дело, добавляя в пачку письмо, он бормотал: «Так, так» или «Да, да». Эйвери чувствовал, что вспотел, что у него стали влажные ладони.

— Значит, вашего брата звали Малаби? — опять спросил он, закончив перекладывать письма.

Эйвери кивнул.

— Разумеется.

Пеерсен улыбнулся.

— Не разумеется, — сказал он, направив на него свою сигару и дружелюбно кивнув, как если бы предлагал какой-то вопрос на обсуждение. — Все личные вещи, письма, одежда, водительские права — все принадлежит мистеру Тэйлору. Вы знаете что-нибудь о Тэйлоре?

У Эйвери в голове появилась ужасная тяжесть. Конверт, что делать с конвертом? Пойти в уборную, уничтожить, пока не поздно? Но могут остаться следы: конверт был плотный и блестящий. Даже если его разорвать, на поверхности будут плавать кусочки. Он чувствовал, что на него смотрят Пеерсен и Сазерлэнд, ожидая, когда он заговорит, он не мог думать ни о чем, кроме конверта, который оттягивал его внутренний карман.

Ему удалось произнести:

— Нет, не знаю. У нас с братом… — сводным или единоутробным? — …У нас с братом мало было общего. Он был старше. И росли мы, в общем, не вместе. Он работал в самых разных местах, во

многих местах, он никогда не мог на чем-нибудь остановиться. Может быть, этот Тэйлор был его другом… который… — Эйвери пожал плечами, мужественно пытаясь дать понять, что Малаби для него тоже был немного загадкой.

— Сколько вам лет? — спросил Пеерсен. Уважение к горю Эйвери начинало таять.

— Тридцать два.

— А Малаби? — быстро спросил он как бы между прочим. — На сколько он лет вас старше?

Сазерлэнд и Пеерсен видели его паспорт в знали возраст. Обычно возраст тех, кто умер, запоминается. Только Эйвери, его брат, понятия не имел, сколько было лет умершему.

— На двенадцать, — рискнул он. — Брату было сорок четыре. Зачем надо было говорить лишние слова?

Пеерсен поднял брови:

— Только сорок четыре? Тогда и паспорт никуда не годится.

Пеерсен повернулся к Сазерлэнду, махнул сигарой в сторону двери на дальнем конце комнаты и со счастливым видом сказал, как если бы закончил давний спор с друзьями:

— Ну, теперь вы видите, почему у меня затруднение с установлением личности.

У Сазерлэнда вид был очень рассерженный.

— Хорошо бы мистер Эйвери взглянул на тело, — предложил Пеерсен, — для уверенности.

Сазерлэнд сказал:

— Инспектор Пеерсен, личность мистера Малаби установлена по паспорту. В Лондоне в Форин Офис подтвердили, что мистер Малаби вписал имя мистера Эйвери как ближайшего родственника. Вы сказали, что в обстоятельствах смерти нет ничего подозрительного. Согласно существующему порядку вы теперь передаете его личные вещи мне на хранение до завершения формальностей в Соединенном Королевстве. Мистер Эйвери, вероятно, может заняться телом своего брата.

Пеерсен как будто раздумывал. Он вытащил остальные бумаги Тэйлора из железного ящика в столе, присовокупил их к тем, что лежали перед ним в стопке. Он позвонил кому-то и говорил по-фински. Через несколько минут младший по чину принес старый кожаный саквояж и опись личных вещей, которую Сазерлэнд подписал. На протяжении всего этого времени ни Эйвери, ни Сазерлэнд не обменялись ни словом с инспектором.

Пеерсен проводил их до самого парадного вхо-

да. Сазерлэнд настоял на том, чтобы самому нести саквояж и бумаги. Они пошли к машине, Эйвери ждал, когда Саэрлэнд заговорит, но тот ничего не сказал. Они ехали минут десять. Город был плохо освещен. Эйвери заметил, что дорога была чем-то полита и две полосы были чистые. Середину и канавы все еще покрывал снег. Почему-то вспомнилось, как ездят верхом в Сент-Джеймском парке, чего сам он никогда не делал. Уличные фонари распространяли болезненный неоновый свет, который будто сжимался перед наступающей темнотой. Время от времени Эйвери замечал покатые деревянные крыши, стук трамвая или высокую белую шляпу полицейского.

Изредка он бросал взгляд через заднее стекло.

Глава 7

Вудфорд стоял в коридоре и курил трубку, провожая саркастической улыбкой уходивших сотрудников. Это был его любимый час. Утром было по-другому. По традиции младший состав приходил в полдесятого; офицерские чины — в десять или четверть одиннадцатого. Предполагалось, что старшие сотрудники Департамента засиживаются вечером допоздна, приводя в по-

рядок бумаги. Джентльмены, любил говорить Леклерк, часов не наблюдают. Обычай велся с войны, когда офицеры работали ранним утром, опрашивая летчиков, вернувшихся из разведывательных полетов, или поздней ночью, когда готовили агента к отправке. Младший состав в те дни работал посменно, но не офицеры, которые находились на работе столько, сколько было необходимо. Теперь традиция служила для другого. Теперь случались дни, а часто и недели, когда Вудфорд и его коллеги не знали, чем занять время до пяти тридцати; кроме Хол-дейна, который своими сутулыми плечами поддерживал репутацию Департамента в области исследований. Остальные готовили черновые проекты, которые никогда не рассматривались, тихо пререкались между собой по поводу отпуска, дежурств, обсуждали качество государственной мебели, с излишним рвением обсуждали штатное расписание в своем отделе.

Шифровальщик Берри вошел в коридор, нагнулся и надел велосипедные зажимы.

— Как жена, Берри? — спросил Вудфорд. Мужчина должен быть в курсе всего.

— Очень хорошо, спасибо, сэр. — Он выпрямил спину, провел гребнем по волосам. — Как ужасно,

сэр, с Тэйлором.

— Ужасно. Он был хорошим разведчиком.

— Мистер Холдейн запирает сектор регистрации, сэр. Останется допоздна.

— Да? Ну, у нас у всех теперь дел по горло.

Берри понизил голос:

— И босс ночует в учреждении, сэр. Прямо какой-то кризис. Говорят, он поехал к Министру. За ним выслали машину.

— Спокойной ночи, Берри.

Слишком много говорят, сделал заключение Вудфорд в неторопливо зашагал по коридору.

Свет в кабинете Холдейна шел от подвижной настольной лампы. Яркий сноп лучей падал на досье перед ним, высвечивая контуры лица и кисти рук.

— За поздней работой? — спросил Вудфорд.

Холдейн отложил одно досье и взял другое.

— Интересно, как там молодой Эйвери; он справится, наш мальчик. Я слыхал, босс еще не вернулся. Значит, долгое совещание, — говорил Вудфорд, устраиваясь в кожаном кресле. Оно было собственностью Холдейна, он привез его из своей квартиры, чтобы, сидя в нем после обеда, решать кроссворды.

— Почему вы уверены, что он справится? Он

еще ни разу ничего такого не делал, — не поднимая глаз, сказал Холдейн.

— Как у Кларка прошло с женой Тэйлора? — спросил теперь Вудфорд. — Как она себя вела, когда услышала?

Холдейн вздохнул, отодвигая досье:

— Он сообщил ей. Вот все, что я знаю.

— Вы не знаете, как она себя вела? Он не сказал вам?

Вудфорд всегда говорил немного громче, чем необходимо, потому что ему приходилось соревноваться с женой.

— Понятия не имею. Насколько я знаю, он пошел один. Леклерк предпочитает не распространяться о таких вещах.

— Я думал, может, с вами…

Холдейн покачал головой:

— Только разве Эйвери.

— То серьезное дело, Эйдриан, оно… возможно?

— Возможно. Увидим, — мягко сказал Холдейн. Изредка он бывал мягким с Вудфордом.

— Ничего нового по поводу Тэйлора?

— Атташе по авиации в Хельсинки нашел Лансена. Тот подтверждает, что передал пленку Тэйлору. Русские его перехватили над Кальк-

штадтом; два МИГа. Преследовали некоторое время, потом удалились.

— Боже, — оцепенело сказал Вудфорд. — Тепепь все становится ясно.

— Ничего подобного; это просто не противоречит тому, что мы знаем, и только. Если район объявлен закрытым, почему его не патрулировать? Скорее всего, его закрыли, чтобы провести учения, маневры на земле и в воздухе. Почему они не заставили Лансена сесть? Из всего этого никаких заключений делать нельзя.

В дверях стоял Леклерк. На нем был чистый воротничок для Министра и черный галстук для Тэйлора.

— Я приехал на машине, — сказал он. — Нам дали одну из министерских на неопределенное время. Министр был очень огорчен, когда узнал, что у нас своей нет. Это «хамбер», с шофером, как у Контроля. Мне сказали, что шофер — человек надежный. — Он посмотрел на Холдейна. — Я принял решение создать Специальный отдел, Эйдриан. Хочу, чтобы вы его возглавили. А исследовательский я на время передам Сэндфорду. Перемена пойдет ему на пользу. — Его лицо расплылось в улыбке, словно он больше не мог сдерживать себя. Он был очень возбужден. — Мы

будем забрасывать агента. Министр дал согласие. Немедленно приступаем к работе. Завтра утром я прежде всего хочу видеть завотделами. Эйдриан, вам я выделяю Вудфорда и Эйвери. Брюс, держите связь с мальчиками; свяжитесь с теми, кто прежде готовил наших агентов. Министр финансирует трехмесячные контракты на временное расширение штатов. Никаких лишних расходов, разумеется. Программа обычная: радиосвязь, обращение с оружием, шифры, наблюдение, рукопашный бой и легенда. Эйдриан, нам понадобится дом. Может быть, домом займется Эйвери, когда приедет. Насчет документов я поговорю с Контролем: специалисты по подделке все перешли к нему. Нам понадобится описание границ в районе Любека, донесения беглецов, подробности о минных полях и заграждениях. — Он взглянул на часы. — Эйдриан, мы можем поговорить?

— Скажите мне одно, — сказал Холдейн. — Что об этом знает Цирк?

— Только то, что мы им рассказываем. Почему вы спрашиваете?

— Они знают, что погиб Тэйлор. Все на Уайтхолл знают.

— Возможно.

— Они знают, что Эйвери поехал в Финляндию

за пленкой. Очень вероятно, что они заметили донесение о, самолете Лансена в Центре безопасности полетов. Они умеют подмечать мелочи…

— Так что же?

— Значит, они могут знать не только то, что мы им скажем?

— Вы придете на завтрашнее собрание? — немного жалобно спросил Леклерк.

— Мне кажется, суть моих обязанностей я понял. Если вы не возражаете, я хотел бы заняться выяснением некоторых вещей. Сегодня вечером и, возможно, завтра.

Леклерк сказал озадаченно:

— Отлично. Чем могу вам помочь?

— Можно будет на час воспользоваться вашей машиной?

— Конечно. Пусть все ездят — для общей пользы. Эйдриан, это вам. — Он вручил ему зеленую карточку в целлофане. — Министр лично подписал.

Можно было подумать, что подпись имела несколько градаций святости.

— Так вы сделаете это, Эйдриан? Возьметесь за это дело?

Холдейн будто не слышал. Он снова открыл досье и с любопытством разглядывал фотографию

польского парня, сражавшегося с немцами двадцать лет назад. Молодое строгое лицо, без тени улыбки. На нем, казалось, выражались мысли не о жизни, а о том, как выжить.

— Значит, Эйдриан, — вдруг воскликнул Леклерк с облегчением, — вы приняли вторую присягу!

Холдейн нехотя улыбнулся, будто эти слова вызвали в его памяти нечто, как он думал, давно забытое.

— Похоже, он везде сумеет выжить, — заметил он, заключительным жестом указывая на досье. — Такого убить не просто.

* * *

— Как ближайшему родственнику, — начал Сазерлэпд, — вам предоставлено право заявить о своем желании, как поступить с телом вашего брата.

— Да.

У Сазерлэнда был небольшой дом, окно в его комнате было заставлено цветами в горшках — как на картинке. Только цветами он отличался снаружи и внутри от такого же дома в английском пригороде, скажем Абердина. Пока они шли, Эйвери заметил в окне женщину средних лет в

фартуке. Она вытирала пыль. Ему вспомнилась миссис Йейтс со своей кошкой.

— С другой стороны дома у меня приемная, — сказал Сазерлэнд, словно хотел дать понять, что не весь дом купается в роскоши. — Давайте закончим с оставшимися деталями. Я вас долго не задержу. — Это означало, что он не пригласит Эйвери к. ужину. — Как вы предполагаете отправить его обратно в Англию?

Они сели по разные стороны письменного стола. Над головой Сазерлэнда висела акварель: розовато-лиловые холмы отражались в шотландском озере-Я думаю отправить самолетом.

— Вы знаете, что это довольно дорого?

— Я все равно хочу самолетом.

— Чтобы потом похоронить?

— Разумеется.

— Вовсе не «разумеется», — неприязненно возразил Сазерлэнд. — Если бы вашего брата, — произнес он, как бы заключив эти слова в кавычки, но желая доиграть игру до конца, — должны были кремировать, правила воздушной перевозки были бы совершенно другие.

— Понятно. Спасибо.

— У нас в городе есть похоронное бюро, Барфорд и Компания. Один из партнеров — англичанин,

женат на шведке. Среди национальных меньшинств шведов здесь очень много. Мы стараемся поддерживать британское землячество. На сегодняшний день я бы рекомендовал вам возвращаться в Лондон как можно скорее. Я предлагаю, чтобы вы меня уполномочили воспользоваться услугами Барфорда.

— Хорошо.

— Как только он получит тело, я отдам ему паспорт вашего брата. Ему потребуется медицинская справка, в которой будет указана причина смерти. Я свяжу его с Пеерсеном.

— Да.

— Ему также понадобится свидетельство о смерти из местного отдела загса. Выходит дешевле, когда занимаешься подобными делами сам. Если для близких деньги имеют значение.

Эйвери ничего не сказал.

— Когда он найдет подходящий рейс, он оформит доверенность на груз и транспортную накладную. Насколько я понимаю, такого рода вещи обычно перевозят ночью. Меньше стоимость перевозки и…

— Меня это устраивает.

— Очень хороню. Барфорд проверит герметичность гроба. Он может быть железным или

деревянным. Он также подготовит документ за своей подписью, что гроб не содержит ничего, кроме тела, того самого тела, на которое выписан паспорт и свидетельство о смерти. Я вам рассказываю об этом, потому что вы будете встречать груз в Лондоне. Варфорд все сделает очень быстро, Я позабочусь об этом. У него есть знакомства в чартерных компаниях. Чем скорее он…

— Я понял.

— Я не уверен, что вы поняли. — Сазерлэнд поднял брови, будто Эйвери сказал ему что-то вызывающее. — Пеерсен — человек очень покладистый. Мне не хочется испытывать его терпение. У Барфорда в Лондоне есть аналогичная фирма — ведь речь идет о Лондоне?

— Да.

— Я думаю, какую-то сумму надо отдать ему заранее. Я предлагаю вам оставить деньги под расписку. Что касается личных вещей вашего брата, я так понял, что тот, кто вас послал, хотел получить эти письма? — Он пододвинул их к Эйвери.

Эйвери пробормотал:

— Там была пленки, непроявленная.

Письма он положил в карман. Сазерлэнд осторожно извлек копию описи личного имущества,

которую он подписал в полицейском отделении, развернул перед собой и подозрительно провел пальцем сверху вниз по левой колонке, словно проверял чьи-то цифры.

— Пленка здесь не отмечена. Был еще фотоаппарат?

— Нет.

— А-а.

Он проводил Эйвери до двери.

— Скажите тем, кто вас послал, что паспорт Малаби был недействительный. Я получил циркуляр из Форин Офис по поводу группы номеров, двадцати с небольшим. У вашего брата был один из них. Видно, накладка. Я уже готовил донесение, когда из Форин Офис пришел телекс подтверждающий ваше право на личные вещи Малаби. — Он коротко рассмеялся. Он был очень зол. — Это была дичь, конечно. Из Форин Офис никогда бы не отправили такое по собственной воле. Их телекс ничего не значит, если у нас нет полномочий на управление наследством, который посреди ночи вам никто предоставить не мог. Вам есть где остановиться? «Регина» — хорошая гостиница, рядом с аэропортом. И за городом. Я думаю, вы найдете дорогу. Кажется, вашим людям отлично платят.

Быстрым шагом Эйвери удалялся от дома Са-

зерлэнда, чье сухое враждебное лицо на фоне шотландских холмов врезалось ему в память. В темноте вдоль дороги белели деревянные домики, как тени вокруг операционного стола

* * *

Где-то недалеко от Чаринг Кросс, в подвале одного из тех удивительных домов восемнадцатого века, которые находятся между улицей Вилье и рекой, есть клуб без таблички на дверях. Чтобы в него попасть, нужно спуститься по каменной винтовой лестнице. Перила, так же как и деревянные части дома на Блэкфрайерз Роуд, выкрашены в темно-зеленый цвет и требуют замены.

Члены клуба — странное сборище. Одни из военных, другие — преподаватели, третьи — духовные лица: некоторые — с той ничейной полосы лондонского общества, которая лежит между букмекером и джентльменом. Здесь создается для окружающих, а может, и для них самих образ какого-то пустотелого мужества. Здесь ведутся разговоры и: кодовых слов и выражений, невыносимых для человека с чувством языка. Это место, где старые лица встречаются с молодыми телами, а молодые лица со старыми телами, где напряженность военного времени превратилась

в напряженность мирного, и звучат голоса, чтобы заглушить тишину, и поднимаются бокалы, чтобы заглушить одиночество; это место, где встречаются ищущие, ничего не находя, кроме друг друга, кроме утешения от разделенной боли; здесь их усталые, внимательно всматривающиеся глаза могут не видеть горизонт. Они по-прежнему на поле боя; если есть любовь, они находят ее здесь друг в друге, застенчиво, как подростки.

Со времен войны остались все, кроме начальства.

Это маленький клуб, его держит худощавый суровый человек по имени майор Делл; он носит усы и галстук с синими ангелочками на черном фоне. Посетителей он угощает первым бокалом, а они в свою очередь угощают его. Клуб называется «Алиби», и Вудфорд был его членом.

Клуб открыт по вечерам. Приходят около шести, с удовольствием отделяясь от движущейся толпы, украдкой, по уверенно, как люди из сельской местности, когда приезжают, чтобы сходить в театр сомнительной репутации. Вначале вы замечаете то, чего нет: нет серебряных бокалов позади стойки бара, нет книги для посетителей, нет списка членов; нет герба, нет короны, нет

названия. Только на выбеленных кирпичных стенах висят несколько фотографий в картонных рамках, как в кабинете Леклерка. Портреты нечеткие, некоторые увеличенные, явно с паспортной фотокарточки, сделанные так, что видны оба уха, как положено по инструкции; на некоторых фотографиях — женщины, несколько — привлекательных, с высокими квадратными плечами и длинными волосами по моде военных лет. На мужчинах самые разные формы; бойцы «Свободной Франции» и поляки вперемежку с их британскими товарищами. Есть летчики. Из портретов англичан пара постаревших лиц все еще появляется в клубе.

Когда вошел Вудфорд, все оглянулись, и обрадованный майор Делл заказал ему пинту пива. Средних лет человек с красным лицом рассказывал о вылете, который он когда-то сделал над Бельгией, но остановился, так как его перестали слушать.

— Привет, Вуди, — сказал кто-то с удивлением. — Как жена?

— Отлично, — добродушно улыбнулся Вудфорд. — Отлично.

Он отпил пива. Присутствующие стали закуривать. Майор Делл сказал:

— Вуди сегодня какой-то хитрый.

— Я ищу кое-кого. Дело малость секретное.

— Мы порядок знаем, — сказал человек с красным лицом. Вудфорд окинул взглядом присутствующих и тихим, таинственным голосом спросил:

— Что делал папа во время войны?

Все недоуменно молчали. Уже было много выпито.

— Мама никому не рассказывала, — неуверенно сказал майор Делл, и все засмеялись.

Вудфорд смеялся с ними, смакуя конспирацию, заново переживая полузабытый ритуал тайных встреч за обеденным столом.

— А как он добился этого? — снова спросил он тем же доверительным тоном.

На этот раз два-три голоса крикнули вместе:

— Это папин секрет!

Они стали шумливее, счастливее.

— Был у нас такой Джонсон, — быстро продолжал Вудфорд, — Джек Джонсон. Я хочу узнать, что с ним стало. Он готовил связистов, один из лучших инструкторов. Вначале он с Холдейном работал в Бовингдоне, потом его перевели в Оксфорд.

— Джек Джонсон! — воскликнул возбужден-

но человек с красным лицом. — Я у Джека две недели назад купил автомобильное радио! Он держит магазин под вывеской «Честная сделка», на Клэпхэм Бродвей, вот он где. Время от времени заходят сюда. Радиолюбитель-энтузиаст. Низенький такой, говорит всегда глядя вбок?

— Это он, — сказал кто-то. — Друзьям он делает скидку двадцать процентов.

— Мне нет, — сказал человек с красным лицом.

— Это Джек; он живет на Клэпхэм.

Остальные подтвердили: тот самый, и магазин держит на Клэпхэм; король любительского радио, был радиолюбителем еще до войны, мальчишкой; да, на Клэпхэм, уже годами; магазин, видать, денег стоит. В клуб Джек заходит в рождественское время. Вудфорд покраснел от удовольствия, заказал еще пива.

Все сразу заговорили, а майор Делл мягко взял Вудфорда под руку и отвел в другой конец бара.

— Это правда насчет Вилфа Тэйлора? Он действительно погиб?

Вудфорд кивнул, лицо было серьезно:

— Он выполнял задание. Мы думаем, что кто-то вел себя не вполне правильно.

Майор Делл был очень озабочен.

— Ребятам я не говорил. Это их только расстроит. Кто позаботится о его жене?

— Сейчас босс занимается этим. Дело небезнадежное.

— Хорошо, — сказал майор. — Хорошо. — Он кивнул и в знак утешения похлопал Вудфорда по плечу. — Ребятам не будем говорить, пожалуй?

— Конечно.

— У него был счет или два. Ничего особенного. Он любил заходить по пятницам, вечером. — Его голос менялся, сползал, как сползает плохо завязанный галстук. — Счета пришлите. Мы все сделаем.

— Там был ребенок, кажется? Маленькая девочка? — Они возвращались к бару. — Сколько ей?

— Лет восемь. Может, больше.

— Он много говорил о ней, — сказал майор.

Кто-то крикнул:

— Эй, Брюс, когда мы опять ударим по фрицам? Их полно кругом. Ездил с женой летом в Италию — там полно наглых немцев.

Вудфорд улыбнулся:

— Раньше, чем ты думаешь. А теперь давай выпьем.

Разговор затих. Вудфорд жил и действовал. Он по-прежнему выполнял задания.

— Был у нас специалист по рукопашному бою, штабной сержант, валлиец. Тоже низенький.

— Похоже, что это Сэнди Лоу», — предположил человек с красным лицом.

— Сэнди, точно! — Все радостно повернулись к красному лицу. — Валлиец. Мы его звали Рэнди Сэнди.

— Конечно, — удовлетворенно сказал Вудфорд. — И вот что еще — не работал ли он в какой-нибудь спортшколе тренером по боксу?

Он пристально смотрел на них, ничего им не рассказывай и не торопясь, потому что все было так секретно.

— Точно, это Сэнди!

Вудфорд записал, потому что по опыту знал, как часто его подводила память, когда он ей доверялся.

Когда он собрался уходить, майор спросил:

— Как Кларки?»

— Очень занят, — сказал Вудфорд. — Хочет, как всегда, загнать работой себя в могилу.

— Ребята много о нем говорят. Хорошо бы он иногда заходил к нам; какая поддержка для ребят, сами знаете. Приободрились бы ребята.

— Скажите мне, — сказал Вудфорд. Они уже стояли у двери. — Вы помните парня по имени

Лейзер? Фред Лейзер, поляк? Один из наших. Был на задании в Голландии».

— Еще жив?

— Да.

— Не знаю, чем вам помочь, — неопределенно сказал майор. — Иностранцы перестали приезжать; не знаю — почему. С ребятами мы не говорим об этом.

Вудфорд закрыл за собой дверь и вышел в лондонскую ночь. Огляделся: он любил все, что видел вокруг, — родной город, ради которого он трудился. Он шел неторопливым шагом, пожилой атлет на привычной дистанции.

Глава 8

Эйвери, напротив, шел быстро. Ему было страшно. Едва ли существует страх более цепкий и столь трудно поддающийся описанию, чем тот, который преследует шпиона в чужой стране. Взгляд таксиста, уличная толпа, разновидности формы — полицейский или почтальон? — непонятные обычаи и язык и те самые звуки, из которых состоял новый мир вокруг Эйвери, усиливали состояние его постоянной озабоченности, обострявшейся, как душевная боль, когда он оставался

наедине с собой. Его состояние стремительно менялось — от неуемное паники до раболепной любви, часто с необычайной благодарностью он воспринимал добрый взгляд или слово. Это напоминало зависимость женщины от тех, кого она обманывает. Эйвери отчаянно нуждался в улыбке, выражающей доверие, отпускающей грехи, улыбке одного из окружающих его безразличных лиц. Ему не помогало то, что он говорил сам себе: я им не причиняю вреда, я их защитник. Он двигался среди них, как преследуемый в поисках укрытия и еды.

Он взял такси до гостиницы и попросил комнату с ванной. Перед ним положили журнал, чтобы он зарегистрировался. Он уже прикоснулся пером к бумаге, когда увидел, не более чем десятью строчками выше, написанное аккуратным почерком имя Малаби с разрывом посередине, будто писавший не знал, как оно пишется. Он пробежал строку: адрес — Лондон, профессия — майор (в отставке), пункт назначения — Лондон. Последний момент тщеславия, подумал Эйвери: ложная профессия, ложное звание, но маленький англичанин Тэйлор на секунду присвоил немного славы. Почему не полковник? Или адмирал?

Почему не пожаловать себе пэрство и не рас-

положить свой дом в Парк Лэйн? Даже в мечтах Тэйлор знал свой предел.

Консьерж сказал:

— Швейцар отнесет ваш багаж.

— Простите, — непонятно почему извинился Эйвери и расписался, а тот смотрел на него с любопытством.

Он дал швейцару монетку и только потом понял, что дал целых восемь с половиной шиллингов. Он закрыл дверь спальни. Некоторое время сидел на постели. Это была хорошо спланированная комната, но унылая и неуютная. На двери висело объявление, предупреждающее об опасности воровства, а у кровати — другое, объясняющее, как невыгодно пропускать завтрак в гостинице. На письменном столе лежал туристический проспект и Библия в черном переплете. В номере была маленькая ванная комната, очень чистая, и стенной шкаф с единственной вешалкой для пальто. Он забыл взять с собой книгу. Он не ожидал, что ему придется вынести еще и свободное время.

Ему было холодно, н он хотел есть. Он подумал, что надо принять ванну. Включил воду и разделся. Уже готов был залезть в воду, когда вспомнил, что у него в кармане — письма Тэйлора. Надел ха-

лат, сел на кровать и просмотрел их. Одно было из банка о превышении кредита, другое от матери, третье от друга, начинавшееся словами: «Здраствуй, старина Вилф», остальные от женщины. Вдруг ему стало страшно: письма были уликами. Они могли скомпрометировать его. Он решил их сжечь. В спальне была еще одна раковина. Он положил в нее все письма и поднес спичку. Он где-то читал, что следует делать именно так. Среди бумаг была карточка члена клуба «Алиби» на имя Тэйлора, он ее тоже сжег, потом раскрошил пепел рукой и включил воду, вода быстро наполнила раковину. Между кранами торчала железная ручка, которая открывала и закрывала сток. Обгоревшие обрывки писем набились под нее. Раковина засорилась.

Он искал какой-нибудь инструмент, чтобы просунуть под край ручки. Взял было авторучку, но она оказалась слишком толстой, тогда он нашел пилочку для ногтей. После нескольких попыток ему удалось добиться успеха. Вода сходила, обнажая огромное коричневое пятно на эмали. Он попытался оттереть его, вначале рукой, потом щеткой, но оно не уменьшалось. Огонь не мог оставить такое пятно, дело было в особенностях бумаги, может быть, в ней содержались какие-то

смолы. Он пошел в ванную, тщетно пытаясь найти какое-нибудь чистящее средство.

Когда он вернулся в спальню, то почувствовал, что запах обгорелой бумаги не улетучился. Он быстро подошел к окну и открыл его. Порыв морозного ветра резанул по голым ногам. Он затянул потуже халат, н тут раздался стук в дверь. Оцепенев от страха, он уставился на дверную ручку, стук раздался вновь, он отозвался и смотрел, как поворачивалась ручка. Это был администратор из приемной.

— Мистер Эйвери?

— Да?

— Извините. Нам нужен ваш паспорт. Для полиции.

— Для полиции…

— Это общий порядок.

Эйвери стоял спиной к раковине. Отчаянно хлопали шторы у открытого окна.

— Можно я закрою окно? — спросил человек.

— Я чувствовал себя неважно. Хотел немного свежего воздуха.

Он нашел паспорт и протянул посетителю. Взгляд того был прикован к раковине, коричневой отметине и черным клочкам, прилипшим к эмали. Как никогда раньше, ему захотелось снова

оказаться в Англии.

* * *

Ряд вилл вдоль Западной авеню напоминает ряд розовых надгробий на сером поле. Средний возраст в архитектурном воплощении; их единообразие — в дисциплине старения, ненасильственней смерти и жизни без успеха. Эти дома, взявшие верх над своими обитателями, которых они меняют по своему усмотрению, сами не меняются. Мебельные фургоны почтительно движутся среди них, как похоронные дроги, незаметно вывозя мертвых и привозя живых. Время от времени кто-нибудь из жильцов, вдруг взяв кисть, начинает заниматься покраской деревянных частей или принимается за работу в саду, но его усилия изменяют дом не больше, чем цветы больничный корпус, и трава все равно растет по своим законам, как трава на могиле.

Холдейн отпустил машину и свернул с дороги в сторону Саут Парк Гарденз, где дома стояли полукругом в двух шагах от Западной авеню. Школа, почта, пять магазинов и банк. Он немного сутулился во время ходьбы; черный портфель оттягивал его тощую руку. Он медленно шел но тротуару; над домами возвышалась башня

современной церкви; часы пробили семь. Лавка зеленщика на углу, обновленный фасад, самообслуживание. Он прочитал имя на табличке: Смезик. Внутри довольно молодой человек в коричневом халате достраивал пирамиду из пакетов с крупами. Холдейн постучался в стекло. Человек покачал головой и положил сверху еще один пакет. Он опять постучал, более настойчиво. Зеленщик подошел к двери.

— Мне не разрешается ничего продавать, — крикнул он, — вы стучите понапрасну. — Он заметил портфель и спросил:

— Вы от профсоюза?

Холдейн сунул руку во внутренний карман и прижал что-то к стеклу витрины — карточку в целлофане, похожую на сезонный билет. Несколько секунд зеленщик глядел на нее, потом медленно повернул ключ.

— Я хотел бы переговорить с вами конфиденциально, — сказал Холдейн, заходя внутрь.

— Никогда таких не видел, — беспокойно заметил зеленщик. — По-моему, у нас все в порядке.

— Да, все в порядке. Несколько вопросов, связанных с государственной безопасностью. Нас интересует некто Лейзер, поляк. Как я понимаю, он когда-то давно здесь работал.

— Мне придется позвонить папе, — сказал зеленщик. — Я тогда был совсем маленький.

— Понятно, — сказал Холдейн таким тоном, будто он терпеть не мог все молодое.

* * *

Была почти полночь, когда Эйвери позвонил Леклерку. Тот сразу взял трубку. Эйвери представил его себе сидящим на железной койке, с отброшенным одеялом BBC, с маленьким настороженным лицом, ожидающим новостей.

— Это Джон, — осторожно сказал он.

— Да, да, я знаю, кто вы. — Его рассердило, что Эйвери назвал свое имя.

— Мне кажется, сделка не состоялась. Они не заинтересованы… ответ отрицательный. Пожалуй, скажите тому, кого я видел, маленькому, толстому… скажите ему, что нам не понадобятся услуги его друга здесь.

— Понятно. Не беспокойтесь. — Голос был совершенно незаинтересованный.

Эйвери не знал, что сказать, просто не знал. Он страстно желал продолжения разговора с Леклерком. Он хотел ему рассказать о презрении Сазерлэнда и о паспорте, который был не в порядке. «Те здесь, те, с кем я веду переговоры,

довольно обеспокоены всем делом». Он ждал.

Он хотел назвать его по имени, но не мог. В Департаменте не употребляли слово «мистер»; старшие обращались друг к другу по фамилии, а к младшим по имени. Не было определенного стиля обращения к старшим по званию. Поэтому он сказал:

— Вы еще слушаете? — И Леклерк ответил:

— Конечно. Кто обеспокоен? Что не так?

Эйвери подумал: я мог бы назвать его «Директор», но это небезопасно.

— Наш представитель здесь, тот, кто представляет наши интересы… он узнал о сделке. — сказал он. — Он, кажется, разгадал.

— Вы дали понять, что это очень конфиденциально?

— Да, конечно. — Как вообще рассказать о поведении Сазерлэнда?

— Хорошо. Как раз сейчас нам совсем не нужны затруднения с Форин Офис. — Леклерк продолжал другим тоном:

— Здесь у нас дела идут очень хорошо, Джон, очень хорошо. Когда вы вернетесь?

— Я должен решить вопрос о… возвращении домой нашего друга. Множество формальностей. Это оказалось не так просто, как можно было

подумать.

— Когда вы закончите?

— Завтра.

— Я пришлю машину за вами в аэропорт. Много чего произошло за последние несколько часов: много хорошего. Вы нам очень нужны. — Леклерк прибавил, чтобы поддержать его:

— А вы молодец, Джон, настоящий молодец.

— Хорошо.

Он предполагал, что ту ночь будет спать беспробудным сном, но приблизительно через час проснулся, бодрый и настороженный. Взглянул на часы: было десять минут второго. Он встал, подошел к окну и посмотрел на покрытый снегом ландшафт, отмеченный темным контуром дороги, ведущей в аэропорт; ему показалось, что он может различить небольшой подъем, где погиб Тэйлор.

Ему было одиноко и страшно. В голове у него смешивались разные картины: ужасное лицо Тэйлора, которое ему едва не пришлось увидеть, обескровленное, с широко раскрытыми глазами, будто желающее поведать о каком-то важном открытии; голос Леклерка, исполненный уязвимого оптимизма; толстый полицейский, разглядывающий его с завистью, будто он был чем-то,

что тот не мог позволить себе купить. Он понял, что он из тех, кто плохо переносит одиночество. Одиночество нагоняло печаль, делало его сентиментальным. Он обнаружил, что в первый раз, с тех пор как уехал утром из дома, он думает о Саре и Энтони. Слезы вдруг потекли из его усталых глаз, когда он вспомнил своего мальчика, очки в стальной оправе — игрушечные оковы; он хотел слышать его голос, видеть Сару и привычную домашнюю обстановку. Может быть, стоило позвонить домой, поговорить с ее матерью, спросить о ней. А что, если она больна? Он перенес достаточно волнений за этот день. Его энергия, страх, изобретательность были исчерпаны. Он пережил кошмар: не стоило рассчитывать, что он может сейчас ей позвонить. Он снова лег в постель.

Как он ни пытался, заснуть так и не смог. Веки были горячими и тяжелыми, тело сковала глубокая усталость, но все равно заснуть он не мог. От поднявшегося ветра дребезжали двойные рамы в окне; ему было то слишком жарко, то слишком холодно. Только ему удалось задремать, как он был разбужен плачем, звук мог идти из соседнего номера, мог быть плачем Энтони, или — поскольку он не слышал отчетливо «и. не был

уверен спросонья, какого рода этот звук, — он мог быть металлическим всхлипыванием заводной куклы.

И один раз, незадолго до рассвета, он услышал за дверью скрип половицы, будто кто-то в коридоре сделал шаг, один-единственный, не воображаемый, а настоящий, и он лежал в холодном ужасе, ожидая, что вот-вот повернется дверная ручка или властно постучат люди инспектора Пеерсена. Он напрягал слух и готов был поклясться, что слышал едва уловимый шорох одежды, осторожный вдох, потом наступила тишина. Хотя он долго минуту за минутой вслушивался, ничего больше так и не услышал.

Включив свет, он подошел к стулу, стал искать в пиджаке авторучку. Она лежала на полочке над раковиной. Из портфеля он вынул кожаный несессер, который дала ему Сара.

Усевшись за шатким столиком у окна, он принялся писать любовное письмо девушке, которой могла быть Кэрол. Когда наконец наступило утро, он разорвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в уборную. При этом на полу он заметил что-то белое. Это была фотокарточка дочки Тэйлора с куклой, на ней были такие же очки, как у Энтори. Наверно, она была среди его писем.

Он подумал, что карточку надо уничтожить, но почему-то не смог. Положил в карман.

Глава 9

Возвращение

Как Эйвери и предполагал, в аэропорту Хитроу его ждал Леклерк, стоя на носках, выглядывая между головами встречающей толпы. Наверно, он как-то договорился с таможней, не без помощи Министерства, и при виде Эйвери вышел вперед в зал и повел его по-хозяйски, как будто обходить формальности для него было обычным делом. Вот такую жизнь мы ведем, думал Эйвери; такой же аэропорт, только с другим названием, те же торопливые встречи с виноватым выражением на лице; мы живем за стенами города, черные монахи из темного дома, на улице доминиканцев. Он ужасно устал. Соскучился по Саре. Хотел попросить у нее прошения, помириться с ней, сменить работу, попробовать все сначала; хотел больше играть с Энтони. Было чувство стыда.

— Я только позвоню. Саре нездоровилось накануне моего отъезда.

— С работы, — сказал Леклерк. — Ладно? У меня

встреча с Холдейном через час.

Эйвери показалось, что в голосе Леклерка он уловил фальшивую нотку. Эйвери подозрительно посмотрел на него, но взгляд того был обращен в сторону черного «хамбера» на льготной стоянке. Леклерк подождал, когда шофер откроет для него дверцу; после глупых препирательств Эйвери занял место слева, как того и требовал протокол. Шофер, видимо, утомился от ожидания. Его от них не отделяла перегородка.

— Это — новое, — сказал Эйвери, имея в виду машину.

Леклерк кивнул с привычным видом, как будто приобретение уже перестало быть новым.

— Как дела? — спросил он. Мысли его были далеко.

— Хорошо. Ничего не случилось, я надеюсь? С Сарой?

— С чего бы?

— На Блэйкфрайерз Роуд? — спросил шофер, не поворачивая головы, что он мог бы сделать хотя бы из чувства уважения.

— В штаб, да, пожалуйста.

— Такая чепуха была в Финляндии, — жестко сказал Эйвери. — Документы нашего друга… Малаби… были не в порядке. Форин Офис объявил

его паспорт недействительным.

— Малаби? Ах да. Вы о Тэйлоре. Мы все знаем. Теперь все в порядке. Просто кто-то нам хотел помешать. Контроль этим очень огорчен, на самом деле. Прислал свои извинения. Вы даже не представляете себе, Джон, сколько теперь людей на нашей стороне. Вы будете очень полезны, Джон, вы единственный, кто это видел в натуре.

Что видел? — подумал Эйвери. Они опять рядом. То же напряжение, та же физическая тягостность, та же рассеянность. Когда Леклерк повернулся к нему, Эйвери на какую-то ужасную секунду представил себе. что он положит ему руку на колено.

— Вы устали, Джон, это видно. Я знаю, как это бывает. Не волнуйтесь — вы опять с нами. Послушайте, у меня для вас хорошие новости. в Министерстве решили взяться за дело серьезно. Мы должны сформировать особое оперативное подразделение для проведения следующей фазы.

— Следующей фазы?

— Конечно. Человек, о котором я вам говорил. Нельзя оставить все как есть. Мы информацию выявляем, Джон, не просто сопоставляем. Я оживил Особый отдел; вы знаете, что это?

— Его возглавлял Холдейн во время войны,

занимался подготовкой…

Леклерк быстро перебил его, из-за водителя:

— …подготовкой коммивояжеров. И теперь он опять его возглавит. Я решил, что вы будете работать с ним. Вы две лучшие головы, какие у меня есть.

Боковой взгляд.

Леклерк изменился. В его манерах появилось новое качество, нечто большее, чем оптимизм или надежда. Когда Эйвери видел его в последний раз, он будто бы жил против течения; теперь он посвежел, у него появилась цель — или новая, или очень старая.

— И Холдейн согласился?

— Я сказал вам. Он работает день и ночь. Не забывайте, что Эйдриан — профессионал. Настоящий технический специалист. Старые мозги для такой работы лучше всего. Вместе с парой молодых.

Эйвери сказал:

— Я хочу поговорить с вами об операции в целом… о Финляндии. Я приду к вам в кабинет после того, как позвоню Саре.

— Приходите сразу, я хочу побыстрей ввести вас в дело.

— Вначале позвоню Саре.

Опять у Эйвери возникло необъяснимое чувство, что Леклерк пытается помешать ему связаться с Сарой.

— С ней все в порядке?

— Насколько я знаю. Почему вы спрашиваете? — Леклерк добавил, успокаивая его:

— Джон, вы рады, что вернулись?

— Да, конечно.

Он опять откинулся на мягком сиденье машины. Заметив его враждебность, Леклерк оставил его на некоторое время в покое. Эйвери принялся разглядывать дорогу и проплывающие мимо в моросящем дожде розовые, цветущие виллы.

Леклерк говорил опять тем своим тоном, как на совещании:

— Я хочу, чтобы вы приступали немедленно. Если можете, завтра. Ваш кабинет готов. Нужно много сделать. Этот человек, которого мы посылаем, — Холдейн включил его в игру. Уже будет что-то известно, когда приедем. С сегодняшнего дня вы подчиняетесь Эйдриану. Я уверен, что вам это приятно. Наше начальство согласилось выдать вам спецпропуск Министерства. Такой же, как у них в Цирке.

Эйвери отлично знал, как Леклерк строит свою речь; он, бывало, ограничивался косвенными

намеками, предлагая сырье, которое должен преобразовать в своей голове уже потребитель, но не он сам, поставщик.

— Я хочу поговорить с вами об этом деле в целом. После того, как позвоню Саре.

— Хорошо, — мягко сказал Леклерк. — Приходите, и мы поговорим. Почему не придете сразу? — Он смотрел на Эйвери, повернув к нему все лицо — нечто лишенное глубины, как. лунный лик, вырезанный на бумаги. — Вы отлично поработали, — сказал он великодушно. — Я надеюсь, так будет продолжаться и впредь. — Они въехали в Лондон. — Цирк нам кое в чем помогает, — добавил он. — Им, видимо, хочется быть полезными. Всего они не знают, конечно. Министр был непреклонен.

Они пошли по Ламбет Роуд, на одном конце которой расположились владения Бога войны — Имперский военный музей, на другом — школы, между ними — больницы; кладбище, обнесенное железной сеткой, как теннисный корт. Трудно сказать, кто здесь живет. Для людей слишком много домов, для детей слишком большие школы. Больницы, может, и полны, но окна зашторены. Пыль стоит везде, как пыль войны. Стоит над низкими фасадами, душит траву на могилах: она

заставила уйти всех, кроме тех, кто замешкался в темных углах, как призраки солдат, или тех, что сидят в ожидании, без сна, за своими освещенными желтым светом окнами. Эта дорога выглядит так, словно часто бывала заброшенной. Те немногие, кто вернулся, принесли с собой что-то из мира живых, смотря но тому, где бывали. Один — кусочек вспаханного поля, другой — террасу в стиле Георга IV, амбар или склад; или паб под названием «Лесные цветы».

Дорога эта заполнена учреждениями верующих. Одному покровительствует дева Мария Утешительница, другому — архиепископ Амиго. Все то, что не больница, не школа, не паб и не семинария, во власти пыли — оно мертво… Есть тут магазин детских игрушек с висячим замком на двери. Эйвери оглядывал витрину каждый день по дороге на работу, игрушки ржавели на полках. Витрина становилась все грязнее, покрывалась полосками — следами детских пальцев… Есть тут приемная зубного врача. Эйвери смотрел на дома из машины, подсчитывая их, когда они оставались позади, думая, что, может, больше их не увидит, если уйдет из Департамента… Есть тут склады за оградами, опутанными колючей проволокой, и заводы, которые ничего не про-

изводят. На одном из них регулярно гудел гудок, но, казалось, некому было его услышать. Есть тут полуобвалившаяся стена со старыми военными плакатами — армия зовет тебя куда-то… Они обогнули Сент-Джордж-серкус и выехали на Блэйфрайерз Роуд, здесь они уже дома.

Когда они приблизились к своему учреждению, Эйвери ощутил, что произошли перемены. В какой-то момент ему представилось, что даже трава на их неприглядной лужайке стала гуще и ожила за его короткое отсутствие; что бетонные ступени у парадного, которым даже в середине лета удавалось выглядеть мокрыми и грязными, теперь были чисты и гостеприимны. Словом, он уже почувствовал, прежде чем войти в здание, что новый дух проник в Департамент.

Этот дух затронул самых смиренных сотрудников. Пайп, на которого, несомненно, произвела впечатление черная служебная машины и неожиданная беготня занятых людей, выглядел торжественным и бодрым. В первый раз он не заговорил про крикет. Лестница была наполирована мастикой.

В коридоре им встретился Вудфорд. Он спешил. У него в руках было несколько папок с красными предупреждающими надписями на обложках.

— Привет, Джон! Так вы благополучно приземлились? Хорошо провели время? — Похоже, он действительно был рад встрече. — Как сейчас Сара?

— Он отлично справился, — быстро сказал Леклерк. — У него было очень трудное дело.

— Ах да; бедняга Тэйлор. Вы нам понадобитесь в новом отделе. Вашей жене придется потерпеть одной неделю-другую.

— Что это он сказал про Сару? — спросил Эйвери.

Он вдруг испугался. Заторопился но коридору. Леклерк звал его, но он не обернулся. Он вошел в свой кабинет и остановился в оцепенении. На столе стоял второй телефон, а сбоку, у стены — железная койка, как у Леклерка. Рядом с новым аппаратом лежал список экстренных телефонов. Те, которыми следовало пользоваться ночью, были отпечатаны красным цветом. На обратной стороне двери висел двухцветный плакат с человеческой головой в профиль. На верхней части головы была надпись: «Держи в голове», а на губах: «Держи на замке». Он не сразу понял, что плакат призывал хранить тайну и не был какой-то ужасной шуткой по поводу Тэйлора. Он поднял трубку и стал ждать. Вошла Кэрол с

бумагами на подпись.

— Как все прошло? — спросила она. — Босс, кажется, доволен. — Она стояла очень близко от него.

— Прошло? Пленки нет. Ее не было среди вещей. Я думаю подать в отставку, я принял решение. Почему этот гнусный телефон не работает?

— Они, наверное, не знают, что вы вернулись. Тут в бухгалтерии рассматривали вашу заявку на оплату такси. Она под вопросом.

— Такси?

— От вашей квартиры до учреждения. В ту ночь, когда погиб Тэйлор. Они говорят, что это слишком.

— Послушайте, пойдите разбудите телефонисток, они, видно, крепко спят.

Сара взяла трубку сама.

— Ах, слава Богу, это ты.

Эйвери сказал: да, он приехал час назад. «Сара, послушай, с меня хватит, я хочу сказать Лекларку...» Но прежде, чем он успел закончить, она взорвалась:

— Джон, скажи ради Бога, чем ты занимаешься? К нам приходили из полиции, детективы; они хотят поговорить с тобой, их интересует покойник, которого привезли в аэропорт в Лондон; кто-то

по имени Малаби. Они говорят, его отправили из Финляндии с фальшивым паспортом.

Он закрыл глаза. Он хотел положить трубку, отнял ее от уха, но продолжал слышать голос жены, который повторял: «Джон, Джон. Они говорят, он твой брат; гроб адресован тебе, Джон; какая-то похоронная фирма в Лондоне должна была все для тебя сделать… Джон, Джон. ты меня слышишь?»

— Послушай, — сказал он, — все в порядке. Я сейчас займусь этим.

— Я сказала им про Тэйлора: я должна была.

— Сара!

— А что я еще могла сделать? Они думали, я преступница, не знаю что; мне не верили, Джон? Они спросили, как могут с тобой связаться; я должна была сказать, что не знаю; я даже не знала, в какой ты стране и каким самолетом улетел; я была больна, Джон, мне было очень плохо, у меня был проклятый грипп, и я забыла принять таблетки. Они пришли посреди ночи, двое. Джон, почему они пришли ночью?

— Что ты им сказала? Именем Христа, Сара, что еще ты им сказала?

— Не ругай меня! Это я должна ругать тебя и твой скотский Департамент! Я сказала, что ты делаешь что-то секретное; тебе пришлось уехать

за границу по делам Департамента… Джон, я даже не знаю, как он называется!.. Я сказала, что тебе позвонили ночью и ты уехал. Из-за курьера, которого звали Тэйлор.

— Ты с ума сошла, — закричал Эйвери, — ты совершенно ненормальная. Я же тебя просил никому не говорить!

— Джон, но они же полицейские! То, что они знают, не может повредить. — Она плакала, он слышал слезы в голосе. — Джон, пожалуйста, приезжай. Мне так страшно. Ты должен оставить это и снова взяться за издательское дело; мне все равно, что ты делаешь, но…

— Не могу. Это ужасно серьезно. Куда более серьезно, чем ты можешь себе представить. Прости, Сара, но я просто не могу уехать с работы. — И он жестоко добавил, ложь для пользы дела:

— Ты все поставила под удар.

Последовала долгая пауза.

— Сара, мне придется разобраться, может, что-то исправить. Позвоню позже.

Когда наконец она ответила, он услышал в ее голосе ту же бесстрастную покорность, с которой она послала его паковать вещи:

— Ты забрал чековую книжку. У меня нет денег.

Он сказал ей, что пришлет. «У нас машина, — добавил он, — специально для этого дела, с шофером.» Собираясь повесить трубку, он услышал, как она сказала:

— Я думала, у вас полно машин.

Он влетел к Леклерку в кабинет. Холдейн стоял с другой стороны стола в еще мокром от дождя плаще. Они склонились над каким-то досье. Страницы были истрепанные, порванные.

— Тело Тэйлора! — выкрикнул он. — Оно в аэропорту, в Лондоне. Вы все испортили. К Саре приходили! Посреди ночи!

— Обождите! — оборвал его Холдейн. — Это не повод, чтобы сюда врываться, — сказал он с гневом. — Обождите.

Он не любил Эйвери. Он вернулся к досье, не обращая на него внимания.

— Вообще не повод, — пробормотал он и, обращаясь к Леклерку, добавил:

— По-моему, Вудфорд уже делает успехи. С рукопашным боем все в порядке; он слышал про радиста, одного из лучших. Я помню его. Гараж называется «Червонный король» и явно процветает. Мы навели справки в банке; нам старались помочь, хотя деталей они не знают. Он не женат. Любит женщин, как все поляки. Интереса к поли-

тике нет, хобби у него нет, долгов нет, жалоб нет. Будто нет его самого. Говорят, что он хороший механик. Что касается его характера… — он пожал плечами. — Что мы вообще знаем о людях?

— Но что о нем сказали? Боже мой, невозможно же пятнадцать лет прожить в обществе и не оставить о себе хоть какое-то впечатление. Ведь был зеленщик — Смезик, так? — он жил у них после войны.

Холдейн позволил себе улыбнуться:

— Сказали, что работал он хорошо и был очень вежлив. Все говорят, что он вежливый. Вот что им запомнилось: как только выдавалась свободная минутка, он шел на задний двор поразмяться, с теннисной ракеткой.

— Вы видели гараж?

— Конечно, нет. Я не был поблизости. Думаю пойти туда вечером. По-моему, у нас другого выбора нет. В конце концов, этот человек числится в нашем активе уже двадцать лет.

— Больше ничего вам не удалось узнать?

— Остальное нам придется делать через Цирк.

— Тогда пусть Джон Эйвери уточнит подробности. — Леклерк будто позабыл, что Эйвери в комнате. — Что касается Цирка, с ними буду разговаривать я.

Его внимание привлекла новая карта на стене, план города Калькштадта с церковью и железнодорожной станцией. Рядом висела старая карта Восточной Европы. Ракетные базы, существование которых было установлено, здесь были соотнесены с предполагаемым объектом южнее Ростока. Пути снабжения и последовательность управления, порядок введения в бой поддержки оружием — все это было обозначено цветными шерстяными нитками, натянутыми на булавки. Некоторые из них вели в Калькштадт.

— Хорошо, правда? Это все сделал вчера Сэндфорд, — сказал Леклерк. — Он хорошо умеет делать такие вещи.

На его столе лежала новая указка светлого дерева. Она была похожа на гигантскую иглу с продетой в ушко петлей из адвокатской ленточки. У него стоял новый телефон зеленого цвета, красивее, чем у Эйвери, с надписью: «Тайна разговора НЕ гарантируется». Некоторое время Холдейн и Леклерк изучали карту, то и дело заглядывая в папку с телеграммами, которую Леклерк держал раскрытой обеими руками, как держит псалтырь мальчик в хоре.

Наконец Леклерк повернулся к Эйвери и сказал:

— Что там, Джон?

Они ждали, когда он будет говорить. Он почувствовал, что злость поутихла. Ему хотелось удержать ее, но она ускользала. Он хотел крикнуть с возмущением: «Как вы смеете втягивать мою жену?» Он хотел потерять над собой контроль, но не мог. Его внимание притягивала карта.

— Ну что?

— К Саре приходили из полиции. Ее разбудили посреди ночи. Двое. Ее мать была у нас. Их интересовал покойник, которого привезли в аэропорт, тело Тэйлора. Они знали, что паспорт фальшивый, и думали, что она имеет к этому отношение. Ее разбудили», — запнувшись, повторил он.

— Мы все знаем. Теперь все в порядке. Я как раз собирался вам сказать об этом. Тело покойного разрешили везти дальше.

— Не правильно втягивать в это Сару.

Холдейн быстро поднял голову:

— Что вы хотите этим сказать?

— Мы не способны решать такого рода задачи. — Это звучало как дерзость. — Нам не следует браться за такое дело. Мы должны передать его Цирку, Смайли или еще кому-нибудь — это их дело, не наше. — С усилием он продолжал:

— И тому донесению я не верю. Не верю, что оно правдивое! Меня не удивит, если вдруг выяснится, что того беглеца вообще не существует, что Гортон все придумал! Я не верю, что Тэйлор был убит!

— Это все? — сурово спросил Холдейн. Он был очень раздражен.

— Эта игра не для меня. Операция то есть. В ней все не правильно.

Он посмотрел на карту и на Холдейна, потом глуповато засмеялся:

— В то время как я охотился за покойником, вы охотились за живым человеком! Здесь-то просто, в конторе мечтателей… а там — люди, живые люди!

Леклерк легонько сжал руку Холдейна повыше локтя, словно хотел сказать, что справится сам. Он выглядел невозмутимо. Возможно, он с удовлетворением отмечал симптомы болезни, которой он еще раньше поставил диагноз.

— Идите к себе, Джон, у вас было перенапряжение.

— А что мне сказать Саре? — Он говорил с отчаянием.

— Скажите, что больше ее беспокоить не будут. Скажите, это была ошибка… скажите все,

что хотите. Поешьте чего-нибудь горячего и возвращайтесь через час. От того, чем кормят в самолетах, толку нет. Вернетесь, тогда мы и послушаем остальные новости.

Леклерк улыбался той же самой аккуратной, кроткой улыбкой, с которой он стоял посреди погибших летчиков. Уже в дверях Эйвери услышал свое имя, произнесенное мягко, с любовью: он остановился и обернулся. Леклерк оторвал руку от стола и, описав полукруг в воздухе. указал на комнату, в которой они находились.

— Я расскажу вам кое-что, Джон. Во время войны мы сидели на Бэйкер-стрит. У нас был погреб, и Министерство оборудовало его как чрезвычайный оперативный штаб. В этом погребе мы с Эйдрианом провели немало времени. Немало времени. — Он посмотрел на Холдейна. — Помните, как раскачивались керосиновые лампы, когда падали бомбы? Бывало так, Джон, что самый расплывчатый слух побуждал нас к действию. Единственный намек — и мы шли на риск. Посылали человека, а то и двух, если надо, и они могли не вернуться. Может, там и не было ничего. Слухи, догадки, зацепка, которая потянет ниточку, очень легко забывается, на чем строится разведка: на везении и риске. Глядишь, там

повезло, потом еще где-то угадаешь. Иногда случайно натыкались на что-то похожее: могла быть серьезная штука, могла быть просто тень. Намек мог дать крестьянин из Фленсбурга или наш военный чин, но всегда оставалась вероятность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Были инструкции: подыскать человека и забросить. Так мы и делали. И многие не приходили обратно. Их посылали, чтобы рассеять сомнения, понимаете? Мы посылали их, потому что почти ничего не знали. У всех нас бывают такие моменты, Джон. Не думайте, что это всегда просто. — Едва заметная улыбка. — У нас часто бывали колебания, как у вас. Приходилось преодолевать их. Мы называли это второй присягой. — Он непринужденно облокотился о стол. — Вторая присяга, — повторил он. — Ладно, Джон, если вы хотите ждать, когда начнут падать бомбы, когда на улице будут гибнуть люди… — Он вдруг стал серьезным, словно раскрывал свою веру. — Я знаю, в мирное время гораздо тяжелее. Требуется мужество. Мужество иного рода.

Эйвери кивнул.

— Извините, — сказал он.

Холдейн смотрел на него с неприязнью.

— Директор хочет сказать, — ядовито сказал

он, — что если вы желаете остаться в Департаменте и работать — работайте. Если вы желаете культивировать свои эмоции — отправляйтесь в другое место, где вам никто не будет мешать. Нам слишком много лет, чтобы возиться с такими людьми, как вы.

Эйвери продолжал слышать голос Сары, продолжал видеть ряды домишек, над которыми повис дождь; он попробовал представить свою жизнь с Сарой без Департамента. Он понял, что уже слишком поздно: так же, как было всегда, потому что он пошел к ним за тем малым, что они могли ему дать, а они забрали у него то малое, что у него было. Он чувствовал, как усомнившийся в вере священнослужитель, что то, что содержалось в его сердце, было надежно заперто в том уголке, куда он прежде мог отступить: теперь такого уголка не было. Он посмотрел на Леклерка, потом на Холдейна. Они были его коллеги. Узники молчания, они втроем работали бок о бок, прокладывали путь в безводной пустыне я любое время года, чужие люди, нуждающиеся друг в друге на заброшенной земле, утратившей веру.

— Вы слышали, что я сказал? — сурово спросил Холдейн.

Эйвери пробормотал:

— Извините.

— Вы не были на войне, Джон, — мягко сказал Леклерк. — Вы не понимаете, как это бывает. Вы не понимаете, что такое воинский долг.

— Я знаю, — сказал Эйвери. — Извините. Я хотел бы взять машину, не более чем на час… что-то послать Саре, если можно.

— Конечно.

Он обнаружил, что забыл о подарке для Энтони.

— Извините, — опять сказал он.

— Кстати… — Леклерк выдвинул ящик стола и вынул конверт. С видом благодетеля вручил его Эйвери. — Это ваш спецпропуск, выписан в Министерстве. Как удостоверение. На ваше имя. Он вам может понадобиться в ближайшие недели.

Это был кусок толстого картона в целлофане, зеленый, книзу темнее. Его имя было напечатано заглавными буквами на электрической машинке: м-р Джон Эйвери. Надпись предоставляла предъявителю полномочия наводить справки от имени Министерства. Стояла подпись красными чернилами.

— Спасибо.

— Это вам очень поможет; — сказал Леклерк. — Здесь подпись Министра. Он пользуется красны-

ми чернилами. Такая традиция.

Он вернулся в свой кабинет. Иногда ему чудилось, что он один, и перед ним пустая аллея, и какая-то сила гонит его вперед, как отчаяние — к небытию. Порой ему казалось, что он спасается бегством, но бежит во вражеский стан, жаждая, чтобы боль от ударов врага доказала, что он еще существует; жаждая, чтобы тень настоящей цели осенила его жалкие действия; жаждая, как сказал однажды Леклерк, пожертвовать совестью, чтобы обрести Бога.

Часть третья
МИССИЯ ЛЕЙЗЕРА

От бремени Мира в прохладные воды
Войдем и на время забудем невзгоды.
Руперт Брук, 1914 г.

Глава 10

Прелюдия

Холдейн вышел из «хамбера» у авторемонтной мастерской.

— Меня не ждите. Вы должны отвезти Леклерка в Министерство.

Он торопливо зашагал по асфальту мимо желтых бензоколонок и дребезжащих от ветра рекламных щитов. Вечерело, накрапывал дождь. Мастерская была небольшой, но очень аккуратной: с одной стороны — витрины с запчастями, с другой — ремонтный цех, а в центре возвышалась башня, служившая жилым домом. Башню венчало сердце из горящих лампочек, которые все время меняли цвет. Где-то неподалеку визжал

токарный станок. Холдейн вошел в приемную. Помещение было просторное, стены обшиты шведским дубом. Там никого не было. Пахло резиной. Он позвонил и начал отчаянно кашлять. Бывало, что приступы кашля донимали его, тогда он прижимал руку к груди, и у него на лице появлялось покорное выражение привычного к собственным страданиям человека.

Кроме календарей с красотками на стене висело небольшое, написанное от руки объявление, похожее на любительскую рекламу: «Святой Христофор и все ангелы заступники! Да храните нас от аварий на дорогах. Ф. Л.». В клетке у окна нервно метался попугай. Первые капли дождя лениво забарабанили по стеклу. В комнату вошел юноша лет восемнадцати, с черными от машинного масла пальцами. На нагрудном кармане его комбинезона красовалось увенчанное короной красное сердечко.

— Добрый вечер, — сказал Холдейн. — Прошу прощения, я разыскиваю одного старого знакомого, моего приятеля. Мы виделись последний раз уже очень давно. Его зовут Лейзер. Фред Лейзер. Я думал, не знаете ли вы что-нибудь…

— Сейчас позову, — сказал юноша и исчез.

Холдейн терпеливо ждал, разглядывая календа-

ри, гадая, кто их сюда повесил — этот юноша или Лейзер. Дверь открылась снова. Вошел Лейзер. Холдейн узнал его по фотографии. Он действительно почти не изменился за двадцать лет. Лишь вокруг глаз рассыпались мелкие морщинки и стали пожестче уголки рта.

Комната освещалась сверху ровным светом, не отбрасывавшим теней. На первый взгляд па бледном лице Лейзера читалось только одиночество.

— Чем могу вам служить? — спросил Лейзер. Он стоял прямо, почти по-военному.

— Привет! Вы не помните меня?

Лейзер взглянул на него так, будто его попросили назвать цену за какую-то работу, — невозмутимо, но настороженно.

— Вы меня ни с кем не путаете?

— Нет.

— Тогда мы встречались очень давно, — сказал он наконец. — У меня хорошая память на лица.

— Двадцать лет назад, — сказал Холдейн и откашлялся с виноватым видом.

— Значит, во время войны?

Небольшого роста, очень подтянутый, он несколько напоминал Леклерка. Его вполне можно было принять за официанта. Слегка закатанные рукава рубашки обнажали волосатые руки.

На нем была дорогая сорочка с монограммой на кармашке. На одежде он явно не экономил. Носил золотой перстень и часы с золотым браслетом. Он очень следил за своей внешностью. Холдейн даже почувствовал запах лосьона, которым тот пользовался. Длинные густые каштановые волосы ровной челкой обрамляли лоб. Он зачесывал их назад, и на висках они слегка курчавились. Отсутствие пробора лишь подчеркивало славянский тип лица. Хотя он держался прямо, в движениях ощущалась какая-то свобода, у него была походка вразвалку, как у матроса. На этом сходство с Леклерком заканчивалось. Несмотря на внешний лоск, в нем угадывался человек с хорошими руками, знающий, как завести машину в холодный день; вообще он производил впечатление недалекого человека, которому, впрочем, пришлось повидать свет. Он носил галстук в клеточку.

— Вы должны меня помнить, — вкрадчиво сказал Холдейн.

Лейзер внимательно посмотрел на его впалые щеки в красноватых пятнах, на этого сгорбленного, беспокойного человека, постоянно перебирающего пальцами, и вдруг лицо его изменилось — он узнал Холдейна, но было видно, что

узнавание причинило ему боль, будто он опознал тело погибшего друга.

— Неужто вы капитан Хокинс?

— Он самый.

— Боже мой, — сказал Лейзер в оцепенении, — так это вы про меня расспрашивали?

— Мы ищем какого-нибудь человека с опытом, вроде вас.

— Зачем он вам понадобился, сэр?

Лейзер так и не пошевелился. О чем он думал, сказать было трудно. Он не спускал с Холдейна глаз.

— Для дела, у нас для него есть работенка.

Лейзер улыбнулся, словно вновь погрузился в прошлое. Он кивнул головой в сторону окна: «Там?» Он имел в виду — по ту сторону дождя.

— Да.

— А как насчет обратной дороги?

— Правила те же. Этот вопрос решает человек на задании сам. Как на войне.

Он сунул руки в карманы, нащупал сигареты и зажигалку. Попугай в клетке забормотал.

— Как на войне. Вы курите? — Он вынул сигарету и закурил, закрывая пламя ладонями, будто дул сильный ветер, спичку небрежно бросил на пол. — Боже мой, — повторил он, — двадцать лет.

Тогда я был мальчишкой, совсем мальчишкой».

— Надеюсь, вы не жалеете о том времени, — сказал Холдейн. — Может быть, пойдем чего-нибудь выпьем?

Он протянул Лейзеру визитную карточку. Новенькую, только отпечатанную: «Капитан Хокинс». Под фамилией был номер телефона.

Лейзер взглянул на карточку и пожал плечами.

— Я не против, — сказал он и опять улыбнулся, на этот раз скептически. — Но вы зря теряете время, капитан.

— Может, у вас есть какие знакомые, еще с войны, кто пошел бы на это?

— У меня мало знакомых, — ответил Лейзер.

Он снял с вешалки пиджак и темно-синее нейлоновое пальто, потом сделал шаг к двери и предупредительно открыл ее перед Холдейном, точно хотел соблюсти этикет. Его прическа была безупречной, волосы лежали плотно, как перышки у птицы.

Паб был на другой стороне авеню; Они поднялись на пешеходный мостик. Был час пик, и автомашины под ними грохотали как гроза, отчего крупные холодные дождевые капли казались естественными. Мостик дрожал от шума. Паб в

стиле Тюдоров украшали новые медные фигуры лошадей и отполированный до блеска корабельный колокол. Лейзер заказал коктейль «Белая леди». Он сказал, что не пьет ничего другого:

— Послушайте меня, капитан: всегда лейте что-нибудь одно. Тогда все будет о'кэй. Ну, поехали!

— Тот, кого мы возьмем, должен хорошо знать все хитрости, — сказал Холдейн. Они сидели в углу у камина. Точно так же они могли бы говорить о торговле. — Это очень сложная работа. И платят теперь значительно больше, чем во время войны. — Он мрачно улыбнулся. — Платят по нынешним дням очень много.

— Но ведь не все измеряется деньгами.

Это гордое выражение Лейзер позаимствовал у англичан.

— Вас помнят. Те, кого вы уже забыли, не помните, как зовут, если даже и знали раньше. — Его тонкие губы скривились в малоубедительной улыбке, ведь уже многие годы ему не приходилось никого обманывать. — Вы оставили о себе хорошую память, Фред, настоящих профессионалов, как вы, было немного. Даже за прошедшие двадцать лет.

— Неужели ребята меня еще не забыли? — Он был благодарен им за это и смущен, как будто не

заслужил, чтобы о нем побили. — Я ведь тогда был совсем мальчишкой, — проговорил он. А кто сейчас еще есть, кто остался?

Не сводя с него глаз, Холдейн сказал:

— Я предупреждал: правила игры те же, Фред. Только необходимая информация — все по-прежнему. — Голос был строгим.

— Боже мой, — проговорил Лейзер. — Все по-прежнему. А наш отдел все такой же большой?

— Даже больше. — Холдейн принес еще одну «Белую леди». — Политикой интересуетесь?

Лейзер приподнял свободную руку и уронил ее на стол.

— Как все мы здесь, в Англии.

В его тоне проскользнул дерзкий намек, что он ничем не хуже Холдейна.

— Я имею в виду, — продолжал Холдейн, — в широком смысле. — Он стал кашлять сухим кашлем. — Ведь, в конце концов, они захватили вашу страну? — Лейзер не ответил. — Что вы думаете, скажем, о Кубе?

Холдейн не курил, но купил в баре сигареты, которые любил Лейзер. Тонкими пальцами уже очень немолодого человека он распечатал пачку и протянул через стол. Не дожидаясь ответа, заговорил снова:

— Видите ли, о том, что происходило на Кубе, американцы знали. Весь вопрос в информированности. Поэтому они и действовали. Они, безусловно, проводили разведывательные полеты. Но это не всегда возможно. — Он снова усмехнулся. — Не знаю, что бы они делали без этих полетов.

— Это точно, — Лейзер машинально кивнул головой. Холдейн смотрел в сторону.

— Они могли бы и завязнуть, — продолжал Холдейн, потягивая виски. — Кстати, вы не женаты?

Лейзер усмехнулся, поднял руку над столом и покачал кистью в разные стороны, будто изображая самолет.

— И да, и нет, — сказал он. Его галстук в клеточку украшала массивная золотая булавка в форме хлыста для верховой езды. Он пересекал крестнакрест длинную лошадиную голову. Довольно нелепое сочетание.

— А вы женаты, капитан?

Холдейн отрицательно покачал головой.

— Значит, нет, — произнес Лейзер и повторил:

— Значит, нет.

— Ну, всякие были, в общем, ситуации, — продолжал Холдейн, — когда допускались очень серьезные ошибки, потому что не было достовер-

ных сведений или были неполные. Ведь даже мы не можем себе позволить везде держать своих людей постоянно.

— Разумеется, — вежливо согласился Лейзер.

Паб заполнялся людьми.

— Может, вы знаете, куда бы мы еще могли пойти поговорить? — спросил Холдейн. — Мы бы поужинали, вспомнили наших ребят. Или у вас вечер занят? — В низших сословиях ужинают рано.

Лейзер взглянул на часы.

— Я свободен до восьми, — ответил он. — Вам надо что-то делать с вашим кашлем, сэр. Такой кашель — штука опасная.

Часы у него были золотые, с циферблатом черного цвета, с табло, показывающим фазы Луны.

* * *

Замминистра тоже очень дорожил своим временем и был недоволен, что пришлось задержаться допоздна.

— По-моему, я уже докладывал вам, — говорил Леклерк, — что Форин Офис ужасно неряшливо оформляет паспорта нашим оперативным сотрудникам. Там взяли себе за правило по каждому случаю запрашивать Цирк. Как вы понимае-

те, у нас нет официального статуса; мне очень неприятно об этом говорить, но ведь у них самое смутное представление о нашей работе. Мне пришло в голову, что для моего Департамента было бы значительно удобней заказывать такие паспорта непосредственно через вашу личную канцелярию. И нам бы не приходилось всякий раз обращаться в Цирк.

— Что значит — неряшливо?».

— Как вы помните, мы послали покойного Тэйлора под другим именем. Форин Офис аннулировал его оперативный паспорт за несколько часов до того, как он покинул Лондон. По-моему, это прокол Цирка. Паспорт, сопровождавший тело покойного, по прибытии в Соединенное Королевство был признан недействительным. Из-за этого у нас возникли чудовищные неприятности. Мне пришлось послать одного из моих лучших людей, чтобы все уладить, — соврал он. — Я уверен, что, если Министр настоит на нововведении, Контроль возражать не будет.

Замминистра ткнул карандашом в сторону двери, ведущей в личную канцелярию:

— Поговорите там. И что-нибудь решите. Все выглядит очень глупо. С кем вы имеете дело в Форин Офис?

— С Де Лилем, — с готовностью ответил Леклерк, — в общем отделе. И со Смайли в Цирке.

Замминистра записал имена.

— Никогда не знаешь, с кем там следует иметь дело, — слишком много о себе понимают.

— Возможно, мне придется обратиться в Цирк за технической помощью — нам понадобится передатчик, еще кое-что. Из соображений безопасности я воспользуюсь легендой, расскажу, что намечается учебное мероприятие.

— Легендой? Ну да, что-нибудь соврете.

— Это только предосторожность.

— Поступайте, как считаете нужным.

— Я понял, что Цирк лучше не ставить в известность? Вы сказали: «Не допускать монолита». Так я и старался.

Замминистра снова взглянул на часы, висевшие над дверью.

— Он сегодня не в духе — такой тяжелый день из-за Йемена. И эти дополнительные выборы в Вудбридже: он ужасно огорчается, когда исход решает ничтожное число голосов. Кстати, как продвигается ваше дело? Знаете, оно его тоже очень тревожит. Он думает, что же там в действительности? — Он сделал паузу. — Ах, немцы

— боюсь я их… Вы говорили, что найдете подходящего парня.

Они вышли в коридор.

— Уже нашли. И включили в игру. Окончательно будет известно вечером.

Замминистра сморщился и взялся за ручку двери в кабинет Министра. Он регулярно ходил в церковь, и ему претили темные предприятия.

— Что заставляет человека браться за такую работу? Не о вас я говорю — о нем.

Леклерк молчаливо покачал головой, будто они очень хорошо понимали друг друга:

— Одному Богу известно. Мы сами никогда не узнаем.

— Что он за личность? Из какой среды? Расскажите в самых общих чертах.

— Человек толковый, самоучка, по происхождению поляк.

— А-а, понятно. — Ответ как будто успокоил его. — Постараемся преподнести это дело деликатнее, не сгущая красок, ладно? Он не любит острых сюжетов. Риск и опасность здесь видны любому дураку.

Они вошли в кабинет.

* * *

Холдейн и Лейзер сели за столиком в углу кафе, как любовная парочка. В таких местах уют создают пустые бутылки из-под кьянти; больше здесь посетителям ждать нечего. Завтра или послезавтра ресторанчик исчезнет, и никто о нем не вспомнит, ну а пока он сиял новизной, надеждой и был совсем неплох. Лейзер заказал бифштекс — наверно, он всегда брал это блюдо, — за столом сидел торжественно, аккуратно сложив руки.

Холдейн не сразу заговорил о цели своего визита. Вначале он бранил войну, Департамент, военные операции, всплывшие утром в его памяти, когда он проглядывал досье. Говорил он лишь о тех, кто выжил, — вспоминать других было нежелательно.

Он спросил о курсах, на которых когда-то занимался Лейзер, — не пропал ли у него интерес к радио? «Ну, в общем, пропал». — «А рукопашный бой изучали?» — «Нет, не приходилось». «Помнится, во время войны пару раз вам пришлось очень туго, — сказал Холдейн. — Кажется, в Голландии вам не повезло?»

Они опять стали вспоминать прошлые времена, былую удаль.

Лейзер сдержанно кивнул.

— Да, не повезло, — согласился он. — Тогда я был помоложе.

— А что именно произошло?

Минуту Лейзер смотрел на Холдейна помаргивая, будто только что проснулся, потом заговорил. Он рассказал одну из тех историй, которые в разных вариантах появились в начале войны. История эта была так же далека от симпатичного ресторанчика, где они сейчас сидели, как, скажем, сама война. Рассказ он вел с таким спокойствием, будто все это касалось вовсе не его: может, он слышал это по радио. Он попал в плен, бежал, несколько дней ничего не ел, кого-то убил, потом его прятали и тайно переправили обратно в Англию.

И тем не менее рассказывал он хорошо, может быть, потому, что война так много значила для него; может быть, потому, что это была правда, но, как и у той римской вдовы, которая рассказывала о гибели мужа, страстность осталась только в самом повествовании, в сердце огонь потух. Он говорил будто по принуждению, но искусственность речи — в отличие от речи Леклерка, — казалось, не была связана с желанием произвести впечатление, скорее он хотел

что-то скрыть. Он выглядел очень замкнутым человеком, боявшимся сказать лишнее о себе, одиноким, отвыкшим от людей. Может быть, он и нашел в жизни какую-то точку опоры, но у него еще не было в ней своего места. Говорил он чисто, но по его выговору сразу было видно, что он иностранец, — он слишком отчетливо произносил слова, не смазывая звуков; впрочем, добиться естественного произношения далеко не так просто. Он говорил как человек, хорошо знакомый с английской жизнью, но все-таки здесь чужой.

Холдейн вежливо слушал. Когда Лейзер кончил, он спросил его:

— Вы не знаете, почему они выбрали именно вас?

Их разделяло слишком большое расстояние.

— Мне никто не говорил, — бесхитростно сказал он, как будто спросить сам он никак не мог.

— В общем, вы как раз тот, кто нам нужен. У вас немецкие корни — надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Немцев вы знаете; у вас есть опыт работы на немецкой территории.

— Только во время войны, — сказал Лейзер.

Они поговорили о разведывательной школе.

— Как наш толстячок? Джордж — как его по

фамилии? Низенький такой, всегда грустный ходил?

— А-а… у него все в порядке, спасибо.

— Он женился на хорошенькой девушке. — Лейзер выразительно ухмыльнулся, согнул руку в локте и сжал кулак — восточный жест, означающий удачу в любви. — Боже мой, — сказал он, снова смеясь. — Когда мы были мальчишками, нас ничто не оставливало.

Это было исключительно неуместное замечание. Но Холдейн как будто этого и ждал.

Он долго не сводил с него ледяного взгляда. Оба молчали. Холдейн неторопливо встал из-за стола — было видно, что он взбешен; что его взбесила идиотская ухмылка Лейзера, взбесили дешевые шутки, недостойные профессионала, и бессмысленные уколы и сальности в адрес достойного человека.

— Лучше бы вы не говорили о нем таких вещей. Джордж Смайли — мой друг.

Подозвав официанта, он расплатился и с гордым видом быстро зашагал из ресторана. Ошеломленный Лейзер остался один за столиком со стаканом «Белой леди», его карие глаза озабоченно глядели на дверь, за которой так неожиданно исчез Холдейн.

В конце концов он тоже вышел из ресторана и неторопливо зашагал обратно в темноте под дождем по пешеходному мостику, пристально глядя вниз на проезжающие автомашины и два ряда уличных фонарей. На противоположной стороне была его авторемонтная мастерская, несколько освещенных колонок, башня, увенчанная неоновым сердцем из лампочек по шестьдесят ватт, которое попеременно становилось то красным, то зеленым. Он вошел в ярко освещенную приемную, что-то сказал мальчику и стал медленно подниматься навстречу доносившейся музыке.

Холдейн дождался, когда он исчезнет из виду, и быстро пошел обратно в ресторан, чтобы вызвать оттуда такси.

* * *

Она включила проигрыватель и, расположившись в его кресле с бокалом в руке, слушала танцевальную музыку.

— Боже мой, как ты задержался. — сказала она. — Я умираю от голода.

Он поцеловал ее.

— Ты что-то ел, — сказала она. — От тебя пахнет какой-то едой.

— Только перекусил, Бетти. Так получилось — я

встречался с одним человеком, мы зашли в кафе.

— Ты врешь.

Он улыбнулся:

— Кончай, Бетти. Ты не забыла — вечером мы идем на ужин.

— Кто это был?

Квартира была очень чистая, с коврами, нарядными шторами и кружевными салфетками на полированной мебели. Все было защищено: вазы, лампы, пепельница — Лейзер благоговейно берег вещи. Ему нравился дух старины, об этом говорила резная мебель и кованые металлические светильники. Здесь было зеркало в позолоченной раме, панно с лепными украшениями, новые часы с вращающимися под стеклянным колпаком чашечками.

Бар в шкафу был с музыкой; когда он его открыл, прозвучала короткая мелодия. Он долго смешивал «Белую леди» из разных частей — с такой тщательностью замешивают лекарства. Она глядела на него, покачивая бедрами в такт музыке и отведя руку с бокалом в сторону, танцевала, но не с Лейзером, а с кем-то другим, и вместо бокала держала за руку своего партнера.

— Кто это был? — повторила она.

Он стоял у окна, по-военному выпрямив спину.

Вспышки неонового сердца с башни отражались на соседних домах, на поручнях мостика, трепетали па влажной мостовой. За домами возвышалась церковь из рифленого кирпича, с оконцами для колоколов, напоминавшая кинотеатр со шпилем. За церковью было небо. Иногда ему представлялось, что церковь — последнее уцелевшее здание, а небо над Лондоном освещено пожирающим город пожаром.

— Боже мой, что-то ты сегодня невеселый.

Колокольный звон был записан на пленку и воспроизводился с многократным усилением, чтобы заглушить уличный шум. По воскресеньям у него покупали особенно много бензина. Дождь хлестал и хлестал, мешая автомобильным фарам, смазывая красно-зеленые блики на асфальте.

— Фред, давай потанцуем.

— Обожди, Бетти.

— Ну что с тобой происходит? Надо еще выпить, и все будет хорошо.

Он слышал шорох ее ног по ковру в такт музыке, позвякивание браслета.

— Потанцуй со мной, пожалуйста.

Она неясно выговаривала слова, лениво растягивая последний слог сверх всякой меры. И отдавалась с какой-то осознанной разочаро-

ванностью, мрачно, как будто отдавала деньги, словно все радости получал мужчина, а ей это причиняло только боль.

Она протянула руку и небрежно переставила звукосниматель. Игла со скрежетом царапнула по пластинке.

— Да что с тобой, наконец, такое?

— Говорю тебе — ничего. Просто был тяжелый день, вот и все. Потом зашел один старый знакомый.

— Я уже в который раз спрашиваю, кто? Баба? Какая-нибудь дрянь.

— Нет, Бетти, мужчина.

Она подошла к окну, положила Лейзеру руку на плечо:

— Какую такую красоту ты там разглядываешь? Что ты нашел в этих неприглядных домишках? Сам всегда говорил, что терпеть их не можешь. Ну так кто же все-таки был?

— Он из одной крупной фирмы.

— Ты им зачем-то понадобился?

— Да… они хотят мне кое-что предложить.

— Боже, на что им польская рожа?

Он сдержанно ответил:

— Я им нужен.

— Кто-то приходил в банк, спрашивал о тебе.

Потом он торчал в кабинете Донея. У тебя неприятности?

Он взял в руки ее пальто и, галантно отставив локти в сторону, помог ей одеться.

— Только не в это новое заведение с официантами, ладно?

— А что, разве там плохо? Мне казалось, тебе понравилось. Там танцуют, ты ведь любишь танцы… А куда бы тебе хотелось?

— С тобой-то? О Боже! Куда-нибудь, где хоть немного жизни.

Он пристально посмотрел на нее и вдруг улыбнулся:

— Ладно, Бетти. Пусть сегодня у тебя будет праздник. Спускайся вниз и заводи машину, а я закажу столик. — Он дал ей ключи. — Я знаю роскошное местечко.

— А теперь что на тебя нашло, черт возьми?

— Можешь сесть за руль. Сегодня мы гуляем.

Он пошел к телефону.

* * *

Холдейн вернулся в Департамент около одиннадцати, Леклерк и Эйвери уже ждали. Кэрол печатала в личном отделе.

— Я думал, вы будете раньше, — сказал

Леклерк.

— Ничего не выходит. Он сказал, что не хочет играть в нашу игру. Со следующим кандидатом разговаривайте сами. Мне это не по плечу.

Он сел с невозмутимым видом. Они удивленно смотрели на него.

— А деньги вы предлагали? — наконец спросил Леклерк. — Нам выделено пять тысяч фунтов.

— Естественно, я предлагал деньги. Уверяю вас — ему все безразлично. Крайне неприятная личность. Извините. — За что — он не пояснил.

Было слышно, как Кэрол печатала на машинке.

— Что теперь делать? — спросил Леклерк.

— Понятия не имею, — ответил тот и нервно поглядел на часы.

— Найдется кто-нибудь другой, обязательно.

— Только не в нашей картотеке. И не с квалификацией Лейзера. У нас есть бельгийцы, шведы, французы. Но Лейзер — единственный, кто говорит по-немецки, и у него хорошая техническая подготовка. Судя по бумагам, больше таких людей у нас нет.

— Он еще достаточно молод. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. Нам нужен человек с опытом.

И нет ни времени, ни средств, чтобы готовить агента с азов. Может, следует обратиться в Цирк — у них наверняка кто-нибудь найдется.

— Крайне нежелательно, — сказал Эйвери.

— Что он за человек? — все еще на что-то надеясь, спросил Леклерк.

— Типичный славянин. Роста невысокого. Изображает из себя денди. Это производит отталкивающее впечатление. — Он вытащил из кармана счет. — Одевается, как букмекер, видно, они все так ходят. Счет отдать вам или в бухгалтерию?

— Человек он надежный?

— Отчего же нет?

— А вы сказали, как нам это необходимо? Говорили про верность новым идеалам и тому подобном?

— Он предпочитает старые.

Он положил счет на стол.

— А о политике говорили?.. Некоторые иммигранты очень даже…

— Мы говорили о политике. Он не из тех иммигрантов, он считает себя полноценным английским подданным. Что вы от него хотите? Чтобы он присягнул на верность польскому королевскому дому? — Он снова взглянул на часы.

— Вы с самого начала не хотели, чтобы он работал на нас! — закричал Леклерк, взбешенный равнодушием Холдейна. — Вы удовлетворены, Эйдриан? У вас это на лице написано! Боже мой, что будет с Департаментом! Это тоже пустой звук? Вы потеряли веру в Департамент! Вам на все плевать! Вы смеетесь мне в лицо!

— А кто из нас верит в Департамент? — спросил Холдейн с отвращением. — Вы же сами сказали — мы делаем свою работу.

— Я верю, — заявил Эйвери.

Холдейн хотел что-то сказать, но в эту минуту зазвонил зеленый телефон.

— Наверное, из Министерства, — проговорил Леклерк. — Что прикажете им отвечать?

Холдейн внимательно за ним следил. Леклерк снял трубку, приложил к уху, затем протянул ее через стол:

— Коммутатор. С какой стати соединяют на зеленый? Кому-то нужен капитан Хокинс. Это вы, по-моему?

Холдейн взял трубку, его худощавое лицо оставалось непроницаемым. Наконец он сказал:

— Разумеется. Мы кого-нибудь подберем. Это не составит труда. Завтра в одиннадцать. Пожалуйста, не опаздывайте, — и положил трубку.

Казалось, что окно с легкими занавесками вытягивало свет из кабинета Леклерка. На улице не переставай шумел дождь.

— Это Лейзер. Он принял предложение. Спрашивает, найдем ли мы кого-нибудь, кто возьмет на себя заботу об авторемонтной мастерской в его отсутствие.

Леклерк замер от удивления. Радость причудливо изменила его лицо.

— Вы ждали этого! — воскликнул он и протянул ему свою небольшую ладонь. — Простите меня, Эйдриан. Я вас недооценил. Поздравляю от всей души.

— Почему же он все-таки согласился? — взволнованно спросил Эйвери. — Что заставило его передумать?

— Почему агенты что-то делают вообще? И мы тоже? — Холдейн сел. Он выглядел как ничем себя не запятнавший пожилой человек, переживший всех своих друзей. — Почему они соглашаются или отказываются, почему врут или говорят правду? Как объяснять поступки каждого из нас? — Он опять стал кашлять. — Может, ему хочется что-нибудь совершить. Потом — немцы, он их терпеть не может. Так он сам говорит. Но, по-моему, это не столь существенный фактор.

Еще он сказал, что не подведет нас. Скорее всего, имел в виду себя. — Обратившись к Леклерку, он добавил:

— Согласно военным правилам — так мы решили?

Но Леклерк уже звонил в Министерство.

Эйвери пошел в личный отдел. Кэрол встала из-за машинки.

— Что происходит? — быстро спросила она. — Почему все такие нервные?

— Звонил Лейзер. — Эйвери закрыл за собой дверь. — Он согласился на задание. — Он обнял ее. В первый раз.

— Почему?

— Он сказал, что ненавидит немцев, а по-моему, ему нужны деньги.

— Это хорошо?

Эйвери понимающе усмехнулся:

— До тех пор, пока мы будем платить ему больше, чем другая сторона.

— Не лучше ли вам отправиться домой к вашей жене? — резко сказала она. — Как-то поверится, что вам необходимо спать здесь.

— Таков приказ.

Эйвери вернулся в свой кабинет. Она даже не пожелала ему доброй ночи.

* * *

Лейзер положил трубку. Неожиданно стало очень тихо. Погасли огни на крыше, и комната погрузилась в темноту. Он быстро собрался и с хмурым лицом спустился вниз. Такое выражение бывает у человека, который сразу после обеда узнает, что нужно тотчас быть на новом обеде.

Глава 11

Как и во время войны, они выбрали Оксфорд, где бывало очень много приезжих — преподавателей, студентов из разных стран, всякого другого люда. Здесь было легко затеряться. Близость природы им тоже очень подходила. Кроме того, в Оксфорде они чувствовали себя как дома. На следующее утро, после того как позвонил Лейзер, Эйвери отправился на поиски особняка. Днем позже он позвонил Холдейну, чтобы сообщить, что в северной части города снял на месяц огромный дом в викторианском стиле с четырьмя спальнями и садом. Это оказалось очень дорого. В Департаменте особняк стали называть Домом Мотыля, и он проходил по статье расходов на

улучшение условий труда.

Как только Холдейн узнал, он сразу сообщил об этом Лейзеру. Было решено, что Лейзер, как он сам и предложил, распустит слух, будто уезжает на курсы в одно из центральных графств.

— Никаких подробностей, — сказал ему Холдейн. — Пусть всю корреспонденцию для вас переправляют в Ковентри «до востребования». А мы организуем ее доставку сюда.

Лейзер обрадовался, когда узнал, что они будут жить в Оксфорде.

Леклерк и Вудфорд лихорадочно искали человека, который заменит Лейзера в автомастерской: вдруг им пришел в голову Мак-Каллох. Лейзер дал ему доверенность и целое утро суетился, объясняя, как там все устроено.

— Мы со своей стороны оформим вам гарантию, — сказал Холдейн.

— Нет никакой необходимости, — ответил Лейзер и добавил с серьезным видом:

— Когда имеешь дело с настоящим английским джентльменом.

В пятницу вечером Лейзер сообщил о своем согласии, а уже к среде подготовка продвинулась настолько, что Леклерк мог созвать спецотдел на совещание и обсудить общий план действий.

Вместе с Лейзером в Оксфорде должны были жить Эйвери и Холдейн — этим двоим предстояло выехать вечером следующего дня; предполагалось, что к этому времени Холдейн подготовит программу. Лейзер прибудет в Оксфорд па два-три дня позже, как только закончит свои дела. Старшим назначался Холдейн, его помощником — Эйвери. Вудфорд оставался в Лондоне. В его задачу входили консультации с Министерством (и с Сэндфордом из исследовательского отдела) по ракетам ближней и средней дальности, но их внешним характеристикам; получив все необходимые сведения, он должен был сам приехать в Оксфорд.

Леклерк был неутомим: то он ехал с докладом в Министерство, то выбивал пенсию для вдовы Тэйлора в финансовом ведомстве, то встречался с отставными инструкторами по радиоделу, фототехнике и рукопашному бою.

Все остающееся время Леклерк целиком посвящал начальной фазе операции «Мотыль-ноль» — моменту заброски Лейзера в Восточную Германию. Поначалу конкретного представления о том, как это осуществлять, у него не было. Он очень неопределенно говорил о морской операции с датского побережья, о небольшом рыболовном

судне, с которого сбрасывается не обнаруживаемая радарами резиновая лодка. Он обсуждал с Сэндфордом возможность нелегального перехода границы и запросил у Гортона данные о погранзоне в районе Любека. В самой обтекаемой форме он даже проконсультировался с Цирком. Контроль предложил любую помощь.

Все это происходило в обстановке делового подъема и оптимизма, который сразу бросился Эйвери в глаза по возвращении. Даже те, кто, как предполагалось, должны были оставаться в неведении, заразились общим волнением. Небольшая компания сотрудников, постоянно обедавших за угловым столиком в кафе «Кадена», была взбудоражена разными слухами и предположениями. Говорили, к примеру, что одного человека, но имени Джонсон, которого во время войны знали как Джека Джонсона, инструктора по радиоделу, снова зачислили в штат Департамента. Бухгалтерия выдала ему деньги, и — что самое загадочное — им предложено составить трехмесячный контракт и копию переслать в Министерство финансов. Разве бывают трехмесячные контракты? — спрашивали они друг друга. Во время войны Джонсон был связан с заброской агентов во Францию, вспоминала одна

из сотрудниц со стажем. Отличавшийся нахальством шифровальщик Берри спросил у мистера Вуд-форда, зачем им понадобился Джонсон, на что тот с ухмылкой посоветовал ему заниматься только своим делом, а Джонсона, сказал он, взяли для подготовки одной совершенно секретной операции в Европе… в Северной Европе, если на то пошло, и, кстати, пусть Берри знает, что бедный Тэйлор умер не напрасно.

Теперь к главному входу с утра до вечера подъезжали автомобили, мелькали курьеры из Министерства. Пайн потребовал и добился того, что ему выделили помощника из другого правительственного учреждения, которого он третировал с монаршей суровостью. Каким-то окольным путем он узнал, что объектом операции была Германия, и поэтому стал очень старательным.

Дело дошло до того, что среди местных торговцев поползли слухи, что Министерский Дом вот-вот перейдет в руки нового владельца; называли имена скупавших недвижимость частных покупателей. В здании день и ночь горели окна, сюда круглосуточно привозили обеды и закуски, а опечатанная прежде по соображениям безопасности парадная дверь была открыта. Вид

Леклерка в котелке и с чемоданчиком, садящегося в черный «хамбер», стал теперь привычным на Блэкфрайерз Роуд.

Как раненый человек, не желающий видеть своей раны, Эйвери спал теперь в стенах своего кабинетика, отделявших его от внешней жизни. Как-то раз он попросил Кэрол купить подарок для Энтони. Она принесла игрушечный грузовик с пластмассовыми бутылочками, которые можно было наполнять водой. Однажды вечером он с ней испытал игрушку и потом послал с шофером «хамбера» в Бэттерси.

* * *

Когда все было готово, Холдейн и Эйвери сели в поезд до Оксфорда. Билеты первого класса были оплачены Министерством. В вагоне-ресторане им был зарезервирован отдельный столик. Холдейн заказал себе маленькую бутылку вина и попивал его, разглядывая кроссворд в «Таймс». Они сидели молча — Холдейн был поглощен кроссвордом, Эйвери боялся его беспокоить.

Вдруг взгляд Эйвери остановился на галстуке Холдейна; не успев подумать, он выпалил:

— Боже мой, а я и не знал, что вы играете в крикет.

— Вы что, ждали, что я буду вам об этом докладывать? — рявкнул в ответ Холдейн. — Не могу же я в этом галстуке явиться на работу.

— Извините.

Холдейн пристально посмотрел на него.

— Не стоит извиняться на каждом шагу, — заметил он. — Вы оба этим грешите.

Он налил себе кофе и заказал рюмку коньяку. Официанты стремительно выполняли его пожелания.

— Оба?

— Вы и Лейзер — он всегда словно извиняется.

— Теперь, когда Лейзер с нами, все пойдет как надо, верно? — быстро проговорил Эйвери. — Лейзер — профессионал.

— Мы и Лейзер — совершенно разные вещи. Никогда не путайте это. Просто мы его когда-то нашли, и очень давно.

— Что он такое? Что за человек?

— Он агент. Мы должны уметь с ним обращаться, нам не важно, что у него внутри.

Он вновь погрузился в кроссворд.

— Он должен быть преданным человеком, — заметил Эйвери. — А то с чего бы он согласился?

— Вспомните, что сказал директор: существуют две присяги — первую часто принимают легко-

мысленно.

— А вторую?

— Ну, это уже другое дело. Наша задача заключается именно в том, чтобы помочь ему принять вторую присягу.

— А что заставило его согласиться в первый раз?

— Я не верю в причины. Не верю в такие слова, как «преданность». И меньше всего, — изрек Холдейн, — я верю в мотивацию поступков. Давайте оставим арифметику, теперь мы готовим разведчика. Вы ведь знакомы с немецкой литературой, верно? Вначале было дело.

Уже подъезжая к Оксфорду, Эйвери рискнул задать еще один вопрос:

— Как получилось, что тот паспорт оказался уже недействительным?

Холдейн имел обыкновение наклонять голову, когда к нему обращались.

— Прежде Форин Офис выделял Департаменту несколько серий для оперативных паспортов. Такой порядок существовал на протяжении многих лет. Год назад Форин Офис объявил, что не будет больше выдавать нам паспортов, не согласовав с Цирком. Видимо, Леклерк довольно редко посылал запросы, и Контроль решил покончить с этой

практикой. Паспорт Тэйлора был старой серии, из той партии, что была аннулирована за три дня до его отъезда. Уже ничего нельзя было сделать из-за отсутствия времени. Но все могло бы остаться незамеченным. Цирк показал себя здесь далеко не с лучшей стороны. — Пауза. — Очень трудно понять, чего хочет Контроль.

Они взяли такси до северного района Оксфорда, вышли у поворота к своему особняку. Пока шагали в сумерках по тротуару, Эйвери разглядывал дома: в освещенных окнах мелькали седые мужчины и женщины, виднелись окаймленные кружевами вельветовые кресла, китайские ширмы, пюпитры, игроки, застывшие над картами, словно зачарованные придворные. Когда-то он много знал об этом мире и даже думал, что принадлежит к нему, но это было давно.

Весь вечер они потратили на устройство в своем новом доме. Холдейн сказал, что Лейзеру надо предоставить комнату, выходящую окнами в сад, а они поселятся в двух других, выходящих на улицу. Он заранее прислал несколько научных томов, печатную машинку и стопку объемистых папок. Все эти вещи он распаковал и расположил на обеденном столе, чтобы их видела экономка домовладельца, которая часто заходила.

— Эту комнату мы будем называть кабинетом, — сказал он. В гостиной он установил магнитофон.

У него было несколько кассет, которые он положил в буфет и запер, педантично присоединив ключ к своему брелоку. Остальной багаж, состоявший из проектора с клеймом BBC, экрана и перевязанного шнуром матерчатого зеленого чемодана с кожаными углами, дожидался своего часа а прихожей.

Это был просторный, ухоженный дом, обставленный мебелью красного дерева с бронзой. На стенах было множество фотографий, изображавших какую-то неизвестную семью; рисунки, выполненные в светло-коричневых тонах, миниатюры, поблекшие от времени. На серванте стояла широкая чаша с пахучими цветочными лепестками, к зеркалу было прикреплено распятие из пальмового дерева, с потолка свисали люстры — неуклюже, но не агрессивно; в одном углу стоял столик для Библии; в другом — безвкусная фигурка Купидона, обращенная лицом к стене. В доме царил дух старины, что-то, как ладан, мягко навевало безутешную печаль.

К полуночи они все расставили по своим местам и присели в гостиной. Мраморный камин

был украшен фигурами мавров, выполненными из черного дерева, их толстые щиколотки соединяли сплетенные из роз позолоченные цепи, в которых отблескивал огонь газовой горелки. Этот амин мог быть сложен и в XVII, и в XIX веке, когда мавры на очень непродолжительное время пришли вместо борзых в качестве декоративных животных: они были совершенно наги, так же наги, как собаки, и кованы цепями из золоченых роз. Эйвери выпил виски и отправился спать, оставив Холдейна наедине со своими мыслями.

Комната у него была большая и темная. Над кроватью висел изящный светильник из голубого фарфора, туалетные столики украшали вылитые салфетки и маленькая эмалированная табличка с надписью: «Да благословит Господь этот дом»; висевшая у окна картина изображала двух сестер — одна молилась, а другая в это время завтракала в постели.

Он лежал в кровати с открытыми глазами и думал о Лейзере, словно ждал девушку. Из-за двери, через коридор, доносился надрывный кашель Холдейна. И когда Эйвери заснул, он не прекратился.

* * *

Клуб, членом которого был Смайли, произвел на Леклерка очень странное впечатление — совсем не то, какого он ожидал. Две полуподвальные комнаты, и в них — десяток людей за столиками перед большим камином. С кем-то ему вроде уже приходилось встречаться. Видимо, все здесь были как-то связаны с Цирком.

— Симпатичное местечко. А как можно вступить в ваш клуб?

— Увы, никак, — виновато ответил Смайли и покраснел, потом добавил:

— То есть сюда не принимают новых членов. Только мое поколение… кто погиб на войне, кто просто умер или уехал за границу. Ну так о чем мы хотели с вами поговорить?

— Спасибо вам, что помогли молодому Эйвери.

— Да… конечно. Кстати, чем все закончилось? Мне ничего не известно.

— Это было всего лишь учебное мероприятие, пленка так и не возникла.

— Извините, — торопливо сказал Смайли, словно ему стало неловко оттого что он затронул какой-то больной вопрос.

— Да мы, в общем, и не надеялись. Все было за-

думано просто на всякий случай. Интересно, что вам рассказал Эйвери? Мы сейчас тренируем заново одного-двух опытных людей… и нескольких молодых тоже. Чтобы было чем заняться, — пояснил Леклерк, — в мертвый сезон… а то, знаете, скоро Рождество, многие в отпусках.

— Знаю.

Леклерк отметил, что бордо было превосходным. Он бы с удовольствием поменял свой клуб на другой — поменьше: его собственный испортился вконец. Все из-за обслуги.

— Вы, возможно, слышали, — прибавил Леклерк почти официальным тоном, — что Контроль предложил нам любую помощь для тренировочных целей.

— Да, конечно.

— Наш Министр всей душой за это дело. Он одобряет идею о создании «банка» хорошо подготовленных агентов. Как только возник эта план, я сразу же переговорил с Контролем. Потом Контроль заезжал ко мне. Вы, наверно, знаете?

— Да, Контроль заинтересовался…

— Он нам очень помогает. Не думайте, что я недооцениваю. Мы договорились — я попробую обрисовать ситуацию в общих чертах, в вашем ведомстве это подтвердят, — что для успешного

проведения этих учений мы должны создать условия, предельно приближенные к боевым То, что мы называли боевой обстановкой. — Он широко улыбнулся. — Мы выбрали район на территории Западной Германии. Открытая незнакомая местность делает его идеальным для проведения учебных занятий по пересечению границы и подобным операциям. В случае необходимости можно обратиться за содействием в подразделения сухопутных сил.

— Да, конечно, отличная мысль.

— Из соображений безопасности мы будем информировать ваше ведомство исключительно о тех аспектах, в которых мы смеем рассчитывать на вашу квалифицированную поддержку.

— Контроль говорил мне об этом, — сказал Смайли. — Он готов сделать все. что от него зависит. Он не знал. что вы по-прежнему занимаетесь подобными операциями. Ему было приятно услышать об этом.

— Прекрасно, — коротко ответил Леклерк. Он подался грудью вперед, так что локти заскользили по полированному столу. — Хотелось бы иногда иметь возможность обращаться к экспертам из вашего ведомства… разумеется, в неофициальном порядке. Ну так, как ваши

люди время от времени используют Эйдриана Холдейна.

— Разумеется.

— Первым делом меня интересует подделка документов. Я проглядел старые досье — Хайд и Феллоуби несколько лет назад перешли на работу в Цирк.

— Да. Мы тогда решили укрепить этот отдел.

— Я подготовил описание человека, который в настоящее время работает на нас. Для наших целей он — житель Магдебурга. Это один из членов учебной группы. Как, по-вашему, смогут они сделать паспорт, удостоверение личности, партийный билет, такие вещи? Все необходимое.

— Тот человек должен будет их подписать, — сказал Смайли. — А уж поверх подписи мы поставим печать. Нам также потребуются фотографии. Кроме того, он пройдет инструктаж, как пользоваться документами; Хайд мог бы приехать к вашему агенту и все объяснить на месте.

Леклерк было заколебался:

— Разумеется. Я подобрал ему фамилию. Очень похожую на настоящую — мы считаем, что это правильный метод.

— Я хочу сказать вам одну вещь, — насмешливо нахмурившись, произнес Смайли, — рад уж эти

ваши учения готовятся так тщательно. У любого поддельного документа есть свой предел. То есть один телефонный звонок в Магдебургский муниципалитет — и лучшая в мире подделка превращается в мыльный пузырь…

— Мы знаем об этом. Мы хотим научить их пользоваться легендой, будем отрабатывать поведение на допросе… в таком духе.

Смайли потягивал бордо:

— Вот что мне хочется вам сказать. Техническая сторона операции порой так завораживает, что… Я совсем не имел в виду… Кстати, как там Холдейн? Вы знаете, он учился на филологическом отделении в Оксфорде. Мы поступили с ним вместе.

— У Эйдриана все в порядке.

— Мне понравился ваш Эйвери, — вежливо заметил Смайли. Страдальческая гримаса скривила его хмурое лицо. — Представьте себе, — сказал он с чувством, — период барокко до сих пор не включен в общую программу немецкой филологии. Его читают только как специальный курс.

— Еще вот какой вопрос — рация. После окончания войны нам почти не приходилось пользоваться ими. Я знаю, вся эта техника стала куда более совершенной. Скоростная передача инфор-

мации и так далее. Мы хотим шагать в ногу со временем.

— Да, да, по-моему, текст записывается на миниатюрный магнитофон, а затем в считанные секунды выстреливается в эфир. — Он вздохнул. — Но никто, к сожалению, не открывает нам всех карт. Эксперты по специальной технике никого близко не подпускают к своим секретам.

— Могли бы мои люди научиться работать с этой аппаратурой, скажем… за месяц?

— И использовать ее в оперативной обстановке? — спросил Смайли в изумлении. — Сразу после месячной подготовки?

— Кое-кто у нас — с техническим образованием, у некоторых есть опыт работы с передатчиком.

Смайли с недоумением посмотрел на Леклерка.

— Простите. Но ему или им, — спросил он, — не надо ли будет в течение этого же месяца изучать и другие вещи?

— Некоторые просто освежат свои навыки.

— Вот как.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего, ничего, — неопределенно сказал Смайли и добавил:

— Мне думается, что наши специалисты едва

ли пожелают делиться аппаратурой такого класса, если только…

— Если только они сами не будут участвовать в этой операции?

— Да, — сказал Смайли и покраснел. — Да, именно так. Это очень привередливый народ, они даже способны на ревность.

Леклерк погрузился в молчание, постукивая донышком бокала по полированной поверхности стола. Вдруг, словно отогнав тревожные мысли, он улыбнулся и сказал:

— Ладно. Придется взять обычный передатчик. Скажите, методы радиопеленгации усовершенствовались с войны? Радиоперехват, обнаружение незарегистрированного источника радиосигналов?

— Безусловно.

— Придется это учесть. Как долго можно вести передачу, прежде чем тебя обнаружат?

— Две-три минуты, вероятно. Это зависит от обстоятельств. Тут уж как повезет. Засечь можно только во время передачи. Многое зависит от используемой частоты. По крайней мере так я слышал.

— На войне, — задумчиво сказал Леклерк, — мы выдавали разведчику несколько кварцев.

Каждый из них — на определенную частоту. Полагалось то и дело менять один кварц на другой. В то время этот метод был достаточно надежным. Мы могли бы применить его опять.

— Да. Да, я это помню. Но нужно было немало повозиться, чтобы точно настроить передатчик и антенну…

— Предположим, у человека навык работы с обычным передатчиком. Вы говорите, что сейчас пеленгуют лучше, чем во время войны. Но две-три минуты все-таки есть?

— Возможно, меньше, — сказал Смайли, глядя ему в глаза. — Это зависит от самых разных вещей… от удачи, качества приема, загруженности эфира, плотности населения…

— Предположим, он будет менять частоту через каждые две с половиной минуты. Так годится?

— Все-таки это медленно. — Его нездоровое лицо выражало печаль и озабоченность. — Вы уверены, что ваша операция только учебная?

— Мне припоминается, — не сдавался Леклерк, — что эти кварцы величиной со спичечный коробок. Мы дали бы ему несколько штук. Предполагается совсем немного передач, едва ли больше трех-четырех. По-вашему, я говорю о нереальных вещах?

— Я здесь не специалист.

— Какая альтернатива? Я спрашивал у Контроля, он рекомендовал поговорить с вами. Он сказал, что вы поможете, дадите аппаратуру. Что еще я могу сделать? Мог бы я побеседовать с вашими техническими специалистами?

— Вы должны меня извинить. Контроль распорядился оказывать вам любую техническую помощь, но ставить под угрозу новейшую аппаратуру мы не имеем права. Мы не можем рисковать ею. В конце концов, это только учебное мероприятие. Мне кажется, он считает, что если вы не найдете необходимого оборудования, то…

— Мы передадим операцию в другие руки?

— Нет, что вы, — запротестовал Смайли, но Леклерк прервал его.

— В конце концов, вашим людям все равно придется заняться военными объектами, — со злостью сказал Леклерк. — Исключительно военными. Контроль понимает это.

— Разумеется. — Смайли как будто сдался. — Если вам нужен обычный передатчик, мы обязательно найдем.

Официант принес графин с портвейном. Леклерк наблюдал, как Смайли налил себе немного, потом осторожно отодвинул графин.

— Очень хороший портвейн, но боюсь, вот-вот кончится. Тогда придется перейти на более молодое вино. Завтра непременно переговорю с Контролем. Я убежден, что он не будет возражать. Против документов. И кварцев. Мы наверняка сможем подсказать вам подходящие частоты. Контроль говорил об этом.

— Контроль к нам очень хорошо относится, — признался Леклерк. Он немного опьянел. — Иногда это ставит меня в тупик.

Глава 12

Через два дня в Оксфорд приехал Лейзер. Они с нетерпением ждали на перроне, Холдейн пытался разглядеть его в торопливой толпе пассажиров. И все-таки первым его увидел Эйвери — неподвижная фигура в пальто из верблюжьей шерсти в окне опустевшего купе.

— Это он? — спросил Эйвери.

— Он приехал первым классом. Значит, доплатил разницу из собственного кармана, — сказал Холдейн так, будто Лейзер сделал нечто возмутительное.

Лейзер опустил стекло и вручил им два чемодана из свиной кожи ядовито-желтого цвета. Они

наскоро поздоровались и, не таясь, пожали друг другу руки. Эйвери хотел было взять у него багаж, чтобы донести до такси, но Лейзер отказался от помощи и сам понес вещи. Он шел немного позади, расправив плечи и всматриваясь в толпу, точно побаивался ее. Его длинные волосы колыхались при каждом шаге.

Не спускавший с него глаз Эйвери вдруг встревожился.

Перед ним был человек — не призрак. Сильный, способный принимать самостоятельные решения, но отныне подчиняющийся их власти. Теперь он пойдет туда, куда они скажут. Он завербован; и манера двигаться у него уже была озабоченно-торопливой, как у рядового-новобранца. И все же, думал Эйвери, невозможно объяснить согласие Лейзера какой-то одной причиной. Хотя Эйвери и недавно поступил в Департамент, он уже мог распознать, как действует внутренний механизм этого ведомства, уже видел операции, у которых не было ни осязаемого начала, ни осязаемого конца и которые составляли лишь звенья какой-то бесконечной цепи. Так череда бесплодных ухаживаний порою выглядит как насыщенная любовью жизнь. Но, глядя на этого полного жизни человека, враз-

валку шагавшего рядом, он чувствовал, что если раньше в Департаменте лишь невинно забавлялись бесплотными идеями, то теперь имели дело с реальным человеческим существом.

Они забрались в такси, Лейзер влез последним, он настоял на этом. Приближался вечер. На фоне свинцово-синего неба деревья казались плоскими. Уродливые столбы дыма поднимались над крышами Оксфорда. Фасады небольших солидных домов были расписаны в духе старинных легенд, на вкус владельцев. Один дом, словно замок, венчали башенки, другой украшали резные решетки пагоды, между ними виднелись араукарии, кое-где было развешено для сушки белье. Дома скромно расположились внутри своих собственных садиков. Окна были зашторены; из-под тяжелых занавесей выглядывали кружева, как из-под платья нижняя юбка. Улица напоминала, плохую акварель: темные краски были слишком густыми, небо в сумерках — грязно-серым.

Они вышли из такси на углу. Пахло гнилой листвой. В округе не слышно было детских голосов. Они подошли к воротам. Не отрывая взгляда от дома, Лейзер поставил чемоданы на землю.

— Хорошее место, — искренне сказал он и взглянул на Эйвери, — кто выбирал?

— Я, — ответил тот.

— Прекрасно. — Он похлопал его по плечу н прибавил:

— Вы не ошиблись.

Эйвери было приятно, он улыбнулся и открыл ворота. Лейзер опять настоял на том, чтобы другие прошли вперед. Они поднялись наверх и показали Лейзеру его комнату. Он все еще держал в руках свои чемоданы.

— Разберу вещи потом, — сказал он. — Я люблю это делать аккуратно.

Он бродил по дому, оглядывая все критически, брал в руки различные предметы, точно собирался все купить.

— Хорошее место, — повторил он наконец, — мне здесь нравится.

— Я рад, — сказал Холдейн так, будто ему было наплевать.

Эйвери поднялся с Лейзером в его комнату, чтобы помочь ему, если понадобится.

— Как вас звать? — спросил Лейзер. С Эйвери он чувствовал себя более непринужденно и был с ним проще.

— Джон.

Они опять пожали друг другу руки.

— Ну, здравствуйте, Джон. Рад с вами познако-

миться. Сколько вам?

— Тридцать четыре, — соврал он.

Лейзер подмигнул:

— Боже, где мои тридцать четыре? Таким делом вам уже приходилось заниматься?

— Вот только на прошлой неделе вернулся с задания.

— Ну и как, обошлось?

— Прекрасно.

— Вот молодчина. А где ваша комната?

Эйвери показал.

— Расскажите, какие здесь порядки.

— Что вы имеете в виду?

— Кто у нас старший?

— Капитан Хокинс.

— А кроме него?

— В общем, пока никого. Я буду под рукой.

— Все время?

— Да.

Лейзер принялся распаковывать вещи. Эйвери смотрел. Он вынул щетки с кожаными ручками, лосьон для волос, целую батарею флаконов с мужской косметикой, электробритву последней модели и галстуки, одни клетчатые, другие шелковые — под цвет к его дорогим рубашкам. Эйвери спустился вниз, где его уже ждал Холдейн.

Он улыбнулся, когда Эйвери вошел:

— Ну?

Эйвери выразительно пожал плечами. Он был возбужден и озабочен.

— Что вы о нем думаете? — спросил он.

— Я с ним едва знаком, — сухо сказал Холдейн. Ему нельзя было отказать в умении заканчивать любой разговор. — Я хочу, чтобы вы постоянно были с ним. Гуляйте вместе, тренируйтесь в стрельбе; если надо, пейте. Он не должен оставаться один.

— А если он захочет уехать отдохнуть?

— Мы что-нибудь придумаем. Пока делайте то, что я говорю. Вы почувствуете, что ему нравится ваше общество. Он страшно одинок. Запомните, он англичанин. Стопроцентный британец. Еще одно, очень важный момент: пусть он считает, что Департамент с войны не изменился. Мы ни на йоту не изменились: вы должны сделать все, чтобы он продолжал в это верить, хотя, — без тени улыбки продолжал он, — хотя вам, молодой человек, пока трудно увидеть разницу.

* * *

На следующее утро они приступили к делу. После завтрака все собрались в гостиной, где к

ним обратился Холдейн.

Курс подготовки будет состоять из двух частей, по две недели каждая, с коротким перерывом на отдых. Первая часть отводится для переподготовки, во второй части будут отрабатываться профессиональные навыки, необходимые для выполнения задания. Ни его оперативное имя, ни «легенда», ни характер задания не будут сообщены Лейзеру до начала третьей недели, но даже тогда его не информируют ни о намеченном районе операции, ни о способе заброски.

В области связи, так же как и во всех остальных предметах подготовки. он будет идти от общего к частному. В течение первого периода его будут в основном знакомить с техникой шифрования, расписанием и планом связи. Во время второй половины курса он будет по большей части работать непосредственно с передатчиком в условиях, предельно приближенных к оперативным. Инструктор прибудет на этой неделе.

Холдейн разъяснял все с известной долей педагогической желчности, а Лейзер очень внимательно его слушал, то и дело кивая головой в знак согласия. Эйвери показалось странным, что Холдейн не пытается скрыть свою неприязнь.

— Во время первого периода мы постараемся

узнать, что вы помните. Боюсь, что вам придется попотеть. Нам хотелось бы, чтобы вы были в хорошей форме. Вы пройдете курс владения огнестрельным оружием, будете заниматься приемами рукопашного боя, упражнениями, развивающими умственные способности, спецподготовкой. Днем мы постараемся вывозить вас на прогулки.

— А с кем? Джон тоже поедет?

— Да. Вас будет сопровождать Джон. Обращайтесь к нему по любому, даже самому незначительному, поводу. Если у вас возникнет желание что-то обсудить, на что-то пожаловаться или рассказать, что вас беспокоит, я надеюсь, вы не замедлите обратиться к одному из нас.

— Хорошо.

— Вообще я убедительно прошу вас не выходить из дома одному. Пусть каждый раз, когда вы захотите в свободное время пойти в кино, за покупками или за чем-то еще, с вами будет Джон. Боюсь, впрочем, что у вас не будет времени на развлечения.

— Я и не рассчитываю, — сказал Лейзер. — Мне это не нужно.

— По тону чувствовалось, что он говорил серьезно.

— Инструктор по радиоделу не будет знать вашего настоящего имени. Это обычная мера предосторожности; пожалуйста, не нарушайте ее. Экономка, которая приходит убирать, думает, что мы — участники научной конференции. Едва ли вам придется с ней беседовать, но помните об этом, если вдруг она с вами заговорит. Если вас будет интересовать, как идут дела в вашей автомастерской, пожалуйста, вначале переговорите со мной. Вы не должны пользоваться телефоном без моего разрешения. Здесь нас будут посещать и другие гости: фотографы, доктора, специалисты. Все они, как принято у нас говорить, играют второстепенные роли и остаются за кадром. Они, по большей части, будут думать, что вы — лишь звено широкого учебно-тренировочного плана. Прошу вас это запомнить.

— Понял, — сказал Лейзер.

Холдейн взглянул на часы:

— Первое занятие в десять часов. На углу улицы нас будет ждать машина. Шофер — лицо непосвященное, поэтому я попрошу вас в машине не разговаривать. У вас есть еще какая-нибудь одежда? — спросил он. — Этот костюм для стрельбища не годится.

— У меня есть спортивная куртка и брюки.

— Я бы хотел, чтобы ваша одежда меньше бросалась в глаза.

Пока они поднимались наверх, Лейзер лукаво улыбнулся Эйвери:

— Суровый он парень, правда? Старая школа.

— Зато хорошо знает свое дело, — ответил Эйвери.

Лейзер остановился:

— Конечно. Вот что я хотел спросить. Об этом доме. Многих вы здесь натаскивали?

— Вы не первый, — сказал Эйвери.

— Послушайте, я знаю, что вы не имеете права рассказывать лишнее. И все-таки скажите, то подразделение — такое же, как было?.. И свои люди повсюду?.. Старая система осталась?

— По-моему, мало что изменилось. Мне кажется, нас стало чуть больше.

— А много молодых ребят, вроде вас?

— Фред, извините.

Лейзер похлопал его по спине.

— Вы тоже знаете свое дело, — сказал он. — Насчет меня не беспокойтесь. Все будет в порядке, Джон.

* * *

Они приехали в Абингдон на парашютную базу, с которой у Министерства была договоренность. Там их уже ждал инструктор.

— К какому оружию вы привыкли?

— Мне, пожалуйста, автоматический браунинг тридцать восьмого калибра, — сказал Лейзер, будто он что-то покупал в бакалейной лавке.

— Теперь он называется девятимиллиметровым. Ваша мишень под номером один.

Холдейн остался стоять в углу галереи, а Эйвери стал помогать инструктору переставлять мишень величиной в человеческий рост на расстояние в десять ярдов и заклеивать кусочками резинового пластыря отверстия от пуль.

— Называйте меня «старший сержант», — сказал инструктор и обернулся к Эйвери. — Желаете тоже попробовать, сэр?

Холдейн быстро вставил:

— Да, старший сержант, оба будут стрелять, если позволите.

Лейзер приготовился стрелять первым. Эйвери встал рядом с Холдейном, а Лейзер одиноко стоял на стрельбище, спиной к ним, лицом к фанерной фигуре немецкого солдата. Мишень была выкра-

шена в черный цвет; она резко выделялась на фоне осыпавшейся штукатурки; в области живота и паха кто-то грубо начертил мелом сердце, середина которого была изрешечена пулями и заклеена обрывками бумаги. Они наблюдали, как Лейзер взвесил пистолет в руке, затем стремительно поднял его до уровня глаз и медленно опустил, вставил пустую обойму, вынул, потом опять быстро вставил. Он оглянулся на Эйвери, убрал со лба, чтобы не мешала целиться, прядь каштановых волос. Эйвери улыбнулся, подбадривая его, и по-деловому, быстро сказал Холдейну:

— Никак не могу понять, что он за человек.

— Почему не можете? Самый обычный поляк.

— Откуда он? Из какой области в Польше?

— Но вы же видели его досье. Он из Данцига.

— Ах да.

Инструктор приступил к делу:

— Вначале попробуем с незаряженным, глаза открыты и смотрят на мушку, ноги широко расставлены. Прекрасно, спасибо. Теперь надо расслабиться, нам должно быть удобно и приятно, ведь мы не на учениях, а приготовились вести огонь, да, да — это нам случалось делать и раньше! Теперь поднимите пистолет, наведите на мишень, но не цельтесь. Правильно! — Ин-

структор с шумом втянул в себя воздух, открыл деревянный ящик и вытащил четыре полных обоймы. — Одну — в пистолет, другую — в левую руку, — сказал он и вручил вторую пару обойм Эйвери, наблюдавшему с восхищением, как Лейзер искусно вставил обойму в рукоятку браунинга и передвинул предохранитель большим пальцем. — Теперь взведите курок, направьте дуло в землю на три ярда впереди вас. Приготовьтесь к стрельбе, рука прямая. Наведите на мишень и, не целясь, отстреляйте всю обойму парными выстрелами. Помните, что пистолет не является оружием высокого класса — польза от него ограниченна, он служит только для ближнего боя. А теперь медленно, очень медленно…

Его речь прервали выстрелы Лейзера. Он стрелял быстро, из напряженной позы — крепко, как гранату, зажав в руке вторую обойму. Он стрелял со злостью, как человек, который слишком долго молчал и наконец заговорил. У Эйвери в душе нарастало волнение — он чувствовал ярость Лейзера, для которого фанерная фигура воплощала нечто большее. Вначале два выстрела, за ними еще два, потом три, затем несколько, слившихся в один залп, — Лейзера окутывала плотная дымка, фанерный солдат дрожал, Эйвери вдыхал

сладковатый запах пороха.

— Одиннадцать попаданий из тринадцати выстрелов, — объяви инструктор. — Очень хорошо, просто отлично. В следующий раз, пожалуйста, постарайтесь делать только парные выстрелы и не открывайте огонь без моей команды. — Эйвери — как младшего офицера — он спросил:

— Не желаете потренироваться, сэр?

Лейзер подошел к мишени и стал ощупывать следы от пуль. Наступившая тишина была тягостной. Он совершенно погрузился в себя, рассеянно обводя пальцем края немецкой каски. Наконец голос инструктора вернул его к действительности:

— Послушайте, у нас не так много времени.

Эйвери стоял на коврике, взвешивая в руке пистолет. Инструктор помог ему вставить обойму — другую он судорожно сжимал в левой руке. Холдейн и Лейзер смотрели.

Эйвери нажал курок, выстрел ударил его по ушам и отдался в сердце, а мишень слегка колыхнулась и замерла.

— Молодец, Джон, молодец!

— Очень хорошо, — механически сказал инструктор. — Очень хорошо для первой попытки, сэр. — Он повернулся к Лейзеру:

— А вас я попрошу так не кричать. — Иностранцев он нюхом чуял.

— Сколько? — с нетерпением спросил Эйвери у сержанта, уже осматривавшего дырочки, черневшие на груди и животе мишени. — Сколько всего, старший сержант?

— Хорошо бы мы пошли на задание вдвоем с вами, Джон, — прошептал Лейзер, положив ему руку на плечо. — Я был бы очень рад.

На мгновение Эйвери отшатнулся от него. Но потом рассмеялся и провел ладонью но его спине, по теплой жесткой ткани его спортивной куртки.

Инструктор повел их через плац к кирпичной казарме, внешне похожей на театр без окон из-за того, что один торец заметно возвышался. Сразу за дверным проемом дорогу перекрывал простенок, как в общественном туалете — Стрельба по движущимся мишеням, — сказал Холдейн, — и стрельба ночью.

Во время ленча слушали пленки.

Записи на них должны были служить фоном во время первых двух недель его занятий. Они были переписаны со старых пластинок, одна из которых потрескивала с точностью метронома. В целом записи составляли продолжительную игру

на запоминание разрозненных фактов, которые не назывались прямо, а упоминались вроде бы случайно, в завуалированной форме, часто слушателей отвлекали посторонними шумами — к примеру, кто-то спорил, корректировал эти факты или опровергал их. В основном звучали три голоса — один женский и два мужских. Раздавались и другие голоса. Но на нервы им действовал голос женщины.

Ее голос звучал очень неестественно, как у стюардессы. На первой кассете она быстро читала вслух. Вначале перечислялись покупки: два фунта того, килограмм этого; потом она без всякого предупреждения переходила к разговору о кеглях — столько-то зеленых, столько-то светло-коричневых; затем перечисляла оружие, пушки, торпеды, снаряды различных калибров, далее шло описание фабрики: производственная мощность, доходы и расходы, годовой план и его ежемесячное выполнение. Об этом же она продолжала говорить и на второй пленке, но тут ей мешали какие-то посторонние голоса, переводившие разговор на самые неожиданные темы.

Она зашла в бакалейную лавку, где у нее разгорелся спор с женой хозяина по поводу сомнительного качества некоторых продуктов

— среди них не совсем свежие яйца, масло, продававшееся втридорога. Когда сам бакалейщик попытался помирить их, она обвинила его в том, что для «своих» у него все есть, дальше речь зашла о товарных и продовольственных карточках, об увеличении норм на сахарный песок в сезон заготовки фруктов; последовал намек на обилие товаров, спрятанных под прилавком. Бакалейщик стал что-то возмущенно говорить в ответ, но сразу умолк, когда детский голос спросил что-то про кегли: «Мам, а мам, я сбил три зеленых кегли, а когда попробовал поднять, уронил еще семь черных; мама, почему черных осталось только восемь?»

Затем действие переместилось в какое-то учреждение. Говорил тот же неприятный женский голос. Она зачитывала данные по вооружению; в разговор вступали другие лица. Обсуждались цифры, старые задачи отменялись, предлагались новые; один голос резко критиковал тактико-технические данные какого-то вида оружия — не прозвучало ни его точное название, ни описание, — другие голоса, наоборот, с жаром защищали его.

Каждые пять минут кто-то кричал: «Брейк» — как на ринге во время схватки. Тогда Холдейн

нажимал на «стоп» и предлагал Лейзеру поговорить о погоде, о футболе или же ровно пять минут почитать вслух газету и засекал время на своих часах — каминные стояли. В очередной раз заработал магнитофон и раздался отдаленно знакомый голос, чуть тягучий, как у пастора, молодой, презрительный и неуверенный, чем-то знакомый Эйвери: «Теперь ответьте на четыре вопроса: сколько яиц она купила за последние три недели, не считая тех, которые отнесла обратно в лавку? Сколько всего имеется кеглей? Сколько было выпущено испытанных и калиброванных орудийных стволов в 1937 и 1938 году соответственно? И наконец, последнее задание; напишите в телеграфной форме любой текст, из которого можно извлечь данные по длине орудийных стволов».

Лейзер бросился в кабинет записывать ответы — видно, ему была знакома эта игра. Как только он вышел, Эйвери сказал Холдейну агрессивным тоном:

— Это были вы. В конце звучал ваш голос.

— В самом деле? — Может, Холдейн и правда не обратил внимания.

Потом были другие пленки, от них веяло смертью: торопливый топот по деревянной лестнице,

шумно хлопающая дверь, короткий щелчок и вопрошающий женский голос, таким тоном спрашивают у гостя, с чем он будет пить чай, с лимоном или молоком: «Что это был за звук: дверная защелка? Затвор пистолета?»

Лейзер поколебался и сказал:

— Это дверь, просто хлопнула дверь.

— Это был пистолет, — возразил Холдейн. — Девятимиллиметровый автоматический браунинг. Щелкнула заправляемая обойма.

Днем Лейзер и Эйвери впервые пошли прогуляться по окрестностям Порт Медоу. Это была идея Холдейна. Они быстро шагали по высокой траве, ветер ворошил волосы Лейзера. Дул холодный ветер, но дождя не было; стоял ясный день, только без солнца; нависшее над равниной небо казалось темнее земли.

— Я вижу, вы здесь не в первый раз, — сказал Лейзер. — Учились здесь?

— Да, в университете.

— Что изучали?

— Иностранные языки, в основном немецкий.

Они поднялись по лесенке и вышли на узкую тропинку.

— Вы женаты? — спросил он.

— Да.

— Детишки?

— Один мальчик.

— Джон, скажите мне одну вещь. Когда капитан Хокинс наткнулся на мою карточку… что произошло?

— Не понял?»

— У вас ведь там картотека на всех, как она выглядит? Карточек, наверно, целый вагон.

— Они стоят в алфавитном порядке, — беспомощно сказал Эйвери. — Самые обычные карточки. А что?

— Он сказал, что меня помнят. Старые сотрудники, Он сказал, что я был лучшим. Так кто же меня помнит?

— Все помнят. У нас существует отдельная картотека для лучших. Практически все в Департаменте знают о Фреде Лейзере. Даже новички. Люди с таким послужным списком, как у вас, не забываются. — Он улыбнулся. — Вы будто всегда присутствовали, Фред.

— Джон, скажите мне еще вот что. Я не хочу перегибать палку, но все же… Мог бы я быть полезен вам там внутри?

— Внутри?

— Ну, в Конторе, среди вас. Но, кажется, для этого надо родиться таким, как капитан.

— Боюсь, именно так, Фред.

— Какой марки машины у вас там, Джон?

— Марки «хамбер».

— «Хоук-хамбер» или «снайп-хамбер?»

— Хоук.

— Только четырехцилиндровые? У «снайпа» движок будет помощнее.

— Я не говорю об оперативных машинах, — сказал Эйвери. — У нас большой выбор транспорта для специальных заданий.

— И фургоны?

— Именно.

— А сколько времени уходит на… Сколько ушло на вашу подготовку? Вот вы, к примеру, недавно вернулись с задания. Сколько вас готовили?

— Извините, Фред. Этого я не могу сказать даже вам.

— Не беспокойтесь, я не обидчивый.

Они миновали церковь, стоящую на холме у дороги, обогнули вспаханное поле и, усталые, но умиротворенные, вернулись в уютный Дом Мотыля, где их приветливо встретил камин, обрамленный золотистыми розами.

Вечером они перешли к занятиям по развитию зрительной памяти: то в автомобиле проезжали мимо сортировочной станции, то ехали в поез-

де вблизи аэродрома; потом они отправлялись на прогулку в неизвестном городе и вдруг обнаруживали, что видят какую-то машину или какое-то лицо не в первый раз, хотя его черты не запомнились. Порой на экране возникали и молниеносно исчезали разрозненные предметы, при этом звучали голоса, казавшиеся знакомыми по пленкам, однако голоса и изображение никак не были связаны между собой, так что внимание рассеивалось и было трудно отбирать нужную информацию.

Так завершился их первый день, похожий на ряд последующих: беззаботные, радостные дни для них обоих, дни честного труда, когда осторожность в их взаимоотношениях постепенно сменялась растущим расположением, а мальчишеские навыки снова превращались в орудие войны.

* * *

Для занятий рукопашным боем они сняли небольшой спортивный зал недалеко от Хедингтона, который Департамент использовал во время войны. Инструктор приехал на поезде. Все называли его «Сержант».

— Я не хочу быть любопытным, но возьмет ли

он с собой нож? — вежливо спросил он. У него был валлийский выговор.

Холдейн пожал плечами:

— Все зависит от него самого. Нам бы не хотелось забивать ему голову лишними вещами.

— Нож — это очень надежное оружие. — Лейзер все еще был в раздевалке. — Если, конечно, он умеет им пользоваться. И фрицам он всегда не по душе. — В руках у него был небольшой чемоданчик, он старательно распаковал его, как коммивояжер, заботящийся о своем товаре. — Весь секрет в том, что никогда не надо брать слишком длинный нож, сэр. Клинок должен быть обоюдоострым и плоским. — Он выбрал один нож и поднял его вверх. — Вообще-то говоря, навряд ли можно найти оружие лучше этого. — Лезвие ножа было широким и плоским, как лавровый лист, с узкой шейкой у рукоятки, что делало его похожим на песочные часы; рукоятка была ребристой, чтобы не скользила в руке. Причесываясь на ходу, к ним подошел Лейзер. — Вы когда-нибудь держали в руках что-нибудь подобное?

Лейзер внимательно посмотрел на нож и кивнул. Сержант пристально взглянул на него:

— А ведь мы с вами встречались. Меня зовут Сэнди Лоу. Я тот самый «проклятый валлиец».

— Вы были нашим инструктором во время войны.

— Боже мой, — мягко сказал Лоу, — именно так. А вы ведь совсем не изменились. — Они неловко заулыбались, не решаясь пожать друг другу руки. — Ну, давайте посмотрим, что вы еще помните.

Они подошли к жесткому мату в центре зала. Лоу швырнул нож к ногам Лейзера, и тот подхватил его, что-то пробормотав.

На Лоу был старый, кое-где порванный твидовый пиджак. Он быстро отступил назад, скинул его и одним движением обмотал вокруг левой руки от кисти до локтя, как дрессировщик, который готовится проверить злобность собаки. Он вытащил свой нож и начал неторопливо обходить Лейзера, умело балансируя корпусом. Он чуть пригнулся. Обмотанную пиджаком руку с вытянутыми пальцами он держал ладонью вниз у живота. Защитившись левой рукой, он выставил вперед лезвие ножа, которым непрестанно поводил из стороны в сторону, в то время как Лейзер замер и пристально следил за сержантом. Потом они оба сделали несколько обманных движений, и был момент, когда Лейзер сделал выпад, но Лоу вовремя отпрянул назад, хотя нож и царапнул его

по обмотанной руке. Один раз Лоу вдруг упал на колени и попытался достать Лейзера ножом снизу, тогда Лейзеру пришлось отступить, но, видно, он чуть замешкался, так как Лоу тряхнул головой, крикнул «стоять!» и, выпрямившись, замер.

— Помните правило? — Он показал на свой живот и пах и прижал к телу руки и локти. — Цель должна быть как можно меньше. — Он заставил Лейзера положить нож, показал несколько захватов, зажал ему рукой горло и продемонстрировал несколько ударов по почкам и животу. Затем он попросил Эйвери постоять как макет, и они оба стали двигаться вокруг него, сохраняя дистанцию: Лоу показывал ножом различные точки, а Лейзер кивал и порой улыбался, когда ему вдруг вспоминался какой-нибудь хитрый прием.

— Больше шевелите нож. Помните: большой палец сверху, лезвие параллельно земле, предплечье напряжено, кисть расслаблена. Не давайте противнику задерживать взгляд на ноже, ни на секунду. Левая рука всегда закрывает корпус, безразлично — с ножом вы или без ножа. Не надо слишком щедро отдавать свое тело, я и дочери то же самое говорю.

Все стали смеяться, из вежливости, за исключением Холдейна.

Затем наступил черед Эйвери. Похоже было, что Лейзер хотел этого. Сняв очки и выслушав наставления Лоу, Эйвери неуверенно держал в руке нож и настороженно следил за Лейзером, семенившим вокруг него, как краб: он то делал обманные движения, то стремительно отступал назад — струйки пота сбегали по его лицу, глаза азартно горели. Эйвери все время явственно чувствовал шершавую рукоятку ножа в своей ладони, боль в икрах и ягодицах оттого, что ему непрерывно приходилось балансировать на носках, видел свирепый взгляд Лейзера. Наконец Лейзер сделал подсечку, Эйвери потерял равновесие, почувствовал, что v него вырывают нож, упал, сверху всей тяжестью навалился Лейзер и железной хваткой вцепился ему в шею.

Под дружный смех ему помогли подняться, а Лейзер стал стряхивать пыль с одежды Эйвери. Теперь ножи отложили и перешли к физическим упражнениям, Эйвери тоже принял в этом участие.

Потом Лоу сказал:

— Давайте немного займемся рукопашным боем, и на сегодня хватит.

Холдейн посмотрел на Лейзера:

— Может, уже достаточно?

— Я не устал.

Лоу взял Эйвери за руку и отвел на середину мата.

— А вы посидите на скамье, — крикнул он Лейзеру, — сейчас я вам покажу пару приемов.

Он положил руку Эйвери на плечо:

— Независимо от того, есть у вас нож или нет, надо помнить пять мест. Назовите их.

— Пах, почки, живот, сердце и горло, — устало ответил Лейзер.

— Как сломать противнику шею?

— Шею ломать не нужно, нужно разбить ему кадык.

— Как наносить удар по шее сзади?

— Только не голыми руками. Нужно какое-то оружие. — Он прижал ладони к лицу.

— Правильно. — Лоу медленно приблизил ребро ладони к горлу Эйвери. — Ладонь раскрыта, пальцы — прямо, помните?

— Помню, — сказал Лейзер.

— Что вы еще помните?

Пауза.

— Тигриные когти — удар по глазам.

— Забудьте, — коротко ответил сержант. — Во всяком случае, для нападения не годится. Вы слишком раскрываетесь. Перейдем к удушаю-

щим приемам. Все эти приемы проводятся сзади, если вы помните. Отгибаете голову назад — вот так, рукой зажимаете горло — вот так, и жмете. — Лоу бросил взгляд через плечо. — Потрудитесь, пожалуйста, смотреть сюда. Я это делаю не для собственной забавы… Ладно, если вы и без меня все знаете, давайте-ка покажите нам несколько бросков!

Лейзер вскочил, они сцепились и какое-то время топтались на месте: каждый ждал, когда другой подставится. Затем Лоу отпрянул назад, Лейзер, теряя равновесие, начал падать, а Лоу ударил его по затылку так, что Лейзер грохнулся лицом на мат.

— Здорово вы растянулись, — сказал с усмешкой Лоу, и в тот же момент Лейзер набросился на него, зверски выкрутил ему руку и бросил его с такой силой, что его маленькое тело шлепнулось о мат, как птица о лобовое стекло автомобиля.

— Боритесь по правилам, — потребовал Лейзер, — не то вам крепко достанется!

— Никогда не опирайтесь на противника, — коротко ответил Лоу. — И умейте владеть собой в спортивном зале.

Он крикнул Эйвери:

— Теперь ваш черед, сэр, разомните его немно-

го.

Эйвери поднялся, снял пиджак и стал ждать, когда Лейзер подойдет к нему. Он почувствовал железную хватку Лейзера и хрупкость своего тела. Он попробовал схватить Лейзера за предплечья, но его руки были слишком маленькие, попробовал вырваться, но Лейзер крепко держал его, упершись головой ему в подбородок, Эйвери вдыхал запах лосьона для волос. Потом к его лицу прижалась влажная, чуть щетинистая щека Лейзера. На Эйвери давило худое, жилистое тело, распаленное жаром борьбы. Переместив руки Лейзеру на грудь, он попробовал отстраниться. Он вложил в это отчаянное усилие всю свою энергию, стремясь вырваться из удушающих объятий. Ему удалось немного отодвинуться, и тут их глаза встретились — может быть, впервые с того момента, как они сцепились, — и на искаженном от напряжения лице Лейзера появилась улыбка, его хватка стала ослабевать.

Лоу подошел к Холдейну:

— Он иностранец, да?

— Поляк. Какое у вас впечатление?

— Я бы сказал, что в свое время он был прекрасным бойцом. Отчаянный парень. Хорошо сложен. Несмотря на возраст, в приличной форме.

— Понятно.

— А вы сами как поживаете, сэр? Все хорошо, надеюсь?

— Да, спасибо.

— Я рад. Все-таки двадцать лет прошло. Удивительно. Детишки уже подросли.

— Знаете, у меня нет детей.

— Я про своих.

— А-а.

— Из старой команды кого видите? Как там мистер Смайли?

— Мы с ним не общаемся. В принципе я человек необщительный. Позвольте с вами рассчитаться.

Лоу стоял почти по стойке «смирно», когда Холдейн отсчитал деньги: на транспорт, жалованье, тридцать семь фунтов шесть пенсов за нож, двадцать два шиллинга за плоские металлические ножны с выбрасывающей пружинкой. Лоу составил счет и подписал «С. Л.», по соображениям безопасности.

— Нож достался мне по себестоимости, — пояснил он. — Через спортивный клуб. — Казалось, он гордился этим.

* * *

Холдейн дал Лейзеру плащ и резиновые сапоги, и Лейзер с Эйвери отправились на прогулку. Они доехали почти до Хедингтона на втором этаже автобуса.

— Что произошло сегодня утром? — спросил Эйвери.

— Я думал, мы просто дурачились. А он взял и швырнул меня на мат.

— Значит, он помнит нас?

— Конечно, только непонятно, зачем мне делать больно.

— Он не хотел.

— Да все в порядке.

У него по-прежнему был огорченный вид. Они вышли на конечной остановке и зашагали под дождем. Эйвери сказал:

— Наверно, дело в том, что он не из Департамента, поэтому он вам неприятен.

Лейзер рассмеялся и взял Эйвери под руку. Дождь струился по пустой улице, капли падали им на лица и стекали за воротник. Эйвери плотнее прижал к себе руку Лейзера, и они оба продолжали прогулку в хорошем настроении, не обращая внимания на дождь, ступая по самым

глубоким лужам.

— Джон, а капитан доволен?

— Очень. Он считает, что все идет прекрасно. Скоро мы перейдем к радиоделу, разные элементарные вещи. А завтра должен приехать Джек Джонсон.

— Знаете, Джон, ко мне возвращаются былые навыки — стрельба и прочее. Я еще что-то помню. — Он улыбнулся. — Даже старый автоматический браунинг тридцать восьмого калибра.

— Девятимиллиметровый. Вы отлично справляетесь. Просто здорово. Так сказал капитан.

— Неужели капитан и впрямь так сказал?

— Конечно. И в Лондон сообщил. Там тоже довольны. Нас только немного беспокоит, что вы слишком…

— Что слишком?

— Что в вас слишком легко узнать англичанина.

Лейзер рассмеялся:

— Ну, об этом не надо беспокоиться.

Эйвери чувствовал, что в том месте, где Лейзер держал его под руку, было тепло и сухо.

* * *

Утро они посвятили шифрам. Инструктором был Холдейн. Он принес лоскутки шелка, исписанные шифром, с которым предстояло работать Лейзеру, и таблицу, приклеенную к листу картона для перевода букв в цифры. Он установил таблицу на камине, эаткнул ее за мраморные часы, и стал инструктировать их в стиле Леклерка, но без работы на публику. Эйвери и Лейзер сидели за столом с карандашами в руках и под руководством Холдейна постепенно превращали текст в набор цифр в соответствии с таблицей, потом меняли цифры на другие, которые брали с лоскутков шелка, и наконец обратно переводили их в буквы. Это занятие требовало не столько сосредоточенности, как прилежания; Лейзер нервничал от старания и делал частые ошибки.

— Давайте проверим, сколько времени у нас уйдет на кодирование двадцати групп, — сказал Холдейн и продиктовал с листа сообщение из одиннадцати слов, подписанное Мотыль. — Со следующей недели вы должны будете обходиться без таблицы. Я положу ее вам в комнату, чтобы вы выучили ее наизусть. Начали!

Он нажал кнопку секундомера и отошел к окну.

Лейзер с Эйвери начали лихорадочно работать за столом, почти одновременно бормоча и набрасывая простейшие расчеты на бумаге. Эйвери чувствовал растущую суетливость Лейзера, он слышал его тяжелые вздохи, приглушенные проклятия, яростный шорох ластика. Эйвери замедлил работу и поглядел через плечо Лейзера — кончик его карандаша был мокрым. Не произнеся ни слова, молча он заменил листок Лейзера своим. Может быть, Холдейн и не заметил ничего, хотя в этот момент он обернулся.

* * *

Уже в самом начале стало ясно, что Лейзер смотрит на Холдейна, как больной на доктора, как грешник на священника. Было что-то неестественное в том, что он черпал силы от такого болезненного человека.

Холдейн делал вид, что не замечает его. Он упрямо придерживался своих привычек: ежедневно разгадывал до конца очередной кроссворд. Из города ему доставили ящик бургундского вина в небольших бутылках, и он непременно выпивал одну за обедом, пока они слушали пленки. Его отчуждение было настолько демонстративным, что можно было подумать — присутствие

Лейзера вызывало у него отвращение. Но чем равнодушнее, чем высокомернее становился Холдейн, тем сильнее тянуло к нему Лейзера. Лейзер, по каким-то одному ему известным загадочным признакам, видел в Холдейне воплощение английского джентльмена, и все, что тот говорил или делал, только укрепляло его в этой роли.

Холдейн приосанился. В Лондоне у него была медленная походка: он осторожно ходил по коридорам Департамента, будто на каждом шагу боялся споткнуться; клерки и секретарши нетерпеливо топтались позади, не решаясь обогнать его. В Оксфорде у него появилась живость, которая удивила бы его лондонских коллег. Его высохшее тело ожило, сутулая спина стала прямее. Даже его враждебность приобрела начальственный отпечаток. Остался только кашель, по-прежнему жестоко разрывавший его узкую грудь, от которого на его впалых щеках держались красные пятна, этот кашель вызывал молчаливую озабоченность у Лейзера — как у ученика, обеспокоенного здоровьем любимого учителя.

— Капитан болен, да? — однажды спросил он у Эйвери, взяв в руки старую газету Холдейна.

— Он никогда не говорит на эту тему.

— Он, видно, серьезно болен.

Вдруг все его внимание сосредоточилось на газете «Таймс». Она была не распечатана. Только кроссворд был разгадан, да еще на полях Холдейн пытался составить слова из одного, девятибуквенного. В удивлении он показал газету Эйвери.

— Он не читает газет, — сказал он. — Только решает кроссворды.

Когда ложились спать, Лейзер незаметно взял газету с собой, будто ее внимательное изучение могло помочь разгадать какую-то тайну.

Насколько Эйвери мог судить, Холдейн был доволен успехами Лейзера. С Лейзером проводились самые разнообразные занятия, и за ним можно было наблюдать более пристально; с въедливостью слабых людей они находили его промахи и испытывали его способности. По мере того как они сближались, он стал доверять им все самое сокровенное. Они приручили его: он отдавал им себя целиком, они принимали это и накапливали, как бедняки, про запас. Они поняли, что Департамент дал направление его энергии. Как будто у Лейзера было повышенное сексуальное влечение и в своей новой работе он нашел любовь, которой хотел отдать всего себя. Они видели, что ему приятно им подчиняться; в ответ он отдавал им свою силу. Они, возможно,

даже догадывались, что вдвоем образовали для Лейзера полюса абсолютной власти: первый — своей педантичной верностью принципам, которые Лейзеру было никогда не понять; второй — открытостью молодости, мягкостью и податливостью.

Он любил поговорить с Эйвери. Он рассказывал о женщинах или о войне. Он был уверен — это раздражало Эйвери, но не более того, — что если мужчине лет тридцать пять, женат он или нет, он обязательно ведет разнообразную любовную жизнь. Вечером они надевали пальто и быстрыми шагами направлялись в паб в конце улицы. Он ставил локти на столик, приближал к Эйвери возбужденно сияющее лицо и в мельчайших подробностях рассказывал о своих подвигах. Рассказывал не из тщеславия, а как друг. Эти признания и откровения, правдивые или выдуманные, постепенно создавали в их отношениях особую близость. О Бетти он никогда не упоминал.

Эйвери изучил лицо Лейзера с доскональностью — большей, чем память. Он знал, как настроение меняло черты, как от усталости и огорчения кожа на его скулах стягивалась кверху, а не книзу, как у него поднимались уголки

глаз и рта — от этого славянское лицо Лейзера становилось еще более чужеватым.

От соседей или клиентов он перенял некоторые лишенные смысла обороты, которые ему как иностранцу пришлись по душе. Например, он говорил об «удовлетворении до какой-то степени», для солидности используя безличную конструкцию. Он усвоил целый набор клише. Он постоянно употреблял выражения вроде «не о чем беспокоиться», «я не хочу перегибать палку», «пусть охотник увидит дичь», будто бы стремился к жизни, которая была ему понятна только отчасти, а эти фразы, как заклинания, могли помочь войти в нее. Эйвери заметил, что некоторые выражения уже успели устареть.

Пару раз Эйвери заподозрил, что Холдейна злила их дружба с Лейзером. А то казалось, что Холдейн завидовал чувствам Эйвери, поскольку сам уже на такие не был способен. Как-то вечером, в начале второй недели, когда Лейзер был занят своим продолжительным туалетом, предшествовавшим любой прогулке и каждому посещению паба, Эйвери спросил у Холдейна, не хочет ли тот составить им компанию.

— Что, по-вашему, я там буду делать? Совершать паломничество к храму моей молодости?

— Я думал, может, у вас здесь какие друзья или знакомые.

— Если и есть, то было бы неосторожностью заходить к ним. Я приехал сюда под другим именем.

— Извините, разумеется.

— Кроме этого, — мрачная улыбка, — не все так легко заводят знакомства и дружбу.

— Вы же сами сказали не отходить от него! — запальчиво сказал Эйвери.

— Именно так. С моей стороны было бы бессовестно жаловаться. Вы это делаете замечательно.

— Делаю что?

— Выполняете инструкции.

В этот момент раздался звонок в дверь, и Эйвери спустился вниз. В свете уличного фонаря на дороге был виден фургон из Департамента. У порога стоял невзрачный человек небольшого роста. На нем был плащ и коричневый костюм. Его коричневые ботинки были начищены до блеска. Он вполне сошел бы за инспектора газовой компании.

— Меня зовут Джек Джонсон, — сказал он неуверенно. — Знаете магазин «Частная сделка», который держит Джонсон? Так вот, это я.

— Заходите, — сказал Эйвери.

— Я точно попал туда, куда нужно? К капитану Хокинсу… и остальным?

У него была с собой сумка из мягкой кожи, которую он опустил на пол так бережно, как будто она содержала все его состояние. Не полностью закрыв зонтик, он опытной рукой стряхнул дождевые капли и угнездил его на полке под плащом.

— Меня зовут Джон.

Джонсон крепко пожал ему руку.

— Очень рад с вами познакомиться. Шеф много говорил о вас. По-моему, вы его любимчик.

Они рассмеялись.

Он доверительно взял Эйвери под руку:

— Можно вас здесь называть вашим настоящим именем?

— Да.

— А капитана?

— Хокинс.

— Что за тип этот Мотыль? Все у него получается?

— Отлично.

— Кажется, он охоч до женского пола.

Пока Джонсон разговаривал в гостиной с Холдейном, Эйвери прошмыгнул наверх к Лейзеру.

— Ничего не выходит, Фред. Приехал Джек.

— Какой еще Джек?

— Джек Джонсон — инструктор по радиоделу.

— Я думал, что радиодело будет только на следующей неделе.

— Вводный курс — на этой, чтобы освежить память. Идите поздоровайтесь.

На Лейзере был темный костюм, в руках он держал пилку для ногтей.

— А как насчет сегодняшнего вечера?

— Я же сказал, Фред, сегодня не выйдет — приехал Джек.

Лейзер спустился вниз и наскоро, без всякой церемонности пожал Джонсону руку, будто тот приехал с опозданием, а он такого не терпел. Минут пятнадцать продолжался довольно нескладный разговор, потом Лейзер, сославшись на усталость, с угрюмым видом отправился спать.

* * *

— Он медлителен, — докладывал Джонсон. — Он давно не имел дела с ключом Морзе. Рацию давать ему рано. Пусть научится работать быстрее. Двадцать лет — не шутка, сэр. Он не виноват. Но он очень медлителен, сэр. — Говорил он обстоятельно, чем-то напоминая воспитательницу

детского сада, будто много времени проводил с детьми. — Шеф сказал, что я должен участвовать в игре до конца. Как я понял, сэр, мы все поедем в Германию?

— Да.

— Значит, нам с Мотылем придется узнать друг друга поближе, — твердо сказал он. — С того момента, как я посажу его за передатчик, надо будет проводить много времени вдвоем. В этом деле каждый из нас должен привыкнуть к «почерку» другого. Потом еще необходимо отработать график передач, порядок выхода в эфир и прочее; последовательность смены частот. Условные сигналы. Много чего надо освоить — и всего за две недели.

— Условные сигналы? — спросил Эйвери.

— Имеются в виду умышленные ошибки, сэр, вроде не правильного написания в определенной группе, например «а» вместо «о» или что-нибудь в этом духе. Если он захочет сообщить нам, что его взяли и он ведет передачу под контролем неприятеля, он пропустит такой сигнал. — Он повернулся к Холдейну. — Вам это дело знакомо, капитан.

— В Лондоне шла речь о его обучении скоростной передаче с магнитофонной ленты. Не знаете,

чем разговор кончился?

— Шеф упоминал об этом, сэр. Как я понял, аппаратуру не удалось получить. Признаться, не больно-то я разбираюсь в транзисторах в этих, в мое время их не было. Шеф сказал, чтоб мы держались старой методы, но каждые две с половиной минуты меняли чистоту, сэр. Ясно, что пеленговать фрицы теперь умеют получше прежнего.

— Какой нам прислали передатчик? На вид он слишком тяжелый.

— Такой же, как был у Мотыля на войне, сэр, вот чем он хорош. Старая модель В-2 в водонепроницаемом кожухе. Потом, у нас на подготовку только две недели, другой аппарат потребовал бы больше времени. Но и с этим он еще работать не может.

— Сколько весит рация?

— Около пятидесяти фунтов, сэр, в целом. Обычный чемоданчик. Тяжелый водонепроницаемый кожух, но без кожуха нельзя — ведь дорога проходит по пересеченной местности. Особенно в это время года. — Он замялся. — Но он очень медленно работает на ключе Морзе, сэр.

— Именно так. Сможете вы натаскать его за это время?

— Не могу пока сказать, сэр. Будем вкалывать. Вторая часть курса покажет, когда он отдохнет пару дней. Пока что рацию я ему не даю.

— Благодарю вас, — сказал Холдейн.

Глава 13

В конце второй недели ему предоставили отпуск на двое суток. Он не просил об отдыхе и поэтому был удивлен, когда ему сообщили об этом. Он ни в коем случае не должен был появляться у себя дома или по соседству. Он мог уехать в Лондон в пятницу, но предпочел остаться до субботы. Он мог бы вернуться в понедельник утром, но сказал, что, вероятно, вернется поздно вечером в воскресенье. Они специально оговорили, что он не должен видеть никого из знакомых. И это почему-то было ему приятно.

Эйвери, встревожившись, пошел к Холдейну.

— Мне кажется, мы не должны отправлять его неизвестно куда. Вы сказали, что в Саут Парк ему нельзя, видеть друзей нельзя, даже если они у него есть. Трудно себе представить, куда он сможет отправиться.

— Вы думаете, ему будет одиноко?

Эйвери покраснел:

— Я думаю, что он захочет поскорее вернуться к нам.

— Разве мы против?

Ему выдали, отпускные старыми пяти-и однофунтовыми купюрами. Он хотел отказаться, но Холдейн настоял, как будто это было дело принципа. Ему предложили заказать гостиницу, но он не захотел. Холдейн решил, что он едет в Лондон, туда он и поехал, словно должен был это сделать для них.

— Там у него подружка, — с удовлетворением заметил Джонсон.

Он уехал на двенадцатичасовом поезде, захватив свой ядовито-желтый кожаный чемодан. На нем было пальто из верблюжьей шерсти, покроем напоминавшее военное, с кожаными пуговицами, но ни один светский человек не сказал бы, что оно похоже на шинель офицера британской армии.

* * *

Он сдал чемодан в камеру хранения на вокзале Паддингтон и зашагал по Прид-стрит. Цели у него никакой не было. Он побродил с полчаса, разглядывая витрины магазинов и объявления проституток. Была суббота, время послеобе-

денное. Несколько пожилых мужчин в мягких шляпах и плащах суетились между магазинами с порнографией и сводниками на углу. Машин почти не было: улица дышала атмосферой грубых развлечений.

В киноклубе с него взяли фунт и выдали удостоверение члена клуба с прошлогодней датой, чтобы не нарушить закон. Он уселся на кухонный стул среди других бледных теней. Фильм был очень старый, может быть, его привезли из Вены, когда начались преследования евреев. Две девушки, совершенно голые, пили чай. Звука не было, они просто продолжали пить чай, чуть меняя положение, когда передавали друг другу сахар. Если они пережили эту войну, то сейчас им должно быть по шестьдесят. Он поднялся и вышел: было половина шестого, и пабы открылись. Когда он проходил мимо будки администратора, тот сказал ему:

— Я знаю одну девушку — любит повеселиться. Очень молоденькая.

— Спасибо, не надо.

— Два с половиной фунта; любит иностранцев. По-иностранному тоже может, если вам нравится. По-французски.

— Давай отсюда.

— Не надо так говорить.

— Давай отсюда.

Лейзер отошел, потом вернулся со злым огоньком в глазах:

— Когда в следующий раз предложишь мне девушку, пусть она любит англичан, понял?

Потеплело, ветер стих, улица опустела: чтобы провести время, надо было куда-нибудь зайти. Женщина за стойкой бара сказала:

— Смешивать сейчас не могу, дорогой. Погляди, сколько народу! Подожди, когда схлынет.

— Я ничего другого не пью.

— Извини, дорогой.

Тогда он попросил джин с итальянским вином, она не положила в стакан ни льда, ни вишенки. Прогулка утомила его. Он сидел на лавке у стены и смотрел, как несколько человек метали стрелы — игроков было четверо, как полагается. Они не разговаривали, игра целиком поглощала их внимание. Они были похожи на членов клуба, где чтут традиции. Одному из них нужно было уйти, и они предложили Лейзеру:

— Четвертым будете?

— Ну что же, — сказал он и поднялся, ему было приятно, что к нему обратились, но тут появился их знакомый по имени Генри, и Лейзер стал им не

нужен. Он сразу понял, что спорить тут не о чем.

* * *

Эйвери тоже проводил время в одиночестве. Холдейну сказал, что пошел прогуляться, Джонсону — что пошел в кино. Почему Эйвери любил обманывать, он и сам не знал, рациональных оснований не было. Его потянуло к знакомым старым местам: к колледжу в Терле, к книжным магазинам, к пабам и библиотекам. Как раз заканчивался семестр. В Оксфорде ощущалось приближение Рождества, но город со странной недоброжелательностью не спешил это признавать, и витрины были украшены прошлогодней мишурой.

Он пошел по Банбери Роуд, пока не оказался на улице, где они с Сарой прожили первый год после свадьбы. Окна квартиры не были освещены. Он остановился перед домом и задумался. Можно ли сейчас найти в душе следы нежности, сильного чувства, любви, чего угодно — что годилось бы для объяснения их брака? Ничего такого не было и, наверно, никогда не существовало. Почему он все-таки женился на ней? Он тщетно искал причину, разглядывая пустой дом. Прочь, прочь — заторопился он к себе, туда, где жил Лейзер.

— Фильм понравился? — спросил Джонсон.

— Отличный.

— Я думал, вы пошли прогуляться, — обиженно заметил Холдейн, оторвав глаза от кроссворда.

— Я передумал.

— Кстати, — сказал Холдейн, — насчет пистолета Лейзера. По-моему, он предпочитает тридцать восьмой калибр.

— Да, девятимиллиметровый, как принято теперь говорить.

— Когда он вернется, пусть все время носит его с собой, незаряженный, конечно. — Он взглянул на Джонсона. — В особенности когда начнет работать с передатчиком. Он должен постоянно иметь его при себе, это должно войти в привычку. Пистолет нам выдали, я договорился. Вы найдете его у себя в комнате, Эйвери, и еще три-четыре кобуры. Надеюсь, вы все ему объясните.

— Почему вы сами не скажете?

— Это сделаете вы. Вы очень хорошо с ним ладите.

Эйвери пошел наверх позвонить Саре. Она переехала к матери. Он говорил с ней официальным тоном.

* * *

Лейзер набрал телефон Бетти — никто не отвечал.

Он с облегчением отправился в недорогой ювелирный магазинчик, открытый по субботам, и купил золотую брошь в форме кареты, запряженной лошадьми, к ее браслету. Она стоила одиннадцать фунтов, ровно столько, сколько ему выдали отпускных. Он попросил отправить подарок заказной почтой в Саут Парк на адрес Бетти. В конверт вложил записку: «Вернусь через две недели. Будь умницей» — и рассеянно подписал: Ф. Лейзер». Потом фамилию зачеркнул и написал: «Фред».

Он еще немного прошелся, обдумывая, стоит ли ему подыскать себе какую-нибудь девушку, и в конце концов снял номер в гостинице рядом с вокзалом. Он плохо спал из-за уличного шума. Утром опять позвонил ей — ответа не было. Он быстро положил трубку — может, стоило еще немного подождать. Позавтракал, спустился на улицу, купил воскресные газеты, взял их с собой в номер и до обеда читал футбольные обзоры. После обеда вышел пройтись — это уже вошло у него в привычку — просто побродить по Лондону,

без какой-то цели. По набережной дошел почти до Чаринг Кросс и оказался в пустынном саду. Накрапывал дождь. Асфальтовые дорожки были покрыты желтой листвой. На эстраде сидел одинокий старик в черном пальто. У него на спине был зеленый рюкзак, похожий на чехол для противогаза. Он дремал или слушал музыку.

Лейзер подождал до вечера, чтобы не огорчать Эйвери, и сел на последний поезд в Оксфорд.

* * *

Эйвери знал один паб, где по воскресеньям можно было играть в бильярд. Джонсон любил эту игру. Джонсон пил темное пиво, Эйвери — виски. Они много смеялись — неделя выдалась тяжелая. Джонсон выигрывал — он последовательно забивал легкие шары, понемногу увеличивая свой счет, а Эйвери трудные удары по сто очков.

— Я бы с радостью поменялся местами с Фредом, — сказал, хихикнув, Джонсон. Он сделал удар — белый шар послушно упал в лузу. — Поляки очень любят это дело. У них, у поляков, не заржавеет. Особенно Фред — настоящий половой разбойник. У него даже походка такая.

— Но и вы ведь, Джек, тоже, а?

— Если в настроении. Вот сейчас, например,

настроение у меня есть.

Они сделали по удару, погруженные в разогреваемые алкоголем эротические фантазии.

— Но все же, — сказал польщенный Джонсон, — всегда лучше быть самим собой, а вы как считаете?

— Бесспорно.

— Знаете, — сказал Джонсон, натирая кий мелом, — наверно, напрасно я с вами говорю о таких вещах. Вы колледж кончили, и вообще. Вы — человек другого сорта, Джон.

Они выпили за здоровье друг друга, продолжая думать о Лейзере.

— О, Господи, — сказал Эйвери, — но война-то у нас одна, общая, разве нет?

— Вы правы.

Джонсон вылил в стакан остатки пива. Он очень старался не пролить, но все-таки несколько капель попали на стол.

— За здоровье Фреда», — сказал Эйвери.

— За Фреда, за его уютное гнездышко. И пожелаем ему удачи.

— Удачи вам, Фред!

— Не знаю, как он справится с B-2, — пробормотал Джонсон. — Ему еще учиться и учиться.

— За Фреда.

— Фред. Отличный парень. Кстати, вы знаете этого, Вудфорда, который вышел на меня?

— Конечно, он приедет сюда на следующей неделе.

— Жену-то его Бэбз не приходилось встречать? Вот это была девица так девица — никому не отказывала… Боже мой! Но сейчас уже все позади, наверно. Впрочем, старый конь борозды не портит.

— Это точно.

— Да не оскудеет рука дающая, — провозгласил Джонсон.

Они выпили, последняя шутка прошла незамеченной.

— Она одно время встречалась с парнем из службы тыла, Джимми Гортоном. Как он поживает?

— Он в Гамбурге. У него все очень хорошо.

Они вернулись раньше Лейзера. Холдейн лежал уже в постели. Было за полночь, когда Лейзер повесил мокрое пальто из верблюжьей шерсти на плечики в прихожей — человек он был аккуратный, — на цыпочках прошел в гостиную и зажег свет. Взгляд его с нежностью скользил по массивной мебели, по высокому резному комоду с тяжелыми медными ручками, по письменному

столу и столику для Библии. Он вновь с любовью навестил стройных женщин, играющих в крикет, хорошо сложенных мужчин в военной форме, презрительных мальчиков в соломенных шляпах, девушек в Челтенхеме — очень длинная череда неудобных поз и ни одной искры чувства. Каминные часы были похожи на мавзолей из голубого мрамора. Золотые стрелки были покрыты таким множеством завитков, что требовалось взглянуть дважды, чтобы понять, куда они показывают. Часы не двигались с его отъезда, а может быть, и с того дня, когда он появился на свет, — почему-то в старинных часах долгое бездействие очень ценилось.

Он взял чемодан и отправился наверх. Холдейн кашлял, но света у него в комнате не было. Лейзер тихонько постучал в комнату Эйвери.

— Вы здесь, Джон?

Через секунду он услышал, как тот приподнялся в постели.

— Как вы провели время, Фред?

— Отлично.

— Девушка — нормально?

— Ничего особенного. До завтра, Джон.

— Утром увидимся. Доброй ночи, Фред. Фред…

— Да, Джон?

— Мы с Джеком немного выпили. Жаль, что вас с нами не было.

— Это точно, Джон.

С чувством приятной усталости он торопливо прошел по коридору, у себя в комнате снял пиджак и, закурив сигарету, удобно расположился в кресле. У кресла была высокая спинка с бортами. Тут он заметил одну вещь. На стене висела таблица для перевода букв в числа, а под ней, прямо посередине пухового одеяла, лежал старый матерчатый темно-зеленый чемодан с кожаными углами. Крышка была открыта, внутри — две серые стальные коробки. Он поднялся, вглядываясь в них, протянул руку и с опаской, будто мог обжечься, прикоснулся, потом крутанул диск, наклонился и прочитал надписи на ручках. Точно такой же аппарат у него был в Голландии: в одной коробке — передатчик и приемник, в другой — блок питания, ключ и наушники. Дюжина кварцев в мешочке из парашютной ткани, стянутом зеленым шнурком. Он пощупал ключ; ему показалось, что в прошлом у него был покрупнее.

Он снова сел в кресло, по-прежнему не сводя глаз с чемодана. Он сидел без сна, в нервном напряжении, как будто должен был накануне

похорон провести ночь в комнате с покойником.

К завтраку он опоздал.

— Весь день вы работаете с Джонсоном, — сказал Холдейн. — До обеда и после.

— Прогулки не будет? — Перед Эйвери стояло яйцо всмятку.

— Возможно, завтра. С сегодняшнего дня мы будем заниматься технической стороной. Не знаю, останется ли время для прогулок.

* * *

По понедельникам Контроль часто оставался ночевать в Лондоне. Он говорил, что это единственный день, когда в его клубе поменьше народу. Смайли, впрочем, считал, что тот просто сбегает от жены.

— Я слышал, на Блэкфрайерз Роуд распускаются розы, — сказал Контроль. — Леклерк раскатывает на «роллс-ройсе».

— На самом обычном «хамбере», — возразил Смайли, — из Министерского гаража.

— Вот, значит, откуда машина! — Контроль высоко поднял брови. — Забавно. Выходит, черные монахи захватили гараж.

Глава 14

— Значит, аппарат вы знаете? — спросил Джонсон.

— Это B-2.

— Точно. Официальное наименование: тип третий, модель вторая. Работает на переменном токе или от шестивольтового автомобильного аккумулятора, но вы будете подключаться к сети, так? По нашим данным, там ток переменный. Этот аппарат потребляет пятьдесят семь ватт при передаче и двадцать пять при приеме. Но если вас занесет туда, где только постоянный ток, вам придется у кого-нибудь одолжить аккумулятор.

Лейзер не улыбнулся.

— На шнуре питания имеются переходники для всех типов розеток, какие бывают в Европе.

— Знаю.

Лейзер внимательно смотрел, как Джонсон готовил аппарат к работе. Вначале он подсоединил передатчик и приемник к блоку питания при помощи шестиштырьковых разъемов, закрепив их зажимами. Включив аппарат в сеть, он подсоединил миниатюрный ключ Морзе к передатчику, а наушники к приемнику.

— Этот ключ меньше тех, что были у нас во время войны, — заметил Лейзер. — Я проверил его вчера вечером — с него палец соскальзывает.

Джонсон покачал головой.

— Извините, Фред, размер тот же. — Он подмигнул. — Может, у вас палец подрос?

— Ладно, давайте дальше.

Следующим движением он извлек из коробочки с мелкими деталями катушку покрытого пластиком многожильного провода и закрепил один конец на клемме антенны.

— Большая часть ваших кварцев работает в диапазоне трех мегагерц, поэтому можно будет обойтись без замены катушки — надо только хорошенько натянуть антенну, и вы будете в полном порядке, Фред, особенно ночью. Теперь смотрите, как ее настраивать. Вы уже подключили антенну, заземление, ключ, наушники и блок питания. Теперь гляньте на схему связи, определите по ней нужную частоту, выберите соответствующий кварц, так? — Он поднял вверх маленькую бакелитовую капсулу и вставил ее два штырька в соответствующие гнезда. — Как говорится, вставляем папу в маму. Ну как, пока все ясно, Фред? Я не слишком быстро?

— Я все вижу. Перестаньте спрашивать каждую

секунду.

— Теперь переключатель кварцев поставьте на «основную частоту» и установите на шкале вашу частоту. Если вы работаете на трех с половиной мегагерцах, переключатель диапазонов поставьте между третьим и четвертым положением, вот так. Теперь подключите катушку — она так устроена, что ее можно устанавливать с любой стороны, — ну вот, видите, как у нас все здорово получилось, Фред?

Лейзер сжал голову руками, отчаянно пытаясь восстановить в памяти очередность действий, которая когда-то была для него такой привычной. Джонсон продолжал свои объяснения с непринужденностью прирожденного специалиста. Голос у него был мягкий и приятный, очень терпеливый, руки сами собой перебегали с одного переключателя к другому. Его монолог не прекращался ни на секунду:

— Поставьте переключатель TSR на T, подстройка; анодный ток и связь с антенной — на «десять», теперь можно включить блок питания, верно? — Он указал на стеклышко индикатора настройки. — Надо, чтобы стрелка дошла до трехсот, этого почти достаточно, Фред. Теперь я готов попробовать: ставим переключатель диапазонов

в третье положение, переключатель режимов на шесть, чтобы обеспечить максимальную мощность PA…

— Что такое PA?

— Усилитель мощности, Фред. Разве вы не знали?

— Давайте дальше.

— Теперь я кручу регулятор анодного тока, пока не добьюсь минимального уровня — вот, пожалуйста! Стрелка показывает сто, когда регулятор на «двойке», так? Теперь переключатель TSR — на S, передача, Фред, и все готово для настройки антенны. Вот, пожалуйста, нажмите на ключ. Все верно, видите? Показатель шкалы выше, поскольку вы активировали антенну, понимаете, да?

Молчаливо и быстро он совершил ритуал настройки антенны, заставив стрелку шкалы послушно замереть на максимальном уровня.

— Ну, теперь все в ажуре! — победоносно провозгласил он. — Теперь очередь Фреда. Да у вас рука вся потная. Ну, видно, и повеселились вы в выходные, ничего не скажешь! Постойте, Фред!

Он вышел из комнаты и вернулся с гигантской белой перечницей, из которой он аккуратно посыпал тальк на черный ромбик рукоятки ключа.

— Послушайте хорошего совета, — сказал Джон-

сон, — оставьте девочек в покое, Фред, понятно? Пусть подрастут.

Лейзер смотрел на свою открытую ладонь. В складках выступили капельки пота:

— Мне не спалось.

— Ясное дело, — Джонсон нежно похлопал по чемоданчику. — С сегодняшнего дня вы будете спать с ней. Теперь она — миссис Фред, только она, и больше никто.

Он разобрал рацию и ждал, когда Лейзер приступит к сборке. Лейзер неимоверно долго возился, прежде чем собрал передатчик. Слишком давно он держал в руках рацию.

Лейзер и Джонсон изо дня в день сидели за столиком в спальне и выстукивали ключом тексты. Иногда Джонсон уезжал на фургоне, оставив Лейзера в доме, чтобы до самого утра переговариваться по рации. Или, поскольку Лейзеру не полагалось выходить одному, они с Эйвери садились в фургон, а Джонсон оставался один, тогда передачи велись из нанятого дома в Фэрфорде. Они посылали свои сигналы, шифровки, разные банальности открытым текстом, выдавая себя за радиолюбителей. Лейзер заметно изменился. Он сделался нервным и раздражительным, жаловался Холдейну, что необходимость все время менять

частоты затрудняет работу с передатчиком, что чрезвычайно неудобно каждые две с половиной минуты снова настраивать его, да еще в столь сжатое время. К Джонсону Лейзер относился более чем сдержанно. Джонсон приехал позже, и почему-то Лейзер упрямо считал его чужаком, отказываясь принимать на равных правах в дружеский круг, в который, как ему казалось, входили Эйвери, Холдейн и он сам.

Однажды за завтраком произошла особенно неприятная сцена. Лейзер поднял крышку вазочки для варенья, заглянул внутрь и, повернувшись к Эйвери, спросил:

— Это что, пчелиный мед?

Джонсон перегнулся через стол, в одной руке у него был нож, в другой хлеб с маслом.

— Мы так не говорим, Фред. Мы говорим просто мед.

— Точно, мед. Пчелиный мед.

— Просто мед, — повторил Джонсон. — В Англии говорят просто мед.

Побледнев от ярости, Лейзер аккуратно закрыл вазочку крышкой:

— Не учите меня, как надо говорить.

Оторвавшись от газеты, Холдейн бросил сердитый взгляд на Джонсона:

— Успокойтесь, Джонсон. Пчелиный мед — абсолютно правильное словосочетание.

Вежливость Лейзера отдавала услужливостью, его ссоры с Джонсоном — кухонными сварами.

Несмотря на отдельные столкновения, эти двое, ежедневно работая над одним проектом, постепенно стали делиться друг с другом своими надеждами, настроениями и печалями. Если занятие проходило удачно, то последующий обед представлял счастливую картину. Оба перебрасывались таинственными замечаниями о состоянии ионосферы, о «мертвой зоне» на определенной частоте или о странном поведении стрелки-указателя при настройке. Если занятие проходило плохо, то за обедом они молчали или говорили совсем мало, и все, не считая Холдейна, старались закончить поскорее, потому что разговаривать было не о чем. Иногда Лейзер спрашивал, можно ли ему с Эйвери отправиться на прогулку, но каждый раз Холдейн отрицательно качал головой и отвечал, что на это времени нет. А Эйвери отмалчивался, будто ему было стыдно поддержать Лейзера.

Ближе к концу второй недели в Дом Мотыля несколько раз приезжали из Лондона специалисты того или иного профиля. Побывал здесь

инструктор по фотографии, высокий человек с ввалившимися глазами — он демонстрировал сверхминиатюрную камеру со сменными объективами; побывал у них и добродушный доктор, который ничем не интересовался, зато бесконечно долго прослушивал сердце Лейзера. Этого требовало Министерство финансов, так как мог встать вопрос о компенсации. Лейзер заявил, что у него иждивенцев нет, но тем не менее он обследовался, чтобы удовлетворить требование Министерства.

Чем напряженнее становилась подготовка, тем больше радости доставлял Лейзеру пистолет, который Эйвери выдал ему после того, как тот съездил в Лондон на выходные. Он выбрал себе кобуру, которую надо было носить под мышкой — она не выпирала из куртки, — и порой, в конце трудного дня, он вынимал пистолет, вертел его в руках, заглядывал в дуло и, как на стрельбище, поднимал его вверх а опускал вниз.

— Лучше этого пистолета нет, — бывало, говорил он. — По крайней мере того же размера. Кому нужен пистолет с континента? На континенте все делают только для баб, и машины и пистолеты. Это я вам говорю, Джон, тридцать восьмой калибр всем голова.

— Теперь он называется девятимиллиметровый.

Неприязнь Лейзера к чужакам вдруг достигла неожиданного апогея, когда к ним приехал Хайд — от Цирка. Утро прошло плохо. Лейзер зашифровывал текст и передавал сорок групп на время, между его комнатой и комнатой Джонсона теперь была оборудована внутренняя связь — они вели прием и передачу, не выходя из своих комнат. Джонсон обучил его ряду международных кодовых фраз: QRJ — ваш сигнал слишком слаб для приема, QRW — ведите передачу быстрее, QSD — плохо работаете ключом, QSM — повторите последнее сообщение, QSZ — передавайте каждое слово дважды, QRU — у меня для вас ничего нет. И по мере того как передача Лейзера становилась все менее четкой, появлялось все больше замечаний Джонсона, выраженных в такой загадочной форме, что лишь увеличивало его смущение до тех пор, пока он, зло выругавшись, не выключал свой аппарат и не уходил с гордым видом вниз, к Эйвери. За ним спускался Джонсон.

— Нехорошо вот так все бросать, Фред.

— Оставьте меня.

— Послушайте, Фред, вы все сделали не правильно. Я говорил вам, число групп надо дать

перед вашим сообщением. Вы ничего не можете запомнить…

— Оставьте меня, я вам сказал! — Он хотел еще что-то добавить, в тут раздался звонок в дверь. Это был Хайд. И с ним его помощник, толстяк, сосавший какие-то драже от простуды.

Во время обеда записи не включили. Оба гостя сидели рядом и угрмо жевали, будто заставляли себя каждый день есть одно и то же, боясь набрать лишний вес. Хайд был худощав и смугл, совершенно без чувства юмора, Эйвери он напоминал Сазерлэнда. Он приехал, чтобы снабдить Лейзера новыми документами. У него были с собой различные бумаги, которые Лейзер должен был подписать, удостоверение личности, продовольственные карточки, водительские права, разрешение на въезд в пограничную зону в определенном районе и старая рубашка в портфеле. После обеда он разложил все эти предметы на столе в гостиной; тем временем фотограф готовился к съемке.

Они попросили Лейзера надеть рубашку, сфотографировали анфас так, чтобы видны были оба уха, в соответствии с требованиями в Восточной Германии, потом дали ему подписать документы. Он, казалось, нервничал.

— Теперь ваша фамилия Фрейзер, — сказал Хайд, как будто с этим было все ясно.

— Фрейзер? Похоже на мою настоящую фамилию.

— В том-то и смысл. Именно так хотелось вашим людям. Вам будет легче подписываться, и подпись всегда будет одинаковая, без ошибок. Все-таки потренируйтесь немного, прежде чем распишетесь в документах.

— Я предпочел бы другую фамилию. Совершенно непохожую.

— Я думаю, нам придется оставить «Фрейзер», — сказал Хайд. — Это было решено на высоком уровне. — Хайд очень налегал на безличный оборот.

Возникла неловкая пауза.

— А я хочу другую. Фамилия Фрейзер мне не нравится, и я хочу другую.

Хайд ему тоже не понравился, и он был готов через несколько секунд об этом сказать.

Но тут вмешался Холдейн:

— Вы долхны действовать согласно инструкциям. Департамент принял решение. Об изменении не может быть и речи.

Лейзер сильно побледнел:

— Тогда пускай пишут другие инструкции, к

чертовой матери. Я хочу другую фамилию — вот и все. Господи, это такая мелочь! Я прошу только об одном: дайте мне другую фамилию, подходящую, вместо дурацкой пародии на мою собственную.

— Не понимаю, — сказал Хайд. — Ваша операция ведь учебная?

— Не надо вам ничего понимать! Замените фамилию, вот и все! Кто вы, к черту, такой, чтобы мною командовать?

— Я позвоню в Лондон, — сказал Холдейн и пошел наверх. Все смущенно ждали, когда он вернется. — Устроит вас Хартбек? — спросил Холдейн не без доли сарказма.

Лейзер улыбнулся:

— Хартбек… Это хорошо. — Будто извиняясь, он развел руками. — Хартбек — это хорошо.

Минут десять Лейзер отрабатывал подпись, потом подписал документы, каждый раз с легким росчерком в конце, будто одновременно сметал соринки с бумаги. Хайд прочитал им лекцию о документах. Она заняла очень много времени. Практически в Восточной Германии нет карточной системы, сказал Хайд, но существует система прикрепления к продовольственным магазинам, которые выдают определенный документ. Он разъяснил принцип выдачи разрешений на

передвижение по стране я что требуется для их получения, он долго объяснял, что Лейзер должен без напоминаний предъявлять паспорт, покупает ли он железнодорожный билет или хочет снять номер в гостинице. Лейзер начал с ним спорить, тогда Холдейн попробовал закончить совещание. Хайд не обратил на него внимания. Когда наконец он высказался, он слегка кивнул на прощание и вместе с фотографом ушел, предварительно сложив старую рубашку в портфель, как будто она была частью аппаратуры.

Внезапная вспышка гнева у Лейзера, по всей видимости, встревожила Холдейна. Он позвонил в Лондон и поручил своему помощнику Глэдстону выяснить, попадается ли в досье Лейзера фамилия Фрейзер. Глэдстон внимательно перечитал дело, но ничего не нашел. Эйвери сказал Холдейну, что, по его мнению, тот преувеличивает значение этого эпизода, но Холдейн покачал головой.

— Он скоро должен дать вторую присягу, — ответил он.

После отъезда Хайда они стали ежедневно отрабатывать легенду Лейзера. Шаг за шагом они с Эйвери и Холдейном в мельчайших деталях строили биографию человека по фамилии Харт-

бек, определяли его род занятий, вкусы я хобби, придумывали ему интимную жизнь и подбирали друзей. Они втроем проникли в самые тайные уголки сознания этого человека, наделяя его способностями и свойствами, которых у самого Лейзера скорее всего не было.

Приехал Вудфорд и привез новости из Департамента.

— Директор разработал блестящую операцию. — По его тону можно было подумать, что Леклерк боролся с какой-то эпидемией. — Через неделю мы вылетаем в Любек. Джимми Гортон связался с немецкими пограничниками — он считает, это вполне надежные люди, Намечен пункт перехода границы, и на окраине города нам уже сняли дом. Он распустил слух, что мы — группа ученых, которые хотят тишины и свежего воздуха. — Вудфорд многозначительно взглянул на Холдейна. — Департамент трудится на славу. Все как один. И на каком подъеме, Эйдриан! Никто теперь не смотрит на часы. И на звание. Деннисон, Сэндфорд… все сейчас в одной упряжке. Надо видеть, как Кларки гоняет в Министерство выбивать пенсию для вдовы бедняги Тэйлора. Как дела у Мотыля? — уже тихо спросил он.

— Нормально. Он наверху работает с передат-

чиком.

— Больше нервишки не шалят? Еще срывы были?

— Мне неизвестно, — ответил Холдейн так, будто он все равно бы не узнал, если бы они и были.

— Значит, настроение получше? Иногда агенты хотят женщину на этом этапе.

Вудфорд привез чертежи советских ракет. Они были выполнены в проектной мастерской Министерства по фотографиям из исследовательского отдела, увеличенным до двух футов в ширину и трех в высоту и аккуратно вставленным в рамки. На некоторых стоял гриф секретности. Основные детали были обозначены стрелками, а терминология звучала как-то примитивно: хвостовая часть, носовая часть, топливный бак, полезная нагрузка. Рядом с каждой ракетой можно было увидеть забавную фигурку, похожую на пингвина в летном шлеме. Под ней — подпись: «человек среднего роста». Вудфорд принялся расставлять их по всей комнате, будто сам чертил и фотографировал. Эйвери с Холдейном молчаливо наблюдали за ним.

— Он сможет взглянуть на них после обеда, — сказал Холдейн. — А пока соберите их.

— Я привез с собой фильм, рассказывающий все

основное о ракетах. О запуске, транспортировке, их разрушительной силе. Директор сказал, что он должен иметь представление, какие дела могут натворить эти штуки. Будет для него хорошим стимулом.

— Никакой стимул ему не нужен, — сказал Эйвери.

Вудфорду что-то вспомнилось.

— Да и малыш Глэдстон хотел переговорить с вами. Он сказал, что срочно и не знает, как вас найти. Я сказал, что вы позвоните, когда будет время. Надо думать, вы предложили ему составить описание района разведки Мотыля. Вас интересовала промышленность или расположение военных частей? Словом, он вашу просьбу выполнил, бумаги вас ждут в Лондоне. Этот малый — один из наших лучших сержантов. — Он взглянул на потолок. — Когда же Фред спустится вниз?

— Вы не должны с ним встречаться, Брюс, — резко сказал Холдейн. Как правило, он не обращался к людям по имени. — Боюсь, вам придется перекусить в городе. Бухгалтерия оплатит ваш обед.

— Почему мне нельзя пообедать здесь?

— Это вопрос безопасности. Зачем ему знать о нас больше, чем нужно. Таблицы говорят сами за

себя, то же самое фильм, как я понимаю.

Оскорбленный Вудфорд удалился. Из этого эпизода Эйвери понял, что Холдейн стремится поддерживать у Лейзера иллюзию, что в Департаменте дураков нет.

На последний день курса Холдейн наметил многопрофильные занятия, которые начинались в десять часов утра и продолжались до восьми вечера и включали визуальную разведку города, скрытое фотографирование и прослушивание записей. Данные, собранные за день, Лейзер должен был суммировать в донесении, которое надо было превратить в шифровку и вечером передать по рации Джонсону. На утреннем совещании у всех было приподнятое настроение. Джонсон шутливо предостерег Лейзера, чтобы тот случайно не сфотографировал здание городской полиции. Лейзер долго смеялся, и даже Холдейн позволил себе слабую улыбку. Был конец семестра, студенты разъезжались по домам.

Занятие прошло успешно. Джонсон был в хорошем настроении, Эйвери — в восторге, Лейзер — просто счастлив. В двух переданных оцифровках ни единой ошибки, сказал Джонсон, работа безупречная. В восемь часов, надев парадные костюмы, все спустились ужинать. Ужин пода-

вался по особому меню. Холдейн поставил на стол свои последние бутылки бургундского, произносились тосты, говорили о том, чтобы раз в году собираться вместе. Лейзер в темно-синем костюме и галстуке из муарового шелка был очень элегантен.

Джонсон напился и стал требовать, чтобы притащили вниз рацию Лейзера, провозгласил за нее несколько тостов, называя ее «миссис Хартбек». Эйвери с Лейзером сидели рядом; холодок, возникший между ними на прошлой неделе, исчез.

На другой день, в субботу, Эйвери и Холдейн уехали в Лондон. Лейзер должен был оставаться с Джонсоном в Оксфорде до понедельника, когда вся группа выезжала в Германию. В воскресенье за чемоданом должен был заехать фургончик BBC. Чемодан и базовое оборудование Джонсона предполагалось доставить Гортону в Гамбург отдельно, а оттуда — в сельский дом в окрестностях Любека, который станет исходной точкой операции «Мотыль». Перед отъездом Эйвери окинул дом последним взглядом, отчасти по сентиментальности натуры, отчасти из-за того, что в договоре о найме дома стояла его подпись и он отвечал за сохранность имущества.

Холдейна в дороге преследовало тревожное

чувство. Ему казалось, что Лейзер в последний момент может чего-нибудь выкинуть.

Глава 15

Вечером того же дня он сидел у постели Сары. Мать перевезла ее в Лондон.

— Только скажешь слово, — говорил он, — и я примчусь к тебе, где бы ты ни была.

— Это когда я буду при смерти. — Поразмыслив, она добавила:

— Я сделаю для тебя то же самое, Джон. А теперь все-таки ответь на мой вопрос.

— В понедельник. Поедут несколько человек.

Они напоминали школьников, игравших «в ассоциации».

— В какую часть Германии?

— Просто в Германию, в Западную Германию. На конференцию.

— И опять будут трупы?

— О Господи, Сара, по своей воле я бы не стал ничего от тебя скрывать.

— Нет, Джон, — бесхитростно сказала она. — Мне кажется, что, если бы у тебя не было секретов на работе, ты бы так ее не любил. Твои тайны — это ширма, за которой ты прячешься от меня.

— Я только могу сказать, что это — серьезное дело… большая операция. С участием агентов. Я их готовил.

— Кто возглавляет вашу операцию?

— Холдейн.

— Уж не тот ли, который тебе все рассказал про свою жену? По-моему, он омерзителен.

— Да нет. Того зовут Вудфорд. А это — Холдейн. Он такой, со странностями. Педант. Очень хорошо знает свое дело.

— У вас все хорошо знают свое дело. И Вудфорд тоже отличный специалист.

В комнату вошла ее мать и поставила чай.

— Когда тебе можно будет подняться? — спросил он.

— Вероятно, в понедельник. Как скажет доктор.

— Ей нужен покой, — сказала ее мать и вышла.

— Занимайся своим делом, если ты в него веришь, — сказала Сара. — Но не надо… — Ее голос прервался, и она стала похожа на маленькую девочку.

— Ты ревнуешь меня. Ты ревнуешь меня к работе, к секретности. Ты хочешь, чтобы я потерял веру в мою работу!

— Пожалуйста, верь в нее, если можешь.

Некоторое время они не глядели друг на друга.

— Если бы не Энтони, я ушла бы от тебя, — объявила наконец Сара.

— Ради чего? — спросил Эйвери с тоской, но тут же нашел выход. — Ты напрасно беспокоишься из-за Энтони.

— Ты почти со мной не говоришь и с Энтони тоже. Он совсем тебя не видит.

— А о чем нам говорить?

— О Господи.

— О работе, как ты понимаешь, я говорить не могу. И так я рассказываю тебе больше, чем можно. Поэтому ты все время и смеешься над Департаментом. Тебе непонятно, чем мы там занимаемся, и понять ты не хочешь; тебе не нравится секретность, но ты презираешь меня, когда в нарушение правил я что-то тебе рассказываю.

— Я уже это слышала.

— С меня хватит, — сказал Эйвери. — Больше не услышишь.

— Может, на этот раз ты не забудешь привезти Энтони подарок.

— Но я ведь купил ему молочный фургончик.

Они опять помолчали.

— Тебе надо познакомиться с Леклерком, — ска-

зал Эйвери. — Я думаю, тебе надо поговорить с ним. Он уже несколько раз предлагал. Пообедать нам вместе… Может, он убедит тебя.

— В чем?

Ей попалась на глаза нитка, торчавшая из шва ночной рубашки. Она со вздохом открыла тумбочку, вынула маникюрные ножницы и обрезала ее.

— Надо было затянуть эту нитку, — сказал Эйвери. — Так ты только испортишь свою рубашку.

— Расскажи мне про ваших агентов, — попросила она. — Почему они берутся за это дело?

— Отчасти из патриотизма. Отчасти из-за денег.

— Ты хочешь сказать, вы их подкупаете?

— Не говори ерунду!

— Они англичане?

— Есть один англичанин. Сара, больше на спрашивай. Я не имею права рассказывать. — Он наклонился к ней поближе. — Дорогая, не спрашивай меня ни о чем. — Он погладил ее руку — она не противилась.

— И все они мужчины?

— Да.

Вдруг она стала говорить — это был нервный срыв — без слез, невнятно, но торопливо и с чувством, как если бы после всех речей требовалось

наконец сделать выбор:

— Джон, я хочу знать, я должна узнать, скажи сейчас, до отъезда. В Англии не принято задавать такие вопросы, но с тех пор, как ты взялся за это ремесло, ты постоянно твердишь, что люди не имеют значения; что ни я, ни Энтони, ни ваши агенты — никто не имеет значения. Ты говоришь, что нашел свое призвание. Какое это призвание? На этот вопрос ты не хочешь отвечать, поэтому и прячешься от меня. Может, Джон, ты мученик? Я должна восхищаться тем, что ты делаешь? Ты жертвуешь чем-то?

Решительно уходя от темы, Эйвери ответил:

— Ничего подобного. Я делаю свою работу. Я исполнитель, винтик в машине. Ты хочешь показать мне, что я двоемысл? Ты хочешь сказать, что я сам себе противоречу?

— Нет. Ты сказал то, что я хотела услышать. Ты должен начертить для себя круг и не выходить из него. Это уже не будет двоемыслие, это — безмыслие. Очень скромно с твоей стороны. Ты в самом деле поверил в то, что ты такой маленький человек?

— Это по-твоему я маленький человек. Перестань издеваться. Маленьким человеком меня делаешь ты.

— Джон, честное слово, я не хотела. Когда ты вчера пришел, у тебя был такой вид, как будто ты влюбился в кого-то. И эта любовь дает тебе покой. Ты был такой непринужденный и умиротворенный. Я решила, что у тебя появилась женщина. Поэтому я и спросила, только поэтому, все ли ваши агенты мужчины… Я подумала, что ты влюблен. А теперь ты говоришь, что ты никто, и выходит, что ты этим гордишься.

Он выждал минуту, потом улыбнулся — так, как он улыбался Лейзеру, и сказал:

— Сара, я ужасно скучал по тебе. Когда был в Оксфорде, я как-то отправился посмотреть на тот дом на Чандос Роуд, помнишь его? Там было здорово, правда? — Он сжал ее пальцы. — По-настоящему здорово. Я думал о нас, о нашем браке, о тебе. И Энтони. Я люблю тебя, Сара, люблю. За все… за то, как ты растишь нашего малыша. — Он рассмеялся. — Вы оба такие уязвимые, иногда мне даже бывает трудно думать о вас по отдельности.

Она молчала, поэтому он продолжал:

— Я подумал, что, если бы мы жили за городом, купили бы дом… Мое положение теперь прочнее. Леклерк поможет нам получить ссуду. Тогда нашему малышу будет где побегать. Нам, наверно,

надо больше выходить из дома. Бывать в театре, как раньше, в Оксфорде.

— Разве мы ходили в театр? — рассеянно спросила она. — Да и какие театры за городом?

— Сара, я многое получаю от Департамента, как ты не понимаешь? Это серьезная работа. Важная работа, Сара.

Она мягко отстранила его руку:

— Мама приглашает нас встретить Рождество в Райгите.

— Отлично. Послушай… насчет моей конторы. Я для них уже много сделают, и они ценят это. Меня принимают теперь на равных. Я один из них.

— Значит, ты не несешь ответственности? Ты просто один из них. И ничем не жертвуешь.

Она опять вернулась к началу разговора. Эйвери, не замечая этого, продолжал нежным голосом:

— Тогда я ему скажу, хорошо? Я ему скажу, что ты согласна пойти со мной на обед к нему в клуб?

— Пожалей меня, Джон, — резко сказала она, — не надо меня обрабатывать, как твоих несчастных агентов.

* * *

Тем временм Холдейн сидел за своим рабочим столом и перечитывал доклад Глэдстона.

В районе Калькштадта учения проводились дважды — в 1952 и 1960 годах. Во втором случае русские отрабатывали пехотное наступление на Росток, поддерживаемое значительными танковыми силами, но без прикрытия с воздуха. Об учениях 1952 года было лишь известно, что большое войсковое подразделение разместилось в городе Волькен. У солдат были красные погоны. Доклад не вызывал доверия. В обоих случаях район объявлялся закрытым, закрытая зона доходила до северного побережья. К докладу прилагался длинный перечень основных отраслей местной промышленности. Имелись данные, поступившие из Цирка, который отказался назвать источник информации, что на возвышенности к востоку от Волькена строился новый нефтеочистительный завод и что поставки оборудования для него шли из Лейпцига. Следовательно (но маловероятно), технику везли по железной дороге через Калькштадт. Не было данных ни об уличных беспорядках, ни о забастовках, ни о каком-либо происшествии, которое бы вызвало

временное закрытие города.

На столе лежала записка из отдела регистрации. Для него подобрали досье, которые он просил, но некоторые были «подписными» — он должен будет читать их в библиотеке.

Он спустился вниз, открыл замок с кодом на стальной двери, ведущей в сектор общей регистрации, тщетно попытался нащупать выключатель. В конце концов пришлось пробираться в темноте между рядами полок к маленькому помещению без окон, в задней части здания, где хранились особо секретные документы. Темнота было кромешная. Он чиркнул спичкой, включил свет. На столе лежали две стопки досье: первая — с надписью Мотыль, уже в трех томах, с очень ограниченным допуском и подписным листом, подклеенным к обложке; вторая была надписана Дезинформация (советская, восточногерманская), здесь аккуратно хранились фотографии и документы в твердых папках.

Бегло просмотрев досье Мотыля, он обратил внимание на скоросшиватели и стал пролистывать страницы, изобилующие мошенниками, двойными агентами и психами, которые, в самых разных уголках мира, всеми возможными способами старались, и порой небезуспешно, ввести в

заблуждение разведывательные службы Запада. В каждом отдельном случае просматривалась однообразная схема; из газет и базарных сплетен вытаскивалась крупица правды, к ней привязывались донесения, подготовленные с меньшей тщательностью — так дезинформатор проявлял свое презрение к дезинформируемому; и, наконец, полет фантазии, своего рода художественная дерзость, которая разом обрывала заранее обреченные отношения.

На одном донесении он обнаружил приписку с инициалами Глэдстона, сделанную осторожным круглым почерком: «Возможно, это Вас заинтересует».

Донесение было от перебежчика об испытаниях советских танков в районе Гаствайлера. Стояла пометка: «В работу не пускать: данные ложные». Потом шло длинное обоснование, в котором цитировались целые абзацы, почти буквально воспроизводившие текст советского военного учебника 1949 года. Автор донесения явно увеличил все параметры на треть и немного дал волю своему воображению. Тут же было приложено шесть очень неясных фотографий, которые якобы были сделаны из окна поезда с помощью телефотообъектива. На обратной стороне фотографий

аккуратным почерком Мак-Каллоха было написано: «Утверждает, что снимал камерой Экзакта-2 восточногерманского производства. Дешевый футляр, объектив Экзакты. Низкая скорость затвора. Негативы смазанные, так как камеру в поезде трясло. Доверия не внушает». Выводы казались неубедительными. В обоих случаях — та же марка фотоаппарата, вот и все. Он запер сектор регистрации и пошел домой. Не его это обязанность, как сказал Леклерк, доказывать, что Христос родился в Рождество; не его дело доказывать, размышлял Холдейн, что Тэйлор был убит.

* * *

Жена Вудфорда по привычке плеснула немного содовой в свой стакан с виски.

— Так я и поверила, что ты спишь в твоей конторе, — сказала она. — А за оперативную работу тебе доплачивают?

— Да, конечно.

— Значит, конференции у вас не будет. Конференция — это не оперативная работа. Если только не проводить ее, — хохотнула они, — в Кремле.

— Ну хорошо, это не конференция. Это операция. Поэтому я и получаю доплату.

Она бросила на него жесткий взгляд, прищурив-

шись от табачного дыма — в зубах она держала сигарету. Жена Вудфорда отличалась худобой и бездетностью.

— Ничего там не происходит. Вы все выдумали сами. — Она неестественно рассмеялась. — Эх ты, бедолага, — сказала она со злым смехом. — Как поживает малыш Кларки? Он вас всех запугал, а? Почему никто никогда не противоречит ему? Только Джимми Гортон мог: этот знал ему цену.

— Я ничего не желаю слушать про Джимми Гортона!

— Джимми — прелесть!

— Бэбз, я не шучу!

— Бедный Кларки! Помнишь, — задумчиво сказала жена Вудфорда, — тот милый ужин, которым он нас угостил в своем клубе? Бифштекс и почки с мороженой фасолью? — Она сделала глоток виски. — И теплый джин. Интересно, была ли у него в жизни хоть одна женщина? — сказала она. — Господи, как странно, что а раньше об этом не думала.

Вудфорд вернулся к более спокойной теме.

— Отлично, значит, ничего не происходит. — Он встал с глупой усмешкой и взял со стола спички.

— Не смей курить здесь свою вонючую труб-

ку, — машинально сказала она.

— Значит, ничего не происходит, — с удовольствием повторил он, поднес огонь и шумно затянулся.

— Боже, как я тебя ненавижу!

Вудфорд покачал головой, не переставая ухмыляться:

— О чем мы вообще говорим? Если ничего не происходит — как ты сама сказала. Значит, я не ночую в конторе. Очень хорошо. Ни в Оксфорд, ни в Министерство не катался, и никакая государственная машина меня домой не привозит.

Она подалась вперед, и ее голос изменился, стал требовательным, грозным:

— Что происходит? Я имею право знать! Я твоя жена! Вертихвосткам-то вашим на работе небось все выложил? А? Ну, говори!

— Мы готовим агента для заброски, — сказал Вудфорд с чувством победителя. — Я отвечаю за связь с Лондоном. Возникла кризисная ситуация. Не исключается вероятность войны. Очень щекотливое дельце. — Он сделал несколько лишних взмахов рукой, в которой держал уже потухшую спичку, глядя на жену с победным видом.

— Врешь ты все, — сказала она. — Этим меня не купишь.

* * *

В Оксфорде паб на углу был заполнен только на четверть. Они чувствовали себя хозяевами. Лейзер потягивал «Белую леди», инструктор по радиоделу пил самое дорогое темное пиво за счет Департамента.

— Просто будьте с аппаратурой понежнее, Фред, — мягко говорил он. — Последнюю передачу вы вели очень удачно. Мы услышим вас, не волнуйтесь, вы всего в восьмидесяти милях от границы. Не суетитесь, и все пойдет как по маслу. Настройка делается нежно, иначе наше дело сорвется.

— Я понял. Не волноваться.

— Не надо бояться, что фрицы вас засекут, вы же отстукиваете не любовные письма, а только несколько групп. Затем новый позывной и другая частота. Им не удастся запеленговать вас, пока вы будете передавать.

— Может, они научились теперь, — сказал Лейзер. — И оборудование у них должно быть получше, чем во время войны.

— Эфир забит разными сигналами: морская радиосвязь, военная, управление полетами. Бог знает что еще. Они не супермены, Фред, такие же

ребята, как мы. Поспать любят. Не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь. И на войне я от них ушел. То есть меня взяли, но я все равно ушел.

— Теперь послушайте, Фред, у меня такое предложение. Давайте еще выпьем, махнем домой и обласкаем миссис Хартбек. Сейчас как раз стемнело, а то при свете она стесняется, согласны? Раскрутим ее на всю катушку. А завтра расслабимся. Ведь, в конце концов, завтра воскресенье, правда? — заботливо добавил он.

— Я хочу спать. Что, нельзя мне чуть-чуть поспать, Джек?

— Завтра, Фред. Завтра отдохнете как следует. — Он подтолкнул Лейзера локтем. — Теперь вы женаты, Фред. Теперь нельзя каждый вечер просто ложиться спать. Вы приняли присягу; так мы, бывало, говорили.

— Ладно, хватит. — Лейзер уже начинал терять терпение. — Об этом хватит, понятно?

— Извините, Фред.

— Когда мы едем в Лондон?

— В понедельник, Фред.

— А с Джоном увидимся?

— Мы встретимся с ним в аэропорту. Капитан тоже будет. Они хотят, чтобы мы еще попрактиковались… как менять частоту, в таком духе.

Лейзер кивнул, указательным и безымянным пальцами легонько барабаня по столу, будто отстукивая текст.

— Да! А не расскажете о какой-нибудь из тех красоток, которые у вас были в субботу-воскресенье в Лондоне? — предложит Джонсон.

Лейзер отрицательно покачал головой.

— Ну ладно, давайте допивать и пойдем погоняем шары.

Лейзер застенчиво улыбнулся, его раздражение прошло.

— Джек, у меня гораздо больше денег, чем у вас. Хотя «Белая леди» — штука дорогая, вам беспокоиться не о чем.

Он натер мелом свой кий и опустил шестипенсовик.

— Делаю двойную ставку или, если хотите, сыграем на расчет по случаю последнего вечера.

— Послушайте, Фред, — мягко попросил Джонсон. — Не гоняйтесь сразу за большими деньгами и не старайтесь забить красный шар ради ста очков. Бейте другие по двадцать и по пятьдесят очков, набирайте счет. Тогда вас не разденут.

Лейзер вдруг рассердился. Он поставил кий на подставку и снял с крючка свое пальто из верблюжьей шерсти.

— Что случилось, Фред, в чем дело на этот раз?

— Ради Бога, оставьте меня в покое! Нашелся конвоир на мою шею! Я еду на задание, как во время войны. Я же не смертник.

— Не глупите, — мягко сказал Джонсон, взял его пальто и повесил снова на крючок. — Кстати, не принято говорить — смертник, надо говорить — осужденный…

* * *

Кэрол поставила перед Леклерком чашку кофе. Он улыбнулся ей, сказал «спасибо», как уставший, но дисциплинированный ребенок в конце позднего ужина в гостях.

— Эйдриан Холдейн ушел домой, — заметила Кэрол. Леклерк опять погрузился в изучение карты. — Я заходила к нему в кабинет. Он мог бы и попрощаться.

— Он никогда не прощается, — сказал Леклерк.

— Я могу вам чем-нибудь помочь?

— Я никак не могу запомнить, как ярды переводить в метры.

— Я тоже.

— По донесению Цирка, длина оврага двести метров. Это что, двести пятьдесят ярдов?

— По-моему, да. Пойду возьму справочник.

Она пошла к себе и сняла с книжной полки таблицы.

— Один метр равен тридцати девяти и тридцати семи сотым дюйма, — прочитала она. — Сто метров равняются ста девяти ярдам и тринадцати дюймам.

Леклерк записал.

— Думаю, мы пошлем телеграмму Гортону. Подтверждение, что мы приедем. Когда выпьете ваш кофе, приходите с блокнотом.

— Я не буду кофе.

Она достала блокнот.

— Думаю, что обойдемся просто срочной телеграммой. Зачем нам вытаскивать старину Джимми из постели? — Он пригладил ладонью волосы.. — Первое: головная группа — Холдейн, Эйвери, Джонсон и Мотыль — прибывают рейсом BEA номер такой-то во столько-то часов девятого декабря. — Он поднял глаза. — Уточните детали в административном отделе. Второе: все поедут под своими именами и сядут на поезд до Любека. По соображениям безопасности вы не встречаете, повторяю, не встречаете группу в аэропорту, но можете, не привлекая внимания, позвонить Эйвери на абонент в Любеке. Он не должен знать, как связаться со стариной Эйдрианом, — заметил

он со смешком. — Они не переносят друг друга. — Он повысил голос:

— Третье: вторая группа в составе одного директора прибывает утренним рейсом десятого декабря. Вы встретите его в аэропорту для короткой беседы, перед тем как он выедет в Любек. Четвертое: ваша роль — не привлекая внимания, оказывать помощь и поддержку во всех фазах для успешного завершения «Мотыль».

Она встала:

— А есть ли необходимость посылать Эйвери? Его бедная жена не видела его уже несколько недель.

— Превратности войны, — ответил Леклерк, не взглянув на нее. — За сколько времени можно проползти двести двадцать ярдов? — пробормотал он. — Да, Кэрол, добавьте еще одно предложение к этой телеграмме. Пятое: «Ни пуха ни пера!» Надо иногда подбадривать старину Джимми, а то он совсем один.

Он взял со стола одну из входящих папок и критически посмотрел на обложку, видимо чувствуя на себе взгляд Кэрол.

— А-а. — Сдержанная улыбка. — Это, наверно, донесение из Венгрии. Вы не знаете Артура Филдена из Вены?

— Нет.

— Отличный парень. В вашем вкусе. Один из лучших ребят… умеет работать самостоятельно. Брюс сообщил мне, что он подготовил очень хорошее донесение о перемещении военных частей в Будапеште. Надо, чтобы Эйдриан посмотрел. Так много всего происходит как раз сейчас.

Он открыл папку и начал читать.

* * *

— Вы говорили с Хайдом? — спросил Контроль.

— Да.

— Ну и что он сказал? Что там у них делается?

Смайли протянул ему виски с содовое. Они сидели у Смайли дома на Байвотер-стрит. Контроль, как обычно, расположился в кресле у камина.

— Он сказал, что у них нервы на пределе, как перед премьерой.

— Так Хайд и сказал? Прямо так выразился? Как непохоже на него.

— Они сняли дом в северной части Оксфорда. Там был как раз этот агент, один только, поляк, лет сорока, и они попросили сделать ему документы на механика из Магдебурга, фамилия, кажется, Фрейзер. Также нужны проездные документы, чтобы он мог собраться до Ростока.

— Кого еще вы видели?

— Холдейна и этого новенького, Эйвери. Который приходил ко мне по поводу их курьера в Финляндии. Был еще инструктор по радиоделу, Джек Джонсон. Работал у нас во время войны. Больше никого. Вот и все агенты.

— Что они задумали? И откуда у них столько денег просто на учебные цели? Кажется, мы им дали что-то из аппаратуры?

— Да, В-2.

— Это еще что такое?

— Рация, с которой работали на войне, — раздраженно ответил Смайли. — Вы сказали, что старую рацию мы дадим. И кварцы. Ничего больше. Кварцы-то зачем было давать?

— Это просто благотворительность. Значит, В-2? Ну ладно, — заметил Контроль с явным облегчением, — с такой штуковиной далеко не уедешь, как вы считаете?

— Вы сегодня ночуете дома? — нетерпеливо спросил Смайли.

— С вашего разрешения, я бы остался у вас, — сказал Контроль. — Ужасно не хочется тащиться домой. Ах, люди, люди… Люди все время портятся.

* * *

Лейзер сидел за столом, во рту еще держался вкус «Белой леди». На столе лежал чемодан с открытой крышкой. Наручные часы показывали 23.18, светящаяся минутная стрелка, вздрагивая, приближалась к двенадцати. Он начал выстукивать: «JAJ, Джей Эй Джей — постарайтесь запомнить, Фред, ведь это мои инициалы, Джек Джонсон»; он переключился на прием: Джонсон отвечал четко и ясно.

Спокойно, говорил Джонсон, не надо торопиться. Мы будем следить за эфиром всю ночь, будет еще много сеансов. Он осветил фонариком шифровку. В ней было тридцать восемь групп. Выключив фонарик, отстучал три и восемь — передавать числительные было легко, но занимало много временя. Мозг хорошо работал. В памяти звучали мягкие замечания Джека: «Слишком спешите, передавая точку, Фред. Точка — это одна треть тире, понятно? Она длиннее, чем вы думаете. Не комкайте интервалы, Фред, пять точек между словами, три — между буквами. Предплечье горизонтально, в одну линию с рычагом ключа, локоть не касается корпуса». Примерно так учат держать финку, подумал он, чуть улыб-

нувшись, и приступил к передаче. «Расслабьте пальцы, Фред, запястье не должно лежать на столе». Он отстучал первые две группы, немного смазав интервалы, но обычно у него получалось хуже. Теперь шла третья группа, здесь следовало дать условный сигнал. Он отстучал «S», потом знак вычеркивания и передал подряд десять других групп, то и дело поглядывая на часы. Через две с половиной минуты он отключил передатчик, нащупал капсулу с кварцем, потом двойное гнездо на корпусе, вставил кварц, затем шаг за шагом провел процедуру настройки, поворачивая ручки, освещая фонариком серповидное окошко, в котором дрожал черный язычок.

Он отстучал второй позывной PRE, PRE, быстро переключился на прием и вновь услышал Джонсона: «QRK-4 — позывной принят». Он начал передавать во второй раз, рука двигалась медленно, но послушно, глаза следили за бессмысленными буквами, пока наконец со вздохом облегчения он не услышал ответ Джонсона: «Сигнал принят. QRU, у меня для вас ничего нет».

Когда они закончили, Лейзер уговорил Джонсона выйти на короткую прогулку. Было очень холодно. Они прошли по Уолтэ-стрит до главных ворот Вустера, оттуда по Банбери Роуд опять вер-

нулись в свою обитель на севере Оксфорда.

Глава 16

Старт

Было снова ветрено. Ставни сельского дома содрогались от ветра, такого же порывистого, как тот, который набрасывался на замерзшее тело Тэйлора, обрушивал дождь на почерневшие стены особняка на Блэкфрайерз Роуд, пригибал траву в Порт Медоу.

В доме пахло кишками. Ковров не было. Пол был каменный и постоянно сырой. Джон затопил изразцовую печь в гостиной, как только они приехали, но пол не высыхал, влага накапливалась в углублениях. За все время никто ни разу не видел кошек, но их запах был в каждой комнате. Джонсон положил кусочек тушенки у порога: через десять минут она уже исчезла.

Дом в один этаж был выложен из кирпича, это было длинное прямоугольное строение с высокой амбарной крышей, с обратной стороны примыкали пристройки для скота, чуть поодаль виднелась рощица, а над всем этим сияло бескрайнее фламандское небо.

Приставная лестница вела на чердак, и там Джонсон установил передатчик, антенну протянул по стропилам через чердачное окно и ее конец прикрепил к стволу вяза у дороги. В доме он носил коричневые парусиновые туфли военного образца и спортивную куртку с армейскими нашивками. Гортон позаботился о доставке провианта от фирмы Нэ-фи из города Целле. Пол на кухне был заставлен картонными коробками с различной снедью, на них лежала накладная с пометкой: «Для пикника м-ра Гортона». Там было две бутылки джина и три бутылки виски. Гортон прислал четыре армейские койки, которые они хотели поставить в двух комнатах, и лампы для чтения со стандартными зелеными абажурами. Холдейн очень разозлился из-за коек.

— Значит, в округе теперь про нас знает каждая собака, — кипятился он. — Дешевое виски, провизия от Нэфи, армейские койки. Скоро, наверное, выяснится, что и дом он реквизировал. Боже мой, разве так готовят операцию!

Они приехали вечером. Установив передатчик, Джонсон начал хлопотать на кухне. Он был хозяйственным; готовил и мыл посуду без жалоб, легко ступая по каменному полу в своих парусиновых туфлях. Он сделал омлет с тушенкой

и очень сладкое какао. Ели в гостиной, у печи. Говорил в основном Джонсон; Лейзер молчал, к еде он едва притронулся.

— В чем дело, Фред? Почему вы не едите?

— Извините, Джек.

— Я понимаю, в самолете было слишком много сладостей. — Джонсон подмигнул Эйвери. — Я видел, как вы смотрели на стюардессу. Нельзя так, Фред, вы ведь могли разбить ей сердце. — Он нахмурился с шутливым неодобрением. — Видели бы вы, как он на нее смотрел! Чуть не съел.

Эйвери усмехнулся, из вежливости. Холдейн остался невозмутим.

Лейзеру нужно было взглянуть на луну. После ужина все четверо вышли на улицу и, дрожа от холода, стояли, разглядывая небо. Как ни странно, было светло; черным дымом клубились облака, да так низко, что, казалось, касались верхушек деревьев в роще, и из-за них не видны были серые поля вдали.

— На границе будет темнее, Фред, — сказал Эйвери. — Там возвышенность, больше холмов.

Холдейн сказал, что надо лечь спать пораньше; они выпили еще виски и в четверть одиннадцатого легли, Джонсон и Лейзер в одной комнате, Эйвери и Холдейн — в другой. Никто не давал ни-

каких распоряжений. Каждый знал свое место.

* * *

Было за полночь, когда Джонсон вошел к ним в комнату. Эйвери проснулся от скрипа резиновых подошв.

— Джон, вы не спите?

Холдейн сел в своей постели.

— Я насчет Фреда. Он сидит один в гостиной. Я сказал, что ему обязательно надо выспаться, дал ему пару таблеток, таких, как моя мать принимает; он даже ложиться не стал, а теперь пошел в гостиную.

Холдейн ответил:

— Не трогайте его. С ним все в порядке. Когда такой ветер — никому не спится.

Джонсон ушел в свою комнату. Должно быть, прошел час; в гостиной по-прежнему было тихо. Холдейн сказал:

— Надо бы вам посмотреть, что он там делает.

Эйвери накинул плащ и пошел по коридору мимо вышитых на холсте цитат из Библии и старинной гравюры с изображением бухты в Любеке. Лейзер сидел, прислонившись к изразцовой печи.

— Привет, Фред.

Лейзер выглядел как старый, утомленный человек.

— Я должен перейти границу где-то здесь рядом?

— Километров пять отсюда. Утром Директор нас проинструктирует. Он считает, что это несложное задание. Он выдаст вам документы и прочее. Место мы вам покажем днем. Лондон провел большую работу.

— Лондон… — повторил Лейзер. — Я был на задании в Голландии во время войны. Голландцы — хорошие люди. Мы много агентов посылали в Голландию. Женщин. Их всех взяли немцы. Вы были тогда совсем молодым.

— Я читал об этом.

— Немцы поймали радиста, А наши не знали. Продолжали забрасывать агентов. Потом говорили, что все равно ничего нельзя было сделать. — Его речь стала торопливой. — Я тогда был совсем мальчишка; по-быстрому, мне сказали, туда и обратно. У нас не хватало радистов. Не важно, мне сказали, что я не говорю по-голландски, меня встретят, как других парашютистов, когда я буду на земле. Мое дело — работа с рацией. Потом меня ждут в доме, где я буду в безопасности. — Он погрузился в воспоминания. — Летим мы, зна-

чит, и на земле ничего не видать — ни вспышки выстрела, ни луча прожектора, и я прыгаю с парашютом. Приземляюсь — а они тут как тут: двое мужчин и женщина. Сказали пароль, я отвечаю и иду с ними к дороге, где спрятаны велосипеды. Времени, чтобы схоронить парашют, нет, да мы и не думаем об этом. Находим дом, мне дают там поесть. После ужина поднимаемся наверх, где стоит рация. А расписания передач не было, Лондон в то время принимал круглосуточно. Дают мне текст: я отстукиваю позывной: «Вызываю TYR, вызываю TYR» — и передо мной текст, двадцать одна группа, по четыре буквы.

Он остановился.

— Ну?

— Они следили за текстом, понимаете; им нужно было узнать, где я давал условный сигнал. Он шел на девятой букве, вместо нее я повторял восьмую. Они дождались, когда я кончил передавать, и кинулись на меня, один принялся бить, в доме вдруг стало полно людей.

— Кто же это был, Фред? Кто?

— Сейчас невозможно сказать. Разве узнаешь? Это совсем не просто.

— Но Боже мой, чья была вина? Кто это сделал? Фред!

— Кто угодно. Невозможно сказать. Со временем вы поймете.

Его словно это перестало интересовать.

— Сейчас вы идете один. Никому о вас не говорили. Никто вас не ждет.

— Да. Это верно. — Он стиснул ладони; сгорбленная, маленькая, озябшая фигура. — На войне было легче, потому что даже в самом тяжелом положении мы думали, что в один прекрасный день мы победим. И если немцы нас брали, мы думали: «Придут свои и освободят, сбросят десантников или прорвутся в немецкий тыл». Мы знали, что этого не будет, понимаете, но можно было хотя бы думать об этом. Хотелось просто побыть одному и помечтать. Но новую войну никто не выиграет, верно?

— Сейчас совсем не то, что было. Все гораздо серьезнее.

— Что вы будете делать, если меня схватят?

— Вызволим, Фред, не беспокойтесь.

— Да, но как?

— У нас большая контора, Фред. Мы можем многое, что вы даже не предполагаете. Ниточки тянутся в разные места. Всего вам не узнать.

— А вы знаете?

— Не все, Фред. Все знает только Директор. Даже

не капитан.

— Какой он, Директор?

— У него большой опыт. Завтра его увидите. Необыкновенный человек.

— Капитан уважает его?

— Конечно.

— Он никогда не говорит о нем, — сказал Лейзер.

— Никто из нас не говорит о нем.

— У меня есть девушка. Работает в банке. Я сказал ей, что уезжаю. Если что-нибудь сорвется, понимаете, я не хочу, чтобы она узнала. Она еще ребенок.

— Как ее зовут?

На секунду в глазах Лейзера блеснуло недоверие:

— В общем, ладно. Но если она появится, пусть с ней все будет в порядке.

— Что вы хотите сказать, Фред?

— Да ладно.

Лейзер замолчал. Когда наступило утро, Эйвери вернулся в свою комнату.

— В чем там дело? — спросил Холдейн.

— У него было неприятное приключение на войне, в Голландии. Его предали.

— Но Лейзер дает нам второй шанс. Как тро-

гательно с его стороны. Агенты всегда так говорят. — Он помолчал. — Сегодня утром приезжает Леклерк.

* * *

Он приехал на такси в одиннадцать. Леклерк начал вылезать из машины еще на ходу. На нем было шерстяное пальто, тяжелые коричневые ботинки для сельской местности и мягкая кепка. Выглядел он очень хорошо.

— Где Мотыль?

— С Джонсоном, — сказал Холдейн.

— Для меня койка найдется?

— Освободится одна койка, когда отбудет Мотыль.

В одиннадцать тридцать Леклерк провел инструктаж; позже, днем, они должны были осматривать погранзону.

Инструктаж проводился в гостиной. Лейзер пришел последним. Он стоял в дверном проеме и смотрел на Леклерка, а тот улыбался с победным видом, словно ему нравилось все, что он видел. Они были примерно одного роста.

Эйвери сказал:

— Директор, это Мотыль.

Не отводя взгляда от Лейзера, Леклерк ответил:

— Думаю, что мне можно называть его Фред. Привет.

Он сделал пару шагов, и они церемонно пожали друг другу руки, как два ведущих телешоу.

— Привет, — сказал Лейзер.

— Надеюсь, вас не слишком замучили?

— Все в порядке, сэр.

— Все восхищены. Вы проделали огромную работу, — сказал Леклерк таким тоном, как депутат говорит со своими избирателями.

— Я еще не начал.

— Я всегда считал, что учебная подготовка — это три четверти боя. А вы, Эйдриан?

— Я тоже.

Они сели. Леклерк стоял чуть в стороне. Он повесил карту на стену. Трудно сказать, что было решающей деталью — его карты, точный выбор слов или строгая манера держаться, в которой неуловимо сочетались целеустремленность и сдержанность, — ему удалось создать в этот момент такую же атмосферу ностальгии по военным походам, какая царила месяцем раньше на совещании на Блэкфрайерз Роуд. У него был дар иллюзиониста: приходилось ли ему говорить о ракетах, о радиосвязи, о легенде или о точке, в которой предстояло пересечь границу, — казалось,

он все знал досконально.

— Ваша цель — Калькштадт, — он чуть ухмыльнулся, — до последнего времени известный только своей удивительно красивой церковью четырнадцатого века.

Они рассмеялись, Лейзер тоже. Было приятно, что Леклерк что-то знал о старинных церквах.

Он принес схему пересечения границы, выполненную чернилами разного цвета, граница была красной. Все было очень просто. С западной стороны, сказал он, был небольшой лесистый холм, поросший можжевельником и папоротником. Он тянулся параллельно границе, потом его южная оконечность поворачивала на восток узким выступом, откуда до границы оставалось двести двадцать ярдов. И край выступа был расположен как раз напротив наблюдательной вышки. Веника значительно отстояла от демаркационной линии: у ее подножия проходило проволочное заграждение в один ряд. Проволока на кольях была слабо закреплена. Разведчики видели, как восточногерманские пограничники отцепляли ее и переходили на другую сторону, чтобы патрулировать незащищенную полосу земли, которая лежала между демаркационной линией и собственно границей. Леклерк должен был показать

те колья, между которыми предстояло переходить границу. Мотыль, сказал он, не должен бояться того, что точка пересечения так близко от вышки; известно по опыту, что внимание пограничников обращено скорее вдаль просматриваемого района; ночь была очень подходящей, безлунной, и ждали сильного ветра. Леклерк назначил время — 02.35; часовые сменялись в полночь, каждое дежурство продолжалось три часа. Ясно, что после двух с половиной часов на посту пограничник уже не так насторожен, как вначале. Сменщик, который должен подойти с севера, еще не выйдет из казармы.

Много внимания было уделено, продолжал Леклерк, возможному расположению мин. Можно проследить по карте — его тоненький указательный палец двигался вдоль зеленой пунктирной линии от оконечности холма через границу, — что там есть старая тропинка, которая как раз соответствует пути Лейзера. Согласно наблюдениям, пограничники не пользуются этой тропинкой, они протоптали свою дорожку, ярдов на десять южнее. Из чего следует, сказал Леклерк, что тропинка заминирована, а полоска земли южнее безопасна — там ходят патрули. Леклерк считал, что Лейзеру надо воспользоваться дорож-

кой, проложенной пограничниками.

Везде, где возможно, на протяжении примерно двухсот ярдов, от подножия холма до вышки, Лейзер будет пробираться ползком, стараясь держать голову ниже уровня папоротника. Тогда, скорее всего, его не увидят с вышки. Лейзер должен знать, с улыбкой добавил Леклерк, что в темное время суток на западной стороне от колючей проволоки патрулирование не наблюдалось. Видимо, в Восточной Германии боялись, что кто-то из их пограничников может незаметно сбежать.

Когда Лейзер перейдет границу, он должен избегать любых дорог и тропинок. Местность там пересеченная, частью — лесистая. Поэтому продвижение будет затруднено, зато будет безопасным; идти нужно на юг. Причина простая. Несколько южнее граница поворачивает и протягивается в западном направлении на десять километров. Итак, двигаясь на юг, Лейзер окажется не в двух, а в пятнадцати километрах от границы и очень быстро за пределами охраняемых восточных подступов к ней. Леклерк рекомендует ему — он непринужденно вынул руку из кармана шерстяного пальто и поднес огонь к сигарете, не переставая чувствовать на себе их взгляды, — идти в течение получаса не восток,

потом повернуть строго на юг и пробираться к озеру Мариенхорст. На восточном конце озера есть заброшенный сарай для лодок. Там Лейзер часок отдохнет и перекусит. К этому времени ему уже захочется выпить — все облегченно рассмеялись, — и в рюкзаке он отыщет бутылочку бренди.

У Леклерка была странная манера; когда он хотел пошутить, он вставал по стойке смирно и приподнимался на носках, будто хотел запустить остроту прямо в небо.

— А мог бы я взять с собой джин? — спросил Лейзер. — Я люблю «Белую леди».

На лицах у всех отразилось замешательство.

— Нет, нельзя, — коротко сказал хозяин Лейзера — Леклерк.

Когда Лейбер отдохнет, он пойдет к деревне Мариенхорст и разузнает, как доехать до Шверина. Далее, уже с безразличием сказал Леклерк, он будет действовать по собственному усмотрению.

— У вас есть все нужные документы для передвижения из Магдебурга в Росток. Доберетесь до Шверина, оттуда уже поедете на законных основаниях. Мне не хочется много говорить о легенде, потому что вы отработали ее с капитаном. Зовут вас Фред Хартбек, вы холостой механик

из Магдебурга, которому предложили работу на государственно-кооперативной верфи в Ростоке. — Он не смог сдержать улыбки. — Я уверен, что все детали вы проработали. Ваша личная жизнь, заработок, история болезни, военная служба и остальное. Я к этому хочу прибавить только одно. Никогда без надобности ничего не рассказывайте. Никто от вас не ждет, что вы начнете распространяться о себе. Но если будут задавать вопросы, играйте, как говорится, по слуху. Легенда, — провозгласил он свой любимый афоризм, — никогда не должна быть чистым вымыслом, она должна дополнять правду.

Лейзер сдержанно рассмеялся. Казалось, он ждал от Леклерка чего-то большего.

Джонсон принес из кухни кофе, и Леклерк коротко сказал:

— Спасибо, Джек.

Все выглядело вполне естественно.

Теперь Леклерк обратился к вопросу о целевой задаче Лейзера: он вкратце перечислил имеющиеся данные, пояснив, что они только подтверждали подозрения, которые у него самого возникли уже давно. Эйвери впервые слышал, чтобы Леклерк говорил в таком тоне. Разными туманными намеками он стремился дать понять,

что у Департамента огромный опыт и там работают специалисты высокого класса, нет недостатка в деньгах, прекрасно развито взаимодействие с другими службами и что выводы Департамента имеют окончательную силу. словно исходят от оракула или неземного существа: так что Лейзеру вполне могла прийти в голову мысль, что, если это все правда, ему вообще нет необходимости рисковать жизнью.

— Ракеты сейчас в том районе, — сказал Леклерк. — Капитан рассказал вам, по каким признакам можно определить их местонахождение. Нас интересует, как они выглядят, где находятся и главное — кто ими управляет.

— Я знаю.

— Испробуйте обычные приемы. Разговоритесь с кем-нибудь в пивной, скажите, что ищете фронтового друга, ну, в таком духе. Когда все узнаете, возвращайтесь обратно.

Лейзер кивнул.

— В Калькштадте есть дешевая гостиница для рабочих. — Он развернул карту города. — Здесь. Рядом с церковью. Остановитесь там, если получится. Вам помогут встретиться люди, которые действительно были связаны с…

— Я знаю, — повторил Лейзер.

Холдейн заволновался, озабоченно посмотрел на него.

— Может, вы даже что-то услышите про одного человека, работавшего на станции, по имени Фритше. Благодаря ему мы узнали некоторые интересные подробности о ракетах, он сам потом куда-то исчез. Если у вас получится, конечно. Вы могли бы спросить на станции, назваться его другом… — Он секунду молчал. — Просто исчез, — повторил Леклерк — для них, не для себя и погрузился в свои мысли. Эйвери озабоченно смотрел на него, ждал, когда он продолжит. Наконец он сказал торопливо:

— Я сознательно не говорил о вопросах связи, давая понять, что инструктаж подходит к концу. Я полагаю, вы уже отработали это должным образом.

— Да, здесь беспокоиться не о чем, — сказал Джонсон. — Время передач ночное. Диапазоны частот не будут заняты. А днем он свободен, сэр. Мы замечательно потренировались, верно, Фред?

— Да. Замечательно.

— Что касается вашего возвращения, — сказал Леклерк, — будем действовать, как на войне. Подводных лодок больше нет, Фред; они не для

такого дела. Когда вернетесь, тут же обратитесь в ближайшее британское консульство или посольство, назовите свое имя и скажите, что хотите на родину. Изображайте из себя оказавшегося в затруднении британского подданного. Инстинктивно я чувствую, что выбираться вам лучше тем же путем, каким пойдете туда. Если возникнут осложнения, не нужно тотчас идти на запад. Затаитесь на какое-то время. У вас с собой будет много денег.

Эйвери знал, что никогда не забудет то утро. Они сидели, развалясь за деревянным столом, как школьники в бомбоубежище на занятии по гражданской обороне, их напряженные лица следили за Леклерком, который в церковной тишине совершал литургию по обряду их веры и вздымал свою изящную руку к карте, словно священник — свечу. Все, кто был в комнате — и возможно, Эйвери больше, чем другие, — знали о той роковой черте, что лежит между мечтой и реальностью, между причиной и действием. Эйвери помнил, как говорил с дочкой Тэйлора, как выдавливал из себя наспех придуманную ложь перед Пеерсеном и британским консулом; он помнил те страшные шаги в гостинице, и теперь, вернувшись из своей чудовищной поездки, видел, как пережитое им

превращалось в образы, которыми манипулировал Леклерк. И все-таки Эйвери — да и Холдейн и Лейзер-слушали Леклерка с благоговением, вероятно чувствуя, что вот именно так, в каком-нибудь далеком и волшебном месте, все должно происходить на самом деле.

— Извините, — сказал Лейзер, разглядывавший план Калькштадта. В этот момент он почувствовал себя увереннее. С тем же выражением лица он. наверно, показывал владельцу неисправность в машине. Станция, общежитие и церковь на плане были обозначены зеленым цветом; вставка в нижнем левом углу изображала железнодорожные склады и депо. Стороны света были отмечены по бокам: Западная перспектива, Северная перспектива.

— Что такое перспектива, сэр? — спросил Лейзер.

— Вид, направление.

— Зачем это? Зачем это на карте, скажите, пожалуйста?

Леклерк терпеливо улыбнулся:

— Для ориентации, Фред.

Лейзер поднялся со стула и стал внимательно разглядывать карту.

— А это церковь?

— Точно, Фред.

— Почему она обращена на север? Церкви всегда смотрят с востока на запад. У вас вход с восточной стороны, там, где должен стоять алтарь.

Холдейн наклонился, прижав к губам указательный палец правой руки.

— Это только схематическая карта, — сказал Леклерк.

Лейзер вернулся на свое место и сел, с особенно прямой спиной.

— Понятно. Извините.

Когда инструктаж закончился, Леклерк отвел Эйвери в сторону:

— Еще одна вещь, Джон, он не должен брать пистолет. Это не подлежит обсуждению. Министр был здесь непреклонен. Передайте Фреду.

— Что, нельзя пистолет?

— По-моему, можно нож. Нож — штука общего назначения; то есть, если что-то пойдет не так, мы всегда сможем сказать, что он общего назначения.

* * *

После обеда они прокатились вдоль границы — машину дал Гортон. Леклерк взял с собой небольшую пачку листков с заметками, которые

он выписал из пограничного донесения Цирка, и вместе со сложенной картой держал их на коленях.

Вид самой северной части границы, разделившей Германию надвое, может вызвать удивление. Разочарован будет тот, кто рассчитывает увидеть надолбы и внушительные укрепления. Местность, где пролегла граница, самая разнообразная: овраги, небольшие, поросшие папоротником холмы и дикий неухоженный лес. Большинство укреплений восточных немцев расположены в глубине территории, так, чтобы их не было видно с запада — только изредка разбудит воображение какой-нибудь выдвинутый вперед бункер, пустой сельский дом, разбитая дорога или наблюдательная вышка.

Западную сторону украшает символ раздела Германии — фанерная модель Бранденбургских ворот, нелепо торчащая на диком лугу. На изрядно пострадавших от ветра и дождя деревянных табличках — лозунги пятнадцатилетней давности. Только ночью, когда темноту разрывает луч прожектора и начинает обыскивать остывшую землю, холодеет сердце за притаившегося в поле беглеца — так замирает заяц и, будучи обнаружен, в ужасе срывается с места и бежит, пока не

упадет без сил.

Они поехали по вершине вытянутого холма, и там, где оказывались особенно близко от границы, останавливали машину и выходили. На Лейзере был плащ, на голове — шляпа. День был очень холодным. Леклерк был одет в шерстяное пальто, в руках держал раскладную трость-табурет: один Бог знает, где он ее откопал.

Леклерк сказал: «Не здесь» — уже при первой остановке. Потом он повторял это несколько раз. Когда они вышли из машины в четвертый раз, Леклерк объявил:

— Следующая остановка — наша. — Такого рода шуточки любили на войне.

Эйвери не узнал бы это место, хотя видел его на схематической карте Леклерка. Холм был тот самый, конечно, и поворачивал к границе, круто обрываясь над лежащим у его подножия полем. Но дальше местность была холмистой, кое-где покрытой лесом, на горизонте выступали деревья, между которыми с помощью бинокля можно было разглядеть коричневый силуэт деревянной вышки.

— Левее третьего кола, — сказал Леклерк.

Они внимательно осматривали землю, и Эйвери заметил след старой тропинки.

— Она заминирована. Заминирована вся тропинка. Их территория начинается у подножия. — Леклерк повернулся к Лейзеру. — Пойдете отсюда, — Он взмахнул своей тростью-табуретом. — Дойдете до обрыва и заляжете. Мы все придем сюда пораньше, чтобы ваши глаза привыкли к темноте. Теперь, пожалуй, пора возвращаться. Чтобы не привлекать внимание.

На обратном пути начался сильный дождь, он заливал ветровое стекло и шумно барабанил по крыше. Сидя рядом с Лейзером, Эйвери погрузился в свои мысли. Он попробовал взглянуть на все со стороны и понял, что его собственная миссия превратилась в комедию, а Лейзер должен был стать действующим лицом трагедии. Эйвери представилось, что он участвует в безумном посменном марафоне, в котором каждый бегун должен бежать быстрее и дальше, чем предыдущий, а финишем станет смерть.

— Кстати, — сказал он вдруг, обращаясь к Лейзеру, — что нам делать с вашими волосами? Мне кажется, у них там нет такого лосьона, каким пользуетесь вы. Это может вас выдать.

— Стричься не надо, — заметил Холдейн. — Немцы носят длинные волосы. Помыть голову, вот и все. Смыть лосьон. Молодец, Джон, поздрав-

ляю.

Глава 17

Дождь перестал. Приближалась ночь, дул ветер. Они сидели за деревянным столом и ждали. Лейзер был в своей спальне. Джонсон приготовил чай и стал возиться с передатчиком. Никто не разговаривал. Все перестали притворяться. Даже. Леклерк, знаток модных школьных словечек и выражений, больше не утруждал себя, изображая уверенность. Казалось, он просто был недоволен тем, что его заставили слишком долго ждать запоздалой свадьбы нелюбимого друга. Им было страшно, они подремывали, как будто сидели в подводной лодке. Сверху мягко раскачивалась лампа. Джонсона то и дело посылали к дверям поглядеть на луну, и каждый раз он объявлял, что ее все нет.

— Метеосводка — хорошая, — заметил Леклерк и отправился на чердак посмотреть, как Джонсон проверяет передатчик.

Оставшись наедине с Холдейном, Эйвери торопливо сказал:

— Он говорит, что в Министерстве возражают против пистолета. Лейзеру нельзя брать писто-

лет.

— Какого черта он советовался в Министерстве? — воскликнул Холдейн вне себя от ярости. Потом тихо добавил:

— Скажите вы. Это ваше дело.

— Леклерку?

— Идиот! Лейзеру.

Они немного поели, затем Эйвери с Холдейном пошли к Лейзеру в спальню.

— Мы должны вас одеть, — сказали они.

Они велели ему полностью раздеться и забрали его дорогую теплую одежду: серую куртку и брюки того же цвета, кремовую шелковую рубашку, черные ботинки с тупыми носами, темно-синие нейлоновые носки. Взявшись за клетчатый галстук, он нащупал золотую булавку с лошадиной головой, осторожно отстегнул ее протянул Холдейну.

— А что делать с этим?

Холдейн приготовил конверты для ценных вещей. В один из них он положил булавку, конверт заклеил, надписал и бросил на кровать.

— Голову вы вымыли?

— Да.

— Восточногерманское мыло нам достать не удалось. Наверно, вам придется самому позабо-

титься об этом уже там. Как я понимаю, мыло у них дефицит.

— Хорошо.

Он сидел на своей койке голый, только что в часах, сгорбившись, обнимая сильными руками лишенные растительности ноги; его белая кожа покрылась пупырышками от холода. Холдейн открыл чемодан, вынул связку одежды и полдюжины пар ботинок.

По мере того как Лейзер надевал на себя эту одежду дешевые мешковатые штаны грубого сукна, широкие внизу и подобранные у пояса, серую поношенную куртку в нелепых складках, аляповатые коричневые ботинки, — ему казалось, что он для Холдейна и Эйвери превращается во что-то жалкое, возвращается в какое-то прежнее состояние, о котором они могли только строить догадки. Поскольку лосьон он смыл, теперь в его непослушных каштановых волосах проглядывала седина. Он застенчиво смотрел на Эйвери, словно только что открыл ему какую-то тайну; он был похож на крестьянина среди помещиков.

— Как я выгляжу?

— Замечательно, — сказал Эйвери. — Замечательно, Фред.

— А галстук не нужен?

— Галстук все испортит.

Он стал примерять ботинки, одну пару за другой, с трудом натягивая их на грубый шерстяной носок.

— Польские, — сказал Холдейн, поставив рядом с ним вторую пару. — Поляки экспортируют их в Восточную Германию. Лучше взять эти тоже — вы ведь не знаете, сколько вам придется пройти пешком.

Холдейн принес из своей спальни тяжелый саквояж с замком и отомкнул его.

Вначале он вынул потертый коричневый бумажник с прозрачным отделением из целлофана, в которое было вставлено раскрытое удостоверение личности Лейзера с подписью и печатью так, что фотография Лейзера выглядывала через целлофановое окошко, карточка была маленькая, как из уголовного дела. Рядом лежало разрешение передвигаться по стране и запрос об устройстве на работу с государственно-кооперативной верфи из Ростока. Холдейн вытряхнул все из кармашка бумажника и потом укладывал вещи по порядку обратно, называя каждый документ.

— Продовольственная карточка, водительские права… Партбилет. Сколько вы состоите в партии?

— С сорок девятого года.

Он положил фотографию женщины и три или четыре засаленных письма, некоторые в конвертах.

— Любовные письма, — пояснил он лаконично. Потом был профсоюзный билет, да ним последовала вырезка из магдебургской газеты о производственных показателях на местном машиностроительном заводе, довоенная фотография Бранденбургских ворот, затертая справка с прежнего места работы.

— Итак, с бумажником мы закончили, — сказал Холдейн. — За исключением денег. Все остальное у вас в рюкзаке. Еда и прочее.

Он вынул из саквояжа и дал Лейзеру пачку купюр. Лейзер стоял в покорной позе обыскиваемого, слегка расставив ноги и чуть-чуть отведя в стороны руки. Он брал у Холдейна все, что тот ему давал, аккуратно складывал и опять принимал ту же позу. Расписался в получении денег. Холдейн взглянул на подпись и сунул бумагу в черный портфель, который он положил отдельно на столике в углу.

Затем последовали всякие мелкие вещи, которые могли оказаться в карманах Хартбека: связка ключей на цепочке, среди них — ключик от че-

модана; расческа, носовой платок цвета хаки с масляным пятном, пара унций кофезаменителя в газетной бумаге; отвертка; моток тонкой проволоки и обрезки железных шурупов со свежими зазубринами — весь никчемный мусор в кармане рабочего.

— Боюсь, что эти часы вам брать нельзя, — сказал Холдейн.

Лейзер расстегнул золотой браслет и уронил часы в раскрытую ладонь Холдейна. Ему дали стальные, восточногерманские, время на которых поставили с большой точностью — по будильнику Эйвери.

Холдейн отступил на шаг:

— Ну, вот так. Теперь посмотрите у себя в карманах. Эти мелкие вещи должны лежать там, куда бы вы их сами положили. Больше ничего отсюда не берите, понятно?

— Я порядок знаю, — сказал Лейзер и поглядел на свои золотые часы на столе. Он взял нож и прикрепил черные ножны к поясу.

— А где мой пистолет?

Холдейн надавил на металлическую застежку портфеля, и она щелкнула как дверной замок.

— Пистолет вы не берете, — сказал Эйвери.

— Пистолет — нет?

— Пистолет отменяется, Фред. Они считают — слишком опасно.

— Для кого?

— Может возникнуть опасная ситуация. Политическая. Если мы пошлем вооруженного агента в Восточную Германию. Они боятся какого-нибудь инцидента.

Он долго и пристально смотрел на Эйвери, вглядывался в его молодое лицо. Того, чего он искал, на этом лице не было. Он повернулся к Холдейну.

— Это правда?

Холдейн кивнул.

Вдруг он протянул руки, как будто просил милостыню, согнутые пальцы были сжаты в горсть — так держат последний глоток воды, плечи его дрожали в жалкой курточке, лицо было обращено книзу — в панике и мольбе.

— Джон! Но вы же не пошлете меня без пистолета! Ради Бога, разрешите мне взять пистолет!

— Извините, Фред, мы не можем.

Все еще протягивая к ним руки, он повернулся к Холдейну:

— Вы не понимаете, что вы делаете!

Леклерк услышал шум и подошел к дверям. Лицо Холдейна было сухим, как камень: от чело-

века с таким лицом милости не дождешься. Голос Лейзера превратился в шепот:

— Что вы делаете? Ради Христа, что вы пытаетесь сделать? — крикнул он им обоим, словно вдруг все понял. — Вы ненавидите меня, вот что! Что я вам сделал? Джон, что я вам сделал? Чем я мог вас обидеть?

Голос Леклерка, когда он наконец заговорил, звучал очень ясно, словно он намеренно хотел подчеркнуть дистанцию между ними.

— В чем дело?

— Он расстроился из-за пистолета, — пояснил Холдейн.

— Очень жаль, но ничего не поделаешь. Это от нас не зависит. Вы знаете, что мы об этом думаем, Фред. Я уверен, что знаете. Но приказ есть приказ. Разве вы не помните, как бывало тогда? — Он сделал паузу, решительный человек, выполняющий свой долг, и с суровым видом прибавил:

— Я приказы не обсуждаю: мне нечего вам сказать.

Лейзер покачал головой. Руки у него повисли. Он как бы обмяк.

— Ладно. — Он глядел на Эйвери.

— Нож в некотором смысле лучше, Фред, — утешающе добавил Леклерк, — от него не бывает

шума.

— Да.

Холдейн взял в руки сменную одежду Лейзера.

— Это я положу в рюкзак, — сказал он, искоса посмотрел на Эйвери и вместе с Леклерком быстро вышел из комнаты. Лейзер и Эйвери молчаливо поглядели друг на друга. Эйвери было неловко видеть его таким подавленным. Наконец Лейзер заговорил:

— Нас было трое. Капитан, вы и я. И асе было хорошо. Не думайте об остальных, Джон. Черт с ними.

— Вы правы, Фред.

Лейзер улыбнулся:

— Это была отличная неделя, Джон. Как нелепо, что мы все время гоняемся за девушками, но ведь в жизни что-то решают только мужчины, мужчины, и только.

— Вы — один из нас, Фред. И всегда были, на ваше имя заведена карточка и хранилась все это время. Мы не забываем.

— Как она выглядит?

— Это на самом деле две карточки, скрепленные вместе. Одна относятся к прошлому, другая — к настоящему. Они хранятся отдельно… живые агенты — так мы их называем. Ваша карточка

— первая. Вы — лучший человек у нас.

Теперь Лейзер мог представить себе картотеку, как нечто, что они сконструировали общими усилиями, вместе. И мог поверить в нее, как в любовь.

— Вы сказали, что она в алфавитном порядке, — резко проговорил Лейзер. — Вы сказали, что карточки на лучших хранятся отдельно.

— Лучшие ставятся в начало.

— И те, что в других странах?

— Все равно откуда.

Лейзер нахмурился, словно речь шла о чем-то сугубо личном и ему одному предстояло принять решение. Он медленно обвел взглядом голую комнату, потом посмотрел на отвороты своей грубой куртки, потом стал смотреть на Эйвери, бесконечно долго, легонько взял его за запястье, как будто хотел только дотронуться, и тихо сказал:

— Дайте мне что-нибудь. Дайте мне что-нибудь с собой. От вас. Что угодно.

Эйвери пошарил в карманах, вытащил платок, какую-то мелочь, смятый конверт… Он открыл его — там была фотография дочурки Тэйлора.

— Ваша дочка? — Лейзер поглядел, на маленькое личико в очках и крепко сжал запястье Эйвери. — Дадите?

Эйвери кивнул. Лейзер положил карточку в бумажник, потом поднял свои часы с кровати. Они были золотые, с черным циферблатом, на котором были обозначены лунные фазы.

— Возьмите, — сказал он. — Храните у себя. Я тут кое-что вспомнил, — продолжал он, — школу, где я учился. Огромный школьный двор, совершенно пустой, только окна и водосточные трубы. После уроков мы там гоняли мяч. В заборе были ворота, за ними — дорожка к церкви, а с другой стороны двора — река… — Он разложил на полу камешки, чтобы стало понятнее, где что находилось. — По воскресеньям мы проходили через эти ворота, дети шли последними, вот здесь. — Торжествующая улыбка. — А та церковь смотрела на север, — сказал он, — точно не на восток. — Вдруг он спросил:

— Давно вы с ними, Джон?

— В конторе?

— Да.

— Четыре года.

— Сколько вам было лет тогда?

— Двадцать восемь. Моложе не берут.

— А вы мне сказали, что вам тридцать четыре.

— Нас ждут уже, — сказал Эйвери.

В прихожей лежал рюкзак и зеленый матер-

чатый чемодан с кожаными углами. Он надел, подтянув лямки, рюкзак, который сразу стал похож на рюкзак немецкого школьника. Потом поднял чемодан, чтобы испробовать вес полного снаряжения.

— Вынести можно, — пробормотал он.

— Это минимум, — сказал Леклерк. Они стали говорить шепотом, хотя никто не мог их услышать. Один за другим сели в машину.

* * *

Торопливое рукопожатие, и он пошел к холму. Никто не напутствовал его добрым словом, даже Леклерк. Словно они все попрощались с Лейзером еще задолго до этого. Последнее, что они видели, был мягко подпрыгивающий рюкзак, потом и он исчез в темноте. У Лейзера была пружинистая походка, в ней чувствовался какой-то ритм.

Глава 18

Лейзер лежал в зарослях папоротника на уступе холма и глядел на светящийся циферблат часов. Оставалось десять минут. Цепочка от ключей свисала с пояса. Он положил ключи в карман,

звенья цепочки, как бусинки четок, скользнули по руке. Прикосновение напомнило ему детство, медальон с цепочкой, который у него когда-то был. На медальоне был изображен святой Христофор — «храни нас в пути».

Спуск был вначале крутой, потом более пологий. Он видел его раньше. Но теперь, в темноте, ничего нельзя было разглядеть внизу. А если там болото? Накануне шел дождь — под холмом, наверно, сыро. Он представил себе, как продирается сквозь болото по пояс в мокрой жиже, держа чемодан над головой, а вокруг свистят пули.

Попытка разглядеть вышку на противоположном холме не удалась: если вышка там и была, то сливалась с чернотой деревьев.

Еще семь минут. Не волнуйся, тебя никто не услышит, сказали ему, ветер уносит все звуки на юг. Никто тебя не услышит при таком ветре. Продвигайся вровень с тропинкой, чуть южнее, то есть справа, держись новой дорожки в зарослях папоротника, она узкая, но отчетливая. Если кого встретишь, используй твой нож, но ни в коем случае не приближайся к старой тропинке.

Рюкзак был тяжелый. Слишком тяжелый. То же самое — чемодан. Из-за чемодана они с Джеком повздорили. Нет, Джек ему не нравится.

— Так вернее, Фред, — объяснял ему Джек. — Маленькая рация — очень капризная штука, на пятьдесят миль она работает, на шестьдесят — замерла. Лучше иметь рацию с запасом, Фред, так надежней. Вот эта — то, что надо.

Идти одну минуту. Часы ему поставили по будильнику Эйвери.

Было страшно. Вдруг он понял, что больше не может думать о постороннем. Или ему это дело уже не по годам, или он слишком устал. Наверно, измотала подготовка. Сердце колотилось. Нет, не выдержать, не было прежних сил. Он лежал и мысленно разговаривал с Холдебном: Боже, капитан, неужто не ясно, что мне это уже не по годам? Я разваливаюсь. Вот что он им сказал бы. Он не двинется с места, когда минутная стрелка упрется в назначенный час; не шевельнется, ему будет слишком плохо. «Сердце, боль в сердце, — скажет он им. — Был сердечный приступ, командир, разве я не говорил вам, что у меня сердечко шалит? Вот вдруг и нашло на меня, пока я лежал там, в зарослях».

Он встал. Пусть охотник видит дичь.

Бегом вниз, сказали ему. При таком ветре никто ничего не услышит. По склону вниз, бегом, потому что на склоне тебя могут заметить, увидеть

твой силуэт. Надо быстро пробежать в качающихся зарослях папоротника, пригнись пониже, и все будет нормально. Под холмом сразу заляжешь, отдышишься, потом ползком — вперед.

Он бежал как сумасшедший. Споткнулся, упал, ударился подбородком о колено, прикусил язык, потом встал, его крутануло вместе с чемоданом, занесло на тропинку, и он ждал, что сейчас взорвется мина. Он бежал вниз по склону, земля под каблуками была мягкий, чемодан грохотал, как старая машина. Почему ему не позволили взять пистолет? В груди поднималась жгучая боль, расползалась под ребрами, проникала в легкие; каждый шаг болезненно отдавался в теле. Эйвери врал. Все время врал. Не запускайте ваш кашель, капитан; сходите к врачу, у вас в легких будто колючая проволока.

Спуск кончился; он опять упал и лежал, тяжело дыша, как загнанный зверь, не чувствуя ничего, кроме страха и пота, от которого намокла его шерстяная рубашка.

Он прижался лицом к земле. Потом, чуть приподнявшись, подтянул лямки рюкзака на животе.

Теперь надо было ползти вверх по противоположному склону, отталкиваясь локтями и

ладонями, пихая перед собой чемодан, помня о том, что его рюкзак как горб вылезает над папоротником. Вода просачивалась сквозь одежду; вскоре он совершенно вымок. В нос бил запах перегноя, в волосах запутались мелкие веточки. Казалось, что природа всеми силами стремилась ему помешать. Выше по склону стал виден силуэт наблюдательной вышки, позади нее, на горизонте, толпились черные остовы деревьев. Огней на вышке не было.

Он лежал тихо. Вышка была слишком далеко, столько не проползти. Часы показывали без четверти три. Сменный часовой должен прийти с севера. Лейзер встал на ноги, рюкзак перехватил в одну руку, в другую взял чемодан и начал осторожно подниматься, держась справа от протоптанной тропинки, не отрывая глаз от черного силуэта вышки. Неожиданно для себя он оказался у самого ее основания, а она возвышалась над ним, как скелет гигантского чудовища.

На вершине холма шумел ветер. Прямо над головой хлопали старые доски и визжала оконная рама. Колючая проволока была не в одни ряд, а в два; стоило взяться за нее, как она сразу отцепилась от столба. Он прошел, снова закрепил проволоку и стал вглядываться в лес чуть

подальше. И все-таки в ту минуту бесконечного ужаса, когда пот застилал глаза, а стук в висках был сильнее шума ветра, его охватило чувство глубокой, какой-то пронзительной благодарности Эйвери и Холдейну, словно он узнал, что они обманули его ради его же пользы.

Потом, не более чем в десяти ярдах от себя, он увидел похожего на силуэт в тире часового. Он стоял на старой тропинке спиной к Лейзеру, винтовка висела у него на плече, он топал ногами по мокрой земле — видимо, хотел согреться. На секунду пахнуло табаком и теплым кофе. Лейзер опустил на землю рюкзак и чемодан и, осторожно, повинуясь инстинкту, приблизился к часовому. Ручка ножа была ребристая, чтобы не скользить в руке. Часовой оказался совсем мальчиком, Лейзера даже удивила его молодость. Он убил его торопливо, одним ударом, так спасающийся бегством одиночка посылает пулю в преследующую толпу; убил, не желая уничтожить чужую жизнь, а стремясь сохранить свою; убил второпях, потому что надо было двигаться дальше; убил равнодушно, просто потому, что так сложилось.

* * *

— Вы что-нибудь видите? — снова спросил Холдейн.

— Нет. — Эйвери передал ему бинокль. — Он просто пропал в темноте.

— А огни на наблюдательной вышке видите? Они бы включили прожектор, если бы услышали, что он идет.

— Нет, я пытался разглядеть Лейзера, — ответил Эйвери.

— Вам следовало называть его Мотыль, — сказал сзади Леклерк. — А то Джонсон теперь знает его имя.

— Я бы все равно сбился, сэр.

— В любом случае он уже прошел, — сказал Леклерк и зашагал к машине.

Обратно ехали молча.

Когда вошли в дом, Эйвери почувствовал, как кто-то дружески положил ему руку на плечо. Он обернулся, ожидая увидеть Джонсона, но перед ним всплыло серое лицо Холдейна. Выражение его было совершенно неожиданным — умиротворенным, как у человека, выкарабкавшегося после долгой болезни.

— Я не любитель расточать похвалы, — сказал

Холдейн.

— Вы думаете, что он уже перебрался на ту сторону?

— Вы хорошо поработали. — Он улыбался.

— Мы бы услышали, верно? Услышали бы выстрелы или увидели огни?

— Он вышел из-под нашей опеки. Вы отлично поработали. — Он зевнул. — Я предлагаю пораньше лечь спать. Больше ничего делать не надо. До завтрашнего вечера, конечно. — В дверях он остановился и, не поворачивая головы, заметил:

— Знаете, как-то все это не похоже на правду. На войне, там вопросов не было. Они отправлялись или отказывались. Почему отправлялись, Эйвери? Джейн Остин считает, ради денег или во имя любви, только деньги и любовь движут миром. Лейзер взялся за это не ради денег.

— Вы сказали — никогда нельзя знать. Вы так сказали в тот вечер, когда он позвонил.

— Он говорил мне о своей ненависти, ненависти к немцам. Но я ему не поверил.

— Тем не менее он отправился. Я думал, что только это для вас имеет значение, вы говорили, что побуждающие причины у вас не вызывают доверия.

— Только из ненависти он бы не отправился,

это мы знаем. Что же он тогда такое? В общем-то мы очень мало знаем о нем, верно? Он ступает по краю пропасти, смерть занесла над ним секиру. О чем он думает? Если сегодня ночью ему придется умереть, что он будет думать в свою последнюю минуту?

— Вы не должны так говорить.

— Ну, ну. — В конце концов он обернулся и посмотрел на Эйвери: умиротворенность не покинула его лица. — Когда мы нашли его, он был человеком без любви. Вы знаете, что такое любовь? Я скажу вам: это то, что вы еще можете предать. В нашей профессии мы живем без нее. Мы не заставляем людей делать что-то для нас. Мы даем им возможность познать любовь. И, конечно, Лейзер тоже узнал любовь. Он, так сказать, сошелся с Департаментом из-за денег и ушел от нас сейчас во имя любви. Он, как говорится, принял вторую присягу. Хотел бы я знать, когда это произошло?

Эйвери спросил торопливо:

— Что значит — из-за денег?

— Это все, что мы ему дали. Любовь — это то, что он дал нам. Кстати, я вижу у вас его часы.

— Я храню их для него.

— Ну, ну. Спокойной ночи. Или доброе утро. —

Короткий смешок. — Как легко теряется ощущение времени. — Потом он заметил, будто про себя. — И Цирк нам все время помогал. Очень странно. Хотел бы я знать — почему.

* * *

Лейзер тщательно мыл нож. Нож был грязный, и его надо было вымыть. В лодочном сарае он поел и выпил бренди из плоской бутылки. «После этого, — сказал Холдейн, — переходите на подножный корм, не таскать же вам с собой консервы и французский бренди». Лейзер открыл дверь и вышел из сарая, чтобы вымыть лицо и руки в озере.

Озеро в темноте было неподвижно. Над тихой гладью воды двигались сгустки серого тумана. У берега просвечивали камыши; ослабевший в предрассветный час ветер легонько шевелил их. По другую сторону озера нависали тени низких холмов. Лейзер почувствовал умиротворение. Но вдруг вздрогнул при воспоминании о том парне.

Пустую консервную банку и бутылку от бренди он зашвырнул подальше — когда они плюхнулись в воду, из камышей лениво поднялась цапля. Он взял плоский камешек и пустил его по поверхности озера. Он слышал, как камешек

трижды коснулся воды, прежде чем пойти ко дну. Он бросил еще один, но трех всплесков не получилось. Он пошел в сарай за рюкзаком и чемоданом. Правая рука сильно болела, наверное, от напряжения, из-за чемодана. Откуда-то донеслось мычание коровы.

По огибавшей озеро тропинке он пошел на восток. Надо было уйти как можно дальше до наступления утра.

Он оставил позади, наверное, уже полдюжины деревень. Ни в одной не было признаков жизни, в них ему было почему-то спокойнее, деревни на какое-то время как будто защищали от резкого ветра. Вдруг он сообразил, что не видит дорожных указателей и новых домов. Вот ничему он ощущал здесь покой — здесь не было ничего нового, что нарушает гармонию старины, которой могло быть пятьдесят или сто лет. Отсутствовали уличные фонари, красочные вывески на пивных и лавках. Равнодушная темнота окружала его и умиротворяла. Он входил в эти деревни, как усталый человек входит в морскую воду; они успокаивали его нервы и возвращали к жизни; но потом ему вспомнился тот парень. Он проходил мимо одиноко возвышавшегося в поле сельского дома, к которому вела довольно длинная дорож-

ка. Он остановился. На полпути к дому кто-то оставил мотоцикл, на седле лежал старый плащ. Было совершенно безлюдно.

* * *

От очага шло ласковое тепло.

— Когда, вы сказали, его первая передача? — спросил Эйвери. Он уже спрашивал об этом раньше.

— Джонсон сказал, в двадцать два двадцать. Мы начинаем прощупывать эфир за час.

— Я думал, он будет передавать на определенной частоте, — пробормотал Леклерк почти равнодушно.

— Он может по ошибке поставить не тот кварц. Это случается, когда нервничаешь. Надо вести поиск на разные кварцы.

— Он уже должен быть в дороге.

— Где Холдейн?

— Спит.

— Как можно в такое время спать?

— Скоро рассвет.

— Ничего нельзя сделать с очагом? — спросил Леклерк. — Он не должен так чадить. — Вдруг он вскинул голову, будто отряхиваясь, и сказал:

— Джон, очень интересное донесение от Фил-

дена. Перемещение войск в Будапеште. Может, когда вы вернетесь в Лондон… — Он остановился, не закончив фразу, и нахмурился.

— Вы говорили об этом, — мягко сказал Эйвери.

— Да, вы должны заняться этим.

— С удовольствием. Похоже, что это очень интересно.

— Вы согласны со мной, верно?

— Очень интересно.

— Знаете, — сказал он: казалось, он что-то вспомнил, — той несчастной женщине по-прежнему не хотят давать пенсию.

* * *

Он сидел на мотоцикле как за обеденным столом — выпрямив спину, поджав локти. Мотоцикл нещадно тарахтев. Грохот двигателя катился по озябшим полям, будил петухов. На проселке сильно трясло. Плащ был с кожаными накладками на плечах, полы бились о спицы заднего колеса. Наступил рассвет.

Скоро надо будет чего-то поесть. Непонятно, почему он так голоден. Может, дело в физической перегрузке. Да, конечно. Он поест, но не в городе, еще не в городе. И не в кафе: чужаки обычно при-

ходят в кафе. Не в кафе, где мог раньше бывать тот юноша.

Он все ехал. Мучил голод. Кроме как о еде, ни о чем не мог думать. Рука сжимала газ, и мотоцикл нес вперед обессиленное тело. Он свернул на дорожку, ведущую к какой-то ферме, и остановился.

Дом был старый, неухоженный — выглядел так, как будто вот-вот развалится. Дорожка с колеей от телеги поросла травой. Ограда была сломана. Когда-то здесь был сад, спускающийся террасами, теперь совершенно одичавший.

В кухонном окне горел свет. Лейзер постучал в дверь. Рука дрожала после мотоцикла. Никто не вышел. Он постучал снова, пугаясь своего же стука. В окне ему померещилось какое-то лицо, мелькнувшая тень мальчика или отражение раскачивающейся ветки.

Он быстро вернулся к мотоциклу, с ужасом ощущая, что его голод — вовсе не голод, а одиночество. Надо где-нибудь прилечь и отдохнуть. Он подумал: я забыл, как это бывает. Он опять сел на мотоцикл и поехал. Доехал до леса и прилег там, спрятав лихорадочно горящее лицо в зарослях папоротника.

* * *

Наступил вечер; в поле было еще светло, но в лесу, где лежал Лейзер, быстро стемнело — красные стволы сосен превратились в черные колонны.

Он отряхнулся от листьев и зашнуровал ботинки. Жесткая кожа болезненно резала ногу. У него ведь не было возможности разносить их. Он поймал себя на мысли, что Леклерку и другим это безразлично, а ему не протянуть руку через пропасть, что легла между ушедшим и оставшимся, между живым и умирающим.

Он натянул рюкзак и снова почувствовал жгучую боль, когда лямки врезались в покрытые синяками плечи. Он взял в руку чемодан и пошел через поле к дороге, туда, где оставил мотоцикл. До Лангдорна было пять километров. Лейзер подумал, что этот, первый из трех городов, должен показаться за холмом. Вот-вот будет полицейский пост, скоро уже можно будет поесть.

Он ехал медленно, с чемоданом на коленях, напряженно вглядываясь в мокрую дорогу, ожидая увидеть вдали красные огоньки или кучку людей с автомашинами. В конце затяжного поворота он увидел слева дом с нарисованной кружкой пива в окне. Он въехал во дворик, на шум двигателя к

дверям вышел старик. Лейзер слез с мотоцикла.

— Я хочу пива, — сказал он, — с сосисками. У вас есть?

Они прошли в пивную, и старик усадил его за стол, в окно Лейзер мог видеть свой мотоцикл во дворике. Он принес Лейзеру бутылку пива, сосиски, нарезанные кусочками, и черный хлеб, а сам остался стоять у стола, наблюдая, как Лейзер ест.

— Куда вы едете? — Его худощавое лицо оттеняла борода.

— На север. — Лейзер знал свою роль.

— А откуда вы?

— Какой дальше будет город?

— Лангдорн.

— Далеко до него?

— Пять километров.

— Есть где остановиться?

Старик пожал плечами. Его жест выражал не равнодушие, не отрицательный ответ, а полное отрицание, словно он ни во что не верил и никто не верил ему.

— А дорога как?

— Нормальная.

— Говорят, была диверсия.

— Не было диверсии, — сказал старик, будто диверсия могла быть надеждой, утешением или

чем-то, что их объединяло: чем-то, что наполнило бы теплом или осветило сырое сумрачное помещение.

— Вы с востока, — объявил старик. — У вас восточный выговор.

— Это родители, — сказал Лейзер. — Кофе есть?

Старик принес кофе, очень черный и кислый, совершенно безвкусный.

— Вы из Вильмсдорфа, — сказал старик. — На мотоцикле вильмсдорфский номер.

— У вас много посетителей? — спросил Лейзер. бросив взгляд на дверь.

Старик покачал головой.

— Дорога не загружена? — Снова старик ничего не ответил. — У меня друг под Калькштадтом. Это далеко?

— Нет. Сорок километров. Под Вильмсдорфом убили одного парня.

— Он держит кафе. В северной части города. Под названием «Кот». Знаете?

— Нет.

Лейзер понизил голос:

— Там кое-что было. Драка. Несколько солдат из города. Русские.

— Уходите, — сказал старик.

Лейзер хотел заплатить, но нашел купюру толь-

ко в пятьдесят марок.

— Уходите, — повторил старик.

Лейзер взял чемодан и рюкзак.

— Старый дурак, — резко сказал он. — За кого ты меня принимаешь?

— Вы или хороший человек, или плохой, опасно и то и другое. Уходите.

Полицейский пост так и не встретился. Лейзер вдруг оказался в центра Лангдорна; на главной улице было уже совершенно темно, только свет, выбивающийся из щелей закрытых ставен, отплескивал кое-где на булыжниках мокрой мостовой. Мимо не проехала ни одна машина. Мотоцикл ужасно тарахтел, Лейзер чувствовал себя так, будто выехал на рыночную площадь, чтобы трубным гласом оповестить город о своем прибытии. Во время войны, подумал он, немцы ложились рано, чтобы в постели было теплее, — так же, может, и теперь.

Настало время избавляться от мотоцикла. Он выехал из города, нашел заброшенную церковь и оставил мотоцикл у входа в ризницу. Потом вернулся в город и пошел на станцию. Кассир был в форме.

— До Калькштадта. Один.

Кассир протянул руку. Лейзер вынул купюру из

бумажника. Тот взял ее и с нетерпением встряхнул. На секунду Лейзер смутился и, не понимая жеста, смотрел на его руку и злое подозрительное лицо за решеткой кассы.

Вдруг кассир рявкнул:

— Удостоверение личности!

Лейзер улыбнулся с извиняющимся видом:

— Совсем забыл, — сказал он и открыл бумажник, чтобы показать карточку в целлофановом отделении.

— Выньте из бумажника, — сказал кассир.

Лейзер наблюдал, как тот разглядывал карточку под лампой.

— Разрешение на передвижение?

— Вот, пожалуйста. — Лейзер дал ему документ.

— Зачем вам в Калькштадт, если вы едете в Росток?

— Наш кооператив отправил поездом кое-какое оборудование из Магдебурга в Калькштадт. Тяжелые турбины и специальный инструмент. Их нужно установить.

— А как вы сюда попали?

— Меня подвезли.

— Подвозить запрещено.

— В наше время все должны стараться делать,

что от нас зависит.

— В наше время?

Кассир прижал лоб к стеклу и посмотрел вниз на руки Лейзера.

— С чем это вы там возитесь? — резко спросил он.

— Это цепочка, цепочка от ключей.

— Значит, вам нужно установить оборудование. Продолжайте, я слушаю!

— Я могу это сделать проездом, по дороге. В Калькштадте ждут уже шесть недель. Груз был задержан.

— Ну и что?

— Мы сделали запрос… на железной дороге.

— И?

— Нам ничего не ответили.

— Поезд уходит через час. В шесть тридцать. — Пауза. — Новости слышали? В Вильмсдорфе убили парня, — сказал он. — Сволочи. — Он дал Лейзеру сдачу.

Идти было некуда. В камеру хранения сдавать багаж он ни рискнул. Никаких, дел больше не было. Он погулял с полчаса, потом вернулся на станцию. Поезд опоздал.

* * *

— Вы оба отлично поработали, — сказал Леклерк, с выражением благодарности кивая Холдейну и Эйвери. — Вы тоже, Джонсон. Больше мы уже ничего сделать не можем: теперь все зависит от Мотыля. — Для Эйвери он припас особую улыбку. — Как вы, Джон? Вы что-то молчаливы? Как вы думаете, вам пригодится опыт такого рода работы? — И добавил со смехом, обращаясь к двум другим:

— Я очень надеюсь, что развод Эйвери не грозит, мы его скоро отпустим домой к жене.

Он сидел на краю стола, его небольшие руки были аккуратно сложены на коленях. Поглядев на молчавшего Эйвери, он весело воскликнул:

— Эйдриан, я от Кэрол получил выговор, что разрушаю молодую семью.

Холдейн улыбнулся, будто услышал удачную остроту.

— По-моему, ее опасения напрасны, — сказал он.

— И Смайли проникся симпатией к Эйвери, как бы он его не переманил!

Глава 19

Поезд остановился у перрона в Калькштадте; Лейзер ждал, когда пассажиры спустятся с платформы. Пожилой охранник собирал использованные билеты. Он казался симпатичным.

— Я разыскиваю одного друга, — сказал Лейзер. — Его фамилия Фритше. Он когда-то здесь работал.

Охранник нахмурился:

— Фритше?

— Да.

— А зовут его как?

— Не знаю.

— А лет ему сколько, ну примерно?

Он сказал наугад:

— Сорок.

— Фритше, здесь, на этой станции?

— Да. У него был домик ниже по реке, он не женат.

— Целый дом? И работал у нас на станции?

— Да.

Охранник покачал головой:

— Никогда не слышал. — Он внимательно посмотрел на Лейзера. — Вы уверены? — спросил

он.

— Так он мне сказал. — Он сделал вид, что что-то вспомнил. — Он писал мне в ноябре… жаловался, что фопо закрыли станцию.

— Вы ненормальный, — сказал охранник. — Доброй ночи.

— Доброй ночи, — ответил Лейзер.

Удаляясь от станции, он все время чувствовал спиной взгляд того человека.

На главной улице была небольшая гостиница под названием «Старый колокол». Не найдя никого в холле, Лейзер открыл какую-то дверь и оказался в большой комнате, дальний конец которой был погружен в сумрак. Посередине, за столом, сидела девушка. Сгорбившись, опустив голову на сложенные на столе руки, она слушала старый проигрыватель. Над столом горела лампочка, единственная в комнате. Когда пластинка кончилась, девушка, не поднимая головы, переставила звукосниматель опять на начало.

— Мне нужен номер, — сказал Лейзер. — Я только приехал из Лангдорна.

На стенах висели чучела птиц: фазаны, цапли и зимородок.

— Мне нужен номер, — повторил он. Музыка была танцевальная, старинная.

— Спросите в холле.

— Там никого нет.

— У них все равно ничего не найдется. И вам нельзя здесь останавливаться. Но рядом с церковью есть дешевая гостиница. Идите туда.

— А где церковь?

Глубоко вздохнув, она остановила пластинку, и Лейзер почувствовал, что ей хочется поговорить.

— Ее разбомбили, — сказала она. — Церковь — одно название, осталась только колокольня.

— Может быть, все-таки мне удастся остановиться у вас? — сказал он, помолчав. — Гостиница не такая ух маленькая.

Он поставил рюкзак в угол и сел на свободный стул у стола. Медленно пригладил рукой свои густые волосы.

— Вы выглядите измученным, — сказала она.

Его синие брюки покрывала корка грязи, прилипшая на границе.

— Я весь день в дороге. Ужасно устал.

Она смущенно встала и пошла в глубину комнаты, там видна была деревянная лестница, а над ней — полоска бледного света. Она позвала кого-то, но никто не отозвался.

— «Штайнхегер» пьете? — спросила она из темноты.

— Да.

Она вернулась с бутылкой и стаканом. На ней был плащ, старый коричневый плащ военного образца, с эполетами и квадратными плечами.

— Откуда вы? — спросила она.

— Из Магдебурга. Держу курс на север. У меня работа в Ростоке. — Сколько раз еще произносить эти слова? — А в той гостинице можно подучить отдельную комнату?

— Если захотите.

Света было так мало, что он не сразу смог разглядеть лицо девушки. Постепенно глаза привыкали. Лицо оказалось миловидным, но с плохой кожей. Девушка была крепко сбитая, не старше восемнадцати. Тому парню, наверно, было столько же, может, чуть больше.

— Как вы? — спросил он: Они ничего не сказала. — Чем вы занимаетесь?

Она взяла его стакан и отпила, устремив на Лейзера взгляд не по годам зрелой женщины, словно была неотразима. Не сводя с него глаз, медленно поставила стакан, поправила локон. Видимо, ей казалось, что ее жесты заключают в себе какой-то смысл. Он снова спросил:

— Вы давно здесь?

— Два года.

— Чем вы занимаетесь?

— Чем придется. — Интонация была вполне искренняя.

— Что-нибудь интересное здесь происходит?

— Ничего, это дохлое место.

— Что, и парней нет?

— Возникают.

— А военные части? — Пауза.

— Случается. Разве вы не знаете, что об этом спрашивать запрещается?

Лейзер взял бутылку «Штайнхегера» и налил себе еще.

Она взяла у него стакан, коснувшись его пальцев.

— Что происходило у вас в городе? — спросил он. — Полтора месяца назад я хотел сюда приехать — меня не пустили. Мне сказали, что Калькштадт, Лангдорн и Волькен закрыты. Что здесь происходило?

Кончиками пальцев она гладила его руку.

— Что здесь было? — повторил он.

— Ничего не было закрыто.

— Ну, хватит, — рассмеялся Лейзер. — Говорю вам, меня близко к городу не подпустили. Дороги сюда и в Волькен были перекрыты. — Он подумал: «Сейчас двадцать минут девятого, осталось

всего два часа до первого сеанса связи».

— Ничего не было закрыто. — Вдруг она прибавила:

— Значит, вы приехали с запада, приехали по дороге. Как раз ищут кого-то вроде вас.

Он встал, собираясь уходить.

— Я, пожалуй, пойду поищу ту дешевую гостиницу.

Он положил на стол немного денег. Девушка прошептала:

— У меня есть своя комната. В новой квартире, за Фриденсплатц. В доме, где живут рабочие. Мне там никто не мешает. Я сделаю все, что вы хотите.

Лейзер покачал головой. Он взял свой багаж и пошел к двери. Она все еще смотрела на него, я он понял, что она о чем-то догадывалась.

— До свидания, — сказал он.

— Я ничего не скажу. Возьмите меня с собой.

— Я выпил, — пробормотал Лейзер. — Мы ни о чем не говорили. Вы все время слушали свою пластинку.

Им обоим стало страшно. Девушка сказала:

— Да, все время играла пластинка.

— Вы уверены, что город не закрывали вообще? Лангдорн, Волькен и Калькштадт — полтора

месяца назад?

— Кому надо закрывать наш город и зачем?

— Даже станцию не закрывали?

Она быстро проговорила:

— Насчет станции не знаю. Район был закрыт на три дня в ноябре. Никто не знает — почему. Здесь стояли русские, военные, человек пятьдесят. Их разместили в городе. В середине ноября.

— Пятьдесят? Какое снаряжение?

— Грузовики. По слухам, севернее проходили учения. Оставайтесь у меня на ночь. Оставайтесь! Давайте я пойду с вами. Куда угодно.

— Какого цвета погоны?.

— Не помню.

— Откуда приехали военные?

— Они были новенькие. Двое из Ленинграда, два брата.

— Куда отправились?

— На север. Послушайте, никто никогда не узнает. Я не болтлива, я не из таких. Я все для вас сделаю, что угодно.

— В сторону Ростока?

— Они сказали, в Росток. Сказали — никому не говорить. Потом партийные товарищи обошли все дома.

Лейзер кивнул. Он вспотел.

— До свидания, — сказал он.

— А завтра, а завтрашняя ночь? Я все для вас сделаю.

— Может быть. Никому не говорите, вы поняли?

Она кивнула.

— Я никому ничего не скажу, — проговорила она, — потому что мне все равно. Спрашивайте многоквартирный дом за Фриденсплатц. Квартира девятнадцать. Приходите в любое время. Я открою дверь. Два звонка, чтобы соседи знали, что ко мне. Платить не нужно. Будьте осторожны, — сказала она. — Везде люди. В Вильмсдорфе убили одного парня.

Он дошел до рыночной площади — пока все сходилось. — дальше ему предстояло найти колокольню и ту дешевую гостиницу. В темноте вокруг сновали сутулые фигуры; на некоторых были обноски военной формы; шинели и пилотки времен войны. То и дело в бледном свете уличных фонарей мелькали хмурые лица, и он пытался разглядеть в них те качества, которые ненавидел. Он говорил себе: «Вот этого надо ненавидеть, у него как раз тот возраст», но ничего не получалось. Они для него были пустотой. Может быть, в каком-нибудь другом городе, другом месте

он найдет тех, что нужно, и будет ненавидеть, но не здесь. Эти были просто пожилые люди, ничего больше; такие же несчастные, как он, и одинокие. Колокольня была черной и пустой. Вдруг ему вспомнилась сторожевая вышка на границе и его автомастерская в двенадцатом часу, вспомнился тот миг, в который он убил часового: просто мальчишку, каким Лейзер сам был во время войны, даже моложе Эйвери.

* * *

— Сейчас он уже должен быть там, — сказал Эйвери.

— Верно, Джон. Уже должен, а как же иначе? Час ходьбы. Да реку пересечь.

Он запел. Никто не подхватил. Они молча поглядывали друг на друга.

— Вы вообще знаете клуб «Алиби»? — вдруг спросил Джонсон. — Рядом с улицей Вилье? Многие из старой команды приходят туда посидеть. Надо, чтобы вы тоже пришли как-нибудь вечерком, когда мы вернемся домой.

— Спасибо, — ответил Эйвери. — С удовольствием.

— Особенно хорошо на Рождество, — сказал он. — В это время я там бываю. Хорошие ребята

собираются. Кто-нибудь один или двое даже надевают форму.

— Наверно, очень приятно.

— На Новый год все приходят с женами. Вы могли бы взять свою.

— Отлично.

Джонсон подмигнул:

— Или девушку.

— У меня нет другой девушки, кроме Сары, — сказал Эйвери.

Зазвонил телефон. Леклерк встал, чтобы взять трубку.

Глава 20

Возвращение

Он опустил на пол рюкзак и чемодан и оглядел стены. У окна была розетка. Дверь не запиралась, поэтому он придвинул к ней кресло. Потом снял ботинки и лег на кровать. Вспомнилось, как девушка поглаживала его руки кончиками пальцев, вспомнились нервные движения ее губ и обманчивый блеск ее глаз в сумраке. Сколько пройдет времени, прежде чем она его предаст?

Вспомнился Эйвери: теплота и английская

сдержанность их зарождавшейся дружбы, его юное лицо, блестящее от дождя, и смущенный, застенчивый взгляд, когда он протирал очки. Конечно же, Эйвери сразу сказал, что ему тридцать два, просто Лейзер не расслышал.

Он посмотрел на потолок. Через час надо будет развернуть антенну.

Комната была большая и пустая, с мраморной раковиной в углу. От раковины в пол уходила труба, очень хотелось надеяться, что она заземлена. Он включил воду: слава Богу, пошла холодная. Джек говорил, что теплые трубы — рискованное дело. Он вытащил нож и тщательно зачистил трубу с одной стороны. Заземление очень важно, говорил Джек. Если ничего другого не получится, говорил он, положите провод заземления под ковер, зигзагообразно, на длину антенны. Но ковра не было, пришлось воспользоваться трубой. Ни ковра, ни занавесок.

Перед ним стоял тяжелый платяной шкаф с выгнутыми дверцами. Когда-то, наверное, это была лучшая гостиница в городе. Остался запах турецкого табака, дорогих духов и какого-то дезинфекционного средства. По серым оштукатуренным стенам мрачными тенями расползалась сырость, но распространяться ей мешали какие-

то таинственные свойства дома, оставившие сухую дорожку на потолке. Кое-где от сырости штукатурка выкрошилась, образовались рваные островки белой плесени, из замазанных трещин белыми реками сбегали потеки. Лейзер разглядывал их, прислушиваясь к малейшим звукам, доносившимся с улицы.

На стене висела картина, изображавшая рабочих в поле с запруженной в плуг лошадью. На горизонте был виден трактор. Лейзер снова услышал мягкий голос Джонсона, говорившего об антенне: «Устанавливать антенну в комнате чертовски сложно, но вам придется это делать. Теперь слушайте: зигзагообразно через комнату, на один фут и четверть длины вашей волны ниже потолка. Располагайте провода как можно дальше друг от друга, Фред, и чтобы они не шли параллельно электропроводке и каким-нибудь железным планкам. Да смотрите, не замкните ее на себя, Фред, а то она вас затрахает». Джонсон всегда прибавлял что-нибудь шутливое с намеком на половой акт. чтобы простым людям было легче запомнить.

Лейзер подумал: зацеплю ее за картину, потом протяну в дальний конец комнаты. В эту штукатурку можно вбить гвоздь; он огляделся в поисках

гвоздя или булавки и заметил бронзовый крюк для карниза над окном. Он встал, вывинтил ручку бритвы. Кусок провода закрепил справа от двери и намотал на дверную ручку — если кто-нибудь что-то заподозрит и попытается открыть дверь, провод должен помешать повернуть ручку. Из тайника в держателе бритвы извлек скомканный клочок шелковой ткани и крупными пальцами тщательно разгладил на колене. В кармане нашел карандаш и стал затачивать, не сдвигаясь с края кровати, где сидел, чтобы не смялся шелк. Дважды грифель ломался, стружки собирались на полу между ног. Он начал писать в блокноте заглавными буквами — так заключенный пишет жене — и каждый раз, когда ставил точку, обводил ее кружком, как его учили много лет назад.

Когда донесение было составлено, после каждой второй буквы он прочертил вертикальную линию в асе пары букв обозначил снизу цифровым эквивалентом в соответствии с таблицей, которую держал в голове: иногда ему приходилось прибегать к мнемонической рифме, чтобы вспомнить числа; порой память подводила, тогда он стирал цифры и начинал сначала. Когда он закончил, он разделил цифровую строку на группы по четыре и каждую из них вывел из групп

на шелковой ткани; наконец превратил цифры снова в буквы и выписал результат, разделив их на группы по четыре знака.

Страх, как застарелая боль, опять охватил его. Любой звук заставлял настороженно вглядываться в дверь, рука переставала писать. Но он не слышал ничего, внушающего опасения: только поскрипывание стареющего дома, как шум ветра в корабельных снастях.

Он посмотрел на законченное донесение, понимая, что оно слишком длинное, что, если бы он составил его иначе, если бы голова лучше работала, он мог бы сделать его короче, но именно сейчас у него не было сил думать, как это сделать, и в то же время он знал, его учили, что лучше добавить два-три слова, если донесение может прозвучать двусмысленно для адресата. В шифровке было сорок две группы.

Он отодвинул стол от окна и поднял чемодан, отпер его ключом на цепочке, благодаря Бога за то, что ничего из снаряжения не сломалось по пути. Открыл коробочку с мелкими деталями, дрожащими пальцами нащупал перевязанный зеленой ленточкой шелковый мешочек с кварцами. Ослабив ленточку, высыпал кварцы на покрывавшее кровать грубое одеяло. Каждый

был надписан почерком Джонсона, вначале частота и ниже — цифра, обозначавшая последовательность применения. Лейзер расположил их в ряд, прижав к одеялу, чтобы они лежали надписями вверх. Кварцы — это было самое простое. Он попробовал дверь — как ее удерживает кресло. Ручка ходила в руке. Кресло не защищало. Вспомнились стальные клинья, которыми его снаряжали во время войны. Потом он соединил радиопередатчик с блоком питания, подключил наушники и отвинтил ключ Морзе от крышки коробочки с деталями. И тут он увидел приклеенную внутри чемодана полоску бумаги, на ней около десятка буквенных групп и под каждой — соответствующие точки и тире; это была международная кодовая запись часто употребляющихся фраз, которые он никак не мог запомнить.

Когда он увидел эти буквы, выведенные аккуратным секретарским почерком Джека, глаза его наполнились слезами благодарности. Джек все-таки молодец. Джек, капитан и молодой Джон — как приятно работать с ними, подумал он; можно прожить жизнь и никогда не встретить таких замечательных ребят. Лейзер выпрямился, крепко уперев руки в стол. Он немного дрожал,

может быть, ему было холодно; мокрая рубашка прилипла к спине; но он был счастлив. Он посмотрел на кресло перед дверью и подумал: в наушниках я уже не услышу, как за мной придут, точно так же, как тот парень не слышал из-за ветра моих шагов.

Потом он подключил антенну и заземление, провод заземления протянул к трубе под умывальником и оголенный конец прикрепит кусочками клейкой ленты к зачищенному месту. Стоя на кровати, он протянул антенну под потолком, в восемь линий, зигзагообразно, как его инструктировал Джонсон, закрепив ее покрепче на карнизе с одной стороны и в штукатурке — с другой. Когда это было сделано, вернулся к передатчику и поставил переключатель диапазонов в четвертое положение, потому что знал, что все нужные частоты были в диапазоне трех мегагерц. Потом взял с кровати первый кварц в ряду, вставил его в левый угол передатчика и начал настраивать, что-то благодушно бормочи при каждом движении. Переключатель кварцев поставить на «основную частоту», подключить выходной контур, настроить анодный ток и связь с антенной — на «десять».

Он колебался, пытаясь вспомнить, что делать

дальше. В голове появилась тяжесть. «РА — разве ты не знаешь, что значит РА?» РА — усилитель мощности. Переключатель режимов поставил а третье положение, чтобы увидеть ток в антенне. Переключатель TSR на Т — подстройка. Он постепенно вспоминал. Переключатель режимов на 6, чтобы обеспечить максимальную мощность РА… ток анода на минимум.

Теперь переключатель TSR он поставил на S — передача, коротко нажал на ключ, посмотрел на приборы, настройку антенны подрегулировал так, что стрелка показаний метров немного поднялась; торопливо изменил анодный ток. Еще раз повторил все сначала, пока, к глубокому облегчению, не увидел, что стрелка индикатора настройки передвинулась в зеленый сектор шкалы, — тогда он понял, что передатчик с антенной настроены правильно, и теперь он мог поговорить с Джоном и Джеком.

Он что-то удовлетворенно пробормотал и закурил, жалея, что нет английских сигарет, — если бы за ним сейчас пришли, никого бы уже не интересовало, что он курит. Он посмотрел на часы, завел их до упора; они были поставлены по часам Эйвери, Лейзер радовался, когда вспоминал об этом. Как влюбленные в разлуке, они смотрели

на одну и ту же звезду.

А того парня он убил.

Оставалось три минуты до передачи. Ключ Морзе он отвинтил от коробки, потому что с привернутым было неудобно работать. Джек сказал — все равно, не имеет значения. Пришлось взять ключ в левую руку за основание, чтобы не елозил туда-сюда. Джек сказал, что у каждого радиста свои привычки. Совершенно точно, этот ключ меньше того, которым он работал на войне. На ключе — следы мыльного камня. Лейзер прижал локти и выпрямил спину. Безымянный палец правой руки скрючился над ключом. Мой позывной — JAJ, подумал он, Джей Эй Джей, это легко запомнить. Джей Эй — Джон Эйвери, Джей Джей — Джек Джонсон. Он начал выстукивать. Точка и три тире, точка тире, точка и три тире, и думал: как в том доме в Голландии, только никого со мной нет.

Передадите дважды, Фред, и заканчивайте. Он переключил на прием, выдвинул лист бумаги на середину стола и вдруг, когда уже начал принимать Джека, обнаружил, что ему нечем писать.

Он встал и огляделся в поисках блокнота и карандаша, спина сразу взмокла. Их нигде не было видно. Он торопливо опустился на четвереньки

и стал шарить в густой пыли под кроватью, нашел карандаш, но не нашел блокнота. Вставая, услышал щелчок из наушников. Он подбежал к столу, прижал один наушник к уху, одновременно стараясь удержать другой рукой листок так, чтобы тот не скользил и чтобы в углу под своим донесением он мог записывать.

«QSA 3: прием хороший» — вот все, что ему передали. «Держись, малыш, держись», — пробормотал он. Он сел в кресло, переключился на передачу, посмотрел на свое зашифрованное донесение и отстучал «сорок два», потому что было сорок две группы букв. Правая рука была потной, грязной от пыли и болела — наверное, из-за рюкзака. Или от схватки с тем парнем.

Ни в коем случае не надо торопиться, говорил Джонсон. Мы будем слушать эфир: вы не на экзамене. Он вытащил из кармана платок и вытер с рук грязь. Он чувствовал ужасную усталость, почти физическое отчаяние, но лишь как мимолетное ощущение вины, которое возникает перед тем, как заняться любовью. Группы по четыре буквы, сказал Джонсон, необязательно передавать все за один раз, Фред, можете в середине сделать небольшой перерыв, если хотите. Две с половиной минуты на первой частоте, две

с половиной на второй, вот как надо, а миссис Хартбек потерпит. Под девятой буквой он провел карандашом жирную черту, потому что здесь следовал специальный сигнал. Об этом он позволял себе думать только мельком.

Он прижал ладони к лицу, желая собрать остатки сил и получше сосредоточиться, затем взял ключ и начал выстукивать. Держите руку посвободней, указательный и безымянный на ключе, большой — снизу, кисть на стол не опускайте. Фред, дышите равномерно, вы увидите, что так вам будет легче.

Господи, почему рука двигается так медленно! Он даже убрал руку с ключа и стал беспомощно глядеть на свою раскрытую ладонь; вытер левой рукой обильный пот со лба и почувствовал, что ключ скользит по столу. Кисть слушалась плохо: этой рукой он убил того парня. Все время он произносил про себя — точка, точка, тире, потом К, эту букву он всегда помнил, точку между двух тире — губы произносили буквы, а рука не слушалась, он все равно что заикался, и тем сильнее, чем больше произносил слов, и тот парень сидел в голове, только тот парень. Возможно, работа с ключом Морзе шла быстрее, чем ему казалось. Он потерял ощущение времени; глаза залива-

ло потом, он больше не мог вытирать лоб. Он продолжал шептать точки и тире, он знал, что Джонсон злился бы на него, потому что следовало думать про точки и тире, а думать надо было в музыкальной форме, ти-таа, таа, как делают профессионалы, но Джонсон не убивал того парня. Сердце стучало чаще, чем ключ, рука будто отяжелела, а он все продолжал выстукивать, потому что больше ему ничего не оставалось делать, только это его держало: все тело разваливалось. Теперь он уже ждал, когда за ним придут, даже желал этого — берите меня, забирайте, — он хотел услышать шаги. Дайте мне вашу руку, Джон.

Когда наконец все закончил, он встал и шагнул к кровати. С полным равнодушием взглянул на лежавшие рядком поверх одеяла кварцы, нетронутые, готовые к работе, последовательно пронумерованные.

* * *

Эйвери посмотрел на часы. Было четверть одиннадцатого.

— Он выйдет в эфир через пять минут, — сказал он.

Вдруг Леклерк провозгласил:

— На проводе Гортон. Он получил телеграмму

из Министерства. Наверняка для нас какие-то новости. Сюда высылают курьера.

— Что бы это могло быть? — спросил Эйвери.

— Думаю, венгерские дела. Донесение Филдена. Мне, возможно, придется вернуться в Лондон. — Он довольно улыбнулся. — Но вы, пожалуй, и без меня справитесь.

Джонсон в наушниках сидел на деревянном стуле с высокой спинкой, принесенном с кухни. Трансформатор темно-зеленого передатчика мягко жужжал; шкала настройки с включенной подсветкой бледно сияла в полумраке чердака.

Холдейн и Эйвери сидели на неудобной скамье. Перед Джонсоном лежали блокнот и карандаш. Он снял наушники и сказал стоявшему рядом Леклерку:

— Я буду вести прием как полагается, сэр, и все расскажу вам. И все запишу, тоже на всякий случай.

— Я понимаю.

Они молча ждали. Вдруг — для них это было волшебной минутой — Джонсон выпрямил спину, резко кивнул им, включил магнитофон. Он улыбнулся, быстро переключился на передачу и начал выстукивать.

— Приступайте к передаче, Фред, — громко

сказал он. — Прием хороший.

— Он справился! — шумно прошептал Леклерк. — Он теперь на объекте! — Его глаза горели от возбуждения. — Вы слышите, Джон? Вы слышите?

— Давайте потише, — попросил Холдейн.

— Вот он, — сказал Джонсон спокойным голосом. — Сорок две группы букв.

— Сорок две, — повторил Леклерк.

Джонсон был неподвижен, голова чуть наклонена в сторону, он полностью сосредоточился на наушниках, лицо было бесстрастным в бледном свете.

— Теперь помолчите, пожалуйста.

Минуты две его рука сновала в раскрытом блокноте. То и дело он что-то неразборчиво бормотал, шептал какие-то буквы или покачивал головой, пока составление донесения не замедлилось или только так казалось, потому что рука с карандашом замирала и он напряженно вслушивался, потом тщательно вырисовывал по одной каждую букву. Он посмотрел на часы.

— Ну, давайте, Фред, — воскликнул он. — Давайте, переключайте, уже почти три минуты. — Но донесение все шло и шло, буква за буквой, и на простоватом лице Джонсона появилось выраже-

ние тревоги.

— Что происходит? — требовательно спросил Леклерк. — Почему он не меняет частоту?

Вместо ответа Джонсон воскликнул:

— Заткните ваш передатчик, Фред, ради Бога, заглохните.

Леклерк нетерпеливо потрепал его за плечо. Джонсон отвел один наушник в сторону.

— Почему он не меняет частоту? Почему он все еще передает?

— Он, наверно, забыл! Он никогда не забывал при подготовке. Я знаю, что он медлителен, но Боже! — Он продолжал автоматически писать. — Пять минут, — пробормотал он. — Пять кошмарных минут. Уберите ваш поганый кварц, возьмите другой!

— А нельзя ему сказать?

— Конечно, нет. Невозможно. Он не может вести прием и передачу одновременно!

Все стояли или сидели с окаменевшими лицами. Джонсон обернулся к ним и сказал умоляющим тоном:

— Я говорил ему, и не раз, много раз. Это самоубийство — то, что он делает! — Он посмотрел на часы. — Он передает уже почти шесть минут. Чудовищный дурак.

— Что они будут делать?

— Если поймают его сигналы? Вызовут другую станцию. Запеленгуют, дальше простая задачка из тригонометрии, когда застреваешь на одной волне. — Он с безнадежным видом хлопнул обеими ладонями по столу, указал на передатчик, как на что-то позорное. — Ребенок бы справился. Взял бы два компаса… Боже мой! Ну, давайте, Фред, ради Бога, давайте! — Он написал несколько букв и потом отбросил карандаш в сторону. — Все равно все останется на пленке, — сказал он.

Леклерк повернулся к Холдейну:

— Наверняка мы что-то можем сделать!

— Потише, — сказал Холдейн.

Передача прекратилась. Джонсон отстучал короткий ответ, быстро, яростно. Тут же прокрутил обратно пленку и начал писать. Положив листок с шифром перед собой, он работал, наверное, с полчаса, не прерываясь, порою складывая какие-то числа на клочке оберточной бумаги под боком. Царило молчание. Когда все закончил, он встал, из уважения к начальству, о чем в последнее время часто забывал.

— Вот донесение. Район Калькштадта закрыт на три дня в середине ноября, когда в городе видели пятьдесят советских военнослужащих. Никакого

особого снаряжения. Слухи о передвижении советских войск далее на север. Предположительно войска переместились в Росток. На станции в Калькштадте Фритше неизвестен. Дорога в Калькштадт не перекрывалась. — Он бросил листок на стол. — После этого еще пятнадцать групп, их я расшифровать не смог. Наверно, он сбился при кодировании.

* * *

В Ростоке снял трубку седоватый сержант фопо, это был пожилой задумчивый человек. Секунду он слушал, потом стал набирать номер на другой линии.

— Наверное, мальчишка какой-нибудь, — сказал он, продолжая набирать. — Какая частота, вы сказали? — Он прижал другую трубку к уху и стал быстро говорить, трижды повторив частоту. Потом зашел в соседний кабинет. — С Витмаром нас соединят через минуту, — сказал он. — Его стараются запеленговать. Еще прослушивается?

Капрал кивнул. Сержант поднес к уху свободный наушник.

— Это не любитель, — пробормотал он. — Любитель не станет нарушать правила. Тогда кто же? Ни один агент в своем уме не будет подавать

такие сигналы. Какие соседние частоты? Военные или гражданские?

— Рядом с военными. Очень близко.

— Странно, — сказал сержант. — Похоже на то самое. На войне работали с этими частотами.

Капрал смотрел на медленно вращающиеся катушки с лентой:

— Он продолжает передавать. Группы по четыре знака.

— По четыре?

Сержант рылся в памяти, стараясь вспомнить что-то давно забытое.

— Дайте сюда наушник. Надо слышать этого дурака! Медлителен, как мальчишка.

Звук затронул в памяти какую-то струну — смазанные промежутки, точки такие короткие, едва длиннее щелчка. Он мог поклясться, что уже когда-то слышал эту руку… на войне, в Норвегии… но не такую медлительную: более медлительной руки он никогда не слышал. Нет, не в Норвегии… во Франции. Может, только кажется. Конечно, показалось.

— Или это старик, — сказал капрал.

Зазвонил телефон. Сержант схватил трубку и через секунду уже стремглав мчался по асфальтированной дорожке к офицерской столовой.

Русский капитан со скучающим видом потягивал пиво, его китель висел на спинке стула.

— Что вам надо, сержант? — лениво спросил он.

— Он появился. Тот, о ком нам говорили. Который убил парня.

Капитан быстро поставил кружку на стол.

— Вы поймали его передачу?

— Запеленговали. С Витмаром. Группы по четыре. Медлительная рука. Район Калькштадта. Рядом с одной из наших частот. Зоммер записал передачу.

— Боже мой, — тихо сказал он.

Сержант нахмурился.

— Что ему надо? Зачем его засылать сюда? — спросил сержант.

Капитан застегивал китель:

— Спросите в Лейпциге. Может, там вам ответят.

Глава 21

Было очень поздно.

Огонь в камине у Контроля хорошо горел, но он недовольно ворошил его кочергой. Контроль страшно не любил работать по вечерам.

— Вас хотят видеть в Министерстве, — раздраженно сказал он. — Теперь о рабочем распорядке. Это никуда не годится. Почему все так разволновались именно в четверг? Чтобы сорвать нам уик-энд? — Он оставил кочергу и сел опять к столу. — На людей больно смотреть. Какой-то идиот развел бурю в стакане воды. Удивительно, во что ночь превращает человека. Ненавижу телефон. — Перед ним стояло несколько аппаратов.

Смайли предложил ему сигарету и не глядя взял одну сам.

— Какое министерство? — спросил Смайли.

— Леклерка. Вы хоть отдаленно представляете себе, что происходит?

Смайли сказал:

— Да. А вы разве нет?

— Леклерк — такой пошляк. Да, я считаю, что он пошляк. Он думает, что мы с ним конкуренты. Зачем мне нужна его ужасная милиция? Чтобы вместо прачечных собирать грязное белье со всей Европы? Он думает, что я хочу его проглотить.

— А разве нет? Почему мы тот паспорт объявили недействительным?

— До чего он глуп. И какой пошляк. Зачем только Холдейн с ним связался?

— Когда-то у Холдейна была совесть. Как у каж-

дого из нас. Ему удалось с ней справиться.

— Господи! Это шпилька в мою сторону?

— Это нужно Министерству? — резко спросил Смайли.

Контроль взял несколько листов бумаги:

— Вот эти, из Берлина, вы видели?

— Они поступили час назад. Передачу засекли американцы. Группы по четыре буквы, примитивный буквенный цифр. Американцы говорят, из района Калькштадта». «Где это, черт возьми?

— На юге от Ростока. Передача продолжалась шесть минут на одной и той же частоте. Они сказали, что это было похоже на радиолюбителя, на его первую пробу. Передача велась по схеме, которая употреблялась на войне: они спрашивают, не наша ли это работа.

— И что вы ответили? — быстро спросил Контроль.

— Я сказал — нет.

— Так я и думал. Господи помилуй.

— Я вижу, вы не слишком озабочены, — сказал Смайли.

Казалось, Контроль вспоминал что-то давно минувшее.

— Я слыхал, Леклерк в Любеке. Симпатичный городок. Мне очень нравится Любек. В Мини-

стерстве вас срочно хотят видеть. Я сказал, вы будете. Какое-то совещание. — Он прибавил с настойчивостью:

— Вы должны пойти, Джордж. Мы производим впечатление чудовищных дураков. Про нас написано в каждой восточногерманской газете, они орут о мирных конференциях и подрывной деятельности. — Он махнул рукой на телефон. — И Министерство тоже. Боже, как я ненавижу штатских бюрократов!

Смайли слушал его со скептическим выражением.

— Мы могли остановить их, — сказал он. — У нас было достаточно информации.

— Конечно, могли, — мягко сказал Контроль. — Знаете, почему мы этого не сделали? Да просто из идиотской христианской благотворительности. Мы не мешаем им играть в их военные игры. А теперь вам лучше идти. И, Смайли…

— Да?

— Будьте повежливей. — И невинным голосом:

— Завидую я все-таки немцам, что у них этот город, Любек. Помните, там ресторанчик, как он называется? Куда Томас Манн приходил пообедать. Так интересно.

— Никогда он там не обедал, — сказал Смай-

ли. — То, о чем вы говорите, разбомбили начисто.

Смайли все не уходил.

— Позвольте спросить, — сказал он. — Вы, впрочем, не станете отвечать. Но спросить очень хочется. — Он не смотрел на Контроля.

— Дорогой Джордж, ну что на вас нашло?

— Мы дали им тот паспорт. Который был объявлен недействительным… ненужную им службу курьеров… старый передатчик… документы, данные разведки границы… а кто сообщил в Берлин, чтобы прощупывали эфир? Кто сообщил частоты? Мы даже дали Леклерку кварцы, верно? Это тоже была только христианская благотворительность? Просто идиотская христианская благотворительность?

Контроль смутился.

— Что вы хотите сказать? Как некрасиво. Кто способен на такой поступок?

Смайли уже надевал пальто.

— Доброй ночи, Джордж, — сказал Контроль и потом яростно, словно утомившись от дружеского обращения:

— Одна нога здесь, другая там. И не забывайте о дистанции между нами. Вы трудитесь на благо нашей страны. Я не виноват, что они умирают

так долго.

* * *

Наступил рассвет, а Лейзер так и не заснул. Ему хотелось принять душ, но он боялся выйти в коридор. Боялся пошевелиться. Он знал, что, если за ним уже охотились, надо было выйти в нормальное время, а не выскакивать из гостиницы посреди ночи. Никогда не беги, учили его, не выделяйся из уличной толпы. Он мог выйти в шесть утра, это не было слишком рано. Тыльной стороной ладони он провел по подбородку, по острой и жесткой щетине.

Он был голоден, не знал, как быть дальше, но одно он знал — что бежать не будет.

Он повернулся на бок, вытащил из-за пояса нож и стал разглядывать. Пробирала дрожь. Лоб пылал. Вспомнилось, как дружеским тоном его поучал инструктор: большой палец сверху, лезвие параллельно земле, предплечье напряжено. «Уходите, — сказал старик. — Вы или хороший человек, или плохой, опасно и то, и другое». Как надо держать нож, когда люди говорят такие слова? Так же, как когда он убивал того парня?

Было шесть часов. Он встал. Ноги отяжелели и плохо слушались. Плечи по-прежнему болели

от рюкзака. Одежда пахла лесным перегноем. Он счистил с брюк подсохшую грязь и надел другую пару ботинок.

Лейзер спустился по лестнице, скрипя новыми ботинками на деревянных ступеньках, осматриваясь вокруг, кому заплатить за ночлег. Пожилая женщина в белом халате расставляла цветы в вазе, разговаривая с кошкой.

— Сколько я должен?

— Первое, что вы должны, — это заполнить карточку, — раздраженно сказала она. — Это надо было делать сразу, как вы сюда пришли.

— Извините.

Она продолжала отчитывать его, но голос повышать не смела:

— Разве вам не известно, что запрещается останавливаться в городе, не заполнив карточку для полиции? — Она посмотрела на его новые ботинки. — Или вы так богаты, что думаете, вам необязательно?

— Извините, — опять сказал Лейзер. — Дайте мне бланк, я сейчас заполню. Я совсем не богат.

Женщина замолчала, тщательно сортируя цветы.

— Вы откуда? — спросила она.

— С востока, — сказал Лейзер. Он хотел сказать

— с юга, из Магдебурга, или с запада, из Вильмсдорфа.

— Надо было заполнить карточку вчера. Теперь уже поздно.

— Сколько я вам должен?

— Нисколько, — ответила женщина. — Теперь уж ладно. Вы не заполнили вовремя карточку. Что вы скажете, если вас возьмут?

— Скажу, что спал с девушкой.

— Сейчас идет снег, — сказала женщина. — Берегите ваши красивые ботинки.

Крупные снежинки беспомощно плавали в воздухе, собирались между черными булыжниками мостовой, льнули к стенам домов. Снег был серый, невеселый и на земле быстро таял.

Лейзер пересек Фриденсплатц и чуть в стороне от нескольких новостроек, на пустыре, увидел новое семиэтажное желтое здание. На балконах сушилось припорошенное снегом белье. На лестнице пахло готовкой и русским бензином. Нужная ему квартира находилась на третьем этаже. Слышен был детский плач, где-то играло радио. У него вдруг мелькнула мысль, не лучше ли сразу повернуться и уйти, ведь своим появлением он подвергает людей опасности. Он дал два звонка — как просила девушка. Дверь она откры-

ла еще совсем сонная. Поверх хлопчатобумажной ночной рубашки на ней был накинут плащ, в который она куталась от пронизывающего холода. Она смутилась, увидев его, словно он принес плохие новости. Он в свою очередь ничего не говорил, просто стоял у порога, и чемодан слегка раскачивался у него в руке. Наконец она кивнула, и он пошел за ней по коридору, в комнате он поставил в углу чемодан и привалил к стене рюкзак. Расклеенные по стенам рекламные плакаты бюро путешествий изображали пустыню, пальмы и тропическую луну над океаном. Они забрались в постель, и она накрыла его своим тяжелым телом, немного дрожа, потому что ей было страшно.

— Я хочу спать, — сказал он. — Дай мне прежде поспать.

* * *

Русский капитан сказал:

— Он украл мотоцикл в Вильмсдорфе я спрашивал про Фритше на станции. Что он будет делать теперь?

— Опять будет передавать. Сегодня вечером, — ответил сержант. — Если ему есть что передавать.

— В такое же время?

— Конечно, нет. И на другой частоте. И из другого места. Он может оказаться в Витмаре, Лангдорне или Волькене, даже в Ростоке. Если же останется здесь, в городе, то может перебраться в другой дом. А то может вообще не передавать.

— В другой дом? Кто пустит к себе шпиона?

Сержант пожал плечами с таким видом, словно сам бы приютил нарушителя границы. Капитан был уязвлен.

— Откуда вы знаете, что он ведет передачи из какого-нибудь дома? Почему не из леса или с поля? Откуда у вас такая уверенность?

— Очень сильный сигнал. Мощный передатчик. Такой сигнал он не может давать при помощи батарей, которые человек в силах носить на себе. Он подключается к электросети.

— Поставьте кордоны вокруг города, — сказал капитан. — Обыщите каждый дом.

— Он нам нужен живым. — Сержант смотрел на свои руки. — И вам он нужен живым.

— Тогда что, по-вашему, следует делать? — спросил капитан.

— Во-первых, убедиться в том, что он продолжает вести передачи. Во-вторых. заставить его остаться в городе.

— Дальше.

— Нам придется действовать быстро, — заметил сержант.

— Дальше.

— Ввести в город войска. Какие будут поблизости. Как можно скорее. Неважно — танки или пехоту. Создать суету. Заставить его обратить внимание. Но действовать надо быстро!

* * *

— Я скоро уйду, — сказал Лейаер. — Не задерживай меня. Дай мне кофе, и я пойду.

— Кофе?

— У меня есть деньги, — сказал Лейзер таким голосом, как если бы, кроме денег, у него ничего не было. — Вот. — Он выбрался из постели, взял бумажник из кармана куртки и вытащил из пачки купюру в сто марок. — Возьми.

Она взяла бумажник и, посмеиваясь, высыпала содержимое на постель. Ее движения напоминали кошачьи, и поэтому казалось, что у нее не вполне здоровая психика. Он равнодушно наблюдал за ней, поглаживая но голому плечу. Она подняла фотографию женщины — круглолицей блондинки.

— Кто она? Как ее зовут?

— Ее не существует, — сказал он.

Она нашла письма и прочла одно вслух, смеясь над нежными фразами.

— Кто она? — опять с презрением спросила девушка. — Кто она?

— Говорю тебе, ее не существует.

— Значит, я могу их порвать? — Она держала письмо перед ним обеими руками, ждала, что он будет делать. Лейаер ничего не говорил. Она чуть надорвала письмо и затем, не спуская с Лейзера глаз, совсем порвала его, потом и второе письмо, и третье.

Потом нашла фотографию ребенка, девочки в очках, восьми-девяти лет, и снова спросила:

— Кто это? Твой ребенок? Она существует?

— Это никто. Ничейный ребенок. Просто фотография.

Девушка порвала ее тоже, разбросав обрывки по постели, и потом повалилась на него, покрывая поцелуями его лицо и шею.

— Кто ты? Как тебя зовут?

Он уже хотел сказать, когда она оттолкнула его.

— Нет! — крикнула она. — Нет! — Она понизила голос. — Мне нужен ты без всего остального. Только ты, и точка. Только ты и я. Мы придумаем

себе новые имена, свои правила игры. Никого больше не будет, ни папы, ни мамы. Мы будем печатать свои газеты, свои удостоверения, свои хлебные карточки; мы будем своим собственным народом. — Она шептала, ее глаза светились.

— Ты шпион, — сказала она ему в самое ухо. — Тайный агент. У тебя есть пистолет.

— Нож лучше, от него нет шума, — сказал он.

Она рассмеялась и смеялась, пока не заметила синяки у него на плечах. Она прикоснулась к ним с любопытством, с каким-то странным уважением — как дети трогают мертвую птицу.

Закутавшись, в плащ, она взяла корзину и пошла за покупками. Лейзер оделся, побрился с холодной водой, разглядывая свое осунувшееся лицо в кривом зеркале над умывальником. Девушка вернулась около полудня и казалась озабоченной.

— В городе полно солдат. И военные грузовики. Что им здесь надо?

— Может, ищут кого-то.

— Они просто сидят, пьют пиво.

— Какие солдаты?

— Не знаю какие. Русские. Откуда мне знать?

Он пошел к двери:

— Вернусь через час.

Она сказала:

— Ты хочешь удрать от меня.

Взяла его за локоть и стала глядеть на него, готовясь устроить сцену.

— Я вернусь. Может, приду позже. Может, вечером. Но если приду…

— Да?

— Это будет опасно для тебя. Я должен буду… кое-что сделать здесь. Опасное.

Она поцеловала его, просто и с легкостью.

— Я люблю опасность, — сказала она.

* * *

— В четыре часа, — сказал Джонсон, — если он еще живой.

— Конечно, он жив, — сердито возразил Эйвери. — Почему вы так говорите?

Холдейн вмешался:

— Не будьте ослом, Эйвери. Это технический термин. Мертвые или живые агенты. С его физическим состоянием ничего общего не имеет.

Леклерк легонько барабанил пальцами по столу.

— Все с ним будет в порядке, — сказал он. — Фреда убить не просто. У него большой опыт. — Дневной свет явно взбодрил его. Он взглянул на

часы. — Что случилось с тем курьером, хотел бы я знать.

* * *

Лейзер щурился, глядя на солдат, будто вышел на солнце из темноты. Они заполнили кафе, разглядывали витрины, девушек. На площади стояли грузовики, колеса их были покрыты толстым слоем красной грязи, капоты припорошены снегом. Он стал считать — их оказалось девять. У некоторых сзади были тяжелые крюки для прицепов, у других на помятых дверцах было что-то написано по-русски или стояли какие-то цифры и обозначения. На обмундировании водителей он заметил знаки различия одного цвета с погонами — стало ясно, что водители из разных частей.

Вернувшись на главную улицу, он протолкнулся к кафе и попросил пива. Полдюжины солдат с печальным видом сидели за одним столом, на котором стояло всего три бутылки. Лейзер улыбнулся им — такой подбадривающей улыбкой улыбается уставшая проститутка. Он отдал им честь, как положено в Советской Армии, и они посмотрели на него как на сумасшедшего. Он оставил кружку недопитой и пошел опять на площадь, где стайка детей собралась вокруг

грузовиков. Водители уговаривали их разойтись.

Он обошел город, зашел в дюжину кафе, но никто с ним не заговаривал, потому что он не был знаком ни с кем. Везде сидели или стояли группами солдаты, они выглядели смущенными, будто догадывались, что их пригнали сюда без всякой цели.

Он поел сосисок и выпил немного «Штайнхегера», потом пошел на станцию поглядеть, что делалось там. Из-за своего окошка за ним наблюдал тот же самый человек, на этот раз без подозрительности, и все-таки Лейзер понял, хотя это ничего не меняло, что он-то и доложил о нем в полицию.

Возвращаясь со станции, он проходил мимо кино. Несколько девушек собрались у рекламных фотографий, он подошел и встал рядом с ними, сделав вид, что тоже разглядывает снимки. Тут возник какой-то тяжелый неровный гул, улица наполнилась гудками, грохотом двигателей, железа и войны. Лейзер отступил в фойе и увидел, как девушки повернулись и кассирша поднялась со стула в своей будке. Старик перекрестился, он был одноглазый и носил шляпу набекрень. Через город катились танки, на них сидели солдаты с автоматами. Орудийные стволы были слишком

длинные, кое-где на них белел снег. Лейзер дождался, когда они пройдут, и быстро пошел через площадь.

— Что они там делают? — спросила она и заглянула ему в глаза. — Ты боишься, — прошептала она, но он покачал головой. — Ты боишься, — повторила она.

— Это я убил мальчишку, — сказал он.

Он подошел к умывальнику и стал изучать свое лицо о той тщательностью, с какой себя разглядывает преступник, услышавший приговор. Она подошла сзади, прижалась к нему и обняла. Он обернулся, схватил ее в охапку и потащил через комнату. Она яростно сопротивлялась, кого-то звала, что-то выкрикивала, проклинала его, прижимала его, мир горел огнем, и жили только двое, они плакали, смеялись, падали, неловкие любовники в неловком триумфе, ничего не существовало, кроме них двоих, в те минуты они оба стремились добрать от жизни чего не успели; в те минуты тьма отступила.

* * *

Джонсон высунулся из окна и осторожно потянул на себя антенну; удостоверившись, что она надежно закреплена, он вперил взгляд в

передатчик, словно гонщик перед стартом, без надобности регулируя приборы. Леклерк смотрел на него с восхищением.

— Великолепная работа, Джонсон. Великолепная работа. Мы должны отблагодарить вас. — Лицо у Леклерка сияло, как будто он только что побрился. В бледном свете он выглядел странно хрупким. — Я считаю, что после следующей передачи нам пора возвращаться в Лондон. — Он рассмеялся. — Нас ведь ждет работа. Сейчас не сезон для отдыха на континенте.

Джонсон будто не слышал. Он поднял руку.

— Осталось тридцать минут, — сказал он, — Скоро я попрошу вас некоторое время не разговаривать, господа. — Он напоминал затейника на детском празднике. — Фред ужасно пунктуален, — громко заметил он.

Леклерк обратился к Эйвери:

— Джон, вы один из тех немногих людей, кому в мирных условиях посчастливилось наблюдать военную операцию. — Видно, ему хотелось поговорить.

— Да. Я вам очень благодарен.

Не за что благодарить. Вы отлично поработали, мы оценили это. Благодарность тут ни при чем. В нашей работе вы добились очень редкого резуль-

тата — вы догадываетесь, что я имею в виду?

Эйвери сказал — нет.

— Вы добились того, что стали нравиться агенту. Обыкновенно — спросите у Эйдриана — отношения между агентом и теми, кто стоит над ними, омрачены подозрениями. Во-первых, он злится на вышестоящих, за то, что они не делают сами эту работу. Он подозревает у них какие-то тайные мотивы, подозревает их в некомпетентности, двойственности. Но мы ведь не Цирк, Джон: мы ведем себя иначе.

Эйвери кивнул:

— Конечно.

«Вы с Эйдрианом сделали больше того. И я хочу, чтобы, если это понадобится нам в будущем, мы бы смогли использовать те же приемы, те же средства, ту же специфику, то есть группу Эйвери-Холдейн. Иначе говоря, — большим и указательным пальцем Леклерк потер переносицу, — опыт вашей работы пойдет нам всем на пользу. Спасибо вам.

Холдейн подошел к печи и, легонько потирая ладони, стал согревать руки.

— Что касается Будапешта, — продолжал Леклерк уже громче, воодушевляясь и вместе с тем желая развеять интимную атмосферу, кото-

рая с угрожающей внезапностью возникла между ними, — там полная реорганизация. Не меньше. Они продвигают танки к границе. В Министерстве говорят о передней стратегии. У руководства это вызывает острый интерес.

Эйвери спросил:

— Больше, чем задачи Мотыля?

— Нет, нет, — сказал Леклерк как бы между прочим. — Все эти отдельные события — лишь части общего целого. В Министерстве отношение к этому очень серьезное. Черточка здесь, черточка там — все надо связать вместе.

— Конечно. — мягко сказал Эйвери. — Мы сами не можем всего охватить. Всей картины нам не увидеть. — Он старался помочь Леклерку. — Нам не видна перспектива.

— Когда вернемся в Лондон, — предложил Леклерк, — давайте пообедаем, Джон, вместе с вашей женой, приходите вдвоем. Я уже думал об этом. Пойдем в мой клуб. Нас отлично накормят, ваша жена будет довольна.

— Вы говорили об этом. Я спрашивал Сару. Мы с удовольствием пойдем. Сейчас у нас как раз живет теща. Она останется с ребенком.

— Я очень рад. Не забудьте.

— Нам будет очень приятно.

— А меня не приглашают? — застенчиво спросил Холдейн.

— Отчего же, Эйдриан. Значит, нас будет четверо. Отлично. — Его голос изменился. — Кстати, землевладельцы жаловались, что тот дом в Оксфорде мы оставили в плачевном состоянии.

— В плачевном состоянии? — сердито повторил Холдейн.

— Видно, мы сильно перегружали электросеть. Часть проводки почти выгорела. Я поручил Вудфорду заняться этим.

— Нам нужен собственный дом, — сказал Эйвери. — Тогда не будет беспокойства.

— Согласен. Я говорил уже с Министром. Нам необходим учебный центр. Он обещал помочь. Он понимает в таких вещах — вы знаете. У них там появилось новое название для наших операций. Операции СДС — по Срочной Добыче Сведений. Он предлагает нам найти и снять дом па шесть месяцев. И готов поговорить в Министерстве финансов об аренде.

— Замечательно, — сказал Эйвери.

— Это может нам очень пригодиться. Хочется оправдать его доверие.

— Конечно.

Потянул ветерок, потом снизу послышались

чьи-то осторожные шаги, и на чердак поднялся человек в дорогом коричневом твидовом пальто с длинноватыми рукавами. Это был Смайли.

Глава 22

Смайли осмотрелся вокруг, поглядел на Джонсона в наушниках, занятого передатчиком, на Эйвери, изучающего план связи через плечо Холдейна, на Леклерка, стоявшего прямо, как солдат, единственного, заметившего его и смотревшего на него с отсутствующим выражением.

— Что вам здесь надо? — наконец спросил Леклерк. — Что вам надо от меня?

— Извините. Меня прислали.

— Нас тоже, — не двигаясь, сказал Холдейн.

В голосе Леклерка прозвучало предостережение:

— Операцией руковожу я. Здесь нет места для ваших людей, Смайли.

У Смайли на лице было только сострадание, а в голосе только то убийственное терпение, без которого невозможно разговаривать с сумасшедшими.

— Меня прислал не Контроль, — сказал он, — а Министерство. Понимаете, там решили напра-

вить меня, и Контроль не возражал. От Министерства был самолет.

— Зачем? — спросил Холдейн. Казалось, Смайли его немного развеселил.

Один за другим они зашевелились, словно пробуждаясь от сна. Джонсон осторожно положил наушники на стол.

— Я слушаю, — сказал Леклерк. — Зачем вас прислали?

— Меня вызвали вчера вечером. — Он хотел показать, что был сбит с толку не меньше их. — Ваша с. Холдейном операция, то, как вы ее проводили, меня восхитило. Как изыскали возможности. Мне показали все досье. Кропотливая работа… Библиотечная копия, оперативное досье, прошитые страницы: прямо как на войне. Поздравляю вас… от души.

— Вам показали досье? Наши досье? — повторил Леклерк. — Вопреки правилам безопасности: это называется межведомственная связь. Вы нарушили закон, Смайли. Да, они с ума сошли! Эйдриан, вы слышали, что сказал Смайли?

Смайли спросил:

— Джонсон, вы сегодня будете вести прием?

— Да, сэр. В двадцать один ноль-ноль.

— Меня удивило, Эйдриан, что имевшиеся у вас

сведения вы посчитали достаточным основанием для проведения такой крупной операции.

— Холдейн тут ни при чем, — резко сказал Леклерк. — Решение принималось коллективно: с одной стороны мы, с другой стороны — Министерство. — Он продолжал другим тоном:

— Мы сейчас будем выходить на связь, а потом я попрошу вас рассказать, я имею право узнать, Смайли, как вам удалось увидеть наши досье. — Таким голосом он говорил на совещаниях, звучно и выразительно. И впервые — именно сейчас — с достоинством.

Смайли сделал пару шагов и остановился в середине комнаты.

— Произошло одно событие, о котором вы не знаете. Лейзер убил человека при пересечении границы. Убил ножом в двух милях отсюда.

Холдейн сказал:

— Это нелепо. Это мог быть и не Лейзер. Убить мог кто-нибудь из тех, которые бегут на запад. Кто угодно.

— Обнаружены следы, ведущие на восток. Пятна крови в домике у озера. Об этом написано во всех восточногерманских газетах. И вчера днем об этом стали говорить у них по радио…

Леклерк почти крикнул:

— Не может быть! Я не верю. Это очередная уловка Контроля.

— Нет, — мягко ответил Смайли. — Вы должны мне поверить. Это правда.

— Они убили Тэйлора, — сказал Леклерк. — Вы забыли об этом?

— Конечно, нет. Но, с другой стороны, ведь мы никогда не узнаем, как он погиб… Был ли он убит… — Он торопливо продолжал:

— Ваше Министерство известило Форин Офис вчера днем. Понимаете, немцы его вот-вот возьмут, тут сомневаться не приходится. Он ведет передачи медленно… очень медленно. За ним охотятся все до одного — полицейские и солдаты. Хотят взять живым. Мы думаем, что они предполагают устроить показательный процесс, добиться от него публичного покаяния, выставить на обозрение передатчик и прочее. Это будет очень неприятно для нас. Не нужно быть политическим деятелем, чтобы понять, что сейчас чувствует Министр. Надо решать, что делать.

Леклерк сказал:

— Джонсон, не пропустите время.

Джонсон нехотя надел наушники.

Казалось, Смайли ждал, что кто-нибудь заговорит, но все молчали, тогда он задумчиво

повторил:

— Надо решать, что делать. Я уже сказал, что мы не политические деятели, но кое-что мы можем себе представить. Итак, значит, группа англичан в сельском доме в двух милях от того места, где было найдено тело убитого, вроде какие-то ученые из Англии, но тут же провиант от фирмы Нэфи и полон дом радиооборудования. Вы следите за моей мыслью? Они ведут передачи, — продолжал он, — на одной частоте… на той частоте, на которой принимает Лейзер… Очень крупный будет скандал. Можно себе представить, что даже западные немцы будут в ярости.

Холдейн снова заговорил первым:

— К чему вы клоните?

— В Гамбурге нас ждет военный самолет. Через два часа все улетают. За оборудованием приедет грузовик. Ничего здесь не оставляйте, даже булавку не забудьте. Такое я получил распоряжение.

Леклерк сказал:

— А как же интересующий нас объект? Что, они там забыли, зачем мы здесь? Слишком много они хотят, Смайли, слишком много.

— Интересующий вас объект… — проговорил Смайли. — Мы устроим совещание в Лондоне. Может быть, организуем совместную операцию.

— Это военный объект. Я буду требовать, чтобы в операции участвовал кто-нибудь от моего Министерства. Вы же знаете наш политический принцип: не допускать монолита.

— Конечно. И вы тогда сможете себя проявить.

— Хорошо, пусть операция будет совместной, но мое Министерство будет самостоятельно решать тактические задачи. По-моему, их должно это устроить. Как вы считаете?

— Да, я думаю, Контроль согласится.

Как бы между прочим Леклерк сказал — сейчас все смотрели на него:

— Нам ведь еще выходить на связь. Кто останется с передатчиком? Все-таки наш агент на задании.

Это был мелкий вопрос.

— Ему придется разбираться самому.

— Как на войне, — гордо произнес Леклерк. — Мы играем по военным правилам. Он знал это. Он прошел отличную подготовку.

Леклерк как будто успокоился, вопрос был решен.

Впервые заговорил Эйвери:

— Неужели вы бросите его там одного? — Голос его был еле слышен.

Леклерк вмешался:

— Это мой помощник Эйвери.

Но теперь Леклерка никто выручать не стал. Не обращая внимания на него, Смайли сказал:

— Его уже, наверно, поймали. Речь идет о нескольких часах.

— Вы бросаете его на гибель! — осмелел Эйвери.

— Мы отказываемся от него. Это, конечно, некрасиво. Но его уже все равно что поймали, разве не ясно?

— Вы не сделаете этого! — воскликнул он. — Нельзя его просто бросить там из-за какой-то паршивой дипломатической причины!

Холдейн в ярости повернулся к Эйвери:

— Уж вам-то не следовало бы жаловаться! Вам нужна была вера, не правда ли? Вам нужна была одиннадцатая заповедь для вашей редкостной души! — Он указал на Смайли и Леклерка. — Вот вы и получили, вот закон, который вы искали. Поздравляю, вы нашли его. Мы послали Лейзера, потому что так было надо, мы бросаем его, потому что должны. Это и есть та дисциплина, которой вы восхищались. — Он повернулся к Смайли. — И вы тоже. Вы достойны презрения. Вы стреляете в нас, потом читаете проповеди умирающим. Убирайтесь. Мы — технические специалисты, мы

не поэты. Убирайтесь!

— Да, — сказал Смайли, — вы очень хороший технический специалист, Эйдриан. В вас уже не осталось боли. Техника для вас — жизненный принцип… как у проститутки… техника вместо любви. — Он замялся. — Вспомните праздник победы, флаги… новая война зарождается в старой. Все это уже было, верно? А человек ваш… просто отчаянный. Успокойтесь, Эйдриан, вас бы все равно не послали по здоровью. — Он выпрямил спину и продолжал другим тоном:

— Получивший британское подданство поляк с уголовным прошлым бежит через границу в Восточную Германию. Договора о выдаче преступников нет. Немцы скажут, что он шпион, что доказательство тому — передатчик. Мы скажем, передатчик ему подсунули, и вообще мы такие уже двадцать пять лет не выпускаем. Насколько мне известно, он распустил слух, что отправляется на курсы в Ковентри. Это легко опровергнуть: никаких курсов нам нет. Итак, он предполагал бежать из нашей страны, мы также дадим понять, что он был по уши в долгах. У него была девушка, как вы знаете, она работала в банке. Все это отлично увязывается с уголовным прошлым, поскольку нам предстоит его придумать… — Он

покачал головой. — Как я говорил, все это, конечно, некрасиво. Но к тому времени мы все уже будем в Лондоне.

— А он будет вести передачу, — сказал Эйвери, — и никто не будет на приеме.

— Как раз наоборот, — язвительно возразил Смайли, — на приеме будут они.

— И, без сомнения, Контроль, — сказал Холдейн. — Верно?

— Прекратите! — вдруг воскликнул Эйвери. — Ради Бога, прекратите! Если хоть что-нибудь для вас имеет значение, мы должны сейчас выйти на прием! Во имя…

— Ну? — с ухмылкой спросил Холдейн.

— Любви. Да, любви! Не вашей, Холдейн, а моей. Смайли прав! Вы заставили меня сделать это для вас, заставили меня полюбить его! В вас уже любви не было! Я привел его к вам, мы жили с ним в вашем доме, я заставлял его плясать под дудку вашей поганой войны! Я играл для него на дудке, но больше дыхания у меня не осталось. Если я нанятый вами волшебник, Холдейн, то это моя последняя жертва, последняя любовь, больше я дудеть в вашу дуду не смогу.

Холдейн смотрел на Смайли.

— Поздравьте Контроля от меня, — сказал он. —

Передайте ему мое спасибо, ладно? Спасибо ему за поддержку, за техническую поддержку, Смайли; за добрые пожелания, спасибо ему за веревку, которую он нам прислал, чтобы мы повесились. Спасибо за хорошие слова: за то, что прислал вас с цветами. Отличная работа.

Речь Холдейна показалась Леклерку слишком грубой.

— Эйдриан, давайте не будем так суровы со Смайли. Он всего лишь делает свою работу. Нам всем надо возвращаться в Лондон. Потом у нас донесение Филдена… Мне хочется показать его вам, Смайли. Расположение войск в Венгрии: кое-что новое.

— Я с удовольствием посмотрю», — вежливо сказал Смайли.

— Знаете, Эйвери, он прав, — со значением повторил Леклерк. — Будьте солдатом. Это превратности войны, надо придерживаться правил игры! Здесь мы играем по военным правилам. Смайли, я должен перед вами извиниться. И боюсь, перед Контролем тоже. Я думал, что наше прежнее соперничество еще живо. Я ошибался. — Он склонил голову. — Я хочу пригласить вас пообедать со мной в Лондоне. Мой клуб не соответствует вашим запросам, я знаю, но там тихо;

хорошее общество. Очень хорошее. И Холдейн должен быть. Эйдриан, я приглашаю вас!

Эйвери закрыл лицо руками.

— Вот что я бы еще хотел обсудить с вами, Эйдриан, — Смайли, вы не будете возражать, я уверен, ведь практически вы член нашей семьи — вопрос о секторе регистрации. Система библиотечных досье уже устарела. Как раз перед отъездом я говорил с Брюсом. Несчастная мисс Кортни едва поспевает. Боюсь, что нам придется делать больше копий… первый экземпляр — ответственному офицеру, копии для информации. Сейчас в продаже появилась новая копировальная машина, делает дешевые отпечатки по три с половиной пенса за штуку, что вовсе не так дорого в наше трудное время… Я должен поговорить кое с кем об этом… в Министерстве… от стоящей вещи там не станут отказываться. Может быть… — Он замолчал. — Джонсон, нельзя ли делать поменьше шума? Мы пока еще оперативный Департамент, как вам известно. — Он говорил, как человек, который не забывает о своем облике и профессиональных традициях.

Джонсон направился к окну. Опершись о подоконник, он высунулся наружу и с привычной тщательностью начал свертывать антенну, на-

кручивая ее на катушку, которую держал в левой руке. При этом он осторожно поворачивал бобину, как старушка — моток с шерстью. Эйвери всхлипывал как ребенок. Никто на него не обращал внимания.

Глава 23

Зеленый фургон медленно пересек привокзальную площадь с высохшим фонтаном. Небольшая радарная антенна на крыше автомобиля настороженно поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Позади, на достаточном расстоянии, ехали два грузовика. Наконец пошел настоящий снег. Они двигались след в след, с включенными габаритными огнями, с интервалом в двадцать ярдов.

Капитан сидел в фургоне сзади, у него было переговорное устройство, соединяющее его с водителем, рядом с капитаном дремал сержант, погруженный в интимные воспоминания. У радиоприемника скрючился капрал — перед ним на небольшом экране дрожала линия, и он беспрестанно крутил ручку настройки.

— Передача прекратилась, — вдруг сказал он.

— Сколько групп ты записал? — спросил сер-

жант.

— Двенадцать. То и дело повторяется позывной, затем начало радиограммы. По-моему, ему не отвечают.

— Группы по пять или по четыре?

— По четыре, как и было.

— Он прекратил передачу?

— Нет.

— На какой частоте он?

— Три тысячи шестьсот пятьдесят.

— Продолжай поиск. На двести влево и вправо.

— Там ничего нет.

— Давай ищи, — резко сказал он. — По всему диапазону. Он меняет кварц. Через несколько минут опять начнет.

Радист стал медленно поворачивать большую круглую ручку, следя за зеленым глазком в середине аппарата, который то вспыхивал, то гас, нащупывая одну станцию за другой.

— Вот он. Три тысячи восемьсот семьдесят. Другой позывной, но та же рука. Быстрее, чем вчера, лучше.

У него под боком однообразно вращались магнитофонные бобины.

— Он работает на сменных кварцах, — сказал сержант. — Как на войне. Старый трюк. — Он был

смущен — пожилой человек, которому напомнили о его прошлом.

Капрал медленно поднял голову.

— Вот оно, — сказал он. — В самое очко. Он где-то здесь.

Двое тихо вылезли из фургона.

— Оставайтесь на месте, — сказал сержант капралу. — Продолжай прослушивание. Если радиосигнал пропадет, даже на секунду, пусть шофер мигнет дальним светом, понял?

— Я тогда скажу ему. — Капрал казался напуганным.

— Если передача совсем прекратится, все равно продолжай искать и дай мне знать.

— Повнимательней, — предупредил капитан, вылезая из фургона. Сержант ждал с нетерпением. У него за спиной на пустыре виднелось высокое здание.

Поодаль, сквозь падающий снег, можно было различить несколько рядов мелких домишек. Стояла полная тишина.

— Как называется это место? — спросил капитан.

— Это новый рабочий квартал, еще никак не назвали.

— А дальше?

— Ничего там нет. Пошли, — сказал сержант.

Почти все окна светились бледным светом, в доме было семь этажей. Густо усыпанные опавшей листвой каменные ступеньки вели в подвал. Первым спустился сержант, направляя луч ручного фонаря на осыпающиеся стены. Капитан споткнулся и чуть не упал. Первое помещение было большое и душное, с кирпичными стенами, наполовину покрытыми первым слоем штукатурки. В глубине виднелись две железные двери. На потолке горела лампочка в проволочной сетке. Сержант не выключил свой фонарь и непонятно зачем светил им по углам.

— Чего ты там ищешь? — спросил капитан.

Железные двери были заперты.

— Найди дворника, — приказал сержант. — Быстро.

Капитан побежал наверх и вскоре привел небритого ворчащего старика со связкой больших ключей на цепочке. Некоторые из них были ржавые.

— Рубильник, — сказал сержант, — от всего здания. Где?

Старик начал перебирать ключи. Потом вставил один в замочную скважину, но тот не подошел, тогда он попробовал другой ключ и третий.

— Быстрее, старый дурак! — крикнул на него капитан.

— Не дергайте его, — сказал сержант.

Дверь открылась. Они вошли в коридор, их ручные фонари осветили побелку стен. Дворник поднял вверх руку с ключом.

— Отпирает всегда последний, — сказал он. Сержант нашел на стене то, что искал, — ящик со стеклянным оконцем прятался позади раскрытой двери. Капитан взялся за основной рубильник, уже было потянул его вниз, как вдруг сержант грубо оттолкнул его в сторону.

— Нет! Идите наверх, будете говорить мне, когда шофер посветит фарами.

— Кто здесь командует? — попытался возразить капитан.

— Делайте, как я сказал.

Он открыл электрощит и осторожно взялся за первую пробку, щуря глаза за очками в золотой оправе, — спокойный на вид человек.

Осторожно, будто боясь удара током, сержант тонким, как у хирурга, пальцами вывернул пробку, потом сразу завернул ее обратно, оглянувшись на того, кто стоял на верхней ступеньке у входа в подвал. Затем он так же поступил со второй пробкой, и по-прежнему капитан ничего не ска-

зал. На улице неподвижные солдаты наблюдали за окнами дома, они видели, как на одном этаже за другим пропадал свет и быстро загорался снова. Сержант выкрутил еще одну пробку, затем четвертую, я тут услыхал возбужденный крик с улицы: «Фары! Он сигналит фарами!»

— Тише! Идите спросите у водителя, какой этаж. Но тихо.

— Из-за этого ветра нас никто не услышит, — раздраженно ответил капитан. Через несколько секунд он вернулся. — Шофер говорит, четвертый. На четвертом этаже вырубился свет, и тут же прекратилась передача. А теперь опять пошла.

— Расставьте людей вокруг дома, — сказал сержант. — И возьмите пять человек: они пойдут с нами. Он на четвертом этаже.

Бесшумно, как настороженные звери, фопо с карабинами в руках высыпали из двух крытых грузовиков и двинулись к дому разорванной линией, оставляя на тонком снегу черные следы. Несколько фопо приблизились к дому вплотную, другие остановились поодаль, вглядываясь в окна. На некоторых были каски, и их фигуры напоминали о войне. То здесь, то там послышались щелчки затворов, превратившиеся в сплошной слабый гул, который скоро замер.

* * *

Лейзер отсоединил антенну, намотал ее обратно на бобину, прикрутил ключ Морзе к крышке, положил наушники в коробку для мелких деталей и запихнул клочок шелка в ручку бритвы.

— За двадцать лет, — возмущенно проговорил он, держа перед собой бритву, — не могли найти места получше.

— Зачем ты занимаешься этим?

Она сидела с довольным видом в ночной рубашке и плаще, который был как будто ее неотъемлемой частью.

— С кем ты разговариваешь? — опять спросила она.

— Ни с кем. Меня никто не слышал.

— И все-таки зачем ты занимаешься этим?

Надо было что-то сказать, и он сказал:

— Чтобы был мир.

Он надел куртку, подошел к окну и выглянул. На крышах лежал снег. Со злобной силой дул ветер. Он посмотрел вниз, туда, где замерли фигуры людей.

— Мир для кого? — спросила она.

— Послушай, кажется, погас свет, когда я работал с передатчиком?

— Разве?

— Всего на секунду-другую, как когда выключают электричество?

— Да.

— Выключи свет. — Он стоял совершенно неподвижно. — Выключи свет.

— Зачем?

— Я люблю смотреть на снег.

Она выключила свет, и он раздвинул потертые занавески. Снег светился бледным светом. В комнате был полумрак.

— Ты сказал, что мы еще будем заниматься любовью, — жалобно сказала она.

— Послушай, как тебя зовут?

Он услышал шорох плаща.

— Так как тебя зовут? — жестко спросил он.

— Анна.

— Послушай, Анна. — Он подошел к постели. — Я хочу на тебе жениться, — сказал он. — Когда я встретил тебя в той гостинице, увидел, как ты сидела, слушала пластинки, я влюбился в тебя, понимаешь? Я инженер из Магдебурга, я так тебе сказал. Ты меня слушаешь?

Он крепко взял ее за руки и встряхнул. Он говорил торопливо.

— Ты увезешь меня с собой, — сказала она.

— Именно так! Я сказал, что мы будем любить друг друга, что поедем куда захочешь, в любое место, о котором ты могла только мечтать, понимаешь? — Он указал рукой на плакаты на стене. — На всякие острова, где много солнца…

— Зачем? — прошептала она.

— Мы пришли с тобой сюда. Ты думала, что мы будем заниматься любовью, а вместо этого я вытащил нож и приставил его тебе к горлу. Я сказал, что если ты пикнешь, то прирежу тебя этим самым ножом, как… как того парня. Я тебе говорил, что зарезал одного парня.

— Зачем?

— Мне нужно было поработать с передатчиком. В какой-нибудь квартире, понимаешь? Все равно в какой. Мне было некуда идти. Я познакомился с тобой и использовал тебя. Вот как все было, если тебя спросят, вот что ты должна говорить.

Она рассмеялась. Ей было страшно. Она неуверенно легла, приглашая и его, будто он желал этого сейчас.

— Если спросят тебя, помни, что я сказал.

— Я хочу, чтобы ты сделал меня счастливой. Я люблю тебя.

Она обхватила его голову обеими руками и прижала к себе. Губы у нее были холодные, мокрые

и тонкие, а зубки — остренькие. Он отстранился, но она продолжала обнимать его. Он напрягал слух, но, кроме ветра, никаких звуков различить не мог.

— Давая немного поговорим, — сказал он. — Ты одинока, Анна? Есть у тебя кто?

— Ты о чем?

— Ну там, родители, парень. Кто-нибудь.

Она отрицательно покачала головой:

— Только ты.

— Послушай, давай застегнем пуговицы на твоем плаще. Мне прежде хочется поговорить. Я тебе расскажу про Лондон. Ты наверняка хочешь послушать про Лондон. Как-то раз я прогуливался по набережной, шел дождь, и там какой-то человек рисовал на тротуаре. Ты подумай! Рисовал мелом под дождем, а дождь сразу все смывал.

— Ну иди ко мне.

— Знаешь, что он рисовал? Просто собак, дома, всякое такое. И людей, Анна… Ты попробуй себе представить! Вот так стоять под дождем и смотреть, как он рисует.

— Я хочу тебя. Обними меня. Мне страшно.

— Слушай! Знаешь, почему я прогуливался? От меня требовали, чтобы я переспал с одной девушкой. И за этим послали в Лондон. А я вместо

этого прогуливался.

Ее глаза блестели в темноте: она понимала то, что он говорил, как-то по-своему, но как — ему было непонятно.

— Ты тоже одинок?

— Да.

— Зачем ты приехал?

— Знаешь, эти англичане — такие чудаки! Как тот старик на набережной. Они думают, что Темза — самая большая река в мире. Ну что на это скажешь? А на самом деле — просто грязная речушка, в некоторых местах ее можно перепрыгнуть! Что это за звук? — вдруг сказал он. — Я знаю, что это! Это пистолет, это щелкнул пистолет! — Он крепко обнял ее, чтобы она перестала дрожать. — Нет, это дверь, — сказал он, — дверная защелка. У вас в доме картонные стены. Но вообще, когда такой сильный ветер, разве можно услышать хоть что-то?

За дверью скрипнула половица. В ужасе она ударила его, плащ на ней раскрылся. Когда они вошли, к ее горлу был приставлен нож. Лезвие — строго параллельно земле, большой палец — сверху. Лейзер стоял очень прямо, повернув к девушке ничего не выражающее лицо, подчиненное какой-то внутренней дисциплине, — человек,

который никогда не забывает о своем облике и профессиональных традициях.

* * *

Сельский дом замер и погрузился в темноту. Над ним бежали облака, рядом раскачивались лиственницы.

То и дело хлопали незапертые ставни на одном из окон. Кружился снег. Они ушли, ничего не оставив за собой, кроме следов на замерзающей земле, куска проволоки и свиста бессонного северного ветра.

В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ

В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ

РОМАН



Пролог
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ И ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ

Пятница. Вечер

Десять минут до полуночи; май, страстная пятница; призрачная дымка с реки обволакивает площадь. Бонн в этот час похож на какой-то балканский город, безликий и таинственный, опутанный трамвайными проводами. Он похож на дом, где кто-то умер, дом в траурных полотнищах, как это принято у католиков, охраняемый полицейскими. Их кожаные пальто блестят в лучах фонарей, черные флаги трепещут над головами, как крылья птиц. И кажется, будто все, кроме них, услышали сигнал тревоги и покинули город. Порой пронесется машина, торопливо пробежит пешеход. За ними по пятам идет тишина. Где-то вдалеке прогрохочет трамвай. В лавке бакалейщика с пирамиды консервных банок взывает написанное от руки объявление: «Покупайте у нас не откладывая!» На марципановых крошках пасутся марципановые свинки, похожие на голых мышей, — напоминание о забытом Дне всех святых.

Только лозунги не молчат. Они ведут свою бесплодную войну на фонарях и деревьях, прибитые все на одном уровне, словно по предписанию.

Лозунги отпечатаны люминесцентными красками, наклеены на картон и украшены вымпелами из черной материи. Как живые, они шевелятся перед его глазами. Он спешит мимо. «Верните иностранных рабочих на родину!», «Долой продажный Бонн!». Самый длинный лозунг на высоких шестах протянут через всю улицу, выше остальных: «Откройте путь на Восток! Дорога на Запад завела в тупик!»

Его темные глаза, не останавливаясь, скользят по буквам. Полицейский, постукивая ногой о ногу, скорчил забавную гримасу, горько подшучивая над погодой; другой окликнул его, но как-то неуверенно. Еще один сказал «добрый вечер!», но он не ответил. Его ничто не интересовало, кроме плотного мужчины шагах в ста впереди, который торопливо двигался по широкой улице, то исчезая в тени черного флага, то вновь появляясь, будто выхваченный из темноты масляным светом фонаря.

Ночь опустилась без торжественных приготовлений, так же как ушел серый день, но морозный мрак был звонок, пахло зимой.

В Бонне почти не существует времен года: климат ощущается только внутри помещений — тепловатый и бесцветный, как вода в бутылке, климат головной боли, климат ожидания, горький на вкус, вызванный к жизни медленно текущей рекой, климат усталости и худосочия. Воздух здесь — всего лишь обессилевший ветер, упавший на равнину, а сумерки, когда они приходят, — лишь сгущенный до темноты дневной туман, свечение люминесцентных фонарей на унылых улицах. Но в эту весеннюю ночь снова вернулась зима. Она прокралась вверх по Рейну под предательским покровом темноты, обожгла пронзительным и неожиданным холодком и заставила пешеходов идти быстрее.

Глаза того, что был меньше ростом, напряженно вглядывавшиеся в темноту, слезились от холода.

Улица повернула и повела их мимо желтых стен университета. «Демократы! Барона прессы на виселицу!», «Мир принадлежит молодым!», «Пусть последыши английских лордов просят подаяние!», «Акселя Шпрингера — на виселицу!», «Да здравствует Аксель Шпрингер!», «Протест — это свобода!». Эти лозунги были напечатаны студентами вручную с деревянных колодок. Кро-

ны деревьев сверкали над ними грудой осколков зеленого стекла. Освещение здесь было ярче, полицейских — меньше. Оба пешехода продолжали идти вперед, не убыстряя и не замедляя шага. Первый шел деловито, даже озабоченно. Походка его, хотя и быстрая, казалась неловкой и какой-то нарочитой — походка немецкого бюргера, исполненного сознания собственного достоинства и внезапно сошедшего с привычных высот. Он шел выпрямившись и часто энергично взмахивал руками. Знал ли он, что его преследуют? Голову он держал высоко, как человек, облеченный властью, но власть была ему не к лицу. Притягивало ли его нечто увиденное впереди или гнало вперед что-то оставленное позади? Быть может, страх не давал ему обернуться? Но человек с положением не вертит зря головой. Второй легко шел по его следу, невесомый в темноте, скользя сквозь тени, точно сквозь сети, как шут, который, крадучись, подстерегает придворного. Они вошли в узкий проулок. Здесь пахло прокисшей едой. И снова стены взывали к ним, на этот раз традиционно немецкой рекламой: «Сильные люди пьют пиво!», «Знание — сила. Читайте книги издательства Мольден!». И здесь впервые их шаги зазвучали в унисон, исключая возможность

случайного совпадения, бросая вызов. Здесь тот, что впереди, по-видимому, вдруг почуял сзади опасность. Всего лишь мгновенная заминка, нарушение четкого ритма его величественного движения, но она привела его к краю тротуара, куда не достигали тени домов. И он как бы почувствовал себя увереннее здесь, на свету, в лучах фонарей и под защитой полицейских. Однако его преследователь не отступал. «Приезжайте на встречу в Ганновере!» — вопил плакат. «Карфельд выступит в Ганновере!», «Приезжайте в Ганновер в воскресенье!».

Промчался пустой трамвай с защитной сеткой на окнах. Послышались монотонные удары одинокого колокола, призыв к христианской добродетели в пустом городе.

Теперь они снова шли вперед, но уже ближе один к другому, однако первый по-прежнему. не оборачивался. Завернули за угол. Перед ними на фоне пустого неба, точно вырезанный из металла, возник шпиль собора. Мало-помалу, будто с неохотой, зазвонили и другие колокола, и вот уже по всему городу разнесся нестройный колокольный разнобой. Благовест? Или воздушный налет? Молодой полицейский в дверях спортивного магазина обнажил голову. У входа в

собор в красной стеклянной чаше горела свеча; к собору примыкала лавка, в которой продавались церковные книги. Плотный мужчина замедлил шаг, наклонился, будто рассматривая что-то в витрине лавки, и оглянулся назад, на мостовую. Свет витрины выхватил из темноты его лицо. Преследователь побежал, остановился, снова побежал, но было уже поздно.

Появился лимузин «опель-рекорд». За рулем — бледный человек, неясно различимая фигура за матовыми стеклами боковых окон. Задняя дверца отворилась и снова захлопнулась. Тяжелая машина набрала скорость, и безответным остался крик — крик ярости, обвинения, утраты и безысходной горечи; словно против воли вырванный из груди, он внезапно разнесся над пустынной улицей и так же внезапно стих. Полицейский поглядел по сторонам, зажег свой фонарик. Его лучи осветили фигуру невысокого человека, который стоял неподвижно, глядя вслед лимузину. Подпрыгивая на булыжной мостовой, скользя на мокрых трамвайных рельсах, лимузин промчался на красный сигнал светофора и скрылся в западном направлении, где на холмах мерцали огни.

— Кто вы такой?

Луч фонаря осветил пальто из английского тви-

да, слишком мохнатое для такого малорослого человека, модные, элегантные, забрызганные грязью ботинки, темные, немигающие глаза.

— Кто вы такой? — громче повторил полицейский, так как колокола звонили теперь повсюду, нагоняя безотчетную тревогу.

Небольшая узкая рука исчезла в складках пальто и вынырнула с кожаной книжечкой. Полицейский взял книжечку, отстегнул застежку, стараясь не выронить фонарь и черный пистолет, который он неумело сжимал в левой руке.

— В чем дело? — спросил полицейский. — Почему вы кричали?

Невысокий не ответил и сделал несколько шагов по тротуару.

— Вы никогда раньше не видели его? — спросил он, глядя вслед уехавшей машине. — Не знаете, кто он такой? — Он говорил негромко, как говорят, когда рядом спят дети, — осторожный голос, уважающий тишину.

— Нет.

На худощавом, в резких складках лице появилась успокаивающая улыбка.

— Простите, я ошибся: мне показалось, что я его узнал.

Его немецкое произношение было не совсем

немецким, но английский акцент — не до конца английским: какая-то ничья земля между немецким и английским, особый, тщательно отработанный выговор. Казалось, если слушателю акцент не понравится, он может подвинуть его в ту или другую сторону.

Такая погода, — продолжал он, явно желая завязать разговор. — Внезапное похолодание, невольно как-то внимательнее приглядываешься к людям. — Он открыл коробочку с тонкими голландскими сигарами и предложил полицейскому закурить. Полицейский отказался, и он закурил сам.

— Это все беспорядки, — медленно проговорил полицейский. — Флаги, лозунги. Все мы нервничаем. На этой неделе — Ганновер. На прошлой — Франкфурт. Нарушается привычный порядок вещей. — Полицейский был молод и получил специальное образование. — Нужно побольше им запрещать, как коммунистам, — добавил он, повторяя привычную формулу.

Он небрежно козырнул на прощанье. Незнакомец улыбнулся еще раз. Улыбка выражала симпатию, быть может, даже намек на дружеские чувства, просьбу о сообщничестве. Она погасла медленно, не сразу. Потом он ушел. Не двигаясь

с места, полицейский внимательно прислушивался к удаляющимся шагам. Вот они стихли, вот послышались снова, стали быстрее и — или это ему показалось? — увереннее. Минуту он раздумывал.

В Бонне, подумал он про себя, подавляя вздох и вспоминая легкие шаги незнакомца, даже мухи могут занимать официальное положение. Вынув блокнот, он тщательно записал происшествие, его время и место. Он принадлежал к тугодумам, но пользовался репутацией человека обстоятельного и дотошного. Кончив записывать, он добавил еще и номер машины, случайно ему запомнившийся. Внезапно он перестал писать и молча пробежал глазами написанное — фамилию мужчины и номер машины. Он вспомнил того, плотного человека, его широкий по-военному шаг, и сердце у него забилось. Он вспомнил секретную инструкцию, с которой его знакомили в полицейском участке, и маленькую выцветшую фотографию, сделанную много лет назад. И, забыв спрятать блокнот, полицейский опрометью бросился к телефонной будке.

В Германии в Германии
в немецком городке

жил-поживал сапожник
герр Шуман звался он
Я — славный музыкант
умру за Фатерланд
Имел он барабан
и барабанил в тон

(Застольная песня, которую пели английские военнослужащие во всех солдатских столовых в оккупированной Германии на мотив военного марша и с прибавлением непристойных вариантов)

1
МЕДОУЗ И КОРК

Суббота

— Почему бы вам не пойти пешком? Будь я в вашем возрасте, я бы давно так поступил, а не мучался бы в этой толчее.

— Все обойдется, — ответил шифровальщик Корк, молодой человек с глазами альбиноса, и тревожно посмотрел на своего старшего спутника, сидевшего рядом за рулем. — Просто давайте спешить медленно, — добавил он успокаивающе. Корк был кокни, рыжий, как охра; его огорчало, что Медоуз так взволнован. — Пусть все идет своим чередом, верно, Артур?

— Я бы охотно сбросил всю эту чертову свору в Рейн.

— Оставьте, сами знаете, что вы это только так.

Была суббота, девять часов утра. Дорога из Фрисдорфа в посольство была забита машинами, почти все они негодующе сигналили; вдоль мостовой выстроились в шеренгу огромные портреты лидера Движения. Поперек улицы,

над домами, как на митинге, висели полотнища лозунгов: «Запад обманул нас. Немцы, отбросьте стыд. Повернитесь на Восток», «Долой культуру кока-колы!». В середине длинной колонны машина Корка и Медоуза хранила молчание среди нарастающего рева автомобильных клаксонов. Иногда этот рев катился волнами, начинаясь где-то впереди и медленно нарастая по мере приближения к хвосту колонны; он проносился над их головами, как гудение самолета в небе, иногда клаксоны звучали в унисон: тире — точка — тире — буква К — Карфельд, наш избранник и вождь! А иногда, беспорядочные и непрерывные, они сливались в какую-то симфонию.

— Какого черта им нужно? Чего они вопят? Половину из них надо было бы сначала послать в парикмахерскую, потом выпороть хорошенько, а потом — марш назад в школу!

— Это крестьяне, — сказал Корк. — Я же вам говорил, они пикетируют бундестаг.

— Крестьяне? Вот эти ребята? Да они все заболеют и умрут, если промочат ножки, Дети! Посмотрите туда. Все это отвратительно. Не нахожу другого слова.

Справа от них в красном «фольксвагене» сидели трое студентов — двое юношей и девушка.

Водитель был в кожаной куртке, длинные волосы свисали почти до плеч. Он неотрывно смотрел в ветровое стекло на машину впереди, тонкая рука, спокойно лежавшая на рулевом колесе, готовилась нажать гудок. Девушка и второй юноша целовались.

— Это все статисты, — сказал Корк. — Для них это просто забава. Вы знаете лозунг студентов: «Настоящая свобода лишь та, которую ты сам завоюешь». Ничего нового. У нас в Англии происходит то же самое. Читали, что они вчера устроили на Гросвенор-сквер? — Корк снова пытался переменить тему разговора. — Если это называется образованием, я — за невежество.

Но Медоуз не давал себя отвлечь.

— Им нужна воинская повинность. Это приведет их в чувство, — сказал он, глядя на «фольксваген».

— Она у них есть. Уже лет двадцать, если не больше.

Почувствовав, что Медоуз готов оставить эту тему, Корк заговорил о том, что не могло не интересовать его спутника.

— Ну, как прошел день рождения Майры? Весело было? Надеюсь, она хорошо провела время?

По какой-то причине этот вопрос только ухуд-

шил настроение Медоуза, и Корк решил, что лучше всего в таком случае просто помолчать. Он перепробовал все, что мог, — безрезультатно. Медоуз неплохой старикан, слегка чокнутый на почве религии. Теперь таких уже больше не делают, и, конечно, он стоит того, чтобы потратить на него время, но есть предел и сыновней преданности Корка. Он начал с нового «ровера», который Медоуз купил, готовясь уйти в отставку, с десятипроцентной скидкой, по себестоимости. Корк до посинения восхищался его формой, удобством, отделкой. Наградой же ему было лишь ворчанье. Он попробовал заговорить об Автоклубе для иностранцев — Медоуз этот клуб горячо поддерживал, — потом о спортивном празднике для детей персонала посольств стран Содружества, который устраивают сегодня днем в посольском саду. И вот теперь еще одна тема — вечеринка, где они не были из-за того, что Джейнет должна вот-вот родить. Но других блюд в меню у Корка нет, и больше ему нечего предложить Медоузу. Старику нужен отдых, решил Корк, длительный отдых на солнышке, подальше от Карфельда и брюссельских переговоров, подальше — да, подальше от его дочери Майры, иначе Артур Медоуз наверняка свихнется.

— Слыхали, — Корк сделал последнюю попытку, — акции «Шелла» поднялись еще на один шиллинг.

— А «Гест-Кина» упали на три.

Корк решительно избегал вкладывать деньги в английские предприятия, но Медоуз из чувства патриотизма предпочитал идти на риск.

— Снова поднимутся после Брюсселя, не волнуйтесь.

— Кого вы пытаетесь обмануть? Переговоры, можно считать, уже провалились, разве не так? Возможно, я не столь проницателен, как вы, но по-печатному читать и я умею.

У Медоуза — Корк первый признал бы это — были все основания для плохого настроения и без покупки акций британской стальной компании. Он приехал сюда прямо из Варшавы, где пробыл почти без перерыва четыре года, и уже одного этого вполне достаточно, чтобы испортить себе нервы. Он дорабатывал последние месяцы и должен был в августе уйти на пенсию, а по наблюдениям Корка, в таких случаях старики чем ближе к пенсии, тем больше дуреют. Не говоря уже о том, что Майра, его дочь, — явная психопатка; правда, она как будто уже поправляется, но, если хоть половина того, что о ней рассказывают,

правда, до выздоровления еще далеко.

Добавьте к этому обязанности заведующего архивом и канцелярией — другими словами, человека, ответственного за политические документы в период самого острого на памяти всех кризиса, — и вы получите более чем полное представление о положении вещей. Даже он, Корк, запрятанный в своем шифровальном отделе, и то чувствовал, какие ветры дуют. Еще бы: все эти дополнительные рейсы диппочты, сверхурочные, и Джейнет, которая вот-вот родит, и работенка, которуютащат к нему все советники по очереди и требуют, чтобы она была готова вчера. А уж если так достается ему, то можно себе представить, каково приходится старику Артуру. Беда в том, что заботы валятся со всех сторон — это и добивает, думал Корк. Никогда не знаешь, что случится через час. Только что отправил срочный ответ по поводу бременских беспорядков или завтрашнего спектакля в Ганновере, как на тебя валятся новые телеграммы о валютной лихорадке, или о Брюсселе, или о том, что создается фонд в несколько миллионов где-нибудь во Франкфурте или в Цюрихе. Если трудно приходится шифровальщикам, то что уж говорить про тех, кто должен отыскивать в делах документы, отмечать недостающие,

регистрировать входящие и передавать их исполнителям. Это почему-то напомнило ему, что надо позвонить консультанту-бухгалтеру. Если рабочий фронт на заводах Круппа будет и дальше действовать таким образом, может быть, стоит приглядеться к шведской стали — мелочишка для будущего малыша…

— Эй! — Корк сразу повеселел. — Кажется, предстоит небольшая потасовка.

Двое полицейских остановились на краю тротуара и стали что-то втолковывать крупному мужчине в «мерседес-дизеле». Сначала он опустил стекло и заорал на них, потом отворил дверцу и снова стал кричать. Внезапно блюстители порядка ушли. Корк разочарованно зевнул.

В прежние времена, с тоской подумал Корк, кризисы наступали по очереди. Скажем, вопили о Берлинском коридоре: мол, русские вертолеты висят у самой границы, — и это вызывало дебаты в специальном комитете четырех держав в Вашингтоне. Или затевалась интрига: есть предположение, что немцы намерены выступить с какой-то дипломатической инициативой в Москве — ее следует задушить в зародыше; есть предположение, что идут махинации вокруг родезийского эмбарго; есть попытки замолчать

бунт в частях Рейнской армии в Миндене. Просто и ясно. Наскоро глотаешь еду, открываешь свою лавочку и сидишь там, пока не переделана вся работа. А потом идешь домой свободным человеком. Так оно и должно быть. Из этого состоит жизнь. Таков Бонн. Аттестован ты, как де Лилл, или не аттестован и сидишь за обтянутой зеленой материей дверью, повсюду одно и то же: немного драмы, уйма спешки, немного дискуссий о курсе разных акций, снова повседневная рутина и — следующее назначение.

Так было до Карфельда. Корк с огорчением смотрел на плакаты. Да, до того, как появился Карфельд. Девять месяцев, размышлял он, глядя на крупные черты расплывшегося невыразительного лица и самодовольный открытый взгляд, да, девять месяцев прошло с тех пор, как Артур Медоуз появился на пороге двери, соединяющей их комнаты, и взволнованно сообщил о демонстрации в Киле, о неожиданном выдвижении некой кандидатуры, о студенческой сидячей забастовке и о тех незначительных фактах насилия, к которым они с тех пор постепенно привыкли. Кто тогда пострадал? Кто-то из участников контрдемонстрации, устроенной социалистами. Одного избили до смерти, другого забросали камнями…

тогда это их потрясло. Они были еще зеленые. Господи, боже мой, подумал он. Теперь уже кажется, что это было лет десять назад. Но он помнил все даты с точностью чуть ли не до минуты.

События в Киле начались в то утро, когда доктор сказал, что Джейнет беременна. С того дня все пошло по-другому.

Снова дико заголосили гудки. Машины дернулись одна за другой и опять резко остановились, дребезжа и скрежеща тормозами на все лады.

— Удалось что-нибудь выяснить насчет этих папок? — спросил Корк, пытаясь понять, чем вызвана озабоченность Медоуза.

— Нет.

— И тележка не нашлась?

— Нет, тележка тоже не нашлась.

Подшипники, вдруг подумал Корк, какая-нибудь маленькая аккуратненькая шведская фирма, из тех, что пошустрее… двести зелененьких — и готово дело…

— Не поддавайтесь. Артур, здесь не Варшава. Вы теперь в Бонне. Хотите знать, сколько чашек пропало в столовой только за последние шесть недель? Не разбилось, заметьте, а пропало.

На Медоуза это не произвело никакого впечатления.

— Как вы думаете, кому нужна казенная посуда?

Никому, Люди просто немного не в себе. Думают о другом. Все дело в кризисе. Так повсюду. Вот и с папками то же самое.

Но на чашках нет грифа «секретно». Только и всего. — Но на тележках тоже, — настаивал Корк. — И на электрическом камине из конференц-зала, из-за которого так бесится хозяйственный отдел. И машинка с большой кареткой из машбюро тоже не секретный инвентарь, и… Да послушайте, Артур, вы не можете за это отвечать, слишком тут много всего. Вы ведь знаете, в какое состояние приходят эти дипломаты, когда начинают сочинять телеграммы. Скажем, де Лилл или Гевистон — просто сомнамбулы какие-то. Я не отрицаю, это все гении, только они никогда сами не знают, на каком они свете, витают в облаках. Вы-то тут при чем?

— Очень даже при чем. Я за это отвечаю.

— Ладно, терзайтесь! — крикнул Корк, теряя терпение. — Уж если кто отвечает, так это Брэдфилд, а не вы. Он возглавляет аппарат советников, он и отвечает за соблюдение секретности.

Корк замолчал и снова перевел взгляд на непривлекательную картину за окном. С Карфельда

за многое спросится, подумал он, и притом во многих областях.

Картина, открывшаяся глазам Корка, отнюдь не согревала сердца и не ласкала взора. Погода стояла отвратительная. Бесцветный рейнский туман, точно след дыхания на поверхности зеркала, покрывал всю цивилизованную пустыню бюрократического Бонна. На пустырях огромные, еще недостроенные, мрачные здания тянулись вверх, как сорняки. Впереди на коричневой равнине сияло всеми своими окнами здание британского посольства. Оно казалось госпиталем на окутанном сумерками поле боя. У ворот печально колыхался над головами кучки боннских полицейских почему-то приспущенный британский флаг.

Идея устроить в Бонне зал ожидания перед пересадкой в Берлин с самого начала была нелепой. Теперь она выглядела просто оскорбительной. Наверно, одни только немцы способны, избрав канцлера, перенести свою столицу к его порогу. Для того чтобы разместить всех дипломатов, политических деятелей и государственных служащих, которым выпала сомнительная честь прибыть сюда, и в то же время держать их на расстоянии, граждане Бонна выстроили целый

новый пригород вне городских стен. Через южную часть этого пригорода и пытались сейчас пробиться машины. Вдоль широкой проезжей части улицы высились громоздкие башни, тянулись приземистые плоские современные постройки. Дорога доходила почти до Бад-Годесберга, уютного курортного городка, раньше существовавшего главным образом за счет минеральной воды, а теперь перешедшего на дипломатию. Конечно, некоторые министерства разместились в самом Бонне, украсив своими стилизованными под древнюю каменную кладку постройками мощенные булыжником дворцы; конечно, несколько посольств оказалось в Бад-Годесберге, но федеральное правительство и около девяноста аккредитованных при нем иностранных представительств, а также лоббисты, пресса, руководство политических партий, организации беженцев, официальные резиденции высокопоставленных боннских чиновников, кураторий «За неделимую Германию» и вся бюрократическая надстройка временной столицы Западной Германии — все они расположились по ту или другую сторону этой магистрали между бывшим местопребыванием епископа КJльнского и викторианскими виллами рейнского курорта.

Британское посольство — неотъемлемая часть этой противоестественной столичной деревни, этого островного государства, не имеющего ни политического лица, ни гражданского тыла, государства, обреченного постоянно оставаться временным. Вообразите себе распластанный на земле безликий заводской цех — такие попадаются десятками на окраинах английских городов, обычно с рекламой своих изделий на крыше, — пририсуйте к нему скучное рейнское небо, добавьте намек на архитектурный стиль нацистского периода — всего лишь намек, не больше, — поместите позади на холмистой почве очертания двух футбольных ворот для развлечения «нечистых», и вы довольно точно представите себе, как выглядит мозг и мощь Англии в Федеративной республике. Одним из своих распростертых крыльев посольство прижимает к земле прошлое, другим — приглаживает настоящее и третьим — лихорадочно ощупывает влажную рейнскую землю в поисках того, что в ней зарыто для будущего. Построенное в конце столь преждевременно завершившейся оккупации, посольство хорошо воссоздает неприглядную атмосферу того периода: оно отвернуло свое каменное лицо от бывшего врага и встречает

серой улыбкой теперешнего союзника. Слева от Корка, когда они наконец въехали в ворота, была штаб-квартира Красного Креста, справа — завод «Мерседес», за ним через дорогу — Центральный комитет социал-демократической партии и склад кока-колы. Посольство отделено от этих неподобающих соседей полоской голой земли с пятнами обнаженной глины и кое-где пучками щавеля. Она тянется до самого безлюдного здесь Рейна и, представляя собой предмет гордости местных градостроителей, именуется в Бонне «зеленым поясом».

Быть может, в один прекрасный день все они уедут отсюда в Берлин: такая возможность иногда обсуждается даже в Бонне. Быть может, в один прекрасный день вся эта огромная серая гора соскользнет на автостраду и потихоньку доберется до мокрых автомобильных стоянок у распотрошенного рейхстага. Но пока этого не случилось, бетонный палаточный город остается в Бонне — временный, ибо такова мечта, и постоянный, ибо такова реальность. Он остается здесь и будет расти, потому что в Бонне движение заменило прогресс, а все, что не растет, обречено на умирание.

Поставив машину на обычное место за столо-

вой, Медоуз медленно обошел ее, как всегда после любой поездки. Попробовал все ручки, проверил, нет ли на кузове царапин от гравия, летящего из-под колес. Погруженный в свои мысли, он пересек дворик и подошел к главному входу, где два солдата английской военной полиции — сержант и капрал — проверяли пропуска. Корк, все еще пережевывая обиду, на некотором расстоянии следовал за ним; когда он достиг порога, Медоуз уже разговаривал с часовыми.

— А вы-то кто будете? — спросил сержант.

— Я — Медоуз, из архива. Он работает у меня. — Медоуз старался через плечо сержанта заглянуть в список, но часовой прижал листок к животу. — Он, видите ли, болел. Я хотел выяснить…

— А почему же он числится по первому этажу?

— У него там кабинет. Он занимает две должности на двух разных участках. У меня и на первом этаже.

— Нету, — снова сказал сержант, заглянув в список.

Стайка машинисток в мини-юбках, укороченных до предела, дозволенного супругой посла, вспорхнула мимо них по лестнице.

Медоуз не двигался с места, асе еще не до конца убежденный.

— Вы хотите сказать, что он не входил в посольство? — спросил он, явно надеясь услышать обратное.

— Именно так. Нету его. Он не проходил. В посольстве его нет. Ясно?

Они вошли вслед за машинистками в холл. Корк взял Медоуза под руку и отвел в сторону, в тень решетки, преграждающей вход в подвал.

— Что случилось, Артур? Что с вами такое? Дело не в одних пропавших папках, верно? Что вас грызет?

— Ничего меня не грызет.

— Тогда что это за разговор, будто Лео болен? Он же не болел ни разу в жизни.

Медоуз не ответил.

— Что такое задумал Лео? — подозрительно спросил Корк.

— Ничего.

Тогда почему вы о нем справлялись! Не мог же он тоже потеряться. Вот уже двадцать лет его не могут потерять, как ни стараются.

Корк почувствовал, что Медоуз колеблется: готов что-то открыть и все же вынужден воздержаться.

— Вы не можете отвечать за Лео. Никто не может за него отвечать. Нельзя быть всеобщим

отцом, Артур. Возможно, он где-то шляется и спекулирует талонами на бензин…

Медоуз обрушился на него, не дав ему докончить фразу.

— Не смейте так говорить, слышите, не смейте. Лео вовсе не такой. Да и о других так говорить непорядочно. Спекулирует талонами на бензин! И все потому лишь, что он — человек временный.

Выражение лица Корка, поднимавшегося на первый этаж по широкой лестнице на безопасном расстоянии от Медоуза, говорило само за себя: если таким делают человека годы, то отставка в шестьдесят — это ничуть не рано. Он-то, Корк, уйдет в отставку по-иному. Он мечтает — кто не мечтает? — уехать от всего этого на какой-нибудь греческий остров. Может быть, на Крит. Не исключено, что удастся открутиться к сорока, если дело с подшипниками выгорит. Ну, уж в крайнем случае — к сорока пяти.

Сразу за архивом по коридору находится шифровальная, а за ней — маленький светлый кабинет Питера де Лилла. Аппарат советников — не более как политический отдел. Работающие здесь молодые люди принадлежат к элите. И если где-то может стать реальностью весьма

распространенная мечта о блестящей карьере британского дипломата, то именно здесь. Причем ближе всех к осуществлению этой мечты — Питер де Лилл. Элегантный, стройный, гибкий, он был весьма недурен собой и упорно оставался молодым, хоть и перешагнул уже за четвертый десяток и так медленно двигался, что, казалось, вот-вот заснет. Эта его медлительность была не наигранной, а просто обманчивой. Две мировые войны и последовавшие за ними узкосемейные, но трагические события изрядно обкорнали фамильное дерево де Лиллов: брат погиб в автомобильной катастрофе, дядя покончил с собой, еще один брат утонул, отдыхая в Пензансе. Так постепенно де Лилл аккумулировал в себе всю энергию и все обязанности человека, которому чудом удалось выжить. Все его движения будто говорили: лучше бы вовсе не служить, но раз уж так случилось, приходится носить мундир.

Когда Медоуз и Корк прошли к себе, де Лилл как раз собирал голубые листки черновиков, разбросанные в художественном беспорядке на его письменном столе. Небрежными движениями он рассортировал их, застегнул жилет, потянулся, бросил задумчивый взгляд на репродукцию с картины, изображающей озеро Уиндермир,

выпущенную министерством труда с любезного разрешения железнодорожной дирекции Лондона, Мидленда и Шотландии, и вышел на лестничную площадку, довольной улыбкой приветствуя новый день. Он задержался у высокого окна и с минуту смотрел вниз на крыши черных фермерских фургонов и на голубые островки света там, где вспыхивали мигалки полицейских машин.

— У них прямо страсть к стали, — сказал он Микки Крабу, неряшливо одетому человеку со слезящимися глазами, постоянно находившемуся в состоянии похмелья. Краб медленно поднимался по лестнице, крепко держась рукой за перила и втянув голову в плечи, будто в ожидании удара. — Я как-то про это забыл. Про кровь помнил, а про сталь забыл.

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Краб, — пожалуй, что так.

Голос, как и все, что еще осталось в нем от прежней жизни, казался только тенью, отброшенной былым. Одни волосы не состарились — они росли на его маленькой головке черной густой копной, точно удобренные алкоголем.

— Спортивный праздник! — вдруг выкрикнул Краб, неожиданно останавливаясь. — Они же

еще не натянули этот чертов тент.

— Натянут, — почти ласково заверил его де Лилл.

Задержка произошла из-за крестьянских беспорядков.

— Проезд позади дома пуст, как соседняя церковь. Чертовы гунны! — добавил Краб без всякой злости, как приветствие, и продолжал свое трудное восхождение по лестнице.

Медленно идя вслед за ним по коридору, де Лилл открывал одну за другой двери кабинетов, заглядывал внутрь, здоровался или окликал кого-то, пока постепенно не дошел до кабинета старшего советника. Здесь он громко постучал и приотворил дверь.

— Все собрались, Роули, — сказал он. — Ждем вас.

— Я готов.

— Скажите, вы случайно не позаимствовали мой электрокамин? Он бесследно исчез.

— К счастью, я не страдаю клептоманией.

— Людвиг Зибкрон просил о встрече в четыре, — невозмутимо добавил де Лилл. — В министерстве внутренних дел. Он не сказал, в чем дело. Я пробовал допытаться, но он разозлился. Сказал, что просто хочет обсудить некоторые

меры, связанные с нашей безопасностью.

— Наша безопасность в полном порядке. Мы об этом уже толковали с ним на прошлой неделе. К тому же он обедает у меня в четверг. Не нахожу, что тут надо еще что-то предпринимать. Уже и так вся территория забита полицейскими. Я не допущу, чтобы он превратил посольство в крепость.

Голос его звучал резко и уверенно, голос человека образованного и прошедшего военную школу, умеющего многое скрывать, умеющего защищать свои секреты и свою независимость, голос, мягкий от природы, но способный звучать и жестко.

Де Лилл вошел, прикрыл дверь и щелкнул задвижкой.

— Как прошло вчера?

— Нормально. Можете посмотреть протокол, если хотите. Медоуз должен показать его послу.

— Думаю, что Зибкрон мог звонить именно в связи с этим.

— Я не обязан отчитываться перед Зибкроном и, кстати, не собираюсь. Не имею представления, почему он позвонил так рано и зачем созывает это совещание. У вас лучше развито воображение, чем у меня.

Так или иначе, я дал согласие от вашего имени. Мне казалось, что так будет правильно.

В котором часу нас просят прибыть?

— В четыре, и он пришлет за нами машину.

Брэдфилд недовольно нахмурился.

— Он беспокоится, что мы не сумеем проехать по городу. Считает, что в сопровождении его людей мы доберемся легче, — пояснил де Лилл.

— А я-то думал, что он хочет сэкономить наш бензин.

Шутка повисла в воздухе.

2
«...ПО ТЕЛЕФОНУ БЫЛО СЛЫШНО, КАК ОНИ ВОПЯТ»

Дела субботние и воскресные

Ежедневное совещание аппарата советников британского посольства в Бонне обычно начинается в десять часов. Это дает возможность сотрудникам с утра просмотреть почту, прочитать телеграммы и перелистать немецкие газеты, а иногда и прийти в себя после утомительных светских обязанностей предыдущего вечера. Де Лилл сравнивал эти совещания с утренней молитвой в общине неверующих: хотя обряд был малопоучителен и маловдохновляющ, он все же задавал тон рабочему дню, служил как бы своеобразной перекличкой и содействовал созданию атмосферы коллективности. Когда-то очень давно приход на службу в субботу был делом добровольным, полуобязательным и неопределенным. Это укрепляло чувство независимости, давало ощущение отдыха и покоя. Теперь все это — в прошлом. Субботы в чрезвычайной обстановке последнего времени подчинились административному распорядку

остальных дней недели.

Все вошли по одному, вслед за де Лиллом. Те, кто имел привычку здороваться, приветствовали друг друга. Остальные молча заняли свои места на расставленных полукругом стульях и начали просматривать кипы телеграмм на цветных бланках, которые принесли с собой, или просто глядеть в широкое окно, сожалея о несостоявшемся уикэнде. Утренний туман рассеивался, над задним крылом здания посольства сгустились черные тучи, телевизионные и радиоантенны над плоской крышей напоминали сюрреалистические деревья, выросшие на этом черном фоне.

— Довольно мрачно для спортивного праздника, — сказал Микки Краб. Но он не имел веса в посольстве, и никто не затруднил себя ответом.

Сидя лицом к сотрудникам за стальным письменным столом, Брэдфилд не замечал их присутствия. Он принадлежал к той школе государственных служащих, которые читают с пером в руке. Перо двигалось по строкам вместе с его взглядом, готовое в любой момент остановиться, чтобы исправить ошибку или сделать пометку.

— Может кто-нибудь мне сказать, — спросил он, не поднимая головы, — как перевести «Geltungbedьrfnis»?

— Потребность в самоутверждении, — предложил де Лилл и увидел, как перо пригвоздило слово к бумаге и снова поднялось.

— Очень точно. Ну что ж, начнем?

Дженни Парджитер, единственная женщина среди присутствующих, обычно делала обзор прессы. Она начала свое сообщение раздраженным тоном, будто оспаривая общепринятую точку зрения, и в то же время в этом тоне сквозила безнадежность: казалось, она знала в глубине души, что удел всякой женщины, излагающей новости, — недоверие.

— Помимо крестьянских волнений, Роули, самое важное событие — вчерашний инцидент в КJльне. Там студенты-демонстранты вместе с литейщиками заводов Круппа перевернули машину американского посла.

— Пустую машину американского посла. Есть некоторая разница, знаете ли. — Брэдфилд написал что-то на телеграмме.

Микки Краб, сидевший у двери, неправильно истолковав это замечание как юмористическое, нервно рассмеялся.

— Кроме того, они поймали какого-то старика, привязали его цепью к решетке на вокзальной площади, обрили ему голову и повесили на грудь

плакат: «Я срывал лозунги Движения». Предполагают, что он не получил серьезных увечий.

— Предполагают?

— Врачи установили…

— Питер, вы ведь ночью составили об этом телеграмму. Вы, очевидно, огласите текст?

— В ней изложены основные моменты.

— А именно?

Де Лилл был готов к этому вопросу:

— Союз между недовольными студентами и Карфельдовским движением быстро укрепляется, замыкается прочный круг: беспорядки ведут к безработице, безработица вызывает беспорядки. Гальбах, вожак студентов, заперся вчера почти на целый день с Карфельдом в КJльне. Они вместе это и состряпали.

— Кажется, Гальбах руководил делегацией студентов, выступавших в Брюсселе против Англии в январе? Когда еще вымазали грязью Холидей-Прайда?

— Я отметил это в телеграмме.

— Дженни, пожалуйста, продолжайте.

— Большинство крупных газет печатает комментарии. Только выдержки, будьте добры.

— «Нойе Рур-цайтунг» и связанные с ней газеты обращают главное внимание на молодость

демонстрантов. Газеты настаивают, что это не коричневорубашечники, не хулиганы, а молодые немцы, решительно недовольные боннскими порядками.

— А кто ими доволен? — проговорил де Лилл вполголоса.

— Благодарю вас, Питер, — сказал Брэдфилд без тени благодарности в голосе, и Дженни Парджитер вдруг почему-то покраснела.

— И «Вельт» и «Франкфуртер альгемайне» проводят параллель с последними событиями в Англии, в особенности с антивьетнамскими демонстрациями, расовыми беспорядками в Бирмингеме и протестами Ассоциации домовладельцев и жильцов по поводу жилищного законодательства для цветных. Обе газеты пишут о растущем недовольстве избирателей своими правительствами как в Англии, так и в Германии; «Франкфуртер» утверждает, что все несчастья начинаются с налогов: если налогоплательщик видит, что его деньги расходуются неразумно, он считает, что и голосовал не за того, кого нужно. Они называют это новой инерцией.

— Вот как! Придумали еще один ярлык.

Устав от долгого ночного дежурства и давно известных фактов и обобщений, де Лилл слушал как

бы издалека, улавливая привычные фразы, точно передачу какой-то маломощной радиостанции: «…В связи с ростом антидемократических настроений как справа, так и слева… Федеральное правительство должно понимать, что только по-настоящему сильное руководство, даже вопреки воле какого-нибудь экстремистского меньшинства, может содействовать укреплению европейского единства… Немцы должны вновь обрести уверенность в себе, должны рассматривать политику как нечто, сливающее воедино мысль и действие…»

В чем дело, лениво размышлял он, что делает немецкий политический жаргон даже в переводе таким нереально-отвлеченным? Метафизическая вата — так он назвал все это во вчерашней телеграмме, и это определение понравилось ему самому. Немцу достаточно заговорить о политике, чтобы сразу же погрузиться в пучину нелепых абстракций… Но разве одни лишь их абстракции так расплывчаты? Даже самые очевидные факты кажутся невероятно недостоверными, даже самые чудовищные события, добравшись до Бонна, как-то теряют окраску. Он старался представить себе, что он чувствовал бы, если бы его избивали студенты Гальбаха, — удары по лицу, пока не

польется кровь, потом цепь, которой привязывают к решетке, снова бьют, бреют голову… все это казалось таким далеким. Но разве КJльн так уж далеко? Семнадцать миль? Семнадцать тысяч миль? Нужно всюду бывать, подумал он, нужно ходить на митинги и своими глазами видеть, что там делается. Но как успеть, когда они вдвоем с Брэдфилдом составляют все важные политические донесения; когда так много деликатных, чреватых неприятностями дел надо решать здесь, на месте…

А Дженни Парджитер распалялась все больше. «Нойе цюрихер» поместила статью, в которой взвешивает наши шансы в Брюсселе, говорила Дженни. Она считает чрезвычайно важным, чтобы все в отделе прочитали статью с максимальным вниманием. Де Лилл довольно громко вздохнул. Неужели Брэдфилд никогда не выключит эту говорильную машину?

— Автор пишет, что у нас не осталось ни одного пункта, по которому мы могли бы вести переговоры, Роули, ни одного. Правительство Ее Величества так же потеряло все свои козыри, как и Бонн, — никакой поддержки у избирателей и очень мало среди правящей партии. Правительство Ее Величества надеется на Брюссель,

как на панацею от всех бед, но — сколь это ни парадоксально — может добиться успеха только с помощью доброй воли другого неудачливого правительства.

Де Лиллу казалось, что он все еще слышит через открытое окно печальный вой автомобилей бунтующих фермеров. Таков Бонн, подумал он. Эта дорога — весь наш мир. Сколько указателей с названиями городов можно встретить на пяти милях между Мелемом и Бонном? Шесть? Семь? Вот она, суть нашей работы, — словесная война из-за того, что никому не нужно. Бесконечная, бесплодная какофония запросов и протестов. Появляются все новые модели машин, все быстрее становится их движение, все сокрушительнее столкновения, все выше дома, но дорога все та же, а куда она ведет — не имеет значения…

— Остальные докладчики выступят очень коротко, хорошо, Микки?

— Ну конечно.

Краб, будто проснувшись, принялся длинно и невразумительно излагать слух, который сообщил ему корреспондент «Нью-Йорк таймс» в Американском клубе, в свою очередь узнавший его от Карла-Гейнца Зааба, который в свою очередь слышал все это от кого-то в ведомстве

Зибкрона. Дело сводилось к тому, что Карфельд находился вечером предыдущего дня в Бонне, что после вчерашнего выступления перед студентами в КJльне он вопреки слухам не вернулся в Ганновер, чтобы готовиться к завтрашнему митингу, а приехал на своей машине каким-то окольным путем в Бонн и участвовал тут в секретном совещании.

— Говорят, что он встречался с Зибкроном, Роули, — заключил Краб, но если в его голосе и звучала когда-то уверенность, сейчас ее, видно, начисто смыли бесчисленные коктейли.

Брэдфилда это сообщение тем не менее почему-то раздосадовало, и он отозвался на него довольно резко.

— Без конца твердят, что он встречался с Людвигом Зибкроном. А почему, черт побери, им не встречаться? Зибкрон отвечает за общественный порядок, у Карфельда тьма недругов. Сообщите в Лондон, — закончил он устало, что-то помечая в блокноте, — пошлите телеграмму с изложением слухов. Вреда не будет.

Порыв ветра вдруг швырнул струю дождя в стекло, оправленное в стальную раму, — все вздрогнули от его яростной дроби.

— Несчастный спортивный праздник стран

Содружества, — прошептал Краб, и снова никто не обратил на него внимания.

— Несколько указаний, — продолжал Брэдфилд. — Завтрашний митинг в Ганновере начинается в десять тридцать. Время малоподходящее для демонстрации, но днем у них, кажется, футбольный матч. Здесь играют по воскресеньям. Не могу себе представить, почему это касается нас, но посол просил всех сотрудников не выходить из дому после утреннего богослужения, если у них нет дел в здании посольства. По просьбе Зибкрона в течение всего воскресенья у главных и задних ворот будет выставлен дополнительный полицейский патруль, и по какой-то ему одному известной причине у нас во время спортивного праздника будут находиться сотрудники их тайной полиции.

— И нет на свете тайной полиции, — тихонько проговорил де Лилл, повторяя какую-то семейную шутку, — более таинственной, чем эта.

— Прошу тишины. Вопросы безопасности. Мы получили из Лондона печатные пропуска для входа в посольство, их раздадут в понедельник, и с этого дня прошу предъявлять их при входе и выходе. Учебные пожарные тревоги. Сообщаю для вашего сведения, что в понедельник днем будут

проведены практические занятия по тушению пожара. Полагаю, что всем следует быть на месте: надо показать пример младшему персоналу. Культурно-общественные мероприятия. Спортивный праздник стран Содружества сегодня днем в саду посольства. Состязания по олимпийской системе. Снова вынужден предложить всем принять участие. Разумеется, прибыть с женами, — добавил он таким тоном, словно последнее обстоятельство взваливало на их плечи дополнительное бремя. — Микки, за атташе посольства Ганы нужно приглядывать. Не подпускайте его к супруге посла.

— Могу я сказать, Роули? — Краб нервно заерзал на стуле, жилы на его шее, выпиравшие из дряблой кожи, чем-то напоминали куриные лапы. — Супруга посла раздает призы в четыре, обратите внимание — в четыре. Могу я просить всех подтянуться к главному павильону примерно без четверти… Простите, без четверти четыре, — добавил он, — простите, Роули. — Говорили, что Краб был одним из адъютантов Монтгомери во время войны, и вот все, что от этого осталось.

— Записали, Дженни?

Она пожала плечами: разве они станут выпол-

нять…

Де Лилл обратился к собранию тем непринужденно-светским тоном, который считается принадлежностью и прерогативой английского правящего класса.

— Позвольте узнать, не работает ли кто-нибудь над папкой «Сведения об отдельных лицах»? Медоуз буквально изводит меня, требуя эту папку, а я готов дать присягу, что уже много месяцев не видал ее в глаза.

— За кем она записана?

— Очевидно, за мной.

— В таком случае, — сказал Брэдфилд довольно резко, — по-видимому, вы ее и взяли.

— В том-то и дело, что я ее не брал. Я охотно готов отвечать за свои поступки, но не могу представить себе, зачем бы вдруг она мне понадобилась.

— Кто-нибудь из присутствующих брал ее?

Все, что бы ни говорил Краб, неизменно звучало как признание.

— Она и за мной записана, Роули, — прошептал он изсвоего темного угла у двери. — Видите ли, Роули…

Все ждали.

— Судя по записи, до Питера она находилась у

меня. Потом я ее вернул. Так записано у Медоуза, Роули.

И снова никто не захотел ему помочь.

— Две недели назад, Роули. Только я ее вовсе не брал. Мне очень жаль. Артур Медоуз набросился на меня как ненормальный. Но все напрасно: у меня ее не было. Там куча всякой грязи о немецких промышленниках. Это не по моей части. Я так и сказал Медоузу. Лучше всего спросить Лео. Он изучает всевозможных деятелей. Это его участок.

Со слабой улыбкой он обвел глазами своих коллег, пока не дошел до окна, у которого стоял пустой стул. Внезапно все взглянули в том направлении — на пустой стул. Не с тревогой, не как на открытие, а просто с любопытством, будто только сейчас заметили, что он пуст. Это был простой сосновый стул, не похожий на другие, с обивкой красноватого оттенка. Он вызывал какое-то отдаленное представление о будуаре. На сиденье лежала маленькая вышитая подушечка.

— Где он? — спросил Брэдфилд резко. Лишь он один не проследил за взглядом Краба. — Где Гартинг?

Никто не ответил. Никто не смотрел на Брэдфилда. Дженни Парджитер, побагровев, разглядывала свои мужские рабочие руки, лежавшие

на широких коленях.

— Застрял из-за идиотского парома, наверно, — ответил де Лилл, слишком поспешно бросаясь на помощь. — Кто знает, что делают эти крестьяне на той стороне реки.

— Пусть кто-нибудь выяснит, — сказал Брэдфилд самым бесстрастным тоном. — Позвоните к нему домой или еще куда-нибудь.

Знаменательно, что никто из присутствующих не принял этого указания на свой счет. Они покинули комнату в необычном беспорядке, не глядя ни на Брэдфилда, ни друг на друга, ни на Дженни Парджитер, чье смущение вызывало у всех чувство неловкости.

Невзирая на всю свою светскость, де Лилл всерьез разозлился. Особенно рассердила его поездка из посольства в министерство. Он ненавидел мотоциклы, ненавидел эскорты, и весьма шумная их комбинация оказалась для него почти невыносимой. Он ненавидел также преднамеренную грубость, независимо от того, кто именно — он сам или кто-нибудь другой — становился ее объектом. А он считал, что налицо была именно преднамеренная грубость. Не успели они въехать во двор министерства внутренних дел, как несколько молодых людей в кожаных пальто

рывком распахнули все дверцы машины, сопровождая свои действия возгласами:

— Герр Зибкрон примет вас немедленно! Просьба идти сейчас же! Да, да, немедленно!

Когда их повели к некрашеному стальному лифту, Брэд-филд резко сказал:

— Я намерен идти так, как мне удобно, попрошу меня не торопить! — И, обращаясь к де Лиллу, добавил: — Я поговорю с Зибкроном. Они похожи на свору обезьян.

Вид верхнего этажа вернул им спокойствие. Это был Бонн, который они знали: блеклый интерьер, соответствующий служебному характеру здания, такие же блеклые служебные репродукции на стенах, мебель из блеклого неполированного тика; белые рубашки, серые галстуки и лица, бледные, как диск луны. Их было семеро. Двое, что сидели по бокам Зибкрона, вовсе не имели фамилий, и де Лилл с некоторым злорадством подумал о том, не клерки ли это, которых пригнали сюда для большего счета. Слева от него сидел Лифф — этакая парадная лошадь из протокольного отдела; напротив, справа от Брэдфилда, — старый полицей-директор из Бонна. Он был почему-то симпатичен де Лиллу — монументальный мужчина с боевыми шрамами и белыми следами

заросших пулевых ранений на лице. На подносе лежали сигареты в пачках. Суровая девица внесла декофеинированный кофе, и они молча ждали, пока она покинет комнату.

«Что же все-таки нужно Зибкрону?» — в сотый раз с того момента, как в девять утра раздался его звонок, задал себе вопрос де Лилл.

Совещание началось, как все совещания, с оглашения резюме переговоров на предыдущей встрече. Лифф читал протокол с подобострастно-одическим выражением, будто собирался вручать медали. Всем своим тоном он подчеркивал радостный характер происходящего. Полицей-директор расстегнул свой зеленый мундир и разжигал длинную голландскую сигару, пока она не запылала, как факел. Зибкрон сердито кашлянул, но старый полицейский не обратил на него внимания.

— Есть возражения по этому протоколу, мистер Брэдфилд?

Зибкрон обычно улыбался, когда задавал этот вопрос, и, хотя улыбка его была холодна, как северный ветер, де Лилл почувствовал, что сегодня хотел бы ее увидеть.

— На слух — никаких, — непринужденно ответил Брэдфилд, — но, прежде чем подписать, я

должен прочитать сам.

— Никто вас не просит подписывать.

Де Лилл резко вскинул голову.

— Разрешите мне, — объявил Зибкрон, — зачитать следующее заявление. Копии будут вам розданы.

Заявление было кратким.

Дуайен дипломатического корпуса, читал Зибкрон, уже обсудил с герром Лиффом из протокольного отдела и с американским послом вопросы физической безопасности дипломатических представителей в случае беспорядков, могущих возникнуть в связи с демонстрациями групп меньшинства в Федеративной республике. Зибкрон сожалеет, но придется принять дополнительные меры, поскольку целесообразнее предусмотреть возможные неприятности, чем ликвидировать их последствия, когда будет уже поздно. Зибкрон получил заверения дуайена, что все главы дипломатических представительств готовы в максимальной мере сотрудничать с федеральными властями. Британский посол уже заявил о своей поддержке этих мероприятий. Тон Зибкрона стал необычно резким, почти злым. Лифф и старый полицейский повернули головы и смотрели на Брэдфилда в упор, взгляды их были

откровенно враждебны.

— Я убежден, что вы согласитесь с изложенным, — добавил Зибкрон по-английски, пододвигая к Брэдфилду копию заявления.

Брэдфилд, казалось, ничего не замечал. Вынув ручку из внутреннего кармана пиджака, он отвинтил колпачок, аккуратно надел его на другой конец ручки и стал читать, водя пером вдоль строк.

— Это что, памятная записка?

— Меморандум, Там приложен немецкий текст.

— Не вижу здесь ничего такого, что бы следовало излагать в письменном виде, — небрежно заметил Брэдфилд. — Вы хорошо знаете, Людвиг, что мы всегда приходим к согласию по таким вопросам. Это же в общих интересах.

Зибкрон игнорировал это дружеское обращение:

— Но вы также знаете, что доктор Карфельд не очень расположен к англичанам. Это ставит британское посольство в особое положение.

Улыбка Брэдфилда не померкла.

— Это не ускользнуло от нашего внимания. Но мы рассчитываем на вас и верим, что вы не позволите, чтобы чувства доктора Карфельда нашли

выражение в действиях.

Мы абсолютно убеждены в вашей способности предотвратить это.

— Вы совершенно правы. Именно поэтому вы поймете, как я заинтересован в том, чтобы обеспечить безопасность всего персонала британского посольства.

На этот раз в голосе Брэдфилда прозвучала почти явная издевка:

— Что это, Людвиг? Признание в любви?

Дальнейшее произошло очень быстро и выглядело как ультиматум:

— В соответствии с изложенным я должен — впредь до особого распоряжения — просить всех сотрудников британского посольства в ранге ниже советника не покидать пределов Бонна. Вы будьте любезны довести до всеобщего сведения, что ради их же собственной безопасности мы просим ваших сотрудников, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до особого распоряжения, не выходить на улицу… — Тут Зибкрон снова уткнулся глазами в лежавшую перед ним папку: — …после одиннадцати часов вечера по местному времени.

Бледные лица за пеленой табачного дыма воспринимались словно лампы операционной

сквозь дурман наркоза. В наступившей сумятице, в атмосфере всеобщего недоумения не дрогнул только голос Брэдфилда, прозвучавший весомо и решительно, точно голос командира, отдающего боевой приказ.

— Одна из первооснов общественного порядка, — заявил он, — которую англичане усвоили на горьком опыте во многих частях света, состоит в том, что неприятные инциденты возникают, по существу, именно в результате излишних предосторожностей.

Зибкрон никак на это не реагировал.

Полностью отдавая должное профессиональной и личной озабоченности Зибкрона, Брэдфилд все же считал своей обязанностью решительно предостеречь его от любого шага, который мог бы быть неверно истолкован внешним миром.

Зибкрон ждал.

Так же как и Зибкрон, не отступал Брэдфилд, он несет ответственность за моральное состояние аппарата посольства и за укрепление духа младшего персонала перед лицом надвигающихся трудностей. В настоящий момент он не может поддержать такое мероприятие, которое выглядело бы как отступление перед лицом противника, еще даже не начавшего наступать… Неужели

Зибкрон хочет, чтобы говорили, будто он не в состоянии справиться с кучкой хулиганов?..

Зибкрон встал, за ним встали и остальные. Короткий наклон головы заменил на сей раз непременное рукопожатие. Дверь отворилась, и кожаные пальто быстро повели их к лифту. Вот они уже на мокром дворе. Оглушающе взревели мотоциклы. «Мерседес» вылетел на дорогу. «Что, черт возьми, мы такого сделали? — размышлял де Лилл. — Что мы сделали, чтобы заслужить все это? Кто-то бросил камень в окно учителя, но кто?»

— Может быть, это как-то связано с тем, что произошло вчера вечером? — наконец спросил он Брэдфилда, когда они подъезжали к посольству.

— Не представляю себе, какая тут может быть связь, — резко ответил Брэдфилд. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, лицо его было сурово и жестко. — Какова бы ни была причина, — добавил он, скорее суммируя собственные мысли, чем делясь ими с де Лиллом, — Зибкрон — та нить, которую я не имею права порвать.

— Разумеется, — согласился де Лилл, когда они выходили из машины.

За англиканской церковью на лесистом холме вдали от центра Бад-Годесберга, где улица выгля-

дит почти деревенской, посольство создало для себя как бы кусочек пригородного Суррея. Удобные домики, вроде тех, какие любят биржевые маклеры, с каминами и длинными коридорами для слуг, которых теперь ни у кого нет и в помине, прячутся за карликовыми живыми изгородями и зеленой стеной плюща. Воздух чуть дрожит от тихой музыки радиопередач Британских экспедиционных сил. Собаки — несомненно английской породы — бродят в палисадниках, мостовая вдоль тротуаров заставлена автомашинами супруг посольских советников. Каждое воскресенье в течение всего теплого сезона эта улица становится свидетельницей ритуала, более приятного, чем совещания в аппарате советников. За несколько минут до одиннадцати собак закрывают в доме, кошек выгоняют в сад, и примерно с десяток посольских жен в цветных шляпках и с сумочками в тон выходят из десятка дверей, сопровождаемые мужьями в воскресных костюмах.

Вскоре на тротуаре образуется небольшая толпа, кто-то бросает шутку, кто-то смеется, все нетерпеливо посматривают кругом в ожидании опаздывающих, оглядываются на ближайшие дома. Крабы, видимо, проспали. Может быть, им кто-нибудь позвонит? Нет, вот они наконец. Все

не спеша начинают спускаться с холма, направляясь к церкви: женщины — впереди, мужчины — за ними, глубоко засунув руки в карманы. У паперти все останавливаются, поощрительно улыбаясь той из присутствующих дам, чей муж выше рангом. Она с легким жестом удивления начинает подниматься по ступенькам и исчезает за зеленой завесой плюща, предоставляя младшим по рангу следовать за собой в любом порядке, который, однако, если бы они обращали внимание на подобные мелочи, оказался бы в полном соответствии с требованиями протокола.

В то воскресное утро Роули Брэдфилд в сопровождении своей красивой жены Хейзел вошел в церковь и сел на обычное место рядом с Тиллами, которые в силу установившегося порядка вещей проследовали впереди них. Брэдфилд теоретически был католиком, но считал своим непременным долгом посещать службу в посольской часовне: по этому вопросу он отказывался советоваться не только со своей религией, но и со своей совестью. Брэдфилд и его жена были на редкость красивой парой. В Хейзел давала себя знать ирландская кровь: ее медно-рыжие волосы сверкали в лучах солнца, падавших сквозь зарешеченное окно; и Брэдфилд галантно, но с со-

знанием собственного превосходства относился к ней на людях. Непосредственно позади них сидел заведующий архивом и канцелярией Медоуз рядом со своей белокурой, очень нервной дочкой. Она была недурна собой, но кое-кого — в частности, некоторых посольских жен — удивляло то, что человек таких строгих правил, как ее отец, позволяет ей употреблять столько косметики.

Усевшись на скамью, Брэдфилд стал искать в молитвеннике отмеченные гимны — некоторые песнопения он пропускал из эстетических соображений, — затем окинул взглядом церковь, чтобы установить, кто отсутствует. Все оказались на месте, и он уже готов был вернуться к своему молитвеннику, когда миссис Ванделунг, супруга голландского советника и в настоящее время — вице-председатель Комитета жен дипломатического корпуса, перегнувшись к нему, громким и несколько истерическим шепотом спросила, почему нет органиста. Брэдфилд взглянул на маленькую освещенную нишу, на пустой стул с вышитой подушечкой на сиденье и в ту же минуту впервые ощутил настороженную тишину, еще усугубленную скрипом двери западного придела, которую Микки Краб — сегодня была его очередь помогать священнику — затворил, не

дожидаясь музыкального вступления к службе. Быстро встав, Брэдфилд пошел по проходу. Джон Гонт, охранник аппарата советников, со скрытой тревогой следил за ним из первого ряда хора. Дженни Парджитер, взволнованная, как невеста, смотрела прямо перед собой, не ощущая ничего, кроме религиозного восторга. Возле нее стояла Джейнет Корк, всецело занятая мыслями о будущем ребенке. Ее муж находился в посольстве — он дежурил в шифровальной.

— Где же, черт побери, Гартинг? — спросил Брэдфилд, но, взглянув на Краба, понял, что вопрос задан впустую, и вышел на улицу. Сделав несколько шагов по скользкой дорожке, которая вела к вершине холма, он открыл маленькую железную дверь, ведущую в ризницу, и вошел без стука.

— Гартинг не явился, — сухо сказал он, — кто еще может играть на органе?

— Он еще ни разу не пропускал службы. Ни разу, — ответил капеллан. Кроме него, кто-нибудь умеет играть на органе?

— Может быть, паром не ходит? Я слышал, что вокруг беспорядки.

— Он мог пойти кружным путем — через мост. Не раз так и делал. Что же, никто не может его

заменить?

— Лично я никого не знаю, — сказал священник, перебирая кайму своего золототканого ораря и думая о другом. — Просто никогда не возникало необходимости выяснять это, право…

— Что же вы собираетесь предпринять?

— Может быть, кто-нибудь начнет мелодию голосом.

Может быть, это выход. У Джонни Гонта прекрасный тенор, он ведь валлиец.

— Очень хорошо, все будут подпевать хору. Будьте добры, сразу же предупредите хор.

— Беда в том, что они не знают гимнов, мистер Врэдфилд, — сказал священник. — В пятницу на репетиции хора Гартинга тоже не было. Он просто не пришел. Мы вынуждены были отменить репетицию, видите, как получилось.

Выйдя на воздух, Брэдфилд обнаружил Медоуза, который, незаметно покинув свое место рядом с дочерью, последовал за ним.

— Он исчез, — сказал Медоуз с каким-то даже противоестественным спокойствием. — Я проверял всюду: в списке больных, у врача. Я был возле его дома. Машина в гараже, бутылки с молоком — у двери. Никто его не видел и не слышал о нем с пятницы. Он не заходил в Автоклуб. У нас

собрались гости в день рождения дочери, но он и к нам не пришел. Он предупреждал, что будет занят, но собирался все-таки заглянуть. Он обещал подарить ей фен для сушки волос. Все это на него не похоже, мистер Брэдфилд, совсем не похоже.

На какое-то мгновение — всего лишь на мгновение — самообладание, казалось, покинуло Брэдфилда. Он яростно посмотрел на Медоуза, потом на церковь, будто выбирая, с кем разделаться в первую очередь; у него был такой вид, словно он сейчас бросится вниз по дорожке, распахнет двери церкви и криком оповестит о случившемся тех, кто терпеливо ждал внутри.

— Едемте со мной.

Едва они въехали в ворота посольства, еще прежде, чем полицейские успели проверить их пропуска, им стало ясно, что творится что-то неладное. На лужайке перед зданием стояло два военных мотоцикла. Корк, шифровальщик, дежурный по зданию, ждал на ступеньках, все еще держа в руках «Руководство для индивидуального помещения капитала». За зданием столовой стоял немецкий полицейский фургон зеленого цвета — на крыше его вспыхивал синий огонь, изнутри долетало кваканье радио.

— Слава богу, вы приехали, сэр, — сказал на-

чальник охраны Макмаллен. — Я послал дежурную машину, она, вероятно, разминулась с вами.

По всему зданию трещали звонки.

— Звонили из Ганновера, сэр, из генерального консульства: к несчастью, было очень плохо слышно. Там на их сборище начались страшные беспорядки, все будто с цепи сорвались, сэр. Они штурмуют библиотеку и собираются идти к зданию консульства. Прямо не поймешь, что творится на свете, сэр. Тут даже хуже, чем на Гросвенор-сквер. По телефону было слышно, как они вопят, сэр.

Медоуз вслед за Брэдфилдом быстро прошел наверх.

— Вы сказали — фен для сушки волос? Он собирался подарить вашей дочери фен?

Минута нарочитой алогичности, быть может, нарочитое замедление хода событий, нервный жест перед вступлением в бой — так Медоуз истолковал это для себя.

— Он его специально заказал для нее.

— А, неважно, — сказал Брэдфилд и шагнул было к шифровальной, но Медоуз снова обратился к нему.

— Пропала папка, — прошептал он, — зеленая папка с особо секретными протоколами. Ее с

пятницы нет на месте.

3
АЛАН ТЕРНЕР

Воскресенье в Лондоне

Это был день, почти свободный от обязанностей, день, когда, оставаясь в Лондоне, можно подумать, будто ты в сельской глуши. В Сент-Джеймском парке раннее в этом году лето вступало в третью неделю своего существования. Вокруг озера в необычном для мая зное воскресного полудня лежали в траве девушки, похожие на срезанные цветы. Служитель парка разжег какой-то невиданный костер, и воздух был полон запаха горящей травы и отдаленного шума уличного движения. Только пеликанам, деловито ковылявшим вокруг своего павильона на островке, было не лень двигаться. Только Алану Тернеру, тяжело ступавшему грубыми башмаками по хрустящему гравию, нужно было куда-то идти, сейчас даже девушки не могли его отвлечь.

Башмаки были из твердой сыромятной кожи со следами многочисленных починок.

Тернер — крупный светловолосый мужчина

с походкой враскачку, простоватым бледным лицом, квадратными плечами и крепкими пальцами альпиниста, в довольно грязном костюме из тропической ткани и с не менее грязной парусиновой сумкой в руке, — не спеша, с какой-то размеренной, но неуклонной неотвратимостью раздвигая воздух, как баржа воду, шел широким, напористым, намеренно тяжелым шагом полицейского. Возраст его определить было трудно. Студенты-выпускники сочли бы его старым, однако старым только для студента. На молодых производили впечатление его годы, на старых — его молодость. Сослуживцы давно перестали гадать, сколько ему лет. Было известно, что он пришел в управление уже немолодым, никогда не считался ценным приобретением, был в свое время стипендиатом колледжа Святого Антония в Оксфорде, куда принимают всех без разбора. Официальные справочники английского министерства иностранных дел проявляли в отношении него большую сдержанность. Безжалостно извлекая на свет божий родословные всех прочих Тернеров, они хранили молчание об Алане, словно, взвесив все факты, пришли к выводу, что в данном случае это самый милосердный выход из положения.

— Вас, значит, тоже вызвали, — заметил Лэмберт, нагоняя его. — Ну, уж на этот раз, скажем прямо, Карфельд сорвался с цепи.

— А мы-то зачем им понадобились? Сражаться на баррикадах? Вязать теплые одеяла для раненых?

Лэмберт, маленький, подвижный человек, любил, когда говорили, что он ни с кем не гнушается общаться. Он занимал высокий пост в Западном управлении и возглавлял команду игроков в крикет, куда допускались желающие независимо от ранга.

Они начали подниматься по ступеням к памятнику Клайву.

— Их не переделаешь — вот моя точка зрения, — сказал Лэмберт. — Нация психопатов. Все время им кажется, что кто-то ущемляет их права. Версаль, окружение, нож в спину — мания преследования, в этом их несчастье.

Он дал Тернеру время выразить согласие.

— Мы везем туда все управление, даже девушек.

— Бог мой, вот уж теперь они испугаются. Вводим, значит, в действие резервы.

— Все это, знаете ли, может сказаться в Брюсселе. Получим щелчок по носу. Если германское

правительство опростоволосится у себя дома, все мы окажемся в препоганом положении. — Эта перспектива, видимо, была ему очень приятна. — И тогда придется искать другое решение.

— На мой взгляд, такого решения нет.

— Министр иностранных дел беседовал с их послом. Мне говорили, что они согласны компенсировать весь ущерб.

Тогда и беспокоиться не о чем, верно? Можно продолжать наш уик-энд. Залезть обратно под одеяло.

Они поднялись на верхнюю ступеньку. Покоритель Индии, небрежно поставив одну ногу на плиту из поверженной к его стопам бронзы, удовлетворенно взирал мимо них на лужайки парка.

— Смотрите-ка, дверь открыта, — в голосе Лэмберта прозвучало почтительное восхищение. — Работают, как в будний день. Да, этому действительно придают значение.

Не дождавшись такого же энтузиазма от Алана, он сказал:

— Что ж, займитесь своими делами, а я займусь своими. И имейте в виду, — добавил он рассудительно, — все это может принести нам большую пользу, объединить всю Европу вокруг

нас против нацистской опасности. Ничто так не скрепляет политические союзы, как грохот солдатских сапог.

И с прощальным кивком, исполненным благожелательности, которую ничто не в силах поколебать, он исчез в величественной темноте главного подъезда. Тернер постоял с минуту, глядя ему вслед, соразмеряя его тщедушную фигуру с тосканскими колоннами пышного портика, и в выражении его лица появилось даже что-то печальное, как если бы ему очень хотелось быть Лэмбертом — маленьким, аккуратным, преданным делу, не знающим тревог. Наконец, встряхнувшись, он пошел дальше, к менее внушительной двери в боковом крыле здания. Это была непрезентабельная, наполовину стеклянная дверь, забитая изнутри бурым картоном, с табличкой, запрещающей вход посторонним. Даже ему оказалось не так-то просто войти.

— Мистер Ламли интересовался вами, — сказал дежурный у входа, — Конечно, если у вас найдется для него минутка.

Дежурный был молод, женоподобен и предпочитал другое крыло здания.

— Он спрашивал очень настойчиво, по правде говоря. Сложили вещички, едете в Германию?

Все это время, не переставая, орал его транзистор. Кто-то вел прямой репортаж из Ганновера на фоне рева толпы, напоминавшего грохот морского прибоя.

— Судя по этим звукам, вас там ожидает хорошенький прием. Они уже покончили с библиотекой и теперь добираются до консульства.

— Они покончили с библиотекой еще днем. Передавали в последних известиях в час. Полиция оцепила консульство. Тройной кордон. Черт побери, их и близко не подпустят к зданию.

— С той поры положение ухудшилось! — крикнул дежурный ему вслед. — Они жгут книги на рыночной площади. Погодите, вы еще увидите.

— Обязательно увижу. Именно за этим я и еду, черт побери. — Голос у него был негромкий, но разносился далеко — голос йоркширца, беспородного, как дворняжка.

— Вам заказан билет в Германию. Спросите в транспортном отделе. Поезд, второй класс. А мистер Шоун ездит первым.

Распахнув дверь в свою комнату, он увидел Шоуна, развалившегося в кресле за его письменным столом; гвардейский мундир Шоуна висел на спинке стула Алана. Восемь пуговиц сияли в лучах солнца — тех, что, оказавшись посмелее,

пробились сквозь цветное стекло. Шоун говорил по телефону.

— Пусть сложат все в одно помещение, — говорил он тем примирительно-успокаивающим тоном, который способен довести до истерики самых уравновешенных людей. Он, очевидно, повторял это уже несколько раз — твердил одно и то же, стараясь растолковать непонятливым. — Надо же учитывать зажигательные бомбы и прочее. Это во-первых. Во-вторых, все вольнонаемные из числа местных жителей должны отправиться по домам и сидеть тихо: мы не в состоянии возмещать ущерб немецким гражданам, которые могут пострадать из-за нас. Сначала передайте им все это, потом снова позвоните мне… О господи! — завопил он, повесив трубку. — Вы когда-нибудь пробовали иметь дело с этим человеком? — С кем это?

— С этим лысым болваном из аварийного отдела. С тем, что заведует всякими там болтами и гайками.

— Его фамилия Кросс. — Алан швырнул свою сумку в угол. — И он вовсе не болван.

— Он — псих, — пробормотал Шоун, сразу сбавляя тон. — Ей-богу, он псих.

— Если так, молчите об этом, иначе его назна-

чат в управление безопасности.

— Вас ищет Ламли.

— Я не поеду, — сказал Тернер. — К черту! Я не намерен зря тратить время. Ганновер — пункт категории «Д». У них там ничего нет — ни кодов, ни шифровальной. Что я там должен делать, черт подери? Спасать сокровища короны?

— Зачем тогда вы захватили с собой свою сумку? Алан взял со стола пачку телеграмм.

— Они знали об этом митинге несколько месяцев назад. Знали все, начиная с Западного управления и кончая нами. Аппарат советников сообщил о нем еще в марте. Мы видели телеграмму. Почему они не эвакуировали сотрудников? Почему не отправили на родину детей? Наверно, нет денег. Или не достали билетов третьего класса. А ну их к чертям собачьим!

— Ламли сказал, чтобы вы пришли немедленно.

— И Ламли к черту! — ответил Тернер и сел за стол. — Не пойду, пока не прочитаю телеграммы.

— Это же сознательная политика — никого не вы возить на родину, — продолжал Шоун, развивая мысль Тернера, Шоун считал себя только прикомандированным к управлению безопасности, а вовсе не постоянным сотрудни-

ком, он рассматривал свое пребывание здесь как отдых между назначениями и никогда не упускал случая продемонстрировать свое близкое знакомство с миром большой политики. — Мы работаем, как обычно, — такова вывеска. Мы не можем допустить, чтобы нашей работе мешали какие-то сборища и беспорядки. В конце концов, Карфельдовское движение — не такая уж большая сила. Британский лев, — добавил он, делая слабую попытку пошутить, — не может быть выведен из равновесия булавочными уколами какой-то кучки хулиганов.

— О нет, не может, не может, куда им!

Тернер отложил одну телеграмму и стал читать следующую. Он читал быстро и легко, с уверенностью, какую дает опыт, раскладывая прочитанное по кучкам в соответствии с каким-то ему одному известным принципом.

— Что же все-таки происходит? Что они там могут потерять, кроме лица? — спросил он, продолжая читать. — Какого дьявола вызывают нас? Проблема компенсации — забота Западного управления, так? Эвакуация — дело аварийного отдела, правильно? Если их волнует сохранность зданий, пусть обращаются в министерство общественных работ. Так какого же черта они не хотят

оставить нас в покое?

— Потому что это — в Германии, — несмело предположил Шоун.

— А, подите вы…

— Сожалею, если это нарушило ваши личные планы, — сказал Шоун с язвительной улыбочкой, ибо подозревал, что в отношениях с женщинами Тернер гораздо удачливее его.

Первая осмысленная телеграмма была от Брэдфилда. Молния — отправлена в одиннадцать тридцать, передана дежурному в четырнадцать двадцать восемь. Генеральный консул в Ганновере Скардон собрал всех сотрудников с семьями в помещении консульства и уже неоднократно делал представления полиции. Вторая телеграмма, отправленная в одиннадцать пятьдесят три, содержала экстренное сообщение агентства Рейтер: демонстранты ворвались в Британскую библиотеку; полиция оказалась бессильна. Судьба библиотекарши фрейлейн Эйк (Sic!) неизвестна.

Тотчас вслед за этим прибыла срочная телеграмма из Бонна: «Норддойчер рундфунк» сообщает, что Эйк — повторяем: Эйк-убита демонстрантами. Но это в свою очередь было немедленно опровергнуто, поскольку Брэдфилд благодаря любезному посредничеству герра

Зибкрона из министерства внутренних дел («с которым у меня хорошо налаженные отношения») сумел к тому времени установить непосредственную связь с ганноверской полицией. Согласно полученным от нее последним сведениям, толпа выбросила библиотечные книги на улицу, где они были сожжены при большом скоплении народа. В толпе появились печатные транспаранты с антианглийскими лозунгами: «Крестьяне не станут оплачивать расходы вашей империи» и «Добывайте свой хлеб сами, не воруйте наш!». Фрейлейн Герду Эйк (Sic!), пятидесяти одного года, проживающую в доме четыре по Гогенцоллернвег, протащили по двум маршам каменной лестницы, пинали ногами, били по лицу, а потом заставили бросать в огонь библиотечные книги. Из соседних городов вызваны конные полицейские отряды с брандспойтами и специальным оборудованием для разгона толпы.

На полях была пометка Шоуна с краткими данными о несчастной фрейлейн Эйк, полученными из справочного отдела. Бывшая школьная учительница, она одно время работала в аппарате Британских оккупационных властей; затем была секретарем Ганноверского отделения Англо-германского общества; в 1962 году награждена

английским орденом за заслуги в области укрепления международного взаимопонимания.

— Еще одна наша сторонница выведена из строя, — пробормотал Тернер.

Он взял длинный, видимо составленный наспех, обзор радиопередач и бюллетеней. И тоже внимательно принялся его изучать. Создавалось впечатление, что никто — во всяком случае никто из находившихся на месте — не мог объяснить, что послужило непосредственной причиной беспорядков и прежде всего что привлекло толпу к библиотеке. Хотя демонстрации стали уже обычным явлением в Германии, беспорядки такого масштаба выходили за пределы нормы — федеральные власти сами признались, что они «серьезно озабочены». Герр Людвиг Зибкрон из министерства внутренних дел, нарушив свое обычное молчание, заявил на пресс-конференции, что есть основания для «весьма серьезного беспокойства». Было срочно принято решение обеспечить усиленную охрану всех официальных и полуофициальных зданий и жилых домов, занимаемых англичанами на территории Федеративной республики. Британский посол после некоторого колебания согласился ввести для своего персонала добровольный комендантский

час.

Сообщения о событиях, исходившие от полиции, прессы и даже самих работников посольства, безнадежно противоречили одно другому. Одни утверждали, что беспорядки возникли стихийно, как коллективный акт протеста против слова «Британская» на здании библиотеки. Естественно, говорили сторонники этой теории, чем ближе решающий день в Брюсселе, тем больше политика противодействия Общему рынку, провозглашенная Карфельдовским движением, должна приобретать антианглийскую окраску. Другие клятвенно заверяли, что видели, как кем-то был подан знак — в окне появился белый платок. А один очевидец даже показал, что над ратушей взлетела ракета, рассыпавшаяся золотыми и красными звездами. По мнению одних, толпа двигалась куда-то с определенной целью; другие говорили, что она просто «текла»; у третьих создалось впечатление, что она внезапно заколебалась. «Демонстрантами руководили из гущи толпы, — сообщал один старший офицер полиции. — По краям толпа была неподвижна, а в центре началось движение». «Те, кто стоял в центре, — передавало западногерманское радио, — сохраняли спокойствие. Беспорядки были

спровоцированы несколькими хулиганами в передних рядах. Остальные стихийно последовали за ними». Все сообщения сходились только в одном: беспорядки начались в тот момент, когда музыка заиграла особенно громко. Одна женщина даже высказала предположение, что сама музыка и послужила сигналом, который привел в движение толпу.

С другой стороны, корреспондент «Шпигеля», выступавший по радио на севере страны с подробными комментариями, рассказал о том, как на сером автобусе, заказанном неким таинственным герром Мейером из Люнебурга, в центр Ганновера за час до начала демонстрации была доставлена «охрана из тридцати отборных молодчиков», и эта охрана, состоявшая из студентов и молодых крестьян, образовала «защитное кольцо» вокруг трибуны. Именно эти «отборные молодчики» и начали беспорядки. Словом, получалось, что вся эта операция была подстроена самим Карфельдом. «Это открытая декларация того, — утверждал корреспондент, — что впредь Движение намерено шагать под собственную музыку».

— Эта Эйк, — спросил Тернер, — какие о ней последние сведения?

— Она чувствует себя соответственно своему состоянию.

— А в каком она состоянии?

— Больше ничего не сообщают.

— Понятно!

— К счастью, Англия не несет никакой ответственности ни за Эйк, ни за библиотеку. Библиотека была организована в период оккупации, но очень скоро ее передали в ведение немцев. Теперь она принадлежит местным властям, и они там распоряжаются. К нам она уже не имеет никакого отношения.

— Выходит, они жгли собственные книги? Шоун растерянно улыбнулся.

— Да, выходит, — согласился он. — Если вдуматься, так оно и есть. Это важное соображение; можно было бы, пожалуй, подсказать его отделу прессы.

Зазвонил телефон, Шоун снял трубку.

— Это Ламли, — сказал он, прикрывая микрофон рукой, — дежурный сказал ему, что вы уже здесь.

Но Тернер, казалось, не слышал его. Он читал очередную телеграмму — очень краткую, всего в два абзаца, не больше. Она была адресована «Ламли лично» и помечена «вручить немедлен-

но». Для Тернера отложили второй экземпляр.

— Он хочет говорить с вами, Алан, — Шоун протягивал ему трубку.

Тернер прочел телеграмму до конца и тут же снова перечитал ее. Потом поднялся, подошел к стальному сейфу, вытащил небольшую черную записную книжку, совсем новую, и сунул ее куда-то в глубины своего тропического костюма.

— Слушайте, вы, придурок, когда вы научитесь читать телеграммы? — спросил он негромко, уже стоя в дверях. — Вы все время трепались насчет брандспойтов, а ведь оказалось, что речь идет о перебежчике.

Он протянул Шоуну листок розовой бумаги.

— Заранее запланированный побег, вот как они это называют. Пропало сорок три папки, притом ни одна не имеет грифа ниже «секретно». Одной зеленой, помеченной «совершенно секретно» и «выдается по списку», нет на месте с пятницы. Да уж, ничего не скажешь, заранее запланированный побег.

И, оставив Шоуна наедине с телефонной трубкой, которую тот все еще держал в руке, он тяжело зашагал по коридору по направлению к кабинету начальника. Глаза его были сейчас как у пловца, очень светлые, будто обесцвеченные морской

водой.

Шоун, точно завороженный, смотрел ему вслед. Вот что происходит, подумал он, когда впускаешь в дом другие сословия. Они бросают своих жен и детей, изрыгают ругательства в общественных местах и плюют на общепризнанные нормы поведения. Со вздохом он положил трубку, снова снял ее и набрал номер управления информации. Говорит Шоун, сказал он, Ш-о-у-н. У него появилась, кажется, неплохая мысль насчет этих беспорядков в Ганновере, насчет того, как их можно обыграть на пресс-конференции: какое нам, мол, дело, если немцы решили жечь собственные книги… Он полагает, что это может произвести хорошее впечатление как образец хладнокровного английского юмора. Да, Шоун, Ш-о-у-н. Не стоит благодарности. Может, как-нибудь выберем время и пообедаем вместе.

Перед Ламли лежала открытая папка, его старая рука покоилась на ней, похожая на клешню.

— Мы ничего о нем не знаем. Его даже нет в картотеке. С точки зрения нашего отдела он вообще не существует. Проверки он не проходил, не говоря уже об оформлении на допуск. Мне пришлось выпросить его личное дело у кадровиков.

— И что же?

— Есть какой-то душок, не более. Иностранный душок. Беженец — эмигрировал в тридцатые годы. Сельскохозяйственная школа, строительный батальон, служба обезвреживания бомб. Добрался до Германии в сорок пятом. Какое-то время был сержантом, потом сотрудником Контрольной комиссии — политический авантюрист, судя по всему. Профессиональный эмигрант. В те дни в оккупированной Германии можно было встретить такого почти в каждой солдатской столовой. Некоторые остались в армии, другие расползлись по консульствам. Очень многие осели в Германии на секретной работе или приняли немец кое гражданство. Кое-кто свихнулся. У большинства не было нормального детства, в этом вся беда. Извините, — Ламли смущенно замялся.

— А как насчет родственников?

— Ничего сверхобычного. Мы проверили ближайшую родню. Дядя — Отто Гартинг — жил в Хэмпстеде. Это его приемный отец. Никаких других родственников нет. У дяди — фармацевтическое дело. Насколько можно понять, больше алхимик, чем фармацевт. Патентованные средства или что-то в этом роде. Сейчас он уже мертв. Умер десять лет тому назад. С сорок первого по сорок пятый состоял членом хэмпстедской

организации Коммунистической партии Великобритании.

— К чему он имел доступ?

— Неясно. Должность его обозначена «Претензии и консульские функции» — не знаю, что бы это могло означать. Он — в дипломатическом ранге. Второй секретарь. На основе специального соглашения — ни продвижения по службе, ни назначений, ни пенсии. Аппарат советников выделил для него место. Словом, он — не настоящий дипломат.

— Вот счастливчик.

Ламли оставил это замечание без ответа.

— Ассигнования на представительские расходы, — Ламли заглянул в дело, — сто четыре фунта в год; может пригласить пятьдесят человек на коктейль и тридцать четыре — на обед. Выдаются под отчет. Жалкая сумма. Зачислен в аппарат на месте. Разумеется, временно. В этом статусе находится уже двадцать лет.

Таким образом, у меня в запасе еще шестнадцать. — В пятьдесят шестом подал прошение разрешить ему вступить в брак с девицей Айкман, Маргарет Айкман. Он встретился с ней в армии. Судя по всему, ни разу не настаивал на своей просьбе. Был ли впоследствии женат —

неизвестно.

— А что в пропавших делах? Ламли заколебался.

— Так, разные разности, — сказал он небрежно. — Разные бумаги общего характера. Брэдфилд как раз сейчас пытается составить список.

В коридоре у дежурного снова заорало радио. Тернер уловил тон собеседника и продолжал в том же духе:

— Какие же это разные разности?

— Политика. Совершенно не в вашей сфере.

— Другими словами, мне не следует знать?

— Вам незачем знать. — Он и это сказал небрежно: мир, к которому привык Ламли, умирал, и он не хотел, чтобы кто-то пострадал от этого. — Этот тип выбрал очень подходящий момент, должен сказать, — добавил он, — учитывая все эти события. По всей вероятности, схватил то, что было под рукой, и удрал.

— Взыскания?

— Ничего особенного. Ввязался в драку в КJльне пять лет назад. В ночном ресторане. Там сумели это дело замять.

— И его не выгнали?

Мы любим давать возможность исправиться, — сказал Ламли, все еще внимательно изучая

бумаги, но не без подтекста.

Ламли был человек лет шестидесяти или немного старше, с резким голосом, весь какой-то серый — серое лицо, серая одежда, — серый, как филин, старик, сгорбленный и высохший. Очень давно он был послом в какой-то маленькой стране, но продержался там недолго.

— Вы должны ежедневно телеграфировать мне. Брэдфилд все это устроит. Но не звоните по телефону, понятно? Прямая связь опасна. — Он закрыл папку. — Брэдфилд согласовал все с послом. Они дадут вам возможность работать при одном условии.

— Очень мило с их стороны.

— Немцы ничего не должны знать. Ни в коем случае. Они не должны знать, что он сбежал, не должны знать, что мы его ищем, не должны знать, что произошла утечка информации.

— А что, если он разгласил секретные материалы НАТО? Это их касается не меньше, чем нас.

— Решения такого рода — не ваше дело. Вам приказано действовать осторожно. Не поступайте опрометчиво, ясно?

Тернер ничего не ответил.

— Вы не должны ничего нарушать, не должны никого раздражать или обижать. Они там ходят

по острию ножа. Любой неверный шаг может нарушить равновесие — сегодня, завтра, каждую минуту. Есть даже опасность, что гунны вообразят, будто мы ведем против них двойную игру с русскими. Если эта идея получит распространение, там может выйти целая чехарда.

— Выходит, нам трудно дается даже та игра, которую мы ведем один на один с гуннами, — заметил Тернер, пользуясь языком Ламли.

— Посольские одержимы одной идеей. Их волнует не Гартинг, не Карфельд и уж меньше всего вы. Их волнует Брюссель. Помните об этом. Очень вам советую, помните, не то можете получить под зад коленом.

— Почему бы вам не послать Шоуна? Он тактичный. Очарует их там всех до единого.

Ламли пододвинул к нему через стол документ со сведениями о Гартинге.

— Потому что вы его найдете, а Шоун не найдет. Не думайте только, что это приводит меня в восторг. Вы способны повалить дубовую рощу, чтобы отыскать желудь. Что движет вами? Что вы ищете? Какую-то небывалую абсолютную истину! Если я кого и ненавижу, так это циников, стремящихся обрести бога. Может быть, вам полезно разок потерпеть неудачу.

— У меня их было сколько угодно.

— Жена вам не писала?

— Нет.

— Вы могли бы простить ее, знаете. Такое ведь уже случалось и раньше.

— Вы слишком много себе позволяете, черт подери, — еле сдерживаясь, ответил Тернер. — Что вы знаете о моем браке?

— Ничего не знаю. Именно поэтому я вправе давать советы. Я просто хочу, чтобы вы перестали карать всех нас за то, что мы не во всем совершенны.

— Еще что-нибудь?

Ламли изучал его, как старый судья, у которого впереди уже не очень много дел.

— Боже мой, как легко вызвать ваше презрение, — сказал он наконец. — Вы пугаете меня, скажу вам это совершенно бесплатно. Вы должны как можно скорее научиться любить людей, или будет слишком поздно. Мы еще по надобимся вам в жизни, знаете ли. При всей нашей второсортности. — Он сунул папку в руки Тернеру. — Ну, поезжайте. Отыщите его. Но только помните, что вы на сворке. На вашем месте я бы уехал ночным поездом. Добрались бы туда к обеду. — Его желтые глаза под набрякшими веками на секунду гля-

нули в окно, на залитый солнцем парк. — Бонн — препротивное туманное место.

— Я бы лучше полетел самолетом, если можно. Ламли медленно покачал головой.

— Не терпится? Руки чешутся схватить его? Господи, хотел бы я обладать вашим энтузиазмом.

— Вы обладали им когда-то.

— И потом, купите себе костюм, купите что-нибудь поприличнее. Постарайтесь все-таки выглядеть, как один из нас.

Хоть я и не один из вас, верно?

— Ну ладно, — сказал Ламли, теряя терпение. — Носите матерчатую кепку. Господи, — добавил он, — мне казалось, что теперь ваше сословие страдает уже, наоборот, от чрез мерного признания.

— Кое-чего вы мне не сказали. Что им нужнее — папки или этот человек?

— Спросите Брэдфилда, — ответил Ламли, избегая его взгляда.

Тернер пошел в свою комнату и набрал номер телефона жены. Ответила ее сестра.

— Ее нет дома, — сказала она.

Ты хочешь сказать, что они еще в постели?

— Что тебе нужно?

— Скажи ей, что я уезжаю за границу.

Когда он повесил трубку, его снова отвлек грохот радио. Дежурный включил его на полную мощность и настроил на волну европейских передач. Какая-то дама с изысканным произношением читала обзор последних новостей. Следующий митинг Карфельдовского движения состоится в Бонне, сообщила она, в пятницу, через пять дней.

Тернер усмехнулся. Совсем как приглашение на чашку чая. Он подхватил свою сумку и направился в Фулхем, в район меблированных комнат, где живут женатые мужчины, не ночующие дома из-за размолвки с женой.

4
В ТЕ ДЕКАБРИ ВОЗОБНОВЛЯЛСЯ ДОГОВОР

Понедельник. Утро

Де Лилл встретил его на аэродроме. Спортивная машина де Лилла, немного не соответствующая его возрасту, с грохотом и дребезжанием неслась по мокрому булыжнику деревенских мостовых. Хотя автомобиль был совсем новый, краска на кузове уже потеряла свой блеск от клейкого сока каштанов, росших вдоль улиц Годесберга. Было девять часов утра, но фонари еще горели. По обеим сторонам шоссе в обрывках тумана, точно старые корабли, выброшенные на сушу приливом, на плоской равнине лежали хутора и островки новых зданий. Капли дождя стучали в узкое ветровое стекло.

— Мы заказали вам номер в отеле «Адлер». Думаю, там будет удобно. Мы не знали, сколько вам разрешается тратить на гостиницу.

— Что написано на этих транспарантах?

— А-а, мы уже перестали их замечать. Объединение… Союз с Москвой… Против Америки…

Против Англии…

— Приятно, что мы все еще в составе Большой тройки.

— Боюсь, что Бонн встречает вас типично боннской погодой. Иногда туман бывает несколько холоднее, — весело продолжал де Лилл, — тогда мы считаем, что настала зима. Иногда — чуточку теплее, и тогда это — лето. Знаете, что говорят про Бонн: здесь либо идет дождь, либо перекрыты мосты. На самом деле обычно происходит и то и другое одновременно. Остров, отрезанный от мира туманом, вот что мы такое. Это очень мистический уголок: фантазии здесь напрочь вытеснили действительность. Мы живем где-то между ближайшим будущим и не столь отдаленным прошлым. У большинства из нас такое чувство, точно мы провели здесь всю жизнь. Даже Карфельд не трогает нас. Не в личном плане, конечно, вы меня понимаете.

— И вас тут всегда сопровождают?

Черный «опель» держался ярдах в тридцати позади них. Он не отставал и не набирал скорости. Впереди сидели двое бледных мужчин; машина шла с включенными фарами.

— Они охраняют нас. Такова официальная точка зрения. Вы, может быть, слыхали о нашем

совещании у Зибкрона? — Они свернули направо, «опель» последовал за ни ми. — Посол буквально в ярости. А теперь они, конечно, могут говорить, что все это оправдано Ганновером: ни один англичанин якобы не может чувствовать себя в безопасности без охраны. Мы сами так вовсе не считаем. Однако после пятницы есть надежда избавиться от них. Как дела в Лондоне? Говорят, Стид-Эспри назначен в Лиму.

— Да. Мы все в восторге.

Появился желтый дорожный знак: до Бонна — шесть километров.

— Если не возражаете, мы объедем город по кольцевой дороге. Когда въезжаешь или выезжаешь, обычно возникают задержки из-за проверки пропусков и всяких формальностей.

— Я понял из ваших слов, что Карфельд не причиняет вам беспокойства.

— Мы все так говорим. Это один из обрядов здешней религии. Нас учат считать Карфельда чем-то вроде крапивницы, но вовсе не эпидемией. Вам придется к этому привыкнуть. Между прочим, у меня к вам поручение от Брэдфилда. Он просил передать, что, к сожалению, не имел возможности встретить вас сам, ему сейчас приходится нелегко.

— Больше он ничего не просил передать?

— Очень важно сразу установить, кто что знает. Брэдфилд полагает, что в этом вопросе у вас должна быть ясность. Крыша — так бы вы это назвали?

— Возможно.

— Об исчезновении нашего друга известно в общих чертах, — продолжал де Лилл тоном светской беседы. — Скрыть это было невозможно. К счастью, подвернулся Ганновер. И у нас возникла возможность кое-что подштопать на скорую руку. Официально Роули предоставил ему отпуск по семейным обстоятельствам. Никаких подробностей — только намек на какие-то личные неполадки, и все. Младший персонал может думать что угодно: нервный срыв, семейные неприятности, пусть сочиняют какие угодно слухи. Брэдфилд упомянул об этом на сегодняшнем совещании, мы все, конечно, поддерживаем эту версию. Что же до ваших функций…

— Да?

— Общая проверка соблюдения правил безопасности в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Как вам нравится такая версия? Нам она представляется убедительной.

— Вы его знали?

— Гартинга?

Ну да. Вы его знали?

— Мне кажется, — сказал де Лилл, останавливаясь у светофора, — что право надкусить пирог лучше предоставить Брэдфилду. Вы согласны? Ну, а какие новости о наших душках — лордах Йоркских?

— А кто они такие, черт бы их побрал?

— Ах, извините, — сказал де Лилл, искренне смутившись. — Мы здесь так называем кабинет министров. Прости те, как это глупо с моей стороны!

Они подъезжали к посольству. Когда они перестроились в левый ряд, чтобы пересечь осевую, черный «опель» медленно проскользнул мимо, как старая нянька, которая благополучно перевела своих питомцев через дорогу.

В холле посольства было тесно и шумно. Фельдъегери проталкивались сквозь толпу журналистов и полицейских. Железная решетка, выкрашенная в приметный оранжевый цвет, преграждала ход в подвал. Де Лилл быстро провел Тернера на первый этаж. Очевидно, кто-то уже позвонил с контрольного поста наверх, потому что Брэдфилд встретил их стоя.

— Роули, это Тернер, — представил его де Лилл

таким тоном, словно хотел сказать, что он здесь ни при чем, и деликатно прикрыл за собой дверь.

Брэдфилд был хорошо сохранившийся мужчина, худощавый, узкокостный, спортивного сложения, и принадлежал к тому поколению, которое умеет обходиться очень малым количеством сна и целиком отдает себя делу. Однако напряжение последних дней проложило синие тени в уголках его век и окрасило кожу нездоровой бледностью. Он молча разглядывал Тернера: его парусиновую сумку, зажатую в тяжелом кулаке, видавший виды коричневый костюм, упрямое лицо без определенной классовой принадлежности. С минуту казалось, что Брэдфилда захлестнула волна неосознанного гнева, грозившая смыть его обычное спокойствие; казалось, что его эстетическое чувство сейчас восстанет против этого вопиюще неуместного пришельца, навязанного ему в такое трудное время. Из коридора до Тернера доносился приглушенный гул голосов, шум шагов, быстрый перестук пишущих машинок, пульсация машин в шифровальной.

— Спасибо, что приехали в такое неуютное время. Позвольте мне взять это. — Он взял у Тернера сумку и поло жил за стулом.

— Ух, и жарко здесь у вас, — сказал Тернер. Подойдя к окну, он оперся локтями о подоконник и выглянул наружу. Справа вдали на горизонте, очерченные меловой каймой облаков, поднимались семь зубцов КJнигсвинтера, похожие на готические призраки на фоне бесцветного неба. У подножия их тускло поблескивала вода и виднелись силуэты неподвижных судов.

— Он жил вон там, верно? У КJнигсвинтера?

— Мы снимаем несколько помещений на том берегу. Они никогда не пользуются спросом. Паром — большое не удобство… Насколько я знаю, у вас существуют определенные методы в подобных случаях, — продолжал Брэдфилд, обращаясь к спине Тернера. — Скажите, что вам требуется, и мы сделаем все, что в наших силах.

— Понятно.

— У шифровальщиков есть комната отдыха, где вас не будут беспокоить. Им дано указание передавать ваши телеграммы, минуя обычные инстанции. По моему распоряжению вам там поставили стол и телефон. Я также попросил канцелярию подготовить список пропавших дел. Если вам понадобится что-нибудь еще, де Лилл, конечно, все вам предоставит. Я думаю, что мы покончили с организационными вопро-

сами. — Брэдфилд чуточку помедлил. — А теперь позвольте пригласить вас поужинать у нас завтра вечером. Мы будем очень рады. Обычный боннский вечер. Де Лилл, несомненно, сможет одолжить вам смокинг. — При этом он покосился на парусиновую сумку Тернера.

— Что касается наших методов, — ответил наконец Тернер, — то у нас их много. — Он стоял теперь спиной к окну, опершись на радиатор и оглядывая комнату. — В такой стране, как эта, все должно быть дьявольски просто. Сообщить в полицию. Обзвонить больницы, санатории, тюрьмы, приюты Армии Спасения. Разослать его фотографии и словесный портрет и урегулировать дело с местной прессой. Потом я начну искать его сам.

— Искать его? Где?

— Через других людей. В его прошлом. Мотивы, политические связи, друзья, знакомые женщины, контакты. Кто еще был в этом замешан, кто знал, кто наполовину знал, кто знал на четверть, на кого он работал, с кем встречался, где и как поддерживал связь. Явки, явочные квартиры. Сколько времени это продолжалось. Возможно, кто-то потворствовал ему. Вот это я и называю — искать. Потом я напишу отчет: укажу виновных,

наживу новых врагов. — Он продолжал рассматривать кабинет, и казалось, под его зорким, непроницаемым взглядом не остается ничего непричастного к преступлению — ни вещей, ни людей. — Это один из наших методов. Применим, конечно, только в дружественной стране.

— Большая часть того, что вы предлагаете, здесь совершенно неприемлема.

— Разумеется. Мне все это разъяснил Ламли.

— Быть может, перед тем как мы пойдем дальше, вам следует услышать это и от меня.

— Сделайте одолжение, — сказал Тернер таким тоном, будто намеренно стремился вывести собеседника из себя.

— Насколько я понимаю, в вашей среде секреты — величина абсолютная. Они значат больше, чем что-либо другое. Те, кто хранит их, — ваши союзники, за теми, кто их разглашает, вы охотитесь. Здесь же все обстоит по-иному. В нынешних условиях соображения, связанные с мест ной политической ситуацией, приобретают намного большее значение, чем соображения безопасности.

Тернер вдруг усмехнулся.

— А это всегда так. Просто поразительно!

— Здесь, в Бонне, в настоящий момент для нас

самое главное — любой ценой сохранить доверие и благорасположение федерального правительства. Укрепить его решимость противостоять растущему недовольству избирателей. Здешняя коалиция больна, любой вирус может убить ее. Наше дело — потрафлять инвалиду. Утешать его, ободрять, иной раз припугнуть и молиться богу об его здравии — пусть он живет ровно столько, сколько нам нужно, чтобы с его помощью попасть в Общий рынок.

— Очаровательная картина! — Алан снова смотрел в окно. — Наш единственный союзник — и тот на костылях. Два европейских инвалида поддерживают друг друга.

— Нравится вам это или нет, таково положение вещей. Мы здесь вроде как играем в покер. Нам даже блефовать не с чем. Кредиты наши исчерпаны, ресурсы равны нулю. И все же в обмен на одну лишь улыбку наши партнеры готовы вести игру. Эта улыбка — все, что у нас есть. Вся система отношений между правительством Ее Величества и федеральным правительством зиждется на этой улыбке. Видите, сколь деликатно наше положение здесь и сколь оно необычно. И неустойчиво. Все наше будущее в Европе может решиться через десять дней. — Он помолчал,

очевидно ожидая реплики Тернера. — Не случайно Карфельд выбрал именно пятницу для своего сборища в Бонне. К пятнице наши друзья в федеральном правительстве вынуждены будут решить, поддадутся ли они французскому давлению или останутся верными своим обещаниям, данным нам и партнерам по Шестерке. Своим походом в Бонн и наращиванием темпов кампании Карфельд стремится усилить давление на коалиционное правительство в самый критический момент. Вам понятна моя мысль?

— Кое-как разбираюсь, — ответил Тернер.

Цветная фотография королевы висела прямо над головой Брэдфилда. Ее герб присутствовал всюду в этой комнате: на синих кожаных креслах, на серебряном портсигаре, даже на блокнотах, разложенных на длинном столе для заседаний. Казалось, королевская фамилия прилетала сюда с визитом первым классом и оставила всем бесплатные сувениры.

— Вот почему я прошу вас действовать со всей возможной осторожностью. Бонн — деревня, — продолжал Брэдфилд. — Здешние нравы, суждения и узость кругозора присущи кумушкам, собравшимся посудачить у деревенского колодца, и все же это государство. И главное сейчас

для нас — сохранить доверие местных властей. А уже есть данные, что мы чем-то обидели их. Не знаю, чем именно. Их отношение к нам даже за последние сутки стало заметно холоднее. Мы находимся под наблюдением, наши телефонные разговоры прерываются, мы испытываем серьезнейшие затруднения даже в повседневных деловых контактах с их министерствами.

— Ладно, — сказал Тернер. Он слышал достаточно. — До меня дошло. Мы стоим на зыбкой почве. Что дальше?

— Дальше вот что, — повысив голос, заявил Брэдфилд. — Мы оба знаем, кем был или кем мог быть Гартинг. Такие случаи уже известны. Чем больше масштабы его предательства, тем серьезнее возможные неприятности, тем больше будет поколеблено доверие немцев к нам. Предположим самое худшее. Если окажется — я не утверждаю, что это так, но для предположений данные имеются, — итак, если окажется, что в результате деятельности Гартинга в посольстве наши самые секретные сведения в течение многих лет передавались русским, сведения, во многом являющиеся и немецкими секретами, этот удар может оборвать последнюю нить, на которой держится здесь доверие к нам. Возможно,

что в исторической перспективе все это покажется пустяком. Подождите. — Он сидел очень прямо за своим столом, по его красивому лицу видно было, что он еле сдерживает неприязнь. — Дослушайте меня. Здесь существует нечто, чего нет в Англии, — коалиция против Советского Союза. Немцы относятся к этому очень серьезно, а мы, пренебрегая опасностью, посмеиваемся над ней. И все же эта коалиция — наш пропуск в Брюссель. Более двадцати лет мы рядились в сверкающие доспехи защитников. Пусть мы обанкротились, пусть выпрашиваем займы, валю ту, торговые, договоры, пусть мы иногда… перетолковываем на свой лад обязательства перед НАТО; пусть, когда гремят пушки, мы прячем голову под крыло и нами руководят люди столь же бездарные, как и у них…

Что такое уловил вдруг Тернер в его тоне? Отвращение к себе? Беспощадное понимание близящегося конца того мира, к которому он принадлежал? Брэдфилд говорил как человек, испробовавший все лекарства и отвергающий теперь услуги врачей. На минуту пропасть между ними исчезла, и Тернер сквозь боннский туман услышал словно бы свой собственный голос:

— И все же, если учесть психологию здешних

обывателей, у нас есть один большой козырь, хотя о нем прямо не говорят: если угроза придет с Востока, немцы надеются на нас. Рейнская армия на Кентских холмах будет срочно призвана под ружье, и наши независимые оборонительные ядерные силы немедленно приведены в готовность. Теперь вы понимаете, что значил бы Гартинг в руках человека вроде Карфельда?

Тернер вынул черную записную книжку из внутреннего кармана. Она хрустнула, когда он раскрыл ее.

— Нет, еще не понимаю. Вы не хотите, чтобы он нашелся. Вы хотите, чтобы он исчез. Если бы вы могли поступить, как считаете нужным, вы бы не послали за мной. — Он с невольным восхищением покачал своей большой головой. — Что ж, надо отдать вам должное: никто еще не предупреждал меня о последствиях так заблаговременно. Господи, я ведь даже еще не присел. Я даже не знаю его имени, только фамилию. В Лондоне о нем ничего не известно, вы об этом слыхали? Он ни к чему не имел доступа — по крайней мере согласно нашим бумагам, — даже к простым воинским уставам. Судя по нашим лондонским данным, его могли просто похитить, он мог удрать с женщиной, попасть под автобус, наконец. А вы? Боже правый!

Вы тут все посходили с ума! Послушать вас, он стоит всех международных шпионов, вместе взятых. Так что же именно он похитил? Что известно вам и неизвестно мне? — Брэдфилд попытался было его прервать, но Тернер неумолимо продолжал: — Или, быть может, я не должен спрашивать? Я ведь никого не хочу огорчать.

Они смотрели друг на друга через века взаимного недоверия: Тернер — умный, напористый и грубый, с твердым взглядом выскочки, и Брэдфилд — попавший в беду, но не сломленный, а лишь замкнувшийся, осторожно подбирающий слова, будто кто-то заготовил их для него.

— Исчезла наша самая секретная папка. Исчезла в тот же день, когда пропал Гартинг. В ней — полный набор бумаг, излагающий наши самые секретные, официальные и неофициальные беседы с немцами за последние полгода. По причинам, которые вас не должны касаться, опубликование этих документов погубит нас в Брюсселе.

Сперва ему показалось, будто в ушах у него вдруг раздался рев самолета, но нет, гул уличного движения в Бонне был так же однообразен, как туман. Он выглянул в окно и только тут понял, что отныне уже не сможет ни видеть, ни слышать

с полной ясностью: липкий туман и бесплотные звуки обволокли и притупили все его чувства.

— Послушайте, — сказал он и указал на свою парусиновую сумку. — Я врач, специалист по абортам. Я вам неприятен, но очень нужен. Чистая работа без осложнений — вот за что вы мне платите. Ладно. Я сделаю все, что смогу. Но прежде, чем мы возьмемся за дело, давайте немного посчитаем на пальцах, ладно?

И он начал исповедовать Брэдфилда.

— Он не был женат?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Жил один?

— Насколько мне известно.

— Когда его видели в последний раз?

— В пятницу утром на совещании моих сотрудников. В этой комнате.

— Это было в последний раз?

— Я случайно узнал, что кассир видел его и позже, но я не считаю возможным вести расспросы.

— Еще кто-нибудь исчез, помимо него?

— Нет, никто.

— Все на месте? Как насчет какой-нибудь длинноногой пичужки из канцелярии?

— Кто-нибудь всегда в отпуске, но отсутствующих по неизвестным причинам нет.

— Тогда почему Гартинг тоже не попросил отпуска? Обычно они так и делают. Уж если перебегать, то с удобствами, я бы так сказал.

— Понятия не имею.

— Вы не были с ним близки?

— Конечно, нет.

— Как насчет его друзей? Что говорят они?

— У него нет друзей, достойных упоминания.

— А не достойных упоминания?

— Насколько мне известно, у него не было близких друзей в нашей колонии. Мало у кого из нас такие друзья есть. Знакомые — да, но не друзья. Это естественно для работников посольства. Представительские обязанности приучают ценить уединение.

— Как насчет немцев?

— Не имею представления. Он был когда-то на короткой ноге с Гарри Прашко.

— Прашко?

— Здесь есть парламентская оппозиция — свободные демократы. Прашко — одна из самых ярких фигур в этой группе. За свою жизнь он переменил несколько политических направлений, был даже довольно видным попутчиком.

В деле есть упоминание о том, что они когда-то дружили. По-видимому, познакомились во время оккупации. У нас есть картотека полезных контактов. Я даже спрашивал Гартинга однажды об этом Прашко, и Гартинг сказал, что они больше не встречаются. Вот все, что мне по этому поводу известно.

— Он был когда-то помолвлен с девушкой по имени Маргарет Айкман. Как военнослужащему, Гартингу требовался поручитель. Он назвал Прашко, депутата бундестага.

— И что же?

— Вы никогда не слышали об этой Айкман?

— Боюсь, что эта фамилия не вызывает у меня никаких ассоциаций.

— Маргарет.

— Да, вы сказали. Я никогда не слышал об этой помолвке, никогда не слышал имени этой женщины.

— Его хобби? Фотография? Марки? Радио? Тернер все время писал. Точно заполнял анкету.

— Он любил музыку. Играл на органе в церкви. Кажется, собирал пластинки. Вы лучше поговорите с младшим персоналом: там он был больше в своей среде.

— Вы никогда не бывали у него дома?

— Один раз. Был приглашен на обед.

— А он у вас бывал?

Ритм их разговора внезапно нарушился: Брэдфилд задумался.

— Однажды.

— Вы приглашали его на обед?

— На коктейль. Гартинг не совсем подходящий объект для званых обедов. Извините, если я задеваю ваши сословные чувства.

— Их у меня нет.

Брэдфилд не выказал удивления.

— Но вы к нему все-таки пошли, верно? Другими слова ми, вы подали ему надежду. — Он встал и быстро перешел к окну, точно ночная бабочка, привлеченная светом. — У вас есть на него досье, верно? — Тон его был почти безразличным, будто он перенял у Брэдфилда протокольный стиль разговора.

— Только платежные листки, годичные отчеты, армейская характеристика. Обычные документы. Можете ознакомиться, если хотите. — Тернер не ответил, и он добавил: — Мы не заводим на служащих подробных досье: наши кадры так часто меняются. Гартинг — исключение.

— Он ведь работал здесь двадцать лет.

— Да. Как я уже сказал, он — исключение.

— И никогда не проходил проверки? Брэдфилд ничего не ответил.

— Двадцать лет в посольстве, преимущественно — в аппарате советников, и ни разу не проверялся. Даже не представлялся на проверку. Поразительно. — Казалось, он просто высказывает мнение по поводу чьих-то взглядов.

— Вероятно, мы все считали, что он уже прошел проверку. Ведь он попал к нам из Контрольной комиссии. Предполагается, что туда берут с определенным отбором.

— Это большая честь — быть представленным на проверку. Не каждый ее удостаивается.

По серой лужайке расхаживали два немецких полицейских, полы их мокрых кожаных пальто лениво хлопали по сапогам. Все это сон, думал Тернер. Шумный неотвязный сон. Он вновь услышал дружелюбный голос де Лилла: «Бонн — очень мистический уголок: фантазии здесь совсем вытеснили действительность».

— Хотите, я вам что-то скажу?

— Вряд ли я в состоянии помешать вам.

— Так вот. Вы меня предупредили о последствиях. Это — обычное дело. Но где же остальное?

— Понятия не имею, что вы хотите сказать.

— Я хочу сказать, что у вас нет никакой версии.

С таким отношением я еще не встречался. Ни паники. Ни своей точки зрения. Почему же? Он работал у вас. Вы его знали. Вы говорите, что он — шпион. Он стащил ваши ценнейшие папки. Что, у вас здесь всегда так относятся к перебежчикам? Раны рубцуются так быстро? — Он помолчал, ожидая ответа. — Я помогу вам, отвечу за вас: «Он проработал здесь двадцать лет. Мы полностью доверяли ему. И все еще доверяем». Как вам нравится эта версия?

Брэдфилд молчал.

— Сделаем еще одну попытку: «Я всегда его подозревал с того самого вечера, когда мы говорили о Карле Марксе. Гартинг проглотил маслину и не выплюнул косточки». Это годится?

Брэдфилд и теперь не ответил.

— Поймите, это выходит за рамки обычного. Теперь вам ясно? Он человек незначительный. Вы не желали приглашать его к себе на обед. Вообще не желали иметь с ним дело. К тому же он дерьмо. Пошел на такое предательство.

Тернер не сводил глаз с Брэдфилда — светлых глаз охотника. Ждал жеста, малейшего движения. Он даже чуть наклонил голову, будто прислушиваясь, не донесет ли чего-нибудь ветер. Но напрасно.

Вы даже не даете себе труда разобраться в его поступке не только ради меня, но ради себя самого. Ни малейшей мысли. Когда речь идет о нем, вас как бы нет. Словно он уже умер. Ничего, что я перехожу на личности? Просто я понимаю, что вы не располагаете временем и как раз собирались мне это сказать.

— Я как-то не отдавал себе отчета, — сказал Брэдфилд ледяным тоном, — что должен буду выполнять вашу работу. А вы — мою.

— Капри. Как насчет Капри? В посольстве сейчас хаос. Он подхватил девчонку. Стянул несколько папок, продал их чехам и удрал со своей пичужкой.

— У него не было девушки.

— Айкман. Он ее раскопал. Удрал вместе с Прашко. Втроем — невеста, шафер и жених.

— Я уже сказал вам: у него не было девушки.

— А, значит, вам это известно? Значит, что-то вы все— таки знаете наверняка. Он предатель, и у него не было девушки.

— Насколько нам известно, у него не было женщины. Такой ответ вас удовлетворяет?

— Может быть, он гомосексуалист?

— Убежден, что этого не может быть.

— Он сорвался внезапно. Мы все немного психу-

ем примерно в этом возрасте. Мужской климакс? Это подойдет?

— Нелепое предположение.

— Нелепое?

— Насколько я могу судить, безусловно. — Голос Брэдфилда дрожал от ярости, тогда как Тернер говорил почти шепотом.

— Мы всегда ничего не знаем до поры до времени, верно? Пока не станет поздно. В его распоряжении были казенные деньги?

— Да. Но они — на месте.

Тернер круто повернулся к Брэдфилду.

— Значит, вы все-таки проверяли! — Глаза его горели торжеством. — Значит, и у вас бывают грязные мысли… Может быть, он просто кинулся в реку, — предположил Тернер успокоительно, по-прежнему не сводя глаз с Брэдфилда. — Личной жизни у него не было. Жить нечем. Эта версия не устроит нас?

— Смехотворная мысль, если хотите знать мое мнение.

— Для такого малого, как Гартинг, секс должен много значить. Я вот что хочу сказать: если ты один — только секс и остается. По правде говоря, не понимаю, как некоторые из ребят устраиваются. Я бы не смог. Недельки две, больше мне не

продержаться. Секс — единственное, что остается, если живешь один. Разумеется, кроме политики. По крайней мере я так считаю.

— Политика и Гартинг? Не думаю, чтобы он читал газеты чаще, чем раз в год. В этих вопросах он был сущим ребенком. Наивным младенцем.

Так часто бывает, — сказал Тернер. — Это и примечательно. — Он снова сел, заложил ногу за ногу и откинулся на спинку стула, как человек, приготовившийся предаться воспоминаниям. — Я знавал одного парня, который продал свое первородство потому, что всегда должен был уступать место в метро. Мне кажется, из-за подобных вещей сбивается с пути куда больше людей, чем наставляется на путь истинный библией. Может быть, в этом все и дело? Его не приглашали на званые обеды, не доставали билетов в спальные вагоны. В конце концов, кем он был? Временным сотрудником?

Брэдфилд ничего не ответил.

— А в посольстве он проработал очень долго. Получается что-то вроде постоянного временного сотрудника. А такие вещи не приняты — особенно в посольстве. Люди ассимилируются, если слишком долго сидят на месте. Но ведь он и был из местных, верно? Наполовину. Наполовину

гунн, как сказал бы де Лилл. Он говорил когда-нибудь о политике?

— Никогда.

— В нем не чувствовалось политической жилки?

— Нет.

— Никакой трещинки? Никакой нервозности?

— Нет.

— Что вы скажете об этой драке в КJльне?

— Какой драке?

— Пять лет назад, в ночном ресторане. Кто-то там креп ко его отделал: он пролежал полтора месяца в больнице. Эту историю сумели замять.

— Это было до меня.

— Он что, много пил?

— Мне об этом неизвестно.

— Говорил по-русски? Брал уроки?

— Нет.

— Как он проводил отпуск?

— Он редко брал отпуск. А когда брал, насколько я знаю, проводил его дома, в КJнигсвинтере. Кажется, в свободное время занимался своим садом.

Тернер долго, без стеснения изучал лицо Брэдфилда, ища в нем что-то, чего не мог найти.

— Он не психовал, — продолжал Тернер. — Не

был гомосексуалистом. У него не было друзей, но и анахоретом его не назовешь. Он не проходил проверки, и у вас нет на не го досье. Он был сущее дитя в политике, но ухитрился стащить именно ту папку, которая для вас важнее всего. Он никогда не крал денег, играл на органе в церкви, занимался в свободное время своим садом и любил ближнего как самого себя. Правильно я говорю? Он был ни то ни се, черт его подери, ни хороший, ни плохой. Что же он за человек, будь он проклят? Посольский евнух? Неужели вы не предложите никакой точки зрения, — продолжал он с похожей на издевку мольбой, — чтобы помочь несчастному одинокому сыщику в выполнении непосильной задачи?

Из жилетного кармана Брэдфилда тянулась золотая цепочка от часов. Не более чем золотая ниточка — миниатюрный знак принадлежности к упорядоченному обществу.

— Мне кажется, вы намеренно тратите время на вопросы, не имеющие отношения к делу. А у меня нет ни времени, ни желания играть в ваши замысловатые игры. Как ни мало значил Гартинг в посольстве, как ни загадочны были его побуждения, к сожалению, последние три месяца он имел довольно широкий доступ к секретным

материалам. Он получил этот доступ обманным путем, и вместо того, чтобы гадать относительно его сексуальных наклонностей, вам следовало бы уделить некоторое внимание тому, что он украл.

— Украл? — повторил Тернер негромко. — Забавное слово. — И он написал его нарочито корявыми печатными буквами сверху, на одной из страниц своей книжечки. Боннский климат уже начал сказываться на нем: темные пятна пота появились на тонкой ткани его неприглядного костюма. — Ладно, — сказал он с внезапной злостью. — Я трачу ваше драгоценное время. Давайте тогда начнем с самого начала и выясним, почему вы так его обожаете.

Брэдфилд рассматривал свою авторучку. «Я мог бы предположить, что все это — извращенный секс, — говорило лицо Тернера, — если бы ты не ценил честь превыше всего».

— Объясните, пожалуйста, свою мысль на общепонятном языке.

— Расскажите мне о нем, как вы его себе представляете. О его работе, о нем самом.

— Его единственной обязанностью, когда я сюда приехал, был разбор претензий немецких граждан в связи с действиями Рейнской армии. Потрава посевов танками, разрушения от слу-

чайных снарядов, коровы и овцы, убитые во время маневров. С конца войны все это стало в Германии настоящим промыслом. Когда меня поставили здесь во главе аппарата советников два с половиной года назад, у него все было на пять с плюсом.

— Вы хотите сказать, он стал знатоком своего дела?

— Если угодно.

— Вся беда в вашей эмоциональной окраске. Она сбивает меня с толку. Я не могу не симпатизировать ему, когда вы так о нем говорите.

— Так вот, эти претензии, если вам так больше нравится, стали его специальностью. Они и открыли ему доступ в посольство. Он знал это дело до тонкостей: занимался им многие годы на разных должностях. Сначала — в Контроль ной комиссии, потом в армии.

— Что он делал до этого? Он появился в сорок пятом?

— Он пришел сюда, разумеется, в форме. В звании сержанта или вроде того. Затем его перевели на гражданскую должность. Не имею представления, какую работу ему поручили. Наверно, вам могут это сказать в военном министерстве.

— Не скажут. Я смотрел и архивы Контрольной

комиссии. Они уложены на века в нафталин для будущих поколений. Понадобится несколько месяцев, чтобы раскопать его дело.

Так или иначе, он сделал правильный выбор. Пока английские войска находятся в Германии, будут проводиться маневры и немецкие граждане будут требовать возмещения убытков. Можно сказать так: его работа, хотя и носила специальный характер, была, во всяком случае, гарантирована присутствием наших войск в Европе.

— Ей-богу, мало кто дал бы вам в долг под такой залог, — сказал Тернер с внезапной заразительной улыбкой, однако на Брэдфилда она не произвела впечатления.

— Он справлялся с этой работой хорошо. Более чем хорошо. У него было кое-какое представление о юридической стороне вопроса, знание законов — и немецких, и военных. От природы он все легко схватывал.

— Воровские наклонности? — предположил Тернер, пристально наблюдая за Брэдфилдом.

— Если у него возникали затруднения, он мог обратиться к атташе, занимающемуся вопросами права. Не всякий справился бы с такой работой — быть посредником между здешними

крестьянами и британской армией, сглаживать острые углы, сохранять инциденты в тайне от прессы. Для этого требовалась особая интуиция. Он ею обладал, — заключил Брэдфилд, снова с нескрываемым презрением. — На уровне своих возможностей он был компетентным работником.

— Но его уровень — это не ваш уровень? Так?

— Здесь нет других людей его уровня, — ответил Брэдфилд, намеренно игнорируя подтекст, — Он был единственным специалистом в своей области. Мои предшественники считали целесообразным не вмешиваться в его дела, и, приняв эту должность, я не видел причин менять сложившуюся практику. Он был приписан к аппарату советников, чтобы мы могли осуществлять известный административный контроль, не более. Он являлся на наши утренние совещания, был пунктуален, не причинял никаких неприятностей. Ему симпатизировали до известного предела, но, полагаю, не доверяли. Английским он никогда не владел в совершенстве. Я бы сказал, что он довольно энергично общался с другими дипломатами, главным образом в тех посольствах, где не слишком разборчивы. Говорят, он также хорошо ладил с южноамериканцами.

— Его работа требовала разъездов?

— Частых и на довольно большие расстояния. По всей Германии.

— Он ездил один? — Да.

— Что касается армии, он, очевидно, знал тут все вдоль и поперек: ему присылали отчеты о маневрах, он знал расположение войск, их численность — в общем, все. Так?

— Он знал гораздо больше. Он слушал разговоры в солдатских столовых по всей Германии: маневры ведь нередко проводились вместе с союзными войсками. На иных маневрах испытывалось новое оружие. Поскольку это наносило ущерб, он должен был знать о степени ущерба. Словом, в его распоряжении оказывались факты и данные, по существу нигде не учтенные.

— Материалы НАТО?

— Главным образом.

— Сколько лет он занимался этой работой?

— Очевидно, с сорок восьмого или с сорок девятого года. Не заглянув в дело, я не могу сказать точно, когда английская сторона впервые выплатила компенсацию.

— Скажем, двадцать один год с некоторым допуском в ту и другую сторону.

— Я тоже так считаю.

— Неплохо для временного работника.

— Могу я продолжать?

— Да, конечно, продолжайте, — самым добродушным тоном ответил Тернер и подумал: «На твоем месте я бы вы швырнул меня за дверь».

Таково было положение, когда я принял дела. Он работал по договору, который ежегодно подлежал возобновлению. Каждый год в декабре договор представлялся на рассмотрение для продления, и каждый год в декабре поступала рекомендация продлить договор. Так обстояло дело еще полтора года назад.

— До вывода Рейнской армии?

— Мы здесь предпочитаем называть это присоединением Рейнской армии к нашим стратегическим резервам в Соединенном Королевстве. Не забывайте, что немцы все еще оплачивают содержание этой армии. — Не забуду.

Так или иначе, в Германии остался только костяк армии. Вывод войск произошел совершенно внезапно: мы все были захвачены врасплох. Сначала возникли споры по поводу оплаты расходов на содержание армии, потом беспорядки в Миндене. Карфельдовское движение только набирало силу. Все больше и больше начинали шуметь студенты. Пребывание войск в Германии стано-

вилось поводом для провокаций. Решение было принято на высшем уровне, с послом даже не посоветовались. Пришел приказ, и Рейнская армия была эвакуирована в течение одного месяца. Нас заставили провести значительное сокращение расходов. В Лондоне просто помешались на этом: бросают деньги на ветер и называют это экономией.

Тернер вновь ощутил горечь в тоне Брэдфилда: семейный позор, о котором не должен упоминать гость. — И Гартинг остался ни при чем?

— Он, конечно, уже какое-то время знал, к чему все идет. Но это не смягчило удара.

— Он все еще был временным работником?

— Разумеется. Более того, возможность перейти на постоянную работу, если она когда-либо для него и существовала, стала быстро исчезать. Как только выяснилось, что Рейнская армия уходит, это решило его судьбу. А мне дало достаточно оснований воздержаться от перевода его на постоянную работу.

— Так, — сказал Тернер, — понятно.

— Легко говорить, что с ним поступали несправедливо, — заметил Брэдфилд, — но можно с не меньшим основанием сказать, что он получал вполне достаточно, если учесть, чего он стоил. —

Это признание проступило, как пятно на одежде, которое тщетно пытаются смыть.

— Вы говорили, что он имел доступ к казенным деньгам, — сказал Тернер, а сам подумал: «Врачи тоже так — прощупают, потом поставят диагноз».

— Время от времени он передавал чеки армейским властям. Был своего рода почтовым ящиком, не более. Посредником. Армия получала деньги. Гартинг их передавал, брал расписки. Я регулярно проверял его отчетность. Армейские ревизоры, как вы знаете, славятся своей придирчивостью. Ни разу никаких нарушений. При существовавшей системе это было невозможно.

— Даже для Гартинга?

— Я вовсе не это имел в виду. Кроме того, он всегда казался вполне обеспеченным человеком. Я не считаю его жадным, у меня не создалось такого впечатления.

— Он что, жил не по средствам?

— Откуда мне знать, каковы его средства? Если он жил на то, что зарабатывал здесь, то, наверно, тратил все подчистую. Дом в KJнигсвинтере он занимал довольно большой. Такой дом ему, конечно, не по рангу. Насколько я понимаю, он жил в общем-то на широкую ногу.

— Ясно.

— Вчера вечером я специально проверил, сколько он получил наличными за три месяца, предшествовавшие по бегу. В пятницу после совещания нашего аппарата он взял в кассе семьдесят один фунт и четыре пенса.

— Довольно-таки странная сумма.

— Напротив, все вполне логично. Пятница была десятым днем месяца. Он взял точно одну треть своего месячного заработка и денег на представительские расходы, за вычетом налогов, страховки, удержаний за поломку имущества и личные телефонные переговоры. — Брэдфилд помолчал. — Эту сторону его характера я, может быть, недостаточно подчеркнул — он был скрупулезно честен.

— Почему был?

— Я ни разу не поймал его на лжи. Решив уйти, он взял ровно столько, сколько ему полагалось, и ни пенни больше.

— Кое-кто назвал бы это благородным поступком.

— То, что он не крал? Я бы сказал, что это негативный подвиг. А кроме т ого, он, очевидно, знал, как человек, достаточно эрудированный в вопросах права, что кража могла бы послу-

жить основанием для обращения в немецкую полицию.

— Господи, — сказал Тернер, посмотрев на Брэдфилда, — вы не хотите поставить ему хорошую отметку даже за оведение.

Мисс Пит, личный помощник Брэдфилда, внесла кофе. Это была средних лет женщина, употреблявшая совсем мало косметики, очень подтянутая и полная недоброжелательства. Она, по-видимому, уже знала, откуда приехал Тернер, ибо окинула его взглядом, исполненным величественного презрения. Ее гнев, как не без удовольствия отметил Тернер, вызвали прежде всего его башмаки, и он подумал: «Отлично, черт подери, для того они и нужны».

Брэдфилд продолжал:

— Рейнская армия ушла очень быстро, и он остался без работы. В этом вся суть.

— Он потерял доступ к материалам военной разведки НАТО. Это вы хотите сказать?

— Такова моя гипотеза.

— Ага, — пробормотал Тернер, изображая просветление, и старательно записал в своей книжке «гипотеза», будто самое это слово было ценным приобретением в его лексиконе.

— Как только Рейнская армия ушла, Гартинг в

тот же день явился ко мне. Это было примерно полтора года назад.

Он замолчал, погрузившись в воспоминания.

— Он был такой обыденный, — сказал Брэдфилд наконец с несвойственной ему мягкостью. — Такой, знаете ли, неприметный. — Казалось, Брэдфилд до сих пор продолжал этому удивляться. — Сейчас легко забыть об этом, но он был уж очень незначительный.

— Больше вам не придется говорить о его незначительности, — заметил Тернер небрежно, — советую привыкнуть к этому.

— Он вошел ко мне, он был бледен — и только. Никаких других перемен. Сел вон на тот стул. Это его подушечка, между прочим. — Он позволил себе улыбнуться сухой, не дружелюбной улыбкой. — Подушка эта — своего рода заявочный столб. Он единственный из всех имел здесь постоянное место.

— И единственный, кто мог его потерять. Кто вышивал эту подушечку?

— Не имею ни малейшего представления.

— Была у него экономка?

— Нет, насколько мне известно.

— Ладно.

— Он не сказал ни слова о переменах в своем

положении. Помню, в канцелярии как раз слушали передачу по радио. Солдаты размещались по вагонам под звуки оркестра.

— Важная для него минута, верно?

— По-видимому. Я спросил его, чем могу быть полезен. Он ответил, что хотел бы найти себе применение. Все это говорилось на полутонах, полунамеками. Он знает, что Майлз Гевистон очень перегружен работой в связи с берлинскими осложнениями, выступлениями ганноверских студентов и другими трудностями. Не может ли он ему помочь? Я сказал, что вопросы такого рода — вне его компетенции: ими должны заниматься мои постоянные сотрудники. Нет, сказал он, речь идет совсем о другом. Он и не собирается предлагать свои услуги в решении коренных проблем. Он думал вот о чем: у Гевистона есть два или три мелких вопроса, не может ли он заняться ими? Скажем, деятельностью Англо-германского общества, которое в то время было очень малоактивно, но все же требовало какой-то переписки на низшем уровне. Потом дела по розыску пропавших без вести граждан. Нельзя ли ему взять на себя несколько обязанностей такого рода и разгрузить более занятых сотрудников? Я не мог не признать, что в этом был свой смысл.

— И вы сказали: ладно?

— Да, я согласился. Разумеется, как на временную меру. Временная договоренность. Я полагал тогда, что мы предупредим его об увольнении в декабре, когда истечет срок его договора, а до тех пор я разрешил ему выполнять любые мелкие поручения, какие подвернутся. С этого все и пошло. Я, разумеется, поступил глупо, поддавшись на его уговоры.

— Я этого не говорил.

— Вам незачем это говорить. Я протянул ему палец, он схватил всю руку. За один месяц он сосредоточил у себя все, что можно назвать отходами работы аппарата советников, весь поток всевозможной ерунды, которая обычно стекается в каждое большое посольство: дела о пропавших без вести гражданах, прошения на имя королевы, случайные посетители, официально запланированные туристы, Англо-германское общество, письма, содержащие оскорбления и угрозы, и разные другие бумаги, которые вовсе не должны попадать в аппарат советников. Не менее активно проявлял он свои таланты и в общественной жизни посольства. В церкви он аккомпанировал хору, вошел в комиссию по бытовым вопросам, в спортивную комиссию. Он даже создал группу

учредителей Национального фонда. Через какое-то время он попросил разрешения добавить к названию своей должности слова «консульские функции», и я пошел и на это. Вы, вероятно, знаете, что у нас здесь консульских функций нет, все подобные дела отправляются в КJльн. — Он пожал плечами. — К декабрю он сумел сделаться незаменимым. Договор с ним был представлен на рассмотрение. — Брэдфилд взял авторучку и снова стал разглядывать ее кончик. — И я продлил его еще на год.

— Вы обошлись с ним по-хорошему, — сказал Тернер, не сводя глаз с Брэдфилда. — Сделали для него доброе дело.

— У него здесь не было никакого статуса, никаких гарантий на будущее. Он фактически стоял на пороге увольнения и знал это. Думаю, что это обстоятельство сыграло свою роль. Мы обычно больше дорожим людьми, от которых можем в любой момент избавиться.

— Вам было просто жаль его. Почему вы не хотите признать это? На мой взгляд, такая причина вполне убедительна.

— Да. Да, вероятно, мне было его жаль. В первый раз, когда он пришел, я пожалел его. — Брэдфилд теперь улыбался, но только собственной

глупости.

— Он выполнял свою работу хорошо?

— Он действовал необычными методами, но довольно эффективно. Предпочитал телефон написанному слову; впрочем, это объяснимо: он никогда не учился составлять официальные бумаги. К тому же английский не был его родным языком. — Он пожал плечами и повторил: — Словом, я взял его еще на год.

— Который истек в декабре. Совсем как лицензия. Лицензия на право работать, быть одним из нас, — Он продолжал внимательно наблюдать за Брэдфилдом. — На право шпионить. И вы снова возобновили ее?

— Да.

— Почему?

Опять секундное колебание, быть может, попытка что-то скрыть.

— На этот раз вам ведь не было его жаль? Не так ли?

— Мои чувства не имеют отношения к делу. — Брэдфилд резко положил перо. — Причины, по которым я оста вил его, носили совершенно объективный характер.

— А я ничего не сказал, но вы могли бы ведь и пожалеть его при этом.

— У нас не хватало людей и было очень много работы. После приезда инспекторов из Лондона аппарат советников сократили на двух человек, несмотря на мое реши тельное сопротивление. Наполовину урезали ассигнования. Не только Европа пришла в движение. Стабильности не было нигде. Родезия, Гонконг, Кипр… Английские войска метались из края в край, пытаясь потушить лесной пожар. Мы оказались и не в Европе, и не вне ее. Поговаривали о федерации северных стран. Один бог знает, какой дурак породил эту идею! — презрительно заметил Брэдфилд. — Мы стали прощупывать почву в Варшаве, Копенгагене и Москве. Мы вступали в заговоры против французов и на другой день затевали козни вместе с ними. В разгар всего этого мы все же ухитрились отправить на слом три чет верти нашего военного флота и девять десятых вооружения. Это было самое страшное, самое унизительное для нас время. В довершение всего как раз в этот момент Карфельд возглавил движение.

— И тогда Гартинг снова разыграл у вас ту же сцену?

— Нет, не ту же.

— Какую же? Наступило молчание.

— Он был более целеустремлен, более настойчив. Я все это почувствовал, но никак не реагировал. И я виню себя. Я ощутил какой-то новый оттенок в его поведении, но не стал разбираться, в чем дело. В то время, — продолжал он, — я отнес это за счет общей атмосферы напряженности, в какой мы все жили. Теперь я понимаю, что тогда он пошел ва-банк.

— И что же?

— Он начал с того, что, мол, работал ниже своих возможностей. Год прошел неплохо, но он знает, что может сделать больше. Мы переживаем трудные дни, и он хотел бы чувствовать, что по-настоящему участвует в общем деле стабилизации обстановки, Я спросил его, что он имеет в виду: мне казалось, что он и так забрал в свои руки все доступные ему функции. Гартинг ответил, что ведь уже декабрь, впервые, хоть и туманно, намекнув на свой договор, и что его, естественно, беспокоит дальнейшая судьба досье «Сведения об отдельных лицах». — Сведения о чем?

— Биографические сведения о деятелях, играющих важную роль в жизни Германии. Наш собственный секретный справочник «Кто есть кто». Мы обновляем его каждый год. В этом участвуют все — каждый сообщает сведения о тех

немецких деятелях, с которыми сталкивался. Те, кто занимается вопросами торговли, пишут о своих контактах среди коммерсантов, экономисты — об экономистах, атташе, отдел прессы и информации — все добавляют свои материалы. Большая часть этих сведений весьма нелестного характера, кое-что поступает из секретных источников.

— И аппарат советников все это обрабатывает?

— Да. И на этот раз тоже Гартинг рассчитал очень точно. Эта работа принадлежит к числу тех, что отвлекают моих сотрудников от их прямых обязанностей. К тому же прошли все сроки выпуска справочника. Де Лилл, который должен был этим заниматься, уехал в Берлин. Это дело висело у меня на шее.

— И вы поручили ему эту работу.

— Да, временно.

— Скажем, до следующего декабря?

— Скажем, так. Теперь легко объяснить, почему он добивался именно такого поручения. Составление этого справочника открывало ему доступ в любой отдел посольства. Справочник охватывает все отделы, все отрасли жизни Федеративной республики: промышленность, военные и административные круги. Получив

подобное поручение, он мог приходить в любой отдел, не вызывая никаких вопросов, мог брать папки в любых канцеляриях — торговой миссии, экономической, военно-морской, военной. Все открыли ему двери.

— И вам никогда не приходило в голову, что надо послать его документы на проверку?

— Никогда, — ответил Брэдфилд с прежней ноткой самоукоризны.

— Что ж, со всяким случается, — сказал Тернер негромко. — Значит, таким путем он получил доступ к нужным ему материалам?

— Это еще не все.

— Не все? Разве этого не предостаточно?

— У нас здесь есть не только архивы, существует еще система уничтожения устаревших дел. Такой порядок заведен очень давно. Цель его — освободить место в архиве для новых дел и избавиться от старых, которые больше не нужны. По виду работа эта чисто канцелярская, и во многих отношениях так оно и есть, и все же она очень важна. Существует определенный предел количества бумаг, которые архив в состоянии обработать, предел количества папок, которые он может вместить. Это похоже на проблему уличного движения: мы пишем больше бумаг,

чем можем переварить. Естественно, что эта работа тоже принадлежала к числу тех, за какие мы хватались, лишь когда позволяло время. Еще одно из проклятий аппарата советников. Потом мы о ней забывали до тех пор, пока из министерства не запрашивали последних данных на этот счет. — Он пожал плечами. — Я уже сказал: нельзя до бесконечности составлять больше бумаг, чем мы уничтожаем, даже в помещении таких размеров. Архив трещит по всем швам.

— И Гартинг предложил вам взять на себя это дело?

— Именно.

— И вы согласились?

— Как на временную меру. Я сказал, чтобы он попробовал и посмотрел, что у него получится. Он выполнял эту работу с перерывами в течение пяти месяцев. Я сказал ему также, что, если возникнут трудности, он может обратиться к де Лиллу. Он ни разу к нему не обратился.

— Где он делал эту работу? В своем кабинете? Брэдфилд поколебался лишь долю секунды.

— В архиве аппарата советников, где хранятся самые важные документы. Он имел также доступ в бронированную комнату. Он практически мог брать оттуда любые дела, не надо было только

зарываться. Даже регистрации того, что он брал, не велось. В итоге не хватает еще и нескольких писем — завканц сообщит вам необходимые подробности.

Тернер медленно встал и потер руки, будто хотел стряхнуть с них песок.

— Из сорока с чем-то недостающих папок восемнадцать относятся к досье «Сведения об отдельных лицах» и содержат материалы самого деликатного свойства о высокопоставленных немецких политических деятелях. Внимательное их изучение даст, несомненно, точное представление о наших самых сокровенных источниках. Остальные папки с грифом «совершенно секретно» охватывают англо-германские соглашения по ряду вопросов и содержат секретные договоры и секретные дополнения к опубликованным договорам. Если он задался целью поставить нас в трудное положение, он не мог сделать лучшего выбора. Некоторые из папок содержат документы сорок восьмого и сорок девятого годов.

— А особая папка? «Беседы официальные и неофициальные*?

— Мы называем ее «Зеленая». Она подлежит специальному хранению.

— Сколько таких «зеленых» в посольстве?

— Только эта одна. Она была на месте в бронированной комнате архива в четверг утром. Заведующий архивом заметил, что ее нет, в четверг вечером, и подумал, что она в работе. В субботу утром он был уже очень обеспокоен. В воскресенье доложил об этом мне.

— Скажите, — заговорил наконец Тернер, — что с ним произошло за последний год? Что случилось между двумя декабрями? Помимо Карфельда.

— Ничего особенного.

— Почему же вдруг вы прониклись к нему такой антипатией?

— Вовсе нет, — ответил Брэдфилд презрительно. — Поскольку я никогда не испытывал к нему никаких чувств — ни положительных, ни отрицательных, — этот вопрос не уместен. Просто за предшествующий год я узнал, какими методами он действует, как обрабатывает людей, как подлаживается к ним, чтобы добиться своего. Я стал видеть его насквозь, вот и все.

Тернер посмотрел на него в упор.

— И что же вы увидели?

Тон Брэдфилда был теперь четким, исключающим иной смысл и не допускающим толкований, как математическая формула.

— Обман. Мне казалось, что вам это должно быть уже ясно.

Тернер встал.

— Я начну с его кабинета.

— Ключи у начальника охраны. Вас уже ждут. Спросите Макмаллена.

— Я хочу видеть его дом, друзей, соседей. Если понадобится, буду говорить с иностранцами, с которыми он встречался. Придется, может быть, наломать дров, но лишь настолько, насколько потребует дело. Если вас это не устраивает, сообщите послу. Кто здесь заведует архивом?

— Медоуз.

— Артур Медоуз?

— Он самый.

На этот раз заколебался Тернер — оттенок неуверенности, нечто похожее даже на робость прозвучало в его тоне, совсем ином, чем прежде:

— Медоуз был в Варшаве, верно?

— Да, был.

Теперь он спросил уже увереннее:

— И список пропавших папок находится у Медоуза?

— И папок, и писем.

— Гартинг, разумеется, работал у него?

— Разумеется. Медоуз ждет вас.

— Сначала я осмотрю комнату Гартинга. — Это уже прозвучало как окончательное решение.

— Как хотите. Вы сказали еще, что собираетесь побывать в его доме…

— Ну и что же?

— Боюсь, что в настоящий момент это невозможно. Со вчерашнего дня он под охраной полиции.

— Это что — общее явление?

— Что именно?

— Полицейская охрана.

— Зибкрон на этом настаивает. Я не могу ссориться с ним сейчас.

— Это относится ко всем домам, арендуемым посольством?

— В основном к тем, где живут руководящие работники. Вероятно, они включили дом Гартинга из-за того, что он расположен далеко.

— Не слышу уверенности в вашем голосе.

— Не вижу других причин.

— Как насчет посольств стран «железного занавеса»? Он что, околачивался там?

— Он иногда ходил к русским. Не могу сказать, как часто.

— Этот Прашко, его бывший друг, политический деятель. Вы сказали, он был когда-то

попутчиком?

— Это было пятнадцать лет наз ад.

— А когда они перестали дружить?

— Сведения имеются в деле. Примерно лет пять на зад.

— Как раз тогда была драка в КJльне. Может быть, он дрался с Прашко?

— Все на свете возможно.

— Еще один вопрос.

— Пожалуйста.

— Договор с ним. Если бы он истекал… скажем, в прошлый четверг?..

— Ну и что?

— Вы бы его продлили еще раз?

— У нас очень много работы. Да, я бы его продлил.

— Вам, наверно, недостает этого Гартинга?

Дверь открылась, и вошел де Лилл. Его тонкое лицо было печально и торжественно.

— Звонил Людвиг Зибкрон. Вы предупредили коммутатор, чтобы вас не соединяли, и я разговаривал с ним сам.

— И что же?

— По поводу этой библиотекарши Эйк, несчастной женщины, которую избили в Ганновере.

— Что с ней?

— К сожалению, она умерла час назад. Брэдфилд молча обдумывал это сообщение.

— Выясните, где состоятся похороны. Посол должен сделать какой-то жест: пожалуй, послать не цветы, а телеграмму родственникам. Ничего чрезмерного — просто выражение глубокого сочувствия. Поговорите в канцелярии посла — там знают, что нужно. И что-нибудь от Англо-германского общества. Этим лучше займитесь сами. Пошлите еще телеграмму Ассоциации библиотекарей — они запрашивали насчет нее. И пожалуйста, позвоните Хейзел и сообщите ей. Она специально просила, чтобы ее держали в курсе.

Он был спокоен и превосходно владел собой.

— Если вам что-нибудь потребуется, — добавил он, обращаясь к Тернеру, — скажите де Лиллу.

Тернер наблюдал за ним.

— Итак, мы ждем вас завтра вечером. Примерно с пяти до восьми. Немцы очень пунктуальны. У нас принято быть в сборе до того, как они придут. Если вы пойдете прямо в его кабинет, может быть, вы захватите эту подушечку? Не вижу смысла держать ее здесь.

Корк, склонившись над шифровальными машинами, стягивал ленты с валиков. Услышав

какой-то стук, он резко повернулся. Его красные глаза альбиноса наткнулись на крупную фигуру в дверном проеме.

— Это моя сумка. Пусть лежит. Я приду попозже.

— Ладненько, — сказал Корк и подумал: легавый. Надо же! Мало того, что весь мир летит вверх тормашками. Джейнет может родить с минуты на минуту и эта бедняга в Ганновере сыграла в ящик, так еще к нему сажают в комнату легавого. Он был недоволен не только этим. Забастовка литейщиков быстро распространялась по Германии. Сообрази он это в пятницу, а не в субботу, «Шведская сталь» принесла бы ему за три дня чистой прибыли по три шиллинга на акцию. А пять процентов в день для Корка, безуспешно стремившегося пройти аттестацию, означали бы возможность приобрести виллу на Средиземном море. «Совершенно секретно, — прочитал он устало, — Брэдфилду. Расшифровать лично». Сколько это еще будет продолжаться? Капри… Крит… Специя… Эльба… «Подари мне остров, — запел он фальцетом, импровизируя эстрадную песенку, — мне одному». Корк мечтал еще, что когда-нибудь появятся пластинки с его записями: «Подари мне остров, мне одному, какой-нибудь

остров, какой-нибудь остров, только не Бонн».

5
ДЖОН ГОНТ

Понедельник. Утро

Толпа в холле рассеялась.

Электрические часы над закрытым лифтом показывали десять тридцать: те, кто не решился пойти в столовую, собрались у стола дежурного. Охранник аппарата советников заварил чай: прихлебывая из чашек, служащие беседовали вполголоса. В этот момент они и услышали его приближающиеся шаги. Каблуки на его башмаках были подбиты железными подковками, и каждый шаг отдавался в стенах из искусственного мрамора, точно эхо выстрелов в горной долине. Фельдъегери, обладающие свойственной солдатам способностью сразу распознавать начальство, осторожно поставили чашки и застегнули пуговицы на форменных куртках.

— Макмаллен?

Он стоял на нижней ступеньке, тяжело опираясь одной рукой на перила, сжимая в другой вышитую подушечку. По обе стороны от него коридоры с колоннами из хромированной стали

и опущенными ввиду чрезвычайного положения решетками, уходили в темноту, точно в какие-то гетто, отделенные от городского великолепия. Тишина вдруг наполнилась значением, и все предшествующее показалось глупым и ненужным.

— Макмаллен сменился с дежурства, сэр.

— А вы кто?

— Гонт, сэр. Я остался за него.

— Моя фамилия Тернер, Я проверяю здесь соблюдение правил безопасности. Мне нужно посмотреть двадцать первую комнату.

Гонт был невысокий, богобоязненный валлиец, унаследовавший от отца долгую память о годах депрессии. Он приехал в Бонн из Кардиффа, где водил полицейские машины. В правой руке у него болталась связка ключей, походка его была твердой и несколько торжественной. Когда Гонт вошел впереди Тернера в черное устье коридора, он был похож на шахтера, направляющегося в забой.

— Просто безобразие, что они тут творят, — говорил нараспев Гонт в темноту коридора, и голос его эхом от давался позади. — Питер Эдлок — он высылает мне из дому струны, у него есть брат здесь, в Ганновере, пришел сюда с нашими

войсками во время оккупации, женился на немке, открыл бакалейную торговлю. Так вот этот самый брат напуган до смерти: говорит, они все наверняка знают, что мой Джордж — англичанин. Что, мол, с ним будет? Хуже, чем в Конго. Привет, падре!

Капеллан сидел за пишущей машинкой в маленькой белой келье напротив коммутатора, над головой у него висел портрет жены, дверь была широко открыта для желающих исповедаться. За шнурок портрета был засунут камышовый крест.

— Доброе утро и тебе, Джон, — ответил он немного укоризненно, что должно было напомнить им обоим гранитное своевластие их валлийского бога.

Гонт снова повторил: «Привет!» — но не сбавил шага. Со всех сторон неслись звуки, указывавшие на то, что это учреждение, где говорят на разных языках: монотонно гудел голос старшего референта по печати, диктовавшего на немецком языке какой-то перевод; экспедитор пролаял что-то в телефонную трубку, издалека доносилось насвистывание — мелодичное и вовсе не английское: оно тянулось отовсюду, из всех соседних коридоров. Тернер уловил запах салями и еще какой-то

еды — видимо, пришло время ленча, — типографской краски и дезинфицирующих средств и подумал: все становится по-другому, когда добираешься до Цюриха — там ты уже, безусловно, за границей.

— Тут главным образом вольнонаемные из местных, — объяснил Гонт, перекрывая шумовой фон. — Им не разрешается подниматься выше, поскольку они немцы. — Чувствовалось, что он симпатизирует немцам, но сдерживает свои чувства — так симпатизирует медицинская сестра в той мере, в какой допускает ее профессия.

Налево отворилась дверь — они внезапно оказались в яркой полосе света, выхватившего из темноты убожество оштукатуренных стен и пожухлую зелень доски для объявлений на двух языках. Две девушки, появившиеся на пороге архива, отступили назад, пропуская Гонта и Тернера. Окинув их взглядом, Тернер подумал: вот мир, в котором он жил, — второсортный и чужеземный. Одна из девушек держала термос, другая несла кипу папок. Позади них, за окном с поднятыми металлическими шторами, он увидел стоянку машин и слышал рев мотоцикла: выехал один из посыльных. Гонт нырнул вправо, в другой коридор, и остановился у какой-то двери. Пока он

возился с замком, Тернер поверх его плеча прочитал табличку, висевшую в центре: «Гартинг, Лео. Претензии и консульские функции», — неожиданное свидетельство о живом или, может быть, неожиданная дань памяти мертвому.

Буквы первого слова, в добрых два дюйма высотой, закруглялись на конце и были заштрихованы красным и зеленым карандашом, а в словах «консульские функции», выписанных еще крупнее, буквы были обведены чернилами, чтобы придать им ту весомость, какой, по-видимому, требовал этот титул. Наклонившись, Тернер легонько провел пальцами по поверхности таблички: это была бумага, наклеенная на картон, и даже при слабом свете он мог различить тонкие карандашные линии, проведенные по линейке и ограничивавшие буквы сверху и снизу: или, может быть, они ограничивали рамки скромного существования, жизнь, оборванную обманом? «Обман. Мне казалось, что вам это должно быть уже ясно».

— Поторопитесь, — сказал он.

Гонт отпер замок. Тернер нажал на ручку, рывком распахнул дверь и снова услышал голос ее сестры, как тогда по телефону, и свой ответ, когда он швырнул трубку: «Скажи ей, что я уезжаю за

границу». Окна были закрыты. От линолеума на них пахнуло жаром. В комнате стоял запах резины и воска. Одна занавеска была чуть отдернута. Гонт протянул руку и поправил ее.

— Не трогайте. Отойдите от окна. И стойте здесь. Если кто-нибудь зайдет, отправьте его отсюда. — Он швырнул вышитую подушечку на стул и обвел глазами комнату.

Стол был с хромированными ручками — лучше, чем у Брэдфилда. Календарь на стене рекламировал фирму голландских импортеров, обслуживающих дипломатов. Несмотря на свою комплекцию, Тернер двигался очень легко: он осматривал, но ничего не трогал. Старая военная карта, разбитая на прежние зоны оккупации, висела на стене. Британская зона была выкрашена в ярко-зеленый цвет — оазис плодородия среди иностранных пустынь. Точно в тюремной камере, подумал он, максимум безопасности. Может, это из-за решеток. Отсюда только и бежать — всякий бы убежал на его месте! В комнате стоял какой-то чужеземный запах, но он не мог определить, какой именно.

— Просто удивительно, — заговорил Гонт, — тут очень многого не хватает, должен сказать.

Тернер не смотрел на него.

— Чего, к примеру?

— Не знаю. Всяких штуковин. Машинок разных. Это — комната мистера Гартинга, — объяснил Гонт, — он, мистер Гартинг, очень любит разные приспособления.

— Какие именно?

— Ну, вот у него был такой чайник со свистком, знаете? Можно было приготовить отличный чай в этой штуке. Жаль, что ее нет, право, жаль.

— Еще чего не хватает?

— Электрокамина. Новой конструкции с двумя спиралями. И еще лампы. Была настольная лампа, японская. Во все стороны поворачивалась. С переключателем, чтобы горела вполнакала. И энергии брала мало — он мне говорил. Но я такую не захотел себе купить: куда мне сейчас, когда сократили жалованье. Только я думаю, — продол жал он, словно желая успокоить Тернера, — что он увез ее домой, правда? Если, конечно, поехал домой.

— Да, да, я тоже так думаю.

На подоконнике стоял транзистор. Нагнувшись так, чтобы глаза оказались на уровне шкалы, Тернер включил его. Они сразу же услышали слащавый голос диктора Британских экспедиционных сил, читавшего комментарии о событиях

в Ганновере и о возможных успехах англичан в Брюсселе. Тернер медленно поворачивал ручку и передвигал указатель по освещенной шкале, прислушиваясь к вавилонской смеси языков — французский, немецкий, голландский.

— Мне показалось, вы сказали: соблюдение правил безопасности.

— Да, говорил.

— Но вы даже не посмотрели на окна и на замки.

— Посмотрю, посмотрю. — Он поймал славянскую речь и теперь сосредоточенно слушал. — Вы его хорошо знали, да? Часто заглядывали сюда на чашечку чая?

— Заглядывал. Если выдавалась минутка. Выключив радио, Тернер встал.

— Подождите за дверью и дайте мне ключи.

— Что же он такое сделал? — спросил Гонт в нерешительности. — Что случилось?

— Сделал? Ничего он не сделал. Он — в отпуске по семейным обстоятельствам. Я хочу остаться один, вот и все.

— Говорят, у него неприятности.

— Кто говорит?

— Люди.

— Какие неприятности?

— Не знаю. Может быть, автомобильная катастрофа? Он не был на репетиции хора и потом в церкви.

— Он что, плохо водит машину?

— Не знаю, по правде говоря.

Отчасти из упрямства, отчасти из любопытства Гонт остался у двери и смотрел, как Тернер открывает деревянный шкаф и заглядывает внутрь. Три фена для сушки волос, еще в упаковке, лежали на дне шкафа рядом с парой галош.

— Вы ведь друзья, верно?

— Не совсем. Только по хору.

— С кем же он особенно дружит? Может, с кем-нибудь еще из хора? Может, с какой-нибудь женщиной? — спросил Тернер.

— Он ни с кем не дружит.

— Для кого же он покупал вот это?

Фены были разного качества и разной конструкции, Цена, указанная на коробках, колебалась от восьмидесяти до ста марок.

— Для кого? — повторил Тернер.

— Для всех. Аттестованный дипломат или не аттестованный, для него это не имеет значения. Он всех обслуживает: устраивает дипломатическую скидку. Лео, он всегда готов помочь. Что бы вам ни вздумалось купить — радио там, или

посудомойку, или автомобиль, он устраивает не большую скидку, понятно?

— Знает ходы и выходы, так, что ли?

— Правильно.

— И небось берет комиссионные за труды, — почти вкрадчиво заметил Тернер. — Что ж, правильно делает.

— Я этого не говорил.

— И девушку вам устроит, если нужно? Мистер-Чего-Изволите, так?

— Вовсе нет! — ответил Гонт возмущенно.

— Какую же он получал выгоду?

— Никакой. Насколько мне известно.

— Просто он всеобщий друг, да? Хочет, чтоб его любили. Так?

— Мы все этого хотим, разве нет?

— Пофилософствовать любим?

— Всем готов помочь, — продолжал Гонт, не очень чувствуя перемену в тоне Тернера. — Вот спросите хотя бы Артура Медоуза. Как только Лео поступил в архив, ну, прямо на следующий же день он пришел сюда, вниз, за почтой. «Не беспокойтесь, — говорит он Артуру, — поберегите ноги, вы уже не так молоды, как прежде, у вас и без того хватает забот. Я принесу вам почту». Вот он какой, Лео. Услужливый. Святой человек,

можно сказать, если учесть, какие трудности он пережил.

— Какую почту он приносил?

— Всякую. Открытую и закрытую, он с этим не считался. Спускался вниз, расписывался за нее и нес Артуру.

— Так, понятно, — очень спокойно сказал Тернер. — А иной раз он забегал по дороге к себе, верно? Посмотреть, что тут у него делается, выпить чашку чаю?

— Верно, верно, — подхватил Гонт. — Всегда готов был услужить. — Он отворил дверь. — Ну, я оставляю вас здесь.

— Нет, не уходите, — сказал Тернер, продолжая наблюдать за ним. — Вы мне не помешаете. Останьтесь, Гонт, поговорим. Я люблю общество. Скажите, какие же у него были трудности?

Положив фены обратно в коробки, он вытащил полотняный пиджак, висевший на плечиках. Летний пиджак — вроде тех, что носят бармены. Из петлицы свешивалась засохшая роза.

— Какие же трудности? — повторил он, швырнув розу в мусорную корзину. — Можете мне довериться, Гонт. — Он снова почувствовал этот запах, запах гардероба, который заметил, но не мог сначала определить, — сладковатый, знако-

мый запах мужских лосьонов и сигар, какие в ходу на континенте.

— В детстве. Его воспитывал дядя.

Ощупав карманы пиджака, Тернер осторожно снял его с плечиков и приложил к своему мощному торсу.

— Невелик ростом?

— Модник, — сказал Гонт, — всегда одет с иголочки.

— Ростом с вас?

Тернер протянул ему пиджак, но Гонт брезгливо отступил.

— Меньше меня, — сказал он, не сводя, однако, глаз с пиджака. — Полегче на ногу. Мотылек. Двигался, будто танцевал.

— Педик?

— Конечно нет, — уже с возмущением ответил Гонт, краснея от одной мысли.

— Откуда вам знать?

— Оттуда, что он порядочный малый, — в ярости выпалил Гонт. — Даже если и сделал что не так.

— Набожный?

— Почитает религию. Очень. Никогда не позволит себе насмешки или хулы какой, хоть и иностранец.

Бросив пиджак на стул, Тернер протянул руку за ключами. Гонт нехотя отдал их.

— Кто это сказал, будто он сделал что-то дурное?

— Вы. Все чего-то вынюхиваете насчет него, примериваетесь. Мне это не нравится.

— Что же он такого мог натворить, хотелось бы мне знать? Почему мне приходится вот так вынюхивать?

— Один бог ведает.

— В мудрости своей. — Тернер открыл верхний ящик. — Есть у вас такая записная книжка?

На синем дерматиновом переплете записной книжки-календар был вытиснен золотом королевский герб.

— Нет.

— Бедняга Гонт. Что, не по чину? — Он перелистывал страницы от конца к началу. На какой-то страничке задержался, нахмурился, еще раз приостановился, записал что— то в своей книжечке.

— Такая полагается только советникам и тем, кто повыше, вот и все, — отрезал Гонт. — Я бы ее и не взял.

— Но он вам предлагал, правда? Это наверняка тоже был один из его приемников. Как он действовал? Стащит в канцелярии целую пачку и

раздает своим дружкам с нижнего этажа: «Берите, ребята, там наверху коридоры вымощены золотом. Берите на память от старого товарища». Так было, Гонт? И одна только христианская добродетель остановила вашу руку, да? — Закрыв книжку, он взялся за нижние ящики.

— А хотя бы и так. Вы все равно не имеете права шарить по его ящикам. Из-за такого пустяка. Подумаешь, стащил пачку записных книжек — не дом же он украл! — Его валлийский акцент, сломав все препоны, вырвался на конец на свободу.

— Вы верующий, христианин, Гонт, и лучше меня знаете о кознях дьявола. Мелкие проступки влекут за собой крупные. Сегодня вы украдете яблоко, завтра угоните грузовик. Вы-то знаете, как это бывает, Гонт. Что еще он рассказывал о себе? Может, были еще какие-нибудь воспоминания детства?

Он нашел нож для разрезания бумаги — тонкий серебряный нож с широкой плоской ручкой и при свете настольной лампы принялся разглядывать выгравированную надпись.

— «Л. Г. от Маргарет». Что это за Маргарет, хотелось бы мне знать?

— В первый раз про нее слышу.

— Он был когда-то помолвлен. Вы об этом зна-

ли?

— Нет, не знал.

— Мисс Айкман, Маргарет Айкман. Вам это что-нибудь говорит?

— Нет.

— А про свою службу в армии он что-нибудь рас сказывал?

— Он очень любил армию. Говорил, что в Берлине частенько ходил смотреть, как кавалеристы берут препятствия. Очень это любил.

— Он ведь служил в пехоте, так?

— По правде говоря, не знаю.

Тернер положил нож рядом с синей книжкой-календарем, еще что-то отметил в своем блокноте и взял со стола небольшую жестянку с голландскими сигарами.

— Курил?

— Любил выкурить сигару, это верно. Ничего, кроме сигар, не признавал. И при этом, заметьте, всегда носил с собой сигареты. Но я-то видел: сам курил только сигары. Кое-кто жаловался, я слыхал. Насчет сигар. Им не нравилось. Но Лео тоже с места не сдвинешь, если уж он чего захочет.

— Давно вы в посольстве, Гонт?

— Пять лет.

— Он с кем-то подрался в КJльне. Это уже на

вашей памяти?

Гонт заколебался.

— Удивительно, скажу я вам, как тут умеют прятать концы в воду. Есть такие слова: «Должен знать». У вас тут их понимают по-особому. Знают все, кроме тех, кто должен знать. Так что же все-таки тогда произошло?

— Не знаю. Говорят, ему поделом досталось. Я слыхал от моего предшественника. Однажды принесли Лео в та ком виде, что родная мать не узнала бы. Так ему и надо, сказали. Вот что рассказывали моему предшественнику. Учтите, Лео мог и на рожон полезть — что верно, то верно.

— Кто? Кто сказал это вашему предшественнику?

— Не знаю, не спрашивал. Не хотел совать нос в чужие дела.

— Он часто дрался?

— Нет.

— Может, там была замешана женщина? Скажем, Маргарет Айкман?

— Не знаю.

— Тогда почему вы говорите, что он мог полезть на рожон?

— Не знаю, — ответил Гонт, снова колеблясь между подозрительностью и врожденной тягой к

общению. — Вот вы, например, почему лезете на рожон? — пробормотал он, переходя в нападение, но Тернер игнорировал это.

— Правильно. Никогда не суй нос в чужие дела. Ни когда не доноси на ближнего. Это неугодно богу. Я преклоняюсь перед людьми, которые не отступают от своих принципов.

— Мне все равно, что он сделал, — продолжал Гонт, постепенно обретая мужество. — Он — неплохой человек. Немного резковат, пожалуй, но так оно и должно быть — он ведь не англичанин, а с континента. И все же не настолько он плох. — Гонт указал рукой на стол и выдвинутые ящики.

— Так можно сказать о каждом. Понятно? Нет людей, которые были бы настолько плохи… Так чему же он выучился, когда был малышом? Скажите мне. Чему он научился, сидя на дядюшкиных коленях?

— Он говорит по-итальянски, — вдруг сказал Гонт, будто кинул козырную карту, которую все время придерживал.

— Правда?

— Да, научился в Англии. В сельской школе. Другие ребята с ним не разговаривали, потому что он немец, тогда он стал уезжать на велосипеде

к военнопленным-итальянцам и разговаривать с ними. И с тех пор знает итальянский — выучил его навсегда. У него отличная память, скажу я вам. Он наверняка помнит каждое слово, которое хоть раз услышал.

— Здорово!

— Он мог стать настоящим ученым, имей он ваши возможности.

Тернер озадаченно посмотрел на него.

— Кто сказал вам, черт подери, что у меня были какие— то возможности?

Он выдвинул еще один ящик. Там лежал всевозможный хлам, какой неизбежно накапливается у каждого, в любом столе любого учреждения: машинка для сшивания бумаг, карандаши, клейкие ленты, иностранные монетки, использованные железнодорожные билеты.

— Как часто собирался хор, Гонт? Раз в неделю, кажется? Сначала миленькая такая репетиция, потом молитва, а после нее вы вместе забегали в придорожный бар вы пить стаканчик пива, и он вам рассказывал о себе. Потом, наверно, устраивались поездки за город. Для спевок. Мы все это любим, верно? Что-нибудь такое коллективное и в то же время духовное — спевки, всякие там комиссии, хоры. И Лео в этом участвовал, верно?

Знал всех и каждого, всем сочувствовал в их маленьких огорчениях, подбадривал, держал за ручку. Словом, как говорится, настоящая душа общества.

Все время, пока длилась беседа, Тернер записывал в свою книжку перечень найденных вещей: швейные принадлежности, пачка иголок, пилюли разного вида и сорта. Точно зачарованный, Гонт незаметно для себя подошел ближе. — Не только. Я живу на верхнем этаже — там есть квартира. Она была для Макмаллена, но он не мог туда въехать с такой кучей детей. Представляете, что было бы, если б они носились там наверху сломя голову. Спевки хора происходили в зале заседаний, по пятницам. Это по другую сторону холла, рядом с кассой. После спевки он обычно поднимался к нам на чашку чая. Я-то ведь частенько забегал сюда попить чайку. Ну, и мы, конечно, были рады отблагодарить его за все, что он для нас делал: вещи разные доставал и всякое такое. Он любил посидеть с нами за чаем, — добавил Гонт просто. — Любил камин. Мне всегда казалось, что ему нравится семейный уют, поскольку он сам несемейный.

— Он это вам говорил? Говорил, что у него нет семьи?

— Нет, не говорил.

— Откуда же вы знаете?

— Это и так ясно, тут и говорить незачем. Вот и образования он тоже не получил — можно сказать, сам выбился в люди.

Тернер нашел бутылочку с длинными желтыми пилюлями и, вытряхнув несколько штук на ладонь, осторожно понюхал их.

— И все это продолжалось много лет? Верно? Эти домашние беседы после репетиций?

— Нет, что вы. Он совсем не замечал меня еще несколько месяцев назад, и я вовсе не хотел навязываться — ведь он же дипломат. Только недавно он стал интересоваться мной. И этими иностранцами.

— Какими иностранцами?

Это Автомобильный клуб такой — для иностранцев.

— Поточнее — когда это было? Когда он заинтересовался вами?

— В январе, — сказал Гонт, теперь и сам озадаченный. — Да, я бы сказал, с января. Он как-то переменился с января.

— С января этого года?

— Да, да, именно, — ответил Гонт таким тоном, будто это впервые дошло до его сознания. — Точ-

нее, когда он начал работать у Артура, Артур очень повлиял на Лео. Он стал как-то задумчивее, что ли. Изменился к лучшему. Знаете, и моя жена тоже так считает.

— Ясно. В чем еще он изменился?

— Да вот в этом только. Задумчивее стал.

— Значит, с января, когда он заинтересовался вами. Бах! Наступает Новый год, и Лео делается задумчивым.

— В общем, он стал поспокойнее. Будто заболел. Мы прямо удивлялись. Я сказал жене… — Гонт почтительно понизил голос при одном упоминании о своей половине: — Не удивлюсь, если врач уже сделал ему предупреждение.

Тернер теперь снова смотрел на карту, сначала прямо, потом сбоку — так виднее были дырочки от булавок там, где стояли раньше войска союзников. В старом книжном шкафу лежала груда отчетов об опросах общественного мнения, газетные вырезки и журналы. Опустившись на колени, он принялся разбирать их.

— О чем еще вы говорили?

— Ни о чем серьезном.

— Просто о политике?

— Я люблю поговорить на серьезные темы, — сказал Гонт. — Но с ним как-то не хотелось

разговаривать: не знаешь, куда это тебя заведет.

— Он выходил из себя, что ли?

Вырезки касались Карфельдовского движения. Статистические отчеты показывали рост числа сторонников Карфельда.

— Нет, он был чересчур чувствительный. Как женщина: его очень легко было расстроить, ну прямо одним каким-нибудь словом. Очень чувствительный! И тихий. Вот почему я никак не мог поверить насчет КJльна. Я говорил жене: прямо не понимаю, как это Лео затеял драку, в него, верно, дьявол вселился. Но повидал он за свой век много. Это уж точно.

Тернер наткнулся на фотоснимок студенческих беспорядков в Берлине. Двое парней держали за руки старика, а третий бил его по лицу тыльной стороной ладони. Пальцы у старика торчали вверх, и в ярком свете прожектора костяшки белели, как на гипсовой скульптуре. Фотоснимок был обведен красной шариковой ручкой.

— Я что хочу сказать: с ним никогда не знаешь, не обидел ли его, — продолжал Гонт, — не задел ли больное место. Иногда я думаю, говорил я жене… по правде сказать, ей самой было с ним не просто… так вот, я ей говорил, что не хотелось бы мне видеть его сны.

Тернер встал. — Какие сны?

— Вообще сны. То, что он повидал в жизни, это же, наверно, снится ему. А видел он, говорят, многое. Все эти зверства.

— Кто говорит?

— Люди. Один из шоферов, например, Маркус. Он теперь от нас ушел. Он служил с ним вместе в Гамбурге в сорок шестом или вроде того. Страсть.

Тернер открыл старый номер «Штерна», лежавший на шкафу. Весь разворот был занят снимками беспорядков в Бремене. На одном фото Карфельд произносил речь с высокой деревянной трибуны, вокруг — вопящая в экстазе молодежь.

— По-моему, его это очень волновало, — продолжал Гонт, заглядывая Тернеру через плечо, — Он частенько заводил речь о фашизме.

— Вот как? — негромко проговорил Тернер. — Расскажите об этом, Гонт, меня интересуют такие темы.

— Что сказать? Иной раз, — Гонт явно начал нервничать, — он очень распалялся. Все это снова может случиться, говорил он, а Запад будет стоять в стороне. Банкиры вносят в это свою долю — вот все и начнется сначала. Еще он говорил, что социалисты там или консерваторы — это

теперь ничего не значит, раз решения принимаются в Цюрихе или в Вашингтоне. Это видно, он говорил, из последних событий. Что ж, все ведь правильно, и спорить не о чем.

На какое-то мгновение — будто выключилась звуковая дорожка — исчез шум уличного движения, машинок, голосов, и Тернер уже не слышал ничего, кроме биения собственного сердца.

— Какое же он предлагал лекарство? — спросил он тихо.

— Он его не знал.

— Скажем: никто не имеет права бездействовать.

— Он этого не говорил. — Уповал на бога?

— Нет, он не из верующих. Истинно верующих в душе.

— На совесть?

— Я сказал вам. Он сам не знал.

— Он никогда не говорил, что вы можете восстановить равновесие? Вы с ним вдвоем?

— Он совсем не такой, — ответил Гонт нетерпеливо. — Он не любит компаний. По крайней мере когда речь идет… ну, о том, что лично для него важно.

— Почему он не нравится вашей жене? Гонт заколебался.

— Она старалась быть поближе ко мне, когда он при ходил к нам, вот и все. Не из-за того, что он что-нибудь делал или говорил, просто ей хотелось быть ко мне поближе. — Он сниходительно улыбнулся. — У женщин бывает такое, вы понимаете. Это естественно.

— Подолгу он задерживался у вас? Случалось так, чтобы сидел часами? Болтал? Пялил глаза на вашу жену?

— Не смейте так говорить, — оборвал его Гонт. Тернер отошел от стола и, снова подойдя к шкафу, стал разглядывать цифры на подошве галош.

— А потом, он никогда долго не сидел у нас. Он уходил и работал по вечерам, вот что он делал. В последнее время. В архиве и в канцелярии. Он говорил мне: «Джон, я тоже хочу внести свой вклад». И право же, он вносил свой вклад. Он гордился тем, что сумел сделать за последние месяцы. Даже смотреть было приятно, так здорово он работал. Иногда засиживался за полночь, а иной раз и до утра.

Светлые, почти бесцветные глаза Тернера были прикованы к темному лицу Гонта.

— Вот как?

Он бросил галоши обратно в шкаф, они плюхнулись туда со стуком, странно прозвучавшим в

наступившей тишине.

— У него, знаете ли, была уйма работы. Куча работы. Слишком он хороший работник для этого этажа, вот что я скажу.

— И так повторялось каждую пятницу, начиная с января. После спевки он поднимался к вам, выпивал в уюте чашечку-другую чаю и сидел у вас, пока все здесь не успокоится, а тогда спускался вниз и работал в архиве?

— Как часы. Он и приходил-то уже готовый к работе. Сначала на репетицию хора, потом к нам на чашку чаю, пока остальные не очистят помещение, потом вниз, в архив. «Джон, — говорил он мне, — я не могу работать в суматохе: не переношу суеты. По правде говоря, я люблю тишину и покой. Уже годы не те, никуда от этого не уйдешь». Всегда у него был при себе портфель. Термос, возможно, пара сандвичей. Очень толковый человек, все умел.

— Конечно, расписывался в книге ночного дежурного? Гонт заколебался, только теперь осмыслив до конца, какую угрозу таит в себе этот спокойный, не допускающий недомолвок тон. Тернер захлопнул деревянные дверцы шкафа.

— Или вы, черт бы вас побрал, не утруждали этим себя? Конечно, неудобно все время соблю-

дать формальности, когда речь идет о госте. Притом о госте-дипломате, который удостоил вас визитом. Пусть себе приходит и уходит среди ночи, если ему вздумается, черт подери, вам-то что? Конечно, невежливо что-нибудь проверять, правда? Он ведь вроде как член семьи. Обидно нарушать согласие какими-то формальностями. И к тому же не по-христиански, вовсе не по-христиански. Вы, наверно, понятия не имеете, когда он уходил из посольства? В два? В четыре?

Гонт даже затаил дыхание, чтобы расслышать это, — так тихо говорил Тернер.

— В этом нет ничего плохого, я думаю? — спросил Гонт.

— И потом этот его портфель, — продолжал Тернер так же тихо. — Конечно, нехорошо разглядывать, что в нем лежит. Открыть термос, к примеру? Не по-божески. Не беспокойтесь, Гонт, тут нет ничего плохого. Ничего такого, чего нельзя было бы искупить молитвой и вылечить чаш кой хорошего чая. — Тернер стоял теперь у двери, и Гонт вынужден был повернуться к нему. — Вы просто играли в счастливую семью, вам нужно было, чтобы он приласкал вас, и тогда вы чувствовали себя хорошо. — В голосе его появился валлийский акцент — жестокая пародия

на Гонта: — Смотрите, как мы благородны… как любим друг друга… Смотрите, как шикарно мы живем — принимаем у себя настоящего дипломата… Поистине мы — соль земли… У нас всегда найдется что пожевать… Сожалею, что вы не можете попользоваться и женой, но это уж моя привилегия… Что ж, Гонт, вы проглотили всю приманку целиком. Называетесь охранником, а дали соблазнить себя и положить в постель за полкроны. — Он толчком распахнул дверь. — Гартинг в отпуске по семейным обстоятельствам, не забывайте этого, если не хотите напортить себе еще больше.

— Может, так ведется там, откуда явились вы, — вдруг сказал Гонт, будто внезапно прозрев, — но я живу в другом мире, мистер Тернер, и не пытайтесь отнять его у меня. Я делал для Лео все, что мог, и буду делать для него, что смогу. Не знаю, почему вы все перевернули по-своему. Все вы изгадили, все.

— Убирайтесь к черту! — Тернер сунул ему ключи, но Гонт не взял их, и они упали к его ногам. — Если вы что-нибудь еще знаете про него, еще какую-нибудь интересную сплетню, лучше скажите мне сейчас. Быстро. Ну?

Гонт покачал головой.

— Уходите, — сказал он.

— Что еще говорят люди? Что-нибудь ведь болтали в хоре, верно, Гонт? Можете мне сказать, я вас не съем.

— Ничего я не слыхал.

— Что думает о нем Брэдфилд?

— Откуда мне знать? Спросите у Брэдфилда.

— Он ему симпатизировал?

Лицо Гонта потемнело от негодования.

— Не считаю нужным говорить об этом, — ответил он резко, — не имею привычки сплетничать о своих начальниках.

— Кто такой Прашко? Говорит вам что-нибудь эта фамилия?

— Мне нечего больше сказать. Я ничего не знаю. Тернер показал на небольшую кучку вещей на столе.

— Отнесите это в шифровальную. Они мне понадобятся позже. И вырезки тоже. Передайте их тамошнему сотруднику, и пусть распишется за них, ясно? Как бы он ни был вам разлюбезен. И составьте еще список всего, что пропало. Всего, что Гартинг взял с собой.

Он не пошел к Медоузу сразу, а вышел из здания и постоял немного на полоске травы за автомобильной стоянкой. Дымка тумана висела над

пустырем, и шум уличного движения накатывался, как грохот морского прибоя. Темная решетка строительных лесов закрывала здание Красного Креста, сверху над ним нависал оранжевый кран, и здание было похоже на нефтеналивную баржу, бросившую якорь на мостовой. Полицейские смотрели на Тернера с любопытством — он стоял неподвижно и не сводил глаз с горизонта, хотя весь горизонт заволокло тучами. Наконец — точно по команде, которой они не слышали, — он повернулся и медленно пошел назад, к главному входу.

— Вам нужно выправить постоянный пропуск, — сказал охранник с лицом хорька. — Ходите весь день туда-сюда.

В архиве стоял запах пыли, сургуча и типографской краски. Медоуз ждал его. Он казался изможденным и очень усталым. Он даже не шелохнулся, когда Тернер направился к нему, пробираясь между столами и папками, — просто смотрел на него, отчужденно и презрительно.

— Почему им понадобилось прислать именно вас? — спросил он. — Что, никого другого нет? Кого вы на этот раз намерены погубить?

6
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ ПОМНИТ

Понедельник. Утро

Они стояли в небольшом святилище, в сейфе, облицованном изнутри стальными плитами, который служил и бронированной комнатой, и кабинетом. Окна были забраны двойными решетками — тонкой проволочной сеткой и тяжелыми стальными прутьями. Из соседней комнаты непрерывно доносились шаги и шелест бумаги. Медоуз был в черном костюме, со множеством булавок, вколотых в лацканы его пиджака. Стальные шкафы, как часовые, выстроились вдоль стен. У каждого — номер на дверце и секретный замок с шифром.

— Из всех людей, которых я поклялся больше никогда не видеть…

— …Тернер стоит на первом месте. Ладно, ладно. Не у вас одного. Давайте не будем говорить об этом.

Он сели.

— Она не знает, что вы здесь, — сказал Медоуз. — Я не скажу ей, что вы здесь.

— Ладно.

— Он встречался с ней всего несколько раз. Между ними ничего не было.

— Я не буду попадаться ей на глаза.

— Да, — сказал он, глядя не на Тернера, а мимо него, на шкафы, — да, вы не должны ей попадаться.

— Постарайтесь забыть, что это я, — сказал Тернер. — Я вас не тороплю.

На мгновение лицо Тернера словно утратило свое жесткое выражение — на грубые черты его легли тени, и оно стало почти таким же старым, как у Медоуза, и таким же усталым.

— Я все расскажу вам сразу, — сказал Медоуз. — И — конец. Я расскажу вам все, что знаю, и вы уберетесь отсюда.

Тернер кивнул.

— Все началось с Автоклуба для иностранцев, — сказал Медоуз. — Там я, в сущности, и познакомился с ним. Я люблю машины, всегда их любил. Специально перед выходом на пенсию купил себе «ровер», с цилиндром на три литра…

— Давно вы здесь?

— Год. Да, уже год.

— Приехали прямо из Варшавы?

— Нет, некоторое время мы пробыли в Лондоне.

Потом меня послали сюда. Мне было пятьдесят восемь, оставалось дослужить два года. После Варшавы я решил, что буду относиться к вещам поспокойнее. Хотелось позаботиться о ней, помочь ей оправиться…

— Ладно, ладно.

— Я, как правило, мало куда хожу, но в этот клуб вступил. Там народ главным образом из Англии и из стран Содружества, но приличные люди. Я считал, что это нам вполне подойдет — встречи раз в неделю, летом на воздухе, зимой — за столом. Понимаете, я мог брать туда Майру, вернуть ее к привычной жизни, приглядывать за ней… И по том, она сама этого хотела. Была растеряна, искала общества. Кроме меня, у нее ведь никого нет.

— Ладно, ладно, — сказал Тернер.

— Там собрался хороший народ к тому времени, когда мы вступили в этот клуб; впрочем, как во всяком клубе, и в нашем были свои взлеты и падения — ведь все дело в том, кто в правлении. Выберешь порядочных людей — и все получается очень хорошо и интересно, выберешь плохих — и начинаются склоки и всякое такое.

— Гартинг там был, конечно, на главных ролях?

— Не торопите меня, ладно? Дайте говорить, как я хочу. — Медоуз сказал это твердо и неодобрительно. Так отец делает замечание сыну. — Нет, он не был там на главных ролях, во всяком случае, в то время. Он был рядовым членом клуба, вот и все, обычным рядовым членом. Мне кажется, и ходил он туда редко, может, на одно из шести собраний. Вообще-то он не считался там своим. Он ведь имел дипломатический ранг, а это клуб не для дипломатов. В середине ноября у нас там было годичное собрание. Неужели на этот раз у вас нет при себе вашей черной книжицы?

— В ноябре, — сказал Тернер, никак не реагируя, — пять месяцев назад. Годичное собрание.

— Странное было собрание, я бы сказал. Своеобразная атмосфера. Карфельд уже полтора месяца как начал действовать, и мы все ждали, что будет дальше. Председательствовал Фрэдди Лакстон — он в то время уже знал о своем назначении в Найроби; Билл Эйнтри был секретарем по культурно-массовым делам — он получил как раз уведомление о переводе в Корею. Все мы нервничали: надо было выбрать новое правление, рассмотреть все вопросы, стоявшие на повестке дня, и договориться о зимнем пикнике за город. Тут-то вдруг и выскочил Лео, и в известном смыс-

ле именно тогда он и сделал первый заход в мой архив.

Медоуз умолк.

— Понять не могу, как это я так оплошал, ну прямо понять не могу, — сказал он.

Тернер ждал.

— Говорю вам, мы никогда и не слышали о нем ничего, не знали, что его интересует наш клуб. И потом, у него была такая репутация…

— Какая репутация?

— Ну, говорили, что он человек несолидный. Без роду и племени. Пустой человек. Ходили какие-то слухи насчет КJльна. Мне, честно говоря, не нравилось то, что я о нем слышал, и мне не хотелось, чтобы он встречался с Майрой.

— Какие слухи насчет КJльна?

— Сплетни, ничего больше. Он там подрался. Ввязался в драку в ночном ресторане.

— Подробности неизвестны?

— Неизвестны.

— Кто еще был там?

— Понятия не имею. О чем я говорил?

— О клубе. О годичном собрании клуба.

— Да, поездка за город. «Так какие будут предложения?» — спросил Билл Эйнтри. И Лео тут же вскочил. Он сидел примерно на три ряда позади

меня. «Смотри-ка, — говорю я Майре, — что это он вдруг?» Лео сказал, что у него есть предложение. По поводу зимней поездки за город. Он знает одного старика в КJнигсвинтере, у которого есть несколько двухпалубных прогулочных барж. Старик этот очень богат и очень любит англичан, занимает высокое положение в Англо-германском обществе. И этот старый господин согласился предоставить нам две баржи и команду, чтобы прокатить весь клуб до Кобленца и обратно. В виде благодарности за какую-то услугу, оказанную ему англичанами во времена оккупации. У Лео всегда были знакомства с такими людьми, — сказал Медоуз, и улыбка ненадолго озарила его грустное лицо. — Надо будет оплатить проезд, ром и кофе в пути и большой обед в Кобленце. Лео уже все рассчитал. Он думает, что вместе с подарком его другу это обойдется в двадцать одну марку восемьдесят на каждого, — Медоуз остановился. — Я не могу говорить быстрее, не привык.

— Я ведь ничего не сказал.

— Вы все время торопите меня, я это чувствую, — раздраженно ответил Медоуз и вздохнул. — Они попались на эту удочку, все мы попались — и члены правления, и остальные. Не

мне вам объяснять, каковы люди. Если человек твердо знает, чего он хочет…

— А он знал, чего хочет.

— Может, кое-кто и подумал, что он выслуживается, но всем было безразлично. Некоторые из нас считали, честно говоря, что он возьмет себе комиссионные, но, пожалуй, он их и заработал. В любом случае плата была довольно умеренная. Билл Эйнтри собирался уезжать, ему было все равно, он поставил предложение на голосование. Фрэдди Лакстон уже сидел на чемоданах, ему тоже ни до чего не было дела. Он поддержал предложение. Оно было принято, и решение занесено в протокол, никто не сказал ни звука против. Как только собрание закончилось, Лео подошел к нам с Майрой, улыбаясь во весь рот. «Ей очень понравится, — сказал он, — уверен, что Майре понравится. Очень приятная поездка по реке. Она будет в восторге». Будто все это он устроил специально для Майры. Я сказал: «Да, конечно», — и предложил ему выпить стаканчик. Мне показалось, что получается нехорошо, что бы там про него ни говорили, но он так старался, и никто не обратил на это ровно никакого внимания. Мне стало жаль его. И потом, я был ему благодарен, — сказал Медоуз просто, — да и сей час еще

благодарен — это была чудесная поездка.

Он снова замолчал, и снова Тернер ждал, пока его собеседник справится со своим волнением и своими затаенными чувствами. Через зарешеченное окно в комнату доносилось неустанное биение железного сердца Бонна: далекий грохот кранов и буров, стенания ошалело мчащихся куда-то автомобилей.

— Честно говоря, я думал, что все это — подходы к Майре, — сказал наконец Медоуз. — Признаюсь, я следил за ним. Но ничего не было, даже намека, ни с той, ни с другой стороны. Уж по этой-то части я теперь достаточно наблюдателен. После Варшавы.

— Я вам верю.

— Мне все равно, верите вы мне или нет. Это чистая правда.

— И на этот счет у него тоже была неважная репутация?

— В какой-то мере.

— С кем же у него был роман?

— Я продолжу свой рассказ, если не возражаете, — сказал Медоуз, разглядывая свои руки. — Не собираюсь распространять эти грязные сплетни. А уж меньше всего — сообщать вам. Здесь болтают много чепухи, слушать тошно.

— Я выясню, — сказал Тернер, и лицо его окаменело, как у мертвеца. — Придется потратить больше времени, но пусть это вас не беспокоит.

— Было ужасно холодно — куски льда плыли по воде, — продолжал Медоуз, — и очень красиво, если вы способны это понять. Все было так, как обещал Лео: ром и кофе для взрослых, какао для детишек. Все были довольны и трещали, как сверчки. Мы выехали из КJнигсвинтера и, прежде чем подняться на борт, выпили по стаканчику у него дома. И с той минуты Лео уже не отходил от нас. От меня и от Майры. Он относился к нам по-особому, иначе не скажешь. Словно кроме нас никто больше для него не существовал. Майра была в восторге. Он укутал ее шалью, рассказывал забавные истории… Я не слышал, чтобы она когда-нибудь так смеялась со времен Варшавы. Она все повторяла: «Уже давно мне не было так хорошо».

— Какие же это забавные истории?

— Все больше о себе самом. Одна, помню, была о том, как он в Берлине вез тачку с папками через площадь во время учебных занятий кавалерии. Старшина на коне, а он, Лео, внизу со своей тачкой… Он умел подражать разным людям — то он кавалерист на лошади, то — гвардейский

капрал. Он даже умел изображать звук трубы и разное другое. Просто поразительно. Поразительная способность. Очень занятный человек Лео. Очень, — Он посмотрел на собеседника, точно ожидая возражений, но лицо Тернера оставалось бесстрастным. — Когда мы ехали назад, он отвел меня в сторонку: «Артур, два слова на ушко». Типично для него это «на ушко». Вы ведь знаете, как он разговаривает.

— Нет, не знаю.

— Доверительно. Будто с вами одним. «Артур, — сказал он, — Роули Брэдфилд вызывал меня. Они хотят, чтобы я перешел в архив и помог вам, но, прежде чем сказать ему «да» или «нет», я хочу знать, что думаете об этом вы». Предоставил решать мне, понимаете. Если этот план мне не по нутру, он откажется — вот на что он намекал. Ну, признаться, это было для меня полнейшей неожиданностью, я не знал, что и подумать: как-никак он второй секретарь… что— то тут неладно — такова была моя первая реакция. И честно говоря, я не до конца поверил ему. Поэтому я спросил: «Есть у вас опыт работы в архиве?» Он ответил, что кое-какой опыт есть, но работал он там очень давно, хотя всегда подумывал о том, чтобы вернуться в архив.

— Когда же это было?

— Что когда было?

— Когда прежде он работал в архивах?

— Кажется, в Берлине. Знаете, как-то неудобно спрашивать Лео о его прошлом. Никогда не знаешь, что можешь услышать в ответ. — Медоуз покачал головой. — И вот он задает такой вопрос. Мне сразу показалось, что тут что-то не так, но что я мог ему сказать? «Это должен решать Брэдфилд, — ответил я. — Если он вас ко мне посылает и вы согласны перейти в архив, работы у нас хватит». Честно сказать, какое-то время это меня тревожило, я даже собирался переговорить с Брэдфилдом, но все откладывал. Лучше всего, подумал я, не торопить события. Может, об этом и не будет больше речи. Сначала так оно и вышло. В мире положение снова осложнилось. В Англии начался правительственный кризис, в Брюсселе — золотая лихорадка. А тут Карфельд стал действовать очень бурно и активно по всей стране. Из Англии приезжали делегации, профсоюзы выступали с протестами, ветераны устраивали встречи старых боевых товарищей — словом, происходило бог знает что. Архив и канцелярия гудели как улей, и Гартинг совершенно вылетел у меня из головы. К тому времени он уже был в

клубе секретарем по культурно-массовым делам, но вне клуба я почти не встречался с ним. Короче, было не до него. Слишком много других забот.

— Понятно.

— И вдруг Брэдфилд посылает за мной. Как раз перед праздниками — двадцатого декабря. Сначала спрашивает, как я справляюсь с уничтожением устаревших дел. Я был несколько смущен, по правде говоря, у нас и без того хватало работы последние месяцы. Об этих самых устаревших делах мы и думать позабыли.

— Прошу вас, ничего теперь не опускайте: мне нужны все подробности.

— Я ответил, что дело идет очень медленно. Тогда, спросил он, что я скажу, если он пришлет мне кого-нибудь в помощь, кого-нибудь, кто доделает эту работу. Есть предложение, продолжал он, пока еще только предложение, он хотел сначала поговорить со мной, — так вот, есть предложение послать ко мне в помощь Гартинга.

— Чье предложение?

— Он не сказал.

Они оба вдруг осознали весь смысл сказанного, и каждый по-своему был озадачен.

— Кто бы ни подал такую мысль Брэдфилду, — сказал Медоуз, — все равно это была нелепица.

— Вот и я так подумал, — признался Тернер, и они снова помолчали. — Словом, вы ответили, что согласны взять его?

— Нет, я сказал правду. Сказал, что Гартинг мне не нужен.

— Не нужен? Вы сказали это Брэдфилду?

— Не нажимайте на меня. Брэдфилд прекрасно знал, что мне никто не нужен. Во всяком случае, для уничтожения устаревших дел. Я зашел в министерский архив, когда был в Лондоне, и поговорил там. Это было в ноябре прошлого года, когда началась вся эта чехарда с Карфельдом. Я сказал, что меня беспокоит задержка с уничтожением устаревших дел, и спросил, можно ли это отложить, пока обстановка не разрядится. Они ответили, чтобы я не ломал над этим голову.

Тернер не сводил с него глаз.

— И Брэдфилд знал об этом? Вы уверены, что Брэдфилд знал об этом?

— Я направил ему запись этой беседы. Но он даже не упомянул о ней. Я после спрашивал его помощницу, и она сказала, что точно помнит, как передала ему запись беседы.

— Где же эта запись? Где она теперь?

— Пропала. Это была запись на отдельных листках, и Брэдфилду надлежало решить, сохра-

нить ее или уничтожить. Но в архиве-то об этом прекрасно помнят: они очень удивились, когда узнали потом, что мы все-таки занялись этой работой.

— С кем вы разговаривали в архиве?

— Один раз — с Максуэллом, другой раз — с Каудри.

— Вы напоминали об этом Брэдфилду?

— Я начал было говорить, но он сразу прервал меня. Не дал слова сказать. «Все решено, — заявил он. — Гартинг придет к вам в середине января и займется сведениями об отдельных лицах и уничтожением устаревших дел». Другими словами: ешь, что дают. «Можете забыть, что он — дипломат, — сказал Брэдфилд, — относитесь к нему как к подчиненному. Относитесь к нему как хотите. Но он приходит к вам в середине января, и это — дело решенное». А Брэдфилд ведь, знаете, не церемонится с людьми. В особенности с такими, как Гартинг.

Тернер писал что-то в своей книжечке, но Медоуз не обращал на это внимания.

— Так он попал ко мне. Все это — правда. Я не хотел его, я не доверял ему, во всяком случае, не во всем и не сразу. По-моему, я дал ему это понять. У нас и без того было слишком много хлопот, я

просто не хотел тратить время на обучение такого человека, как Лео. Что мне было делать с ним?

Девушка внесла чай. Коричневый мохнатый шерстяной колпак прикрывал чайник, каждый кубик сахара был упакован в отдельную бумажку с этикеткой «Наафи». Тернер улыбнулся девушке, но она даже бровью не повела. Стало слышно, как кто-то кричит, повторяя слово «Ганновер».

— Говорят, и в Англии дела неважные, — сказал Медоуз. — Беспорядки, демонстрации, всякие протесты. Что это вселилось в ваше поколение? **Что** мы вам сделали? Вот чего я никак не могу понять.

— Мы начнем с его прихода, — сказал Тернер. «Вот каково это — иметь отца, с которым хочешь поделиться, — вера в ценности ради них самих и пропасть шириной с Атлантику, разделяющая поколения».

— Я сказал Гартингу, когда он пришел: «Лео, держитесь в стороне, не вертитесь под ногами и не мешайте другим сотрудникам». Он повел себя кротко, как ягненок: «Очень хорошо, Артур, как вы сказали, так и будет». Я спросил, есть ли у него работа для начала. Он ответил, что да, на некоторое время ему хватит работы с досье «Сведения об отдельных лицах».

— Все это похоже на сон, — сказал наконец Тернер негромко, отрываясь от своей книжечки. — Волшебный сон. Сначала он забирает в свои руки клуб. Единоличный захват власти. Настоящая партийная тактика. Беру на себя всю грязную работу, а вы все спите спокойно. Потом обводит вокруг пальца вас, потом Брэдфилда, и через два месяца в его распоряжении оказывается весь архив. Как он вел себя? Заносчиво? Вероятно, помирал со смеху.

— Вел он себя очень робко, вовсе не заносчиво. Я бы даже сказал, приниженно. Совсем не похоже на то, что мне о нем говорили.

— Кто говорил?

— Ну… не знаю. Очень многие не любили его. А еще больше таких, кто ему завидовал.

— Завидовал?

— Он ведь аттестованный, у него дипломатический ранг. Хоть он и временный. Говорили, что за две недели он возьмет в свои руки весь наш отдел и будет получать десятипроцентную надбавку за папки. Знаете, как люди говорят в таких случаях. Но он переменился. Все признали это, даже Корк и Джонни Слинго. Они говорили, что это произошло, когда обострилась обстановка. Это его отрезвило. — Медоуз покачал головой, словно

ему было неприятно думать о том, что вот, мол, хороший человек свернул на дурной путь. — И он оказался полезен.

— Ну, еще бы. Он взял вас штурмом.

— Не знаю, как он это сумел. Он ничего не знал об архивах, по крайней мере таких, как у нас. И хоть убейте меня, не пойму, как он сумел так сблизиться с сотрудниками, что они отвечали ему, когда он спрашивал. Так или иначе, а к середине февраля досье «Сведения об отдельных лицах» было составлено, подписано и передано куда нужно, и работу с уничтожением устаревших дел он тоже подогнал. А каждый из нас был занят своим: Карфельд, Брюссель, кризис коалиционного правительства и все прочее. И среди всего этого хаоса — Лео, неколебимый как скала, трудился над своими многочисленными мелкими поручениями. Ему ничего не приходилось повторять дважды. В этом, мне кажется, половина его успеха. Он собирал обрывки информации, копил и потом сообщал вам же через несколько недель, когда вы об этом и думать забыли. По-моему, он запоминал каждое сказанное ему слово. Он умел слушать даже глазами — вот что такое Лео. — Медоуз покачал головой, вспоминая. — «Человек, который все помнит» — так прозвал

его Джонни Слинго.

— Полезное качество. Для сотрудника архива, разумеется.

— Вы видите все это в ином свете, — сказал наконец Медоуз. — Вы не в состоянии отличить хорошее от дурного.

— Скажите мне, когда я пойду по неверному пути, — попросил Тернер, продолжая писать. — Я буду вам благо дарен, очень благодарен.

— Уничтожение старых дел — довольно сложная штука, — продолжал Медоуз, словно размышляя над тайнами своего ремесла. — Сначала вы думаете, что это очень просто. Вы выбираете дело побольше, скажем из двадцати пяти томов. Ну, к примеру, «Разоружение». Это целый мешок, тяжелый как камень. Сперва вы заглядываете в последние папки, чтобы выяснить, какой там материал и к какому времени он относится. Так. Что же вы находите? Демонтаж оборудования в Руре, 1946 год. Политика Контрольной комиссии по выдаче лицензии на стрелковое оружие, 1949 год. Восстановление немецкого военного потенциала, 1950 год. Некоторые из этих бумаг так устарели, что вызывают смех. Вы смотрите в текущие документы для сравнения, и что вы там находите? Боеголовки для бундесвера. Одно

от другого отделяют миллионы миль. Ладно, говорите вы, будем жечь старые бумаги, они больше не нужны. По крайней мере пятнадцать папок можно выбросить. Кому у нас поручено заниматься разоружением? Питеру де Лиллу. Надо его спросить; «Скажите, пожалуйста, можно нам уничтожить папки по шестьдесят шестой год?» «Не возражаю», — говорит он, и все в порядке. — Медоуз покачал головой. — Только на самом деле ничего не в порядке. Даже наполовину не в порядке. Нельзя просто выдрать бумаги из десяти папок и бросить их в огонь. Во-первых, существует регистрационная книга — кто-то должен аннулировать в ней все записи! Кроме того, имеется картотека — из нее нужно вынуть соответствующие карточки. Есть в этих папках договоры? Есть — значит, согласуйте с правовым отделом. Заинтересованы в этих бумагах военные? Согласуйте с военным атташе. Имеются копии в Лондоне? Нет. Мы сидим и ждем два месяца: ни один оригинал, не имеющий копии, не может быть уничтожен без письменного разрешения архива министерства. Теперь вам понятно?

— Суть дела ясна, — ответил Тернер, ожидая дальнейшего.

— Потом еще перекрестные ссылки, другие папки из той же серии. Как уничтожение скажется на них? Нужно ли их тоже уничтожить? Или для верности следует кое-что из дела сохранить? Прежде чем ты окончательно разберешься, надо порыскать по всему архиву и заглянуть в каждую щель. Не остается ничего сокрытого. Работе этой конца нет, если ты за нее взялся.

— Как я понимаю, это устраивало его на все сто процентов?

— Никаких ограничений, — заметил Медоуз просто, будто отвечая на вопрос. — Вас это может возмутить, но я считаю, что это — единственно возможная система. Каждый может брать любую бумагу — вот мое правило. Каждый, кого ко мне присылают. Я доверяю им. Иначе в нашем отделе работать невозможно. Я не в состоянии ходить и вынюхивать, кто что читает и зачем. Правильно? — спросил он, не обращая внимания на удивленный взгляд Тернера. — Лео чувствовал себя как рыба в воде. Просто удивительно. Он был счастлив. Ему нравилось работать здесь, и скоро я тоже был рад, что он пришел к нам. Ему нравились сотрудники. — Медоуз помолчал. — Единственное, против чего мы возражали, — продолжал он с неожиданной улыбкой, — это

невообразимые сигары, которые он курит. По-моему, они голландские, с Явы. Зловоние от них — на все помещение. Мы поддразнивали его, но он продолжал свое. А теперь вот мне их словно не хватает, — продолжал Медоуз негромко. — Он был не в своей среде в аппарате советников, и первый этаж, на мой взгляд, тоже не подходил ему, а у нас здесь как раз то, что ему нужно. — Он кивнул в сторону закрытой двери. — У нас тут иногда как в магазине: приходят клиенты, ну, и наши люди — Джонни Слинго, Валери… они его тоже полюбили. Ничего другого не скажешь. Все были настроены против него, когда он пришел, и за одну неделю привязались к нему. Так обстояло дело. У него был под ход к людям. Я знаю, что вы думаете: мол, сумел подольститься ко мне, так вы скажете. Что ж, пусть так. Всякому хочется, чтобы его любили, а он любил нас. Что ж, я одинок. Майра причиняет мне немало хлопот, я оказался плохим отцом и никогда не имел сына. Наверно, и это все сыграло какую-то роль, хотя он только на десять лет моложе меня. Может быть, разница кажется больше оттого, что он маленького роста.

— Любит он поухаживать за женщинами? — спросил Тернер скорее для того, чтобы прервать неловкое молчание, а не потому, что заранее

обдумал свой вопрос.

— Да нет, так только — поддразнивает их.

— Слышали вы когда-нибудь о женщине по фамилии Айкман?

— Нет.

— Маргарет Айкман. Они были помолвлены, она и Лео.

— Нет, не слыхал.

Они все еще не смотрели друг на друга.

— И работа ему нравилась, — продолжал Медоуз. — В эти первые недели. Он, по-моему, раньше не понимал, как много знает по сравнению со всеми нами. Знает Германию, я хочу сказать. Ее корни, почву.

Он замолчал, вспоминая, может быть, то, что было пятьдесят лет назад.

— И этот мир он тоже знает, — добавил Медоуз, — знает до тонкостей.

— Какой мир?

— Послевоенную Германию. Оккупацию, те годы, о которых больше не желают помнить. Знает как собственную ладонь. «Артур, — говорил он мне, — я видел эти города, когда они были всего лишь стоянками для машин, я слышал, как разговаривали эти люди, когда даже язык их был под запретом». Иногда это уводило его в сторону.

Иной раз я видел, что он сидит тихо как мышь, будто зачарованный папкой, которую читает. Случалось, он поднимет голову и смотрит вокруг: нет ли кого-нибудь, кто может на минутку оторваться и послушать, на что он наткнулся. «Вот, — скажет, — видели? Мы раскассировали эту фирму в сорок седьмом, посмотрите на нее теперь». А то вдруг погрузится в оцепенение и уйдет в себя — там уж он один на один с собой. Мне кажется, ему бывало иной раз тяжело оттого, что он столько знал. Странно, но порой он, по-моему, чувствовал себя виноватым. Он много говорил нам о своей памяти. «Вы заставляете меня уничтожать мое детство, — сказал он однажды. Мы рвали какие-то папки для уничтожения. — Вы делаете из меня старика». Я тогда ответил: «Если я делаю это, то превращаю вас в счастливейшего человека на земле». И мы вместе хорошо тогда посмеялись.

— Говорил он когда-нибудь о политике?

— Нет.

— Что он говорил о Карфельде?

— Он был озабочен. Это естественно. Именно из-за Карфельда он и радовался, что помогает нам.

— Ну да, конечно.

— Людям надо доверять, — сказал Медоуз непримиримо. — Вы этого не поймете. И он правильно говорил: мы старались избавиться от старья, а в нем было его детство. Именно это старье больше всего значило для него.

— Ну, ладно.

— Послушайте. Я не выступаю его адвокатом. Насколько я понимаю, он погубил мою карьеру или то, что еще оста лось от нее после вашего вмешательства. Но я повторяю: вы должны видеть в нем и хорошее тоже.

— Я с вами не спорю.

— Они *беспокоили* его, эти воспоминания. Помню, раз это проявилось в связи с музыкой: он поставил мне послушать пластинки. Главным образом чтобы продать их мне, так я думаю: он заключил какое-то соглашение, которым очень гордился, с одним из магазинов в городе. Я сказал: «Знаете, Лео, так не годится. Вы зря тратите время. Я прослушиваю одну пластинку, и вы тут же ставите другую. К этому времени я забываю первую». Он сразу же оборвал меня: «Тогда вам нужно стать политическим деятелем, Артур. Именно так они и поступают». И он говорил совершенно серьезно, поверьте.

Тернер вдруг усмехнулся.

— Это очень забавно.

— Было бы забавно, если бы он при этом так не разозлился. В другой раз мы разговаривали о Берлине, о чем-то в связи с кризисом, и он сказал: «Ладно, все это неважно, никто больше не думает о Берлине», что, правду сказать, совершенно справедливо. Я имею в виду папки. Никто больше не берет эти папки и не интересуется тамошними обстоятельствами. Во всяком случае, не так, как раньше. Словом, в политическом отношении это теперь прошлогодний снег, «Нет, — говорил он, — бывает малая память и большая память. Малая память существует для того, чтобы помнить малые дела, а большая — чтобы забывать большие». Вот что он сказал. Это как-то задело меня. Я хочу сказать, что многие из нас сейчас так думают, в наши дни трудно думать по-другому.

— Он иногда забегал к вам домой? Коротали вместе вечерок?

— Случалось. Когда Майра куда-нибудь уходила. А иногда я забегал к нему.

— Почему когда Майра уходила? — Тернер особенно подчеркнул свой вопрос, — Вы все еще не доверяли ему?

— Разные ходили слухи, — ответил Медоуз ровным голосом. — Толковали о нем всякое, я не

хотел, чтобы это как-то коснулось Майры.

— О нем и о ком еще?

— О девушках. Просто о девушках. Он был холост и любил поразвлечься.

— О ком именно? Медоуз покачал головой.

— У вас создалось неверное впечатление, — сказал он, играя скрепками и стараясь соединить их в цепочку.

— Говорил он с вами когда-нибудь об Англии военного времени? О своем дяде из Хэмпстеда?

— Рассказывал, что приехал в Дувр с биркой на шее. Но это было необычно.

— Что было необычно?

— Что он рассказывал о себе. Джонни Слинго говорил, что знал его четыре года до того, как он пришел в архив, и ни разу не вытянул из него ни слова. А тут он вдруг весь открылся, как говорил Джонни. Может быть, почувствовал приближение старости.

— Что же дальше?

— Это единственное, что у него было, — только эта бирка с надписью: «Гартинг, Лео». Ему обрили голову, послали на санитарную обработку, потом отправили в сельскую школу. Там, по-видимому, дали возможность выбрать между домоводством и сельским хозяйством. Он выбрал сельское

хозяйство, потому что хотел иметь свой клочок земли. Мне это показалось нелепым: Лео хотел стать фермером. Но факт остается фактом.

— Он ничего не говорил о коммунистах? Или о левой юношеской группе в Хэмпстеде? Что-нибудь на эту тему?

— Ничего.

— А вы бы мне рассказали, если бы говорил?

— Сомневаюсь.

— Упоминал он когда-нибудь о человеке по имени Прашко? Депутате бундестага?

Медоуз заколебался.

— Он сказал однажды, что Прашко его продал.

— Каким образом? Как продал?

— Он не сказал. Говорил только, что они вместе эмигрировали в Англию и вместе вернулись сюда после войны. Прашко выбрал одну дорогу, Лео — другую. — Медоуз пожал плечами. — Я не уточнял. К чему? После он ни разу больше не упоминал о нем.

— Вот все говорят о его памяти. Как вы считаете, что он пытался запомнить?

— Мне кажется, что-то по части истории. Лео очень интересовался историей. Учтите, все это было уже месяца два назад.

— Какое это имеет значение?

— Это было до того, как он пошел по следу.

— Пошел по следу?

— Он шел по следу, — повторил Медоуз просто. — Я все время пытаюсь вам это втолковать.

— Расскажите мне о пропавших папках, — сказал Тернер. — Я хочу проверить регистрационные книги и почту.

— Вам придется подождать. Есть вещи, которые не сводятся просто к фактам, и, если вы дадите себе труд быть повнимательней, возможно, вы услышите о них. Вы сами вроде Лео: не успели задать вопрос, а уже хотите получить ответ. А я вот что пытаюсь вам объяснить: с самого первого дня его прихода к нам я знал, что он что-то ищет. Все мы это знали. У Лео все ведь на виду. И было ясно, что он хочет что-то найти. Каждый из нас по-своему что-то ищет, но Лео искал что-то совершенно конкретное, что-то почти ощути мое. И для него это «что-то» имело очень большое значение. А у нас здесь такое отношение к делу встречается крайне редко, поверьте.

Казалось, Медоуз рассказывает, опираясь на опыт целой жизни.

— Архивариус подобен историку. У него есть любимые эпохи, любимые места, короли и королевы. Все досье здесь связаны межу собой,

иначе и быть не может. Дайте мне любую папку из соседней комнаты, какую хотите папку, и я проложу вам тропинку через весь архив от морского торгового права в Исландии до последних данных о ценах на золото. В этом вся колдовская сила архивных дел: они не имеют конца.

— Так по какому же следу шел Лео?

— Подождите, я о важных вещах говорю. Я очень много думал об этом последние двадцать четыре часа, и вам придется выслушать меня до конца, хотите вы этого или нет. Архивные дела захватывают тебя, и ты ничего с этим не можешь поделать. Они способны изменить ход твоей жизни, если ты этому поддашься. Некоторым они заменяют жену и детей. Я видел таких людей. А порой они просто ведут тебя за собой, ты идешь по следу и не в силах свернуть с пути. Одержимость — вот что это такое… Путешествие без спутников. Это случается с каждым, так создан человек.

— И это случилось с Лео?

— Да. Да, это случилось и с Лео. Только еще одно: с первого дня его прихода к нам я почувствовал, что он… чего-то ждет, что ли. Такой у него был вид, так он просматривал бумаги. Будто вглядывался. Иной раз оторвусь отдела, посмотрю на него — и вижу эти небольшие карие глаза,

которые пристально так вглядываются. Я знаю, вы скажете, что это плод воображения. Мне все равно. Я не делал никаких особых выводов. Мне было ни к чему. У каждого из нас свои заботы, и потом, тогда здесь у нас работали, как на конвейере. Позже я обдумал все это и решил: так оно и есть. Сначала — ничего особенного, я это видел. По том мало-помалу его потянуло по следу.

Внезапно зазвенел звонок. Долгий, властный звон заполнил все коридоры. Они услышали хлопанье дверей и топот бегущих ног, звонкий женский голос прокричал: «Валери, Валери, где же Валери?»

— Учебная пожарная тревога, — сказал Медоуз. — Сейчас у нас их по две-три на неделе. Не беспокойтесь, архива это не касается.

Тернер сел. Он казался еще бледнее, чем прежде. Широкой ладонью он пригладил свои светлые вихры.

— Я слушаю, — сказал он.

— Начиная с марта он все время работал над большим делом, над всеми материалами, относящимися к досье семьсот семь. Это законодательные акты. Их штук двести или даже больше, и касаются они главным образом передачи имущества в связи с окончанием оккупации. Условия

нашего ухода, сохраняемые права, право отзыва, условия и стадии предоставления автономии и еще бог знает что. Все это — материалы с сорок девятого по пятьдесят пятый год, здесь сейчас совершенно ненужные. Он мог начать списывать для уничтожения двадцать различных дел, но как только напал на семьсот седьмое, больше ни на что не стал смотреть. «Вот это, — сказал он, — как раз мне подходит, Артур. Самое лучшее для начала, пока у меня режутся молочные зубы: я знаю, о чем здесь говорится, все это знакомая материя». Не думаю, чтобы кто-нибудь брал эти папки в руки последние пятнадцать лет. Но дело это было не простое, хотя и старое. Масса специальных терминов. Поразительно, как много Лео знал. Все эти термины — и немецкие, и английские, — всю юридическую фразеологию. — Медоуз покачал головой, выражая восхищение. — Я видел бумагу, составленную им для атташе правового отдела — резюме содержания одной из папок. Уверен, что мне такое не написать, не думаю, чтобы вообще кто-нибудь в аппарате советников справился с этим. По поводу Прусского уголовного кодекса и независимой юрисдикции региональных органов правосудия.

— Он знал больше, чем хотел показать, — это

вы имеете в виду?

— Ничего похожего, — сказал Медоуз. — И не старайтесь вкладывать свои мысли в мои слова. Он приносил здесь пользу, вот что я имею в виду. Он обладал широкими познаниями, которые в течение долгого времени никак не использовались. И вдруг он получил возможность применить их при разборе досье семьсот семь. Речь, конечно, не шла об уничтожении, скорее об отправке дела в Лон дон, чтобы оно хранилось там и не занимало у нас места. Но его нужно было прочесть целиком и оформить, как и все остальные досье. Лео занимался этим очень детально последние несколько недель. Я уже говорил вам: он работал не отвлекаясь, тихо как мышь. А с той минуты, как он погрузился в законодательные акты, он стал еще тише. Он пошел по следу.

— Когда это было?

В конце черной книжечки Тернера имелся календарь. Он открыл его.

— Три недели назад. Он углублялся в эти дебри все дальше и дальше. Был все так же обходителен: вскакивал, чтобы подать кому-нибудь из девушек стул или поднести пакет. Но что-то им уже завладело, и это «что-то» было очень важно для него. Правда, он отличался тем же любопытством — от

этого его ничто не излечит: непременно хотел знать, чем живет каждый из нас. И все же он был как-то подавлен. С каждым днем это делалось все очевиднее. Он стал задумчивее, серьезнее. И вдруг в понедельник, в прошлый понедельник, все опять переменилось.

— Ровно неделю назад. Пятого числа.

— Семь дней. Всего-навсего? Боже милостивый! — Вдруг из соседней комнаты потянуло запахом горячего сургуча и раздался глухой стук большой печати, с силой опущенной на пакет. — Это они готовят двухчасовую почту»— пробормотал Медоуз без всякой связи с предыдущим и посмотрел на свои серебряные карманные часы. — Ее надо сдать вниз к двенадцати тридцати.

— Я приду после обеда, если хотите.

— Нет, предпочитаю закончить с вами до обеда, — ответил Медоуз, — если не возражаете. — Он спрятал часы в карман. — Где же он? Вы-то знаете? Что с ним произошло? Он сбежал в Россию, да?

— Вы так думаете?

— Он мог сбежать куда угодно, тут ничего нельзя предположить. Он не был таким, как мы. Старался быть, но не был. Скорее он чем-то походил на вас, так мне кажется. Упорный. Всегда был

занят делом, но делал его как-то задом наперед. Никогда не смотрел на вещи просто, в этом, на мой взгляд, его беда. Слишком много было у него всего в детстве, а вернее, детства-то не было. Это ведь, в конце концов, одно и то же. Я считаю, что люди должны расти медленно.

— Расскажите мне о прошлом понедельнике. Он переменился. В чем?

— Переменился к лучшему. Стряхнул с себя что-то, не знаю, что именно. Сошел со следа. Когда я утром открыл дверь, он улыбнулся такой счастливой улыбкой. Джонни Слинго и Валери тоже заметили это. Мы, разумеется, работали на всех парах. Я был здесь большую часть субботы и все воскресенье. И остальные тоже приходили в эти дни.

— А Лео?

— Он тоже работал, тут нет никаких сомнений, но мы мало видели его. Часок поработает здесь, наверху, потом часа три внизу…

— Внизу?

— В своей комнате. Он и раньше так делал: возьмет с собой несколько папок и работает у себя внизу. Там потише. «Я хочу, чтобы там был жилой дух, Артур, — говорил он мне, — это моя прежняя комната, и мне будет неприятно, если

она придет в запустение».

— И он брал с собой папки туда, вниз? — спросил Тернер совсем тихо.

— Потом у него была еще церковь. На это уходила часть воскресенья. Он играл на органе.

— Между прочим, давно он стал играть в церкви?

— Много лет назад. Это была своего рода двойная страховка, — сказал Медоуз с коротким смешком. — Он хотел стать необходимым.

— Итак, в понедельник он выглядел счастливым.

— Безмятежным. Не подберу другого слова. «Мне нравится здесь у вас, Артур, — сказал он, — и я хочу, что бы вы об этом знали». Потом сел и снова занялся работой.

— И таким он оставался до самого своего исчезновения?

— Более или менее.

— Что значит — более или менее?

— Видите ли, мы немного повздорили. Это случилось в среду. Во вторник все шло хорошо, он был счастлив как ребенок, и вдруг в среду я застал его в тот момент… — Медоуз сидел понуро, уронив руки на колени, и смотрел на них, склонив голову, — …в тот момент, когда он пытался

достать Зеленую папку с грифом «выдается по списку». — Медоуз нервным жестом провел рукой по волосам. — Я говорил вам: он всегда отличался любопытством. Есть такие люди — они ничего не могут с собой поделать, лишь бы разузнать — безразлично, что именно. Оставь я, скажем, на столе письмо от своей матери, уверен, что Лео при малейшей возможности прочитал бы его. Ему всегда казалось, что против него что-то замышляют. Сначала это приводило всех нас в бешенство: всюду он заглядывал — в папки, в ящик», всюду. Еще не пробыв у нас и недели, он стал расписываться за почту. Получал ее внизу — она туда при бывает. Сначала мне это не понравилось, но, когда я сказал, чтобы он не брал почту, он так разобиделся, что я в конце концов оставил все как было. — Медоуз развел руками, будто ища ответа. — Потом, в марте, мы получили из Лон дона коммерческие документы особого назначения — спе циальные указания для торговой миссии о новых связях и перспективном планировании. Я застал его за чтением этой папки. «Вы что же, — спросил я, — читать не умеете? Они только для тех, кому размечены, а вовсе не для вас». Он и ухом не повел, даже разозлился: «Я полагал, что могу читать здесь все». Я думал, он

ударит меня. «Вы неправильно полагали», — сказал я. Это было в марте. Нам обоим понадобилось два дня, чтобы остыть.

— Господи, спаси нас, — пробормотал Тернер. — А потом я застал его с Зеленой. Это особая папка. Я сам не знаю, что в ней. И Джонни не знает, и Валери. Она хранится в спецсумке. Один ключ от нее у его превосходительства, второй — у Брэдфилда. Им пользуется также де Лилл. Сумку каждый вечер следует возвращать в бронированную комнату. Она выдается и принимается под расписку, и только лично мной. И вдруг в среду в обеденный перерыв — этот случай. Лео был здесь один. Мы с Джонни ушли вниз, в столовую.

— Он ведь часто оставался в архиве на обеденный перерыв?

— Да, он любил оставаться здесь. Любил тишину.

— Ну, ладно.

— В столовой была большая очередь, а я не переношу очередей. Я сказал Джонни: «Вы стойте, а я поднимусь и немного поработаю. Приду через полчасика». Вот по чему я вернулся неожиданно. Вошел, и все. Лео тут не было, а бронированная комната оказалась открытой. Там он и стоял с сумкой для Зеленой.

— Что значит «с сумкой»?

— Он держал эту сумку в руках. Рассматривал запор, насколько я мог заметить — из любопытства. Увидев меня, он улыбнулся, но ничуть не потерял самообладания. Он умен, я ведь говорил вам. «Артур, — сказал он, — вы поймали меня на месте преступления, проникли в мою тайну». Я сказал: «Какого черта вы здесь делаете? Поглядите, что у вас в руках!» «Вы ведь меня знаете, — ответил он обезоруживающе, — я просто не в силах удержаться, — Он поставил сумку на место. — Я пришел сюда за папками семьсот седьмого, вы их, кстати, не видели? За март и февраль пятьдесят восьмого года?» Что-то вроде этого он мне сказал.

— И что же потом?

— Я зачитал ему соответствующую статью Положения. Что еще я мог предпринять? Еще я сказал, что доложу Брэдфилду. Я был в ярости.

— Но вы не доложили?

— Нет.

— Почему?

— Вы не поймете, — сказал, помолчав, Медоуз. — Я знаю, вы считаете, что я просто тронутый. Это был как раз день рождения Майры: в клубе устраивали специальный прием. А Лео должен

был идти на репетицию хора и на званый обед.

— На званый обед? Куда?

— Он не сказал.

— У него на календаре ничего не записано.

— Это меня не касается.

— Продолжайте.

— Он обещал забежать к нам в течение вечера и занести ей подарок. Фен для сушки волос. Мы вместе его выбирали. — Медоуз снова покачал головой. — Как мне все это вам объяснить? Я уже говорил, что чувствовал себя ответственным за него. Он вызывал такое чувство. Мы с вами при желании могли бы сбить его с ног одним плевком.

Тернер недоверчиво поглядел на него.

— Наверно, было у меня еще одно соображение. — Он посмотрел Тернеру прямо в лицо. — Если бы я сказал Брэдфилду, это был бы конец. Для Лео все было бы кончено. А ему же некуда деваться, понимаете. Вот, скажем, теперь. Я надеюсь, что он в самом деле сбежал в Москву, больше его нигде не примут.

— Вы хотите сказать, что подозревали его?

— Да, вероятно, так. Должно быть, в глубине души я его подозревал. Этому меня научила Варшава. Я очень хотел, чтобы Майра устроила там

свою жизнь, с этим студентом. Ладно, пускай его подослали, поручили ему соблазнить ее. Но он ведь сказал, что женится на ней. Из-за ребенка. Я полюбил этого будущего ребенка больше всего на свете. И вы у меня его отняли. И у Майры. Вот ведь что. Поймите, вы не должны были этого делать.

Сейчас Тернер благодарил судьбу за то, что сюда доносится шум уличного движения, был рад любому шуму, который заполнил бы эту проклятую стальную коробку и заглушил бесцветный голос Медоуза, голос обвинителя.

— И в четверг сумка исчезла? Медоуз пожал плечами.

— Канцелярия посла вернула ее днем в четверг. Я сам принял ее, расписался и запер в бронированную комнату. В пятницу сумки не было. Вот и все.

Он помолчал.

— Я должен был сообщить об этом сразу. Я должен был побежать к Брэдфилду в пятницу днем, когда обнаружил, что сумки нет. Я этого не сделал. Это мучило меня ночью. Я думал об этом всю субботу, совсем загрыз Корка, привязывался к Джонни Слинго — словом, извел их обоих. Я просто сходил с ума. Я боялся поднимать шум. За время последних событий у нас пропало

множество разных вещей. Словно все кругом заболели клептоманией. Кто-то стащил нашу тележку, не знаю кто, мне кажется — служащий из аппарата военного атташе. Кто-то еще унес у нас вращающийся табурет. Из машбюро исчезла машинка с большой кареткой, пропали различные книжки-календари, даже чашки с маркой фирмы «Наафи». Во всяком случае, я искал в этом объяснения. Может быть, думал я, она у кого-нибудь из тех, кто к ней допущен: у де Лилла или в канцелярии посла…

— А у Лео вы спросили?

— Ведь его уже не было.

И снова Тернер перешел к обычному допросу:

— У него был, я полагаю, портфель?

— Да.

— Он имел разрешение вносить его сюда?

— Он приносил с собой сандвичи и термос.

— Значит, он имел разрешение?

— Да.

— Был у него с собой портфель в четверг?

— Кажется, был. Да, наверняка был.

— Большой это портфель? Могла в нем поместиться сумка с папкой?

— Могла.

— Где он обедал в четверг? Здесь?

— Он ушел отсюда около двенадцати.

— И вернулся?

— Я уже говорил вам: четверг у него — особый день, день совещаний. Это осталось от его прежней работы. По четвергам он уезжал в какое-то министерство в Бад— Годесберге. Какие-то дела по особо важным претензиям. В тот четверг он, по-моему, условился с кем-то обедать. А потом поехал на это совещание.

— Он что, всегда ездил на совещания? Каждый четверг?

— Всегда, с первого дня, как пришел в аппарат советников.

— У него был свой ключ?

— Какой ключ? От чего? Тернер стоял на зыбкой почве.

— Для входа в архив. Или он знал шифр? Медоуз просто рассмеялся.

Только я и старший советник Брэдфилд знаем, как войти сюда и как выйти, и больше никто. Тут три шифра, с полдюжины установок скрытой сигнализации на случай взлома и еще бронированная комната. Ни Слинго, ни де Лилл — словом, никто не знает. Только мы двое. Тернер быстро писал в книжечке.

— Скажите мне, чего еще недостает, — сказал

он на конец.

Медоуз отпер ящик своего стола и достал список. Движения его стали быстрыми и неожиданно уверенными.

— Брэдфилд не сказал вам?

— Нет.

Медоуз передал ему список.

— Можете оставить его себе. Сорок три папки. Все они хранятся в спецсумках и все отсутствуют с марта.

— С того времени, как он пошел по следу?

— Секретность их различная, начиная с «конфиденциальных» и кончая «совершенно секретными». Но на большинстве стоит гриф «секретно». Это дела организаций, документы конференций, папки с биографическими сведениями о различных деятелях и два дела с договорами. Их материалы охватывают довольно широкий круг вопросов — от демонтажа химических предприятий в Руре в сорок седьмом году до протоколов неофициальных англоамериканских переговоров за последние три года. Кроме того, Зеленая, то есть «Беседы официальные и неофициальные»…

— Брэдфилд говорил мне.

— Все это вроде кубиков, поверьте, вроде кубиков, из которых складывают картинку… так я

подумал сначала. Я часами переворачивал их так и эдак в голове. Я не мог спать. Иногда, — голос его прервался, — иногда мне казалось, у меня мелькает какая-то мысль, возникает кар тина, вернее, часть картины… И все же, — закончил он упрямо, — в том, что пропали именно эти папки, нет никакой системы, никакого внутреннего смысла. Некоторые рас писаны самим Лео разным людям, некоторые помечены: «утверждена для уничтожения», но большинство просто отсутствует. Сразу не скажешь, понимаете. Нельзя же ввести такой порядок, чтоб за них расписывались даже сотрудники архива, это просто немыслимо. Пока кто-нибудь не запросит дело, вы не знаете, что его у вас нет.

— Дела в спецсумках?

— Я же вам сказал. Все сорок три. Вместе они весят, верно, больше ста килограммов.

— И еще письма? Письма ведь тоже пропали.

— Да, — нехотя подтвердил Медоуз, — не хватает тридцати трех входящих.

— Их никогда не регистрировали при выдаче, верно? Просто клали куда-то, и каждый мог их взять. О чем они? Вы тут не указали.

— Мы не знаем. Вот вам вся правда. Это письма от немецких учреждений. Мы знаем, откуда они,

потому что экспедиция зарегистрировала их у себя. Они так и не добрались до нашей канцелярии.

— Но вы все же проверили, откуда они? Очень сухо Медоуз ответил:

— Отсутствующие письма относятся к пропавшим делам. Получены из тех же ведомств. Вот все, что мы можем сказать. Поскольку это письма из немецких учреждений, Брэдфилд распорядился не запрашивать копий, пока все не будет решено в Брюсселе, чтобы наше любопытство не вызвало у немцев подозрений в отношении Гартинга.

Тернер положил свою черную книжечку в карман и подошел к зарешеченному окну. Он попробовал запоры, проверил прочность проволочной сетки.

— В нем что-то было. Какой-то он был особенный, что-то заставляло вас приглядываться к нему.

С улицы до них донесся тревожный сигнал сирены — он приблизился, пролетел мимо и замер вдали.

— Он был особенный, — повторил Тернер. — Все время, пока вы рассказывали, я только и слышал: Лео то, Лео другое. Вы следили за ним. Вы прощупывали его, я вижу. Почему?

— Ничего подобного.

— Что это были за слухи? Что о нем говорили? Что вас испугало? Может быть, он был чьим-то любимчиком, Артур? Утехой для Джонни Слинго в его преклонном возрасте? Или он держал в руках концы от веревочки, которой связана целая шайка таких типов? Может быть, это и вгоняет всех вас в краску?

Медоуз покачал головой.

— У вас нет больше жала. Вам теперь меня не запугать: я вас знаю. Я знаю о вас самое худшее. Все это не имеет ничего общего с Варшавой. Лео совсем другой. И я не ребенок, и Джонни — не гомосексуалист.

Тернер продолжал смотреть на него в упор.

— Что-то вы слышали, что-то вам было известно. Вы следили за ним, я это знаю. Вы следили за тем, как он идет по комнате, как стоит, как достает папку. Он занимался самой дурацкой работой в вашем архиве, а вы говорите о нем так, будто он по меньшей мере посол. Здесь у вас был хаос, вы это сами сказали. Все, кроме Лео, работали как бешеные, заполняли пробелы, регистрировали, составляли сводки, все лезли из кожи вон, чтобы машина не застопорилась в это трудное время. А что делал Лео? Лео занимался уничтожением

старых дел! С такой же пользой он мог вышивать гладью. Это говорили вы сами, не я.

Так в чем же дело? Почему вы следили за ним?

— Вы бредите. У вас мозги набекрень, и вы не в состоянии смотреть на вещи прямо. Но если бы вы и были в чем-то правы, я ничего не сказал бы вам, даже на смертном одре.

Записка на дверях шифровальной сообщала: «Буду в 2.15. В экстренных случаях звонить по 333». Он с силой постучал в дверь Брэдфилда и нажал ручку. Дверь оказалась запертой. Он подошел к перилам и сердито заглянул вниз, в холл. За столом дежурного молодой охранник аппарата советников читал какой-то учебник по технике. Тернеру видны были диаграммы на правой странице. В приемной с застекленной стеной поверенный в делах Ганы в пальто с бархатным воротником задумчиво разглядывал фотографию долины Клайда, снятую откуда-то с большой высоты.

— Все обедают, старина, — прошептал голос за его спиной. — Ни один гунн не пошевелится до трех. Дневное перемирие. Представление продолжается.

Человек с разболтанными движениями и хитроватым лицом стоял среди огнетушителей.

— Краб, — пояснил он, — я — Микки Краб, — таким тоном, будто это имя могло служить оправданием его появлению. — Питер де Лилл, с вашего позволения, только что вернулся. Был в министерстве внутренних дел. Спасал женщин и детей. Роули послал его накормить вас.

— Я хочу отправить телеграмму. Где комната триста тридцать три?

— Это комната отдыха здешних работяг, старина. Они там немного приходят в себя после всего этого бедлама. Беспокойное время. Сделайте передышку, — посоветовал Краб. — Если дело неотложное, оно и останется неотложным даже после того, как вы его на время отложите. Если просто важное, все равно уже поздно им заниматься — вот мой принцип. — С этими словами Краб повел его по погруженному в молчание коридору, словно дряхлый придворный, со свечой в руках указывающий путь в спальню.

Проходя мимо лифта, Тернер остановился и еще раз бросил на него взгляд. На лифте висел тяжелый замок. Надпись гласила: «Не работает».

«У каждой работы свои особенности, — думал он. — Зачем, черт подери, волноваться? Бонн — это не Варшава. Варшава была сто лет назад. Бонн — сегодня. Мы делаем, что нам положено, и

идем дальше». Перед его глазами снова возникла Варшава, комната в стиле рококо в посольстве, канделябры, черные от пыли, и Майра Медоуз — одна на этой дурацкой кушетке. «В следующий раз, когда вас пошлют за «железный занавес», черт вас возьми, — орал он, — выбирайте себе любовников поосторожнее!»

«Скажи ей, что я уезжаю за границу, — думал он. — Уезжаю искать предателя — законченного, многоопытного, бесстыжего, хорошо оплаченного предателя. Я знаю, чего я ищу, — думал он. — Я вижу весь путь до конца».

«Давай, давай, Лео, мы с тобой одной крови — мастера темных дел, вот кто мы. Я буду гнаться за тобой по канализационным трубам, Лео, вот почему от меня так славно пахнет. На нас вся грязь земли, Лео, — на мне и на тебе. Я буду охотиться за тобой, ты будешь охотиться за мной, и каждый из нас будет охотиться за самим собой».

7
ДЕ ЛИЛЛ

Понедельник. Послеполудня

У Американского клуба не было такой сильной охраны, как у посольства.

— Мечты гастрономов не нашли здесь своего воплощения, — заметил де Лилл, показывая документы американскому солдату у входа, — зато у них роскошный плавательный бассейн.

Он заказал столик у окна, выходившего на Рейн… Поплавав и освежившись, де Лилл с Тернером сидели, пили мартини и наблюдали за тем, как гигантские бурые вертолеты проносились мимо и снижались где-то выше по течению реки. На иных были красные кресты, на других — ничего. Время от времени в тумане скользили белые пассажирские суда с туристами, направлявшимися в страну Нибелунгов, — радио на борту оглушило их раскатами грома. Мимо прошла стайка школьников — донеслись звуки «Лорелеи», лихо исполняемой на аккордеоне в сопровождении хора ангельских, хотя и не очень стройных голосов. Размытые туманом контуры

семи зубцов КJнигсвинтера, казалось, были совсем рядом.

С подчеркнутой почтительностью де Лилл указал на Петерсберг — лесистый конус, увенчанный квадратным зданием отеля.

— В тридцатые годы здесь останавливался Невилл Чемберлен, — пояснил он, — после того, конечно, как мы отдали Чехословакию… По окончании войны здесь помещалась Верховная союзническая комиссия, а позже это была резиденция королевы, когда она приезжала в Германию с официальным визитом. Правее — Драхенфельс, где, по преданию, Зигфрид убил дракона, а потом купался в его крови.

— А где дом Гартинга?

— Отсюда не видно, — спокойно сказал де Лилл, сразу оставив тон любезного гида. — Он у подножия Петерсберга. Гартинг поселился, образно говоря, под крылышком Чемберлена. — И он перевел разговор на более близкие им темы: — А плохо, наверно, быть таким вот пожарником: примчитесь на пожар, а огня уже и нет, правда?

— А здесь он часто бывал?

— Мелкие посольства устраивали тут приемы — те, что не располагают большими гостиными. Это было по его части.

Де Лилл понизил голос, хотя в столовой никого не было. Только в углу у входа, возле бара, за стеклянной перегородкой сидели извечные иностранные корреспонденты, они жестикулировали, пили и жевали, точно моржи.

— Неужели вся Америка такая? — заметил де Лилл. — Или, может быть, еще хуже? — Он медленно обвел взглядом комнату. — Впрочем, это, конечно, создает впечатление масштабности и рождает оптимизм. Но в этом, пожалуй, и главная беда американцев, не правда ли? Эта устремленность в будущее. Очень опасная штука. Они не замечают настоящего и уничтожают его. Я всегда считал, что куда добрее оглядываться назад. Я не питаю надежд на будущее и оттого чувствую себя намного свободнее. И заинтересованнее в сегодняшнем дне. Люди лучше друг к другу относятся, когда сидят в камере, из которой нет выхода, правда? Впрочем, не принимайте меня слишком уж всерьез, хорошо?

— Если бы вам поздно ночью понадобились кое-какие папки с документами аппарата советников, что бы вы сделали?

— Разыскал бы Медоуза.

— Или Брэдфилда?

— Ну, это уж слишком. Роули, конечно, знает

комбинации бронированной комнаты, но пользуется этим лишь в крайнем случае. Скажем, если Медоуз попадет под автобус, Роули сумеет добраться до бумаг. А вы, я смотрю, хорошо поработали утром, — сочувственно заметил он. — И до сих пор еще не пришли в себя.

— Так что же вы все-таки сделали бы?

— О, я бы взял папки во второй половине дня.

— Позвольте, а если вдруг понадобилось бы работать ночью?

— Если архив работает сверхурочно, тогда все просто. А если он закрыт, ну что же, у нас почти у всех есть сейфы и металлические ящики для хранения секретных документов, и мы имеем право держать там бумаги до утра.

— А у Гартинга ничего такого не было.

— Может быть, мы отныне будем называть его про сто ом?

— Хорошо, так куда же о н пошел бы работать? Если бы о н взял папки вечером — секретные папки — и решил работать допоздна, как бы он это проделал?

— Наверно, отнес бы их к себе в комнату, а уходя, отдал бы охраннику, который дежурит в коридоре. Если бы, конечно, он не остался работать в архиве. У охранника есть сейф.

— И охранник расписался бы в получении этих документов?

— О господи, конечно. Не настолько уж мы безответственны.

— Значит, я мог бы увидеть эту расписку в книге ночного дежурного?

— Могли бы.

— А он ушел, не попрощавшись с охранником.

— О господи! — Де Лилл был явно озадачен этим сообщением. — Вы хотите сказать, что он отнес эти папки домой?

— Какая у него была машина?

— Небольшой пикап. С минуту оба молчали.

— А он больше нигде не мог работать? На первом этаже нет никакой специальной комнаты для чтения документов, секретного помещения?

— Нет, — коротко ответил де Лилл. — Послушайте, мне кажется, нам надо выпить еще чего-нибудь и немножко освежить мозги.

Он подозвал официанта.

— Знаете, я сегодня провел совершенно кошмарный час в министерстве внутренних дел с этими унылыми типами, что работают у Людвига Зибкрона.

— Чем же вы там занимались?

— О, оплакивал бедняжку мисс Эйк. Очень

было мерзко. И весьма любопытно, — признался он. — Очень даже любопытно... — И тут же перескочил на другое: — Вы знаете, что кровяную плазму хранят в консервных банках? Так вот, министерство пожелало дать несколько таких банок посольству — на всякий случай. Прямо как в романах Оруэлла. Воображаю, то-то взбесится Роули. Он и так уже считает, что они слишком далеко зашли. Очевидно, там думают, что у нас у всех одна группа крови — единокровие какое-то. Так здесь, видимо, понимают равенство. — И добавил: — Зибкрон начинает изрядно злить Роули.

— Почему?

— Да все из-за этой его чрезмерной заботы о бедных англичанах. Допустим, Карфельд в самом деле настроен резко против англичан и против Общего рынка. И в Брюсселе решаются судьбы очень многого, а вступление англичан в Общий рынок затрагивает националистические чувства сторонников Карфельдовского движения и бесит их; к тому же в пятницу состоится весьма опасное сборище, и все чрезвычайно обеспокоены этим обстоятельством. Да еще пре неприятные события произошли в Ганновере. Все это, конечно, так. И тем не менее мы не заслуживаем такого

внимания, никак не заслуживаем. Сначала — комендантский час, затем — охрана, а теперь еще и эти тени на мотоциклах. У нас такое впечатление, что Зибкрон с какой-то целью делает все это. — И протянув свою тонкую женственную руку за спину Тернера, де Лилл взял огромное меню. — Как насчет устриц? Гурманы, кажется, именно это едят? Здесь у них есть устрицы в любое время года. Они получают их, по-моему, из Португалии, а может быть, откуда-то еще.

— Никогда не ел устриц, — несколько агрессивно заявил Тернер.

— В таком случае вы должны взять дюжину, чтобы на верстать упущенное, — весело заметил де Лилл и отхлебнул немного мартини. — Так приятно встретить человека со стороны. Вам, наверно, этого не понять.

Наступило молчание. Вверх по реке, преодолевая течение, ползли цепочкой баржи.

— Больше всего раздражает нас, по-моему, отсутствие уверенности в том, что все эти охранительные меры принимаются действительно для нашего блага. Немцы внезапно спрятались, как улитка в раковину, точно мы их чем-то спровоцировали, точно это мы устраивали демонстрации. Они с нами почти не разговаривают. Полнейший

лед. Да. Вот так-то. — И он добавил: — Они стали относиться к нам как к врагам. А это вдвойне неприятно, если учесть, что мы-то добиваемся как раз хороших отношений.

— Он обедал с кем-то в пятницу вечером, — вне всякой связи с предыдущим произнес Тернер.

— В самом деле?

— Но в дневнике его никаких записей об этом нет.

— Вот неразумный человек! — Де Лилл обернулся, но никого не обнаружил. — Куда запропастился этот чертов малый?

— Послушайте, а где был Брэдфилд в пятницу вечером?

— Перестаньте, — сухо оборвал его де Лилл. — Я не люблю такого рода расспросов. — И тут же продолжал как ни в чем не бывало: — Взять хотя бы самого Зибкрона… Да, все мы знаем, что он человек ненадежный, все мы знаем, что он заигрывает с коалицией, и все мы знаем, что он жаждет политической карьеры. Мы знаем также, что ему очень нелегко будет поддерживать порядок в будущую пятницу и что у него куча врагов, которые только и ждут возможности сказать, что он плохо справился со своей задачей. Прекрасно, — он посмотрел на реку, словно она могла каким-то

образом разрешить его недоумение, — но почему, скажите на милость, ему надо было сидеть шесть часов у постели умирающей фрейлейн Эйк? Неужели так интересно было наблюдать ее кончину? И зачем ему понадобилось выставлять охрану возле каждого английского владения, каким бы крошечным оно ни было, — это же нелепость! Клянусь, у него какая-то навязчивая идея в отношении нас, он хуже Карфельда.

— А кто такой Зибкрон? Чем он занимается?

— О, ловит рыбу в мутной воде. В какой-то мере из одного с вами мира. Ох, извините, пожалуйста. — И он вспыхнул, явно огорченный своим промахом. Вовремя появившийся официант — совсем молоденький мальчик — вывел его из неловкого положения. Де Лилл был с ним необыкновенно вежлив, просил у него совета в выборе мозельского вина — что было явно выше разумения этого юнца — и долго расспрашивал о качестве мяса. — В Бонне говорят, — продолжал он, когда они снова остались одни, — что, если у тебя есть такой друг, как Людвиг Зибкрон, тебе уже не нужен враг. Людвиг — существо здешней породы. Он — та левая рука, о существовании которой не хочет знать правая. Без конца твердит о том, что не может допустить, чтобы кто-нибудь из

нас погиб. Вот почему он нагоняет такой страх. Он делает эту возможность слишком осязаемой. Не следует забывать, — мягко добавил он, — что хотя Бонн и демократия, но демократов здесь до ужаса мало. — Он помолчал. — Скверная штука даты, — задумчиво продолжал он, — вся беда в том, что они делят время на отрезки. С тридцать девятого по сорок пятый. С сорок пятого по пятидесятый. Но к Бонну неприменим термин «довоенный*, или «военный», или «послевоенный». Это просто маленький немецкий городок. И рассечь его на периоды нельзя, как нельзя рассечь Рейн. Он себе живет и живет — или как там еще поется в песне. А туман сглаживает краски и очертания.

Де Лилл вдруг покраснел и, отвинтив крышку с бутылочки, стал осторожно капать острую приправу на устрицы — по одной капле на каждую. Это занятие всецело поглотило его.

— Мы вечно извиняемся за Бонн. Это отличительная черта местных жителей. Как жаль, что я не коллекционирую модели поездов, — без всякого перехода продолжал он. — Мне бы хотелось уделять много больше внимания мелочам. А вы занимаетесь чем-нибудь таким — я хочу сказать, у вас есть хобби?

— У меня нет на это времени, — ответил Тер-

нер.

— Так вот, номинально он возглавляет комиссию по связям министерства внутренних дел — насколько я понимаю, название это придумал он сам. Я как-то спросил его: по связям с кем, Людвиг? Он решил, что это очень удачная шутка. Он, конечно, человек нашего возраста — фронтовое поколение минус пять лет. Как мне кажется, он немного досадует на то, что упустил войну, и ему не терпится поскорее стать старше. Заигрывает с ЦРУ, но это ему по статусу положено. Главное его занятие — знать все, что связано с Карфельдом. Стоит кому-нибудь вступить в сговор с этим движением, и Людвиг Зибкрон тут как тут. Странная у него жизнь, — поспешил он добавить, заметив выражение лица Тернера. — Но Людвиг обожает ее. Невидимое правительство — это ему по душе. Четвертое сословие. Он был бы очень на месте в Веймаре. Кстати, имейте в виду, что в здешнем правительстве все деления чрезвычайно искусственны.

Иностранные корреспонденты, словно подчиняясь единому порыву, вдруг покинули бар и теперь длинным косяком потянулись к накрытому для них столу в центре комнаты. Очень крупный мужчина с усами, заметив де Лилла,

смахнул длинную прядь черных волос на правый глаз и выбросил руку в нацистском приветствии. Де Лилл в ответ поднял бокал.

— Это Сэм Аллертон, — пояснил он, — в общем, порядочная скотина. О чем это я говорил? Ах, да, об искусственном делении. Они здесь ставят нас в тупик. Вечно одно и то же: мы точно безумные шарим в тумане, пытаясь нащупать абсолюты. Антифранцузская ориентация, профранцузская ориентация, коммунисты, антикоммунисты. Все это чистейшая глупость, и тем не менее мы вечно этим занимаемся. Вот почему мы не правы относительно Карфельда. Отчаянно не правы. Мы спорим об определениях, о ярлыках, тогда как должны были бы спорить о фронтах. Боннские правители пойдут на виселицу, но все будут спорить, какой толщины должна быть веревка, на которой надо повесить нас. Право, не знаю, как определить Карфельда, — да и кто знает? Немецкий Пужад? Лидер восстания средних слоев? Если это так, то мы гибнем, потому что вся Германия — средние слои. Как и Америка. Вопреки своему желанию и воле они одинаковы. А они не хотят быть одинаковыми, да и кому этого хочется? Но так оно есть. Единокровие.

Официант принес вино, и де Лилл предложил

Тернеру попробовать:

— Я уверен, что вкус у вас еще не притупился, как у меня.

Тернер отклонил предложение, и тогда он попробовал сам, не торопясь, старательно причмокивая.

— Вполне разумный выбор, — оценив по достоинству вино, сказал он официанту, — очень хорошо. Так вот, — немного помолчав, продолжал он. — Все модные термины без исключения применимы к Карфельду — они вообще применимы к кому угодно. Как в психиатрии: опишите симптомы, и вы всегда сможете назвать болезнь. Он — изоляционист, шовинист, пацифист, реваншист. А помимо этого, он стоит за торговый договор с Россией. Он человек прогрессивных взглядов, что очень устраивает немецких стариков; он — реакционер, что очень устраивает немецкую молодежь. А молодежь здесь весьма пуританская. Они хотят очиститься от скверны процветания: им нужны луки и стрелы и походы Барбароссы. — Усталым жестом он указал на семь зубцов КЈнигсвинтера. — Они хотят возвращения всего этого, но в современном обличье. Неудивительно поэтому, что старики — гедонисты. А вот молодежь… — он помолчал, — молодежь, — по-

вторил он с глубочайшим отвращением, — пришла к самой жестокой из всех правд: она поняла, что наиболее действенный способ наказать родителей — это им подражать. Карфельд — человек старшего поколения, которого приемлют студенты… Извините, пожалуйста. Я сел на своего конька. Вы мне скажите, когда вам надоест.

Тернер, казалось, не слышал его. Он смотрел на полицейских, стоявших вдоль дорожки на равном расстоянии друг от друга. Один из них обнаружил лодку, пришвартованную к берегу, и поигрывал со шкотом, крутя его, как веревку, через которую прыгают дети.

— В Лондоне нас все время спрашивают: кто его поддерживает? Откуда он получает деньги? Дайте определение, дайте характеристику. Ну, что я могу им сказать? «Человек улицы, — написал я однажды, — в классовом отношении труднее всего поддающийся определению». Они обожают такие ответы, и все обстоит хорошо, пока дело не доходит до Управления по исследованию международных проблем. «Он — из разочарованных, — сказал я как-то, — из сирот, оставшихся после покойной демократии, жертва, не нашедшая себе применения при коалиционном правительстве. Социалисты, считающие, что их

продали красным; люди, считающие ниже своего достоинства голосовать, — все это Карфельд». Как охарактеризовать умонастроение? До чего ж они у нас там, в Англии, тупы! Мы теперь больше не получаем инструкций — одни вопросы. Я как-то сказал им: «Ну, конечно, у нас в Англии есть такое же явление. Это сейчас всеобщее поветрие». Никто не считает, что в Париже готовится заговор против всего мира. Почему же мы ищем его здесь? Умонастроения… невежество… скука. — Он облокотился на стул, — Вы когда-нибудь голосовали? Уверен, что да. Ну и что? Вы почувствовали в себе перемену? Будто прослушали мессу? Или ушли с избирательного участка, чужой всем и всему? — Де Лилл проглотил устрицу. — У меня такое ощущение, будто Лондон разбомбили и его больше нет. Может быть, этим все объясняется? А вы — ширма, скрывающая от нас действительность и тем вселяющая в нас бодрость. Возможно, на свете и остался-то всего один лишь Бонн. Страшная мысль. Мир в изгнании! Однако именно такова наша участь. Изгнанники, окруженные изгнанниками.

— Почему Карфельд так ненавидит англичан? — спросил Тернер, хотя мысли его были далеко.

— Это, признаюсь, одна из нераскрытых тайн мироздания. Все мы, в аппарате советников, пытались ее разгадать. Мы говорили об этом, читали, спорили. Ответа не дал никто. — Он передернул плечами. — Ну, кто теперь верит в какие-то побудительные причины, тем более когда речь идет о политическом деятеле? И все-таки мы пытались что-то установить. Возможно, мы где-то чем-то ему насолили. Возможно, он где-то чем-то насолил нам. Говорят, дольше всего в человеке живут впечатления детства. Кстати, вы женаты?

— А какое это имеет отношение к делу?

— Ого! — не без одобрения воскликнул де Лилл. — А вы колючий.

— На что он живет?

— Занимается промышленной химией. Имеет большой завод возле Эссена. Поговаривают, будто англичане немало попортили ему крови во время оккупации: демонтировали его предприятие, разорили его. Не знаю, верно ли это. Мы предприняли попытки кое-что выяснить, но не от чего оттолкнуться, а Роули совершенно справедливо запретил нам открыто наводить справки. Одному богу известно, — сказал он и слегка поежился, — что подумал бы о нас Зибкрон, если бы

мы повели такую игру. Пресса утверждает, что он нас терпеть не может — просто так, без всяких объяснений. Вполне возможно, что она права.

— А какая у него биография?

— Ничего особенного. Перед войной окончил институт, попал в инженерные войска; воевал на Русском фронте в качестве специалиста-подрывника; был ранен под Сталинградом, но сумел выбраться оттуда. Разочарован в послевоенном мире. Много усилий — мало достижений. Все это очень романтично. Смерть духа — и постепенное возрождение. Как водится, говорят, будто он родственник Гиммлера, и прочие глупости. На это никто не обращает внимания: нынче стоит человеку прибыть в Бонн, как восточные немцы непременно придумывают про него какую-нибудь небылицу.

— И это все небылицы?

— В таких слухах всегда есть доля правды, но всегда только доля. Во всяком случае, всем на это наплевать, кроме нас, — почему же мы должны так уж беспокоиться? К политике, как утверждает Карфельд, он пришел постепенно: любит говорить о долгих годах, которые провел в спячке, и о своем пробуждении. Говорит он так, будто вещает мессия — во всяком случае, когда

говорит о себе.

— Вы с ним когда-нибудь встречались?

— Упаси боже, конечно, нет. Только читал о нем. Слышал его по радио. Но в известном смысле он всегда присутствует в нашей жизни.

Взгляд светлых глаз Тернера снова был прикован к Петерсбергу, солнце сквозь щель в холмах било прямо в окна серого отеля. Один из холмов был весь изрыт каменоломнями, какие-то маленькие машины, белые от пыли, копошились у его подножия.

— Надо отдать ему должное: за полгода он перестроил все на этой галерее. Кадры, организацию, термины. До по явления Карфельда это были слабоумные маньяки — неприкаянные, вроде цыган, бродячие проповедники, гитлеровские выкормыши. Сейчас это вполне оформленная группа интеллектуалов-патрициев. Никаких орд в рубашках с закатанными рукавами, никаких глупостей, присущих социалистам, — если не считать, конечно, студентов, а он до статочно умен, чтобы терпеть их. Он знает, какая тонкая грань отделяет пацифиста, набрасывающегося на полицейского, от полицейского, набрасывающегося на пацифиста. Словом, мы имеем дело с Барбароссой, который ходит в чистой рубашке

и имеет диплом доктора промышленной химии. Герр доктор Барбаросса — таков он сегодня. И с ним — экономисты, историки, статистики, ну и, конечно, юристы. Юристы — это великие гуру германского народа, всегда так было. А вы знаете, сколь нелогичны могут быть юристы. При этом — никаких политиков: политиков не уважают. К тому же, в понимании Карфельда, они всегда играют представительскую роль. А Карфельд не нуждается ни в каком представительстве, отнюдь. Его лозунг: иметь власть, но не править. Все знать лучше всех — ни за что не отвечать. Это, как вы понимаете, конец, а не начало, — сказал он с глубоким убеждением, так не вязавшимся с его апатичностью. — И мы, и немцы прошли через демократию, и никто не сказал нам за это спасибо. Все равно как человеку, сбрившему щетину. Никто не поблагодарит вас за то, что вы побрились, никто не благодарит вас за демократию. Теперь мы подошли к другому ее концу. Демократия возможна только при наличии строго регламентированной классовой системы; это игрушка, которую снисходительно бросают массам. Больше мы не можем этим заниматься. Это была вспышка света между феодализмом и веком автоматики, ныне угасшая. С чем же мы остались?

Избиратели отрезаны от парламента, парламент отрезан от правительства, правительство отрезано от всех. Отсюда лозунг: правительство правит молча. Правительство правит в отчуждении. Впрочем, мне нет нужды говорить вам об этом — это ведь явление чисто английское.

Он умолк, ожидая, что скажет Тернер. Но Тернер глубоко задумался и молчал. За длинным столом в центре спорили журналисты. Кто-то пригрозил переломать кому-то кости, кто-то третий заявил, что тут же размозжит им обоим головы.

— Я не знаю, что я защищаю или что представляю. Да и кто знает? В Лондоне вам говорят, подмигнув, что вы — джентльмен, который врет направо и налево на благо своей страны. Причем учтите: добровольно. Но сначала скажите, какую правду я должен скрывать. Никто об этом понятия не имеет. За стенами министерства несчастные люди думают, будто у нас есть книга в золотом переплете, на обложке которой написано: **Политика…** Господи, если бы они знали… — Он допил вино. — Может, вы знаете? Предполагается, что мы должны добиваться максимума благ при минимуме трений. Ну а что подразумевается под благами? Власть? Сомневаюсь, чтобы власть была нам ко благу. Может, нам полезнее упадок?

Может, нам нужен Карфельд? Новый Освальд Мосли? Боюсь, мы даже не заметили бы его появления. Противоположность любви — апатия, а не ненависть. Вот в состоянии апатии мы здесь и живем. В состоянии истерической апатии. Выпейте еще мозельского.

— Как вы считаете, — спросил Тернер, по-прежнему не отрывая взгляда от холмов, — может Зибкрон уже знать насчет Гартинга и, если да, может ли это ожесточить их? Может это быть причиной такого чрезмерного внимания к нам?

— Обсудим это потом, — спокойно сказал де Лилл. — Не при детях, если не возражаете.

Солнце опустилось на реку и осветило ее; оно казалось большой золотой птицей, которая, распустив крылья, слегка коснулась ими поверхности воды, и все сразу ожило, точно веселым весенним днем. Приказав юному официанту отнести две рюмки лучшего коньяку на улицу к теннисным кортам, де Лилл изящно продефилировал между пустыми столиками к боковой двери. Журналисты, сидевшие в центре комнаты, умолкли; они накачались вином и угрюмо осели в своих кожаных креслах, тупо ожидая какой-нибудь новой политической катастрофы, которая возродила бы их к жизни.

— Бедняга вы, бедняга, — заметил де Лилл, когда они вышли на свежий воздух. — Я вам, наверно, ужасно надоел. Вам всегда так везет? Но, видно, всем нам хочется излить душу стороннему человеку, правда? Неужели все мы кончаем тем, что становимся маленькими Карфельдами? И только-то? Анархистами-патриотами из средних слоев населения? Вот какая перспектива должна казаться особенно унылой.

— Я должен посмотреть его дом, — сказал Тернер. — Мне надо кое-что выяснить.

— Ничего не выйдет, — все тем же ровным тоном заметил де Лилл. — Людвиг Зибкрон поставил вокруг его дома охрану.

Было три часа. Они сидели в саду под парусиновым зонтом, потягивая коньяк, и наблюдали за тем, как дочери дипломатов весело играют в мяч на мокрых кирпично-красных площадках кортов.

— Я подозреваю, что Прашко — мошенник, — заявил де Лилл. — Он давно числился в нашем активе, но потом повернул против нас. — Он зевнул. — В свое время это был человек весьма опасный — настоящий политический пират. Ни один заговор не обходился без него. Я видел его не сколько раз: мы, англичане, до сих пор время

от времени беспокоим его. Как всех отступников, его тянет к утра ченной вере. Сейчас он свободный демократ. Может быть, Роули уже говорил вам? Сейчас это прибежище для всех потерпевших крушение; у них там есть весьма странные личности.

— Но он же был нашим другом!

— До чего вы наивны, — вяло проронил де Лилл. — Совсем как Лео. Можно знать человека всю жизнь и не быть его другом. Неужели Прашко так для вас важен?

— Он мой единственный ключ, — сказал Тернер. — Единственный, за кого можно ухватиться для начала. Только он общался с Гартингом вне посольства. Ему была отведена роль шафера на будущей свадьбе.

— На свадьбе? У Лео? — Де Лилл резко выпрямился, сразу утратив всю свою невозмутимость.

— Гартинг был давно уже помолвлен с некой девицей по имени Маргарет Айкман. Они знали друг друга еще до того, как Лео стал работать в посольстве.

Де Лилл с явным облегчением снова откинулся на спинку кресла.

— Если вы собираетесь говорить с Прашко… — сказал он.

— Не собираюсь, не волнуйтесь — это мне разъяснили. — Тернер отхлебнул немного вина. — Но кто-то предупредил Лео. Кто-то это сделал. И он потерял голову. Он узнал, что время у него ограниченно, что он живет в долг, — и тотчас прихватил все, что мог. Все. Письма, документы… И бежал, даже не позаботившись закамуфлировать свой побег отпуском.

— Роули никогда бы не дал ему отпуска — в нынешней ситуации.

— Отпуск по семейным обстоятельствам он бы получил. Брэдфилд, например, сразу об этом подумал.

— А тележку тоже он украл? Тернер молчал.

— Наверно, и мой новый электрический вентилятор тоже. Это, несомненно, пригодится ему в Москве.

Де Лилл удобнее откинулся в кресле. Небо было голубое-голубое, яркое солнце так сильно припекало, точно светило сквозь увеличительное стекло.

— Если дело затянется, придется мне покупать новый вентилятор.

— Кто-то его предупредил, — повторил Тернер. — Это единственное объяснение. Он сдрейфил. Потому-то я и подумал о Прашко: он ведь

в прошлом принадлежал к левым. Был попутчиком, следуя терминологии Роули. Они давние друзья с Лео — вместе пробыли в Англии всю войну.

Он посмотрел на небо.

— Сейчас вы выдвинете теорию, — пробормотал де Лилл. — Я уже вижу, как она рождается.

— Оба они вернулись в Германию в сорок пятом, послужили в армии, потом расстались. Пути их разошлись: Лео остается британским подданным и этим прикрывается, а Прашко натурализуется и начинает заниматься политикой в Германии. Должен сказать, эти двое могли бы быть весьма полезной парой в качестве долгосрочных резидентов. Возможно, оба они были втянуты в одну и ту же игру — завербованы кем-то еще в Англии, когда Россия была нашим союзником. И дружбе их пришел конец. Так обычно бывает. Стало небезопасно даже поддерживать отношения: дескать, наши имена не должны быть связаны. Но они продолжали эти отношения поддерживать тайно. И вот однажды Прашко что-то узнает. Всего несколько недель назад. Возможно, совершенно неожиданно. Представим себе, что он это узнает по секретным боннским каналам, о которых вы такого высокого мнения, слышит, что Зибкрон

напал на след. Всплыла какая-то старая история; кто-то проболтался: мы преданы. А возможно, под подозрение попал один Лео. И вот Прашко говорит: укладывай чемоданы. Забирай с собой все, что можешь, и беги.

— Какой страшный у вас ум, — с искренним восторгом заметил де Лилл. — Какая жуткая, изощренная фантазия.

— Беда в том, что на этот раз она работает вхолостую.

— В самом деле? В жизни так не случается? Я рад, что вы это сознаете. Так вот: Лео никогда не сдрейфил бы — это не в его натуре. Слишком он держит себя в руках. И как это ни глупо звучит, но он к нам очень привязан. Без лишней скромности говорю: очень. Это наш по складу человек, Алан. Не их. Ему невероятно мало нужно от жизни. Шах терская лошадка — таким почему-то представлялся он мне в нашей проклятой конюшне на первом этаже. Даже когда он поднялся выше, перешел на другой этаж, он словно принес с собой что-то снизу, какую-то атмосферу таинственности. Все считали его славным малым. Славным и несколько излишне любопытным…

— Ни один из тех, с кем я говорил, не называл его таким уж славным.

Де Лилл повернул голову и с нескрываемым интересом посмотрел на Тернера.

— В самом деле? Как страшно! Значит, каждый из нас считал, что собеседник шутит. Точно клоуны в трагедии. Это очень гадко, — заметил он.

— Ну, хорошо, — сказал Тернер. — Он не был привержен никакой догме. Но мог быть привержен в юности, не так ли?

— Мог.

— В таком случае он мог преспокойно спать — я имею в виду, его политическое сознание могло спать…

— А…

— …пока Карфельд не заставил его проснуться, пока новый национализм — этот старый враг — внезапно не разбудил его. «Эге, что же это происходит?» Он увидел, что все начинается сначала, и сказал об этом людям: история, мол, повторяется.

— Кажется, Маркс сказал: история повторяется, но в первый раз как трагедия, а второй раз — как фарс. Весьма остроумно для немца. Хотя должен признаться, что в сравнении с Карфельдом и его движением коммунизм кажется иногда необычайно привлекательным.

— Каким он все-таки был? — упорно добивался

своего Тернер. — Каким он был на самом деле?

— Лео? Господи, а какие все мы?

— Вы-то знали его, а я — нет.

— Вы что, собираетесь меня допрашивать? — спросил де Лилл, и вопрос прозвучал совсем не шутливо. — Черта с два стану я платить за наш ленч, если вы намереваетесь сорвать с меня маску.

— Брэдфилд любил его?

— А кого Брэдфилд любит?

— Он присматривал за ним?

— На работе — безусловно, там это необходимо: Роули знает свое дело.

— Он ведь, кажется, католик, не так ли?

— О боже милостивый, — вздохнул де Лилл с неожиданно прорвавшимся чувством. — Какие чудовищные вещи вы говорите! Нельзя так делить людей — из этого ничего хорошего не получится. Жизнь ведь не меряют тем, сколько на свете ковбоев и сколько индейцев. Тем более жизнь дипломатов. Если вы в самом деле так понимаете жизнь, лучше подавайте в отставку. — Произнеся эти слова, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, давая теплым лучам солнца немного восстановить его душевное равновесие. — А именно это и тревожит вас в Лео,

верно? — добавил он прежним, утраченным было, безразличным тоном. — Вот он взял и исчез, следуя какой-то глупой вере. А ведь бог мертв. Нельзя же поклоняться одному и сжигать другое — это уже отдавало бы средневековьем. — И, окончательно примирившись с собой, он снова умолк. — Мне вспоминается один случай с Лео, — после паузы снова за говорил он. — Это может пригодиться для записи в вашей маленькой книжечке. Интересно, как вы это истолкуете. Однажды роскошным зимним днем я возвращался со скучнейшей конференции, которую проводили немцы; время около половины пятого, делать особенно нечего, съезжу-ка в горы за Годесберг, решил я. Солнце, мороз, снег, ветерок — именно в такой день, надеюсь, моя душа отлетит когда-нибудь в рай. И вдруг я увидел Лео. Это был — бесспорно, безусловно, вне всяких сомнений — он, Лео. В этаком фантастическом черном тулупе с поднятым воротником и в отвратительной фетровой шляпе, какие носят карфельдовские сподвижники. Он стоял у края футбольного поля, наблюдая, как гоняют мяч какие-то юнцы, и курил одну из своих тонких сигар, на которые все всегда жаловались.

— Один?

— Совершенно один. Я хотел было остановиться, но передумал. Он был без машины — во всяком случае, поблизости не видно было ни одной — и за много миль от обжитых мест. И все же я не остановился, потому что подумал: не надо, не мешай, он молится. Он видит перед собой детство, которого никогда не знал.

— Вы испытывали к нему теплые чувства, да?

Де Лилл, наверное, ответил бы — вопрос явно не смутил его, — но их беседу неожиданно прервали.

— Привет! Завели себе новую тень? — заплетающимся языком пробубнил кто-то рядом с ними.

Человек стоял против солнца, и Тернер прищурился, чтобы его разглядеть. Понемногу в покачивающейся фигуре с копной черных косматых волос он признал английского журналиста, который здоровался с ними во время ленча. Журналист тыкал пальцем в Тернера, но наклоном головы явно адресовал свой вопрос де Лиллу:

— Он кто — сутенер или шпион?

— Кем вы предпочитаете оказаться, Алан? — весело спросил де Лилл и, не получив ответа от Тернера, нимало не смущаясь, продолжал: — Алан Тернер — Сэм Аллертон. Сэм представляет тут целую кучу газет, верно, Сэм? Это необычайно

могучий человек, хотя он не ценит своего могущества. Журналисты вообще его не ценят.

Аллертон продолжал глядеть на Тернера.

— Ну, хоть откуда он взялся?

— Из города под названием Лондон, — ответил де Лилл.

— А из какой части города Лондона?

— Из министерства сельского и рыбного хозяйства.

— Врете вы все.

— Ну, в таком случае из министерства иностранных дел. Неужели трудно догадаться?

— Надолго он тут?

— Проездом.

— А надолго проездом?

— Ну, вы же знаете, что такое визиты.

— Я знаю, что такое его визиты, — сказал Аллертон. — Он ищейка. — Его тусклые желтые глаза медленно оглядели Тернера и отметили ботинки на толстой подошве, костюм из легкой тропической ткани, бесстрастное лицо и светлые, смотрящие в упор, не мигая, глаза. — Белград, — сказал он наконец. — Вот где я вас видел. Какой-то посольский парень залез в постель к одной шпионке, и их сфотографировали. Нам пришлось про это дело промолчать, не то посол всех нас

вышвырнул бы оттуда. Сотрудник безопасности — вот что вы такое, Тернер, выкормыш Бевина. Вы подвизались и в Варшаве, верно? Это я тоже помню. И там был переполох, верно? Какая-то девица пыталась покончить с собой. Девица, которую вы чересчур прижали. И этот материальчик нам тоже пришлось сунуть в мусорную корзину.

— Проваливайте-ка отсюда, Сэм, — сказал де Лилл.

Аллертон расхохотался. Смех у него был какой-то жуткий, безрадостный, больной, к тому же он и в самом деле, видимо, вызвал у него боль, потому что Аллертон вдруг опустился на стул и длинно выругался. Черные жирные волосы его подпрыгивали, разметавшись, как плохо причесанный парик, огромный живот подрагивал, свисая над перетягивавшим его ремнем.

— Ну, Питер, как же поживает наш друг Людвиг Зибкрон? Следит за тем, чтобы мы остались целы и невредимы? Спасает империю?

Не произнеся ни слова, Тернер и де Лилл поднялись и направились через лужайку к стоянке машин.

— Эй, кстати, а вы слыхали новости? — крикнул им вслед Аллертон.

— Какие новости?

— Эх, ребята, ни черта вы не знаете! Федеральный министр иностранных дел только что вылетел в Москву. Переговоры на высшем уровне для заключения советско-германского торгового соглашения. Немцы вступают в СЭВ и подписывают Варшавский договор. Все, чтобы угодить Карфельду и спутать карты в Брюсселе. Британию — вон, Россию — милости просим, Раппальский договор — только на этот раз о ненападении. Что скажете на это?

— Скажем, что вы врун, каких мало, — заявил де Лилл.

— Приятно чувствовать, что ты нравишься, — намеренно сюсюкая, как гомосексуалист, отпарировал Аллертон. — Только не говори мне, радость моя, что этого никогда не будет, потому что в один прекрасный день это произойдет. В один прекрасный день они на это пойдут. Вынуждены будут. Врежут мамочке по шее и найдут себе нового папочку для своего фатерланда. Но это будет, уж конечно, не Запад. Верно? Так кто же это будет? — И, повысив голос, поскольку они уже отошли от него, он заорал: — Вот чего вы, дурачье, не понимаете! Карфельд — единственный человек в Германии, который говорит

правду: «холодная война» окончена. Всем это ясно, кроме вонючих дипломатов! — Последний его залп настиг их, когда они уже закрывали дверцы машины: — А впрочем, все это не страшно, дорогулечки, — донеслось до них. — Теперь мы можем спать спокойно, раз Тернер с нами!

Маленькая спортивная машина медленно продвигалась мимо стерильно чистых аркад американской колонии. Церковный колокол, усиленный динамиком, гудел, славя солнце. На ступеньках типично американской часовни жених и невеста позировали фотографам — то и дело вспыхивали блицы. Машина свернула на Кобленцерштрассе, и гул толпы захлестнул их волной. Наверху мигали электронные индикаторы, указывая скорости машин. Портретов Карфельда стало много больше. Мимо промчались два «мерседеса» с арабскими буквами на номерных знаках, обогнали их, врезались в один с ними поток, снова из него вышли и исчезли.

— Этот лифт… — сказал вдруг Тернер, — …в посольстве… Он давно вышел из строя?

— Бог ты мой, кто помнит, когда что случилось? Где-то в середине апреля, должно быть.

— Вы уверены?

— Вы все думаете насчет тележки? Она ведь

тоже исчезла в середине апреля!

— А вы догадливы, — заметил Тернер. — Даже очень.

— А вы допускаете непоправимую ошибку, если считаете себя великим специалистом, — парировал де Лилл с неожиданной силой, которую Тернер однажды уже подметил в нем. — И не воображайте себя человеком в белом халате, а всех нас — подопытными кроликами. — Он резко свернул в сторону, чтобы не столкнуться с грузовиком, и за их спиной тотчас яростно завизжали тормоза. — Я спасаю вашу шкуру, хотя вы, возможно, этого и не замечаете. — Он улыбнулся. — Не сердитесь. Просто Зибкрон действует мне на нервы — вот и все.

— У него в дневнике стоит буква «П», — неожиданно сказал Тернер. — Запись сделана после рождества: «Встретиться с П. Пригласить П. на обед». И больше никаких упоминаний об этом П. Ведь это мог быть Прашко.

— Мог.

— Какие министерства расположены в Бад-Годесберге?

— Строительства, науки, здравоохранения. Насколько мне известно, только эти три.

— Он ездил туда на совещание каждый четверг

во второй половине дня. В какое из этих министерств он мог ездить?

Де Лилл остановил машину у светофора. Сверху на них хмуро смотрел Карфельд, похожий на циклопа: один глаз у него был содран чьей-то возмущенной рукой.

— Не думаю, чтобы он ездил на какие-либо совещания, — осторожно предположил де Лилл. — Во всяком случае, в последнее время.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал.

— Послушайте…

— А кто вам говорил, что он ездит на совещания?

— Медоуз. Причем Медоуз слышал это от самого Лео. Лео сказал ему, что он ездит каждую неделю на совещания по договоренности с Брэдфилдом. Это как-то связано с финансовыми претензиями немецких граждан.

— О господи, — еле слышно пробормотал де Лилл. Он вывернул машину влево, пропуская вперед сигналивший ему белый «порш».

— Что значит «о господи»?

— Сам не знаю. Но, наверно, не то, что вы думаете. Никаких совещаний не было. Во всяком случае, таких, на которых должен был присут-

ствовать Лео. Ни в Бад-Годесберге, ни где-либо еще, ни по четвергам, ни по каким— либо другим дням. До приезда Роули он, правда, бывал на совещаниях низшего звена в министерстве строительства. Там обсуждались частные контракты на восстановление домов, поврежденных во время маневров союзных войск. И Лео утверждал их.

— До тех пор, пока не приехал Брэдфилд?

— Да.

— А что произошло потом? Эти совещания окончились, что ли? Так же как и вся его работа.

— Более или менее.

Вместо того чтобы свернуть направо к воротам посольства, де Лилл повернул влево, решив сделать еще один круг.

— Что значит «более или менее»?

— Роули положил этому конец.

— Совещаниям?

— Я же сказал вам. Гартинг выполнял там чисто механические функции. Разрешение можно было давать и письменно.

Тернер чувствовал, что близок к отчаянию.

— Ну чего вы крутите? В чем дело? Прекратил Брэдфилд поездки на совещания или нет? Какую роль он в этом играл?

— Спокойнее, — предостерег его де Лилл, приподняв руку, лежавшую на руле. — Не спешите. Роули стал посылать меня вместо него. Ему не нравилось, что такой человек, как Лео, представляет посольство.

— Такой человек, как…

— Я имею в виду, человек временный. Только и всего! Временный сотрудник, не имеющий постоянного дипломатического статуса. Роули считал, что это неправильно, и передал эти функции мне. После этого Лео перестал со мной разговаривать. Он решил, что я интриговал против него. А теперь хватит. Не спрашивайте меня больше ни о чем. — Они снова проезжали мимо гаража «Арал», только на этот раз в северном направлении. Служитель, заливающий бензин, узнал машину и весело помахал де Лиллу. — У вас свои мерила и правила, у меня свои. Я не стану обсуждать с вами Брэдфилда, даже если вы будете орать на меня, пока не посинеете. Он мой коллега, мой начальник и…

— И ваш друг! Кого вы, черт возьми, здесь представляете? Самих себя или несчастных маленьких налогоплательщиков? Хотите, я скажу вам кого: клуб. Ваш клуб. Этот чертов Форин офис. И если вы увидите, что Роули Брэдфилд стоит на

Вестминстерском мосту и торгует вразнос архивами, чтобы немного подработать к основному окладу, вы отвернетесь, черт побери, и сделаете вид, будто ничего не заметили.

Тернер не кричал. Но он произносил каждое слово отдельно и так весомо, что это придавало его речи необычайную силу.

— Так бы и наклал на вас на всех. На весь ваш паскудный, насквозь прогнивший балаган. Пока Лео был с вами, вы и двух пенни не дали бы за него, ни один из вас. Ну, что он был такое — ничтожество, мразь! Ни именитых родителей, ни привилегированной школы в детстве — ничего. Загнать его на другой берег, где никто не станет обращать на него внимания! Упрятать в посольские катакомбы вместе со служащими-немцами. Угостить такого стаканом вина можно, а обедом — уже нельзя. Ну, и к чему это привело? Что он дал деру, утащив с собой половину ваших секретов. И тут вы вдруг почувствовали свою вину и застыдились, как девственница, — придерживаете рукой передничек и рта не смеете раскрыть перед чужим мужчиной! Все — и вы, и Медоуз, и Брэдфилд. Вы знаете, как он сюда проник, как всех облапошил, всех провел за нос и бежал с украденным. Вы знаете и еще кое-что: знаете о

существовании в его жизни дружбы, любви — это-то и выделяло его среди вас, делало интересным. Он жил в своем особом мире, и ни один из вас не хочет этот мир назвать. Что это был за мир? Кто был этим миром? Куда, черт побери, он ездил по четвергам во второй половине дня, если не в министерство? Кто направлял его действия? Кто ему покровительствовал? Кто давал ему задания и деньги и кто получал от него информацию? Кому на руку он играл? Ведь он же шпион, черт побери! Он же залез к вам в карман! И вот как только вы это обнаружили, вы стали на его защиту!

— Нет, — сказал де Лилл. Они остановились у ворот посольства, машину окружили полицейские, в окно застучали. Но он не спешил опускать стекло. — Нет, все это не правда. Вы с Лео — одного поля ягода. Вы оба — по ту сторону барьера. И тот, и другой. Понять и найти Лео — ваше дело. Несмотря на все объяснения и все ярлыки. По тому-то вы так и взбиваете пену.

Они подъехали к стоянке для машин, и де Лилл свернул к столовой, где утром, глядя вдаль, стоял Тернер.

— Мне нужно осмотреть его дом, — сказал Тернер. — Нужно. — Оба помолчали, уставившись прямо перед собой в ветровое стекло.

— Я так и думал, что вы меня об этом попросите.

— В таком случае забудьте об этой просьбе.

— Почему? Я не сомневаюсь, что вы все равно попробуете туда пробраться. Рано или поздно.

Они вылезли из машины и медленно пошли по асфальту. Фельдъегери лежали на лужайке неподалеку от своих мотоциклов, стоявших возле флагштока. Под солнцем пламенели герани, выстроившиеся в ряд, точно крошечные солдаты на военном параде.

— Он любил армию, — произнес де Лилл, когда они уже поднимались по ступенькам особняка. — Действительно любил.

Оба остановились, чтобы показать пропуска сержанту с лицом хорька, и Тернер оглянулся на аллею, по которой они только что проехали.

— Смотрите-ка! — воскликнул он, — Та самая пара, что прицепилась к нам в аэропорту.

Черный «опель», покачиваясь, подъехал к проходной. На переднем сиденье — двое. Отсюда, со ступенек, Тернеру хорошо видны были блики солнца, отражавшиеся от длинного смотрового зеркала.

— Ну что ж, Людвиг Зибкрон проводил нас на ленч, — с сухой усмешкой заметил де Лилл, — а

теперь привел домой. Я ведь говорил вам: не считайте себя великим специалистом.

— В таком случае где вы были в пятницу вечером?

— В сарае, — рявкнул де Лилл, — поджидал леди Анну, чтобы убить ее и завладеть прославленными бриллиантами.

Шифровальная была снова открыта. Корк прилег на раскладную кровать на колесиках, возле него на полу валялся проспект с виллами Карибского побережья. На столе в рабочей комнате лежал голубой конверт со штампом посольства, адресованный Алану Тернеру, эсквайру. Имя и фамилия были напечатаны на машинке, стиль письма сухой, довольно неуклюжий. Автор доводил до сведения мистера Тернера, что ему известен целый ряд вещей, связанных с проблемой, приведшей мистера Тернера в Бонн. Если мистер Тернер не возражает, продолжал автор письма, он готов встретиться с ним за бокалом вина по указанному выше адресу в половине седьмого. Место встречи в Бад-Годесберге, а автором письма была мисс Дженни Парджитер из отдела прессы и информации, прикомандированная в данное время к аппарату советников. Подписавшись, она — для ясности — напечатала ниже свое имя и фа-

милию на машинке. Крупная буква «П» бросилась Тернеру в глаза, и, открыв книжку-календарь в синей дерматиновой обложке, он позволил себе многозначительно улыбнуться. «П» могло означать Прашко, «П» могло означать и Парджитер. А именно «П» стояло в записной книжке. **А ну — ка, Лео, за глянем в твою тайну.**

8
ДЖЕННИ ПАРДЖИТЕР

Понедельник. Вечер

— Насколько я понимаю, — начала беседу с заранее подготовленной фразы Дженни Парджитер, — разговор конфиденциального характера не может явиться для вас неожиданностью.

На низеньком стеклянном столике перед диваном стояла бутылка шерри. Квартира была темная, неприглядная: викторианские плетеные стулья, немецкие тяжелые гардины. В нише над обеденным столом — репродукции Констэбля.

— У вас своя профессиональная этика — как у врача.

— О, будьте спокойны, — сказал Тернер.

— Сегодня на утреннем совещании у нас в аппарате советников говорилось о том, что вы ведете расследование по делу Лео Гартинга. И нам было предложено не подвергать этот вопрос обсуждению, даже между собой.

— Со мной вам его обсуждать можно, — сказал Тернер.

— Без сомнения. Но я, естественно, хочу знать,

на сколько может простираться доверительность нашей беседы. В частности, например, каков ваш статус применительно к Управлению кадров?

— Это зависит от характера полученной мной ин формации.

Она подняла бокал с шерри и держала его на уровне глаз, словно прикидывая, сколько в нем налито. По всей видимости, это была попытка продемонстрировать присутствие духа, придать беседе непринужденно-светский характер.

— Предположим, кто-то в чем-то слегка перешел границы… предположим, я. В чисто личных делах.

— Все будет зависеть от того, с кем вы перешли границы, — ответил Тернер, и Дженни Парджитер внезапно залилась краской.

— Я вовсе не это имела в виду.

— Вот слушайте, — сказал Тернер, пристально наблюдая за ней. — Если вы придете и признаетесь мне по секрету, что забыли в автобусе папку с документами, я обязан буду доложить об этом Управлению кадров. А если вы сообщите мне, что время от времени встречаетесь где-нибудь с каким-то вашим приятелем, я не упаду от этого в обморок. Как правило, — сказал он, пододвигая к ней свой бокал, чтобы она налила ему еще шер-

ри, — Управление кадров предпочитает не знать о моем существовании. — Он сидел, свободно развалясь в кресле, и произнес это очень небрежно, словно разговор мало его интересовал.

— А если вопрос касается третьих лиц, о которых надо позаботиться, так как они не могут сделать этого сами?

— Значит, это опять-таки вопрос безопасности, — сказал Тернер. — И если бы вы не считали дело серьезным, вы бы вообще не обратились ко мне. Так что решайте сами. Я не могу дать вам никаких гарантий.

Резким, немного угловатым движением она взяла сигарету, закурила. Она была не лишена привлекательности, но одета как-то не по летам — то ли слишком молодо, то ли наоборот, — и, может быть, поэтому она показалась Тернеру человеком другого поколения.

— Пусть будет так, — сказала она и с минуту хмуро-сосредоточенно смотрела на Тернера, словно стараясь определить, в какой мере можно ему довериться. — Тем не менее вы неправильно поняли, почему я пригласила вас сюда. Дело вот в чем. Поскольку до вас, несомненно, дойдут всевозможные сплетни относительно Лео Гартинга и меня, я предпочитаю, чтобы вы услышали

правду из моих уст.

Тернер поставил на стол бокал и открыл записную книжку.

— Я приехала сюда в самый канун рождества, — начала Дженни Парджитер. — Из Лондона. А перед этим я была в Джакарте. В Лондон я возвратилась, чтобы обвенчаться. Быть может, вы видели в газетах объявление о моей помолвке?

— Боюсь, что это как-то прошло мимо меня, — сказал Тернер.

— Человек, с которым я была обручена, решил в последнюю минуту, что мы не созданы друг для друга. Это было очень мужественное решение. Тогда я добилась назначения в Бонн. Мы знали друг друга много-много лет, учились вместе в университете, и я всегда считала, что у нас с ним много общего. Но он взглянул на вещи по-другому. На то и существуют помолвки. Я ни в коей мере не чувствую себя обиженной. И не вижу никаких оснований выражать мне сочувствие.

— Итак, вы приехали сюда на рождество?

— Я специально просила о том, чтобы мне дали возможность провести праздники здесь. Все прошлые годы мы обычно проводили рождество вместе. За исключением, конечно, тех лет, когда я была в Джакарте. Оказаться в эти дни… врозь

было, как вы понимаете, мучительно для меня. Я очень рассчитывала на то, что новая обстановка поможет мне забыться.

— Ясно.

— Одинокой женщине в посольстве на рождество отбою нет от приглашений. Почти все сотрудники аппарата советников приглашали меня провести праздники в их семье. Брэдфилды, Крабы, Джексоны, Гевистоны — все звали меня к себе. Пригласили меня и Медоузы. Вы, конечно, уже познакомились с Артуром Медоузом?

— Познакомился.

— Он вдовец, живет со своей дочерью Майрой. В сущности-то, он — «Б-3», хотя официально эти ранги теперь уже у нас не в ходу. Я была очень тронута, получив приглашение от сотрудника ниже меня по положению.

Ее произношение временами выдавало провинциалку, хотя она и очень старалась это скрыть.

— В Джакарте мы всегда придерживались таких традиций. Общались шире. А в таком большом посольстве, как здесь, в Бонне, все склонны скорее замыкаться в своем более узком кругу. Я не хочу сказать, что не должно существовать никаких перегородок: это, по-моему, тоже не годится. У сотрудников категории «А», например, другие

интеллектуальные интересы, другие запросы и вкусы, чем у сотрудников категории «Б». Но я нахожу, что в Бонне эта обособленность слишком уж резко бросается в глаза и разграничения слишком строги. «А» — только с «А», «Б» — только с «Б», даже если они работают в разных местах — в торговой миссии, в атташатах, в аппарате советников, — все держатся в рамках своих крошечных каст. Мне кажется, что это неправильно. Хотите еще шерри?

— Спасибо.

— Словом, я приняла приглашение Медоуза. Кроме меня, он пригласил еще и Гартинга. Мы очень приятно провели у них целый день. Вечером Майра Медоуз была куда-то приглашена… Она ведь перенесла очень тяжелую душевную травму: в Варшаве у нее был, как я поняла, роман с каким-то подозрительным типом из местных, и все это едва не кончи лось трагедией. Я лично против предуказанных браков. Ну, словом, Майра отправлялась куда-то, где собиралась молодежь, сам Медоуз был приглашен к Коркам, и нам с Гартингом оставалось только откланяться. Когда мы уходили, он предложил немного прокатиться. Тут неподалеку есть славное местечко, сказал он, и было бы неплохо подышать свежим воздухом по-

сле всех этих яств и возлияний. Я обожаю ходить пешком. Мы немного погуляли, и потом он стал уговаривать меня поехать к нему поужинать. Он был очень настойчив.

Она больше не глядела на Тернера. Она сложила руки на коленях, соединив кончики пальцев.

— Я почувствовала, что отказаться неудобно. В таких ситуациях женщине всегда бывает очень трудно. Я бы с удовольствием вернулась пораньше домой, но мне не хотелось его обидеть. В конце концов, это же был сочельник. Гартинг во все время прогулки вел себя безупречно. Но с другой стороны, мы ведь были почти незнакомы до этого дня. Все же я согласилась, предупредив его, однако, что не хочу поздно возвращаться домой. Он принял это условие, и я в своей машине поехала следом за ним в КJнигсвинтер. К моему изумлению, оказалось, что дома у него все уже было приготовлено заранее. Стол был накрыт на двоих. Он даже упросил истопника прийти и разжечь камин. После ужина он объяснился мне в любви. — Она снова взяла сигарету, глубоко затянулась. Ее голос звучал все более сухо-деловито — хочешь не хочешь, придется все рассказать. — Он сказал, что никогда в жизни не испытывал подобного чувства. Сказал, что потерял голову с

первой секунды, когда увидел меня на совещании. «Все ночи напролет я простаиваю у окна своей спальни, глядя, как они поднимаются вверх по реке, — сказал он, указывая на цепочку огней: по реке плыли баржи. — Каждое утро я встречаю здесь восход солнца». Это было наваждение, и виной всему была я. Его признание ошеломило меня.

— Что вы ответили ему?

— Он, в сущности, не дал мне произнести ни слова. Заявил, что хочет сделать мне подарок. Даже если ему не суждено никогда больше увидеть меня, он все равно хочет, чтобы я приняла от него рождественский подарок — знак его любви ко мне. Он исчез за дверью своего кабинета и тот час возвратился с каким-то свертком в руках, к которому уже была прикреплена карточка с надписью: «Моей люби мой». Как вы легко можете себе представить, я совершенно растерялась. «Я не могу этого принять, — сказала я. — Я отказываюсь. Я не могу допустить, чтобы вы делали мне подарки. Это ставит меня в ложное положение». Я попыталась объяснить ему, что хотя он ведет себя во многих отношениях как прирожденный англичанин, однако в этом случае он делает то, что у англичан не принято. Это на континенте

вошло в обычай брать женщин штурмом, а в Англии за женщиной ухаживают долго и тактично, окружают ее вниманием. Мы сначала должны получше узнать друг друга — образ мыслей, взгляды. А потом, у нас разница в возрасте; я не должна забывать о своей карьере. Признаюсь, я просто не знала, что делать. — Сухая деловитость исчезла из ее голоса, он звучал беспомощно и немного жалобно. — Но он продолжал твердить: это же рождество! Я должна рассматривать это просто как рождественский подарок.

— Что было в свертке?

— Фен для сушки волос. Он сказал, что особенно восхищается моими волосами. Он все любуется, как солнце играет в них по утрам. Во время наших утренних совещаний, понимаете? Он, по-видимому, выражался фигурально, потому что погода была в ту зиму премерзкая. — Она вздохнула. — Вероятно, этот фен стоил не меньше двадцати фунтов. Еще никто не делал мне таких дорогих подарков — даже мой бывший жених в период нашей самой большой близости.

Теперь она проделала некий ритуал с пачкой сигарет: протянула было руку, затем рука повисла в воздухе, словно выбирая, какую бы сигарету взять — эту, нет, лучше ту, точно это были шоко-

ладные конфеты… Наконец она закурила, хмуро сдвинув брови.

— Мы посидели, поставили пластинки. Я не слишком музыкальна, но мне казалось, что музыка может его развлечь. Мне было мучительно жаль его и оченьне хоте лось оставлять одного в таком состоянии. Он сидел и молча смотрел на меня. Я не знала, куда девать глаза. Потом он подошел и сделал попытку меня обнять, но я сказала, что мне пора домой. Он проводил меня до машины. Держался очень корректно. По счастью, впереди было еще два дня праздников, и я имела возможность решить, что делать. Он дважды звонил мне, приглашал поужинать, я отказалась. В последний день праздников решение мое было принято. Я написала ему письмо и возвратила подарок. Я чувствовала, что не могу поступить иначе. Я приехала в посольство пораньше и оставила сверток у дежурного аппарата советников. Я много думала над его словами, написала я в письме, и пришла к убеждению, что никогда не смогу ответить ему таким же чувством. А значит, я не должна поощрять его, и, поскольку мы с ним коллеги и нам предстоит постоянно встречаться друг с другом, простая порядочность требует, чтобы я сразу же, не откладывая, откровенно

объяснилась с ним, прежде чем…

— Прежде чем — что?

— Прежде чем пойдут сплетни, — сказала она с внезапной горячностью. — В жизни не видала таких сплетников, как здесь. Шагу нельзя ступить, чтобы про тебя не наплели каких-нибудь мерзких небылиц.

— Что же они про вас наплели?

— А бог их знает, — сказала она беспомощно. — Бог их знает.

— Кому из дежурных передали вы этот сверток? — Уолту-младшему. Сыну.

— Он рассказал об этом кому-нибудь?

— Я специально предупредила его, чтобы он не болтал.

— Это, несомненно, должно было произвести на него впечатление, — сказал Тернер.

Она сердито уставилась на него, щеки ее пылали от смущения.

— Ладно. Значит, вы возвратили ему эту штуку. Что он по этому поводу сделал?

— В тот же день мы встретились с ним, как обычно, на совещании, и он поздоровался со мной так, словно ничего не произошло. Я улыбнулась ему, и только. Он был бледен, но спокоен — хоть и грустен, но вполне владел собой. Я поняла, что

самое неприятное позади… К тому же как раз тогда ему поручили новую работу в архиве, и я на деялась, что это отвлечет его. Недели две мне почти не пришлось с ним разговаривать. Время от времени мы встречались в посольстве или на каких-нибудь приемах, и он выглядел вполне счастливым. Ни разу ни словом не обмолвился про тот рождественский вечер или про подарок. Иногда на коктейлях он вдруг подходил и останавливался возле меня, и я понимала, что он… хочет ощутить мою близость. Я постоянно чувствовала на себе его взгляд. От женского чутья такие вещи не могут укрыться: я понимала, что он еще надеется. Порой он так на меня глядел… этот взгляд не оставлял сомнений. Я до сих пор не понимаю, как я могла не замечать этого прежде. Тем не менее я ни в чем не поощряла его. Мое решение было принято, и какие бы ни возникали у меня соблазны, как бы мне ни хотелось утешить его, я понимала, что в конечном счете это ни к чему… нет смысла поощрять его. К тому же все произошло так внезапно, так… иррационально, что мне казалось, так же быстро должно и пройти.

— И прошло?

Так продолжалось еще недели две и мало-по-

малу стало действовать мне на нервы. Я не могла никуда пойти, не могла принять ни одного приглашения — всюду я встречала его. И он даже не пытался больше завязывать со мной беседу. Просто глядел на меня. У него темные глаза, и взгляд проникает в самую душу. Темно-карие глаза, и какие-то поразительно преданные. В конце концов я уже просто боялась появляться где-нибудь. Стыдно сказать, но в те дни у меня даже мелькала одна недостойная мысль. Я подумала, не читает ли он мою корреспонденцию.

Теперь вы отказались от этой мысли?

— У каждого из нас есть свой почтовый ящик в канцелярии. Для писем и телеграмм, И все мы помогаем сортировать почту. А приглашения здесь, как и в Англии, принято, разумеется, посылать в незапечатанных конвертах. Ему ничего не стоило заглянуть в мои конверты.

— Почему же вы считаете свою мысль недостойной?

— Потому что это неправда, вот почему! — вспыхнула она. — Я высказала ему свои подозрения, и он заверил меня, что я абсолютно не права.

— Понятно.

Она заговорила еще более категорично и наста-

вительно, отметая всякие возражения; в голосе ее зазвучали резкие нотки.

— Он никогда бы себе этого не позволил. Это совершенно не в его характере. Ему такая вещь и в голову не могла бы прийти. Он самым решительным образом заверил меня, что ни одной минуты не намеревался… «меня преследовать». Он сказал, что если это меня хоть сколько-нибудь раздражает, то он готов в дальнейшем отклонять все приглашения до тех пор, пока я не сниму свой запрет. Меньше всего на свете хотел бы он обременять меня своим присутствием.

— И после этого вы снова стали друзьями, так, что ли? Он видел, как она подыскивает лживые слова, чтобы не сказать правды, видел, как она колеблется на грани признания и неуклюже отступает.

— После двадцать третьего января он не перекинулся со мной ни словом, — пробормотала она. Даже при этом тусклом освещении Тернер не мог не увидеть, как слезы покатились по ее побледневшим щекам, хотя она быстро наклонила голову и закрыла лицо руками. — Я ничего не могу поделать с собой. Я думаю о нем беспрестанно, день и ночь.

Тернер встал, распахнул дверцу кабинетного

бара и налил полстакана виски.

— Ну-ка, — сказал он мягко, — вы же предпочитаете это. Бросьте прикидываться и выпейте.

— Это от переутомления. — Она взяла стакан. — Брэдфилд не дает ни минуты покоя. Он не любит женщин. Ненавидит их. Он с радостью загнал бы нас всех в гроб.

— А теперь расскажите мне, что произошло двадцать третьего января.

Она съежилась в кресле, повернувшись к Тернеру спиной; голос ее временами помимо воли начинал звенеть.

— Он перестал меня замечать. Делал вид, будто поглощен работой. Я заходила в архив за бумагами, а он даже не поднимал глаз. Не глядел в мою сторону. Никогда. Всех других он замечал, но только не меня. О нет! Прежде он не проявлял особого интереса к работе — достаточно было понаблюдать за ним во время наших совещаний: это сразу бросалось в глаза. В глубине души он был совершенно равнодушен. Не честолюбив. Но стоило мне появиться, он делал вид, будто с головой ушел в работу. Даже когда я здоровалась с ним, он смотрел на меня так, словно перед ним неодушевленный предмет. Даже когда я лицом к лицу сталкивалась с ним в коридоре, он не за-

мечал меня. Я для него больше не существовала. Мне казалось, что я сойду с ума. Такому поведению нет названия. В конце концов, он, как вам известно, всего-навсего сотрудник категории «Б», и к тому же временный; он, в сущности, никто. У него же нет никакого веса — вы бы только послушали, как они все говорят о нем. Вот что он такое в их глазах: сметливый малый, но полагаться на него нельзя. — На какую-то минуту она явно почувствовала свое превосходство над ним. — Я писала ему письмо. Я звонила ему по телефону в КЈнигсвинтер.

— И все замечали, что с вами творится? Вы не сумели скрыть свои чувства?

— Да ведь это он сначала преследовал меня!

Она совсем скорчилась в кресле, уронив голову на согнутый локоть, и тихонько всхлипывала: плечи ее вздрагивали.

— Вы должны все рассказать мне. — Тернер подошел к ней, тронул ее за руку. — Слышите? Вы должны рассказать мне, что произошло в конце январи. Произошло что-то важное, не так ли? Он попросил вас что-то для него сделать. Что-то имеющее политическую подкладку. Что-то такое, из-за чего вы теперь очень напуганы. Сначала он обхаживал вас, задурил вам голову. Затем полу-

чил то, что ему было нужно. Что-нибудь совсем простое, но чего он не мог добыть сам. А когда получил, вы ему стали не нужны. Всхлипывания утихли.

— Вы сообщили ему то, что ему надо было выведать. Вы оказали ему услугу и тем облегчили его задачу. Ну что ж, это не такая уж редкость. Немало людей делают то же самое в различных обстоятельствах. Так что же это было? — Тернер опустился на колени возле ее кресла. — В чем вы перешли границу? И почему вы говорили про третьих лиц? Как они здесь замешаны? Расскажите мне! Вы чем-то смертельно напуганы. Расскажите мне, в чем дело!

— О господи! — пробормотала она. — Я дала ему ключи! Дала ключи…

— Дальше.

— Ключи дежурного. Всю связку. Он пришел и попросил меня… Нет. Он даже не просил, нет.

Она выпрямилась в кресле, лицо ее побелело. Тернер подлил в стакан виски, сунул стакан ей в руку.

— Я дежурила. Была ответственной ночной дежурной. В четверг, двадцать третьего января. Лео до дежурств не допускали. Есть вещи, к которым временным сотрудникам не положено

иметь доступа: специальные инструкции, планы чрезвычайных мероприятий. Было часов восемь, может быть, половина восьмого, я разбирала телеграммы. Я вышла из шифровальной, чтобы пойти в канцелярию, и увидела, что он стоит в коридоре. Стоит, словно кого-то ждет. И улыбается. «Дженни, — сказал он. — Какая приятная неожиданность!» Я почувствовала себя такой счастливой.

Она снова расплакалась.

— Я была безумно обрадована. Я так мечтала, чтобы он опять заговорил со мной, как прежде. Он ждал меня. Я это сразу поняла; он только делал вид, будто эта встреча — простая случайность. И я сказала: Лео! Я никогда не называла его так до этой минуты. Лео. Мы поговорили, стоя в коридоре. Какая приятная неожиданность, повторял он снова и снова. Может быть, поужинаем вместе? Я же на дежурстве, напомнила я ему — на случай, если это вы летело у него из головы. Жаль, сказал он, ничуть не смутившись, тогда, может быть, завтра вечером? А как насчет уик-энда? Он позвонит мне. Он позвонит мне в субботу утром, идет? Это будет очень мило, сказала я, меня это вполне устраивает. Сначала мы немного погуляем, сказал он, по холмам, за футбольным полем,

хорошо? Я была счастлива. В руках у меня была пачка телеграмм, и я сказала: отлично, а сейчас мне надо передать эти телеграммы Медоузу. Он хотел отнести их вместо меня, но я сказала: нет, не утруждайте себя, я отнесу сама. Я уже повернулась к нему спиной, понимаете, не хотела, чтобы он ушел первый, но не успела сделать и двух шагов, как он вдруг сказал — в этой своей обычной, вкрадчивой манере: «Да, Дженни, послушайте, вот какое дело… Нелепая получилась история: весь наш хор собрался внизу, на лестнице, и никто не может отпереть дверь конференц-зала. Кто-то ее запер, а ключа нет, и мы подумали, что, наверно, у вас он должен быть». Все это показалось мне довольно странным, по правде говоря. Прежде всего я не представляла себе, кому это могло прийти в голову запереть дверь зала. Ну, я сказала: хорошо, я сейчас спущусь вниз и отопру дверь, только мне сначала надо разделаться с телеграммами. Он, конечно, знал, что у меня есть ключ: у дежурного всегда должны быть запасные ключи от всех комнат посольства. «Зачем вам утруждать себя и спускаться вниз, — сказал он. — Дайте мне ключ, я все сделаю сам. В две минуты». И тут он заметил, что я колеблюсь. Она закрыла глаза.

— Он был такой… жалкий. Его так легко было обидеть. И я уже однажды оскорбила его — заподозрила, что он заглядывает в мои письма. Я любила его… Клянусь вам, я никогда никого не любила прежде…

Мало-помалу ее рыдания утихли.

— И вы дали ему ключи? Всю связку? Ключи от комнат, от сейфов…

— Да, и от всех столов и несгораемых шкафов, от парадного входа, и от черного, и от сигнала тревоги в архиве аппарата советников.

— И ключ от лифта?

— Лифт тогда еще не был на ремонте. Его заперли только в конце следующей недели.

— И долго он держал ключи?

— Минут пять. Может быть, даже меньше. Это ведь недолго, верно? — Она умоляюще вцепилась в его рукав. — Скажите, что это недолго.

— Чтобы снять отпечаток? За это время он мог снять пятьдесят отпечатков, если у него был навык.

— Но ему нужен был бы воск, или пластилин, или еще что-нибудь… Я потом проверяла — смотрела в справочнике.

— Он мог держать все это наготове у себя в комнате, — равнодушно заметил Тернер. — Она ведь

на первом этаже. Не растраивайтесь, — сочувственно добавил он. — Может быть, он и в самом деле просто хотел впустить хор. Может быть, у вас слишком разыгралось воображение.

Она перестала плакать. Ровным, монотонным голосом она продолжала свои признания:

— Хор не репетирует в эти дни. Только по пятницам. А это был четверг.

— Вы это выяснили? Справились у охраны?

— Я знала это с самого начала. Знала, когда давала ему ключи. Делала вид, будто не знаю, но знала. Просто не могла отказать ему в доверии. Это был акт самопожертвования, неужели вы не понимаете? Акт самопожертвования, акт любви. Но разве мужчина может это понять!

— И после того, как вы отдали ему ключи, — сказал Тернер, поднимаясь с колен, — он не захотел вас больше знать?

— Все мужчины таковы. Разве нет?

— Позвонил он вам в субботу?

— Вы же понимаете, что не позвонил. — Она снова уронила голову на руку.

Он захлопнул свою записную книжечку.

— Вы слушаете меня?

— Да.

— Упоминал он когда-нибудь о женщине, кото-

рую зовут Маргарет Айкман? Он был помолвлен с нею. Она знала и Гарри Прашко.

— Нет.

— А о какой-нибудь другой женщине?

— Нет.

— Говорил он с вами о политике?

— Нет.

— Были у вас основания предполагать, что он человек крайне левых убеждений?

— Нет.

— Случалось вам видеть его в компании каких-либо подозрительных личностей?

— Нет.

— Говорил он с вами когда-нибудь о своем детстве? О своем дядюшке, который жил в Хэмпстеде? Дяде-коммунисте, воспитавшем его?

— Нет.

— О дяде Отто?

— Нет.

— Упоминал он когда-нибудь о Прашко? Упоминал или нет? Вы слышите? Упоминал он о Прашко?

— Он говорил, что Прашко был его единственным другом на всей земле. — Она снова разрыдалась, и он снова ждал, пока она успокоится.

— Говорил он о политических взглядах Праш-

ко?

— Нет.

— Говорил, что они по-прежнему дружны? Она отрицательно покачала головой.

— Гартинг обедал с кем-то в четверг. Накануне своего исчезновения. В «Матернусе». Это были вы?

— Я же вам говорила! Клянусь, я не видела его больше!

— Признайтесь, это были вы?

— Нет!

— Он сделал пометку в своей записной книжке, которая указывает на вас. Буква «П». И в других случаях он делал такие же пометки, имея в виду вас.

— Это была не я!

— Значит, это был Прашко, так, что ли?

— Откуда я могу знать?

— Потому что вы были его любовницей! Вы признались мне только наполовину, не рассказали всего! И вы продолжали спать с ним до последнего дня, пока он не скрылся!

— Это неправда!

— Почему Брэдфилд покровительствовал ему? Лео был ему глубоко антипатичен, почему же Брэдфилд так опекал его? Поручал ему всевоз-

можные дела? Держал на жалованье?

— Будьте добры, оставьте меня, — сказала она. — Пожалуйста, уходите. И никогда больше не появляйтесь.

— Почему?

Она выпрямилась.

— Уйдите, — сказала она.

— В пятницу вечером вы ужинали с ним. В тот вечер, когда он исчез. Вы были его любовницей, но не хотите в этом признаться!

— Неправда!

— Он расспрашивал вас о Зеленой папке! И заставил вас передать ему спецсумку, в которой она хранилась!

— Неправда! Неправда! Убирайтесь вон!

— Мне нужна машина.

Тернер спокойно ждал, пока она звонила по телефону.

— Sofort! (Немедленно (нем.)) — сказала она. — Sofort. Сейчас же приезжайте и заберите этого господина отсюда.

Он направился к двери.

— Что вы с ним сделаете, когда разыщете его? — спросила она упавшим голосом: волнение истощило ее силы.

— Это уж не моя забота.

— А вам, значит, все равно?

— Мы его не найдем, так что это не имеет значения.

— Зачем же тогда искать?

— А почему бы и нет? Разве не в этом проходит наша жизнь? Все мы ищем людей, которых нам не суждено найти.

Он не спеша спустился по лестнице в вестибюль. Из соседней квартиры доносилс гомон — там веселились. Компания арабов, сильно на взводе, пробежала мимо него вверх по лестнице; они громко переговаривались, сбрасывая на ходу плащи. Тернер остановился в подъезде. По ту сторону реки неяркая цепочка огней висела в теплом полумраке, словно ожерелье, опоясывая чемберленовский Петерсберг. На противоположной стороне улицы высилось новое здание. Оно производило странное впечатление, словно было построено сверху вниз — сначала кран навесил крышу, потом подвели все остальное. У Тернера мелькнула мысль, что прежде он видел это здание в другом ракурсе. Улицу пересекала эстакада железнодорожного моста. Когда по ней с грохотом промчался поезд, в окнах вагона-ресторана промелькнули безмолвные силуэты людей, уткнувшихся в свои тарелки.

— В посольство, — сказал Тернер. — В британское посольство.

— Englische Botschaft? (В английское? (нем.))

— Не английское — британское. И побыстрей. Шофер выругался, буркнув что-то по адресу дипломатов.

Машина понеслась с головокружительной быстротой, на одном из поворотов они чуть не столкнулись с трамваем.

— Вы что, черт побери, не умеете водить машину? Тернер потребовал квитанцию. Шофер порылся в отделении для перчаток, достал квитанционную книжку и резиновую печать. Он хлопнул печатью с такой силой, что квитанция смялась. Посольство выплыло из-за угла, словно корабль, сверкая всеми своими окнами. Темные силуэты пар двигались в гостиной, слитые воедино медленным ритмом бального танца. Стоянка была забита машинами. Тернер выбросил квитанцию: Ламли не станет оплачивать проезд на такси. Согласно новому распоряжению об очередном сокращении расходов. И взыскивать не с кого. Разве что с Гартинга, который и так, кажется, уже по уши в долгах.

Брэдфилд на совещании, сказала мисс Пит. Возможно, сегодня же ночью он улетит вместе с

послом в Брюссель. Она отложила в сторону свои бумаги и вертела в руках синий кожаный овал, на котором в надлежащем порядке раскладывала именные карточки для предстоящего официального ужина; с Тернером она говорила таким тоном, словно ей вменялось в обязанность бесить его. А де Лилл — в бундестаге, слушает дебаты о чрезвычайных законах.

— Я хочу поглядеть на ключи, которые хранятся у дежурного.

— Очень сожалею, но вы можете получить эти ключи только с разрешения мистера Брэдфилда.

Он сцепился с ней, а она только этого и ждала. Он одолел ее в перебранке, а ей только этого и надо было. Она выдала ему бланк допуска, подписанный хозяйственным отделом и завизированный старшим советником (политическим). Он отнес бланк на контрольный пост, где дежурным оказался Макмаллен. Крупного телосложения, медлительный в движениях, он был когда-то сержантом полиции в Эдинбурге, и все, что ему довелось слышать о Тернере, никак не располагало его в пользу последнего.

— И ночной регистрационный журнал, — потребовал Тернер. — Начиная с января.

— Пожалуйста, — сказал Макмаллен, продол-

жая маячить рядом, пока Тернер просматривал журнал, словно боясь, как бы тот его не унес. Было уже половина девятого, и посольство заметно опустело.

Фамилия Гартинга нигде не значилась.

— Отметьте меня, — сказал Тернер, протягивая журнал Макмаллену. — Я пробуду здесь всю ночь.

«Как Лео», — подумал он.

9
РОКОВОЙ ЧЕТВЕРГ

Понедельник. Вечер

В связке было не меньше пятидесяти ключей, но только на пяти или шести висели жетоны с номерами. Тернер стоял в коридоре на первом этаже — там, где, укрывшись в тени за колонной и глядя на дверь шифровальной, стоял в свое время Лео Гартинг. Было около половины восьмого — тогда, и Тернер старался представить себе, как Дженни с пачкой телеграмм в руке выходит из шифровальной. В коридоре было шумно. Девушки из канцелярии то приносили телеграммы для шифровки, то получали их обратно, и стальное окошечко в двери шифровальной все время поднималось и опускалось, словно нож гильотины. Но в тот четверг вечером здесь было тихо — временная передышка среди нараставших волнений, — и Лео разговаривал с ней здесь, где стоял сейчас Тернер. Он поглядел на свои часы, снова перевел взгляд на связку ключей и подумал: пять минут. Что успел Лео проделать за это время? Шум был оглушающий: человеческие

голоса сливались со всякого рода механическими звуками, возвещавшими о том, что мир близится к катастрофе. Но в тот вечер все было спокойно, и Лео стоял здесь, притаясь, воплощение неподвижности и тишины, зверь, стерегущий свою добычу, чтобы выпотрошить ее и уничтожить. За пять минут.

Тернер прошел по коридору до верхнего вестибюля, перегнувшись через перила, поглядел вниз, в пролет лестницы, и увидел, как вечерняя смена машинисток, словно спасаясь с горящего корабля, исчезла за дверью, растворившись в ночном мраке. Верно, Лео шел по коридору быстро, но с беззаботно-непринужденным видом — ведь Дженни могла все время глядеть ему вслед, да и Гонт или Макмаллен могли увидеть его, когда он спускался с лестницы, — проворно, но без малейших признаков спешки.

Тернер остановился в вестибюле. «Но какой же чудовищный риск! — внезапно подумал он. — Какая отчаянная игра!» Он увидел, как внизу все расступились, давая дорогу двум немецким чиновникам. В руках у них были черные портфели; они шагали с важным видом, словно пришли совершить хирургическую операцию… **Какой риск!** Дженни могла одуматься. Могла бросить-

ся за ним. И в ту же секунду ей стало бы ясно — даже если бы она не знала этого прежде, — что Лео лжет. В ту же секунду, как только она очутилась бы в нижнем вестибюле и заметила, что из конференц-зала не доносится ни звука, увидела бы, что в регистрационном журнале нет отметки о приходе ни одного из участников хора, а на вешалке, возле входной двери, где сейчас разоблачались немецкие чиновники, не висит ни единого пальто, ни единой шляпы, — в ту же секунду она бы уже знала, что Лео Гартинг, эмигрант, космополит, несостоявшийся любовник, поставщик расхожего ширпотреба, обманул ее, чтобы раздобыть у нее ключи.

«Акт самопожертвования, акт любви. Но разве может мужчина это понять?»

Прежде чем войти в коридор, он остановился перед лифтом и внимательно его осмотрел. Позолоченная дверь была заперта. Вместо зеркала напротив двери — черное пятно: зеркало заколотили изнутри досками. Два тяжелых металлических бруса пересекали дверь по горизонтали для большей верности.

— Давно это сотворили?

— Сразу после Бремена, сэр, — ответил Макмаллен.

— А когда был Бремен?

— В январе, сэр. В конце января. По предложению министерства, сэр. Они прислали специального служащего. Он закрыл подвальное помещение и лифт, сэр. — Макмаллен сообщил это так, словно давал отчет олдерменам города Эдинбурга, и, как положено по уставу, методично переводил дыхание после каждой фразы. — Трудился тут всю субботу и воскресенье, — с почтительным удивлением добавил он, ибо, будучи по натуре апатичен и ленив, легко выдыхался на любой работе.

Тернер не спеша направился по тускло освещенному коридору к комнате Гартинга. Он думал: «Все эти двери были, вероятно, заперты, свет потушен, комнаты пусты. Может быть, сквозь решетки светила луна? Или представители Британской империи, если они рангом пониже, должны довольствоваться светом этих дешевых голубоватых ночников, и только шаги Лео громко отдавались под сводами?»

Две девушки прошли мимо него, одетые на случай боевой тревоги. Одна из них, в джинсах, окинула Тернера пристальным взглядом, словно прикидывая его вес. «Черт побери, — подумал он, — подождите, скоро я поиграю с какой-нибудь

из вас». Он отпер дверь комнаты Лео и остановился на пороге в темноте. **Чего же ты все — таки добивался, Лео, ты, вор?**

Жестяные коробки из-под сигар могли сгодиться для этого дела, если их наполнить чем-нибудь вязким: детский пластилин из большого универмага Вулворта в Бад-Годесберге мог, например, сослужить свою службу; если еще немного посыпать его тальком, отпечаток был бы яснее. Три нажима ключом — одной стороной, другой стороной и вертикально, бородкой вниз; главное, чтобы все выступы и углубления обозначились четко. Конечно, это не лучший способ, все зависит от того, какие получатся болванки, но хороший, мягкий металл податлив, он сам заполнит малейшие углубления в форме… Значит, здесь Лео все держал наготове. Все пятьдесят жестянок, А может, только одну?

Может, только один ключ. Который? Какая пещера Аладдина, какой тайник хранил таинственные сокровища этого угрюмого английского дома?

Гартинг, ты вор! Он начал осмотр с двери, ведущей в комнату самого Гартинга, просто назло ему, чтобы досадить, довести незримо до его сознания, что с его дверью могли побаловаться,

как со всякой другой, а потом не торопясь пошел дальше по коридору, подбирая ключи к замкам, и всякий раз, когда попадался нужный ключ, он прятал его в карман и думал: «Ну, какую пользу извлек ты для себя здесь?» Большинство дверей оказались просто незапертыми, и ключей оставалась еще целая куча — от шкафов, от туалетов, от комнат отдыха, от служебных помещений, от комнаты первой помощи, где сильно пахло спиртом, от предохранительной коробки над вводом электрических кабелей.

Ты устанавливал микрофоны? В этом разгадка твоего пристрастия ко всякого рода технике? Вот зачем тебе все эти электрические шнуры, фены, всевозможные приспособления, детали каких-то приборов — не безобидный ли все это камуфляж, чтобы вмонтировать где нужно хитроумное приспособление для подслушивания?

— Вздор! — произнес он громко, поднялся обратно вверх по лестнице, гремя связкой оставшихся ключей, ударявших его по ляжке, и попал прямо в объятия личного секретаря посла, суетливого и одновременно чопорного субъекта, в немалой мере усвоившего непререкаемый тон своего начальника.

— Его превосходительство может появиться в

любую минуту. На вашем месте я постарался бы ретироваться, и чем быстрее, тем лучше, — промолвил секретарь небрежно и холодно. — Его превосходительство не питает особого расположения к людям вашей профессии.

Почти во всех коридорах было светло как днем. В торговой миссии справляли шотландский национальный праздник. Шотландская куропатка, задрапированная кемпбелловским пледом, висела рядом с портретом королевы в форме шотландского стрелка. На листке фанеры была сооружена некая абстракция из крошечных бутылочек с шотландским виски, крошечных волынок и танцоров-волынщиков. В счетно-плановом отделе под ярким плакатом, неистово призывавшим покупать только на Севере, мертвенно-бледные клерки с нечеловеческим упорством нажимали кнопки арифмометров, и только арифмометры оставались, казалось, равнодушными к висевшему на стене грозному предостережению: «Крайний срок — Брюссель!» Тернер поднялся еще этажом выше и очутился в Уайт-холле, в атташате, где у каждого из них был свой маленький кабинетик, что и было обозначено на двери вместе со званием владельца.

— Какого черта вы здесь шляетесь? — спросил

его дежурный сержант, и Тернер посоветовал ему не забывать, что он не в казарме.

Откуда-то доносился голос с военной интонацией, диктовавший что-то стенографистке. Машинистки в своем бюро покорно сидели за машинками, словно ученицы за партами. Две девушки в зеленых комбинезонах заботливо склонились над гигантской копировальной машиной; третья сортировала разноцветные телеграммы, словно прачка — выглаженное белье. На особом помосте, возвышаясь над всеми, старшая машинистка, седая шестидесятилетняя дама с подкрашенными синькой волосами, проверяла восковки. Единственная из всех, она тотчас почуяла появление неприятеля и резко повернула голову в его сторону. Стена у нее за спиной почти сплошь была покрыта пришпиленными кнопками открытками — рождественскими поздравлениями от старших машинисток других посольств и миссий. На одних были изображены верблюды, на других — королевская эмблема.

— Мне нужно проверить, как у вас тут работают замки, — пробормотал Тернер и прочел в ее взгляде: «Проверяйте что угодно, только не моих девочек».

«Черт побери, сказать по правде, я бы не отка-

зался от одной из них. Ну, что вам стоит уступить мне одну девчонку для самой короткой прогулочки в рай! **Гартинг, ты вор!»**

Было десять часов. Тернер побывал уже везде, куда Гартинг мог с ключами иметь доступ, и в награду за все свои старания приобрел только головную боль. То, что хотел раздобыть Гартинг, уже исчезло отсюда. А возможно, было так надежно упрятано, что для розыска потребовались бы недели, или, наоборот, было настолько на виду, что оставалось невидимым.

Тернера мутило, как после перенапряжения, бессвязные воспоминания вертелись в мозгу. Черт! Один только день. За один день — от энтузиазма к унынию. От самолета до его рабочего стола — всюду следы, и никакого ключа к разгадке тайны. За один какой-то сволочной понедельник прожил точно целую жизнь. Он уставился на кипу чистых телеграфных бланков, недоумевая, что, дьявол его возьми, может он сообщить в Лондон. Корк уснул, аппараты молчали. Груда ключей громоздилась перед ним. Он принялся нанизывать их на кольцо. Ну же, думал он, постарайся пригнать одно к другому, черт побери. Ты не ляжешь в постель, пока хотя бы не определишь, в каком направлении надо действовать.

«Задача интеллекта, — рычал его толстозадый учитель, — в том, чтобы из хаоса создавать порядок. Что такое анархия? Это — мозг, лишенный системы». «Допустим, учитель, но что же тогда система без мозга?» Тернер взял карандаш и не спеша начертил табличку дней и часов недели. Потом открыл синюю записную книжку. Разобраться в этих отрывочных записях, составить из кусков целое. «Вы найдете его, а Шоун не найдет». **Лео Гартинг, второй секретарь посольства, «Претензиии консульские функции», вор и охотник, я выслежу тебя.**

— Вы случайно не разбираетесь немножко в акциях? — спросил Корк, внезапно пробуждаясь от дремоты.

— Нет, не разбираюсь.

— Меня, собственно, вот что интересует, — продолжал Корк, протирая свои розовые, как у кролика, глаза, — если на Уолл-стрит начнется паника, во Франкфурте тоже паника и у нас ничего не получится с Общим рынком, как отзовется это на шведской стали?

— На вашем месте я поставил бы все на чет или нечет в рулетке и избавился от беспокойства раз и навсегда.

— Я, понимаете ли, уже все для себя решил, —

объяснил Корк. — Мы подыскали небольшой участок на Карибских островах…

— Ладно, заткнитесь.

Сопоставляй. Конструируй. Изобрази все свои догадки мелом на доске и погляди, что получится. Ну же, Тернер, ты у нас философ, давай расскажи, что движет миром. Какое, к примеру, главное побуждение должны мы приписать Гартингу? Давай факты. Строй. В конце концов, мой дорогой Тернер, разве ты не отказался от **созерцательной** жизни ученого ради **активной** гражданской деятельности? Строй. Примени свои теории на практике, и де Лилл скажет, что ты знаток своего дела.

Сначала понедельники. Понедельники — это приглашения на приемы вне дома; а-ля фуршет, как бы между прочим сообщил ему за ленчем де Лилл: это избавляет от необходимости рассаживать по чинам. Понедельники — это, так сказать, матчи на чужом поле. Английская команда против иностранной. Принудительный труд на чужой территории. Гартинг принадлежал к дипломатам второго разряда и посещал второстепенные посольства. С маленькими гостиными. Вся команда категории «Б» играла по понедельникам на чужом поле.

— …а если родится девочка, мы, я думаю, наймем няньку-туземку, ее, наверно, можно будет немножко подучить — хоть самому необходимому.

— А вы не можете немножко помолчать?

— Но для этого, разумеется, понадобятся деньги, — добавил все-таки Корк. — Даром никто не станет работать, я понимаю.

— А вот понять, что я в настоящую мин уту работаю, вы никак не в состоянии?

«**Пытаюсь** работать», — подумал он, и мысли его тут же убежали в сторону.

Гартинг, ты вор.

По вторникам — приемы дома. Вторник — это день домашнего очага. Домашний очаг открыт для гостей. Тернер составил их список и подумал: «Это хуже, чем у нас в Блэкхизе. Это увековеченный традицией, неистребимый, рабский час пустой, бессмысленной светской болтовни. Ванделунги (из голландского посольства)… Канарды (из канадского)… Обутусы (из ганского)… Кортезиани (из итальянского)… Аллертоны, Крабы и хотя бы раз— Брэдфилды; и вся эта миленькая шайка разбавлена по меньшей мере сорока восемью соответствующими занудами, различие между которыми только чисто количественное: Обуту-

сы — плюс еще шестеро… Аллертоны — плюс еще двое… Брэдфилды — одни. Им ты оказывал особое внимание, не так ли? Насколько я понимаю, он жил в общем-то на широкую ногу». Шампанское обязательно в **такой** вечер. Голос жены снова пресек поток его мыслей; «Милый, почему бы нам не пойти сегодня куда-нибудь вечерком? Уиллоугби будут рады, они знают, что я терпеть не могу возиться со стряпней…»

— …а если это будет мальчик, — сказал Корк, — все заботы о нем я возьму на себя. Мальчика, уж конечно, можно будет пристроить — даже в таком месте, как здесь. Ведь тут же рай, особенно для учителей.

Среды — это культурно-бытовые мероприятия. Вечерами — пинг-понг, импровизированные концерты с пением, чтением стихов. А в сержантской столовке, бывало: «Мистер Тернер, сэр, что в вашем стакане — виски и джин? Подлейте себе капельку вот этого — будет позабористей. Знаете, что говорят про вас ребята, — думаю, вы не будете на меня в претензии, сэр, если я повторю, сегодня же сочельник, сэр: мистера Тернера, говорят они, — всегда величают вас мистером, сэр, не то что других, — мистера Тернера голыми руками не возьмешь, мистер Тернер не слабак.

Но мистер Тернер — **человек справедливый.** Кстати, сэр, я хотел потолковать с вами насчет моего отпуска…» Вечер в Автоклубе. Вечер, когда можно проникнуть на дюйм, на два глубже в структуру тела посольства. Это деловые вечера. Тут он работал. Тернер внимательно изучил все свидания, встречи и подумал: «Да, ты неплохо потрудился, добывая свои секреты, ничего не скажешь. Охотился, не жалея сил. Шотландский дансинг. Клуб любителей игры в кегли. Автоклуб. Собрание Спортивной комиссии. Ты скорее добьешься своего, чем я, мальчик. Ты в самом деле верил в это, приходится признать. Ты шел прямо к цели, верно? Ты действовал, и ты уже пробрался повсюду, ты, вор».

Итак, оставались только — поскольку ни в субботние, ни в воскресные дни не было сделано никаких заметок, не считая случайных записей, относящихся к уходу за садом, и двух-трех поездок в Ганновер, — оставались только четверги.

Подозрительные четверги.

Обведем квадратиком четверг, позвоним в отель «Адлер», узнаем, в котором часу они запирают входную дверь.

Не запирают вовсе. Нарисуем прямоугольник вокруг первого квадрата — в длину полтора дюй-

ма, в ширину — полдюйма, украсим пространство между квадратом и прямоугольником свернувшимися в кольца змеями, и пусть раздвоенные языки многозначительно лижут букву «Ч», написанную готическим шрифтом, и подождем, пока тупо стучащие в истерзанном мозгу молоточки воспрянут и примут на себя роль шифровальной машины. Ну как?

Ничего, ничего, будь оно трижды проклято!

Итак — четверг. Он окутан какой-то сексуальной тайной и вымученным воздержанием. Он заполнен мелочными скрупулезными записями, сделанными непомерно крупным, скучным, должностным почерком человека, которому нечего делать и у которого очень много времени для этого ничегонеделания.

«Англо-германское общество приглашает на завтрак в честь друзей вольного города Гамбурга… Комитет жен дипломатического корпуса устраивает костюмированный завтрак а-ля фуршет по подписке, стоимость — 15 немецких марок, включая вино…» — устами ответственного устроителя кричали чудовищные, похожие на ночной кошмар прописные буквы величиной в полстраницы.

Ты пират, Гартинг.

— А вы не могли бы выключить эту чертову штуку?

— Рад бы, да нельзя, — сказал Корк. — Что-то затевается, только не спрашивайте меня — что. «Лично Брэдфилду, расшифровать персонально». «Вручить непосредственно Брэдфилду». «Вручить Брэдфилду через ответственного дежурного»... День рождения у него, что ли, черт бы его побрал.

— Скорее похороны, — проворчал Тернер и снова взялся за синюю записную книжку-календарь.

Да, вот по четвергам у Гартинга были действительно какие-то дела. Настоящие, не для отвода глаз, еще не разгаданные. Было что-то такое, что он делал втайне. В глубокой тайне. Что-то настоятельно необходимое, значительное и секретное. Что-то, придававшее смысл всем остальным Дням недели. Что-то, во что он верил. По четвергам Лео Гартинг ходил по краю и помалкивал. Никаких записей — даже по поводу истекших дней недели, ни малейшей случайной оговорки. Только в самый последний четверг появилась одна-единственная запись, гласившая: «Матернус». Час дня. П.». И все; чистый лист бумаги, столь же целомудренный и молчаливый, как эти

маленькие девственницы, встреченные сегодня в коридоре на первом этаже.

Или столь же тайно порочный?

Вся жизнь Гартинга была сосредоточена в этом дне. Он жил от четверга до четверга, как другие живут из года в год. Что представляли собой их встречи — Гартинга и его шефа? Какие, после стольких лет сотрудничества, были между ними отношения? Где они встречались? Где вручал он все эти документы и письма, где приглушенным голосом делал свои сообщения? В башенной комнате какой-нибудь крытой черепицей виллы? На мягкой постели, на полотняных простынях, с мягкой шелковистой девчонкой и сброшенными на спинку кровати джинсами? Под железнодорожным мостом, по которому проносятся поезда? Или в обветшалом посольстве с пропыленной люстрой и папашей Медоузом на золоченой кушетке, сжимающим его маленькую руку в своей? В изысканной спальне стиля барокко? В номере годесберг-ского отеля? В сером блочном здании нового жилого района? В уютном загородном бунгало, где в чугунную решетку вплетены инициалы владельца, а парадная дверь украшена витражом? Он пытался представить их себе: Гартинга и его шефа, непроницаемого, уверенного

в себе; шутки вполголоса и приглушенный смех. Взгляните: эта недурна, шепчет продавец порнографического товара; признаться, мне даже самому жаль расставаться с нею — она вам сразу приглянулась, верно? Сидели ли они за бутылкой вина, притворно небрежно обсуждая следующий решительный шаг, направленный против той твердыни, которую они должны разрушить, в то время как на почтительном отдалении за их спиной доверенное лицо чуть слышно шелестело бумагами и чуть слышно щелкал фотоаппарат.

А может, все это происходило в отчаянной спешке? Кто-то кого-то подсаживает в машину в глухом закоулке; лихорадочная передача информации, пока они сломя голову петляют по узким улочкам, моля всевышнего, чтобы не случилось аварии. А может, на холме, рядом с футбольным полем? Отправляясь туда, Гартинг надевал балканскую шапку пирожком и серый костюм, как сторонники Движения?

Корк разговаривал по телефону с мисс Пит, нотка благоговейного трепета звучала в его голосе.

— Принимайте: Вашингтон передает семьсот групп. Лондон просит передать и расшифровать лично. Я бы на вашем месте незамедлительно поставил его в известность: он ведь намерен про-

быть там всю ночь. Слушайте, драгоценнейшая, мне до этого нет дела, хотя бы он совещался с английской королевой. Это — молния, и я обязан сообщить ему, так что если вы этого не сделаете, то я… Ох! Ну и сука же!

— Приятно услышать это из ваших уст, — сказал Тернер, ухмыльнувшись, что случалось с ним не так уж часто.

— Она, кажется, воображает себя капитаном команды.

— В матче сборная Англии против сборной мира, — подхватил Тернер, и оба рассмеялись.

Неужели это все-таки был Прашко — тот, с кем он обедал в «Матернусе»? Если так, значит, не Прашко был постоянным связным, иначе наш дорогой Гартинг, который так ловко умеет заметать следы, не оставил бы это предательское «П» и не стал бы к тому же обедать с Прашко в общественном месте после того, как было приложено столько усилий, чтобы порвать существовавшую между ними связь. Или, может быть, в этом случае между ними, между Прашко и Гартингом, имелся посредник? Или в этот день что-то не сработало в налаженной системе? «Держись, Тернер, не сбивайся в сторону, слушайся простого здравого смысла, одно абсурдное

предположение может, запутав, привести тебя к краху. Упорядочи весь этот хаос. Не означает ли «П», что Прашко пожелал увидеться с ним лично, захотел, быть может, предупредить Гартинга, что Зибкрон напал на его след? Увидеться с ним, чтобы приказать ему — такая возможность не исключена, — приказать ему **любой ценой, при любых обстоятельствах** похитить Зеленую папку, а затем скрыться?» Четверг.

Тернер взял ключи и медленно покачал их, надев на палец. Четверг был день встречи… трудный, напряженный день… в этот день он получил предупреждение… это день накануне бегства… день, когда были подведены итоги за предыдущую неделю и получены инструкции на дальнейшее… день, когда он на пять минут одолжил ключи у мисс Парджитер. Боже милостивый! Неужто он в самом деле спал с Дженни Парджитер? Приходится идти на жертвы…

Бесполезные ключи. Что, собственно, надеялся он из них извлечь? Доступ к желанной секретной сумке? Вздор. Он же наблюдал всю процедуру. Медоуз даже специально инструктировал его. Он отлично знал, что в связке ключей дежурного нет запасного ключа от этой сумки. Ему нужен был ключ от архива? Снова вздор. Достаточно хотя

бы раз взглянуть на эту дверь, чтобы понять: тут одним ключом не обойдешься, тут есть запоры понадежней.

Так какой же ему был нужен ключ?

Какой это ключ нужен был ему так позарез, что он поставил на карту всю свою карьеру тайного агента, лишь бы снять слепок с этого ключа? Какой ключ был ему так отчаянно необходим, что он готов был обольстить Дженни Пард-житер, рисковал скомпрометировать себя в глазах посольства, да и навлек на себя известное неодобрение, судя по словам Медоуза и Гонта? Какой ключ? Ключ от лифта, чтобы погрузить туда все похищенные папки, запрятать их где-нибудь на чердаке и затем понемногу одну за другой вынести в собственном портфеле? Может, в этом разгадка исчезновения тележки?

Самые фантастические видения начинали возникать перед его глазами. Он видел, как невысокая фигура Гартинга устремляется по темному коридору, толкая перед собой к открытой дверце лифта нагруженную до отказа тележку, видел стопку трясущихся папок на верхней полке тележки и разношерстные случайные предметы — на нижней: пишущую машинку с большой кареткой, исчезнувшую из машинного бюро,

кипы писчей бумаги, записные книжки, печать, всевозможные канцелярские принадлежности… Видел пикап, ожидающий у бокового входа в посольство, и безымянного шефа Гартинга, приотворяющего дверцу. И вдруг воскликнул:

— А пошел ты… — совсем как когда-то, в школьные годы, воскликнул в ту минуту, когда мисс Пит вошла забрать телеграммы, и вздох, вырвавшийся из груди мисс Пит, по служил неоспоримым доказательством ее сексуальной стойкости.

— Ему понадобятся шифровальные книги, — напомнил ей Корк.

— Он, между прочим, неплохо справляется с этого рода работой, благодарю вас.

— Послушайте, что же все-таки происходит, что делает ся в Брюсселе?

— Слухи.

— Какого рода?

— Если бы они хотели посвятить в это вас, едва ли бы они потребовали личной расшифровки, как вы думаете?

— Вы плохо знаете Лондон, — сказал Тернер. Покидая комнату, мисс Пит умудрилась даже самой своей походкой (чувственно покачивать бедрами — это вульгарно и простонародно, **настоящая** англичанка шагает прямо и неуклюже)

выразить всю меру своего презрения к Тернеру и его профессии.

— Я мог бы ее придушить, — признался Корк. — Перерезать ее жилистую шею. И не почувствовал бы ни малейшего раскаяния. За все три года, что эта особа здесь работает, я только один раз видел, как она улыбнулась, — когда Старик помял свой «роллс-ройс».

Это абсурд. Вне всяких сомнений. Он знал, что это абсурд. Тайные агенты такого калибра, как Гартинг, не занимаются воровством — они собирают сведения, зашифровывают или заучивают наизусть, фотографируют, агенты такого калибра, как Гартинг, действуют расчетливо, по заранее продуманному плану, а не под влиянием вдохновения. Они сегодня так заметают следы, чтобы можно было переждать, а завтра приняться за свой обман снова.

И никогда не позволяют себе явной лжи.

Такой агент не скажет Дженни Парджитер, что спевки хора происходят по четвергам, если она за пять минут может установить, что хор репетирует по пятницам. Он не скажет Медоузу, что ездит на совещания в Бад-Годесберг, в то время как и Брэдфилду и де Лиллу известно, что этого нет и не было уже года два, если не больше. Он не станет,

прежде чем удрать, забирать все причитающиеся ему деньги и страховки, что, естественно, должно привлечь к себе внимание. Он не станет работать по ночам, рискуя возбудить любопытство Гонта.

Но **где**работать?

Ему необходимо было уединение. Ибо он занимался ночью тем, чем не мог заниматься днем. Чем же именно? Фотографировал документы, надежно спрятанные в каком-то укромном углу, где он мог запереться от всех на замок? А где спрятана тележка? А где пишущая машинка? Или их исчезновение, как предполагает Медоуз, и вправду не имеет отношения к Гартингу? Пока что на все эти вопросы существовал только один ответ: Гартинг днем спрятал в каком-то тайнике документы, а ночью украдкой сфотографировал их, чтобы на следующее утро положить на место… и не положил. Почему? Почему он их украл?

Тайный агент не крадет. Это правило номер один. Посольство, обнаружив пропажу документов, может перестроить свои планы, пересмотреть или отменить соглашения, немедленно принять десятки всевозможных мер, чтобы предотвратить или хотя бы свести до минимума грозящую опасность, Самая желанная женщина — это та, которая тебе не принадлежит. Только

тот обман достигает цели, который никогда не будет раскрыт. Так зачем же красть? Причина была как будто ясна. Гартинг попал в цейтнот. Сколь бы ни были рассчитанны его действия, на всем лежал отпечаток спешки. Почему? У него был строго ограниченный срок? Почему?

«Не спеши, Алан. Осторожнее. **Постарайся, как Тони, Алан**». Как очаровательный, неторопливый, гибкий, ритмичный, весьма сведущий по части анатомии, наш добрый друг-Тони Уиллоугби, широко известный во всех привилегированных клубах Лондона и прославившийся своей высокой техникой в любви.

— По правде говоря, я бы предпочел, чтобы первым у нас-был мальчик, — сказал Корк. — Понимаете, когда первый раз позади, там уж можно рискнуть и еще. Впрочем, я не сторонник очень многодетных семейств, отнюдь нет. Конечно, если проблемы прислуги для вас не существует, тогда другое дело. А вы, кстати, не женаты? Ох, простите, я это как-то так…

Предположим на мгновение, что это тайное, отчаянное проникновение в архив явилось результатом дремавших в его душе симпатий, что именно это заставило его действовать. В таком случае, чем диктовалась эта бешеная

спешка, какова была ее цель? Вовремя выполнить указание нетерпеливого шефа? Только ли это? Первая стадия прослеживалась легко: Карфельд начал набирать силу в октябре. С этого момента многочисленная нацистская партия стала реальностью, даже возможность нацистского правительства перестала быть утопией. Месяц-другой Гартинг размышляет. Он видит физиономию Карфельда на всех заборах, слышит знакомые лозунги. Он в самом деле возбуждает желание открыть ворота коммунизму, заметил однажды де Лилл… Пробуждение происходит медленно и не без внутреннего сопротивления; старые воспоминания и симпатии погребены глубоко на дне души и не стремятся сразу всплыть. Но вот наступает поворотный момент, решение принято. Быть может, сам, быть может, уступая уговорам Прашко, он решается на измену. Прашко требует Зеленую папку. Добудь нам Зеленую папку, и ты сослужишь великую службу нашему делу. Добудь Зеленую папку к знаменательному дню, к Брюсселю. «Содержание этой папки, — сказал Брэдфилд, — может серьезно подорвать нашу позицию в Брюсселе…»

А может быть, он просто пал жертвой шантажа? Может, этим объяснялась его отчаянная торопли-

вость? Может, он был поставлен перед необходимостью исполнить приказ своего алчного шефа, пригрозившего ему разоблачением каких-то его старых грехов? Этот инцидент в КJльне, например, быть может, там произошло нечто такое, что могло сильно его скомпрометировать? Женщина, торговля наркотиками? Может, в бытность свою в армии он присвоил казенные деньги? Может, он продавал контрабандное виски и сигареты? Может, он был гомосексуалистом и влип в какую-нибудь грязную историю? Словом, быть может, он пал жертвой одного из тех банальнейших соблазнов, которые погубили карьеру не одного дипломата?

Нет, это не в его характере. Де Лилл прав: во всех действиях Гартинга была решимость, напор, беспощадность, исключающая даже самоохранение, была агрессивность, рвение и целенаправленность, не совместимые с поведением человека подневольного, попавшего в тиски шантажа. В этой второй, тайной жизни, которую пытался сейчас исследовать Тернер, Гартинг был не слугой, а господином. Он не был послан — не был призван. Он не был загнан — он сам гнал, охотился, преследовал. В этом по крайней мере между ним и Тернером существовала полная тожде-

ственность. Но дичь, за которой гнался Тернер, имела имя. И был оставлен ясный — хотя бы на первых порах — след. Дальше этот след терялся где-то в рейнском речном тумане. И особенно странным казалось следующее. Гартинг охотился в одиночку и даже не искал себе поддержки, покровителей…

А что, если Гартинг шантажировал Брэдфилда? Тернер невольно выпрямился на стуле, когда этот вопрос вдруг возник в его уме. Не этим ли объяснялось уклончивое поведение Брэдфилда? Не потому ли Брэдфилд подыскал ему работу в архиве, смотрел сквозь пальцы на эти отлучки по четвергам, на то, как Гартинг слонялся по всем коридорам с портфелем в руках?

Он еще раз перелистал записную книжку и подумал: «Начнем с основного вопроса… Не будем спрашивать, почему Христос был рожден в рождественскую ночь, — спросим, был ли он рожден вообще. Почему вообще четверги? Почему послеобеденное время? Почему такая **регулярность?** Сколь бы ни был он дерзок, почему все же эти встречи со связным днем, в рабочие часы, в Годесберге, когда его отсутствие в посольстве влекло за собой по меньшей мере необходимость лжи? Ведь это же все нелепо». Вздор, Тернер, все твои

рассуждения вздорны. Гартинг мог встречаться с нужным ему лицом в любое время. Ночью в КJнигсвинтере; на лесистом склоне Петерсберга; в КJльне, в Кобленце и даже за пограничной чертой — в Люксембурге или в Голландии — в нерабочие дни, когда не пришлось бы давать никаких объяснений, ни правдивых, ни ложных, ибо они никого не интересовали.

Тернер швырнул на стол карандаш и громко выбранился.

— Что-нибудь не ладится? — спросил Корк. Все машины его отчаянно трещали, и Корк бегал от одной к другой, утихомиривая их, как голодных детей.

— Ничего, достаточно хорошенько помолиться, и все пойдет на лад, — сказал Тернер, припомнив вдруг, что сказал он утром Гонту.

— Если хотите послать телеграмму, — бесстрастно предупредил его Корк, — советую поспешить. — Он быстро переходил от одного аппарата к другому, нажимая на кнопки, вытягивая бумажную ленту, словно видел свою главную задачу в том, чтобы не давать машинам ни секунды бездействовать. — Похоже, что в Брюсселе, того и гляди, все полетит к черту. Гунны грозят покинуть зал заседания, если мы не повысим наши

вложения в Сельскохозяйственный фонд. Холидей-Прайд считает это просто предлогом. Если события будут разворачиваться с такой быстротой, я закажу билеты на самолет на июнь месяц.

— Предлогом для чего? Корк прочел сообщение вслух:

— «Удобная лазейка, чтобы покинуть Брюссель, пока в Федеративной республике положение не нормализуется».

Тернер зевнул и отодвинул от себя телеграфные бланки.

— Я пошлю свою телеграмму завтра.

— Сейчас уже и есть завтра, — мягко напомнил ему Корк.

«Если бы я курил, я бы выкурил одну из твоих сигар. Немножко нирваны мне бы сейчас не повредило, — подумал он. — Если я не могу добраться ни до одной из девочек, мне бы хоть сигару, что ли». Он знал, что все его построения от начала и до конца неверны.

Все рассыпалось, концы с концами не сходились, ничто не объясняло одержимости, ничто ничего не объясняло. Он выковал цепочку, ни одно звено которой не желало сцепиться с другим. Уронив голову на руки, он дал им волю, всем этим фуриям, наблюдал и смотрел, как они

уродливой процессией медленно проходят перед его истерзанным воображением: безликий Прашко, матерый резидент, руководящий со своего неуязвимого парламентского кресла целой сетью шпионов-эмигрантов. Зибкрон, своекорыстный страж общественной безопасности, подозревающий посольство в причастности к многостороннему заговору в пользу России, попеременно то охраняющий, то преследующий тех, на кого падает его подозрение. Брэдфилд, ригорист, педант, аристократ, презирающий сотрудников разведки и покрывающий их; непроницаемый, несмотря на свою явную причастность к преступлению, обладатель ключей от архива и канцелярии, от лифта, от спецсумки, бодрствующий всю ночь и готовый наутро отбыть в Брюссель. Прелюбодействующая Дженни Парджитер, повинная в куда более страшном преступлении, на которое ее толкнула иллюзорная страсть, уже запятнавшая ее имя в глазах всех сотрудников посольства. Медоуз, ослепленный безответной отеческой любовью к Гартингу, кладущий, презрев риск, последнюю из сорока папок на тележку. Де Лилл, интеллектуал и гомосексуалист, вступающий в борьбу, чтобы помочь Гартингу предать своих друзей. Стократно увеличенные, нелепо иска-

женные, они маячили перед ним, надвигались, извиваясь, сплетаясь в непотребном танце, и таяли перед лицом его собственных иронических опровержений. Те факты, которые всего несколько часов назад, казалось, приоткрывали перед ним завесу истины, теперь отбрасывали его в непроглядную тьму сомнений.

Шагая по коридору, совсем больной от усталости и тошнотного головокружения, он еще раз задал себе вопрос: «Какие секреты хранит в себе таинственная Зеленая папка? И кто, черт побери, расскажет мне об этом, мне, Тернеру, временному здесь человеку».

С полей тянуло туманом, он стлался по шоссе, словно дым, и оно тускло поблескивало под серыми дождевыми облаками. Колеса машин надсадно скрипели на влажном асфальте. Назад, в свой серый склеп, устало подумал Тернер. Охота кончена — на сегодня. И никакой хорошенький херувимчик не подарит себя этой старой безволосой обезьяне. Однако если след оборвался, это еще не конец и еще рано делать из меня отступника.

Ночной портье в «Адлере» поглядел на него с сочувствием.

— Удалось немножко развлечься? — спросил он, протягивая ему ключ от номера.

— Не особенно. — Надо бы вам съездить в КJльн. Это наш Париж.

На спинку кресла был аккуратно повешен смокинг де Лилла с приколотым к рукаву конвертом. На столе стояла бутылка виски.

«Если Вам непременно хочется поглядеть на это владение, — прочел Тернер, — я могу заехать за Вами в среду в пять утра». В постскриптуме содержалось пожелание приятно провести вечер у Брэдфилдов и шутливое предостережение не закапать томатным супом отвороты смокинга, дабы не дать повода к каким-либо кривотолкам относительно цвета политических убеждений его владельца, тем более, добавлял он как бы между прочим, что среди приглашенных, видимо, будет герр Людвиг Зибкрон из федерального министерства внутренних дел.

Тернер открыл кран ванны, взял с полки над раковиной стакан, до половины наполнил его виски. Почему это де Лилл вдруг пошел ему навстречу? Из сострадания к заблудшей душе? Боже упаси. И раз уж эта ночь отдана во власть бессмысленных вопросов, то почему его позвали на эту встречу с Зибкроном? Он лег в постель и в полудремоте пролежал до полудня: ему мерещился Борнмут и островерхие, неприступные ели

на голых утесах Брэнксома, и он слышал голос жены, упаковывавшей детские вещи в чемодан: «Я пойду своей дорогой, ты — своей, и поглядим, кому из нас посчастливится первому проникнуть в рай», и безутешные рыдания Дженни Пардджитер, взывавшей к сочувствию в безлюдной пустыне мира. «Не беспокойся, Артур, — подумал он сквозь дремоту, — я не трону Майры даже ради спасения своей души».

10
«KULTUR» У БРЭДФИЛДОВ

Вторник. Вечер

— Вы должны решительнее запрещать им, Зибкрон, — отважно, хотя и несколько сипло заявил герр Зааб после изрядной порции бургундского. — Это полоумные идиоты, Зибкрон. Турки. — Зааб уже перепил и перекричал всех, вызвав общее неловкое молчание. Только его жена — миниатюрная белокурая куколка неопределенной национальности с мило обнаженной нежной грудью — как ни в чем не бывало продолжала одарять его восторженными взглядами. Остальные гости, истомленные скукой и лишенные возможности отмщения, медленно умирали от тоски под гром обличительных речей герра Зааба. Официант и официантка в венгерских национальных костюмах осторожно двигались за спинами гостей, словно в больничной палате, явно получив указание (в этом Тернер ни секунды не сомневался) уделять герру Людвигу Зибкрону больше внимания, чем всем остальным пациентам, вместе взятым. В его бледных,

увеличенных очками, лишенных всякого выражения глазах, казалось, едва теплилась жизнь; бледные руки, точно две салфетки, лежали по обе стороны прибора; мертвенная неподвижность его позы словно бы говорила: он ждет — сейчас его положат на носилки, поднимут и понесут.

Четыре серебряных подсвечника с восьмиугольным основанием, и, если верить папаше Брэдфилда, весьма недурной марки — Поль де Ламери, год 1729,— ниточкой бриллиантовых огней соединяли Хейзел Брэдфилд с ее супругом, сидевшим по другую сторону длинного стола.

Тернера посадили где-то посередине между ними; смокинг де Лилла стягивал его, словно железный корсет. Даже рубашка и та была мала. Ее достал ему старший посыльный отеля в Бад-Годесберге, и Тернер заплатил за нее столько, сколько ему еще не приходилось платить ни за одну рубашку на свете, а теперь она душила его, и кончики крахмального воротничка впивались в шею.

— Они уже стекаются со всех сел и деревень. Их на этой чертовой рыночной площади должно собраться около двенадцати тысяч, И они строят Schaffet. — Английский язык и на этот раз подвел его. — Как, черт побери, это перевести? — во-

просил он, обращаясь ко всем присутствующим сразу.

Зибкрон пошевелился, словно его оживили глотком воды.

— Помост, — пробормотал он, и его угасающий взор метнулся в сторону Тернера, вспыхнул на мгновение и снова потух.

— Это фантастика — как Зибкрон знает английский язык! — возликовал Зааб. — Днем Зибкрон — Пальмерстон, ночью он — Бисмарк. Сейчас вечер, и он, как видите, совмещает в себе и того и другого… Помост. Даст бог, они установят на нем виселицу для этого сволочного типа. Вы слишком к нему снисходительны, Зибкрон. — Он поднял бокал и предложил пространный тост за Брэдфилда, отягощенный мало подходящими к случаю комплиментами.

— И Карл-Гейнц тоже фантастически знает английский, — пролепетала фарфоровая куколка. — Ты слишком скромен, Карл-Гейнц. У него язык такой же хороший, как и у герра Зибкрона.

Фрау Зааб было совершенно наплевать на Зибкрона. Да, в сущности, и на любого мужчину, чьи достоинства ставились выше, чем достоинства ее супруга. Ее реплика оборвала нить разговора, и он упал, как воздушный змей, и даже у Зааба уже

не хватило сил запустить его снова. — Вы сказали: запретите ему. — Зибкрон взял серебряные щипцы для орехов; его пухлая рука медленно поворачивала их перед пламенем свечи, отыскивая какое-нибудь предательское несовершенство. Стоявшая перед ним тарелка была безупречно очищена от остатков пищи — словно вылизанное языком блюдечко кошки. Он был бледный, холеный, угрюмый, примерно одного возраста с Тернером и чем-то напоминал метрдотеля или директора гостиницы — человека, привыкшего ходить по чужим коврам. Лицо у него было округлое, но жесткое, и рот жил на этом лице своей, обособленной жизнью — губы размыкались, чтобы выполнить ту или иную функцию, и смыкались снова, чтобы выполнить другую. Слова не служили ему средством выражения, а лишь средством вызвать на разговор других, за ними таился безмолвный допрос, начать который мешала усталость или холодное глубокое равнодушие омертвелого сердца.

— Ja. Запретите ему, — повторил Зааб, навалившись — грудью на стол, чтобы все могли лучше слышать. — Запретите всякие там митинги, демонстрации. Запретите это все. Как коммунистам, которые только тогда, черт побе-

ри, и понимают… «Зибкрон? Sie waren ja auch in Hanover!» (Вы тоже были в Ганновере! (нем.)) Да, и Зибкрон был там? Почему он не запретил все это? Ведь это же какие-то дикие звери — все они там. И они набирают силу, nicht wahr (Разве не так (нем.)), Зибкрон? Великий боже, у меня тоже есть кое-какой опыт. — Зааб был человек немолодой и как журналист сотрудничал в свое время во многих газетах, но большинство из них исчезло с лица земли, когда окончилась война. Какого сорта опыт довелось приобрести герру Заабу в те времена, ни у кого не вызывало сомнения. — Но у меня никогда не было ненависти к англичанам. Вы можете подтвердить это, Зибкрон. Das kqnnen Sie ja bestdtigen. Двадцать лет я писал об этой сумасшедшей стране. Я был критичен — чертовски критичен порой, — но я никогда не был против англичан. Нет, никогда не был, — заключил он свою речь, так невнятно пробормотав последние слова, что это сразу поставило под сомнение все им сказанное.

— Карл-Гейнц фантастически за англичан, — произнесла его куколка-супруга. — Он ест по-английски, пьет по-английски. — Она вздохнула, словно давая понять, что и остальная его деятельность также носит несколько английский

характер. Эта куколка довольно много ела; она еще продолжала что-то пережевывать, а крошечная ручка ее брала очередной кусок, готовясь отправить его в рот.

— Мы перед вами в долгу, Карл-Гейнц, — с тяжеловесной веселостью сказал Брэдфилд. — Да продлится ваша деятельность многие лета. — Он лишь полчаса назад возвратился из Брюсселя и за столом почти все время не спускал глаз с Зибкрона.

Миссис Ванделунг, жена голландского советника, уютно закутала в меховую накидку свои внушительные плечи и самодовольно сообщила:

— Мы ездим в Англию каждый год. Наша дочка учится в школе в Англии, и наш сын учится в школе в Англии... — Она продолжала лепетать. Все, что она любит, чем дорожит, чем восхищается, — все так или иначе имеет отношение к Англии. Ее скелетообразный муж коснулся прелестного запястья Хейзел Брэдфилд и кивнул, засветившись отраженным восторгом:

— Всегда! — прошептал он, словно заклятие. Хейзел Брэдфилд, выйдя из задумчивости, улыбнулась ему довольно мрачно, не сводя все еще отрешенного взгляда с серой руки, касавшейся ее запястья.

— Как вы милы сегодня, Бернард, — сказала она любезно— Берегитесь, дамы могут приревновать вас ко мне. — Однако шутка прозвучала не слишком одобряюще — в голосе сохранилась неприятная, резковатая нотка.

«Эта не из тех, — подумал Тернер, перехватив злой взгляд, который она метнула на Зааба, снова пустившегося в рассуждения, — кто умеет быть милосердным к своим менее ослепительным сестрам. Между прочим, очень возможно, что я сижу на том самом стуле, на котором некогда сидел Лео, — продолжал он размышлять. — И ем то, что предназначалось для него? Впрочем, нет, по вторникам Лео сидел дома… к тому же его не приглашали сюда ужинать — только выпить», — напомнил он себе, поднимая бокал в ответ на предложенный герром Заабом тост.

— Брэдфилд, вы лучший из лучших. Ваши предки сражались при Ватерлоо, а ваша жена прекрасна, как королева. Вы лучший из лучших в британском посольстве, и вы не привечаете проклятых американцев или проклятых французов. Вы славный малый. Французы все подонки, — заключил Зааб, ко всеобщему смятению, и в столовой на миг воцарилась испуганная тишина.

— Боюсь, что это не слишком лояльно, Карл-Гейнц, — сказала Хейзел, и откуда-то с того конца стола, где она сидела, долетел негромкий смешок — его издала пожилая, ничем не примечательная Grdfin (Графиня (нем.)), приглашенная в последнюю минуту в пару к Тернеру. Резкая струя электрического света неожиданно прорезала приятный полумрак: официанты-венгры, словно ночная смена, промаршировали из кухни к столу и с небрежной лихостью очистили его от приборов и бутылок.

Зааб еще грузнее налег на стол, уставив толстый и не слишком чистый палец в почетного гостя.

— Понимаете, наш приятель Людвиг Зибкрон — чертовски странный малый. Все мы — в прессе — восхищаемся им, потому что он, черт побери, остается для нас неуловимым, а журналисты преклоняются только перед тем, что не дается им в руки. А вы знаете, почему он для нас неуловим?

Собственный вопрос сильно позабавил Зааба. Он торжествующе поглядел на всех. Лицо его сияло.

— Потому что он, черт побери, слишком занят своим дорогим другом и… Kumpan. — Он щелкнул пальцами, беспомощно подыскивая слово. —

Kumpan? — повторил он. — Kumpan?

— Собутыльником, — подсказал Зибкрон.

Зааб растерянно воззрился на него, огорошенный помощью, пришедшей с такой неожиданной стороны.

— Собутыльником, — пробормотал он. — Клаусом Карфельдом. И умолк.

— Карл-Гейнц, тебе надо запомнить, как будет по-английски, — неожиданно проворковала его супруга, и он галантно улыбнулся ей в ответ.

— Вы приехали погостить у нас, мистер Тернер? — спросил Зибкрон, обращаясь к щипцам для орехов. Внезапно Тернер оказался в луче прожекторов, и ему померещилось, что Зибкрон встал со своего больничного ложа и приготовился произвести редкую хирургическую операцию в порядке частной практики.

— Всего на несколько дней, — сказал Тернер. Их диалог не сразу привлек внимание присутствующих, так что некоторое время они разговаривали как бы с глазу на глаз, в то время как остальные продолжали прежнюю беседу. Брэдфилд рассеянно перебрасывался отрывочными фразами с Ванделунгом. До слуха Тернера долетело упоминание о Вьетнаме. Зааб, неожиданно возвратившись на поле сражения, подхватил эту

тему и тут же присвоил ее себе.

— Янки будут драться в Сайгоне, — объявил он, — но они не станут драться в Берлине. — Голос его звучал все громче и агрессивнее, но Тернер слушал его лишь краем уха — его внимание было сосредоточено на немигающем взгляде Зибкрона, устремленном на него как бы из полу мрака. — Ни с того ни с сего янки вдруг помешались на самоопределении. Почему бы им не заняться этим хоть немножко в Восточной Германии? Все борются за права этих чертовых негров. Все сражаются за эти чертовы джунгли. Может, зря мы не втыкаем себе перья в волосы? — Он, казалось, старался раздразнить Ванделунга, но безуспешно. Серая кожа старого голландца оставалась гладкой, как хорошо отполированная крышка гроба, и было ясно, что никакие эмоции уже не могут пробиться сквозь нее на поверхность. — Может, жаль, что в Берлине у нас не растут пальмы? — Он сделал паузу и громко отхлебнул вина. — Вьетнамская война — дерьмо.

— Война — это кошмар! — внезапно возопила Grdfin. — Мы лишились всего! — Но ее реплика пропала впустую, ибо уже был поднят занавес: герр Людвиг Зибкрон приготовился говорить, положив в знак изъявления своей воли щипцы

для орехов на место.

— А откуда вы, мистер Тернер?

— Из Йоркшира. — Воцарилась тишина. — Войну я провел в Борнмуте.

— Герр Зибкрон имел в виду — из какого вы ведомства, — сухо пояснил Брэдфилд.

— Из министерства иностранных дел, — сказал Тернер. — Как и все прочие, — добавил он и равнодушно поглядел на своего собеседника.

Белые глаза Зибкрона никогда не выражали ни осуждения, ни одобрения, они просто выжидали момент, когда будет удобнее вонзить скальпель.

— А можно ли поинтересоваться, какой именно отдел министерства имеет счастье пользоваться услугами мистера Тернера?

— Тот, что занимается исследованиями.

— Мистер Тернер, кроме того, известный альпинист, — донесся из другого угла комнаты голос Брэдфилда, и фарфоровая куколка изумленно воскликнула в сексуальном экстазе:

— Die Berge! (Горы (нем.)) — Покосившись в ее сторону, Тернер заметил, как фарфоровая ручка потянула вниз бретельку платья, словно намереваясь в упоении совсем спустить ее с плеча. — Карл-Гейнц…

— В будущем году, дорогая, — негромко прогу-

дел умиротворяющий баритон ее супруга, — в будущем году мы отправимся в горы.

Зибкрон улыбнулся Тернеру так, словно приготовил шутку, которую они оба могут оценить.

— Но в настоящее время мистер Тернер спустился с гор в долину. Вы остановились в Бонне, мистер Тернер?

— В Годесберге.

— В отеле, мистер Тернер?

— В «Адлере». Десятый номер.

— И какого же рода исследования, позвольте вас спросить, ведутся из десятого номера отеля «Адлер»?

— Людвиг, друг мой, — снова вмешался Брэдфилд, шутливость его тона звучала не слишком убедительно, — думаю, вам достаточно одного взгляда, чтобы распознать тайного агента. Алан Тернер — наша Мата Хари, он развлекает наше правительство в своей спальне.

«Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — было отчетливо написано на лице Зибкрона. Он подождал, пока смех утихнет.

— Алан, — спокойно повторил он. — Алан Тернер из Йоркшира, сотрудник управления по исследованию международных проблем министерства иностранных дел Великобрита-

нии, временно проживающий в отеле «Адлер», известный альпинист. Вы должны извинить мое любопытство, мистер Тернер. Мы сейчас, знаете ли, все как на иголках здесь, в Бонне, и, поскольку я, на мою беду, несу ответственность за персональную безопасность всех сотрудников британского посольства, мой особый интерес к людям, охрана которых поручена мне, вполне понятен. О вашем пребывании здесь консульство было, без сомнения, поставлено в известность? Должно быть, эта их сводка как-то ускользнула от моего внимания.

— Он был зарегистрирован у нас в качестве технического сотрудника, — сказал Брэдфилд, уже не скрывая своего раздражения учиненным ему в присутствии гостей допросом.

— Как благоразумно, — произнес Зибкрон. — На сколько проще, чем какие-то исследования. Он ведет себе исследования, а вы регистрируете его как технического сотрудника. А ваши технические сотрудники все по мере сил занимаются исследованиями. Крайне несложная механика. И что же, ваши исследования носят практический характер, мистер Тернер? Статистика? Или что-то более близкое к науке, чисто академическое, так сказать?

— Исследования вообще.

— Ага, исследования вообще. Широкие полномочия. Большая ответственность. Вы задержитесь здесь надолго?

— На неделю. Быть может, дольше. Зависит от того, сколько времени потребуется на выполнение задания.

— Задания по исследованиям? Так-так. У вас, значит, имеется задание. А я подумал было, что вы здесь замещаете кого-то другого, Ивена Уолдебира, например. Он занимался исследованиями в области торговли. Или Питера Мак-Криди — тот занимался наукой? Или Гартинга. Вы случайно не замещаете Лео Гартинга? Такая жалость, что его больше нет. Ведь это один из ваших старейших и особенно ценных сотрудников.

— О! Гартинг! — воскликнула миссис Ванделунг, услыхав это имя, и было ясно, что у нее на сей предмет есть что сказать. — Вы знаете, какие сейчас идут толки? Что Гартинг пьянствует в КJльне. У него бывают запои, понимаете? — Она явно была на седьмом небе оттого, что приковала к себе всеобщее внимание. — Всю неделю он сущий ангелочек, играет на органе и поет в хоре, как истый христианин. А. с субботы на воскресенье отправляется в КJльн и затевает там драки

с немцами. Это настоящий доктор Джекиль или мистер Хайд, уверяю вас! — Она рассмеялась, в ее тоне не чувствовалось осуждения. — Да, да, он очень испорченный, этот Гартинг. Роули, вы помните, конечно, Андре де Хоога? Ему рассказал все это кто-то из здешней полиции: Гартинг устроил страшную потасовку в КJльне. В ночном баре. Из-за какой-то женщины легкого поведения. Да, да, он очень загадочная личность, уверяю вас. А теперь у нас некому играть на органе.

Зибкрон повторил свой вопрос, развеяв сгустившуюся таинственность.

— Я никого не замещаю, — ответил Тернер и услышал откуда-то слева голос Хейзел Брэдфилд, холодный, но вибрирующий от сдержанного гнева:

— Миссис Ванделунг, вы знаете наши глупые английские обычаи, мужчины — так уж повелось — должны теперь поговорить без нас.

Хотя и не слишком охотно, дамы удалились.

Брэдфилд подошел к буфету, где на серебряных подносах стояли графины с вином; венгры подали кофе в великолепном кувшине, и, не оцененный никем, он в гордом одиночестве возвышался в конце стола, где прежде сидела Хейзел. Старикашка Ванделунг, погрузившись в

воспоминания, стоял возле балконной двери и глядел на уплывающий вниз во мрак травянистый склон, на котором играли отраженные огни Бад-Годесберга.

— Сейчас нам подадут портвейн, — заверил всех Зааб. — У Брэдфилдов это всегда фантастически роскошная штука! — Он решил на этот раз избрать своей жертвой Тернера. — Вы женаты, мистер Тернер?

Брэдфилд занял за столом место Хейзел и передвигал сидящим от него по левую руку два подносика с вином, изящно скрепленные друг с другом серебряным жгутиком.

— Нет, — сказал Тернер так, словно швырнул в собеседников увесистым булыжником: принимай, кто хочет. Но Зааб был глух к интонациям голоса, он слышал только самого себя.

— Безумие! Англичане должны размножаться! Младенцев! И как можно больше! Продолжайте культуру! Англия, Германия и Скандинавия! К черту французов, к черту американцев, к черту африканцев. Klein Europa (Малая Европа (нем.)), вы меня понимаете, Тернер? — Он поднял сжатую в кулак руку. — Нам нужны добротные и крепкие. Те, что умеют думать и говорить. Я еще не совсем идиот. Вы знаете, что это значит — Kultur?

Он отхлебнул вина и завопил: — Фантастика! Лучше не бывает! Люкс! Экстралюкс! Какая это марка, Брэдфилд? Наверняка «Кокберн», только Брэдфилд вечно любит со мной спорить.

Брэдфилд был в нерешительности — вот ведь дилемма! Он поглядел на рюмку Зааба, потом на графины, потом снова на рюмку Зааба.

— Я очень рад, что вино понравилось вам, Карл— Гейнц, — сказал он. — Я склонен думать, между прочим, что вы пьете сейчас мадеру.

Ванделунг, все еще стоявший у балконной двери, рассмеялся. Смех был хриплый, злорадный и не смолкал очень долго, сотрясая сухонькое тельце с каждым вдохом и выдохом дряхлых легких.

— Ну что ж, Зааб, — промолвил он наконец, медленно возвращаясь к столу, — быть может, вы заодно завезете немножко культуры и к нам, в Нидерланды?

Он расхохотался снова, словно школьник, прикрывая подагрической узловатой рукой дырки между зубами во рту, и в этот миг Тернер почувствовал, что ему жаль Зааба и плевать он хотел на Ванделунга.

Зибкрон пить не стал.

— Вы были сегодня в Брюсселе. Надеюсь, ваша поездка была удачной, Брэдфилд? Я слышал,

возникли новые трудности. Я очень огорчен. Мои коллеги утверждают, что Новая Зеландия представляет серьезную проблему.

— Овцы! — вскрикнул Зааб. — Кто станет есть овец? Англичане устроили себе там овечью ферму, а теперь никто не хочет есть этих овец.

Брэдфилд проговорил еще более неторопливо, размеренно:

— Никаких новых проблем не возникло перед нами в Брюсселе. Оба вопроса — о Новой Зеландии и Сельскохозяйственном фонде — не стоят на повестке дня уже не первый год. Это не те вопросы, которые нельзя было бы уладить между друзьями.

— Между добрыми друзьями… Будем надеяться, что вы окажетесь правы. Будем надеяться, что дружба достаточно крепка и затруднения достаточно ничтожны. Будем на это надеяться. — Взгляд Зибкрона снова упал на Тернера. — Итак, Гартинг пропал, — заметил он и сложил ладони, словно для молитвы. — Какая потеря для нашего общества. Прежде всего для нашего храма. — И, глядя Тернеру прямо в глаза, он добавил: — Мои коллеги сообщи ли мне, что вы знакомы с мистером Сэмом Аллертоном, известным английским журналистом. Как я понял, вы беседовали с ним

сегодня.

Ванделунг налил себе мадеры и нарочито смаковал ее, словно дегустируя. Зааб, помрачневший и угрюмый, поглядывал на всех поочередно, мало что понимая в происходящем.

— Какая странная фантазия взбрела вам на ум, Людвиг! Что значит — Гартинг пропал? Он в отпуске. Невозможно вообразить, откуда берутся все эти идиотские слухи. Единственная вина бедняги в том, что он забыл предупредить капеллана. — Смех Брэдфилда прозвучал довольно искусственно, однако ему нельзя было отказать в самообладании. — Он взял отпуск по семейным обстоятельствам. Это непохоже на вас, Людвиг: вы всегда так хорошо информированы, а на сей раз я просто удивлен.

— Вот видите, мистер Тернер, с какими трудностями мне приходится сталкиваться здесь. На свою беду, я несу ответственность за соблюдение порядка среди гражданского населения во время демонстраций. Я отвечаю перед министром. Роль моя самая скромная, но тем не менее ответственность лежит на мне.

В его скромности был оттенок благочестия. Казалось, надень на него стихарь, и перед вами один из певчих церковного хора, которым руко-

водил Гартинг.

— Мы ожидаем, что в пятницу состоится небольшая демонстрация. К сожалению, среди определенных, не очень многочисленных слоев населения англичане не пользуются сейчас особой популярностью. Надеюсь, вы сумеете оценить мои усилия, направленные к тому, чтобы никто, решительно никто не понес ущерба. Отсюда вам должно быть понятно мое стремление знать местонахождение каждого лица. Чтобы иметь возможность оберегать. Однако мистер Брэдфилд, бедняга, частенько так перегружен работой, что не ставит меня в известность об этом. — Он сделал паузу и поглядел на Брэдфилда: один короткий взгляд — и все. — Но я не **укоряю** мистера Брэдфилда за то, что он не все сообщает мне. Зачем ему это делать? — Жест бледных рук, демонстрирующий снисхождение. — Существует немало мелких и два-три крупных факта, о которых Брэдфилд мне не сообщил. Да и зачем? Это шло бы вразрез с его профессией дипломата. Вы согласны со мной, мистер Тернер?

— Это не по моей части.

— Но по моей. Извольте, я разъясню, что происходит. Мои коллеги — люди наблюдательные. Они поглядывают по сторонам, подсчитывают,

замечают, что кого-то не хватает. Они начинают наводить справки, опрашивать слуг или, скажем, друзей и узнают, что это лицо исчезло. Это сообщение тотчас вызывает у меня беспокойство. И у моих коллег — тоже. Мои коллеги — весьма отзывчивые люди. Им неприятно думать, что человек мог потерять ся. Разве это не естественное движение человеческой души? Многие из моих коллег еще совсем юноши, почти под ростки. Гартинг отбыл в Англию?

Вопрос был поставлен в лоб — Тернеру. Но Брэдфилд взял ответ на себя, и Тернер благословил его за это в душе.

— У него семейные дела. Мы, разумеется, не уполномочены обнародовать их. В мои намерения не входит выворачивать наизнанку личную жизнь человека для того, чтобы вы могли пополнить свои досье.

— Превосходная установка, достойная подражания, нам всем следует исходить из нее. Вы слышали это, мистер Тернер? Какой смысл в бумажной слежке? Какой в ней смысл?

— Боже милостивый, почему вы уделяете столько внимания Гартингу? — скучающим тоном спросил Брэд филд, словно все это были шутки, которые ему приелись. — Меня удивляет, что

вы вообще осведомлены о его существовании. Идемте выпьем кофе.

Он встал, но Зибкрон не шелохнулся.

— Ну, **разумеется,** мы осведомлены о его существова нии, — заявил он. — Мы восхищены его работой. Мы в самом деле восхищены. В таком учреждении, как возглавляемое мною, изобретательность мистера Гартинга снискала ему много поклонников. Мои коллеги говорят о нем неустанно.

— Не понимаю, что вы имеете в виду. — У Брэдфилда покраснели щеки, он был не на шутку рассержен. — О чем, собственно, вы говорите? О какой его работе?

— Ему, понимаете ли, приходилось общаться с русскими, — пояснил Зибкрон, повернувшись к Тернеру. — В Берлине. Это, понятно, было давно, но я не сомневаюсь, что он многое от них воспринял, как вы считаете, мистер Тернер?

Брэдфилд поставил графины на поднос и ждал у дверей, пропуская гостей вперед.

Так про какую же все-таки работу вы толковали? — без обиняков спросил Тернер, когда Зибкрон неохотно поднялся со стула.

— Про исследования. Самые обыкновенные исследования вообще, мистер Тернер. Видите,

это полностью по вашей части. Очень приятно сознавать, что у вас с Гартингом так много общих итересов. Собственно, именно поэтому я и спросил вас, не предполагаете ли вы заместить его. Мои сотрудники поняли со слов мистера Аллертона, что у вас очень много общего с Гартингом.

Когда они прошли в гостиную, Хейзел Брэдфилд вскинула на мужа глаза — в них читалась отчаянная тревога. Все четыре гостьи разместились на одном диване. Миссис Ванделунг держала в руках вышивание по рисунку; фрау Зибкрон, вся в черном, как монахиня, самоуглубленно и зачарованно смотрела на огонь камина, сложив руки на коленях; Grdfin угрюмо потягивала коньяк из весьма вместительной рюмки, вознаграждая себя за пребывание в нетитулованном обществе. Два маленьких пятнышка алели на ее иссохших скулах, словно цветки мака на поле брани. И только миниатюрная фрау Зааб улыбнулась входящим, блистая заново припудренной грудью.

Тернер с завистливым восхищением прислушивался к светской болтовне Брэдфилда. Этот человек не ждал помощи ни от кого. Глаза у него запали от усталости, но он вел беседу столь же непринужденно и столь же беспредметно, как если бы находился на отдыхе вдали от всех забот

и дел.

— Мистер Тернер, — негромко проговорила Хейзел Брэдфилд. — Мне нужна ваша помощь в одном небольшом деле. Могу я отвлечь вас на минуту?

Они остановились на застекленной веранде. На подоконниках стояли цветы в горшках, валялись теннисные ракетки. На кафельном полу — детский трактор, дощечка-скакалка с пружиной и подпорки для цветов. Откуда-то веяло запахом меда.

— Насколько я понимаю, вы наводите справки относительно Гартинга, — проговорила Хейзел. Тон был резкий, властный. Супруга Брэдфилда была вполне ему под стать.

— Я навожу справки?

— Роули совершенно извелся от тревоги, и я убеждена, что причина этого — Лео Гартинг.

— Понимаю.

— Он не желает разговаривать на эту тему, но лишился сна. За последние три дня он не перемолвился со мной ни словом. Дело уже дошло до того, что он порой посылает мне записки' через третьих лиц. Полностью отключился от всего, кроме работы. Нервы его напряжены до предела.

— Он не произвел на меня такого впечатления.

— Он, разрешите вам напомнить, мой муж.

— Ему очень повезло.

— Что взял Гартинг? — * Глаза ее возбужденно блестели. Гневом? Решимостью? — Что он украл?

— Что заставляет вас думать, будто он что-то украл?

— Послушайте, я, а не вы несу ответственность за благополучие моего мужа. Если у Роули неприятности, я имею право это знать. Скажите мне, что сделал Гартинг. Скажите мне, где он. Здесь все перешептываются об этом. Все и каждый. Какая-то нелепая история в КJльне, любопытство Зибкрона… Почему я не могу знать, что происходит?

— Да, в самом деле, почему? Меня это тоже удивляет, — сказал Тернер.

Ему показалось, что сейчас она закатит ему пощечину, и подумал: ударь, получишь сдачи. Она была красива, но в опущенных углах рта притаилась бессильная ярость избалованного ребенка, и что-то в голосе ее, в манере себя держать показалось ему до ужаса знакомым.

— Убирайтесь. Оставьте меня.

— Мне наплевать, кто вы такая. Если вы хотите добыть секретные сведения, получайте их, черт

побери, из первоисточника, — сказал Тернер, ожидая нового нападения с ее стороны.

Но она стремительно повернулась, выбежала в холл и поднялась по лестнице. Некоторое время он продолжал стоять неподвижно, уставясь невидящим взглядом на хаос разбросанных игрушек для детей и взрослых — удочки, крокетный набор, — на всевозможные случайные, бесполезные предметы того мира, в который он никогда не имел доступа. Все еще погруженный в раздумье, он медленно направился обратно в гостиную. Когда он вошел, Брэд-филд и Зибкрон, стоявшие плечом к плечу у балконной двери, оба как по команде обернулись и воззрились на него — на объект их единодушного презрения.

Полночь. Пьяную и уже полностью лишившуюся дара речи Grdfin уложили в такси и отправили домой. Зибкрон отбыл, удостоив прощальным поклоном только чету Брэдфилдов. Вероятно, его супруга отбыла вместе с ним, хотя Тернер не заметил, как это произошло. Осталась только едва заметная вмятина на подушке там, где она сидела. Ванделунги уехали тоже. Пятеро остальных расположились вокруг камина с чувством опустошенности и уныния: супруги Зааб, держась за руки, смотрели на умирающее пламя;

Брэдфилд молча потягивал сильно разбавленное виски; Хейзел, похожая на русалку в зеленом облегающем платье до пят, свернулась калачиком в кресле, распластав по полу подол, словно хвост; в наигранной задумчивости она забавлялась с голубой сибирской кошкой, как хозяйка светского салона восемнадцатого века. Она не глядела на Тернера, однако и не старалась подчеркнуто игнорировать его и раза два даже обратилась к нему. Этот лавочник был непозволительно нагл, но Хейзел Брэдфилд не доставит ему удовольствия, отказавшись впредь иметь с ним дело.

— В Ганновере творилось что-то невообразимое…

— О бога ради, Карл-Гейнц, не начинайте все сначала, — взмолилась Хейзел, — мне кажется, я уже до конца жизни не смогу больше об этом слушать.

— Но почему они вдруг ринулись туда? — ни к кому не обращаясь, вопросил Зааб. — Зибкрон тоже был там. Они вдруг побежали. Те, что были впереди. Бросились сломя голову прямо к этой библиотеке. Почему? Вдруг все сразу — alles auf einmal.

— Зибкрон все время задает мне тот же вопрос, — внезапно в приливе откровенности

устало проговорил Брэдфилд. — Почему они побежали? Уж кто-кто, а он-то должен бы это знать: он был у смертного одра этой Эйк, он, а не я. Он, а не я должен был, я полагаю, слышать, что она сказала перед смертью. Какая муха его укусила, черт побери? Снова и снова одно и то же: «То, что произошло в Ганновере, не должно иметь места в Бонне». Разумеется, не должно, но он держит себя так, словно я виноват в том, что это вообще произошло. Прежде он никогда так себя не вел.

— Он спрашивает тебя? — с нескрываемым презрением проговорила Хейзел. — Но почему же ни с того ни с сего именно тебя? Ведь ты там даже не присутствовал.

— И тем не менее он все время задает мне этот вопрос, — сказал Брэдфилд, вскочив со стула, и что-то беззащитное, какая-то мольба вдруг прозвучала в его голосе, отчего Тернеру на мгновение почудилось, что в его взаимоотношениях с женой есть что-то странное. — Задает, невзирая на обстоятельства. — Он поставил пустой стакан на поднос. — Нравится вам это или нет, но он не перестает спрашивать меня: «Почему они вдруг побежали?» Совершенно так же, как Карл-Гейнц спросил сейчас: «Что побудило их броситься туда? Что именно так влекло их к этой библиотеке?»

Для меня здесь ответ может быть только один: это английская библиотека, а нам всем известно отношение Карфельда к англичанам… Ну что ж, Карл-Гейнц, вам, молодоженам, верно, уже пора спать.

— А серые автобусы, — продолжал свое Зааб. — Вы читали, в каких автобусах разъезжала их охрана? Это были серые автобусы, Брэдфилд, серые.

— Это имеет какое-нибудь значение?

— Имело, Брэдфилд. Что-то около тысячи лет назад это, черт подери, имело огромное значение, мой дорогой.

— Боюсь, я не совсем улавливаю смысл ваших слов, — с усталой усмешкой промолвил Брэдфилд.

— Как всегда, — проронила его жена. Никто не воспринял это как шутку.

Они все уже стояли в холле. Слуга-венгр исчез, осталась только девушка.

— Вы были удивительно добры ко мне, черт подери, Брэдфилд, — с грустью проговорил Зааб, прощаясь. — Наверно, я слишком много болтал. Nicht wahr, Марлен, я слишком много болтал. Но я не доверяю этому Зибкрону. Я — старая скотина, понятно? А Зибкрон — это молодая скотина.

Будьте начеку!

— Почему я не должен доверять ему, Карл-Гейнц?

— Потому, что он никогда не задает вопросов, если не знает наперед ответа. — И с этими загадочными словами Карл-Гейнц Зааб с жаром поцеловал хозяйке дома руку и шагнул в ночной мрак, заботливо поддерживаемый своей молодой влюбленной супругой.

Тернер сидел на заднем сиденье, Зааб медленно вел машину по левой стороне дороги. Его жена дремала, положив голову ему на плечо, ее маленькая ручка все еще машинально и любовно почесывала темный пушок, украшающий затылок ее обожаемого супруга.

— Почему они побежали — там, в Ганновере? — повторил Зааб, счастливо проскользнув между двумя встречными машинами. — Почему эти проклятые идиоты побежали?

В отеле «Адлер» Тернер попросил, чтобы ему в половине пятого утра подали кофе в номер, и коридорный с понимающей улыбкой записал это в свой блокнот, как бы давая понять, что, конечно, все англичане поднимаются в такую рань — ему ли этого не знать. Когда Тернер улегся в постель, мысли его, отвлекшись от странного тошно-

творного допроса, учиненного ему Зибкроном, перенеслись на более приятный объект в лице Хейзел Брэдфилд. И это тоже своего рода загадка, подумал он, засыпая, почему такая красивая, обаятельная, явно неглупая и интеллигентная женщина мирится с невыносимо тоскливым существованием, на какое обрекает ее жизнь дипломатических кругов Бонна. Интересно, что бы делал бедняга Брэдфилд, если бы наш милейший высокородный Энтони Уиллоугби удостоил его супругу своим вниманием? И наконец, зачем, черт побери, зачем — убаюкивая звучал в его мозгу докучливый вопрос, который все время не давал ему покоя в течение этого нудного, бессмысленного вечера, — зачем вообще понадобилось им приглашать его?

И кем, собственно, был он приглашен? «Я должен пригласить вас отобедать с нами во вторник, — сказал Брэдфилд. — Не пеняйте на меня за то, что может произойти». «И я заметил, Брэдфилд! Я заметил, как вы покоряетесь, пасуете перед чужой волей. Впервые я почувствовал вашу слабость. Я увидел нож, торчащий у вас между лопаток, и я шагнул вам навстречу, на помощь, и услышал собственные слова из ваших уст». **Хейзел, ты сучка; Зибкрон, ты скотина; Гартинг,**

ты вор. «Если вы в самом деле так понимаете жизнь, — просюсюкал у него над ухом голос де Лилла, — лучше подавайте в отставку! Нельзя же поклоняться одному и сжигать другое — это уже отдавало бы средневековьем...»

Будильник был поставлен на четыре часа, но ему почудилось, что он уже звонит.

11
КЁНИГСВИНТЕР

Среда. Утро

Еще не начинало светать, когда за ним заехал де Лилл, и пришлось просить ночного швейцара отпереть дверь отеля. Улицы были пустынны, холодны, недружелюбны. Время от времени навстречу машине внезапно наползал слоями туман.

— Нам придется сделать крюк — через мост. Паром ночью не ходит. — Де Лилл говорил отрывисто, почти резко.

Они выехали на шоссе. По обеим сторонам его тянулись новостройки — черепица, стекло, бетон, — дома, увенчанные шпилями строительных кранов, торчали, словно сорняки на невспаханном поле. Машина миновала посольство. Мрак окутывал влажный бетон здания, словно дым отгремевшей битвы. Британский флаг уныло свисал с древка — одинокий цветок на могиле солдата. На тускло освещенном фронтоне лев и единорог мужественно продолжали свое извечное противоборство, отблески золота и

киновари делали нечеткими их контуры. Из сумрака выступали футбольные ворота на пустыре — они клонились набок, словно пьяные.

— В Брюсселе атмосфера накаляется, — заметил де Лилл и замолчал, явно не собираясь развивать эту тему дальше. Во дворе посольства стояло около дюжины автомобилей; белый «ягуар» Брэдфилда — на своей индивидуальной площадке.

— И чаша весов склоняется на нашу сторону или на оборот?

— Что тут можно предположить? — Помолчав, он добавил: — Мы добиваемся неофициальных переговоров с немцами; французы делают то же самое. Не потому, что немцы им по душе, — это уже своего рода спортивный интерес.

— Кто же побеждает? Де Лилл не ответил.

Опустевший город тонул в розоватой призрачной дымке — в колыбели зари, в которой покоятся все города перед восходом солнца. Безлюдные, влажные от тумана улицы; стены домов — грязные, словно засаленные мундиры. Перед университетской аркой, возле временного шлагбаума, стояли трое полицейских; они дали знак остановить машину.

Молча, угрюмо обошли кругом маленький автомобиль, записали номер, покачали ногой

задний бампер, проверяя подвеску, поглядели сквозь запотевшие окна на темные фигуры пассажиров внутри.

— Что они кричали нам вслед? — спросил Тернер, когда машина двинулась дальше.

— Чтобы мы следили за указателями одностороннего движения. — Де Лилл свернул влево, как предписывала синяя стрелка. — Куда, черт побери, они нас уводят?

Электрический грейдер чистил кювет. Еще двое полицейских в зеленых кожаных плащах и надетых набекрень фуражках с высоким верхом недоверчиво наблюдали за процессом. В витрине магазина молоденькая продавщица надевала пляжный костюм на манекен: приподняв синтетическую руку куклы, она натягивала на нее рукав. На ногах у девушки были сапоги из толстого войлока, и она передвигалась в них, словно заключенный в колодках. Машина выехала на привокзальную площадь. Поперек площади и вдоль крытых платформ были протянуты черные транспаранты: «Добро пожаловать, Клаус Карфельд!», «Члены союза свободных охотников приветствуют тебя, Клаус Карфельд, ты — оплот национального достоинства!». На новом, огромном щите для плакатов — портрет Карфельда

таких внушительных размеров, каких Тернеру еще не доводилось видеть. И под ним подпись: «Freitag», пятница. Слово сверкнуло в свете автомобильных фар; лицо осталось погруженным в сумрак.

— Они прибывают сегодня. Тильзит, Мейер-Лотринген, Карфельд. Приедут из Ганновера, чтобы подготовить почву.

— И гостей будет принимать Людвиг Зибкрон.

Они ехали вдоль трамвайных линий, продолжая повиноваться указаниям дорожных знаков. Свернули налево, потом опять направо. Проехали под невысоким перекидным мостом, сделали разворот в обратном направлении, снова въехали на какую-то площадь, постояли перед наспех сооруженным светофором, и внезапно оба подались вперед на продавленных сиденьях, в изумлении глядя на здание ратуши в глубине рыночной площади, полого поднимавшейся вверх.

Позади торговых рядов островерхие кровли похожих на пряничные домиков отчетливо вырисовывались на светлеющем небе. Но взгляды де Лилла и Тернера были прикованы к одинокому серо-розовому зданию на вершине холма, которое, казалось, господствовало над всей площадью. К стенам его были приставлены лест-

ницы, балкон задрапирован черными фестонами траурного крепа, на булыжной мостовой перед фасадом выстроились в ряд черные «мерседесы». Слева от здания перед аптекой, залитый лучами десятка прожекторов, возносился к небу белый помост, похожий на средневековую сторожевую вышку. Площадка его доходила почти до слуховых окон соседних домов, а гигантские, похожие на лапы подпорки бесстыдно белели в темноте, таинственно и прихотливо переплетаясь с собственными черными тенями. У подножия помоста уже копошились рабочие. До Тернера донеслось гулкое эхо молотков и унылое повизгивание электрических пил. Связка бревен тяжело ползла вверх на беззвучном блоке.

— Почему флаги приспущены?

Траур. Это символический спектакль. Они объявили траур по погубленной национальной чести.

По длинному мосту они переправились на другую сторону реки.

— Ну, наконец-то, — удовлетворенно проворчал де Лилл и опустил воротник плаща, словно они въехали в более теплую зону.

Он вел машину на большой скорости. Одну за другой они миновали две деревни. Потянулись

поля, перелески, и машина свернула на другое шоссе — вдоль восточного берега реки. Справа скалистая вершина Годесберга, все еще окутанная пеленой тумана, угрюмо нависала над спящим городом. Они обогнули виноградник. Ряды кустов таинственно выплывали из темноты, похожие на зигзагообразный рисунок вышивки. Позади, над виноградниками, стояли одетые лесами Семь Холмов, а еще выше, над лесом, на самом горизонте, — черные руины замка, остатки готической причуды. Свернув с главного шоссе, они вскоре выехали на набережную, окаймленную подстриженными деревьями и цепочкой зажженных электрических фонарей. Внизу лежал Рейн, окутанный теплым паром своего дыхания и почти неразличимый.

— Следующий дом слева, — глухо произнес де Лилл. — Скажите мне, если заметите, что там кто-то стоит на страже.

Впереди из сумрака выглянул большой белый дом. Окна нижнего этажа были закрыты ставнями, но ворота стояли настежь. Тернер вышел из машины, пересек мостовую. Подобрав с земли камень, он метко, с силой швырнул его в стену дома. Звук удара прокатился над водой и отозвался эхом где-то вверху на темных склонах

Петерсберга. Вглядываясь в туман, они ждали оклика, звука шагов. Ничего не последовало.

— Отведите машину немного подальше и возвращайтесь, — сказал Тернер.

— Пожалуй, я ограничусь тем, что отведу машину немного подальше. Сколько вам потребуется времени?

— Вы знаете дом. Пойдемте, помогите мне.

— Это не по моей части. Не обижайтесь. Я привез вас сюда по собственному почину, но входить в дом не хочу.

— Тогда почему вы меня привезли? Де Лилл ничего не ответил.

— А теперь не хотите пачкать руки?

Держась травянистой обочины, Тернер направился по подъездной аллее к дому. Даже в полумраке ему бросилось в глаза, что здесь царит такой же порядок, каким отличалась служебная комната Гартинга. Газон был опрятен, клумбы прополоты, аккуратно обложены дерном, на каждом кусте роз — металлическая табличка. В бетонном ящике возле кухонной двери стояло три мусорных ведра, перенумерованные и зарегистрированные, согласно местным порядкам. Тернер сунул ключ в замочную скважину и услышал шаги.

Сомнения быть не могло: шаги, хотя и не громкие, звучали совершенно отчетливо. Шаги человека. Двойной звук, сначала стук каблука, опускающегося на гравий, затем, тут же — стук подошвы. Создавалось впечатление, что кто-то шел крадучись: делал шаг, потом останавливался, прислушиваясь, — подавал о себе весть — и тут же пугался. И все же это были шаги.

— Питер! — «Он передумал и вернулся, — мелькнула у Тернера мысль. — Он человек мягкосердечный». — Питер!

Никакого ответа.

— Питер, это вы? — Тернер наклонился, быстро вы тащил из деревянного ящика, стоявшего возле крыльца, пустую бутылку и замер, напряженно ловя каждый звук. На Семи Холмах прокричал петух. Затем долетел едва уловимый шелест — словно ветер сдул на влажную землю сосновые иголки в бору; он услышал шорох воды, трущейся о берег; услышал далекое дыхание Рейна, словно дыхание гигантской, нечеловеческими руками созданной машины— один звук, вобравший в себя множество других, звук незримо текущей воды, ломкий и вязкий; он услышал движение невидимых барж, внезапное громыханье якорной цепи, услышал протяжный крик, похожий

на мычание скотины, забредшей в болото, или на зов сирены, разнесшийся далеко среди скал. Но он не услышал больше ни шагов, ни любезного мягкого голоса де Лилла. Повернув в замке ключ, он резко распахнул дверь и снова замер, прислушиваясь, крепко зажав в руке бутылку; в лицо ему, приятно защекотав ноздри, повеяло едва уловимым ароматом табачного перегара.

Он ждал, пока глаз привыкнет к темноте и комната раскроется перед ним в своем холодном полумраке. А звуки множились и множились, заполняя пространство. Сначала из буфетной донесся звон стеклянной посуды; затем из прихожей — скрип половиц, в погребе проволокли пустой ящик по бетонному полу; прозвенел удар гонга — однотонный, отчетливый и повелительный, и вот уже со всех сторон, дрожа, вибрируя, начал расти непонятный гул, неопределимый, но надвигающийся, вот он все ближе, все громче с каждой секундой, словно чья-то могучая десница одним ударом сотрясла весь дом. Выбежав в холл, Тернер кинулся оттуда в столовую, стремительно включил свет и остановился, дико озираясь по сторонам, весь подобравшись, судорожно сжимая горлышко бутылки в своем мощном кулаке. — Гартинг! — закричал он уже

во весь голос. — Гартинг! — Ему послышался шорох удаляющихся шагов, и он рывком распахнул дверь. — Гартинг! — закричал он снова. И снова никакого ответа, только в камине из трубы посыпалась сажа да за окном застучала по оштукатуренной стене сорвавшаяся с одной петли ставня. Тернер подошел к окну и окинул взглядом двор перед домом и реку за ним. На противоположном берегу здание американского посольства ослепительно сверкало, залитое огнями, словно электростанция, и желтые лучи, пронизывая туман, играли тусклыми отблесками на мерцающей воде. Только тут ему стало ясно, что послужило причиной его тревоги: караван из шести барж стремительно уплывал в туман; на мачтах развевались флаги, синими звездами горели над ними огни радиолокаторов, и, когда последнее судно скрылось из глаз, умолк и весь призрачный скрытый в доме оркестр. Ни звона стекла, ни скрипа половиц, ни шороха сажи в камине, ни тремоло стен. Дом снова затих, успокоенный, но настороженный, готовый в любую минуту выдержать новую атаку.

Тернер поставил бутылку на подоконник, распрямил плечи и стал не спеша обходить одну комнату за другой. Дом был барачного типа

— сколочен на скорую руку за счет репараций для полковника оккупационных войск в тот период, когда Союзная контрольная комиссия располагалась в Петерсберге. Мебель здесь стояла случайная, разношерстная, словно ни у кого не было твердого представления о том, по какой категории следует обставлять жилище Гар-тинга. Единственное, что могло привлечь здесь внимание, — это радиола. Электрические провода тянулись от нее в разные стороны, а по бокам камина стояли два динамика на вращающихся стержнях для регулирования направления звука.

В столовой стол был накрыт на два прибора.

В центре стола четыре фарфоровых купидона водили хоровод. Весна преследовала Лето, Лето убегало от Осени, Зима гнала их всех вперед. Два обеденных прибора стояли друг против друга. В подсвечник были вставлены свежие свечи, рядом — коробка спичек; нераскупоренная бутылка бургундского в корзинке для вина; в серебряной вазе — несколько увядших роз. На всем лежал тонкий слой пыли.

Тернер быстро сделал пометку в своей книжечке и прошел на кухню. Здесь все напоминало иллюстрацию из дамского журнала. Ни в одной кухне Тернер не видал еще такого количества

всевозможных приспособлений. Миксеры, тостеры, сечки, штопоры. На пластмассовом подносе — остатки одинокого завтрака. Тернер приподнял крышку чайника. Чай был густо-красного цвета, заваренный из трав. На дне чашки осталось несколько капель, чайное пятнышко виднелось и на ложке. Еще одна чашка стояла перевернутая на сушилке для посуды. На холодильнике — транзистор точно такого же типа, как тот, что Тернер видел в посольстве. Тернер и здесь записал в свою книжку длину волны, на которой стояла стрелка транзистора, потом подошел к двери, прислушался и начал одну за другой открывать дверцы буфета, доставать оттуда бутылки и жестяные коробки и заглядывать внутрь. Время от времени он делал пометки в своей книжечке. В холодильнике на средней полке были аккуратно расставлены несколько пол-литровых пакетов с молоком. Вынув из холодильника баночку с паштетом, Тернер осторожно понюхал его, стараясь определить, сколько он там простоял. На белой тарелочке лежали два бифштекса. Между волокон мяса проглядывали кусочки чеснока. «Он приготовил их в четверг вечером», — внезапно подумал Тернер. В четверг вечером он еще не знал о том, что скроется в пятницу.

На втором этаже коридор был устлан кокосовой циновкой. Мебель здесь была простая, сосновая, довольно ветхая. Тернер принялся доставать костюмы из гардероба; он обшаривал карманы, затем отбрасывал костюм, как ненужную ветошь. Покрой костюмов, так же как и самый дом, напоминал военные времена: пиджаки были приталены, с маленьким наружным кармашком на правом борту; брюки без отворотов сужались книзу. Продолжая свой обыск, он нашел носовой платок, клочок бумаги, обломок карандаша; все это он внимательно разглядывал и порой снова делал пометку в книжечке, прежде чем отбросить костюм в сторону и достать из расшатанного, скрипучего гардероба следующий. А дом снова дрожал как в лихорадке. Откуда-то — на этот раз, казалось, из глубины самого здания — донесся металлический звук, похожий на лязг буферов товарных вагонов; этот звук прокатился по всему дому, снизу вверх, словно один этаж окликал другой, и тот отзывался на оклик. И не успели замереть эти звуки, как Тернер снова услышал шаги. Отшвырнув костюм, он одним прыжком очутился у окна. Опять шаги. Один шаг, второй. Шаги были тяжелые и доносились отчетливо. Тернер распахнул ставни и высунулся в пред-

рассветный сумрак, напряженно всматриваясь в аллею, ведущую к воротам.

— Питер?

Ему показалось, что он уловил какое-то движение в темноте, — что это, человек или просто тень? Он не выключил лампу в прихожей, и оттуда на дорогу ложился узор света и тени. Но ветра не было, и верхушки берез не колыхались. Значит, человек? Какой-то человек прошел в доме мимо окон? И тень его промелькнула на усыпанной гравием аллее?

— Питер?

Безмолвие. Ни шума машины, ни оклика сторожа. Соседние дома все еще были погружены во мрак. А вершины горы Чемберлена медленно пробуждались от сна, встречая зарю. Тернер затворил окно.

Теперь он начал действовать быстрее. Во втором гардеробе его глазам предстало еще с полдюжины костюмов. Он небрежно стаскивал их с вешалок, обшаривал карманы и отбрасывал в сторону. И вдруг что-то неуловимое, какое-то шестое чувство заставило его насторожиться, предостерегая: не спеши. Он держал в руках костюм из темно-синего габардина, летний костюм служебного вида, более помятый, чем осталь-

ные, и висевший несколько в стороне, словно приготовленный для чистки или для того, чтобы надеть утром. Он осторожно взвесил его на руке. Затем разложил на постели, осмотрел карманы и вынул большой коричневый конверт, аккуратно сложенный пополам. Служебный конверт для официальных бумаг — в таких обычно рассылают извещения на подоходный налог. Конверт не был надписан: в свое время его заклеили, а затем вскрыли. В конверте лежал ключ; ключ тускло-свинцового цвета, не новый, уже сильно потертый от многолетнего или частого употребления — большой старомодный ключ с длинной бородкой от большого, сложного, хитрого внутреннего замка, весьма отличный от всех прочих ключей той связки, что хранится у дежурного. Ключ от спецсумки для секретных бумаг? Положив ключ обратно в конверт, Тернер сунул его в свою книжечку и тщательно осмотрел остальные карманы костюма. Три палочки для коктейля — на кончике одной из них грязь, словно он чистил ею под ногтями. Несколько косточек от маслин. Немного мелочи — в общей сложности на четыре марки восемьдесят пфеннигов. И счет за напитки из отеля в Ремагене, без даты.

Кабинет он оставил напоследок. Это была

невзрачная комната — много картонных коробок с виски, банки с консервами. Возле закрытого ставнями окна стояла гладильная доска. На старомодном карточном столике в неожиданном для этого дома беспорядке были разбросаны пачки каталогов, торговые брошюрки, прейскуранты со скидками для дипломатов. В небольшом блокноте был составлен перечень предметов, которые, по-видимому, Гартинг обязался приобрести. Тернер пробежал его глазами и спрятал блокнот в карман. В деревянном ящике он обнаружил жестяные коробки с голландскими сигарами; их было не меньше дюжины.

Застекленный книжный шкаф был заперт на замок. Присев на корточки, Тернер прочел несколько заглавий на корешках, затем поднялся, прислушался, прошел на кухню, отыскал отвертку и одним мощным нажимом взломал дверцу шкафа; медный язычок замка прорвал дерево, словно кость — мышцу, и дверца беспомощно закачалась на петлях. Первые пять-шесть книг оказались немецкими довоенными изданиями в твердых переплетах с золоченым обрезом. Не все немецкие заголовки были ему понятны, но некоторые он перевел по догадке; «Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch» (Лейпцигский

комментарий к уголовному кодексу (нем.)) Штудингера; «Verwaltungsrecht» (Административное право (нем.)) и еще что-то по части закона о сроке ответственности за военные преступления. На каждой из книг, словно на вешалке для платья, было написано имя владельца: Гартинг Лео, а на одной: Гартинг Лео, studentus Juris (Студент права (лат.)); потом ему попался в руки томик с оттиснутым на форзаце медведем — гербом Берлина, поверх которого острым готическим почерком с очень тонкими закруглениями букв и крепким нажимом в конце прямых линий было начертано: «Fьr meinen geliebten Sohn Leo» (Моему любимому сыну Лео (нем.)). На нижней полке все книги стояли как попало: правила поведения британских офицеров в Германии; немецкая брошюрка с описанием флагов судов, плавающих по Рейну, и англо-немецкий разговорник, изданный в Берлине накануне войны, сильно затрепанный, с пометками на полях. Порывшись в глубине шкафа, Тернер извлек оттуда кипу переплетенных помесячно бюллетеней Союзной контрольной комиссии за три года — с сорок девятого по пятьдесят первый; подборка была неполной, некоторых месяцев не хватало — и открыл первый том. Раздался легкий треск

корешка, и в носу у него зачесалось от пыли. «18-я Ганноверская полевая разведывательная часть», — прочел он надпись, сделанную от руки хорошим канцелярским почерком, с твердым нажимом в конце прямых линий и тонкими черточками у закруглений; чернила были черные, особого сорта — чернила для официальных бумаг, не поступающие в открытую продажу. Заголовок был перечеркнут тонкой линией и заменен другим: «6-я группа общего расследования. Бремен». (Слово «Бремен» тоже было вычеркнуто). Ниже он прочел: «Канцелярия начальника военно-юридического управления. Монхенгладбах», и еще ниже: «Комитет по амнистиям. Ганновер. Выносу не подлежит». Перелистав наугад страницы, Тернер наткнулся на отчет о том, как осуществляются перевозки по берлинскому воздушному мосту: соль следует подвешивать под крылья самолета и ни в коем случае не провозить внутри фюзеляжа… доставка бензина представляет большую опасность при взлете и посадке… предпочтительно не столько в интересах экономии, сколько для поддержания бодрости духа, производить снабжение углем и зерном, нежели заранее выпеченным хлебом… переброска сухого картофеля вместо свежего даст экономию в

семьсот двадцать тонн на каждые девятьсот тонн ежедневного рациона гражданского населения. Тернер как зачарованный перелистывал пожелтевшие страницы; на глаза то и дело попадались неожиданно знакомые фразы: «Первое заседание Союзной контрольной комиссии состоялось 21 сентября в отеле «Петерсберг» неподалеку от Бонна… В Нью-Йорке намечено открыть немецкое туристское агентство… В самое ближайшее время предполагается воскресить традиционные фестивали в Байрейте и Обераммер-гау…» Тернер пробежал глазами краткие протоколы совещаний Союзной контрольной комиссии: «Обсуждались возможности расширения прав и ответственности Федеративной Республики Германии в сфере международной и экономической деятельности… В рамках Оккупационного статута были определены более широкие права Федеративной Республики Германии в области международной торговли… Было санкционировано непосредственное участие Германии в двух международных организациях…»

Следующая подшивка само собой открылась на материалах, относящихся к освобождению некоторой категории немецких военных преступников, посаженных в свое время под арест.

И снова он невольно углубился в чтение: «В заключении пребывают в настоящий момент три миллиона немцев… Заключенные снабжаются продовольствием лучше, нежели оставшиеся на свободе… Союзники не всегда в состоянии отделить плевелы от злаков… По плану «Уголь» заключенных надлежит направить в шахты, по плану «Ячменное зерно» их следует послать на уборку урожая…» Один абзац был резко очерчен на полях синей шариковой ручкой: «31 мая 1938 года как акт милосердия была объявлена амнистия всем членам СС, против которых начато судебное преследование в соответствии с ордонансом 69, если они не относятся к категории лиц, активно проявивших себя на охранной службе в концентрационных лагерях». Слова «акт милосердия» были подчеркнуты, и чернила производили впечатление совсем свежих.

Просмотрев все подшивки, Тернер начал хватать их одну за другой и одним яростным движением отрывать от бумаги обе крышки переплета вместе с корешком, словно ломая крылья птицы, после чего он выворачивал переплет наизнанку и тряс бумагу, проверяя, не спрятано ли что-нибудь между листками. Покончив с этим, он подошел к двери. Снова где-то начало погро-

мыхивать и позвякивать — на этот раз громче, чем прежде. Тернер замер, склонив голову набок; его бесцветные глаза пытливо вглядывались в полумрак; он услышал гудок — протяжный, монотонный, вибрирующий и заунывный, — терпеливый призыв, таинственное стенание, робкую мольбу. Поднимался ветер — ну, разумеется, это был ветер. Тернер снова услышал стук ставни, ударяющейся о стену дома. Но ведь он же закрыл ставни! Безусловно, закрыл! Это ветер, предрассветный ветер с реки. Крепкий ветер, однако, — как отчетливо поскрипывают ступеньки лестницы, и скрип этот все набирает силу, словно скрип такелажа, когда ветер наполняет паруса. А стекло, стекло в столовой, — оно звенит как сумасшедшее, куда громче, чем прежде.

— Поторопись! — прошептал Тернер, отдавая сам себе приказ.

Он начал выдвигать ящики письменного стола. Ни один не заперт. Некоторые совсем пусты. Электрические лампочки, электрические пробки, иголки, нитки, носки, запонки, гравюра без рамки — галеон под всеми парусами. На обороте надпись: «Дорогому Лео от Маргарет с самыми нежными чувствами. Ганновер, 1949». Почерк был явно не английский. Небрежно сложив

гравюру пополам, он сунул ее в карман. Под гравюрой обнаружилась небольшая коробка. Квадратная, твердая на ощупь, завернутая в черный шелковый носовой платок, заколотый булавками. Отколов булавки, Тернер осторожно развернул платок и увидел металлическую коробочку тускло-серебристого цвета; по-видимому, коробочка была когда-то покрашена или разрисована, а потом краску соскоблили каким-то острым инструментом, и поверхность стала шершавой. Приподняв крышку, Тернер заглянул внутрь, затем осторожно, почти благоговейно высыпал содержимое коробочки на платок. Перед ним лежали пять пуговиц. Круглые деревянные пуговицы, все на один образец, примерно дюйм в диаметре, вырезанные вручную, грубовато, но с большим старанием, словно у их создателя не хватало хороших инструментов, но отнюдь не рвения; в каждой пуговице были просверлены две просторные дырочки, как для толстой нитки или шнурка. Под коробочкой лежала брошюра на немецком языке, взятая из боннской публичной библиотеки, с библиотечным номером и печатью. Плохо зная язык, Тернер сумел разобраться только, что это какое-то руководство по употреблению отравляющих газов. Библиотечная дата

указывала, что книга взята в феврале этого года. Кое-где на полях виднелись пометки, и некоторые абзацы были отчеркнуты. **«Мгновенное токсическое действие… прихолодной погоде симптомы появляются не сразу»**. Направив свет лампы на книгу, Тернер уселся за стол и, подперев голову рукой, углубился в текст; он с таким напряжением старался вникнуть в него, что лишь инстинктивно повернулся на стуле, когда на пороге возникла чья-то высокая фигура.

Это был совсем старый человек, в мундире и фуражке с высоким верхом вроде тех, что носили немецкие студенты или моряки торгового флота в период первой мировой войны. Черное от сажи лицо, в дряхлых руках кочерга — он держал ее перед собой, как трезубец, и она угрожающе покачивалась; тусклый взгляд красноватых глаз был устремлен на кипу изуродованных, осквернённых книг, и взгляд этот был гневен. Тернер начал медленно, очень медленно подниматься на ноги. Старик не шевельнулся, только кочерга затряслась еще неистовей и белые костяшки суставов проглянули сквозь въевшуюся в поры сажу. Тернер осторожно шагнул вперед.

— Доброе утро, — сказал он.

Одна черная рука, выпустив кочергу, по при-

вычке потянулась к фуражке. Тернер прошел в угол, где стояли картонные коробки с виски. Он сорвал крышку с одной из коробок, достал бутылку, откупорил. Старик что-то бормотал, покачивая головой, и все не сводил глаз с разорванных книг, валявшихся на полу.

— Ну-ка, — дружелюбно сказал Тернер, — глотните! — И протянул бутылку, стараясь, чтобы она попала в поле зрения старика.

Старик апатично выронил кочергу, взял бутылку и поднес ее к губам; в ту же секунду Тернер стремительно проскочил мимо него и бросился в кухню. Открыв наружную дверь, он закричал что было сил:

— Де Лилл!

Его возглас гулким эхом прокатился по пустынной улице и замер где-то над рекой.

— Де Лилл!

Он еще не успел возвратиться в кабинет, как в окнах соседних домов начали вспыхивать огоньки.

Тернер распахнул деревянные ставни, и в комнату проник свет зарождающегося дня. У всех троих был растерянный, недоумевающий вид; старик, сжимая бутылку виски в дрожащей руке, все смотрел на разодранные книги.

— Кто этот человек?

— Истопник. Мы все держим истопников.

— Спросите его, когда он последний раз видел Гартинга. Старик ответил не сразу; снова выйдя из своего столбняка, чтобы хлебнуть виски, он протянул бутылку де Лиллу, по-видимому инстинктивно почувствовав к нему доверие. Де Лилл поставил бутылку на стол возле шелкового носового платка и спокойно повторил вопрос, но старик только молча поглядывал на них — то на одного, то на другого — и потом снова устремлял свой взгляд на книги.

— Спросите его, когда он последний раз видел Гартинга.

Наконец старик заговорил. Голос был безжизненный, неопределимый, как вечность; медлительный, тягучий крестьянский говор, невнятное бормотание, словно на исповеди, покорное и вместе с тем сварливое, — скулеж побитой собаки, безнадежно жаждущей сочувствия. Черные пальцы коснулись взломанной дверцы книжного шкафа; кивок в сторону реки — словно он хотел сказать, что там его дом; однако ни то, ни другое не нарушало монотонного бормотания, как будто все эти действия производились одним лицом, а бормотал кто-то другой.

— Он продает билеты на увеселительные прогулки по реке, — шепотом сообщил де Лилл. — Он заходит сюда рано утром, по пути на работу, и в пять часов вечера — по дороге домой. Топит котлы, вывозит мусор и пустую тару. Летом присматривает за лодками, подготавливает их для экскурсий.

— Спросите его снова. Когда в последний раз видел он Гартинга. Вот, — Тернер вынул из кармана бумажку в пятьдесят марок, — покажите ему, объясните, что он получит это, если расскажет то, что меня интересует.

Увидев деньги, старик устремил на Тернера пристальный взгляд тусклых красноватых глаз. У него были впалые щеки, изборожденное глубокими складками лицо, давно высохшее от недоедания, — морщинистая кожа да кости; сажа въелась в него, как краска в холст. Осторожно сложив бумажку пополам, он прибавил ее к остальным, которые вытащил из заднего кармана брюк.

— Когда? — резко спросил Тернер. — Wann? Старик заговорил, боязливо подыскивая слова, подбирая их одно к другому, словно купец, раскладывающий свой товар. Он снял шапку; коричневая кожа черепа проглядывала в пропле-

шинах коротких, темных от сажи волос.

— В пятницу, — спокойно перевел де Лилл. Он смотрел в окно; казалось, что-то отвлекало его внимание. — Лео расплатился с ним в пятницу после обеда. Зашел к нему домой и тут же расплатился, как только старик отворил ему дверь. Сказал, что уезжает, и надолго.

— Куда?

— Куда — не сказал.

— А когда он вернется? Спросите его.

Пока де Лилл переводил, ухо Тернера уловило отдельные знакомые слова: Kommen… zurьck…

— Лео заплатил ему за два месяца. Он говорит, что может показать нам кое-что. Что-то такое, за что мы не по жалеем еще пятидесяти марок.

Старик испуганно поглядывал то на одного, то на другого; глаза смотрели выжидательно и со страхом, а худые руки нервно шарили под курткой. Это была матросская куртка, выцветшая и бесформенная, на его скелетообразной фигуре она выглядела странно чужеродно. Нащупав наконец то, что он искал, старик приподнял полу куртки и, засунув под нее снизу руку, достал нечто, спрятанное где-то возле ворота. И снова что-то забормотал — теперь слова сыпались быстрей, обильней, беспокойней.

— Он нашел это в субботу утром в мусорном ящике, Тернер увидел кабуру военного образца от пистолета 38-го калибра, сделанную из защитного цвета ткани. Пустая кобура, а на внутренней стороне надпись чернильным карандашом: **Гартинг, Лео.**

Лежала в мусорном ящике прямо сверху: как поднял крышку — сразу увидел. Другим никому не показывал. Другие кричали на него, грозили превратить его физиономию в котлету. Другие все напоминали ему о том, что сделали с ним во время войны, и грозили, что так будет снова.

— Что значит «другие»? Кто это?

— Обождите.

Де Лилл подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Старик продолжал бормотать.

— Он говорит, что распространял антифашистские листовки во время войны, — сказал де Лилл, все еще глядя в окно. — По неведению. Думал, что это обыкновенные газеты. А те, другие, поймали его и повесили вниз головой. Вот, по-видимому, кто они такие — эти другие. Он говорит, что англичане ему больше по душе. Гартинг, по его словам, был настоящий джентльмен. И еще он говорит, что хочет оставить себе эту бутылку виски. Лео всегда давал ему шотландское виски.

И сигары. Тонкие голландские сигары, каких не достанешь в магазинах. Лео получал их по специальному заказу. А на рождество он подарил его жене фен для волос. И еще он хочет пятьдесят марок за кобуру, — добавил де Лилл, но в это время автомобили уже въезжали в ворота, и небольшую комнату сразу заполнил вой двух полицейских сирен и синий, слепящий, двойной свет фар. Послышались голоса, топот ног, и в комнату просунулись стволы автоматов, а за окном возникли одетые в зеленоватую форму фигуры. Дверь распахнулась, молодой человек в кожаном пальто держал в руке пистолет. Истопник плаксиво причитал; он съежился, ожидая удара; синий луч метался по комнате, как прожектор по танцплощадке.

— Ничего не предпринимайте, — сказал де Лилл, — и не выполняйте никаких приказаний.

Он обратился к мальчишке в кожаном пальто, предъявив ему свою красную дипломатическую карточку. Голос его звучал негромко, но твердо; он сдержанно, без излишней болтливости вел переговоры, уверенный в своем авторитете, намекая на недопустимое нарушение дипломатического суверенитета. Лицо молодого полицейского было бесстрастно, как маска Зибкрона.

Однако становилось заметно, что де Лилл мало-помалу одерживает верх, В тоне его зазвучали негодующие нотки. Он начал задавать вопросы, а мальчишка уже заговорил примирительно, даже уклончиво. Тернер понемногу уразумел смысл излагаемых де Лиллом претензий. Де Лилл указал на записную книжку, которую Тернер держал в руке, потом на старого истопника. Опись, сказал он. Они составляют опись. Разве дипломатам запрещено составлять опись? Производить инвентаризацию посольского имущества, устанавливать степень его амортизации? Казалось бы, это вполне естественное дело, особенно в такое время, когда собственности британских подданных грозит опасность разрушения. Мистер Гартинг находится в продолжительном отпуске; в связи с этим возникла необходимость сделать кое-какие распоряжения в отношении имущества, уплатить истопнику его пятьдесят марок… И с каких это пор, хотелось бы ему знать, спросил де Лилл, английским дипломатам запрещен вход в жилища сотрудников английского посольства? По какому праву, хотелось бы ему знать, отряд полицейских врывается в дом, нарушая покой лиц, пользующихся правом экстерриториальности?

Снова взаимно предъявляются и внимательно

проверяются документы; обе стороны записывают фамилии, номера. Полицейский приносит извинения. Тревожные времена, говорит он и долго, пристально смотрит на Тернера, словно распознав в нем коллегу. В любые, даже самые тревожные времена, отвечает де Лилл, следует уважать права дипломатов. Чем больше опасность, тем более необходимо соблюдать неприкосновенность личности. Обмен рукопожатиями. Кто-то из полицейских отдает честь. Один за другим они удаляются. Зеленые мундиры перестают маячить перед глазами, синие огни перестают слепить, машины отъезжают. Де Лилл раздобыл где-то три стакана и разливает виски. Старик продолжает хныкать. Тернер укладывает пуговицы обратно в металлическую коробочку и сует коробочку в карман вместе с небольшой брошюрой об отравляющих газах.

— Это и есть «другие?» — спрашивает он. — Этот его и допрашивал?

— Он говорит: да, вроде этого шпика, но чуть постарше. И более солидный. И волосы светлее. Мне кажется, мы оба знаем, кого он имеет в виду. А это возьмите — это больше по вашей части.

Де Лилл вынул из кармана своего коричневого пальто кобуру и без церемоний перебросил Тер-

неру; тот подхватил ее на лету…

Паром был разукрашен флагами Федеративной Республики Германии. К капитанскому мостику был прибит герб Кенигсвинтера. Весь нос парома заполняли полицейские. Стальные квадратные каски, бледные угрюмые лица. Очень молодые, они были непривычно тихими и молчаливыми для своего возраста; резиновые подошвы их сапог бесшумно ступали по металлической палубе; они глядели на реку так, словно получили приказ хорошенько ее запомнить. Тернер стоял в стороне и смотрел, как команда отдает швартовы; час был еще очень ранний; от усталости и напряжения мозг Тернера с необычной резкостью запечатлевал все окружающее: глухую дрожь металлической палубы под колесами автомобилей, вползавших вверх по сходням и стремившихся занять место поудобнее; тарахтение машины, звон якорной цепи и крики команды, отдающей швартовы; резкий звон колокола, заглушивший отдаленный перезвон церковных колоколов, долетавший из города; враждебную отчужденность одетых в форму шоферов, когда они, выйдя из машин и порывшись в своих кожаных кошельках, доставали мелочь с таким видом, словно, принадлежа к какой-то тайной секте, не хотели узнавать

друг друга в общественном месте; толпу скромно одетых людей с обожженными солнцем лицами, заполнивших паром и глазевших на машины, от которых их отделял барьер. Берег отступал; городок прятал свои кровли и шпили в зелени холмов, становясь похожим на оперную декорацию. Но вот паром лег на курс, описав длинную дугу вниз по течению, чтобы пропустить своего двойника, отчалившего от противоположного берега. Какое-то время казалось, что они вовсе не движутся — паром тихонько относило течением вниз по реке, в то время как «Джон Ф. Кеннеди», нагруженный черными, аккуратными пирамидами добротного угля, быстро двигался ему навстречу; свежий ветерок развевал над его палубой простиранное и развешанное для просушки детское белье. Вскоре паром закачался на кильватерной волне, и женщины стали громко перекликаться, радуясь неожиданному развлечению.

— Он сказал вам еще что-то. Насчет какой-то женщины. Я слышал, как он сказал: «фрау» и «ауто». Он сообщил вам что-то о какой-то женщине в автомобиле.

— Ошибаетесь, старина, — холодно сказал де Лилл. — Вас обманул его своеобразное местное произношение. Порой оно и меня ставит в

тупик.

Тернер, защитив рукой в перчатке глаза — ибо даже в это неяркое весеннее утро отраженный от воды свет был слишком резок — смотрел на удаляющийся берег Кенигсвинтера. Наконец он увидел то, что искал: коричневые зубчатые башни вилл, построенных на деньги Рура, вздымались ввысь, словно закованные в латы руки, простертые к Семи Холмам Зигфрида, а между ними белело что-то, проглядывая сквозь листву деревьев, окаймлявших набережную, — дом Гартинга, уплывавший в туман.

— Я охочусь за призраком, — пробормотал Тернер. — За тенью, будь она проклята!

— За вашей собственной тенью, — с нескрываемой не приязнью возразил де Лилл.

— О да, разумеется.

— Я доставлю вас в посольство, — сказал де Лилл. — А оттуда вы уж сами как-нибудь доберетесь.

— Почему, черт подери, понадобилось вам вообще везти меня сюда, если вы так щепетильны? — Внезапно Тернер рассмеялся. — Понятно! — сказал он. — Какой же я идиот! Мне надо бы выспаться! Вы испугались, что я могу найти Зеленую папку, и решили покараулить за кули-

сами. Слишком большая честь для временного сотрудника. О господи!..

Корк только что прослушал восьмичасовую передачу последних известий. Немецкая делегация покинула вечером Брюссель. По официальной версии, правительство Федеративной Республики Германии пожелало «обсудить некоторые чисто технические проблемы, возникшие в ходе дискуссии». На самом же деле они, по выражению Корка, решили сбежать с уроков. Тернер безучастно смотрел, как цветная бумажная лента, содрогаясь, сползает с роликов и падает в железную корзину. В этом состоянии он пребывал уже минут десять, и тут его потревожили. Раздался стук в дверь, и в узкой щели появилась физиономия этой дурищи, мисс Пит. Мистер Брэдфилд требует его к себе немедленно. Ее паскудные глазки сверкали от удовольствия. Теперь тебе крышка, говорил ее взгляд. Выходя следом за ней в коридор, Тернер случайно взглянул на купленную Корком брошюру с описанием земельных участков, которые можно приобрести на Багамских островах, и подумал: «Это может пригодиться, когда он разделается со мной».

12
«И ТАМ БЫЛ ЛЕО. В БУФЕТЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ВТОРОГО КЛАССА»

Среда

— Я уже переговорил с Ламли. Сегодня вечером вы возвращаетесь в Лондон. Транспортный отдел позаботится о вашем билете. — Письменный стол Брэдфилда был завален телеграммами. — Я от вашего имени принес извинения Зибкрону.

— Извинения?

Брэдфилд запер дверь, щелкнув английским замком.

— Вы хотите, чтобы я повторил вам все по слогам? По-видимому, вы такой же невежда в вопросах политики, как Гартинг. Вы находитесь здесь на правах временного дипломатического сотрудника; не будь этого, вы бы уже давно сидели за решеткой. — Брэдфилд был бледен от ярости. — Одному богу известно, о чем думал де Лилл. С ним у меня будет отдельный разговор. Вы сознательно не выполнили моих указаний. Ну что ж, у людей вашего сорта, по-видимому, свой особый моральный кодекс, я в ваших глазах

личность подозрительная, и вы оказываете мне не больше доверия, чем любому встречному.

— Вы льстите себе.

— Тем не менее вы были присланы сюда с тем, чтобы действовать под моим руководством — этого требовал Ламли, этого требовал посол и сама сложившаяся здесь ситуация, и вы были особо предупреждены о том, что ваша деятельность никоим образом не должна быть замечена вне стен посольства. Молчите и слушайте, что я говорю! Однако, ни в малейшей степени не считаясь ни с полученными вами указаниями, ни с обстоятельствами и не давая себе труда проявить хотя бы минимум сообразительности, вы в пять часов утра отправились в дом Гартинга, напугали до полусмерти одного из его служащих, пере будили соседей, орали во все горло, призывая де Лилла, и в результате привлекли к дому целый наряд полиции, что через несколько часов станет предметом обсуждения всего города. Не удовольствовавшись этим, вы вместе с де Лиллом разыграли перед полицией глупейший спектакль, инсценировав какую-то дурацкую инвентаризацию. Думаю, что это заставит улыбнуться даже Зибкрона, особенно после того объяснения вашей роли здесь, которое вы

преподнесли ему вчера вечером.

— Это все?

— Прошу прощения, далеко не все. Если у Зибкрона были подозрения по поводу Гартинга, теперь вы дали ему в руки доказательства. Вы ведь сами видели, какую он занимает позицию. Одному богу известно, в каких только преступных замыслах не будет он нас теперь подозревать.

— Так расскажите ему, — предложил Тернер. — А по чему бы и нет? Облегчите его душу, черт подери, ему и так известно больше, чем нам. Почему мы делаем секрет из того, что знают уже все? Они сами рыщут по следу. Худшее, что мы можем сделать, — это испортить им охоту, спугнуть их дичь.

— Я не могу допустить подобного признания. Все что угодно — любые подозрения, любое недоверие с их стороны, только не наше признание в такой момент, как сейчас! Только не признание в том, что один из членов нашего дипломатического аппарата в течение двадцати лет работал на советскую разведку. Вы что, ничего не в состоянии понять? Я не могу допустить подобного признания! Пусть думают, что хотят: пока мы не пойдем им навстречу, они могут только строить догадки.

Он произнес это как присягу, как символ своей веры. И замолчал, выпрямившись на стуле, словно страж, оберегающий национальную святыню. — Ну, теперь уже все?

— Предполагается, что такого сорта деятельность, как ваша, должна протекать втайне. Вас призывают на помощь, рассчитывая на соблюдение обычных норм осторожности и благоразумия. Я мог бы кое-что рассказать вам о том, как вы должны вести себя здесь, если бы вы не дали мне ясно понять, что плевать вы хотели на всякие приличия. Мне потребуется немало времени, чтобы расхлебать кашу, которую вы тут заварили. Вы, по-видимому, полагаете, что я нахожусь в полном неведении относительно того, что происходит кругом. Я уже вынужден был сделать внушение Гонту и Медоузу. Не сомневаюсь, что найдутся еще и другие, которых мне придется призвать к порядку.

— Что ж, пожалуй, я отбуду сегодня после полудня, — сказал Тернер, глядя на Брэдсрилда в упор. — Я вам тут все изгадил, так, что ли? Весьма сожалею. Сожалею, что не сумел вам угодить. Я пришлю вам извинение в письменной форме. Ламли это понравится. И поблагодарю вас за гостеприимство. Да, да, я это сделаю непремен-

но. Я напишу. — Он вздохнул. — Я здесь у вас вроде как Иона в чреве китовом. Самое лучшее, конечно, изрыгнуть меня. Это потребует от вас только некоторых неприятных усилий. Вы ведь не любите отделываться от людей, не правда ли? Предпочитаете подписывать с ними договора на вре менную работу.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что у вас, черт подери, есть немало оснований настаивать на соблюдении тайны! Я сказал Ламли — просто в шутку, черт подери, — я спросил его, слышите, спросил его, что для вас главное — документы или человек? Что, черт подери, вам на самом-то деле нужно? Обождите! Сегодня вы даете ему работу, завтра вы не желаете его знать. Если сейчас сюда доставят его труп. вам же будет тысячу раз наплевать на то, что он мертв. Вы обыщете его карманы — нет ли там каких бумаг, — и мир праху его!

Он сам не знал, почему его взгляд все время притягивали к себе туфли Брэдфилда. Туфли были сшиты на заказ и начищены до того благородного блеска, который напоминает полированную мебель красного дерева и может быть достигнут лишь усилиями камердинера или многочисленной челяди.

— Что за чертовщину вы несете?

— Я не знаю, чьих разоблачений вы боитесь, мне все равно. Думаю, Зибкрона — больно уж вы лебезите перед ним. Зачем, черт подери, понадобилось вам сводить нас вместе вчера вечером, если вы умирали от страха, как бы я его не задел? Какой был в этом смысл? **Или он потребовал этого?** Подождите, не отвечайте… пока еще говорю я, моя очередь. Вы же ангел-хранитель Гартинга — вы от даете себе в этом отчет? Это ведь бросается в глаза за тысячу километров, и первое, что я сделаю, возвратясь в Лондон, — напишу это где только можно метровыми буквами. Вы возобновили его договор, так или нет? Всего— навсего для начала. А ведь вы его презирали. И несмотря на это вы не просто дали ему работу, вы изобрели для него работу. Вы прекрасно знали, черт подери, что министерству иностранных дел это уничтожение устаревших дел ни на что не нужно. Так же, как и картотека политических деятелей, что меня нисколько не удивляет. Но вы делали вид, что это важно, вы придумали это специально для него. Только не говорите мне, что вами руководило сочувствие, не поверю — не вашего он круга человек.

— Как бы там ни было, все это отошло в область

пре дания, — сказал Брэдфилд, и снова Тернер — уже в который раз — уловил в его голосе нотку не то растерянности, не то презрения к себе.

— В таком случае, что вы скажете насчет совещаний по четвергам? — По лицу Брэдфилда пробежала судорога, словно от острой боли.

— О господи, с вами невозможно иметь дело, — пробормотал он, и это даже не прозвучало оскорблением в адрес Тернера, а скорее выводом, сделанным для себя.

— Эти вымышленные совещания по четвергам! Вы же сами освободили Гартинга от посещения совещаний, сами препоручили эту работу де Лиллу. Тем не менее отлучки Гартинга каждый четверг после полудня продолжались. Положили вы им конец? Черта с два! Сдается мне, вы даже знали, куда он бегает, верно? — Тернер вынул из кармана ключ, который нашел в одном из костюмов Гартинга. — А у него имелось специальное местечко; вот видите — тайник. Но, может, я и это вам зря говорю, может, вы и об этом осведомлены? С кем он там встречался? Это вам тоже известно? Я было подумал, с Прашко, но потом вспомнил, что вы сами подсунули мне эту идейку. Так что я теперь буду поосторожнее насчет этого Прашко, черт подери!

Брэдфилд сидел, опустив голову, а Тернер уже кричал, наклонившись над столом.

— Что же касается Зибкрона — так у него, как мы знаем, чертова уйма агентов, у него в руках целая сеть, уж будьте покойны. Гартинг был всего лишь одним звеном цепи. Вы не в состоянии проконтролировать, что известно Зибкрону и что не известно. Здесь мы имеем дело с реальными фактами, а не с дипломатией. — Тернер ткнул пальцем в окно — туда, где смутно темнели очертания холмов за рекой. — Они там времени даром не теряют. Пьют с друзьями, развратничают, разъезжают! Они не замурованы в четырех стенах — они знают, что такое жизнь!

— Для интеллигентного человека не требуется особых усилий, чтобы это понимать, — сказал Брэдфилд.

— Так вот, это будет первое, что я скажу Ламли, как только возвращусь к родному очагу. Гартинг работал не один! У него был покровитель и был тайный шеф, и, насколько я понимаю, это одно и то же лицо! И будь я проклят, если Лео Гартинг не был мальчиком-фаворитом Роули Брэдфилда! И они втихомолку немножко грешили, как мальчишки в интернате.

Брэдфилд встал с перекошенным от гнева ли-

цом.

— Можете говорить Ламли все, что вам заблагорассудится, — прошипел он, — но сейчас же убирайтесь вон и чтоб духу вашего здесь не было! — Ив этот момент дверь из приемной мисс Пит приотворилась, и они увидели воспаленное лицо Микки Краба.

Вид у него был озадаченный и несколько растерянный; с нелепым усердием он жевал кончик своих рыжеватых усов.

— Послушайте, Роули, — сказал он, осекся и начал сно ва, словно ему показалось, что он заговорил не в том клю че. — Извините, что я так ворвался, Роули. Я попробовал дверь из коридора, но она заперта. Извините, Роули, я на счет Лео. — Остальное внезапно хлынуло из него уже скороговоркой: — Я только что видел его на вокзале. Видел своими глазами, черт побери! Он пил пиво.

— Быстро и по порядку, — сказал Брэдфилд.

— Я оказывал услугу Питеру де Лиллу. Вот и все, — сказал Краб, сразу занимая оборонительную позицию. Тернер уловил, что от него попахивает алкоголем и мятными лепешками. — Питер должен был поехать в бундестаг. Там важное дело, как я понимаю, дебаты по поводу

чрезвычайных законов идут уже второй день, ну, он и попросил меня заняться этой самой встречей на вокзале. Главари движения прибыли сегодня из Ганновера. Надо было поглядеть — кто именно будет их приветствовать... Я частенько выполняю разные мелкие поручения для Пи тера, — виноватым тоном присовокупил он. — Ну, встреча ли их, прямо сказать, что твоего лорда-мэра. Пресса, телевидение, полным-полно машин, — он нервно покосился на Ьрэдфилда. — Вся стоянка такси забита, представляете себе, Роули? И толпа народу. Скандируют во все горло приветствия и размахивают старыми черными флагами. И музыка. — Он покачал головой, выражая свое безмолвное удивление. — Буквально все дома на площади обклеены лозунгами.

— И вы увидели Лео? — в нетерпении перешел к делу Тернер. — В толпе?

— Да, вроде так.

— Не понимаю.

— Да один затылок только. Затылок и плечи. Промелькнул — и все. Исчез. У меня не было' возможности задержать его.

Тернер схватил Краба за плечо своей каменной лапищей.

— Вы же сказали, что видели, как он пил пиво!

— Отпустите его, — сказал Брэдфилд.

— Эй вы, потише! — На секунду Краб, казалось, рассвирепел. — Ну и что? Я увидел его еще раз потом, понимаете. Когда все это представление закончилось. Почти что, можно сказать, столкнулся лицом к лицу.

Тернер отпустил его.

— Подошел поезд, и все начали орать что было мочи и протискиваться вперед, чтоб поглядеть хоть краем глаза на Карфельда. Кое-где началась даже потасовка, но, по-моему, это были главным образом журналисты. Паразиты! — добавил он с оттенком подлинной ненависти. — И этот поганец Сэм Аллертон тоже, между прочим, был там. Не удивлюсь, если это он затеял драку…

— О боже милостивый! — в отчаянии возопил Тернер, и Краб осуждающе уставился на невежу.

— Первым появился Мейер-Лотринген — полиция устроила для него такой проход, вроде как для прогона скота, затем Тильзит, за ним Гальбах, и толпа заревела, словно стадо гиппопотамов. Битлзы, — несколько неожиданно добавил он. — Там преимущественно были длинноволосые мальчишки, студенты; они лезли на загородки, старались хоть дотронуться до этих господ. А Кзрфельда не было. Я слышал, как кто-то сказал,

что он вышел из вагона на противоположную платформу, чтобы избежать толпы. Говорят, он не любит, когда к нему подходят слишком близко; вот почему повсюду строят для него эти чертовы помосты, страшенной высоты. В общем, тогда часть толпы отхлынула — побежали его искать. Остальные топтались на месте, и тут заорали громкоговорители: все мы, дескать, можем отправляться домой, потому что Карфельд еще не прибыл из Ганновера. «Тем лучше для Бонна», — подумал я. — Он ухмыльнулся. — Разве не так?

Никто ему не ответил.

— Журналисты были просто в бешенстве, а я решил: надо позвонить Роули, сказать, что Карфельд не явился. Лондон ведь не любит, когда теряется след… След Кар фельда, — пояснил он Тернеру. — А здесь с него тоже не спускают глаз, не дают ему общаться с неизвестными людьми. — Он, кажется, приближался к концу своего рас сказа: — Там, в вестибюле, есть круглосуточное почтовое отделение, я направился туда, и тут, — он поглядел на обоих слушателей и сделал робкую попытку заговорить с ними доверительным тоном, — тут мне подумалось, что не мешало бы выпить чашечку кофе, чтобы немножко собраться с мыслями, и, проходя поза-

лу ожидания, я случайно поглядел в стеклянную дверь. Там двери друг против друга, понимаете. С одной стороны — ресторан, с другой — зал ожидания, а в нем — буфетная стойка и около нее два-три столика, чтобы можно было поесть сидя. Или хоть просто посидеть, — пояснил он с таким видом, словно впервые столкнулся с таким необыкновенным явлением. — Слева по коридору там первый класс, справа — второй, и обе двери стеклянные.

— Послушайте, я вас умоляю! — не выдержал Тернер.

— И там был Лео. Во втором классе. За столом. Одет в какой-то плащ, вроде военного, И мне показалось, что он немного не в себе.

— Пьян, что ли?

— Не знаю. Это было бы уж чересчур, черт побери, — в восемь-то часов утра? — Он с наивным видом поглядел на них. — Скорей он казался жутко усталым и, как бы это сказать, неподтянутым, не таким, как всегда. Без этого его щегольства, без лоска. Впрочем, — добавил он растерянно, — с каждым из нас такое бывает, мне кажется.

— Вы не разговаривали с ним?

— Нет уж, увольте. Я поскорее смылся оттуда и бегом сюда, чтобы доложить Роули.

— Было у него что-нибудь в руках? — быстро спросил Брэдфилд. — Был у него при себе портфель? Что-нибудь, в чем он мог бы держать бумаги?

— Ничего при нем не было, Роули, старина, — пробормотал Краб. — Извините.

Все трое молчали; Краб, часто моргая, поглядывал то на одного, то на другого.

— Вы поступили правильно, — негромко проговорил наконец Брэдфилд. — Все в порядке, Краб.

— Правильно? — закричал Тернер. — Он поступил плохо, черт бы его побрал! Лео же не зачумленный! По чему он не мог поговорить с ним, усовестить его, притащить его, наконец, за шиворот? Господи Иисусе, да вы просто какие-то полутрупы оба, и тот и другой! Правильно поступил? Его теперь, конечно, и след простыл. Мы упусти ли наш единственный шанс! Возможно, он ожидал там последнего связного. Наверное, они устроили ему фальшивый заграничный паспорт. С ним был кто-нибудь еще? — Он уже отворил дверь. — Я вас спрашиваю, был с ним кто-нибудь еще? Ну, что вы молчите?

— Ребенок, — сказал Краб. — Маленькая девочка.

— Кто?

— Чья-то девочка. Лет шести-семи. Он разговаривал с ней.

— Он заметил вас?

— Сомневаюсь. Он раз глянул в мою сторону, но как бы сквозь меня.

Тернер сорвал свой плащ с вешалки.

— Мне бы не хотелось, — сказал Краб, отзываясь скорее на этот жест, чем на слова. — Извините.

— А вы? Почему вы стоите? Поехали!

Брэдфилд не шевельнулся.

— Бога ради!

— Я остаюсь здесь. У Краба есть машина. Пусть он отвезет вас. Прошло уже около часа с тех пор, как он видел Гартинга или ему показалось, что видел. Так или иначе, пока он сюда добрался, того уже и след простыл. Я не намерен тратить время попусту. — Делая вид, что он не замечает изумленного взгляда Тернера, Брэдфилд продол жал: — Посол только что просил меня не покидать здания посольства. С минуты на минуту мы ждем сообщений из Брюсселя, и весьма вероятно, что ему понадобится старший советник.

— Боже милостивый, что здесь происходит? Трехстороннее совещание? А он сейчас, быть может, сидит там с целым ворохом секретных государственных бумаг! Неудивительно, что у него

такой мрачный вид! Что с вами здесь творится? Или вы хотите, чтобы Зибкрон опередил вас? Хотите, чтоб он поймал его с поличным?

— Я уже объяснял вам: секретные бумаги — это еще не святыня. Мы предпочитаем, чтоб секреты не разглашались. Но по сравнению с моими обязанностями здесь…

— Это не секреты?! А ваша проклятая Зеленая папка?.. Брэдфилд, казалось, был в нерешительности.

— Я не имею права приказывать ему! — воскликнул Тернер. — Я даже не знаю его в лицо! Что я должен делать, что я должен, по-вашему, делать, если увижу его? Сказать ему, что вам желательно перемолвиться с ним словечком? Вы же его начальник, так или нет? Или вы хотите дать Людвигу Зибкрону возможность зацапать его раньше вас? — Неожиданно для него самого слезы вдруг прихлынули к его глазам. В голосе его прозвучала отчаянная моль ба: — Брэдфилд!

— Он был совсем один, старина, — пробормотал Краб, не глядя на Брэдфилда. — Сидел один-одинешенек. И только эта девчушка. Я хорошо видел.

Брэдфилд поглядел на Краба, потом на Тернера, и снова по его лицу прошла судорога боли, которую он напрасно силился скрыть.

— Это верно, — проговорил он наконец через силу. — Я его начальник. Ответственность лежит на мне. Пожалуй, мне придется поехать туда. — Тщательно заперев дверь на два оборота ключа, он предупредил мисс Пит, что оставляет вместо себя Гевистона, и первым начал спускаться с лестницы.

Новые красные огнетушители, только что прибывшие из Лондона, выстроились, словно часовые, вдоль коридора. На площадке части металлических кроватей ждали, когда их соединят друг с другом. На тележке для бумаг лежала кипа серых одеял. В вестибюле двое мужчин, стоя на стремянках, подвешивали металлический экран. Когда они втроем — Краб впереди — вышли из стеклянных дверей подъезда и направились к стоянке для машин, Гонт с удивлением поглядел им вслед. Брэдфилд на такой скорости вел автомобиль, нагло срезая углы, что Тернер был озадачен. Они промчались на желтый свет и выскочили на левую сторону проезжей части, чтобы свернуть к вокзалу. Оба — и Брэдфилд и Краб — держали свои красные удостоверения наготове и при проверке просунули их в окна, причем Брэдфилд не остановил, а лишь притормозил машину. Они вылетели на мокрую булыжную мостовую, и на

трамвайных рельсах их занесло, но Брэдфилд вывернул баранку, сбросил газ и спокойно выждал, пока машина сама образумится. Они пересекли магистраль со знаком «стоп» и помчались дальше, едва успев проскочить под носом шедшего наперерез автобуса. Теперь машин попадалось меньше, но улицы были запружены народом.

Некоторые несли плакаты; кое-кто был одет в серые габардиновые плащи и черные фетровые шляпы с узкими полями — традиционную форму сторонников Карфель-довского движения. Толпа неохотно расступалась, все хмуро поглядывали на дипломатический номер и ослепительно отполированный кузов. Брэдфилд не сбавлял скорости и не сигналил — он вел машину, предоставляя пешеходам спасаться, кто как может. Только раз он затормозил перед каким-то стариком, который был либо глух, либо пьян, да какой-то мальчишка так шлепнул ладонью по крылу машины, что Брэдфилд на мгновение окаменел и лицо его побелело. Лестница вокзала была усыпана конфетти, колонны обклеены плакатами. Какой-то шофер такси кричал так, словно его избивали. Они оставили машину на стоянке.

— Налево! — крикнул Краб, когда Тернер ринулся вперед. Через высокие двери вокзала они

сбежали в главный вестибюль.

— Держитесь левее! — снова крикнул Краб за спиной Тернера.

Три перегороженных барьерами выхода вели на платформу; три контролера сидели в своих стеклянных кабинах. Таблички на трех языках предупреждали, что контролеры будут к вам безжалостны, если у вас нет билета. Священники, стоявшие кучкой и перешептывавшиеся, неодобрительно покосились на Тернера. Благочестивый христианин не должен спешить, говорили их взгляды. Высокая, очень загорелая блондинка проскользнула мимо, едва не задев его своим рюкзаком и сильно потертыми лыжами; Тернеру бросилось в глаза, как плотно облегает ее свитер.

— Он сидел вон там, — прошептал Краб, но Тернер уже проскочил между стеклянных покачивающихся створок и стоял в буфете, оглядывая сквозь пелену табачного дыма все столики один за другим. Громкоговоритель сообщал пассажирам о пересадке на КJльн.

— Нету, — сказал Краб. — Негодяй смылся.

Все было в табачном дыму, он клубился в темных углах и рассеивался только вокруг длинных цилиндрических ламп дневного света. Пахло пивом, копченым окороком и дезинфекцией. В

глубине, словно айсберг, выплывала из тумана стойка, сверкая белым голландским кафелем. За столиком между двумя коричневыми деревянными перегородками сидело бедно одетое семейство, собравшееся в дальний путь: пожилые женщины в черных одеждах с чемоданчиками, перевязанными веревками, и мужчины, погруженные в чтение греческих газет. За отдельным столиком маленькая девочка катала по столу круглые подставки для пивных кружек перед носом у какого-то пьянчуги, и указательный перст Краба был нацелен на этот стол.

— Вот там, где эта девчушка, видите? Сидел и пил пильзенское.

Не обращая внимания ни на ребенка, ни на пьяницу, Тернер бессмысленно поднимал одну за другой кружки и заглядывал в них. В пепельнице лежали три сигаретных окурка. Один еще дымился. Девочка с интересом наблюдала за Тернером: он нагнулся, обшарил пол и снова поднялся с пустыми руками; она следила за ним взглядом, когда он начал переходить от столика к столику, заглядывая людям в лицо, одного хватая за плечо, другого за руку, у третьего отклоняя в сторону газету.

— Это не он? — кричал Тернер.

Какой-то священник, сидя один в углу, читал «Бильд-цайтунг»; позади него, словно прячась в его тени, смуглый цыган ел жареные каштаны из бумажного пакетика.

— А этот?

— Увы, нет, старина, — сказал Краб, которому стало явно не по себе. — Не повезло. Не расстраивайтесь, право.

У окна с витражом двое солдат играли в шахматы. Какой-то бородатый человек делал вид, что кладет себе что-то в рот, но тарелка перед ним была пуста. К платформе подошел поезд, в ресторане зазвенели посудой. Краб разговаривал о чем-то с официанткой. Он держал ее за руку выше локтя и что-то шептал ей на ухо. Официантка покачала головой.

— Мы сейчас попробуем поговорить с другой, — сказал Краб, когда к ним подошел Тернер.

Они снова прошли в другой конец буфета, другая официантка радостно закивала, довольная тем, что ей удалось что-то припомнить, и, указывая на девочку, принялась рассказывать длинную историю о господине небольшого роста, время от времени называя его просто der Kleine (Маленький (нем.)), — по-видимому, «господин» не столько относилось к Гартингу, сколько было

знаком уважения к тем, кто ее допрашивал.

— Всего несколько минут назад он еще был здесь, — в растерянности произнес Краб. — По ее словам, во всяком случае.

— Он ушел один?

— Она не видела.

— Почему он ей запомнился?

— Спокойней. Она не слишком большой мыслитель, старина. Не будем ее пугать.

— Почему он ушел? Он увидел кого-нибудь? Может, кто-нибудь поманил его из-за двери?

— Вы слишком многого от нее хотите, сынок. Она не видела, как он уходил. Она не особенно обращала на него внимание, потому что он все оплатил вперед. Так, словно спешил. Словно хотел иметь возможность в любую минуту уйти. Чтобы не пропустить поезд. Когда эти молодцы прибы ли, он вышел поглядеть, как их встречают, потом возвра тился обратно, выкурил еще одну сигарету и выпил еще кружку пива.

— Что с вами? Куда это вы так уставились?

Черт побери, это странно, — пробормотал Краб, хмуря брови.

— Что странно?

— Он сидел здесь всю ночь, один. Пил, но не был пьян. Временами играл с этой девчонкой-гре-

чанкой. Ребятишки всегда были его слабостью. — Краб дал официантке монету, и она рассыпалась в благодарностях. — Но так или иначе, мы его упустили, — сказал Краб. — Жутко драчливый тип, когда на него находит. Лезет в драку с кем попало, стоит ему распалиться.

— Откуда вам это известно? Лицо Краба жалобно сморщилось.

— Вы бы поглядели на него в тот вечер в КJльне, — проворчал он, продолжая смотреть вслед удалявшейся официантке.

— Во время драки? Вы там присутствовали?

— Я же вам говорю, — с жаром промолвил Краб. — Когда этот малый заведется, от него лучше держаться подальше. Смотрите. — Он протянул руку. На ладони у него лежала пуговица. Совершенно такая же, как те, что хранились в металлической коробочке с исцарапанной крышкой. — Официантка нашла ее на столе, — сказал Краб. — И спрятала — на случай, если он вернется и спросит.

В буфет неторопливо вошел Брэдфилд. Лицо его было непроницаемо, челюсти сжаты.

— Насколько я понимаю, его здесь нет. Вы по-прежнему утверждаете, что видели его?

— Я не мог ошибиться, старина, извините.

— Что ж, по-видимому, мы должны принять ваши слова на веру. Предлагаю вернуться в посольство. — Он посмотрел на Тернера. — Если, конечно, вы не предпочитаете остаться здесь. Может быть, у вас зародились какие-либо новые идеи, которые вам необходимо проверить. — Он обернулся к буфетной стойке. Все взгляды были обращены на них. Оставленная без присмотра, сверкающая никелированным металлом машина со свистом выпускала в воздух пар. Ни одна рука не протянулась к ней. — А вы тут произвели сильное впечатление, однако. — Когда они медленно шагали к машине, Брэдфилд сказал: — Вы можете вернуться в посольство, чтобы забрать свои пожитки, но до обеда вы должны уехать отсюда. Если у вас есть какие-нибудь бумаги, отдайте их Корку, и мы перешлем их вам дипломатической почтой. Самолет отлетает в семь часов. Постарайтесь попасть на него. Если не достанете билета, поезжайте поездом. Словом, отправляйтесь.

Им пришлось ждать, пока Брэдфилд объяснялся с полицейским и показывал ему свою красную карточку. Он говорил по-немецки с английским акцентом, но грамматика его была безупречна. Полицейский кивнул, и машина двинулась. Они медленно возвращались в посольство, вокруг

них были угрюмые лица бесцельно глазевшей толпы.

— Странное местечко выбрал себе Лео, чтобы проторчать там всю ночь, — пробормотал Краб, но мысли Тернера были заняты другим: чувство провала не покидало его, и тем не менее, трогая пальцами лежавший в кармане служебный конверт с ключом, он напряженно думал все о том же, чью дверь отпирал этот ключ для Лео?

13
НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ ИЩЕЙКИ

Среда

Он сидел за столом в шифровальной и, даже не сняв плаща, упаковывал бесполезные трофеи своего расследования: пустую кобуру, сложенную вчетверо гравюру, нож для разрезания бумаги с выгравированной на нем надписью от Маргарет Айкман, синюю записную книжку-календарь для советников посольства, книжечку для дипломатической скидки и металлическую коробочку с пятью деревянными пуговицами одинакового размера, к которым он теперь прибавил шестую пуговицу и три сигарных окурка.

— Не расстраивайтесь, — сочувственно сказал Корк. — Все образуется.

— О да, без сомнения. Как с вашими вкладами и с земельным участком на Карибских островах. Лео же всеобщий любимчик. Все его оплакивают, как блудного сына. Мы все без ума от Лео, хоть он и надел нам петлю на шею.

— Учтите, ему ведь ничего не стоило кого хочешь обвести вокруг пальца. — Корк сидел без

пиджака на складной кровати и надевал уличные ботинки. Рукава рубашки были у него перехвачены выше локтя металлическими браслета ми, а рубашка была совсем как с рекламы в метро. Из коридора не доносилось ни звука. — Вот ведь что в нем поражало. Тихий, но пальца в рот не клади.

Застучал аппарат, и Корк укоризненно на него покосился.

— Без мыла влезет в душу, — продолжал он. — Это он умел. Было в нем какое-то обаяние. Мог наплести вам черт-те чего, и вы верили.

Тернер уложил все в бумажный пакет со штампом «Секретно» и припиской: «Вскрывать только в присутствии двух лиц, имеющих допуск».

— Это я прошу запечатать и переслать Ламли, — сказал он, и Корк написал расписку и отдал ему.

— Я хорошо помню, как увидел его впервые, — сказал Корк таким наигранно-веселым тоном, что Тернер невольно подумал: «Весело, как на похоронах». — Я был совсем зеленый тогда. Совсем щенок. И женат всего полгода. Если бы я не отшил его, я бы…

— Вы стали бы вкладывать свои денежки, следуя его советам. И одолжили бы ему шифровальный код — почитать на ночь в постели. — Сложив

сумку пополам, Тернер стал застегивать пряжку.

— Нет, не шифровальный код, Джейнет. Он взял бы к себе в постель ее. — Корк ухмыльнулся. — Чертов греховодник! А вы бы никогда не подумали, что он такой. Ну ладно, пошли пообедаем.

Тернер в последний раз яростно щелкнул замком сумки.

— Де Лилл у себ?

— Сомневаюсь. Из Лондона пришла шифровка в полтора метра длиной. Значит, свистать всех наверх. Полный сбор дипломатов. — Он рассмеялся. — Им бы надо было пустить в ход старые черные флаги. Обработать депутатов. Провести встречи на всех уровнях. Все перевернуть, не оста вить камня на камне. А они идут на новый заем. Дивлюсь я, откуда немцы добывают иной раз средства. Знаете, что сказал мне однажды Лео? «Послушай, Билл, мы скоро одержим большую дипломатическую победу. Отправимся в бундестаг и предложим им заем в миллион фунтов стерлингов. Мы с тобой вдвоем, ты и я. Думаю, они все там попадают в обморок». И он, знаете ли, недалек был от истины, этот наш мудрый Лео.

Тернер набрал номер де Лилла, но там никто не взял трубки.

— Передайте ему, что я звонил, чтобы попрощаться, — сказал Тернер Корку и тут же передумал: — Впрочем, ладно, не стоит беспокоиться.

Он позвонил в транспортный отдел и справился о своем билете. Все в порядке, заверили его. Мистер Брэдфилд лично обращался к ним по этому поводу, и билет для Тернера лежит у дежурного. По-видимому, звонок Брэдфилда произвел там сильное впечатление. Корк взял со стула свой плащ.

— Дайте-ка телеграмму Ламли и сообщите, каким рейсом я прилетаю.

— Мне кажется, старший советник уже позаботился об этом, — сказал Корк, и щеки его слегка порозовели.

— Что ж. Благодарствую. — Тернер направился к двери, потом обернулся и окинул взглядом комнату, прощаясь с ней навсегда. — Надеюсь, с вашим первенцем у вас все будет в порядке. И ваши мечты осуществятся. И у всех остальных, надеюсь, тоже. Каждый, надеюсь, достигнет того, к чему стремится.

— Послушайте, смотрите вы на это легче: бывают положения, когда ничего поделать нельзя и приходится складывать оружие, верно? — сочувственно сказал Корк.

— Верно.

— Я хочу сказать, что не может все на свете проходить хорошо и гладко. В жизни так не бывает. Это все романтика. Для школьниц. А вы тоже вроде Лео — не можете успокоиться, оставить все как есть. Ну ладно, что вы делаете сегодня после обеда? В американском кино днем показывают какой-то недурной фильм. Нет, это вам не подойдет — там будет уйма детского визга.

— Что это значит: Лео не мог успокоиться? Что вы хотели этим сказать?

Корк слонялся по комнате, проверяя аппараты, выдвигая ящики письменных столов, просматривая подготовленные к уничтожению секретные бумаги.

— Не прощал. И не то чтобы мстил. Он как-то поссорился с Фредом Энгером. Фред был из административно го отдела. Говорят, это длилось пять лет, пока Фреда не отозвали.

— Из-за чего они поссорились?

— Да не из-за чего, — Корк подобрал с пола листок бумаги и начал читать. — Дело выеденного яйца не стоило. Фред спилил липу в саду у Лео — по его словам, это дерево могло обрушить его ограду. И так оно и случилось бы, Фред сказал мне. «Билл, — сказал он, — это дерево осенью все

равно свалилось бы».

— Лео, как видно, тянуло к земле, — сказал Тернер. — Хотелось иметь свой клочок. Не нравилось вариться в общем котле.

— Сказать вам, что он сделал? Сплел венок из веток этой липы, принес его в посольство и прибил к двери кабилета Фреда. Здоровенными двухдюймовыми гвоздищами. Вроде как распял его на двери. Наши немцы думали, что Фред подохнет со смеху. Но только Лео было не до смеха. Он и не думал шутить. Он это всерьез. Он был вне себя от злости, понимаете. Но дипломаты этого не замечали. Он с ними был сама любезность, сама учтивость. И такой внимательный… Я не хочу сказать, что на самом деле он не был внимателен к людям. Я просто о том, что лучше было бы не подворачиваться Лео под горячую руку. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.

— Он волочился за вашей женой, так, что ли?

— Я положил этому конец, — сказал Корк. — Вот и все. Потому что наблюдал разные другие случаи. Года два назад у нас тут устраивались благотворительные вечера с танцами. Лео зачастил на них. Ничего лишнего себе не позволял, между прочим. Хотел как-то раз преподнести ей фен для волос — вот и все. Каков шутник, а? Я ему сказал:

«Посуши своим феном чьи-нибудь еще волосы. А эти я посушу сам». Так ему и сказал. А впрочем, что с него возьмешь? Знаете, как говорят об этих эмигрантах: «Они потеряли все, кроме своего акцента». И это сущая правда, честное слово. Беда Лео была в том, что он хотел вернуть все обратно. Вот почему, мне кажется, так и получилось — схватил какие-то папки с бумагами и дал тягу. Верно, сбыл их тому, кто больше дал. Но мы, думается, не меньше ему задолжали. — Закончив осмотр и убедившись, что все в порядке, Корк сложил стопкой брошюры у себя на столе и подошел к двери, возле которой стоял Тернер. — Вы, верно, откуда-нибудь с севера? — спросил он. — Судя по вашему выговору.

— Вы его близко знали?

— Лео? Ну да, как мы все. Случалось, купишь иной раз что-нибудь с его помощью, другой раз угостишь его. Или попросишь сделать заказ у Голландца.

— У Голландца?

— Это экспортная фирма из Амстердама. Обслуживает дипломатов. Дешевле и без хлопот, понимаете? Доставляют что хотите: масло, мясо, радиоприемники, автомобили, любую вещь.

— И фены?

— Что угодно. Принимают заказы каждый понедельник. Сегодня вы заполняете карточку, передаете ее Лео, на следующей неделе вам доставляют заказ. Вероятно, он получал свою долю — сами понимаете. Но поймать его на этом никто не мог. Можно считать и пересчитывать, пока не посинеешь, — и все равно никогда не поймешь, из чего складывались его комиссионные. Впрочем, мне думается, брал он все теми же чудовищными сигарами. Совершенно омерзительная гадость, сказать по правде. Не думаю, чтобы он получал от них удовольствие, — курил просто потому, что даровые. И еще назло — потому что мы приставали к нему, подшучивали, — Корк простодушно рассмеялся. — Но он все равно умел обвести вокруг пальца любого из нас, чего уж тут скрывать, и вас бы, наверное, обвел. Ну ладно, я поплыл. До свиданья.

— Вы начали рассказывать о том, как впервые познакомились с ним.

— Разве? Ну что ж… — Он снова рассмеялся. — Я хочу сказать, его слова никогда нельзя было принимать на веру. Итак, мой первый день здесь. Микки Краб приводит меня к нему. Мы с Микки уже все обошли. «Теперь, — говорит Микки, — заходим в последнюю гавань», — и мы спускаем

ся вниз, к Лео. «Это Корк, — говорит Микки. — Только что прибыл к нам в шифровальную». Так я познакомился с Лео. — Прервав свой рассказ, Корк уселся на вращающее ся кресло возле двери и откинулся на спинку с видом важ ного чиновника, которым он видел себя в мечтах. — «По рюмочке вишневки», — предлагает Лео. Считается, что нам здесь пить не положено, но Лео на это всегда плевать хотел, и не потому, чтобы сам любил выпить, заметьте. «Надо отметить прибытие новичка. Вы, случайно, не поете, Корк?» «Только в ванной», — ответил я, и они рассмеялись. Он пытался завербовать меня в хор, понимаете? Это всегда производило на всех впечатление. Весьма набожный господин этот мистер Гартинг, подумал я. Не слишком ли уж? «Хотите сигару, Корк?» — «Нет, благодарю». — «Тогда сигарету». — «Не откажусь, мистер Гартинг». И вот мы сидим там у него, как самые что ни на есть заправские дипломаты, потягиваем вишневку, и я думаю: да, вы тут недурно устроились — прямо по-царски. Кресло, ковер, карты на стенах — полная экипировка. Между прочим, учтите, Фред Энгер забрал отсюда кучу всего, когда уезжал. Половина-то вещей — конфискованные. От них «освободили» кое-кого. Совсем как в старые времена, во

время оккупации. «Ну, что нового в Лондоне, Корк? — спрашивает Лео. — Или все по-старому?» Это он, понимаете, помогал мне освоиться, хитрюга чертов. «Как там наш старик-швейцар из главного подъезда — все так же важен, когда приезжают послы?» И ведь, знаете, попал в самую точку. «А камины? По-прежнему каждое утро топят камины, а, Корк?» «Да что же, — говорю я, — все в общем-то идет неплохо, как ему и положено, все в свое время». Словом, несу какой-то бред. «О! Вот как? — говорит он. — Дело в том, что всего несколько месяцев назад я получил письмо от Ивена Уолдебира, и он сообщил мне, что там проводят центральное отопление. А этот старикашка, который вечно торчит у десятого подъезда? Он и сейчас днем и ночью там, а, Корк? И все читает вслух свои молитвы? Только что-то нам от его молитв не слишком много проку». Поверите, я уже готов был называть его «сэр». Ивен Уолдебир возглавлял в то время Западное управление и, можно сказать, был приравнен к богам. Ну а потом он опять перекинулся на хор, и экспортера-голландца, и на разные прочие вещи: все, что только в его силах, он во всем готов помочь. Наконец выходим мы оттуда, и я смотрю на Микки Краба, а он, того и гляди, уписается.

Сложился от хохота пополам. «Лео? — говорит он. — Лео? Да он в жизни не переступил порога министерства иностранных дел. Он и в Англии-то с сорок пятого года не был». — Корк умолк и покачал головой. — А все равно, — повторил он с добродушной улыбкой, — не приходится его винить, верно? — Он встал. — Я хочу сказать, что мы все видели его проделки и тем не менее попадались на удочку, разве не так? И Артур, и… Ну все, словом. Это как с моей виллой, — простодушно добавил он. — Я знаю, что никогда мне ее не иметь, а все-таки не теряю надежды. Я хочу сказать, что, видно, так надо — иначе нельзя жить, нельзя жить без иллюзий.

Вынув руки из карманов плаща, Тернер поглядел сначала на Корка, а потом на ключ, который сжимал в своей мощной ладони; казалось, его раздирали противоречивые чувства и он был в нерешительности.

— Какой номер у Микки Краба?

Он взял трубку и набрал номер; Корк с сомнением и испугом наблюдал за ним.

— Они же не хотят, чтобы вы продолжали его разыскивать, — с беспокойством заметил Корк. — Право же, я думаю, что они на это не рассчитывают.

— А я, черт побери, и не собираюсь его разыскивать. Я собираюсь пообедать с Крабом, сесть вечером на само лет, и никакая сила на свете не заставит меня хотя бы один лишний час пробыть в этих стенах, где слоняются призраки. — Он швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты.

Дверь в кабинет де Лилла была распахнута настежь, но самого де Лилла не было за письменным столом. Тернер нацарапал записку: «Зашел попрощаться. Прощайте. Алан Тернер». Рука его дрожала от гнева и унижения. Через вестибюль небольшими группами не спеша проходили сотрудники и исчезали за дверью на залитой солнцем улице: все направлялись в посольскую столовую, чтобы пообедать или перехватить бутерброд. У подъезда стоял «роллс-ройс» посла. Гонт что-то говорил шепотом Медоузу, стоя у двери, но при виде Тернера сразу умолк.

— Вот, — сказал он, протягивая Тернеру конверт. — Вот наш билет. — На лице у него было написано: отправляйтесь туда, откуда прибыли.

— Если вы готовы, я к вашим услугам, старина, — донесся голос Краба, как всегда, откуда-то из темного угла. — Вот он я!

Официантки в столовой были вышколенные, необычайно молчаливые, сдержанные. Краб

заказал улиток, которые были, по его мнению, очень хороши. Они заняли столик в маленькой нише; на стене, унося мысли к нсгам и греховным соблазнам, висела гравюра в рамке: танцующие нимфы и пастухи.

— Вы были с ним в тот вечер в КJльне. В тот вечер, когда он ввязался в драку.

— Нечто феноменальное, — сказал Краб. — Ей-богу. Вам разбавить водой? — спросил он и капнул по нескольку капель воды в каждый стакан — словно пролил скудные поминальные слезы над могилой трезвенника. — Не знаю, что на него нашло.

— А вы часто проводили с ним вечера? Краб неуверенно ухмыльнулся; они выпили.

— Это было пять лет назад, понимаете ли. У Мэри захворала мать, и она стала то и дело улетать к ней в Англию. А я оставался на положении, так сказать, соломенного вдовца.

— И вы стали время от времени сматываться из дома по вечерам вместе с Лео — выпить, подцепить девчонку, верно?

— Более или менее.

— В КJльн?

— Обождите, старина, — сказал Краб. — Вы, черт возьми, прямо как следователь. — Он от-

хлебнул еще виски и, когда алкоголь разлился по жилам, поежился, словно плохой актер с запоздалой реакцией, — Господи! — сказал он. — Ну и денек. Господи!

— Ночные кабаки в КJльне лучше, чем здесь?

— Здесь этого себе не позволишь, старина, — сказал Краб, нервно оглянувшись. — Или вам придется сначала напоить половину правительства. В Бонне надо быть чер товски осторожным. Чертовски осторожным, — без особой нужды повторил он и потряс головой для большей убедительности. — В КJльне куда проще.

— И девчонки лучше?

— Я этим не занимаюсь, старина. Уже который год.

— Но Лео был до них охотник, верно?

— Он любит девчонок, — сказал Краб.

— Значит, в тот вечер вы отправились в КJльн. Ваша жена была в Англии, и вы решили кутнуть вместе с Лео.

— Мы просто сидели за столиком. Выпивали, и все. — Он подкрепил свои слова жестом. — Лео рассказывал про армию: вспоминал, так сказать, былое. Странная штука. Он любил армию. Да, да, Лео ее любил. Ему надо было оставаться там, я так считаю. Но только они бы не оставили его: кад-

ровым — ни за что! Ему не хватало дисциплины, я так считаю. Он же был мальчишка, в сущности. Как и я. А когда ты молод, тебе все нипочем. Это приходит позже. В Шерборне лупили меня как собаку. Жуть. Колоти ли почем зря — сунут голову в раковину и держат, а те, что постарше, чтоб им сдохнуть, молотят по спине. Но мне было наплевать тогда. Я думал, что такова жизнь. — Он тронул Тернера за руку. — **Я ненавижу** их теперь, старина, — прошептал он. — Я и не знал, что это сидит во мне. А потом вдруг вылезло наружу. Сейчас бы я мог перестрелять этих подонков за здорово живешь. Истинная правда.

— Вы встречали Лео, когда были в армии?

— Нет.

— Так откуда вы его знаете?

— Мы как-то столкнулись в Контрольной комиссии. В MJнхенгладбахе. В четвертой группе.

— Это когда он работал по разбору претензий?

Огорошенный вопросом Тернера, Краб реагировал на него совершенно в духе того животного, с которым была созвучна его фамилия. Он весь съежился и, казалось, прямо на глазах начал обрастать незримым панцирем, под которым и замер, ожидая, пока минует опасность. Понурив голову, сгорбив спину, он поглядывал на Тернера

краем розового глаза из-под полуопущенных век.

— Значит, вы выпивали и разговаривали?

— Да, помаленьку. Ждали, когда начнется кабаре. Я люблю хорошее кабаре. — Внезапно он принялся рассказывать абсолютно неправдоподобную историю о том, как он во Франкфурте во время последней конференции свободных демократов привел к себе какую-то девчонку. — Полное фиаско! — горделиво объявил он. — Чего она только не вытворяла, эта чертова мартышка, а у меня — просто никак.

Значит, драка разгорелась после кабаре?

— Нет, раньше. Возле стойки бара собралась компания немцев, — шумели, горланили песни. Лео это пришлось не по нутру. Он начал поглядывать на них. Начал рыть землю копытами. Потом вдруг крикнул официанту: «Zahlen», — счет. Так вот, ни с того ни с сего. И во всю глотку притом. Я ему говорю: «Эй, старина, что случилось?» А он ноль внимания. «Я еще не хочу уходить, — говорю я. — Сейчас выйдут девочки, хочу поглядеть». Как об стену горох. Официант приносит счет. Лео пробегает его глазами, лезет в карман и кладет на тарелку пуговицу.

— Какую пуговицу?

— Просто пуговицу. Вроде той, что официантка нашла тогда, на столике в вокзальном буфете. Обыкновенную дерьмовую пуговицу, деревянную, с двумя дырками. — В нем до сих пор кипело возмущение. — Какого черта, кто же это оплачивает счета пуговицами! Годится это? Я подумал было, что это забавы ради. Даже рассмеялся поначалу. «А где же все остальное, что было на ней надето?» — спросил я его. Я все считал, что он шутит. Только он и не думал шутить.

— Дальше.

— «Получите, — говорит он. — Сдачи не надо». И встает со стула как ни в чем не бывало. «Пошли отсюда, Микки, — говорит он. — Здесь воняет». Тут они и налетели на него. Боже милостивый! Фантастика! Я глазам своим не поверил. Подумать, что Лео такое может. Уложил троих, а четвертый сбежал. И тут кто-то как треснет его бутылкой по голове. Общая свалка. Прямо как где-нибудь в Ист-Энде. Он умел постоять за себя, ничего не скажешь. Но, в общем, они его одолели. Опрокинули спиной на стойку и давай обрабатывать. В жизни такого не видал. И все молча, никто ни слова. Без всяких там «будешь знать!» В полном молчании. Система. Очухались мы уже на улице. Лео стоял на четвереньках, а они по-

дошли и дали ему еще раза два на прощание, а у меня прямо кишки выворачивало на мостовую.

— Упились?

— Какое к черту — трезв был, как монах. Мне дали пинка в живот, старина.

— Вам?

Голова у него вдруг отчаянно затряслась, и он, наклонившись, отхлебнул из стакана.

— Пытался выручить его, — пробормотал он. — Схватился с остальными, чтобы он мог удрать. Беда в том, — пояснил он, сделав основательный глоток, — что я уже не тот, каким был когда-то. А Прашко к тому времени и вовсе смотался. — Он хмыкнул. — Когда пуговица упала на тарелку, он был уже одной ногой за дверью. Он, верно, знал, как это бывает. Я его не виню.

— Прашко частенько наведывался туда? В ту пору? — спросил Тернер таким тоном, словно осведомлялся о старинном приятеле.

— Я тогда впервые увидел его, старина. И больше не встречал. У них с Лео после этого пошло врозь. Осуждать тоже не приходится — член парламента и всякое такое. Вредит положению.

— А вы потом как?

— Боже милостивый. Сидел тихо, как мышь, старина. — По телу у него пробежала дрожь. —

Могли в два счета ото звать домой. Засунуть в какую-нибудь блошиную дыру. Вместе с Мэри. Нет, покорно благодарю.

— И чем все это кончилось?

— Думается мне, Прашко сообщил Зибкрону. Полицейские свалили нас возле посольства, дежурный взял такси, мы добрались ко мне домой, вызвали врача. Затем появился Ивен Уолдебир, он был тогда политическим советником посольства. Следом за ним приехал Людвиг Зибкрон в огромном грязном «мерседесе». Что тут началось, бог ты мой! Ну и задал же Зибкрон Лео жару! Сидел у меня в гостиной и давал ему жару, я думал, этому конца не будет. Не очень-то мне это было по душе. А с того, признаться, все как с гуся вода. Ведь, если вдуматься, дело-то было не шуточное. Наш дипломат затевает, черт побери, скандал в ночном кабаке, вступает в драку с мирными гражданами. Тут многим могли дать по шее.

Официант подал почки в мадере.

— Славно, — сказал Краб. — Гляньте сюда. Пальчики оближешь. В самый раз после улиток.

— Что сказал Лео Зибкрону?

— Ничего. Абсолютно ничего. Вы не знаете Лео. Скрытный — это не то слово. Ни Уолдебир, ни я, ни Зибкрон — никто не выжал из него ни пол-

звука. И ведь, учтите, как старались. Уолдебир устроил ему отпуск, наложили швы, вставили новые зубы, бог знает, чего только не делали. Всем говорили, что это случилось с ним в Югославии: купался и нырнул в мелком месте. Ну и расквасил физиономию. Ничего себе — нырнул! О господи.

— А как по-вашему, почему все это произошло?

— Понятия не имею, старина. Никуда больше не ходил с ним после этого. Опасная штука.

— И у вас нет никакого мнения на этот счет?

— Сожалею, — сказал Краб. Он снова ушел в свою скорлупу, изборожденное морщинами лицо потеряло осмысленность.

— Видели вы когда-нибудь этот ключ?

— Никогда. — Он радостно осклабился. — Небось, у Лео нашли? Да, в прежние времена Лео по части юбок был не дурак. Теперь немного остепенился.

— А вам это ничто не напоминает? Краб продолжал смотреть на ключ.

— Попробуйте поговорить с Майрой Медоуз.

— Почему с ней?

— Она всегда не прочь. У нее уже был младенец. В Лондоне. Говорят, половина наших шоферов каждую неделю проходит через ее спальню.

— А не упоминал он когда-нибудь женщину по фамилии Айкман? Он вроде как собирался на ней жениться?

На лице Краба отразилось недоумение, мучительное старание припомнить.

— Айкман? — повторил он. — Занятно. Это из тех, его давнишних. Из Берлина. Правильно, он говорил о ней. Они тогда работали вместе с русскими. Правильно. Она была одной из этих самых связных, что ли. Берлин, Гамбург. Ну, всякое такое. Вышивала ему эти дурацкие подушечки. Забота и внимание.

— А чем, собственно, он занимался с русскими? — помолчав, спросил Тернер. — В чем заключалась его работа?

— Двусторонние переговоры, четырехсторонние — принимал в них участие. Берлин — он ведь как бы сам по себе, вы понимаете. Особый мир, тем более в те дни. Остров. Особый вид острова. — Он покачал головой. — Только это не для него, — добавил он. — Коммунисты — это совсем не по его части. Слишком независимый парень, на черта ему это.

— А эта Айкман?

— Мисс Брандт, мисс Этлинг и мисс Айкман.

— Кто они такие?

Три куколки. Из Берлина. Он приехал туда вместе с ними из Англии. Красотки писаные, говорил Лео. Нигде на свете таких не видал. А я скажу: он тогда вообще не видал женщин. Эти были эмигрантки и возвращались на родину, в Германию. Вместе с оккупационной армией. Так же, как Лео. В Кройдоне, в аэропорту, он сидел на своем чемодане, ждал самолета, и вдруг эти три куколки в военной форме прошли, вильнули бедрами. Мисс Айкман, мисс Брандт и мисс Этлинг. Оказалось — приписаны к той же части. С этой минуты он больше ни на кого не смотрел. Он, Прашко, и еще один малый. Они вместе прилетели из Англии в сорок пятом. И эти куколки. Они там даже песенку такую сложили: «Мисс Айкман, мисс Этлинг и мисс Брандт…», застольную песенку, с довольно пикантными рифмами. Между прочим, они сложили ее в тот же вечер. Когда ехали в свою часть на военной машине. Распевали ее и веселились как чумовые. О господи!

Казалось, он сам готов был запеть ее тут же.

— Айкман — это была девушка Лео. Его первая девушка. Он говорил, что все равно вернется к ней. «Такой, как первая, не бывает, — вот как он говорил. — Все остальные — только суррогат». Подлинные его слова. Ну, вы знаете, гунны — они

всегда так. Любят поковыряться в собственной душе.

— А с ней что сталось?

— Понятия не имею, старина. Растаяла в воздухе. Куда они все деваются? Стареют. Сморщиваются, как печеное яблоко. Ух ты! — Кусок почки сорвался у него с вилки, и подливка забрызгала галстук.

— Почему он не женился на ней?

— Она избрала себе другой путь, старина.

— Какой другой путь?

— Она не хотела, чтобы он принимал английское подданство, — так он говорил. Хотела, чтобы он остался немцем и не прятался от действительности. Она была сильна по части разной метафизики.

— Может, он отправился разыскивать ее?

— Он всегда уверял, что сделает это когда-нибудь. «Я знал разных девушек, Микки, — говорил он, — но я никогда не встречу второй такой, как Айкман». Впрочем, разве мы все не говорим того же самого? — И он нырнул носом в бокал с мозельским, ища в нем прибежища.

— Вы так считаете?

— А вы, между прочим, женаты, старина? Держитесь от этого подальше. — Он покачал

головой. — Все было бы в порядке, если бы я мог исполнять супружеские обязанности. Но я не могу. Спальня для меня — это ночной гор шок, и ничего больше. Я ни на что не годен. — Он пода вил смешок. — Женитесь в пятьдесят пять, вот вам мой совет. На хорошенькой шестнадцатилетней куколке. В этом возрасте они еще не понимают, чем их обделили.

— Прашко, значит, был там, в Берлине? С русскими и с Айкман?

— Неразлучная компания.

— А что еще рассказывал он вам относительно Прашко?

— Он был красным в те дни. Больше ничего.

— И Айкман тоже?

— Все может быть, старина. Он никогда об этом не говорил, его не так уж интересовали эти вопросы.

— А он сам?

— Лео — нет, старина. Он же ни уха ни рыла не смыслил в политике. Просто беспокойный характер, вот и все. Форель! — благоговейно прошептал он. — Теперь недурно поесть форели. Почки, скажу вам по секрету, это так, между прочим, а форель — это вещь.

Развеселившись, он пребывал в хорошем

расположении духа до конца обеда. Лишь раз возвратился он к вопросу о Лео: когда Тернер спросил, часто ли они встречались за последние месяцы.

— На черта мне это, — прошептал Краб.

— А почему нет?

— Он начинал что-то замышлять, старина. Я-то видел. Опять примерялся, как бы ему схватиться с кем-нибудь. Задиристый щенок, сукин сын, — он неожиданно пьяно осклабился. — Опять начал разбрасывать повсюду эти свои пуговицы.

Тернер вернулся к себе в отель в четыре часа; он был порядком пьян. Он не стал ждать, пока освободится лифт, и поднялся по лестнице, «Вот и все, — думал он. — Вот как славно все закончилось». Теперь он уже будет пить весь день до вечера и будет продолжать пить в самолете и, надо надеяться, к моменту встречи с Ламли лыка вязать не будет. Как сказал Краб: улитки, почки, форель, шотландское виски — и вовремя вбирай голову в плечи, когда начнет погромыхивать гром. Поднявшись на свой этаж, он смутно отметил про себя, что открытая дверца лифта приперта каким-то чемоданом, и подумал: верно, портье освобождает чей-то номер, выносит пожитки. «Мы здесь самые счастливые люди, —

пронеслось у него в голове. — Мы уезжаем». Он никак не мог отпереть дверь своего номера — заело замок; долго ворочал ключом в замке, но ничего не получалось. Услышав шаги за дверью, он сразу отпрянул назад, но было уже поздно. Дверь распахнулась. Он успел увидеть бледное круглое лицо, гладко зачесанные назад светлые волосы, напряженно сморщенный покатый лоб и, пока медленно опускалась кожаная дубинка, увидел на ней шов и подумал: «Таким швом можно рассечь череп — не только лицо».

От удара дубинки у него подкосились колени, он почувствовал, как заныло под ложечкой и к горлу подступила тошнота… Его ударили в пах, и боль на мгновение стала невыносимой, но и она мало-помалу утихла, и он увидел женщину — ту, что покинула его, бросила его на произвол судьбы, предоставив ему метаться в поисках выхода из темных закоулков своего одиночества и поражения. Он услышал отчаянный крик Майры Медоуз, когда он сломил ее сопротивление, ложью заплатив ей за ложь; услышал ее вопли, когда они увозили ее от любовника, от этого поляка, когда отнимали у нее ребенка, и ему показалось, что эти вопли исторгнул он сам, и лишь постепенно до его сознания дошло, что они

запихнули ему в рот полотенце. Он почувствовал, как что-то холодное и твердое ударило его по затылку, и голова превратилась в тяжелую глыбу льда; он услышал, как захлопнулась дверь, и понял, что остался один; перед его глазами пронеслось бесконечное, проклятое, великое множество нерадивых и обманутых, в ушах прозвучал глупый голос английского епископа, прославляющего бога и войну, и он погрузился в сон. Он лежал в гробу, холодном, гладком гробу, лежал на мраморной плите в длинном коридоре с глянцевитыми кафельными стенами, в глубине которого играли ярко-желтые блики. Он услышал, как де Лилл говорит ему что-то, сдержанно и мягко, и как всхлипывает Дженни Парджитер голосами всех брошенных им женщин; он услышал отеческие увещевания Медоуза, призывающего к милосердию, и веселое посвистывание всех идущих мимо непосвященных. А потом и Медоуз, и Парджитер ускользнули, растаяли, отозванные к другим похоронам, и остался только де Лилл, и только голос де Лилла приносил ему облегчение…

Дорогой мой, — говорил де Лилл, с изумлением глядя на него откуда-то сверху вниз. — Я зашел к вам, чтобы попрощаться, но если вы решили

принять ванну, вам бы следовало по крайней мере предварительно снять с себя этот ужасный костюм.

— Сегодня четверг? Де Лилл, открыв кран, смачивал горячей водой полотенце.

— Среда. Пока все еще среда. Час коктейля. — Наклонившись над Тернером, он начал осторожно стирать кровь с его лица.

Это футбольное поле… где вы как-то раз видели его. Куда он возил Парджитер. Скажите, как мне попасть туда.

Лежите тихо. И не разговаривайте, не то перебудите соседей.

С величайшей осторожностью он продолжал вытирать кшуюся кровь. Высвободив правую руку, Тернер украдкой нащупал в кармане пиджака ключ. Он был по-прежнему там.

Видели вы когда-нибудь этот ключ? Нет. Нет, не видел. И в ночь с первого на второе не был в беседке в три часа пополуночи. Однако до чего же то в стиле нашего министерства иностранных дел, — шетил он, отступив на шаг и окидывая критическим взглядом результаты проделанной им работы, — до чего же это в их стиле — натравить быка на матадора. Вы не будете возражать, если я заберу у вас свой смокинг? Зачем Брэдфил-

ду понадобилось это? Что понадобилось?

— Приглашать меня к обеду. На встречу с Зибкроном. — зачем он во вторник пригласил меня к себе?

Из братских чувств. Зачем же еще? Что было в этой спецсумке, пропажа которой так пугает Брэдфилда?

— Ядовитые змеи.

— Этот ключ не от сумки? — Нет.

Де Лилл присел на край ванны.

— Вам не следовало бы заниматься этим, — сказал он. — Я знаю наперед, что вы мне ответите: кто-то должен же пачкать руки. Но если этот кто-то — вы, не ждите, что я этому обрадуюсь. Вы не кто-то: в этом ваша беда. Предоставьте это занятие людям, которые родились с шорами на глазах… — Мягкий взгляд де Лилла был исполнен сочувствия. — Все это чудовищно нелепо, — сказал он. — Каждый день какие-то люди гибнут, стремясь уподобиться святым, но не выдержав испытания. Вы же рухнули под бременем своего стремления быть ищейкой.

— Завтра они начнут справляться о вас: «Почему он не уехал? Почему он тут околачивается?»

Тернер лежал распростертый на спине, на длинном диване в комнате де Лилла. В руке у

него был стакан с виски, лицо облеплено желтым антисептическим пластырем из обширной аптечки де Лилла. В углу валялась его парусиновая сумка. Де Лилл сидел за клавикордами, но не играл, а лишь трогал клавиши. Клавикорды были старинные, восемнадцатого века, с выгоревшей под тропическим солнцем крышкой.

— Вы что, возите с собой эту штуку повсюду?

— У меня была скрипка. Но в Леопольдвилле она распалась на составные части. Клей растаял. Трудно сберегать культурные ценности, когда тает клей, — сухо заметил он.

— Если Лео так чертовски хитер, почему он не уехал?

— Быть может, ему нравится здесь. Тогда он единственный в своем роде, должен признаться.

— И если они так чертовски хитры, почему они не убрали его отсюда?

— Быть может, они не знали, что он сорвался с крючка.

— Как вы сказали?

— Я сказал: быть может, они не знали, что он дал стрекача. Я, правда, не сыщик, но я кое-что понимаю в людях и знаю Лео. Он поразительно своенравный человек. Невозможно хотя бы на секунду представить себе, что он станет выпол-

нять то, что они ему прикажут. Если вообще существуют «они», в чем я сомневаюсь. Не в его натуре быть просто исполнителем.

— Я все время пытаюсь хоть как-то определить его для себя, но он не укладывается ни в один шаблон, — сказал Тернер.

Де Лилл ударил пальцем по клавишам.

— Скажите мне, каким хотелось бы вам его видеть? Паинькой или бякой? Или вы просто хотите, чтобы вам не мешали искать его? Вы хотите достичь чего-нибудь, не так ли, — потому что «хоть что-то» лучше, чем ничего. Вы как эти чертовы ученые: вам лишь бы не было вакуума.

Тернер лежал с закрытыми глазами, погруженный в раздумье.

— Я полагаю, что он мертв. И это было бы печально и жутко.

— Сегодня утром он ведь еще не был мертв! — сказал Тернер.

— А вам не нравится, что он в безопасности. Это раздражает вас. Вы хотите, чтобы он либо материализовался, либо перестал существовать. Вы не хотите иметь дело с призраками. Вероятно, именно это и есть самое увлекательное в охоте за экстремистами: вы охотитесь за их убеждениями, не так ли?

— Он продолжает скрываться, — сказал Тернер. — От кого он прячется? От нас или от них?

— Быть может, он просто действует сам за себя.

— С пятьюдесятью секретными папками? О да, конечно, конечно!

Де Лилл, облокотившись о клавикорды, внимательно наблюдал за Тернером.

— Вы дополняете друг друга. Я смотрю на вас и думаю о Лео. Вы — типичный сакс. Большие ручищи, большие ножищи, большое сердце и этот прославленный здравый смысл, который пытается разобраться в идеалах. У Лео все наоборот. И он актерствует. Он одевается, как мы, говорит на нашем языке, но он приручен лишь наполовину. Я скорее на вашей стороне: ведь мы с вами оба, в сущности, зрители, а не лицедеи. — Он опустил крышку клавикордов. — Мы из тех, кто что-то прозревает впереди, тянется и отступает. В каждом из нас в юности сидит Лео, но к двадцати годам он обычно уже мертв.

— Кто же в таком случае вы?

— Я? О, к сожалению, я дирижер. — Он встал, не спеша запер клавикорды маленьким бронзовым ключиком на цепочке. — Я даже не умею играть на этой штуке, — сказал он и побарабанил по

выгоревшей крышке тонкими изнеженными пальцами. — Я говорю себе, что еще научусь когда-нибудь. Начну брать уроки или куплю самоучитель. Но, по правде говоря, меня это мало волнует: я научился жить с сознанием своей неполноценности. Как большинство из нас.

— Завтра четверг, — сказал Тернер. — Если им не известно, что он сбежал, они будут его ждать, верно?

— Да, возможно. — Де Лилл зевнул. — Только они, кто бы они ни были, знают, где им искать, верно? А вы не знаете. Это несколько затрудняет ваше положение.

— А может быть, и нет.

— Вот как?

— Нам известно по крайней мере, где видели его вы в тот самый четверг днем, когда предполагалось, что он находится в министерстве. Туда же он возил и Парджитер. Похоже, он облюбовал себе это местечко.

Де Лилл с минуту стоял неподвижно, все еще держа в руке ключик на цепочке.

— Я думаю, бесполезно отговаривать вас ехать туда?

— Конечно.

— И просить вас тоже? Ведь вы действуете во-

преки инструкциям Брэдфилда.

— Пусть так.

— К тому же вы не вполне здоровы. Ну хорошо. Ступайте и ищите свою неприрученную половину. Но если вам действительно удастся найти эту Зеленую папку, мы надеемся, что вы возвратите ее нам, не вскрывая.

И это неожиданно прозвучало приказом.

14
ЧЕТВЕРГОМ РОЖДЕННОЕ

Четверг

Погода на плато, казалось, была заимствована из разных времен года, из разных географических мест. Откуда-то с северного побережья Англии налетел морской ветер, он гудел в проводах, пригибал к земле колючую сухую траву и с шумом врывался в лесную чашу за футбольным полем, и если какая-то полоумная старушка могла посадить здесь в песчаный грунт чилийскую араукарию, то, казалось, стоило Тернеру пробежать по дороге, и он мог бы прыгнуть в троллейбус и очутиться на Борнмут-сквере. Ноябрьский мороз одел стебли папоротника пушистой белой корой инея; холод прятался здесь от ветра и кусал за щиколотки, словно арктическая вода; мороз засел в расщелинах камней на северной стороне холма, и казалось, здесь только страх может заставить пошевелить скованной от холода рукой, а жизнь бесценна уже тем, что завоевана. На пустом футбольном поле отважно умирали последние лучи оксфордского солнца, а небо было

цвета осенних йоркширских сумерек — темное, неспокойное, с тяжелой бахромой туч на горизонте. Согнутые ветром стволы деревьев были из далекого детства, как отроческая спина Микки Краба, сгибавшаяся в школе над умывальной раковиной, но когда порыв ветра унесся вдаль, деревья не распрямили спин, замерев в ожидании новой атаки.

Свежие еще ссадины на его лице жгло, как огнем; в светлых глазах от бессонницы и боли появился стеклянный блеск. Он ждал, не сводя глаз с дороги, сбегавшей вниз с холма. Далеко внизу справа текла река; порывы ветра временами заглушали все звуки, и гудки барж замирали без ответа. По дороге навстречу ему медленно ползла машина: черный «мерседес» с кJльнским номером, за рулем — женщина; не прибавляя скорости, машина проехала мимо. По ту сторону огороженной проволочной сеткой площадки стоял новенький спортивный павильон: окна закрыты ставнями, дверь на висячем замке. На крышу опустился грач, ветер шевелил его перья. Появился «рено» с французским дипломатическим номером, за рулем — женщина, рядом мужчина; Тернер записал номер в свою черную книжечку. Цифры получились корявыми,

детскими, запись показалась ему какой-то неестественной, чужой. Должно быть, он все-таки успел дать им сдачи, потому что на суставах правой руки были довольно глубокие порезы — как от зубов при сильном ударе в открытый рот. Если у Лео почерк был аккуратный, закругленный, без острых углов, то у Тернера — крупный, прямой, напористый.

«Вы и Лео — оба беспокойные души, — сказал ему ночью де Лилл, когда они ехали в машине. — Бонн — это нечто стоячее, а вы — беспокойные души… Вы сражаетесь друг с другом, но, в сущности, вы оба сражаетесь против нас… Противоположность любви вовсе не ненависть, а апатия… Вам надо научиться апатии, войти с ней в соглашение». «Бросьте вы, Христа ради», — взмолился Тернер. «Здесь вам выходить, — сказал де Лилл, открывая дверцу машины. — И если завтра к утру вы не возвратитесь, я заявлю в береговую полицию».

В Бад-Годесберге он купил себе оружие — гаечный ключ — и теперь ощущал его тяжесть в заднем кармане брюк. Темно-серый автобус «фольксваген» с табличкой «SU», полный ребятишек, остановился возле спортивного павильона. Шум обрушился на Тернера внезапно, испугав

неожиданностью: взвилась стайка птиц, налетел порыв ветра, звонкими осколками рассыпался смех, прозвучал чей-то жалобный возглас, кто-то засвистел в свисток. Низкий луч солнца прорезал тучи — словно ручным фонариком осветили коридор. И павильон поглотил всех. «В жизни не встречал человека, который бы так выставлял напоказ свои недостатки», — в отчаянии кричал на него де Лилл.

Он поспешно спрятался за дерево. «Оппель-рекорд» с боннским номером. Двое мужчин. Он записывал и чувствовал, как гаечный ключ утыкается ему в бедро. Мужчины были в шляпах, в пальто и профессионально безлики. В боковых окнах машины — матовые стекла. Машина еще продолжала двигаться, но со скоростью пешехода. Он увидел их бледные лица, повернутые в его сторону, — как две луны среди искусственного мрака автомобиля. «Не о твои ли это зубы? — пронеслось у Тернера в голове. — Вас не отличишь друг от друга. Надеюсь, мы еще встретимся». Машина все ползла в гору, делая не больше десяти миль в час. Проехал фургон, за ним два грузовика. Где-то на колокольне пробили часы. А может быть, это прозвенел школьный звонок? А может быть, это благовест — звонят к вечерне? Или овцы бродят

в долине, позвякивая колокольцами, или паром идет по реке, оповещая о себе ударами колокола? Солнце зашло. Вдали показался маленький «ситроен». Потом малолитражка, вся в грязи, с вмятиной на крыле, с неразличимо тусклыми цифрами номера; за рулем — неясные очертания одинокой фигуры; единственная горящая фара то вспыхивает, то гаснет, сирена по временам сигналит кому-то. «Оппель» исчез. «Поторапливайтесь вы, лунообразные, вы можете пропустить Его появление». Колеса задергались, как развинченные суставы, когда маленький автомобиль свернул с дороги и запрыгал по грязным обледенелым деревянным мосткам, нахально вихляя задом при заносах. Дверца отворилась, он услышал завывания джаза, и во рту у него сразу пересохло от всех проглоченных таблеток, а порезы и ссадины наего лице были как решетчатая тень ветвей. Он бесшумно опустил гаечный ключ обратно в карман.

Она стояла спиной к нему, всего в десяти шагах, не ощущая ветра, не замечая ребятишек, которые с криком ворвались на футбольное поле.

Она смотрела на дорогу, сбегавшую вниз с холма. Она не заглушила мотора, и машина сотрясалась изнутри, как от боли. Стеклоочистители

бессмысленно скребли по грязному ветровому стеклу. Она стояла, не шевелясь, уже почти час.

Целый час она ждала, замерев в восточной неподвижности, безразличная ко всему, кроме ожидания того, кто не шел и не придет. Она стояла, словно статуя, и, по мере того как садилось солнце, словно бы становилась все выше и выше.

Ветер трепал полы ее плаща. Один раз она подняла руку, чтобы отбросить с лица выбившуюся прядь волос; один раз прошла до конца деревянных мостков и поглядела вниз на пойму реки в сторону КJнигсвинтера; потом медленно повернулась в задумчивости, и Тернер плюхнулся на колени за деревьями в спасительную тень.

Терпение покинуло ее. С шумом распахнув дверцу автомобиля, она опустилась на сиденье, закурила сигарету и ладонью нажала на сигнал. Аккумулятор сел, сирена прозвучала сипло, и ребятишки рассмеялись, на минуту оторвавшись от игры… И снова все стихло.

Стеклоочистители больше не скребли, не метались по стеклу, но мотор продолжал работать, и она время от времени нажимала на акселератор, чтобы поднять температуру обогревателя. Стекла машины начали запотевать. Она достала из

сумочки зеркало и губную помаду.

Откинувшись на сиденье, закрыв глаза, она слушала танцевальную музыку, лившуюся из радиоприемника; одна рука ее лежала на баранке автомобиля, и пальцы тихонько отбивали такт. Услышав шум машины, она приоткрыла дверцу и апатично выглянула наружу, но это снова был все тот же черный «оппель», медленно сползавший обратно с холма, и, хотя оба лунообразных лица были повернуты к ней, она осталась безучастной к проявленному ими любопытству.

Футбольное поле опустело. В спортивном павильоне окна закрыли ставнями. Она включила свет в кабине и поглядела на часы.

Внизу в долине уже замерцали первые огоньки, и очертания руки утонули в тумане. Тернер, тяжело ступая, вышел на дорогу и распахнул дверцу автомобиля.

— Поджидаете кого-нибудь? — спросил он и, сев рядом с ней, проворно захлопнул дверцу, так что свет в кабине сразу погас. Он выключил радиоприемник.

— Я полагала, что вы уехали, — со злобой произнесла она. — Я полагала, что мой муж уже избавился от вас. — Она вся была во власти страха, гнева, унижения. — А вы в это время

шпионили за мной! Прятались в кустах, как третьеразрядный шпик! Как вы осмелились! Вы, жалкий подонок, ничтожество! — Она подняла сжатый кулак, но в ту же секунду Тернер с такой силой ударил ее по губам, что она стукнулась затылком о край окна. Открыв дверцу, он обошел вокруг машины, стащил ее с сиденья и снова ударил ладонью по лицу.

— Сейчас мы с вами немного прогуляемся, — сказал он, — и побеседуем об этом жалком подонке, этом ничтожестве, вашем любовнике.

Он повел ее по деревянным мосткам на вершину холма. Она шла за ним без малейшего сопротивления и тихонько плакала, низко опустив голову, уцепившись обеими руками за его руку.

Они смотрели сверху на Рейн. Ветер стих. Над головой уже мерцали первые звезды, словно фосфоресцирующие огоньки в заштиленном море. Вдоль реки ряд за рядом зажигались огни, вспыхивали, и тут же умирали, едва успев родиться, и чудом воскресали снова, вырастая в огненные эветы, колеблемые ночным ветерком. И только с реки приплывали какие-то звуки: пыхтенье моторных барж и — каждые четверть часа — убаюкивающий колыбельный перезвон

склянок. Запахом тлена и сырости веяло от реки, и они чувствовали ее холодное дыхание на лице и на руках.

— Все началось как на пари.

Она стояла поодаль от него и глядела вниз, в долину. обхватив себя руками так, что ладони легли на лопатки.

— Он больше не придет. Все кончено. Я знаю.

— Почему он не придет?

— Лео не любил говорить о таких вещах. Он слишком пуританин для этого. — Она закурила сигарету. — Не при дет, потому что никогда не перестанет искать, вот почему.

— Что искать?

— Что ищет каждый из нас? Родителей, детей, жен щину. — Она обернулась к нему. — Давайте дальше, — сказала она с вызовом. — Спрашивайте остальное.

Тернер ждал.

— Когда мы с ним сошлись — это вы хотите знать? Я в ту же ночь легла бы с ним в постель, попроси он меня об этом, но он и не заикнулся. Потому что я — жена Роули, а он понимал, что хорошие люди встречаются не на каждом шагу. И он знал, что ему надо выжить — как вам это объяснить! Ведь Лео — обольститель, неужели

не ясно? Он может уговорить павлина выщипать себе хвост… Какая я идиотка, зачем я все это вам говорю! — вырвалось у нее.

— Вы были бы еще большей идиоткой, если бы молчали. Вы ведь основательно влипли, — сказал Тернер. — Попали в беду. Говорю вам на случай, если вы сами этого не понимаете.

— А, у меня всю жизнь так. Что я могу с собой поделать? Мы с ним старые шлюхи — и он, и я — и вот встретились и полюбили друг друга.

Присев на скамейку, она вертела в руках перчатки.

— Это произошло на приеме. На омерзительном боннском приеме а-ля фуршет, с глазированной уткой и этими чудовищными немцами. Кто-то кого-то принимал. Кто-то кого-то провожал. Кажется, американцев. Каких-то титулованных мистера и миссис Икс. Очередное чествование каких-то высокопоставленных особ. Все было невыносимо провинциально. — Она говорила быстро, фальшиво-доверительным тоном, но, несмотря на ее старания, это был все тот же тон — в нем чувствовалась все та же хорошо отработанная дипломатическая сноровка; в каких только уголках мира не доводилось Тернеру слышать эти искусственные модуляции голоса,

характерные для жен английских дипломатов, умеющих вовремя нарушить молчание, скрыть замешательство, завуалировать оскорбление, в меру цивилизованный голос, в меру изысканный тон, неотвратимо приверженный раз и навсегда выработанному стандарту, упрямо преследующий свою цель. — Мы приехали сюда прямо из Адена и прожили здесь ровно год. До этого мы жили в Пекине, а теперь вот — Бонн. Был конец октября — Карфельдовского октября. События только начина ли назревать. В Адене в нас бросали бомбы, в Пекине нам угрожал самосуд, а теперь вот нас собираются сжечь на костре на рыночной площади. Бедняга Роули: он притягивает к себе унижение как магнит. Во время войны он был в лагере военнопленных — вы, наверно, знаете. Он из поколения униженных — вот как бы я окрестила таких, как он.

— Он бы влюбился в вас за это, — сказал Тернер.

— Он любит меня и без этого. — Она помолчала. — Как ни странно, я совсем не замечала Лео прежде. Он казался мне довольно скучным, незначительным… временным сотрудником. Маленький стиляга, пижон — играет на органе в часовне и курит тошнотворные сигары на дипло-

матических коктейлях… Ничего интересного… пустое место. А в тот вечер — вдруг, едва он вошел, едва переступил порог, как я почувствовала: он отметил меня и избрал. И у меня мелькнула мысль: «Берегись, детка! Воздушная тревога!» Он подошел прямо ко мне: «Привет, Хейзел!» Никогда не называл он меня раньше по имени, и я подумала: «А ты, оказывается, наглец, малыш! Это право еще нужно заслужить».

— А вы умеете рисковать. Это хорошо, — сказал Тернер.

— Он заговорил. Не помню о чем; я никогда не придавала особого значения тому, что он говорит, — не больше, чем он сам. Вероятно, что-нибудь о Карфельде. О беспорядках, обо всей этой шумихе. И тут я наконец заметила его. Впервые по-настоящему обратила на него внимание. — Она снова умолкла. — И вот тогда я подумала: «Ого, столько лет я уже живу на свете, так где же ты все это время был?» Словно я нашла старую чековую книжку и вместо задолженности неожиданно обнаружила, что у меня есть еще кое— что на счету. Живой — вот что я ощутила в нем. — Она рассмеялась. — Полная противоположность вам. Вы — мертвец из мертвецов.

Тернер, вероятно, ударил бы ее снова, если бы

в ее издевке не прозвучало что-то мучительно знакомое.

— Он был весь как натянутая струна — это первое, что бросилось мне в глаза. Все время начеку, следил за каждым своим шагом. Манера говорить, манера себя держать — все было деланное. Он прислушивался к собственному голосу, как прислушиваются к голосу собеседника; где следует, понижал его или повышал, расставлял все эпитеты в надлежащем порядке. Я попыталась классифицировать его: за кого могла бы я его принять, если бы ничего не знала о нем? Немец из Южной Америки? Сотрудник аргентинской торговой миссии? Что-нибудь в этом роде. Вылощенный латинизированный гунн. — Охваченная воспоминаниями, она снова умолкла. — У него был отлично подвешен язык, он ловко закруглял каждую фразу, немного на немецкий лад. Я заставила его рассказывать о себе — где он живет, кто готовит ему пищу, как проводит он уик-энды. И не успела опомниться, как он уже давал мне советы. Дипломатические советы: где подешевле покупать мясо; как пользоваться заказами по почте; что лучше заказывать у Голландца, а что у «Наафи». В «Экономате» первосортное сливочное масло, а орехи лучше брать в спецмагазине.

Совсем как женщина. Он знал особый рецепт приготовления чая: все немцы помешаны на пищеварении. Потом предложил мне купить электрический фен. Почему вы смеетесь? — спросила она, внезапно вспыхнув от гнева.

— Разве я смеялся?

— Он знал, как можно купить со скидкой на двадцать пять процентов, сказал он. Он знал все модели фенов и сверял их стоимость.

— Значит, он поглядывал на ваши волосы тоже. Она резко повернулась к нему.

— Не забывайтесь, — осадила она его. — Вы не стоите его мизинца.

Он снова ударил ее — сильно, с размаха ударил по щеке, и даже в сумерках было видно, как страшно она побледнела.

— Мерзавец! — сказала она, дрожа от ярости.

— Продолжайте.

Наконец она заговорила снова.

— В конце концов я сказала; хорошо. Мне так все осточертело. Роули забился куда-то в угол с советником французского посольства; все сражались у стола, добывая себе еду. Словом, я сказала, хорошо, я не прочь купить фен. Со скидкой в двадцать пять процентов. Только у меня-де нет при себе наличных. Можно выписать чек? Я

могла бы с таким же успехом сказать просто: хорошо, я не прочь лечь с вами в постель. Тут он улыбнулся, и я впервые увидела его улыбку. Он вообще редко улыбается. Улыбка осветила все его лицо. Я попросила его принести мне чего-нибудь поесть, он ушел, а я смотрела ему вслед и старалась угадать, что из всего этого получится. У него такая легкая, скользящая походка — Eiertanz, как говорят немцы, что значит: может танцевать с завязанными глазами меж разложенных на полу яиц, — а мне казалось, что так неслышно ступают лишь в церкви, только он ступал тверже. Немцы атаковали стол, сражаясь за спаржу, а он просто проскользнул между ними и возвратился с двумя тарелками, наполненными разной снедью; из нагрудного кармашка у него торчали ножи и вилки, и он ухмылялся во весь рот. У меня есть брат, Эндрю, так он был вылитый мой братец в ту минуту — тот так же вот ухмыляется, когда в регби вырвется из схватки с мячом. И тут мне вдруг стало легко. Какой-то замызганный канадец пытался прочитать мне лекцию по сельскому хозяйству, я еле от него избавилась. Пожалуй, они единственные, канадцы, кто еще верит во всю эту чепуху. Они — как англичане в Индии.

Ей послышался какой-то шум, и, быстро обер-

нувшись, она стала напряженно всматриваться в сползавшую вниз, во мрак, дорогу. Ветер стих; стволы деревьев казались совсем черными на фоне неба; одежда становилась влажной от ночной росы.

— Он не придет. Вы же сами сказали. Давайте дальше. Побыстрей.

— Мы пристроились где-то на лестнице, и он снова на чал рассказывать о себе. Наводящих вопросов не требовалось. Все выливалось само собой, и в этом было что-то завораживающее. Германия в первые послевоенные дни. «Не изменились одни только реки». Я никогда не могла разгадать, что это: перевод с немецкого, полет фантазии или просто пересказ чужих слов. — Она замолчала, словно в нерешительности, и опять посмотрела на дорогу. — Он рассказывал о том, как женщины работали ночами при свете дуговых ламп — передавали камни из рук в руки, точно спешили потушить пожар. Как он научился спать в полуторатонке с огнетушителем под головой. Он забавно изображал, как сводило потом ему шею — склонял голову набок и перекашивал рот. Словом, развлекал меня, как в спальне. — Внезапно она вскочила. — Я пойду туда. Он убежит, если увидит пустой автомобиль:

он пуглив, как котенок.

Он пошел следом за ней к деревянным мосткам, но на плато не было ни души, только на площадке для машин стоял «оппель-рекорд» с выключенными фарами.

— Садитесь в машину, — сказала она. — Не обращайте на них внимания. — Когда в кабине вспыхнул свет, она впервые заметила, что у него с лицом, и негромко охнула. — Кто это сделал?

— Они сделают то же и с Лео, если разыщут его раньше, чем мы.

Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Кто-то разрезал брезентовый верх машины, и он свисал клочьями, словно рубище нищего. На полу валялась пластмассовая баранка от детского автомобиля, и Тернер ногой вышвырнул ее из машины.

— Иногда я думала: «Ведь ты ненастоящий, пустая оболочка. Ты только имитируешь жизнь». Но кто посмеет думать так о своем любовнике? Он был актер, посредник, быть может, застрявший между двумя мирами: Германией и Англией, КJнигсвинтером и Бонном, часовней и дипломатическими скидками, бельэтажем и подвалом. Кто может выдержать все эти битвы и уцелеть! Иногда он, в сущности, просто обслуживал нас, —

сказала она про сто. — Или, вернее, меня. Как метрдотель. Мы были его клиентами. Стоило нам чего-нибудь пожелать, и он был к нашим услугам. Он не жил, он старался выжить. Ему всегда как-то удавалось выжить. До сих пор. — Она снова достала сигарету. В машине было очень холодно. Она попыталась запустить мотор и включить обогреватель, но аккумулятор сел. — После этого первого вечера все барьеры уже рухнули. Роули отыскал меня, и мы уехали оттуда последними. Он схватился из-за чего-то с Лезэром и был очень доволен, что взял над ним верх. Мы с Лео все еще сидели и пили кофе; Роули пришел и поцеловал меня в щеку… Что это там?

— Ничего.

— Какой-то огонек мелькнул внизу.

— Кто-то пересек дорогу на велосипеде. Уже никого нет.

— Я не выношу, когда он целует меня на людях, но он знает, что я не могу ему помешать. Если мы одни, он никогда этого не делает. «Пойдем, дорогая, пора уже». При его появлении Лео встал, но Роули даже не заметил его. Он повел меня к Лезэру. «Вот кому вы, в сущности, должны принести извинения. Весь вечер она просидела одна на лестнице». Мы уже направлялись к выходу,

и Роули хотел взять свой плащ, но в вестибюле стоял Лео с его плащом и подал ему. — Она улыбнулась; в этой улыбке была любовь, нежность, воспоминание согрело ее. — Я словно бы и не существовала для него больше. Роули повернулся к нему спиной, сунул руки в рукава, и я отчетливо увидела, как у Лео напряглись мускулы и побелели костяшки пальцев. Я была рада, понимаете? Я была довольна, что Роули так себя ведет. — Она пожала плечами. — Я уже попалась на крючок, — сказала она. — Мне хотелось поймать пташку, и вот она была в моих руках — клюв, перышки, все. На другой день я разыскала его имя в посольском справочнике. Теперь вы уже и сами знаете, что он собой представляет, — ничего. Я позвонила Мэри Краб и осведомилась о нем. Как бы между прочим, шутя. «Я познакомилась с каким-то удивительным маленьким человечком вчера», — сказала я. Мэри едва не хватил удар. «Моя дорогая, это опасный человек. Держитесь от него **подальше.** Он как-то раз затащил Микки в ночной кабак, и Микки влип с ним в **чудовищную** историю. По счастью, — добавила она, — в декабре истекает срок его договора, и мы от него освободимся». Тогда я попытала еще Салли Эскью — она до ужаса добропорядочна. Я чуть не умерла со смеха… Она

расхохоталась и, надменно выпятив подбородок, произнесла высокопарным тоном, подражая жене торгового атташе: «Это очень полезный холостяк, когда ощущается нехватка в мужчинах-немцах». А у них это бывает часто, понимаете; нас ведь больше, чем их. Целая свора дипломатов охотится за жалкой кучкой немцев — вот что такое Бонн. Беда в том, сказала Салли, что немцы опять возвращаются к старому в отношении таких, как Лео, и поэтому им с Обри приходится, хочешь не хочешь, избегать его общества. «Он бессознательный раздражитель, моя дорогая; надеюсь, вам ясно, что я хочу сказать». Я была безумно заинтригована. Побежала в гостиную и написала ему длинное письмо абсолютно ни о чем.

Она снова попробовала запустить мотор, но он даже не чихнул. Она плотнее закуталась в плащ.

— О господи! — прошептала она. — Лео, приди. Можно ли так испытывать дружбу!

В черном «оппеле» на секунду вспыхнул слабый огонек и тут же погас, словно кто-то кому-то давал сигнал. Тернер не промолвил ни слова, только кончики его крепких пальцев легонько коснулись гаечного ключа, лежавшего в кармане.

— Письмо девчонки-школьницы. Спасибо, что

вы были так внимательны ко мне. Не сердитесь, что я отняла у вас целый вечер, пожалуйста, не забудьте насчет фена. Далее следовала миленькая, от начала до конца выдуманная история о том, как я отправилась за покупками в «Испанский сад» и там какая-то старая дама уронила монетку в две марки в ящик с апельсинами, и никто не мог отыскать эту монетку, а старушка сказала, что это — все равно как если бы она заплатила эти деньги за фрукты. Я сама отвезла письмо в посольство, и он позвонил мне на другой же день. Есть две модели, сказал он: та, что подороже, переключается на разное напряжение, и ею можно пользоваться без адаптера.

— Без трансформатора.

— «А как насчет цвета?» Я молчала и слушала. Он сказал, что ему очень трудно выбрать без меня — брать ли с переключателем и какого цвета. Нельзя ли нам встретиться и обсудить все сообща? Разговор происходил в четверг, и мы встретились здесь. Он сказал, что приходит сюда каждый четверг — подышать свежим воздухом, поглядеть на ребятишек. Я не поверила ему, но почувствовала себя очень счастливой.

— И это все, что он сказал насчет того, зачем приходит сюда?

— Как-то раз он еще сказал, что они перед ним в долгу — за время, которое он затратил.

— Кто в долгу?

— Посольство. Что-то там такое Роули отнял у него и передал кому-то другому. Какую-то работу. И теперь вместо этого он приходит сюда. — Она покачала головой с неподдельным восхищением. — Он упрям как мул, — сказала она. — «Они в долгу передо мной, — твердил он, — я беру то, что мне положено. Только так и можно жить».

— Мне кажется, вы говорили, что он не охотник до отвлеченных рассуждений.

— Он не любил вдаваться в высокие материи. Тернер промолчал.

— Мы немного погуляли, поглядели на реку; на обрат ном пути мы шли, взявшись за руки. А когда уже собрались уезжать, он вдруг сказал: «Я же забыл показать вам фен!» А я ответила: «Какая жалость! Значит, нам придется встретиться здесь еще раз в следующий четверг, не так ли?» Он был безумно шокирован. — Она заговорила, передразнивая его: в голосе звучала и насмешка, и что-то теплое, интимное — казалось, что она не столько старается изобразить это для Тернера, сколько вспоминает все для себя самой. — «Но моя дорогая, миссис Брэдфилд…» А я сказала: «Ес-

ли вы придете в следующий четверг, я позволю вам называть меня Хейзел». Я шлюха, — сказала она. — Вот что вы сейчас подумали.

— А потом что было?

— Каждый четверг. Здесь. Он оставлял свою машину у подножия холма, а я ставила свою на дороге. Мы были любовниками, но никогда не лежали в постели. Старались быть благоразумными. Иногда он говорил, иногда молчал. И часто показывал на свой дом на том берегу реки — так, точно хотел продать его мне. Мы бродили по тропинкам с холма на холм, чтобы получше рассмотреть его со всех сторон. Я стала поддразнивать Лео однажды: «Ты как сатана. Показываешь мне свое царство». Ему это не понравилось. Он никогда ничего не забывает, понимаете? Это оттого, что ему пришлось пережить. Он не любил, когда я говорила о зле, о страданиях… Он познал все это слишком глубоко.

— А что было потом?

Голова ее поникла, улыбка сбежала с губ.

— Потом — постель Роули. Однажды в пятницу. В Лео еще жил мститель, он еще не до конца освободился от этого. Он всегда знал, когда Роули должен был куда-нибудь уехать: узнавал через транспортный отдел, заглядывал в журнал

агента по покупке билетов. И говорил мне: на следующей неделе он уезжает в Ганновер… Он уезжает в Бремен.

— А зачем Брэдфилд туда ездил?

— О господи! Посещал наши консульства. Лео зада вал мне тот же самый вопрос — а откуда я могу знать? Роули никогда мне ничего не говорит. Порой мне казалось, что он просто ездит за Карфельдом по всей Германии: он всегда оказывался там, где происходили их сборища.

— И с той поры так оно у вас и шло? Она пожала плечами.

— Да. Потом так и шло. Всякий раз, когда нам это удавалось.

— А Брэдфилд знал?

— О боже! Знал? Не знал? Вы хуже немцев. И да, и нет. Вы хотите, чтобы вам на все наклеили ярлыки? Есть вещи, с которыми этого нельзя делать. Есть вещи, которые как бы не существуют, пока о них не сказано вслух. Никто на свете не понимает этого так, как Роули.

— Черт подери, — пробормотал Тернер. — У вас на все есть ответ. — И тут же вспомнил, что сказал Брэдфилду то же самое три дня назад.

Она пристально смотрела прямо перед собой сквозь мутное ветровое стекло.

— Какова цена людям, всему вообще? Дети, мужья, служебная карьера… Вы потонете — скажут: неизбежная жертва. Вы сумеете выплыть — и вас назовут сукой.

Нет, вы отдайте себя на заклание. А во имя чего?

— **Знал он?**

Тернер схватил ее за плечо.

— Он знал?!

Слезы заструились по ее лицу. Она смахнула их рукой.

— Роули — дипломат, — проговорила она наконец. — Искусство жить на грани возможного — в этом весь Роули. Уметь ограничивать цель, дисциплинировать ум и чувства. «Не будем горячиться. Не будем называть вещи своими именами. Не будем вдаваться в обсуждение, если не знаем заранее, чего хотим достичь». Он не может… выйти из себя: ему это не дано. У него нет ничего, ради чего стоило бы жить. Кроме меня.

— Но он знает.

— Вероятно, да, — сказала она устало. — Я никогда не спрашивала его. Да, он знает.

— Потому что это вы заставили его возобновить договор, вы? В декабре прошлого года. Вы добились этого от него.

— Да. Это было ужасно. Совершенно ужасно. Но ведь нельзя же было этого не сделать, — сказала она так, словно имела в виду какую-то высшую цель, понятную им обоим. — Иначе бы он распростился с Лео.

— А Лео хотелось остаться здесь. Вот для чего вы ему понадобились.

— Лео сошелся со мной по расчету. Потому что он мог использовать меня. Он остался со мной, потому что полюбил меня. Вы удовлетворены?

Тернер ничего не ответил.

— Он никогда об этом не говорил. Я уже объясняла вам. Он никогда не произносил высоких фраз. «Еще один год — это все, что мне нужно, Хейзел. Только один год. Еще один год любить тебя, еще один год, чтобы взять у них то, на что я имею права. Еще один год после декабря, и тогда я уеду. Они даже не понимают, в каком они передо мной долгу». Словом, я пригласила его к нам на коктейль. Для встречи с Роули. Это было давно — прежде, чем пошли сплетни. Мы были втроем, я сделала так, чтобы Роули приехал а тот день домой пораньше. «Роули, это Лео Гартинг; он работает где-то там у тебя и играет на органе в часовне». «Да, разумеется, мы знакомы», — сказал Роули. Мы поговорили о том о сем. Об орехах,

поступивших в наш спецмагазин. О весенних отпусках. О том, как бывает летом в КJнигсвинтере. «Мистер Гартинг приглашает нас к себе на обед, — сказала я. — Как это мило с его стороны, не правда ли?» На следующей неделе мы отправились в КJнигсвинтер. Он угощал нас разными разностями: миндальным печеньем с муссом, кофе с халвой. Вот и все. — Что все?

— О господи, неужели вы не понимаете? Я показала его! Я показала Роули, чего я хочу, кого он должен мне дать!

Больше уже ничто не нарушало тишины. Грачи, словно часовые, торчали на едва колеблющихся ветках, и даже легкий ветерок не шевелил их перьев.

— Они тоже спят стоя, как лошади? — спросила она. Повернувшись, она поглядела на него, но он ничего не ответил.

— Он не выносил тишины, — мечтательно проговорила она. — Тишина его пугала. Наверно, потому он так любил музык у и так любил свой дом — этот дом всегда был полон каких-то звуков. В нем даже мертвый не уснул бы. Не то что Лео.

Она улыбнулась, охваченная воспоминаниями.

— Он не жил в нем, он обживал его и оснащал,

как корабль. Всю ночь напролет он бегал по нему сверху вниз и снизу вверх — то закрывал окно, то прилаживал ставню или еще что-нибудь. И такой же была вся его жизнь. Тайные страхи, тайные воспоминания — то, о чем он никогда не говорил, но считал, что каждый должен понимать сам. — Она зевнула. — Он уже не придет, — сказала она. — Он не любит темноты.

— Где он сейчас? — настойчиво спросил Тернер, — Чем занимается?

Она молчала.

— Послушайте, он ведь нашептывал вам на ухо по ночам, выхвалялся перед вами, говорил, что переделает мир на свой лад. Рассказывал вам, какой он хитрец, какие проделывает штуки, как обводит людей вокруг пальца!

— Вы глубоко заблуждаетесь. Вы совершенно не понимаете его.

Тогда расскажите мне!

— Да нечего рассказывать. Ведь существует заочная любовь, по переписке. А он как бы сносился со мной из другого мира.

— Из какого мира? Из Москвы, черт подери, из мира борьбы за мир?

— Я так и знала. Вы примитивны. Вам нужно, чтобы все линии сходились в одной точке и все

цвета не имели оттенков. У вас не хватает мужества слышать полутона.

— А у него хватало?

Казалось, мысли ее были уже где-то далеко.

— Бога ради, уедем отсюда наконец, — сказала она резко, словно Тернер удерживал ее.

Ему пришлось долго толкать машину вниз по склону, пока не затарахтел мотор. Когда они понеслись вниз с холма, Тернер заметил, что черный «оппель» развернулся на площадке и поспешно двинулся следом за их машиной, соблюдая обычную дистанцию — ярдов в тридцать.

Она привезла его в Ремаген, в один из больших отелей на набережной. Хозяйка отеля, пожилая дама, усадив ее, ласково похлопала по руке.

— А где же этот маленький господин, — осведомилась она, — который был всегда так любезен и мил, курил сигары и изъяснялся на таком превосходном немецком языке?

— Он говорил с акцентом, — пояснила Хейзел Тернеру. — С легким английским акцентом. Он его специально усвоил.

На веранде было совершенно пусто, только в углу сидела какая-то молоденькая парочка. Присев к столику у окна, Тернер увидел, что

«оппель» притормаживает у тротуара внизу, на набережной. Номер машины был уже другой, но лунообразные лица за стеклами — все те же. У Тернера мучительно болела голова. Отхлебнув виски, он сразу почувствовал тошноту. Он попросил воды. Хозяйка принесла бутылку местной минеральной воды и рассказала ему о всех ее полезных свойствах. Они поили этой водой раненых и в первую, и во вторую мировую войну, сказала она; тогда в их отеле располагался пункт первой помощи; всех, кто был ранен при переправе через реку, доставляли к ним.

— Он должен был встретиться со мной здесь в прошлую пятницу, — сказала Хейзел, — и повезти меня к себе домой обедать. Роули уезжал в Ганновер. В последнюю минуту Лео позвонил, что не придет. В четверг вечером он опоздал на свидание. Я не особенно встревожилась. Случалось, что он не приходил вовсе. Иногда задерживался на работе. Все уже стало немножко по-иному. Примерно с месяц назад. Сначала я думала, что у него другая женщина. Он вдруг начал исчезать из Бонна…

— Куда он исчезал?

— Один раз в Берлин. Потом в Гамбург. В Ганновер. В Штутгарт. Так он говорил, по крайней

мере. Совсем как Роули. Я никогда не знала наверняка. Он был не слишком откровенен. Совсем не похож на вас.

— Итак, он появился с опозданием. В прошлый четверг. Дальше!

— Он обедал с Прашко.

— В «Матернусе»! — вырвалось у Тернера.

— Произошел «обмен мнений». Это один из леоизмов. Этакая неопределенность, уклончивость — можно понять и так, и этак. Как сослагательное наклонение — к нему он тоже прибегал с охотой. Словом, обмен мнений. Он не сказал, по поводу чего. Он казался озабоченным, словно его тяготило что-то. Я уже слишком хорошо его изучила, чтобы пытаться развеселить, вывести из этого со стояния; мы просто немножко погуляли. **А они** следили за нами… И я поняла, что это и есть то самое.

— Что — то самое?

— Он получил год, который был ему нужен. И нашел то, что искал — бог весть что это такое. — а теперь не знал, как ему поступить. — Она пожала плечами. — А я тем временем тоже разобралась в себе. Но он об этом так и не узнал. А ему стоило только поманить меня пальцем, и я бы бросила все и ушла с ним. — Она глядела вниз

на реку. — Никакие дети, мужья, ничто на свете не остановило бы меня. Ничто, позови он меня только.

— Что же такое он нашел? — понизив голос, прохрипел Тернер.

— Не знаю. Он что-то нашел и говорил об этом с Прашко, но ничего от него не добился. Лео это предвидел, но он должен был убедиться, вернуться к старому и проверить. Он хотел знать твердо, что может рассчитывать только на себя.

— Откуда вам все это известно? Что еще он вам рас сказывал?

— Меньше, чем ему казалось, вероятно. Я для него была как бы частью его самого. — Она пожала плечами. — Я была его другом, а друзья не задают вопросов. Не так ли?

— Продолжайте.

— «Роули уезжает в Ганновер, — сказал он. — Завтра вечером Роули уезжает в Ганновер». И тут же пригласил меня пообедать с ним в КJнигсвинтере. «Это будет особый обед». Я спросила: «Ты хочешь отпраздновать что-то?» «Нет, нет, Хейзел, это не празднование. Просто сейчас особые дни, — сказал он. — Да и времени остается мало. Договора со мной уже не возобновят. После декабря все будет кончено. Так почему бы нам не

пообедать вместе как-нибудь?» И он загадочно поглядел на меня. И потом мы снова отправились бродить по нашим любимым местам — он вел меня, я шла за ним. «Мы встретимся в Ремагене, — сказал он, — мы встретимся здесь». И вдруг спросил: «Послушай, Хейзел, какого черта Роули таскается в Ганновер, что у него на уме?» А это было за два дня до их митинга — вот что он имел в виду.

Она очень забавно вдруг взяла и передразнила Лео: нахмурила брови с преувеличенным, явно наигранным, наивным простодушием — так, по-видимому, она нередко поддразнивала его, когда они оставались наедине.

— И что же было у Роули на уме? — спросил Тернер.

— Ничего, как выяснилось. Он никуда не поехал. И Лео, по-видимому, как-то узнал об этом, потому что забил отбой.

— Когда?

— Позвонил мне в пятницу утром.

— И что он сказал? Что именно он сказал?

— Именно это — что он не может встретиться со мной вечером. Причины он не объяснил. Истинной причины. Ужасно огорчен, неотложные дела. Крайне неотложные. Этаким официальным то-

ном: «Мне очень жаль, Хейзел».

— И это все?

— Я сказала: «Хорошо». — Она явно не хотела разыгрывать перед Тернером трагедию. — «Желаю удачи». — Она опять пожала плечами. — Больше я его не видела и не слышала. Он исчез, и я встревожилась не на шутку. Я звонила к нему домой день и ночь. Вот почему вы были приглашены к нам на обед. Я подумала, что вы можете кое-что знать. Но вы ничего не знали. Любому дураку это было ясно.

Хозяйка выписывала счет. Тернер подозвал ее, попросил подать еще воды, и она вышла.

— Видели когда-нибудь вы этот ключ?

Он неуклюже извлек его из служебного конверта и положил перед ней на скатерть. Она взяла ключ, внимательно поглядела на него, держа на ладони.

— Где вы его взяли?

— В КJнигсвинтере. В кармане синего костюма.

— Этот костюм он надевал по четвергам, — сказала она, продолжая рассматривать ключ.

— Вы дали ему этот ключ? — спросил Тернер с неприкрытым осуждением. — Это ключ от вашего дома?

— Вероятно, это единственный ключ, который

я бы ему не дала, — помолчав, проговорила она наконец. — Единственная вещь, которую я бы для него не сделала.

— Продолжайте.

— Мне кажется, он этого добивался от Парджитер. Эта сучка Мэри Краб сказала мне, что у него была интрижка с Парджитер. — Она поглядела на набережную, туда, где в затененном месте, куда не падал свет фонарей, застыл в ожидании «оппель», потом ее взгляд перекинулся за реку — туда, где стоял дом Лео. — Он говорил, что посольство завладело чем-то, что по праву принадлежит ему. Чем-то из давно прошедших лет. «Они в долгу передо мной, Хей зел!» Он не хотел сказать, что это за долг. Воспоминания, сказал он. Дела давно минувших дней. И я должна раз добыть ключ, чтобы он мог взять то, что принадлежит ему по праву. Я сказала: «Поговори с ними. Поговори с Роули — он человек гуманный». Но он сказал — нет, Роули последний человек на свете, с которым он станет об этом говорить. И ведь то, что ему нужно, не представляет собой ни какой ценности. Это хранится у них где-то под замком, и они даже сами об этом не подозревают. Вы хотите меня прервать? Не надо. Молчите и слушайте. Я сообщаю вам больше, чем вы заслуживаете.

Она отпила немного виски.

— Это была, кажется, наша третья встреча… **у нас в доме**. Он лежал в постели и вдруг принялся говорить об этом: «Пойми, в этом нет ничего дурного, это не имеет отношения к политике — просто мне кое-что принадлежит по праву». И все было бы просто, если бы он мог нести дежурство, но по рангу ему этого не положено. А там у них в связке есть один ключ; они даже никогда не заметят его отсутствия; они и не помнят, сколько там всего ключей. Ему нужен один-единственный ключ. — Внезапно она заговорила о другом. — Личность Роули как-то притягивала его к себе. Туалетная комната Роули завораживала его. Все эти мелочи, без которых не обходится ни один джентльмен. Ему нравилось рассматривать их. И временами все это как бы олицетворялось для него во мне: жена Роули — вот чем я была для него порой, и только. Ему хотелось знать все особенности нашего домашнего обихода: кто чистит Роули ботинки, у кого он шьет костюмы. И вот так, как бы мимоходом, одеваясь, он начал выкладывать на стол свои карты. Сделал вид, будто внезапно припомнил, о чем мы толковали всю ночь: «Да, послушай, Хейзел, ты же можешь раздобыть мне этот ключ? Когда-нибудь, когда Роули

засидится допоздна у себя в кабинете. Позвони ему, скажи, что ты забыла что-нибудь в конференц-зале. Это же проще простого. А ключ этот — особенный, — сказал он. — Совсем непохожий на остальные, ты его сразу отличишь, Хейзел». Вот он, этот ключ, — сказала она бесстрастно, возвращая его Тернеру. — «Ты найдешь способ сделать это сам, — сказала я. — У тебя хватит на это сообразительности».

— Этот разговор происходил до рождества?

— Да.

— Боже милостивый, какой же я дурак! — прошептал Тернер.

— Почему? В чем дело?

— Ни в чем. — Глаза его сияли, он внезапно воспрянул духом. — Я же не подумал о том, что он мог его украсть. Я думал, что он снял с ключа слепок, а он просто стянул. Стянул, и все!

— Он не вор! Он настоящий мужчина. Он стоит десятка таких, как вы!

— О, еще бы, еще бы! Вы же не простые, вы оба избранные! Я не раз слышал всю эту галиматью, можете не сомневаться. Вы живете особой, недоступной для простых смертных, высокой духовной жизнью! Не так ли? Вы — творцы жизни, а Роули — жалкий несчастный поденщик. Вы

— избранные личности, вы двое, вы отмечены свыше, а Роули питается крохами с барского стола, потому что любит вас. А я-то все время думал, что они хихикают и перешептываются по адресу Дженни Парджитер. Бог ты мой! Ну и бедняга! — сказал он и поглядел в окно. — Жаль мне его. Брэдфилд всегда был и будет мне крепко не по нутру, что уж тут кривить душой, но, черт подери, я сочувствую ему от всего сердца.

Бросив несколько монет на стол, он спустился вместе с ней по каменным ступенькам отеля. Она казалась испуганной.

— Он вряд ли рассказывал вам про некую Маргарет Айкман? Он собирался жениться на ней, да будет вам известно. Это была единственная женщина, которую он любил.

— Он никогда не любил никого, кроме меня.

— Но он никогда и не упоминал о ней в разговоре с вами? А другим, между прочим, он рассказывал про нее. Всем, кроме вас. Это была его большая, настоящая любовь!

— Я вам не верю… никогда не поверю! Отворив дверцу машины, он наклонился к Хейзел.

— Вас не выбьешь из седла, верно? Вы достигли своего. Он любил вас. Весь мир может катиться к чертям собачьим, к войне, только бы ваш любов-

ник был с вами!

— Да. Я достигла своего. Он снова обрел себя со мной. Я помогла ему обрести себя. И что бы он сейчас ни делал, теперь он уже такой, каким должен быть, настоящий. Мы взяли от жизни свое, и я не позволю вам разрушить то, что принадлежит нам, не позволю — ни вам, ни кому-либо другому. Он нашел меня.

— А кроме вас, что он нашел еще? Каким-то чудом ей вдруг удалось завести мотор.

— Он нашел меня, и это вернуло его к жизни, и все остальное — то, что он нашел там, внизу, — тоже помогло ему вернуться к жизни.

— **Внизу!** Где внизу? Куда он скрылся? Отвечайте! Вы знаете! Что он вам сказал?

Даже не поглядев назад, она медленно тронула машину и поехала вдоль набережной навстречу вечернему сумраку и тусклым отблескам огней.

Черный «оппель» отделился от тротуара и двинулся следом за ней. Тернер дал ему проехать, перебежал через улицу и вскочил в такси.

На стоянке в посольстве было полно машин, у ворот — двойной караул. «Роллс-ройс» посла снова стоял у подъезда, точно старое испытанное судно, готовое грудью встретить шторм. Тернер вихрем взлетел по лестнице, полы его плаща раз-

вевались как паруса, ключ был зажат в кулаке.

15
«СВЯТАЯ СВЯТЫХ»

Четверг. Вечер

Два дипкурьера стояли возле контрольного поста; черные кожаные сумки, надетые поверх форменных курток, придавали им вид парашютистов.

— Кто сегодня дежурный? — с ходу спросил Тернер. — Я думал, что вы отбыли, — сказал Гонт. — Еще вчера, в семь часов вечера, так мне…

Дипкурьеры поспешно посторонились, заскрипев кожей.

— Мне нужны ключи.

Гонт заметил, что лицо у Тернера рассечено и заклеено пластырем, и глаза у него округлились.

Тернер схватил телефонную трубку, протянул ее Гонту и распорядился:

— Вызовите дежурного. Скажите ему, чтобы он спустился вниз с ключами. Немедленно.

Гонт запротестовал. На секунду вестибюль качнулся, и все поплыло куда-то, потом стало на свое место. Тернер услышал глупое валлийское

блеяние Гонта, жалобное и льстивое, и, грубо схватив его за руку, оттащил в сторону в темный коридор.

— Если вы не сделаете, как я вам сказал, вас вышвырнут отсюда к свиньям собачьим, и вы будете помнить меня до конца своей жизни.

— Я же объясняю вам: ключей не брали. Так где они?

— Здесь. У меня. В сейфе. Но вы не можете их получить, надо взять разрешение — вы же сами знаете!

— Они мне не нужны. Мне нужно только, чтобы вы их пересчитали, вот и все. Пересчитайте эти ключи, к чертовой матери.

Дипкурьеры смущенно переговаривались, понизив голос, с подчеркнуто незаинтересованным видом, но выкрики Тернера кромсали их диалог, рубили его, словно топором.

— Сколько должно быть ключей?

— Сорок семь.

Подозвав младшего охранника, Гонт отпер сейф, встроенный в обшитую панелью стену, и достал знакомую связку блестящих медных ключей. Оба дипкурьера, уже не в силах преодолеть любопытство, смотрели, как квадратные пальцы вахтера перебирают один ключ за другим, словно

четки. Тернер пересчитал их раз, затем тут же — второй и протянул парню из охраны, который пересчитал их снова.

— Ну?

— Сорок шесть, — недовольно проворчал Гонт. — Действительно.

— Сорок шесть, — как эхо повторил охранник. — Одного не хватает.

— Когда их пересчитывали в последний раз?

— Это едва ли можно установить, — пробормотал Гонт. — Каждую неделю их брали, уносили, приносили.

Тернер указал на блестящую новую решетку, преграждавшую доступ к лестнице, ведущей в подвал.

— Как мне туда попасть?

— Я же вам объяснил. Ключ у Брэдфилда. Это запас ной аварийный выход, понимаете? Охрана не имеет к нему доступа.

— Как же попадают туда технические служащие? Уборщики, например, истопники?

— В котельную теперь, после Бремена, сделан отдельный ход, ясно? И там внизу тоже поставлены решетки. Истопники пользуются наружной лестницей, но проникнуть они могут только в котельную, не дальше. — У Гонта был уже поряд-

ком испуганный вид.

— Должна же существовать пожарная лестница… служебный лифт?

— Есть черный ход, но он тоже на запоре. Понимаете, на запоре.

— А у кого ключи?

— У Брэдфилда. И от лифта тоже.

— А куда доходит лифт?

— До верхнего этажа.

— И там, кажется, находится ваша квартира?

— Ну и что из этого?

— Лифт доходит до самой вашей квартиры, доходит или нет?

— Почти.

— Покажите мне.

Гонт опустил глаза, поглядел себе под ноги, потом на охранника, потом на Тернера и снова на охранника. С явной неохотой он протянул охраннику ключи и, ни слова не сказав курьерам, начал быстро подниматься по лестнице; Тернер последовал за ним.

Здесь, казалось, день был еще в разгаре. Все комнаты ярко освещены, двери распахнуты. Дипломаты, секретарши, различные служащие торопливо сновали по коридорам; на Тернера и Гонта никто не обращал внимания. Все говорили

только о Брюсселе. Название этого города передавалось шепотом из уст в уста, словно пароль. Оно было у всех на языке, его отстукивали все пишущие машинки, оно звучало во всех телефонных трубках, кричало со всех телеграфных лент. Они поднялись еще на один пролет лестницы и попали в недлинный коридор, где пахло сыростью, словно в бассейне. Откуда-то слева сильно тянуло сквозняком. Перед ними была дверь с табличкой: «Помещение охраны аппарата советников, посторонним вход воспрещен» и ниже еще одна табличка: «Мистер и миссис Дж. Гонт. Британское посольство. Бонн».

— Нам не обязательно входить внутрь, как вы считаете?

— Вот сюда он приходил и встречался с вами? И так повторялось каждый вечер в пятницу после спевки? Он поднимался сюда?

Гонт кивнул.

— А когда он уходил, вы провожали его? Выходили за ним следом?

— Он мне не позволял: «Сидите, сидите, дружище, смотрите ваш телевизор… Я сумею найти дорогу обратно».

— А это та самая дверь — на черный ход? Тернер указал налево, откуда тянуло сквозняком.

— Но она заперта, вы видите? Не отворялась бог знает сколько лет.

— Это единственный доступ туда, вниз?

— Лестница ведет прямо в подвал. Здесь сначала предполагалось сделать еще мусоропровод, но не хватило средств и построили только лестницу.

Дверь казалась крепкой, очень надежной, с двумя основательными запорами, которые, по-видимому, очень давно не отпирались. Острый луч карманного фонарика обшарил закраину двери, затем пальцы Тернера тщательно ощупали деревянную обшивку и крепко обхватили дверную ручку.

— Подите-ка сюда. Вы примерно одного с ним роста. Ну-ка попробуйте сами. Возьмитесь за ручку. Не поворачивайте ее. Толкайте. Толкайте сильней.

Дверь поддалась и распахнулась совершенно бесшумно.

На них повеяло холодом, затхлой сыростью. Они остановились на лестничной площадке. Ступеньки круто вели вниз. В небольшое окошко виднелось спортивное поле, прилегавшее к зданию Красного Креста. Внизу из-под колпака дымовой трубы посольской кухни вылетали

мерцающие клубы дыма и таяли во мраке. Штукатурка на стенах надулась пузырями. Слышно было, как где-то каплет вода. Кусок дверной притолоки был аккуратно выпилен. Они начали спускаться вниз, освещая ступеньки карманным фонариком. Лестница была каменная, устланная посередине узкой циновкой. Остатки старого плаката на стене возвещали: «Милости просим всех вниз — в клуб посольства». Слышно было, как у кого-то что-то варится на плите, и тут же до них донесся женский голос, повторявший продиктованный текст телеграммы: «...в то время как официальные круги федерального правительства утверждают, что уход с совещания был вызван чисто техническими причинами, по мнению даже наиболее трезвых комментаторов...», и оба инстинктивно остановились и замерли, прислушиваясь, — каждое слово звучало с поразительной отчетливостью в лестничном пролете.

— Это через вентиляцию, — прошептал Гонт. — Она вы ходит на лестничную клетку.

— Молчите.

Они услышали неторопливый голос де Лилла, вносившего поправку.

— Объективных. **Объективных** будет звучать

значительно лучше, — произнес де Лилл. — Будьте так добры, моя дорогая, замените «трезвых» на «объективных». Нам не следует давать им повод думать, что мы пытаемся утопить наши неудачи в вине.

Девушка хихикнула.

Они, по-видимому, спустились уже до подвального этажа, так как увидели перед собой кирпичные своды длинного коридора; куски штукатурки валялись на покрытом линолеумом полу. Сколоченная на скорую руку доска для объявлений напоминала о былых увеселениях: «Любительский театральный кружок посольства приглашает посетить рождественский спектакль. Будет представлена пьеса Гоголя «Ревизор». Кроме того, состоится большой детский праздник. Списки гостей, а также специальные пожелания по части меню и диетических блюд просим направлять в канцелярию до десятого декабря». Под этим стояла подпись: Лео Гартинг. И дата: 1957 год.

На мгновение Тернер утратил реальное ощущение времени и места; он пытался совладать с собой и не мог. Он снова слышал звон стекла, шорох сажи в камине, скрип снастей, пыхтенье барж на реке. Опять все та же дрожь, все то же

пульсирование жизни где-то за пределами доступных слуху звуков.

— Что вы сказали? — спросил Гонт.

— Ничего.

Двигаясь словно в тумане и все еще испытывая дурноту, он наобум свернул в первый попавшийся коридор; в висках у него стучало.

— Вам, я вижу, нездоровится, — сказал Гонт. — Кто же это все-таки так вас отделал?

Они прошли в следующее помещение; здесь не было ничего, кроме старого токарного станка, на полу ржавели стружки. В противоположной стене они увидели дверь. Тернер распахнул ее — на секунду самообладание покинуло его, и он отпрянул назад с возгласом испуга и отвращения. Однако перед ним были лишь металлические прутья еще одной решетки во всю высоту помещения от пола до потолка, да мокрый комбинезон свисал с проволоки, и капли воды с глухим стуком падали на цементный пол. Противно пахло стиркой и угаром; на кирпичной стене дрожал красный отблеск пламени, на стальных прутьях решетки танцевали огоньки. Это еще не Страшный суд, сказал себе Тернер, осторожно направляясь к двери напротив, — просто ночь, поезд, война, переполненный вагон, и все мы

спим вповалку.

Дверь была стальная, она сверкала среди штукатурки; рама двери уже была тронута ржавчиной, и на поперечной перекладине виднелась полустершаяся казенная надпись: «Входа нет». Стена слева была когда-то покрашена белой краской, и Тернер заметил на ней царапины, оставленные тележкой. Под потолком горела лампочка в металлической сетке, отбрасывая на лица темный узор решетки. Тернер отчаянно старался вернуть себя к действительности. Под потолком, в обшитых изоляцией трубах, журчала и булькала вода, и горящий котел за стальной решеткой выплевывал белые искры, превращавшиеся на лету в мелькание крошечных черных точек.

Черт подери, думал Тернер, такой котел бы в топку «Куин Элизабет»; тут хватило бы жару, чтоб отправить на тот свет целую армию заключенных, а он обогревает эту фабрику призраков! Ему пришлось основательно повозиться с ключом, прежде чем он повернулся в замке. Внезапно замок щелкнул так громко, что казалось, его звук отозвался эхом где-то в самых отдаленных углах здания. Под дверь, видимо, набилось много шлака, потому что раздался скрежет и ее заело; Тернеру пришлось навалиться на дверь

всем телом, а Гонт, валлиец, стоял позади, весь напрягшись от желания помочь и не решаясь сдвинуться с места. Сначала, шаря по стене в поисках выключателя, Тернер ничего не различал в темноте, затем тускло проглянуло единственное окошко, затянутое паутиной, и Тернера охватил страх, потому что это было слишком похоже на ненавистное — на тюрьму: сводчатое окошко было расположено высоко под потолком и заделано для надежности решеткой. Сквозь верхнюю часть окна был виден мокрый гравий стоянки для машин, и пока Тернер, чуть покачиваясь от головокружения, вглядывался в темноту, яркий луч фар медленно прополз по потолку, словно луч тюремного прожектора, вылавливающий беглецов, и рев мотора отъезжающей машины заполнил все уголки этого каземата. На подоконнике лежало солдатское одеяло, и Тернер подумал: «Ты не забыл, что надо затемнить окно, ты еще помнишь лондонские бомбежки».

Его пальцы нащупали выключатель, он показался ему похожим по форме на женскую грудь, и, когда он нажал кнопку, глухой щелчок отозвался громким ударом в его сердце, а поднявшаяся в воздух пыль ласково овеяла его лицо, оседая на черный цементный пол.

— У нас прозвали этот подвал «святая святых», — прошептал Гонт.

Тележка стояла в нише позади письменного стола. Сверху лежали папки, внизу — канцелярские принадлежности; все было разложено по формату, аккуратно, крест-накрест, часть — в больших, часть — в обычных конвертах, все было приготовлено так, чтобы быть под рукой. На столе, поближе к свету, стояла на своей квадратной фетровой подстилке пропавшая пишущая машинка в сером футляре, а рядом с ней — три-четыре жестяные коробки голландских сигар. Отдельно на небольшом столике — термос, несколько чашек, чайник со свистком, на полу — небольшой электрический вентилятор из двухцветной пластмассы, повернутый к письменному столу под таким углом, чтобы струя воздуха разгоняла сырость, на новом стуле с мягким сиденьем, обитым синтетической кожей, — розовая подушка с вышивкой по краям, сделанной рукой мисс Айкман. Одним взглядом он охватил все эти предметы, сразу узнал их и коротко приветствовал про себя, словно старых знакомцев, он почти и не глядел на них — его глаза были уже прикованы к солидному архиву, заполнявшему стеллажи от пола до потолка; к тонким черным папкам

с проржавевшими зажимами и полукруглыми выемками для больших пальцев, серым от плесени, покоробленным, сморщенным временем и сыростью, выстроившимся в шеренги, словно ветераны, ставшие в строй и ждущие команды.

Должно быть, он спросил, что это за документы, потому что Гонт начал что-то лепетать. Нет, он понятия не имеет, что в них. Нет, это не по его части. Нет. Они здесь с незапамятных времен, никто не помнит, как они сюда попали. Хотя, впрочем, кто-то говорил, что слышал, что это архив из Управления главного военного прокурора, — словом, он слышал, как что-то болтали на этот счет, болтали, что их привезли из Миндена на грузовиках и свалили здесь, благо, отыскалось для них местечко, это было лет двадцать назад, да, лет двадцать, никак не меньше, когда уходили оккупационные войска. И больше он ничего не знает, право, ничего; он просто случайно слышал, как об этом болтали, совсем случайно слышал, потому что он не сплетник, вот уж что-что, а это каждый про него скажет. Да куда там! Это было даже не двадцать лет назад, а еще раньше… Как-то раз летним вечером подъехали грузовики… Макмаллен и кто-то там еще чуть не всю ночь помогали их разгружать. Конечно, **в**

то время думали, что посольству может все это понадобиться… Доступа к ним никто не имел, ну а теперь — теперь кому они, в сущности, нужны? Раньше, бывало, кто-нибудь из аппарата советников спросит ключ, когда понадобится что-то здесь разыскать, но все это было давно. Гонт даже и не припомнит такого случая, сюда уже годами никто не заглядывает. Хотя, конечно, поручиться наверняка нельзя… Ему приходилось очень следить за своими словами, разговаривая с Тернером, это он уже понимал… Сначала ключ от этого помещения хранился где-то отдельно, а потом его присоединили к общей связке… Однажды — точно он не припомнит, когда это было, — ему опять довелось слышать разговоры про этот архив: Маркс, один из шоферов — он здесь уже больше не работает, — говорил, что это вовсе не из Управления главного военного прокурора, а что это — архив английских разведывательных групп специального назначения… Гонт продолжал еще что-то настойчиво бубнить, таинственно понизив голос, словно старая сплетница в церкви, но Тернер его больше не слушал. Он увидел карту.

Обыкновенную географическую карту, отпечатанную в Польше.

Она была прибита над письменным столом, там, где чаще всего вешают портреты детей, — прибита совсем недавно: следы в штукатурке были еще свежие. Почти немая карта — на ней не было нанесено ни городов, даже самых крупных, ни границ государств; маленькие стрелки не отмечали магнитных склонений, даже масштаба указано не было; единственное, что на ней имелось, — это местоположение концентрационных лагерей: Нейенгамме и Бель-зен — на севере; Дахау и Маутхаузен — на юге; Треб-линка, Собибор, Майданек, Бельцек и Освенцим — на востоке, и в центре — Равенсбрюк, Заксенхаузен, Кульмхоф и Гросс-Розен.

«Они передо мной в долгу», — внезапно пронеслось у Тернера в голове. Они передо мной в долгу— Боже милостивый, какой же я дурак! Пустоголовый, тупой идиот. Вот что ты крал, Лео, — ты приходил мародерствовать среди трупов своего собственного загубленного детства.

— Ступайте. Если вы мне понадобитесь, я вас позову, — сказал Тернер, тяжело опершись рукой о полку, и поглядел на Гонта невидящим взглядом. — И никому ни слова: ни Брэдфилду, ни де Лиллу, ни Крабу — никому, понятно?

— Я не скажу, — пообещал Гонт.

— Меня здесь нет. Я не существую. Я не появлялся в посольстве сегодня вечером. Вы меня поняли?

— Вам бы надо сходить к врачу, — сказал Гонт.

— Пошел к чертовой матери.

Он пододвинул стул, сбросил на пол подушку и присел к письменному столу. Подперев голову рукой, он ждал, когда комната перестанет качаться у него перед глазами. Он был один. Он был один, как Гартинг, в комнате, наполненной краденными вещами, и жил он сейчас, как Гартинг, — жил во времени, взятом взаймы, и, как Гартинг, охотился за сокрытой истиной. Возле окна был водопроводный кран, и, набрав воды в электрический чайник, он включил его и прислушивался, пока чайник не зашумит. Возвращаясь к столу, он споткнулся о лежавшую на полу зеленую сумку. Она была величиной с небольшой портфель, но более твердая, прямоугольной формы, из очень плотной синтетической кожи, из какой делают коробки для игральных карт и кобуры; углы были окованы тонкой сталью; возле ручки — инициалы королевы; замок был сломан, и сумка пуста. «Разве все мы не делаем то же самое — ищем там, где нечего искать?»

Он был один на один с этими папками и с запа-

хом сырости, прогретой теплом электрического камина, со слабым, безжизненным дуновением пластмассового вентилятора и глухой воркотней закипающего чайника. Он начал медленно переворачивать страницы. Некоторые из папок были очень старые — те, что лежали, снятые с полок; записи — частично на английском языке, частично — на немецком, жестким готическим шрифтом, острым, как колючая проволока. Имена собственные возвышались над строчками, точно атлеты, — сначала фамилия, затем имя, под ними всего несколько строк, а внизу — торопливо проставленная подпись, санкционирующая окончательное решение чьей-то судьбы. Папки, лежавшие на тележке, были, наоборот, совсем новые, бумага гладкая, хорошего качества, в подписях под протоколами мелькали знакомые фамилии. И несколько скоросшивателей с регистрацией входящей и исходящей почты.

Он был один, он стоял в самом начале пройденного Гартингом пути — только его следы могли составить ему компанию да шорох воды в трубах за дверью, столь же унылый, как шарканье деревянных колодок по доскам эшафота. «Они тоже спят стоя, как лошади?» — вспомнился ему голос Хейзел Брэдфилд. Он был один. «И то, что он

нашел там, внизу, тоже помогло ему вернуться к жизни».

Медоуз спал. Он бы ни за что на свете не признался в этом, и Корк из чувства сострадания ни за что на свете не позволил бы себе укорить его этим; к тому же, надо отдать Медоузу д олжное, глаза у него были открыты — он тоже как те лошади, о которых упомянула Хейзел Брэдфилд, вроде и спал и не спал. Он откинулся на спинку мягкого библиотечного кресла в позе человека, пользующегося заслуженным отдыхом, а в открытое окно уже врывался шум просыпающегося города.

— Я сдаю смену Биллу Сатклифу, — как бы между прочим, но намеренно громко сказал Корк. — Вам больше ничего не нужно? Мы вскипятили чайник, может, выпьете с нами чашечку?

— Все в порядке, — слегка заплетающимся языком пробормотал Медоуз, резко выпрямляясь в кресле. — Сейчас все будет сделано.

Корк, стоя у открытого окна и глядя вниз на площадку для автомобилей, промолчал, давая Медоузу собраться с мыслями.

— Мы вскипятили чайник, может быть, выпьете чашечку, — повторил он. — У Валери все готово. — Он держал в руке пачку телеграмм. — Такой ночки и не припомню с самого Бремена.

Проговорили до рассвета. Слова, слова. К четырем часам утра они уже забыли всякую осторожность. Его превосходительство и министр беседовали пря мо по открытому каналу. С ума можно сойти! Этак они могут выболтать все: код, шифровки — всю чертову меха нику.

— Да они ее уже выболтали, — пробормотал Медоуз, не столько отвечая Корку, сколько разговаривая сам с собой, и тоже подошел к окну, — с помощью Лео.

Самый зловещий восход солнца не может быть полностью зловещим. Земля живет по своим законам, ее краски, звуки, запахи существуют сами по себе, они не могут подтверждать наши мрачные предчувствия. Даже охрана у ворот, удвоенная на ночь, имела какой-то несуровый, домашний вид. Длинные кожаные пальто полицейских мягко блестели в утренних лучах, и все выглядело как-то удивительно безобидно; полицейские размеренно, солидно вышагивали вдоль здания. Корк почувствовал прилив оптимизма.

— По моим расчетам, это должно совершиться сегодня, — заявил он. — К обеду я стану отцом. Что вы на то скажете, Артур?

— Они никогда не торопятся, — сказал Медоуз. — Особенно по первому разу. — И они

принялись подсчитывать автомобили.

— Все как есть на местах, — заявил Корк.

— Вы слышите? — внезапно сказал Медоуз. — Замолчите и послушайте.

— Какого дья…

— Тише.

Из противоположного конца коридора доносился стойкий монотонный шум, похожий на гудение мотора взбирающейся в гору машины.

— Этого не может быть, — резко сказал Корк. — Ключи у Брэдфилда, и он… — Они услышали металлический стук захлопнувшейся раздвижной решетчатой двери и глухое шипение гидравлического тормоза.

— Да нет, это кровати! Вот и все. Привезли еще кровати. Они пустили лифт, чтобы поднять кровати. Брэдфилд разрешил отпереть. — И как бы в подтверждение этой теории послышались звонкие удары металла о металл и скрип пружин.

— Его превосходительство и министр говорили еще по поводу сегодняшней демонстрации. Канцлер сказал, что нам не о чем беспокоиться. Немецкое посольство в Лондоне дает сообщения во Дворец. «Встреча закончилась, — зевнув, добавил Корк, — в двадцать два часа двадцать минут обычным обменом любезностями. Для прессы

будет составлено совместное коммюнике». А тем временем что творится у экономического советника! А торговый атташе подсчитывает потери от спекуляции, направленной против курса фунта. Или против английского золотого запаса. Или против чего-то еще. А может, мы на краю кризиса? И кому до этого дело?

— Вам бы следовало пройти аттестацию, — сказал Медоуз. — Вам здесь негде развернуться.

— Я развернусь двойней, — сказал Корк, и в эту минуту Валери подала чай.

Медоуз уже подносил кружку с чаем к губам, когда услышал громыхание тележки и знакомую трель скрипучих колес. Валери от неожиданности грохнула поднос на стол, расплескав чай и забрызгав сахар в сахарнице. На ней был зеленый свитер, и Корк, всегда не без удовольствия поглядывавший на нее, заметил, когда она обернулась к двери, что высокий ворот свитера слегка натер ей шею. Опередив всех, Корк сунул телеграммы Медоузу, подошел к двери и выглянул в коридор. Да, это была их тележка, доверху нагруженная красными и черными папками, и Ален Тернер толкал ее перед собой. Он был в одной рубашке, без пиджака, под глазами у него темнели огромные синяки. Одна губа была рассечена и зашита

на скорую руку. Он был небрит. Поверх всей груды папок лежала спецсумка. Корк говорил впоследствии, что у Тернера был такой вид, словно он в одиночку пробился с этой тележкой через неприятельскую линию фронта. По мере его продвижения по коридору все двери отворялись одна за другой: Эдна распахнула дверь машинного бюро, за ней — Краб, Парджитер, де Лилл, Гевистон; сначала высовывалась голова, затем появлялось туловище, и когда Тернер добрался до двери архива и канцелярии, откинул переклади-ну стальной перегородки и небрежным жестом вытолкнул тележку прямо на середину комнаты, лишь одна-единственная дверь еще продолжала оставаться закрытой — дверь кабинета старшего советника посольства Роули Брэдфилда.

— Пусть тележка стоит здесь. Никто ни к чему не прикасайтесь.

Тернер пересек коридор и, не постучавшись, вошел в кабинет Брэдфилда.

16
«ВЕСЬ ЭТОТ ОБМАН»

Пятница. Утро

— Я полагал, что вы отбыли. — В голосе звучало не удивление, а скорее усталость.

— Я не попал на самолет. Разве она не сообщила вам об этом?

— Что, черт возьми, сделали вы со своим лицом?

— Зибкрон послал каких-то молодчиков произвести обыск у меня в номере. Искали чего-нибудь новенького о Гартинге. Я им помешал. — Он опустился на стул. — Они «англофилы». Как Карфельд.

— Дело Гартинга нас больше не интересует. — Брэдфилд подчеркнуто неторопливо отложил в сторону прочитанные телеграммы. — Я отправил в Лондон его документы вместе с письмом, оценивающим размеры причиненного нам вреда. Всем остальным будут заниматься уже оттуда. Я не сомневаюсь, что в надлежащий момент будет принято решение, следует ли нам информировать о случившемся остальных участников

НАТО.

— Значит, вам придется дезавуировать ваше письмо. И пересмотреть ваши оценки.

— Я всячески шел вам навстречу, — оборвал его Брэдфилд с прежней, внезапно вспыхнувшей враждебностью. — Проявлял всяческое снисхождение. И к вашей малопочтенной профессии, и к вашему невежеству в области дипломатических отношений, и к вашей из ряда вон выходящей невоспитанности. Ваше пребывание здесь не принесло нам ничего, кроме беспокойства и неприятностей; вы, словно нарочно, старались восстановить против себя всех. Какого черта позволили вы себе остаться в Бонне, когда я распорядился, чтобы вы уехали? Почему вы врываетесь ко мне в кабинет в этом неподобающем виде? Или вы не имеете представления о том, что сейчас происходит? Сейчас пятница! Разрешите вам напомнить, раз вы, по-видимому, изволили об этом позабыть, что на сегодня назначена демонстрация.

Тернер не двинулся с места, и гнев Брэдфилда одержал верх над его усталостью.

— Ламли предупреждал меня, что вы человек грубый, неотесанный, но энергичный; пока что вы сумели проявить лишь свою неотесанность.

Меня нисколько не удивляет, что с вами так обошлись, — вы сами нарываетесь на подобное обхождение. Я предупреждал вас о том, какой вред может принести ваша деятельность, я изложил вам свои соображения, в силу которых дальнейшее расследование должно быть прекращено, и я старался закрыть глаза на ничем не оправданную грубость, которую вы проявили по отношению к моим сотрудникам. Но теперь с меня хватит. Я запрещаю вам переступать порог посольства. Убирайтесь вон.

— Я нашел папки, — сказал Тернер. — Все папки, все, что пропало. И тележку. И пишущую машинку, и стул. И электрический камин, и вентилятор де Лилла. — Его голос звучал надломленно, словно ему было безразлично, поверят ему или нет, и взгляд, казалось, бродил где-то за пределами кабинета. — И чайные чашки, и всю прочую утварь, которую он понемногу к себе натаскал. И письма, которые он забирал из экспедиции и не отдавал Медоузу. Они были адресованы ему, Лео, понимаете. Это все были ответы на те письма, что он рассылал. Он завел там у себя внизу целое управление — филиал вашего аппарата советников. Только вы об этом и не подозревали. Он открыл всю истинную правду

про Карфельда, и поэтому они теперь гонятся за ним. — Он легонько потрогал свою щеку. — Те, что расправились со мной, теперь гонятся за Лео. А он скрывается, потому что узнал слишком много и задавал слишком много вопросов. Насколько я понимаю, они его, верно, уже схватили. Очень жаль, что я так долго вам здесь докучал, — сказал он сухо. — Но вы видите, как обстоит дело. Мне бы хотелось выпить чашку кофе, если позволите.

Брэдфилд не шелохнулся.

— А Зеленая папка?

— Ее нет. Осталась только пустая сумка.

— Он взял ее?

— Я не знаю. Он или, быть может, Прашко. Не знаю. — Он покачал головой. — Мне очень жаль. — Помолчав, он сказал: — Вы должны разыскать его, прежде чем это сде лают они. Иначе они убьют его. Вот зачем я к вам пришел. Карфельд — обманщик и убийца, и у Гартинга есть тому доказательства. До вас доходит то, что я вам говорю? — спросил он, неожиданно повысив голос.

Брэдфилд пристально смотрел на него, не проявляя ни малейшей тревоги.

— Когда Гартинг заинтересовался Карфельдом? — спросил Тернер, словно обращаясь к

самому себе. — Он не хотел ничего замечать поначалу. Поворачивался ко всему спиной, старался забыть. Старался не видеть. Жил, как все мы, держа себя в узде, не желая вмешиваться, и называл это отказом от себя во имя общего блага. Разводил сад, посещал званые вечера. Занимался разными пустяками. Старался выжить и не впутываться ни во что. Прятал голову в плечи, чтобы колеса жизни катились мимо, не задевая. Так было до октября, пока Карфельд не показал своей силы. Он знал Карфельда — вот в чем дело, понимаете? И Карфельд был перед ним в долгу. Это много значило для Лео.

— В чем это он был перед ним в долгу?

— Погодите. Мало-помалу он начал… возвращаться к жизни. Он позволил пробудиться своим чувствам. Мысль о Карфельде мучила его, не давала ему покоя. Мы с вами оба знаем, как это бывает, когда что-то мучит. Физиономия Карфельда была повсюду — так же, как сейчас. Хмурящая брови, ухмыляющаяся, угрожающая… Его имя звучало в ушах Лео, не умолкая: Карфельд — обманщик, Кар фельд — убийца. Карфельд — шарлатан.

— Что за чушь вы порете! Нельзя же быть столь смехотворно нелепым.

— Лео все это стало наконец невыносимо —

весь этот обман. Ему захотелось правды. Спячка его плоти и ума закончилась. Он исполнился отвращения к самому себе за то, чего не сумел совершить, за то, чего не доделал, за то, что мало старался, и за то, что слишком старался… Ему было тошно и от своей обыденности, и от своих трюков, уловок. Нам всем знакомо это чувство, не правда ли? Так вот, Лео страдал от него. Очень страдал. И тогда он решил добыть то, что жизнь ему задолжала, — чтобы свершился суд над Карфельдом. У него, понимаете, была хорошая па мять. Я знаю, что это совсем не модно в наши дни. Он на чал строить планы. Первое: проникнуть в архив и канцелярию; второе: возобновить свой договор и потом завладеть досье «Сведения об отдельных лицах» — старыми папками, документами, уже предназначенными к уничтожению, дав но, можно сказать, преданными забвению и упрятанными в вашу «святая святых». Он решил попробовать свести концы с концами, поднять архив, расследовать все заново…

— О чем вы толкуете, я ни слова не понимаю. Вы просто больны. Вам надо пойти и лечь в постель. — Его рука поднялась к телефону.

— Прежде всего он завладел ключом — это оказалось проще простого. Положите трубку!

Оставьте в покое телефон! — Рука Брэдфилда замерла в воздухе, затем легла на стол. — После этого он принялся за работу в вашей «святая святых». Он организовал там свою собственную маленькую канцелярию — дела, переписку, регистрацию — и перебрался туда. Если ему что-нибудь требовалось из канцелярии, он это крал. Вы же сами сказали, что он вор. Вам ли не знать. — На мгновение голос Тернера смягчился, в нем прозвучало сочувствие. — Скажите, когда вы опечатали подвал? После Бремена, верно? В конце недели? Вот тут он запаниковал. Единственный раз. И тогда он стащил тележку. Нет, слушайте! Я сейчас расскажу вам о Карфельде. О его докторской степени, о службе в армии, о ранении под Сталинградом, о его химическом заводе…

— Всевозможные слухи на этот счет циркулируют здесь уже не первый месяц. Как только Карфельд показал, что он может серьезно претендовать на руководящую роль в политике, мы постоянно слышим разные истории о его прошлом, и всякий раз он чрезвычайно успешно опровергает их. Во всей Западной Германии едва ли сыщется хотя бы один более или менее видный политический деятель, которого коммунисты

рано или поздно не попытались бы опорочить.

— Лео не коммунист, — сказал Тернер, и в голосе его вдруг прозвучала смертельная усталость. — Вы же сами сказали, что он — примитивная натура. В течение многих лет он сторонился политики, боясь того, что может вскрыться. Я ведь не сплетни пересказываю вам. Я сообщаю факты — то, что на нашем родном английском языке принято называть фактами. И факты сугубо секретные. И все они со держатся в нашем собственном английском архиве и запер ты в подвальном помещении нашего собственного английского посольства. Вот где он их раскопал, и теперь даже вы не можете похоронить их там снова. — В его словах не зву чало никакой враждебности, никакого торжества. — Если вы хотите лично во всем этом удостовериться, то все документы находятся сейчас в вашей канцелярии. Вместе с пустой спецсумкой. Есть там кое-что, в чем мне не удалось разобраться до конца: я недостаточно хорошо знаю немец кий язык. Я распорядился, чтобы никто не прикасался к этим документам. — Он вдруг усмехнулся, что-то припомнив — быть может, затруднения, с которыми ему пришлось столкнуться. — Вы едва не замуровали его там, сами того не подозревая. Он

спустил вниз тележку в конце недели, и как раз в это время были установлены решетки и опечатан лифт. Он был в ужасе, что не сможет продолжать работу, не сможет больше проникнуть в «святая святых». До этой минуты все было для него шуточным делом. Схватить какую-нибудь нужную папку — он ведь имел доступ всюду, вы же знаете, работа над «Сведениями об отдельных лицах» давала ему это право, — шмыгнуть с ней в лифт, отнести в подвал и спрятать там. Но вы, хотя и невольно, положили этому конец: аварийные решетки расстроили все его планы. Тогда он погрузил все, что могло ему понадобиться, на тележку и просидел там, внизу, весь конец недели — ждал, когда уйдут рабочие. Чтобы выйти наружу, ему пришлось взломать замок на черном ходу. А после этого он уповал лишь на то, что Гонт будет приглашать его к себе на верхний этаж. В простоте душевной, конечно, ни о чем не подозревая. Здесь все до единого действуют, так сказать, в простоте душевной. И я должен принести вам свои извинения, — неожиданно прибавил он смущенно, — за то, что я вам сказал. Я был не прав.

— Едва ли это самый подходящий момент для извинения, — сказал Брэдфилд и позвонил мисс

Пит, чтобы она принесла кофе.

— Я хочу рассказать вам о том, что там, в этих документах, — сказал Тернер. — О деле Карфельда. И вы очень меня обяжете, если будете слушать, не прерывая. Мы оба устали, и времени у нас в обрез.

Брэдфилд положил на свой бювар лист голубоватой бумаги для черновиков и уже держал наготове ручку. Мисс Пит налила кофе в чашки и вышла. Выражение ее лица и единственный, исполненный презрения взгляд, брошенный на Тернера, были выразительнее любых слов, которые могли сыскаться в ее словаре.

— Я хочу рассказать о том, что ему удалось собрать. Потом, если вам угодно, можете отыскивать неувязки, опровергать.

— Постараюсь по мере своих сил, — сказал Брэдфилд, и губы его тронула улыбка, словно что-то возродив в нем на миг.

— Возле Данненберга, почти у самой границы Английской зоны есть деревушка. Называется Гапсторф. Она расположена в лесистой долине, обитателей — раз, два и обчелся. Вернее, так было. В тридцать восьмом году немцы построили там фабрику. Это была старая бумажная фабрика на берегу быстрой речушки и рядом — домик,

притулившийся к скале. Потом немцы демонтировали фабрику, построили вдоль реки ряд лабораторий и превратили все это в небольшое секретное предприятие для выработки определенного рода газа.

Он отхлебнул кофе, положил в рот кусочек бисквита и, склонив голову набок, медленно, с большой осторожностью принялся жевать— по-видимому, преодолевая боль.

— Отравляющего газа. Выбор был понятен: быстрая речка, удобная для стока, хорошо укрытое от бомбежки место и крошечная деревушка, из которой немцам ничего не стоило выселить тех, кто был им неугоден. Все ясно?

— Все ясно. — Пока Тернер говорил, Брэдфилд уже на чал записывать кое-какие основные моменты. Тернер увидел, что слева от каждого абзаца он ставит цифры, и подумал: «Для чего он все это нумерует? Как будто можно опровергнуть факты, если их пронумеровать».

— Местное население утверждает, что не имело представления обо всех этих делах, и, по-видимому, это так. Они знали только, что фабрика была демонтирована, а вместо прежнего оборудования завезено много нового, очень дорогого с виду. Они знали также, что у складов поставлена

круглосуточная охрана и что сотрудникам этого пред приятия запрещено общаться с местным населением. На тяжелой физической работе там занимали иностранцев — французов и поляков, которых вообще не выпускали за пределы предприятия, так что и с низшим персоналом ни какого общения не было. И все знали насчет животных. Главным образом это были обезьяны, но также и козы, и овцы, и собаки. Все эти животные, раз попав туда, уже не вы ходили обратно. Имеется докладная записка местного гаулейтера, к которому поступало много жалоб от людей, любящих животных.

Тернер поднял глаза на Брэдфилда и сказал с неподдельным изумлением:

— Понимаете, он работал там ночи напролет, все докапывался до сути.

— Он занимался совершенно не своим делом и не имел права там находиться. Доступ в архив подвального этажа был запрещен много лет назад.

— Ничего, он ходил туда не понапрасну. Брэдфилд продолжал что-то писать.

— За два месяца до конца войны все это предприятие было уничтожено английскими бомбардировщиками. Пря мое попадание. Взрыв

был чудовищный. Все смело с лица земли вместе с деревушкой. Иностранные рабочие погибли. Говорят, что звук взрыва был слышен за много миль, — там, как видно, было чему взрываться.

Перо Брэдфилда быстро бегало по бумаге.

— Во время этой бомбежки Карфельд уже находился у себя на родине в Эссене. Это абсолютно точно. Он говорит, что хоронил там свою матушку. Она была убита во время воздушного налета.

— Ну и что же?

— Он был в Эссене, это верно. Но он не хоронил своей матушки. Она умерла двумя годами раньше.

— Вздор! — воскликнул Брэдфилд. — Пресса уже давным-давно…

— В наших досье имеется фотокопия первоначального подлинного свидетельства о ее смерти, — спокойно, не повышая голоса, произнес Тернер. — Что представляет собой новое свидетельство, я не знаю. И кто его сфабриковал. Хотя, мне кажется, мы оба можем легко об этом догадаться, не слишком насилуя свое воображение.

Брэдфилд метнул на него быстрый, оценивающий взгляд.

— По окончании войны англичане были в

Гамбурге и направили группу расследования поглядеть, что осталось от Гапсторфа, собрать трофеи, сделать снимки. Словом, обычную группу расследования без всяких специальных заданий. Думали, может быть, удастся разыскать кого-либо из работавших там ученых, удастся воспользоваться в какой-то мере их опытом — словом, вы понимаете. Поступило сообщение, что ничего обнаружено не было. И одновременно поступило сообщение о кое-каких слухах. Французский рабочий, один из немногих оставшихся в живых, рас сказал, что там в качестве подопытных животных использовались люди. Не сами рабочие, сказал он, а другие люди, которых туда привозили. Поначалу они пользовались животными, сказал он, а потом им уже этого оказалось мало, им потребовалось настоящее, и тогда стали специально доставлять туда людей. Он сказал, что как-то раз ночью дежурил у ворот — он к тому времени уже вошел к ним в доверие, и вдруг немцы приказали ему вернуться в барак, лечь спать и не появляться до утра. У него возникли подозрения, он спрятался и стал подсматривать. Он увидел странную вещь: серый автобус, обыкновенный одноэтажный серый автобус проехал все ворота одни за другими, и никто его не остановил

и не проверил документов. Автобус скрылся в глубине территории, там, где были расположены склады, и через несколько минут появился снова и уехал тем же путем, только быстрее. Пустой. — Тернер замолчал, вынул из кармана носовой платок и осторожным движением приложил его ко лбу. — Этот француз рассказал еще, что одному его приятелю-бельгийцу предложили за большие деньги работать в новых лабораториях под самой скалой. Он пробыл там двое суток и вернулся бледный, как привидение. Клялся, что не проведет там больше ни одной ночи, хоть ты его озолоти. А на следующий день он исчез. Сказали, что его перевели куда-то. Но до того, как исчезнуть, он успел поговорить со своим приятелем и назвал ему некоего доктора Клауса. Доктор Клаус, сказал он, это здесь главный начальник, главный администратор, он все организует, все подготавливает, облегчает работу ученых. Именно этот доктор Клаус и предложил бельгийцу поработать в лаборатории.

— Разве это можно считать свидетельскими показаниями?

— Обождите. Вы не торопитесь. Посланная туда группа доложила о том, что было ею обнаружено, и копию доклада направила в местный отдел

по расследованию военных преступлений. Там взяли это дело на себя. Они допросили француза, получили от него подробное заявление, но не могли найти подтверждения его словам. Одна старушка, державшая цветочный магазин, рассказала, что как-то ночью слышала крики, но в какую именно ночь это было, старушка не помнила и к тому же не могла поручиться, что кричали люди, а не животные. Словом, все было крайне неопределенно.

— Да, действительно, крайне…

— Послушайте, — сказал Тернер. — Мы ведь с вами по одну сторону теперь, не так ли? Все двери открыты, больше уже нечего открывать.

— Может случиться, что какие-то еще понадобится закрывать, — сказал Брэдфилд, снова принимаясь писать. — Так бывает.

— В отделе не хватало людей, все были перегружены работой, и дело постепенно заглохло. Документы подшили куда следует, и на этом все прекратилось. В то время были дела поважнее. Доктора Клауса занесли в списки и поза были о нем. Француз вернулся к себе на родину, старушка позабыла про крики, и на том все и кончилось. Пока не всплыло снова два года назад.

— Минуточку.

Брэдфилд писал старательно, не спеша. Как всегда аккуратно, разборчиво выводил буквы, не желая никому доставлять потом лишних хлопот.

— А затем случилось нечто непредвиденное. То, что тем не менее всегда может случиться. Какой-то фермер, проживающий неподалеку от Гапсторфа, купил у местного муниципалитета клочок пустыря. Участок был незавидный — каменистый, поросший кустарником, — но он надеялся, что сможет его обработать. Начал копать, пахать и выкопал тридцать два трупа. Немецкая полиция осмотрела трупы и поставила в известность об этой находке оккупационные власти. Все преступления против граждан союзных государств подлежали юрисдикции союзного командования. Расследование велось английским судом, и было установлено, что тридцать один человек умер в результате отравления газом. Н а тридцать втором была куртка, какие носили иностранные рабочие, и он был застрелен в затылок. И еще было обнаружено кое-что; то, что по-настоящему взбудоражило всех. Трупы были изуродованы.

— Изуродованы?

— Вскрыты. И расчленены. Кто-то уже над ними поработал. Тогда все это дело было поднято

заново. Кое-кто в поселке припомнил, что доктор Клаус прибыл из Эссена.

Брэдфилд перестал писать, он положил перо, сцепил пальцы и внимательно посмотрел на Тернера.

— В Эссене началось расследование: среди всех химиков, имевших ученую степень и способных проводить исследовательскую работу, стали искать человека по имени Клаус. Поиски очень быстро привели к Карфельду. Он не имел докторской степени, но это выяснилось позже. В то время было уже известно, что весь штат лаборатории работал под псевдонимами, следовательно, ничто не мешало им присвоить себе также и ученые степени. Эссен находился в английской зоне, и Карфельд был призван к ответу. Он отрицал все от начала до конца. Вполне естественно. Не забудьте: помимо трупов, никаких улик, в сущности, не было. Если не считать одного случайного совпадения.

Брэдфилд не прерывал его на этот раз.

— Вы слышали о так называемой «легкой смерти» — плане умерщвления неполноценных?

— Гадамар. — Брэдфилд кивнул в сторону окна. — Ниже по течению, Гадамар, — повторил он.

— Гадамар, Вейлмюнстер, Эйхберг, Кальменхоф — клиники для уничтожения неугодных, всех, кто жил за счет государства и не мог внести своей лепты, содействовать его укреплению. Вы можете прочесть немало об этом в вашей «святая святых», а также в вашем архиве, в документах, предназначенных к уничтожению. Прежде всего люди, намеченные к истреблению, были распределены по категориям. Ну, вы знаете: калеки, психически неполно ценные, недоразвитые, дефективные дети в возрасте от восьми до тринадцати лет. Дети, которые мочатся в посте ли. За редким исключением все эти жертвы были немецкими гражданами.

— Они у них там назывались пациентами, — с глубоким отвращением произнес Брэдфилд.

— По-видимому, время от времени среди этих «пациентов» производили отбор — их использовали для неких медицинских целей. Детей наравне со взрослыми.

Брэдфилд кивнул, как бы подтверждая, что и это ему известно.

— К тому времени, когда возникло Гапсторфское дело, американцы и немцы успели уже провести довольно большую работу в области расследования вышеупомянутого плана «легкой

смерти» для неполноценных лиц. На ряду с прочим они получили доказательства того, что был отобран целый автобус «гибридных рабочих» для «несения сопряженной с опасностью службы в научно— исследовательских химических лабораториях в Гапсторфе». В этом автобусе находился тридцать один человек. Между прочим, они пользовались автобусами серого цвета — если вам это что-нибудь напоминает.

— Ганновер, — тотчас сказал Брэдфилд. — Автобусы с охраной.

— Карфельд — прирожденный администратор. Все восторгаются этим его талантом. Так было, так есть. Приятно сознавать, что он не утратил своей былой хватки, не правда ли? Он из тех, кто любит идти по проторенной дорожке.

— Перестаньте рассусоливать. Давайте самую суть, быстро.

— Так вот, серые автобусы. На тридцать одного пассажира плюс места для охраны. Стекла в окнах замазаны черной краской изнутри. Везде, где только можно, они передвигались преимущественно ночью.

— Вы сказали, что было обнаружено тридцать два трупа, а не тридцать один…

— А ведь был еще бельгийский рабочий — вы

забыли про него? Тот, что работал в лаборатории под скалой и разговаривал с французом из охраны. Они знали, как с ним следует поступить, не беспокойтесь. Ему стало известно слишком многое, понимаете? Как теперь — Лео.

— Ну-ка, держите, — сказал Брэдфилд, приподнимаясь и передавая Тернеру чашку кофе. — Выпейте еще.

Тернер взял чашку, и рука его почти не дрожала.

— Словом, когда решено было привлечь Карфельда к ответу, его забрали, привезли в Гамбург, предъявили ему обвинение на основе всех имевшихся улик, показали трупы, и он рассмеялся им в лицо. Сплошной вздор, сказал он, все, от начала до конца. Никогда в жизни он не был в Гапсторфе. Он инженер. Занимался демонтажем. Затем весьма подробно описал свое пребывание на русском фронте, где получил в свое время военные медали и прочие награды. Думаю, что эсэсовцы сфабриковали ему все это. Он очень красочно расписывал свое участие в боях под Сталинградом. Кое-где концы не сходились с концами, но таких неувязок было не слишком много, и в общем он твердо выдержал до конца допрос и продолжал утверждать, что его нога не ступала в Гапсторф

и он слыхом не слыхал ни о каких лабораториях. На все вопросы: нет, нет, нет. Так продолжалось не один месяц. Он твердил свое: «Ну что же, если у вас имеются доказательства, открывайте судебный процесс. Передавайте дело в трибунал. Я ничего не боюсь, я герой войны. Я никогда в жизни ничем не управлял, кроме принадлежавших нашей семье заводов в Эссене, которые, как вам известно, разбомбили англичане. Я воевал в России, я никогда не травил газом никаких гибридов, к чему мне это? Я скромный человек и хочу жить в ладу со всем миром. Предъявите хоть одного живого свидетеля моих преступлений, покажите мне хоть кого-нибудь». Этого сделать не смогли. Ученые и химики в Гапсторфе жили в полнейшей изоляции, и надо пола гать, административный аппарат — тоже. В результате бомбежки все записи, документы — все было уничтожено, фамилий работавших там людей никто не знал — только имена, а то и просто клички. — Тернер пожал пле чами. — Вот, по-видимому, как обстояло дело. А он сплел даже целую историю о том, как помогал антифашистскому Сопротивлению в России, и поскольку все войсковые подразделения, которые он упоминал, были либо истреблены, либо взяты в плен, проверить его показания не пред-

ставлялось возможным. Больше, впрочем, он к этой теме — к своей причастности к движению Сопротивления — не возвращался.

— Это теперь не модно, — сухо заметил Брэдфилд. — Особенно в его сферах.

— В общем, его дело так и не попало в суд. Причин к этому было немало. Отделы, занимавшиеся расследованием военных преступлений, стали понемногу расформировывать: Лондон и Вашингтон торопили с окончанием работы по денацификации и настаивали на передаче всех дел в немецкий суд. Начался хаос. В то время как отделы по расследованиям готовили обвинительные заключения, главное командование готовило амнистии. Существовали также и другие причины, чисто технического порядка, препятствовавшие ведению этого дела. Преступление было совершено преимущественно против французов, бельгийцев и поляков — если оно вообще было совершено, — и так как установить национальность жертв не представлялось возможным, возникали еще и юридические затруднения. И другие обстоятельства, хотя и не слишком существенные, затрудняли решение вопроса о том, что же делать. Вы знаете, как это бывает, когда начинают выискивать предлоги.

— Я знаю, как это было в те дни, — небрежно проронил Брэдфилд. — Это был бедлам.

— Французы были не слишком заинтересованы, поляки были слишком заинтересованы, а Карфельд к тому времени стал довольно крупной фигурой. Уже подписывал солидные контракты с союзными державами. Даже иной раз передоверял контракты своим конкурентам, лишь бы удовлетворить спрос. Вы же знаете, он очень способный администратор. Ловкий, деятельный.

— Вы говорите об этом так, словно видите в этом преступление.

— Его собственный завод демонтировали не менее двух раз, и теперь он работает на полный ход. Жалко же, в самом деле, приостанавливать такое предприятие. Шли даже слухи, — нисколько не меняя тона, продолжал Тернер, — что он начал так бурно развертывать свою деятель ность потому, что оказался обладателем большого запаса весьма редких газов, которые он в конце войны укрыл под землей где-то в Эссене. Вот чем он занимался, когда английские самолеты бомбили Гапсторф. Когда, по его словам, он хоронил свою престарелую матушку. Он таскал откуда можно перышки, чтобы потом выстлать ими свое гнездо.

— Все свидетельства, на которые вы пока что ссылаетесь, — спокойно проговорил Брэдфилд, — ни в коей мере не доказывают причастности Карфельда к Гапсторфу, точно так же как ничто не доказывает его соучастия в умерщвлении этих людей. Все, что он сам о себе рассказывает, вполне может быть правдой. И то, что он воевал в России, и то, что он был ранен…

— Правильно, такого же взгляда придерживались и в главном командовании.

— Остается недоказанным даже и то, что эти трупы имеют отношение к гапсторфским лабораториям. Газ мог быть и оттуда, но какие имеются доказательства того, что ученые-химики самолично применяли газ к жертвам, а тем более того, что все это было известно Карфельду и он в той или иной мере способствовал…

— В гапсторфском домике был погреб. Этот погреб при бомбежке не пострадал. Окна в погребе были заложе ны кирпичами и зацементированы, а из лабораторий в погреб шли газоотводные трубы. Кирпичные стены погреба были все изодраны.

— То есть как это «изодраны»?

— Руками, пальцами, — сказал Тернер. — Ногтями, надо полагать.

— Но так или иначе, главное командование встало именно на вашу точку зрения. Карфельд запер рот на замок, новых улик не нашлось, преследование не было возбуждено на вполне законном основании. Дело легло на полку. Отдел расследования переехал в Бремен, затем в Ганновер, затем в МЈнхенгладбах, и все дела были отправлены туда же. Вместе со всякими другими материала ми из Управления главного военного прокурора. Где все это и должно было храниться, пока не будет принято окончательное решение о том, что делать дальше.

— И вот до этих материалов и добрался Гартинг?

— Он давно до всего добрался. Он же вел всю работу своей группы по расследованию. Он и Прашко. Вся переписка, протоколы, запросы, доклады, свидетельские показания, все досье по этому делу от начала до конца — теперь оно уже имеет и конец, — все регистрировано рукой Лео, Лео брал Карфельда под стражу, допрашивал его, присутствовал при вскрытии трупов, разыскивал свидетелей. Женщина, на которой он собирался жениться — Маргарет Айкман, — работала в том же разведывательном отделе, что и он. Вела канцелярскую работу. Их называли охотниками

за черепами. В этом была его жизнь. Все они стремились только к одному: чтобы Карфельд был привлечен к суду.

Брэдфилд сидел, глубоко задумавшись.

— А как понимается здесь это слово — «гибрид»? — спросил он вдруг.

— Нацистский термин. Означает: еврей-полукровка.

— Понимаю. Понимаю. Значит, в какой-то мере все это задевало его лично, не так ли? И не могло не иметь для него значения. Он был очень легко уязвим. Он все пропускал через себя, иначе жить он не умел. — Рука Брэд— филда с зажатым в ней пером лежала совершенно непод вижно. — Тем не менее едва ли это подсудное дело. — Помолчав, он повторил как бы про себя: — Едва ли это подсудное дело. В сущности, в любом случае едва ли тут можно создать дело. Даже при самом пристрастном, самом неквалифицированном подходе. Нет, ни с какой стороны дело Карфельду пришить нельзя. Вместе с тем все это очень интересно, разумеется; это объясняет его отношение к англичанам. Но это еще не делает его преступником.

— Верно, не делает, — согласился Тернер к немалому удивлению Брэдфилда. — Дела из этого

создать нельзя. Но мысль об этом не переставала глодать Лео. Он ничего не забыл. Он изо всех сил старался подавить это чувство, заглушить его в себе. И не мог от него уйти. Он должен был удостовериться, он должен был еще раз проверить все, и в этом году в январе он спустился в «святая святых» и перечитал все свои доклады, всю свою аргументацию.

Теперь Брэдфилд снова сидел очень тихо.

— Возможно, тут сыграл роль и возраст. Но основ ное — опасение, не было ли что-то упущено. — Тернер произнес это так, словно это была и его личная проблема, оставшаяся и для него нерешенной. — А может быть, если хотите, и чувство ответственности перед историей. — Он помолчал в нерешительности. — Чувство времени. Он ощущал парадоксальность происходящего и необходимость что-то предпринять. И кроме того, он был влюблен, — прибавил Тернер и поглядел в окно, — хотя, быть может, он никогда бы себе в этом не признался. Он хотел просто использовать кого-то в своих целях, но получил больше того, на что рассчитывал. И тогда он вышел из своей летаргии. В этом же все и дело: разве противоположность любви — это ненависть? Вовсе нет. Летаргия. Апатия. Как у всех

здесь. — Он помолчал и добавил мягко: — Однако нашлись люди, которые заставили его почувствовать себя в орбите больших дел. Короче, по тем или иным причинам он снова взялся за поиски. Снова перечитал все бумаги от начала до конца. Снова изучил всю обстановку, пересмотрел все материалы, относящиеся к тому времени и хранившиеся в архиве и в «святая святых». Снова с самого начала проверил все факты и начал заново наводить справки и вести расследование на свой страх и риск.

— Какого рода расследование? — спросил Брэдфилд. Они не смотрели друг на друга.

— Он создал свою собственную канцелярию. Писал письма и получал ответы. Всю переписку вел на бланках посольства. Просматривал в экспедиции всю корреспонденцию аппарата советников, прежде чем она успевала попасть в чьи-либо руки, и забирал то, что было адресовано ему. Он осуществлял это совершенно так же, как жил: деятельно и тайно. Не доверяясь никому, не рассчитывая ни на кого, отведя каждому свое обособленное место. Иногда он отправлялся в небольшие поездки, знакомился с церковными архивами, записывал рассказы о различных событиях, посещал министерства, беседовал с

духовными лицами, с бывшими заключенными — все под видом посольских полномочий. Собирал вырезки из газет, снимал копии с документов, сам переписывал что следовало на машинке, когда требовалось — запечатывал конверты сургучной печатью. Ему удалось стащить даже и печать. Он вел свою переписку на бланках со штампом «Претензии и консульские функции», так что ответы на его запросы попадали непосредственно к нему. Он проверял все: свидетельства о рождении, о браке, о смерти матери, охот ничьи удостоверения — он искал несоответствий, искал доказательств, что Карфельд не был на Восточном фронте. Он собрал чудовищное по величине досье. Ничего нет удивительного, если Зибкрон заинтересовался им… Он не оставил в покое ни одно правительственное учреждение — под тем или иным предлогом наводил справки всюду.

— О боже милостивый! — прошептал Брэдфилд и, как бы признавая себя побежденным, отложил в сторону ручку.

— К концу января он пришел к единственно возможному выводу: Карфельд бесстыдно лжет, а кто-то, какое-то, по-видимому, влиятельное лицо — и было весьма похоже, что это Зибкрон, — кто-то его покрывает. Я слышал, что Зибкрон

по-своему не лишен честолюбия, и как только на политическом горизонте загорается новое светило, он тотчас стремится попасть в его орбиту.

— Это несомненно так, — подтвердил Брэдфилд, думая о чем-то своем.

— Так же, как и Прашко когда-то. Вы видите, куда уже мы с вами углубились. И, конечно, довольно скоро Зибкрон стал замечать (и Лео это понимал), что посольство наводит весьма далеко идущие справки, выходящие за рамки обычной деятельности даже такого отдела, как «Претензии и консульские функции». И было ясно, что кому-то это придется не по душе и кто-то, черт подери, воз можно, прибегнет к довольно крутым мерам. Особенно после того, как Лео получил доказательства.

— Какие доказательства? Как может он теперь, через двадцать с лишним лет после совершения преступления, что-либо доказать?

— Все эти доказательства находятся сейчас в вашем архиве, — с какой-то странной неохотой сказал вдруг Тернер. — Вам бы лучше ознакомиться с ними самому.

— Я не располагаю временем, и уши мои уже при терпелись к самым пакостным сообщениям.

— И привыкли слушать их и не слышать.

— Я настоятельно прошу вас продолжать. — Он был настойчив, но без всякой нервозности.

— Хорошо. В прошлом году Карфельд решил получить докторскую степень. К этому времени он стал уже большой шишкой, сколотил себе крупное состояние в химической промышленности — его административный талант как нельзя лучше оправдал себя; он быстро шел в гору в местных политических кругах в Эссене и пожелал быть док тором наук. Возможно, он, как и Лео, не любил незавершенных дел и хотел, чтоб все было в ажуре. А может быть, считал, что ученая степень будет небесполезна в его делах: голосуйте за доктора Карфельда! Здесь любят, когда канцлер обладает ученой степенью. Короче говоря, он взялся за учебники и написал диссертацию. Он не слишком УТОМЛЯЛ себя исследовательской работой, и все были весьма поражены, особенно его научные руководители. Невероятно! — говорили они. Когда он только это успел!

— Ну и что же?

— Это была диссертация о воздействии некоторых отравляющих газов на человеческий организм. Работа получила, по-видимому, весьма высокую оценку, вызвала в свое время даже некоторый шум.

— Едва ли это может послужить неопровержимой уликой.

— О нет, может. Карфельд построил все свои научные выводы на детальном изучении тридцати одного смертного исхода.

Брэдфилд закрыл глаза.

— Нет, это еще не доказательство, — промолвил на конец Брэдфилд, он был очень бледен, но рука, державшая вечное перо, по-прежнему была тверда. — Вы сами знаете, что это еще не доказательство. Я согласен, это возбуждает подозрение. Это заставляет предполагать, что он был в Гапсторфе. И тем не менее этого еще и наполовину недостаточно.

— Жаль, что мы не можем сообщить об этом Лео.

— Карфельд будет утверждать, что он получил нужные ему данные в процессе своей работы в химической промышленности. Получил из третьих рук. И будет твердо стоять на этой позиции.

— Из рук отъявленных негодяев.

— Даже если будет доказано, что данные поступали из Гапсторфа, найдутся десятки объяснений того, как они попали к Карфельду. Вы сами сказали, что он не принимал непосредственного участия в экспериментах.

— Нет, он сидел, так сказать, за пультом управления. Случай довольно распространенный.

— Вот именно, и как раз тот факт, что он пользовался полученными кем-то данными, снимает с него обвинение в том, что он сам их добывал.

— Беда, понимаете ли, в том, — сказал Тернер, — что Лео и законник, и вор, и нам приходится считаться и со второй половиной.

— Да, — рассеянно произнес Брэдфилд. — Он взял Зеленую папку.

— Но так или иначе, в том, что касается Карфельда и Зибкрона, он подобрался достаточно близко к исти не, а это значит идти на очень большой риск, не так ли?

— A prima facie (На первый взгляд (лат.)), — заметил Брэдфилд, еще раз про бежав глазами свои заметки, — имеются данные для возбуждения нового расследования, это несомненно. В лучшем случае можно добиться, чтобы прокурор назначил предварительное следствие. — Он раскрыл телефонный справочник. — Наш правовой атташе должен знать.

— Не трудитесь, — участливо сказал Тернер. — Что бы Карфельд ни совершил, он теперь недосягаем для закона. Время упущено, он уже прошел финиш. — Брэдфилд поглядел на него с

удивлением. — Теперь уже никакими силами невозможно привлечь его к суду — даже при наличии неопровержимых улик, письменно подтвержденных им самим.

— Да, разумеется, — спокойно сказал Брэдфилд. — Я совсем забыл. — В голосе его прозвучало облегчение.

— Он теперь под защитой закона. Закона об истечении срока давности; для него он пришелся как раз вовремя. В четверг вечером Лео сделал соответствующую пометку на его досье. Дело закрыто навсегда. Теперь уже никто ничего не в силах изменить.

— Существует известная процедура возобновления…

— Существует, — сказал Тернер. — Но не применительно к этому случаю, и между прочим — по вине англичан. Расследование гапсторфского преступления велось английскими органами. Мы не передавали этого дела в руки немецкой юстиции. Однако ни суда, ни общественного процесса не было, и когда немецкие судебные органы приняли на себя разбор военных преступлений нацистов, мы ни разу не поставили их в известность об этом деле. Карфельдовское дело провалилось в зияющую пустоту между немец-

ким правосудием и нашим. — Он умолк. — А теперь то же самое случилось и с Лео.

— А что намеревался сделать Гартинг? Какую цель преследовал он, производя все эти розыски?

— Он хотел знать. Хотел довести дело до конца. Оно истерзало его, как воспоминание об изуродованном детстве или как неудавшаяся жизнь. Ему необходимо было разобраться в нем до конца. В остальном, мне кажется, он полагался на свое чутье.

— Когда получил он эти так называемые доказательства?

— Диссертация прибыла к нему в субботу, когда он был еще здесь. Он вел ежедневную регистрацию входящих и исходящих, понимаете? Все подшивалось в папки. В понедельник он появился в архиве и был очень весел, очень возбужден. Несколько дней он провел, раздумывая, что предпринять дальше. В прошлый четверг он обедал с Прашко.

— На черта ему это понадобилось?

— Я не знаю. Я думал над этим. Но не понял. Возможно, он хотел обсудить, что следует предпринять. Может быть, хотел получить юридический совет. Может быть, надеялся, что все

же существует какой-либо способ возобновить судебное преследование…

— Такого способа не существует?

— Нет.

— Слава тебе, господи.

Тернер пропустил это мимо ушей.

— А возможно, он хотел предупредить Прашко, что уже начинает попахивать жареным. Может быть, хотел попросить защиты? — высказал предположение Тернер.

Брэдфилд внимательно на него поглядел.

— А Зеленая папка пропала, — сказал он: обычное самообладание уже вернулось к нему.

— Да, осталась пустая сумка.

— И Гартинг сбежал. А причина **этого** вам тоже известна? — Брэдфилд смотрел на Тернера в упор. — Это тоже занесено у него в досье?

— Он несколько раз записал в своем блокноте: **«У меня остается очень мало времени»**. Все, кто разговаривал с ним в эти дни, замечали, что он был точно в цейтноте… Необычно взвинченный, напряженный… Вероятно, он все время думал о новом законе.

— Но мы же знаем, что в соответствии с этим законом Карфельд стал недосягаем, разве что можно было бы добиться приостановления дей-

ствия закона. Так почему он сбежал? И почему такая спешка?

Тернер пожал плечами, не обращая внимания на странно пытливый и почти вызывающий тон, каким Брэдфилд задал свой вопрос.

— Значит, вам неизвестно почему? Почему он выбрал именно этот момент, чтобы сбежать? И унес с собой именно эту папку?

— Мне кажется, Зибкрон загнал его в угол. У Лео имелись доказательства, и Зибкрон знал об этом. С этой ми нуты за Лео была установлена слежка. У Лео был револьвер, — сказал Тернер. — Старого армейского образца. Видимо, он уже почувствовал опасность, потому что стал носить его с собой. Должно быть, он испугался.

— Видимо, да, — снова с оттенком облегчения произнес Брэдфилд. — Да, так оно и есть. Несомненно, этим все и объясняется.

Тернер растерянно на него поглядел.

Минут десять по меньшей мере Брэдфилд не произносил ни слова и не шевелился. Он стоял в углу и смотрел в окно на реку.

— Неудивительно, что Зибкрон приставил к нам охра ну, — проговорил он наконец таким бесцветным голосом, словно речь шла о тумане, поднимавшемся с реки. — Неудивительно, что он

стережет нас, словно опасных преступников. В Бонне не осталось, вероятно, ни одного министерства, даже ни одного, вероятно, журналиста, не осведомленного о том, что британское посольство занято охотой на Карфельда и пустило гончих по следам его прошлого. Интересно, каких действий ждут они от нас теперь? Что мы будем публично его шантажировать? Или, нацепив судейские парики, предъявим ему от лица союзных держав обвинение в преступлениях двадцатипятилетней давности? Или они считают, что, одержимые бессмысленной жаждой мщения, мы хотим теперь просто взять реванш у того, что препятствует осуществлению наших европейских замыслов?

— Вы разыщете Лео, правда? Вы не будете слишком жестоки к нему? Он очень нуждается сейчас в помощи, хоть в какой-нибудь…

— Так же, как и все мы, — сказал Брэдфилд, продолжая глядеть на реку.

— Он не коммунист. Он нас не предавал. Он считает, что Карфельд представляет собой страшную опасность. И для нас. Он простой, бесхитростный человек. Вы сами можете убедиться из этих его досье…

— Знаю я его простоту.

— И мы несем за него ответственность, в конце

концов. Кто, как не мы, поселил в его мозгу все эти идеи еще в те далекие времена? Идеи высшей справедливости. Не мы ли надавали ему все эти обещания: Нюрнберг, денацификация? Мы заставили его поверить в это. Мы не можем допустить, чтобы он стал жертвой только потому, что наша позиция изменилась. Вы не видели того, что там, в папках, вы даже не представляете себе, что говорилось про немцев в те дни. А Лео остался прежним. Он из тех, кто стоит на своем. Это же не преступление, не так ли?

— Я очень хорошо знаю, что тогда думали. Я сам был здесь в те дни. Я видел то, что видел он, видел достаточно. Он должен был изжить в себе это. Как изжили все мы.

— А я считаю, что мы обязаны взять его под свою защиту, он этого стоит. В нем есть цельность… Я почувствовал это там, внизу. Его не собьешь с толку софизмами. Для таких, как мы с вами, всегда отыщется десяток причин, чтобы сидеть сложа руки. А Лео совсем из другого теста. Он действует, руководствуясь только одним правилом: делай, раз так надо. Раз ты так чувствуешь.

— Надеюсь, вы не собираетесь преподносить его нам в качестве примера, которому все должны следовать?

— И еще одно обстоятельство не давало ему покоя.

— Что именно?

— В случаях, подобных этому, всегда можно обнаружить какие-то побочные документы. В штабах СС, в клиниках, в транспортных частях. Приказы о перемещении, письменные полномочия — различные документы, так или иначе, хотя бы отдаленно, связанные с делом и помогающие пролить свет. Однако тут ничего не всплывало на поверхность. Лео неустанно делал пометки: почему не осталось никаких следов в Кобленце? Почему нет этого, почему нет того? По-видимому, он подозревал, что все эти улики были уничтожены кем-то… Хотя бы Зибкроном, к примеру. Но мы-то можем отдать ему должное, можем? — почти с моль бой проговорил Тернер.

— Здесь нет ничего абсолютно достоверного. — Взгляд Брэдфилда все еще был устремлен вдаль. — Здесь все сомнительно. Все туманно. Нет точных разграничений — социалисты позаботились об этом. Все — все, и все — ничего. Неудивительно, что Карфельд в трауре.

Что так приковывало внимание Брэдфилда к реке? Маленькие суденышки, пробиравшиеся сквозь туман? Красные стрелы грузовых кранов

и плоские равнины? Или виноградники, уходившие за горизонт, забравшиеся так далеко сюда, на север, с юга? Или гора Чемберлена — серый призрак с длинным бетонным прямоугольником здания, в котором его поместили когда-то?

— «Святая святых» ничего нам в этом смысле прояснить не может, — проговорил наконец Брэдфилд и снова замолчал. — Прашко. Вы говорите, что он обедал с Прашко в четверг?

— Брэдфилд…

— Да? — Он уже направлялся к двери.

— Мы теперь уже по-другому относимся к нему, верно?

— Вы так полагаете? Не исключена возможность, что он в конце концов окажется коммунистом. — В голосе Брэд филда прозвучала ироническая нотка. — Вы забываете, что он какникак выкрал Зеленую папку. А вам, должно быть, вдруг померещилось, что вы уже проникли к нему в самую душу.

— А зачем он ее выкрал? Что было в этой папке? Но Брэдфилд уже вышел в наполненный гулом коридор и пробирался между стоявшими у стен сложенными кроватями. Навстречу плыли таблички: «Пункт первой помощи. Комната отдыха на случай чрезвычайного положения. Детям вход

запрещен». Когда они проходили мимо архива, оттуда донеслись радостные возгласы и нестройные рукоплескания. Корк, совершенно белый от волнения, выбежал им навстречу.

— У нее уже все, — прошептал он. — Звонили из родильного дома. Пока я был на дежурстве, она не разрешила им послать за мной. — В розовых, широко раскрытых глазах его стоял испуг. — Я ей даже не понадобился. Она даже не захотела, чтобы я был там с ней.

17
ПРАШКО

Пятница. Утро

Позади посольства от восточной границы его владений начинается гудронированная аллея, которая ведет к северу мимо новых вилл, слишком дорогих для представителей Британской империи. У каждой виллы садик — небольшой, но весьма ценный, если учесть стоимость земельных участков; каждая отличается от всех прочих каким-либо осторожным архитектурным отклонением от нормы, характерным для современного стандарта. Если один дом обзавелся кирпичной площадкой для жарения мяса на вертеле и внутренним двориком, выложенным камнем, то другой поспорит с ним оградой из голубого сланца или смело выставленного напоказ неотесанного камня. Летом молоденькие жены нежатся в солнечных лучах возле своих микроскопических бассейнов. Зимой черные пудели купаются в снегу. И каждый день с понедельника пи пятницу черные «мерседесы» доставляют хозяев домой к обеду. И воздух неизменно, хотя

бы слегка, насыщен запахом кофе.

Было еще совсем раннее, холодное, но прозрачно ясное, как после дождя, утро. Они ехали медленно, опустив стекла. Миновали госпиталь, места пошли более унылые — предместье еще сохраняло свой старый облик. За лохматыми елями и иссиня-черными кустами лавра свинцовые шпили, возносившие когда-то ввысь горделивые упования Веймара, торчали, словно пики, среди дряхлеющего леса. Впереди вставало здание бундестага, голое, безрадостное и бесприютное, — огромный мотель, выкрашенный в желтовато-молочный цвет, весь в траурно-мрачных флагах. За бундестагом, увенчанный аркой моста Кеннеди, огражденный громадой зала Бетховена, бурый Рейн неустанно стремил свой упорядоченный бег в неизвестность.

Всюду, куда ни глянь, была полиция: не часто можно увидеть, чтобы оплот демократии так надежно охраняли от демократов. У главного входа, вытянувшись беспокойной цепочкой, дожидалась своей очереди делегация школьников, и полицейские, словно заботливые родители, не отходили от детей ни на шаг. Телевизионная съемочная группа устанавливала свои прожекторы. Перед объективом какой-то молодой человек в

темно-красном вельветовом костюме, беззаботно подбоченясь, выделывал антраша, в то время как его коллега окидывал оценивающим взглядом его фигуру. Полицейские хмуро наблюдали за ними, обеспокоенные таким фривольным поведением. Вдоль тротуара подтянутые, словно присяжные заседатели, стояли граждане с высокими, похожими на римские штандарты стягами в руках — серая, послушно ожидающая толпа. Лозунги претерпели изменения: «Сначала единая Германия. Потом единая Европа», «Мы тоже гордая нация», «Сначала возвратите нам нашу страну!». И лицом к лицу с ними в одну линию стояли полицейские, опекая их совершенно так же, как школьников.

— Я поставлю машину внизу, на набережной, — сказал Брэдфилд. — Одному богу известно, что мы тут найдем по возвращении.

— А что там происходит сейчас?

— Дебаты. По поводу поправок к чрезвычайным законам.

— Я думал, что это давным-давно решенный вопрос.

— В этом городе ничто никогда не бывает решено до конца.

Вдоль всей набережной в безучастном ожи-

дании замерли серые отряды, похожие на безоружных солдат; изготовленные на скорую руку знамена оповещали о своем происхождении: Кайзерслаутерн, Ганновер, Дортмунд, Кассель… Отряды стояли в немом молчании, ожидая, когда будет дан приказ протестовать. Кто-то принес с собой транзистор и пустил его на полную громкость. При появлении белого «ягуара» головы повернулись в его сторону.

Брэдфилд и Тернер, шагая бог о бок, начали медленно взбираться на холм, удаляясь от реки. Они прошли мимо киоска, в котором, казалось, не было ничего, кроме цветных фотографий шахини Сорейи. Перед центральным подъездом двумя колоннами выстроились студенты, оставив неширокий проход. Брэдфилд, вскинув голову, распрямив плечи, шел впереди. В дверях охранники хотели задержать Тернера, и Брэдфилд коротко осадил их. В вестибюле было невыносимо жарко и пахло сигарами. Отголоски дебатов наполняли его мерным жужжанием. Журналисты — кое-кто из них с фотоаппаратами — с любопытством поглядели на Брэдфилда, но он отрицательно покачал головой и отвернулся. Депутаты негромко переговаривались, стоя отдельными группами, и в бесплодной надежде

посматривали через плечо друг друга, ища глазами кого-нибудь поинтереснее. Знакомая фигура устремилась навстречу.

— Лучший подарок! Истинная правда, Брэдфилд, вы — лучший подарок! Пришли полюбоваться на конец демократии? Пришли на дебаты? Ну еще бы, вы же, черт побери, там у себя времени даром не теряете. И секретная служба все еще при вас? Мистер Тернер, вы, я надеюсь, вполне лояльны? Господи помилуй, что у вас с физиономией, черт побери? — Не получив ответа, он сказал, понизив голос и украдкой поглядев по сторонам: — Брэдфилд, я должен поговорить с вами. Дело чрезвычайно важное и безотлагательное, черт побери. Я пытался дозвониться к вам в посольство, но для Зааба вас никогда нет на месте.

— У нас здесь назначена встреча.

— Это надолго? Скажите мне, как долго может это затянуться? Сэм Аллертон тоже жаждет видеть вас, мы вместе хотим обсудить с вами кое-что.

Его черная голова склонилась к уху Брэдфилда. Шея у него была грязная, щеки небриты.

— Это невозможно знать наперед.

— Послушайте, я буду ждать вас здесь. Это крайне важное дело. Я скажу Аллертону: будем

ждать Брэдфилда. Наши газеты, сроки выпуска — это не делает погоды. Нам нужно потолковать с Брэдфилдом.

— Никаких комментариев, вы же знаете. Мы опубликовали наше заявление вчера вечером. Полагаю, что у вас имеется экземпляр. Мы принимаем объяснение, данное нам канцлером. И с надеждой ожидаем возвращения немецкой делегации в Брюссель в течение ближайших дней.

Они спустились вниз в ресторан.

— Он здесь. Разговаривать буду я. Пожалуйста, пре доставьте все мне.

— Постараюсь.

— Нет, вашего старания мне мало. Извольте держать рот на замке. Он очень скользкий субъект.

Первое, что увидел Тернер, была сигара. Небольшая сигара — она торчала в углу рта, словно черный термометр, и Тернер сразу заметил, что это — голландская сигара: Лео получал их и бесплатно снабжал ими Прашко.

Вид у Прашко бы такой, словно он всю ночь провозился в редакции над газетой. Он появился из двери, за которой были расположены торговые киоски, и в куртке нараспашку, засунув руки в карманы, прошествовал через зал, задевая по дороге за все столики и ни перед кем не извиняясь.

Это был грузный, неопрятный мужчина; коротко подстриженные волосы с сильной проседью; мощная грудная клетка незаметно переходила в еще более мощный живот; сдвинутые на лоб очки придавали ему вид гонщика. Следом за ним шла девушка с портфелем: апатичное, почти лишенное выражения лицо ее производило впечатление не то скучающего, не то чрезмерно целомудренного; у нее были темные, очень густые волосы.

— Суп! — заорал Прашко на весь ресторан, как только они обменялись рукопожатиями. — Подайте нам суп. И что— нибудь для нее. — Официант, слушавший последние известия по радио, приглушил приемник, как только завидел Прашко, и с готовностью скользнул к нему. Медные зубчики подтяжек крепко впивались в засаленный край брюк, облегавших объемистый живот Прашко. — Вы тоже трудитесь здесь? — спросил он и пояснил: — Она ничего не понимает. Ни на одном языке, черт побери. Nicht wahr, Schatz (Не правда ли, сокровище мое? (нем.))? Ты глупа, как овца. Так что у вас за дела? — Он говорил по-английски свободно, с легким американским акцентом, почти полностью заглушавшим всякий другой, если он у него был. — Вас скоро

назначат послом?

— Боюсь, что нет.

— А это кто с вами?

— Приезжий.

Прашко очень внимательно поглядел на Тернера, потом на Брэдфилда и снова на Тернера.

— Какая-то девчонка крепко осерчала на вас?

На лице его двигались только глаза. Но плечи настороженно приподнялись, и голова инстинктивно ушла в плечи: он был весь начеку. Левой рукой он взял Брэдфилда за локоть.

— Это хорошо, — сказал он. — Это отлично. Люблю перемены. Люблю новых людей. — Голос его звучал на одной ноте, короткие фразы ложились тяжело; это был голос конспиратора, человека, выработавшего в себе долголетнюю привычку говорить так, чтобы его нельзя было подслушать. — Так зачем вы пожаловали? Узнать личное мнение Прашко? Голос оппозиции? — Он пояснил Тернеру: — Когда создается коалиция, оппозиция превращается в привилегированный клуб. — Он громко расхохотался своей шутке, и Брэдфилд рассмеялся тоже.

Официант подал суп-гуляш, и Прашко быстрыми, беспокойно-настороженными движениями своей здоровенной ручищи мясника принялся

вылавливать кусочки говядины.

— Так зачем же вы пожаловали? Может, хотите отправить телеграмму своей королеве? — Он ухмыльнулся. — Весточку от ее бывшего подданного? О'кей! Пошлите ей телеграмму. Только на черта ей знать, что думает Прашко? И вообще кого это интересует? Я — старая шлюха. — Это было адресовано непосредственно Тернеру. — Они небось так говорили вам? Я был англичанином, я был немцем, я, черт побери, стал почти американцем. Я был в этом борделе дольше всех прочих шлюх. Вот почему я уже стал никому не нужен. Меня имели все. Сообщали они вам об этом? И левые, и правые, и центр.

— Кто из них обладает вами теперь? — спросил Тернер. Не сводя глаз с изуродованного лица Тернера, Прашко поднял руку и сделал выразительный жест — потер кончиком большого пальца средний и указательный.

— Знаете, что такое политика? Купля-продажа. Деньги на бочку. Все остальное — куча дерьма. Дипломатия, договоры, союзы — все дерьмо. Может быть, мне следовало оставаться марксистом. Так, значит, они теперь взяли да и ушли из Брюсселя? Это печально. Да, да, это очень печально. Вам теперь не с кем вести переговоры.

Он разломил булочку и окунул половинку в суп.

— Скажите вашей королеве, что Прашко говорит: англичане — лживые, вонючие лицемеры. Ваша супруга в добром здравии?

— Вполне, благодарю вас.

— Давненько я не обедал там у вас наверху. Вы по— прежнему живете в этом гетто? Ничего себе местечко. Не обращайте внимания. Меня никто не может долго вы носить. Вот почему я меняю партии, — пояснил он Тернеру. — Когда-то я считал себя романтиком — вечно в погоне за голубым цветком. Теперь, должно быть, мне просто все приелось. Друзья, женщины, господь бог — везде одно и то же. Все они преданные. И все они вас обманывают. И все подонки. Бог мой! Скажу вам еще кое-что: новых друзей я предпочитаю старым. Кстати, у меня новая жена — как она вам нравится? — Взяв молодую женщину за подбородок, он приподнял ее лицо, как бы желая продемонстрировать ее в наиболее выгодном ракурсе; она улыбнулась и слегка похлопала его по руке. — Я сам себе поражаюсь, — продолжал он, прежде чем кто-либо из них успел сообразно обстоятельствам ответить на вопрос. — Было время, когда я мог бы ползать на своем жирном

брюхе, лишь бы залучить ваших вшивых англичан в Европу. А теперь вы обиваете у нас пороги, и мне наплевать, — Он пока чал головой. — Право, я сам себе изумляюсь. Но таков ход истории, надо полагать. А может быть, таков я. Может быть, меня просто влечет к сильным мира сего; может быть, я люблю вас, потому что вы были сильны, а теперь я ненавижу вас, потому что вы — ничто. Вчера ночью они убили какого-то мальчишку, вы слышали об этом? В Хагене. Передавали по радио.

Он взял с подноса рюмку водки. Бумажная подставка прилипла к ножке. Он оторвал ее.

— Одного мальчишку. И одного старика. И одну полоумную библиотекаршу. Пусть даже целую футбольную команду. Это еще не Армагеддон.

В окно видны были длинные серые колонны, замершие в ожидании на набережной. Прашко обвел рукой зал.

— Поглядите на все это дерьмо. Все бумажное. Бумажная демократия, бумажные политики, бумажные орлы, бумажные солдатики, бумажные депутаты. Кукольная демократия. Стоит Карфельду чихнуть, как мы пускаем в штаны. Знаете почему? Потому чтоон, черт побери, слишком близок к истине.

— Вы, значит, принадлежите к его сторонникам? Так я вас понял? — спросил Тернер, делая вид, что не замечает рассерженного взгляда Брэдфилда.

Прашко доел свой суп; он почти все время не сводил глаз с Тернера.

— Мир молодеет с каждым днем, — сказал он. — Карфельд — куча дерьма, пусть так. Ладно. Но мы богатеем, вы это видите, приятель? Мы едим, пьем, строим дома, покупаем машины, платим налоги, ходим в церковь, делаем детей. Теперь мы хотим получить что-нибудь подлинное. Вы знаете, что это такое, приятель?

Он по-прежнему не сводил глаз с изуродованного лица Тернера.

— Иллюзии. Короли и королевы. Семейство Кеннеди, де Голль, Наполеон, баварские герцоги Виттельсбахи и Потсдам. К черту, мы больше не захолустная деревня. Да, кстати, что вы скажете насчет нынешних студенческих бес порядков в Англии? Что думает об этом ее королевское величество? Может, вы мало даете им карманных денег? Молодежь! Хотите знать кое-что про молодежь? Я скажу вам. — Теперь он обращался исключительно к одному Тернеру. — «Немецкая молодежь упрекает своих отцов за то, что они

затеяли войну». Вот что вы слышите. Не проходит дня, чтобы какой-нибудь свихнувшийся умник не оповестил нас об этом через какую-нибудь очередную газету. Хотите знать настоящую правду? Они упрекают своих отцов за то, что те **проиграли** эту чертову войну, а не за то, что они ее начали: «Эй, вы! Где наша Империя, чтоб вас черт побрал?» Так же как и англичане, как я понимаю. Такое же дерьмо собачье. Все щенки одинаковы. Они хотят вернуть себе бога. — Он перегнулся над столом, почти вплотную придвинул свое лицо к Тернеру. — Слушайте, может, мы провернем дельце: мы вам — наличные, вы нам — иллюзии? Беда только в том, что мы это уже пробовали. — Он с разочарованным видом откинулся на спинку стула. — Мы как-то раз заключили такую сделку и получили от вас кучу дерьма. Вы не поставщики иллюзий. Вот почему мы не хотим больше слышать об англичанах. Они не умеют вести дела. Наш немецкий папенька Фатерланд предлагал руку и сердце вашей английской маменьке, но вы не явились на свадьбу. — Он снова расхохотался, смех его звучал фальшиво.

— Быть может, сейчас пришло время заключить этот союз? — намекнул Брэдфилд с усталой улыбкой важного государственного деятеля.

Краем глаза Тернер заметил двух людей — бледные лица, темные костюмы, замшевые туфли, — они молча заняли места за соседним столиком. Официант поспешно направился к ним, сразу распознав их профессию. И в эту минуту целая орава молодых журналистов ввалилась из вестибюля в ресторан. У некоторых в руках были газеты, заголовки кричали о Брюсселе и Хагене. Журналистами предводительствовал папаша Карл-Гейнц Зааб, он уставился на Брэдфилда с утрированной тревогой. За окном, в унылом внутреннем дворике, ряды пустых пластмассовых стульев походили на искусственные цветы, пробившиеся сквозь растрескавшийся асфальт.

— Вот эти подонки — это уже настоящие нацисты, — громко, на весь зал сказал Прашко, взмахнув жирной рукой в сторону журналистов. — Они высовывают языки, громко выпускают газы и воображают, что изобрели демократию. Куда провалился этот чертов официант — сдох?

— Мы разыскиваем Гартинга, — сказал Брэдфилд.

— Ясно! — Прашко привык к неожиданностям. Рука, вытиравшая салфеткой обветренные губы, все так же не спеша продолжала свое занятие.

Желтоватые глаза все так же, не мигая, смотрели из воспаленных глазниц на собеседников. — Я его здесь что-то не видел, — равнодушно за метил Прашко. — Может, он где-нибудь на балконе. Ведь у вас, приятели, там своя специальная ложа. — Он положил салфетку. — Может, вам надо поискать его там?

— Он исчез неделю назад. В пятницу утром на прошлой неделе.

— Кто, Лео? Ну, этот малый никуда не денется. — Появился официант. — Такие не пропадают.

— Вы его друг, — сказал Брэдфилд. — Кажется, его единственный друг. Мы подумали, что он мог прийти посоветоваться с вами.

— О чем?

— А вот в этом-то все и дело, — сказал Брэдфилд с едва заметной усмешкой. — Мы подумали, что он мог сказать это вам.

— Он до сих пор не завел себе друзей среди англичан? — Прашко переводил взгляд с одного на другого. — Бедняжка Лео! — Теперь уже в голосе его явно слышалось ехидство.

— Вы занимали особое место в его жизни. В конце концов, вы ведь очень долго работали вместе. У вас одинаковый опыт за плечами. Нам кажется, что е трудную минуту Лео, нуждаясь в совете, в

деньгах или еще в какой-нибудь помощи, мог инстинктивно обратиться к вам. Нам думается, что он мог бы даже искать у вас защиты.

Прашко снова внимательно поглядел на свежие рубцы на лице Тернера.

— Защиты? — повторил он, почти не шевеля губами, словно предпочел бы сделать вид, что не произносил этого слова. — С таким же успехом вы могли бы защищать... — Капельки пота внезапно проступили у него на лбу, словно это осел пар, висящий в воздухе, — Уйди отсюда, — сказал он девушке.

Без единого слова она поднялась, рассеянно улыбнулась всем троим и неторопливо вышла из ресторана, и Тернер с совершенно неуместным и неожиданным для себя легкомыслием проводил восхищенным взглядом ее соблазнительно покачивающиеся бедра. А Брэдфилд уже заговорил снова.

— У нас очень мало времени, — торопливо промолвил он, наклонившись над столом. — Вы были с ним в Гамбурге и в Берлине. Существуют кое-какие обстоятельства, известные, возможно, только вам двоим. Вы меня слушаете?

Прашко молча ждал.

— Если только вы в состоянии помочь нам

разыскать его, не поднимая шума, если вам известно, где он скрывается, и вы можете воздействовать на него, если вы можете хоть что-нибудь предпринять во имя старой дружбы, я беру на себя сохранение тайны и обещаю мягко обойтись с ним. Ни ваше имя, ни чье-либо другое не будет при этом нигде фигурировать.

Теперь уже Тернер ждал, переводя взгляд с одного лица на другое. Прашко выдавал только струившийся по его лицу пот, Брэдфилда — только крепко зажатая в пальцах ручка. Он сжимал ее, низко наклонившись над столом. За окном серые колонны замерли в ожидании; двое в углу тупо наблюдали за происходящим, поедая булочки с маслом. — Я отправлю его в Англию. Я удалю его из Германии навсегда, если это необходимо. Он себя уже достаточно скомпрометировал; не может быть и речи о том, чтобы мы снова стали прибегать к его услугам. Он позволил себе… Своим поведением он поставил себя в положение, лишающее его нашей поддержки, вы понимаете, что я хочу сказать? Любые сведения, какими он может обладать, являются исключительно собственностью английской короны… — Он откинулся на спинку стула. — Мы должны разыскать его прежде, чем это сделают они, — сказал он, но

Прашко по-прежнему не говорил ни слова и не сводил с Брэдфилда жесткого взгляда маленьких, заплывших жиром глаз. — Я учитываю также, — продолжал Брэдфилд, — что у вас может иметься личная заинтересованность в тех или иных вопросах, которая должна быть удовлетворена.

Прашко заерзал на стуле.

— Полегче, — сказал он.

— Я меньше всего собираюсь вмешиваться во внутренние дела Федеративной республики. Ваши политические устремления, будущее вашей партии в свете нового Движения — все эти вопросы лежат вне сферы наших интересов. Я здесь для того, чтобы охранять наш союз, а не для того, чтобы становиться в позу судьи по отношению к союзнику.

Совершенно неожиданно Прашко улыбнулся.

— Отлично сказано, — заметил он.

— Ваша двадцатилетней давности связь с Гартингом, ваши взаимоотношения с некоторыми органами, близки ми английским правительственным кругам…

— Это никому не известно, — быстро перебил его Прашко. — Выражайтесь осторожнее, черт побери!

— Я как раз намеревался предложить то же

самое вам, — сказал Брэдфилд. Улыбка Прашко вызвала у не го ответную улыбку облегчения. — Я совершенно так же, как и вы, не хочу, чтобы про наше посольство говорили, будто мы питаем к кому-то дурные чувства, поносим видных немецких политических деятелей, выволакиваем на свет божий старые, давно похороненные дела, что мы солидаризируемся со странами, не симпатизирующими внутренней политике Германии, и поставили своей задачей бесчестить Федеративную республику. Я совершенно убежден, что и вы также не заинтересованы в том, чтобы про вас — в вашей сфере — распространялись подобного рода слухи. Я хочу указать лишь на общность наших интересов.

— Ясно, — сказал Прашко. Его изборожденное морщинами лицо оставалось непроницаемым.

— И у вас, как у нас, есть свои негодяи. Мы не должны позволять им становиться между нами.

— Боже упаси! — сказал Прашко, покосившись на синяки и ссадины Тернера. — У нас, помимо того, есть еще довольно странные друзья. Это Лео так вас отделал?

— Они сидят в углу, — сказал Тернер. — Это их работа. Они сделают то же самое и с ним, дайте им только до него добраться.

— Ладно, — сказал наконец Прашко. — Я готов помочь вам. Мы с ним обедали вместе. С тех пор я его больше не видел. Что надо этой обезьяне?

— Брэдфилд! — кричал Зааб через весь зал. — Скоро, наконец?

— Я же вам сказал, Карл-Гейнц: мы не собираемся делать никаких заявлений.

— Мы просто потолковали, вот и все. Я не так-то часто встречался с ним. Он позвонил мне: может, встретимся, пообедаем? Я сказал: давай завтра. — Прашко развел руками, словно фокусник, показывающий, что он ничего не прячет в рукаве.

— О чем же вы толковали? — спросил Тернер. Прашко пожал плечами и поглядел на обоих собеседников.

— Вы знаете, как это бывает с давними друзьями. Лео — славный малый, но… Словом, люди меняются. А может быть, мы не хотим, чтобы нам напоминали о том, что ни чего не меняется. Вспоминали прошлое, Лео немного вы пил. Ну, вы знаете, как это бывает при таких встречах.

— Какое прошлое? — настойчиво спросил Тернер, и Прашко зло на него поглядел.

— Известно какое: Англию. Дерьмовое было время. Вы знаете, как мы попали в Англию — я

и Лео? Мы были желторотые. Знаете, как мы попали? Его фамилия начина лась с буквы Г, а моя — с П. Так я переделал П на Б. Гартинг Лео, Брашко Гарри. Такие были времена. Нам повезло, что мы не были Цейсе или Цахари — где бы мы тогда стояли в списке? Англичане не любили второй половины алфавита. Вот про это мы с ним и толковали: про то, как нас отправили в Дувр на палубе, бесплатно. Про те проклятые времена. Про эту чертову сельскохозяйственную школу в Шептон-Маллете. Вам знакома эта вонючая школа? Может, ее теперь подновили наконец? Может, уже и этот старикашка помер, который готов был нас изничтожить за то, что мы — немцы, и говорил, что только благодаря англичанам мы еще живы. Знаете, чему научились мы в Шептон-Маллете? Итальянскому языку. От военнопленных. Только с этими несчастными и можно было поговорить! — Он повернулся к Брэдфилду. — Кто этот нацист, между прочим? — спросил он и вдруг расхохотался. — Вы что, думаете, что я псих? Ну да, я обедал с Лео.

— И он поведал вам о каких-то там затруднениях? — спросил Брэдфилд.

— Он хотел узнать насчет нового закона, — ответил Прашко, все еще продолжая ухмыляться.

— Закона об истечении срока давности?

— Вот именно. Хотел узнать про закон.

— Применительно к определенному случаю?

— Почему к определенному?

— Просто я вас спрашиваю.

— Мне показалось, что вы имели в виду какой-то определенный случай.

— Значит, он интересовался этим вообще, с чисто юридической точки зрения?

— Разумеется.

— С какой стороны и кому могло это пойти на пользу, хотелось бы мне знать? Никто из нас не заинтересован в том, чтобы выкапывать из могилы прошлое.

— И это правильно, вы так считаете?

— Это — здравый смысл, — сухо сказал Брэдфилд, — что, как я полагаю, должно иметь в ваших глазах больше веса, чем любые мои заверения. Так что же хотел он знать?

Теперь Прашко говорил, взвешивая каждое слово.

— Он хотел понять причину. Хотел понять внутренний смысл. Тогда я сказал ему: это не новый закон, это закон старый. Он должен положить конец некоторым вещам. Каждая страна имеет свой последний суд — место, дальше кото-

рого уже идти некуда. Правильно? И в Германии так же точно должен быть конечный день. Я разговаривал с ним, как с ребенком — он ведь до черта наивен, вы это знаете? Блаженный. Я сказал: «Слушай, ты проехал на велосипеде без фонаря, так? Если по прошествии четырех месяцев это не будет обнаружено, ты чист. Если ты совершишь не предумышленное убийство, тогда это уже не четыре месяца, а пятнадцать лет, если убийство с заранее обдуманным намерением — двадцать лет. А если это предумышленное убийство, совершенное нацистом, — срок еще больше, добавляется дополнительное время». Они ждали несколько лет, прежде чем начать отсчитывать до двадцати. Если они не поднимают дела, обвинение теряет силу. Я сказал ему: «Слушай, они валяли с этим дурака, пока все едва не отошло в область предания». Они вносили поправки, чтобы угодить королеве, они вносили поправки, чтобы угодить самим себе; сначала они начинали исчислять с сорок пятого, затем с сорок девятого, а теперь уже пересчитали все заново. — Прашко развел руками. — Ну и тут он принялся на меня кричать: «Какого черта вы делаете неприкосновенную святыню из этих двадцати лет!» «Никто не делает никакой

святыни из двадцати лет. Никто ни из чего не делает святыни, будь все трижды проклято. Но мы состарились. Мы устали. Мы вымираем». Вот что я ему сказал: «Не знаю, что ты забрал в свою дурацкую башку, только все это бред. Все всегда идет к одному концу. Моралисты говорят, что это нравственный закон; другие говорят, что это целесообразность. Послушайся меня, я твой друг и я, Прашко, говорю тебе: это факты, это жизнь, и нечего валять дурака!» Тогда он разозлился. Видали вы когда-нибудь, как он злится?

— Нет.

— После обеда я привез его сюда обратно. Мы все еще продолжали спорить, понимаете? Всю дорогу, пока ехали в машине. Потом сели за этот столик. Вот как раз сюда, где мы сейчас сидим. «Может быть, мне удастся получить новую информацию», — сказал он. А я ответил: «Если ты получишь новую информацию, забудь о ней, потому что ты все равно ни черта не добьешься, только понапрасну потратишь время. Ты опоздал. Это закон».

— Он, случайно, не намекнул, что **уже получил** эту информацию?

— А он ее получил? — сразу же спросил Прашко.

— Не думаю, чтобы она существовала.

Прашко медленно кивнул, теперь он все время смотрел на Брэдфилда.

— Так что же произошло потом? — спросил Тернер.

— Ничего. Я сказал ему: «Ладно, ты докажешь непредумышленное убийство — в этом случае ты уже опоздал на несколько лет. Ты докажешь убийство с заранее обдуманным намерением — в этом случае ты тоже опоздал уже с декабря. Так что катись к такой-то матери». Вот что я ему сказал. Тогда он схватил меня за руку и зашептал, словно какой-то выживший из ума изувер: «Ни один закон не может измерить то, что они сотворили. Ты и я, мы с тобой это знаем. В храмах проповедуют: Христос был рожден непорочной девой Марией и на светящемся облаке вознесся на небо. И миллионы людей верят в это. Ты знаешь, каждое воскресенье я играю в часовне на органе и слышу эти проповеди». Это правда?

— Да, он играл на органе в часовне, — сказал Брэдфилд.

— Бог ты мой! — искренне изумился Прашко. — Лео в часовне?

— Да, на протяжении многих лет.

— Ну, и потом он понесся дальше: «Но мы с

тобой, Прашко, ты и я, мы в свое время видели живых свидетелей дьявольского зла». Вот что он сказал. «Не на вершине горы, не во мраке ночи, а там, на равнине, где стояли мы все. Мы — в особом положении. **А теперь все это повторяется снова»**.

Тернер хотел что-то сказать, но Брэдфилд остановил его.

— Тогда я разозлился, черт побери, и сказал ему: «Ты брось разыгрывать передо мной Христа-спасителя. Перестань вопить о нюрнбергской справедливости на века — она длилась четыре года. Закон по крайней мере дал нам хотя бы двадцать лет. Да и кто навязал нам этот закон, в конце-то концов? Вы, англичане, могли заставить нас изменить его. Когда вы все передавали в наши руки, вы могли сказать: эй, вы, чертовы немцы, занимайтесь правосудием, разбирайте преступления в ваших собственных судах, выносите приговоры в соответствии с вашим уголовным кодексом, но сначала аннулируйте закон. Значит, вы были соучастниками: и теперь вы — соучастники. Только теперь со всем этим покончено навсегда. Да, черт побери, со всем этим покончено». Вот что я ему сказал. А он только все глядел на меня и повторял: «Прашко, Прашко».

Он вынул из кармана носовой платок, вытер лоб, потом рот.

— Не обращайте внимания, — сказал он. — У меня нервы не в порядке. Вы знаете, что такое политики. Я сказал ему, когда он стоял и таращил на меня глаза, я сказал ему: «Это моя страна, ясно? Если что-то еще колотится у меня в груди, так оно принадлежит этой стране, этому борделю. Я сам не раз удивлялся — почему? Почему не Букингемскому дворцу? Почему не цивилизации кока-колы? Но это моя родина. И это то, что ты должен для себя найти, — родину, а не просто, черт побери, посольство». А он все продолжал таращить на меня глаза. Я и сам, думал, спячу, говорю вам. Я сказал ему: «Ладно, предположим, ты найдешь доказательства. Скажи мне, к чему все это: преступление совершил в тридцать лет, наказание получил в шестьдесят? Какой в этом смысл? Мы все уже старики, — сказал я ему, — и ты, и я. Знаешь, чему учил нас ГЈте: никто не может наблюдать заход солнца дольше четверти часа». А он сказал мне: «Все начинается сначала. Погляди на эти лица. Прашко, прислушайся к речам. Кто-то должен обуздать этого негодяя, иначе на нас с тобой снова нацепят бирки».

Первым заговорил Брэдфилд:

— Если бы он обнаружил доказательства, чего, как мы знаем, ему сделать не удалось, как бы он тогда посту пил? Если бы он не искал их, а уже ими обладал, что тогда?

— О господи, говорю же вам: он бы совсем ополоумел.

— Кто такая Айкман? — спросил Тернер, прерывая затянувшееся молчание.

— О чем вы, приятель?

— Айкман. Кто они — мисс Айкман, мисс Этлинг и мисс Брандт? Он был помолвлен с Айкман когда-то.

— Просто женщина, с которой он жил в Берлине. А может, это было в Гамбурге? А может, и там и там. Черт, все стал забывать, все на свете. Слава тебе господи, а?

— Что с ней сталось?

— Понятия не имею, — сказал Прашко. Его сощуренные глазки на темном лице казались трещинами в коре старого дерева.

Два бледных лунообразных лица продолжали вести наблюдение из своего угла, две пары бледных рук покоились на столе, словно на минуту отложенное в сторону оружие. Громкоговоритель выкрикнул имя Прашко: фракция ждала его появления.

— Вы предали его, — сказал Тернер. — Вы натравили на него Зибкрона. Вы предали его со всеми потрохами. Он многое раскрыл вам, а вы предупредили Зибкрона, потому что вам хочется забраться повыше.

— Спокойнее, — сказал Брэдфилд. — Спокойнее.

— Вы — вонючий подонок, — прошипел Тернер. — Вы убьете его. Он сказал вам, что получил доказательства, открыл вам все и просил у вас помощи, а вы натравили на него Зибкрона, чтобы тот расправился с ним. Вы были его другом, и вот что вы сделали.

— Он же сумасшедший, — прошептал Прашко. — Вы что, не понимаете — он сумасшедший! Вы же не видели его тогда, в те дни. Вы не видели его и Карфельда там, в подвале. Вы думаете, что эти молодчики так уж крепко поработали над вами? Карфельд слова не мог произнести, а Лео: «Говори! Говори!» — Прищуренные глаза Прашко совсем сузились. — Когда мы увидели эти трупы на поле… они были связаны все вместе. Их связали вместе, прежде чем отравить газом. И тут он совсем рехнулся. Я сказал ему: «Слушай, это не твоя вина, не твоя вина, что ты остался жив!» Он, между прочим, не показывал вам пуговицы?

Лагерные деньги? Вы этого ни разу не видели? Ни разу не ходили с ним выпивать, прихватив с собой двух девчонок? Вы не видели, как он расплачивается деревянными пуговицами, чтобы затеять драку? Говорю вам, он — сумасшедший. Слушайте, знаете, откуда у него эти пуговицы? Он срезал их! Срезал их с одежды одного из трупов! Слыхали, чтобы кто-нибудь делал такое?

— С какого трупа? С одного из шести миллионов?

— Я сказал ему, когда мы сидели здесь, — заикаясь, пробормотал Прашко: «Брось это, пошли отсюда. Еще ни кому не удавалось построить в Германии Иерусалим. Что тебя гложет? Пойди лучше переспи с какой-нибудь девчонкой!» Я сказал ему: «Послушай! Надо иметь голову на плечах и держать себя в узде, иначе мы все сойдем с ума». Он — блаженный. Блаженный безумец, который не может ничего забыть. Что такое, по-вашему, наш мир? Танцкласс для кучки безумцев — полоумных проповедников нравственности? Ясное дело, я сказал Зибкрону. Голова у вас работает, приятель, но и вам придется научиться забывать. Черт побери, если уж англичане этого не могут, так кто же может?

Когда они прошли в холл, там стоял крик. Два

студента в кожаных пальто прорвались сквозь кордон у дверей и уже на лестнице сражались со швейцарами. Какой-то пожилой депутат прижимал ко рту носовой платок, и кровь стекала ему на кашне.

— Нацисты! — выкрикнул кто-то. — Нацисты! — снова закричал кто-то, указывая на студента, стоявшего на балконе.

— Назад, в ресторан, — сказал Брэдфилд, — мы можем выйти другим ходом.

Ресторан внезапно опустел. Депутаты и остальные посетители разбрелись кто куда, одни — привлеченные криками в холле, другие — отпугнутые ими же. Брэдфилд не позволял себе бежать, но шел быстрым четким шагом, как на марше. Они вышли в сводчатую галерею. В витрине галантерейного магазина были выставлены черные портфели из тонкой телячьей кожи. В другой витрине парикмахер взбивал пену на лице невидимого клиента.

— Брэдфилд, да послушайте же меня! Господи боже мой, я же хочу предупредить вас о том, что они говорят!

Зааб совершенно запыхался. Его объемистый живот колыхался под засаленной курткой. Капли пота, словно слезы, поблескивали под желтыми,

набрякшими веками. Из-за его плеча высовывалась багровая физиономия Аллертона в ореоле черной гривы. Все направлялись к выходу. В конце галереи было уже тихо, в холле тоже воцарился порядок.

— Кто и что говорит? Вместо Зааба ответил Аллертон:

— Весь Бонн говорит, старина. Вся чертова бумагомаральня.

— Слушайте. Ходят слухи. Слушайте. Бог знает, чего только не болтают. Вам известно, что произошло в Ганновере? Вы знаете, почему они взбесились? Об этом шепчутся во всех кафе: делегаты, карфельдовские приспешники — все распускают эти слухи. Они расползлись уже по всему Бонну. А им было дано предписание молчать. Загадочная история, фантастика!

Зааб торопливо оглянулся по сторонам.

— Самая большая сенсация за все годы, — сказал Аллертон. — Даже для этого унылого захолустья.

— Почему во время демонстрации они там, впереди, сломали ряды и ринулись как бешеные в библиотеку? Они — эти молодчики, которых везли в серых автобусах? Кто-то стрелял в Карфельда. Когда оркестр заиграл особенно громко, кто-то выстрелил в него из окна библиотеки.

Какой-то дружок этой женщины-библиотекарши, Эйк. Она работала в Берлине с англичанами. Эмигрантка. Сменила свою фамилию на Эйк. Она впустила его, чтобы он мог выстрелить из окна. Потом, перед смертью, она во всем призналась Зибкрону. Эйк. Охрана видела, как он стрелял. Карфельдовская охрана. Когда наяривал оркестр. Они увидели человека, стрелявшего из окна, и бросились, чтобы схватить его. Охранники, слышите, Брэдфилд! Охранники, которых привезли в серых автобусах. Брэдфилд, вы только послушайте, что они говорят! Они нашли пулю, револьверную пулю английского образца. Вы понимаете теперь? Англичане совершают покушение на Карфельда — вот какие распускаются слухи. Фантастика! Вы должны положить этому конец. Поговорите с Зибкроном. Карфельд жутко напуган: он страшней трус. Понимаете, почему он стал так осторожен, почему строит повсюду эти чертовы Schafott? Как, черт побери, это называется?

— Эшафот, — сказал Тернер.

Толпа, хлынувшая из холла, вынесла их на свежий воздух.

— Эшафот! Все это строжайшая тайна, Брэдфилд! Только для вашего личного сведения! —

Уже издали они услышали его крик: — Упаси вас бог ссылаться на меня. Зибкрон рассвирепеет. Фантастика!

— Можете быть совершенно спокойны, Карл-Гейнц, — прозвучал среди всей этой суматохи почти неестественно уравновешенный голос, — никто не злоупотребит вашим доверием.

— Послушайте, старина, — Аллертон наклонился к самому уху Тернера. Он был небрит, черные лохмы его взмокли от пота. — Что случилось с Лео? Он словно сквозь землю провалился. Говорят, эта самая Эйк была в свое время весьма лихая девчонка и работала вместе с «охотниками за черепами» в Гамбурге. А кто это вас так разукрасил, старина? Слишком рано полезли ей под юбку, а?

— Это не для печати, — сказал Брэдфилд.

— Нет, пока еще нет, старина, — сказал Аллертон.

— Не пока, а вообще.

— Говорят, он едва не прикончил его в Бонне, в ночь накануне ганноверского митинга. Просто не был вполне уверен, что это он. Карфельд шел с секретного совещания, направлялся к условленному месту, и только чистая случайность спасла его от Лео. Просто зибкроновские молодчики подоспели как раз вовремя.

Вдоль набережной неподвижные колонны замерли в терпеливом ожидании. Слабый ветерок чуть колыхал черные флаги. На другом берегу за синеватой стеной деревьев заводские трубы лениво выдыхали дым в унылом свете пасмурного утра. У края воды томились в бездействии маленькие лодочки — яркие мазки на серой траве. Тернер посмотрел влево — на старую лодочную пристань, которую еще не успели снести. Вывеска доводила до общего сведения, что пристань является собственностью факультета физического воспитания Боннского университета.

Они стояли вдоль берега, ряд к ряду. Тонкая пленка тумана, словно след дыхания на стекле, заволакивала бурый горизонт и мост через реку. Ни шороха — только отзвуки чего-то скрытого от глаз: крик затерявшейся чайки, жалобный стон заблудившейся баржи, неустанное стенанье невидимых дрелей. Казалось, не люди, а серые тени выстроились там вдоль берега реки, и даже человеческие шаги звучали как-то отрешенно; дождя не было, но влага тумана порой ощущалась на лице, словно пульсация крови под разгоряченной кожей. Это не суда, а погребальные дроги плыли вниз по течению, неся свои дары богам севера; и все было лишено запаха, только откуда-то,

из глубины материка, тянуло углем и металлом.

— Карфельда упрятали до вечера, — сказал Брэдфилд. — Об этом позаботился Зибкрон. Ждут, что тот сделает новую попытку сегодня вечером. И он ее сделает. — И Брэдфилд, помолчав, повторил все слово в слово от начала до конца, точно заучивая формулу: — Пока не начнется демонстрация, Карфельд не выйдет из своего убежища. После демонстрации Карфельда снова спрячут. Возможности самого Гартинга крайне ограниченны — он знает, что ему недолго разгуливать на свободе. Значит, он сделает попытку сегодня вечером.

— Айкман умерла, — сказал Тернер. — Они убили ее.

— Да. Он будет пытаться сегодня вечером.

— Заставьте Зибкрона отменить митинг.

— Будь это в моей власти, я бы так и поступил. Да и Зибкрон, будь это в его власти, — тоже. Но теперь уже поздно. — Он указал на серые колонны.

Тернер поглядел на него в упор.

— Нет, не могу себе представить, чтобы Карфельд, как бы ни был он напуган, отменил митинг, — сказал Брэд филд, словно сомнение промелькнуло на миг в его уме, но он тут же его отмел. — Этот митинг — кульминация, он

должен увенчать собой кампанию, проведенную им в провинциях. Он нарочно приурочил все к этому дню — к самому острому моменту брюссельских переговоров. Он уже на полпути к полной победе.

Брэдфилд повернулся и медленно зашагал по тротуару к стоянке машин. Серые колонны наблюдали за ним в молчании.

— Возвращайтесь в посольство. Возьмите такси. С этой минуты всякое передвижение по городу исключается. Ни один человек не должен покидать посольства, нарушение запрета повлечет за собой увольнение. Сообщите об этом де Лиллу. Расскажите ему также обо всем, что произошло, подготовьте все документы, так или иначе относящиеся к Карфельду, и отложите их до моего возвращения. Все, что освещает его деятельность: доклад группы по расследованию преступлений, его работу на соискание степени — все, что имеется в «святая святых» и может пролить свет. Я вернусь сразу же после обеда.

Он отворил дверцу машины.

— Какое у вас соглашение с Зибкроном? — спросил Тернер. — В чем его тайный смысл?

— Нет никакого соглашения. Либо они уничтожат Гар тинга, либо Гартинг уничтожит

Карфельда. И в том, и в другом случае я должен дезавуировать его. И только это существенно в настоящий момент. Может быть, вы предложи те мне какой-либо другой образ действий? Вам известен другой выход из создавшегося положения? Я информирую Зибкрона, что порядок будет восстановлен. Я дам ему слово, что мы не имеем никакого отношения к деятельности Гартинга и ничего о ней не знаем. Можете вы предложить мне другое решение проблемы? Я буду вам признателен.

Он включил мотор. Серые колонны зашевелились, любопытствуя: им нравился белый «ягуар».

— Брэдфилд! — Да?

— Прошу вас. Еще пять минут. Я еще не все карты выложил на стол. Существует еще кое-что, о чем мы ни разу не вспомнили. Брэдфилд!

Ни слова не говоря, Брэдфилд отворил дверцу и вышел из машины.

— Вы говорите, что мы не имеем к нему отношения. Мы имеем. Он — создание наших рук, и вы это знаете, это мы сделали его тем, что он есть, мы перемололи его на этой мельнице, между тем миром и нашим, мы загнали его внутрь самого себя, заставили его увидеть то, чего никто не должен видеть, услышать то… Мы заставили его

пуститься в это странствие в одиночку — вы не знаете, каково ему было одному там, внизу. А я знаю! Брэдфилд, послушайте! **Мы вдолгу перед ним.** И он знает это.

— Перед каждым из нас кто-то в долгу. Мало кому будет оплачен этот долг.

— Вы намеренно хотите уничтожить его! Вы не хотите ничего для него сделать! Вы хотите отречься от него, потому что он был ее любовником! Потому что…

— О боже мой, — тихо произнес Брэдфилд. — Если бы я поставил перед собой такую задачу, мне пришлось бы убить больше, чем тридцать два человека. И это все, что вы хотели мне сказать?

— Обождите! Брюссель… Общий рынок… И все это… На будущей неделе главным на повестке дня станет курс фунта, еще через неделю — Варшавский договор. Да мы, черт подери, вступим в Армию Спасения, стоит только американцам этого пожелать. Какое значение имеют все эти ярлыки? Вы же яснее всякого другого видите, что происходит, куда нас несет! Почему же вы позволяете себе плыть по течению? Почему не скажете «стоп»?

— А что я могу сделать для Гартинга? Скажите, что могу я сделать, если не отречься от него? Вы

знаете наше положение здесь. Политический кризис — явление строго определенное. Скандальные происшествия — вещь расплывчатая. Неужели вы до сих пор не поняли, что значение имеет лишь видимость явлений, а не их суть?

Тернер в отчаянии поглядел по сторонам, как бы ища поддержки.

— Это неправда! Не можете вы в такой мере быть ра бом показной стороны явлений.

— А что еще остается, если внутри все прогнило насквозь? Сломайте тонкую пленку видимости, и мы погибли. Это то, что сделал Гартинг. Я лицемер, — без малейшей рисовки сказал он. — Я глубоко верю в необходимость лицемерия. Только этим путем мы ближе всего соприкасаемся с добродетелью. Лицемерие — декларация того, чем мы должны были бы быть. Как религия, как искусство, как за кон, как брак. Я поклоняюсь внешней стороне явлений. Это худшая из религий, но она лучше всех остальных. Такова моя профессия, такова моя философия. И в отличие от вас, — добавил он, — я не поставил себя на службу мощной державе, тем более — державе добродетельной. Всякая власть порочна. Отсутствие власти — порочнее во сто крат. Америка показала нам в этом смысле пример, мы должны

быть ей благодарны. Все абсолютно правильно. Мы — загнивающая страна, и мы принуждены принимать любую помощь, какую нам предложат. Это прискорбно и, признаюсь, порой весьма унизительно. Тем не менее, по-моему, предпочтительнее потерпеть поражение как сила, чем уцелеть за счет бессилия. Предпочтительнее быть поверженным, чем стоять в стороне от схватки. Предпочтительнее быть англичанином, чем швейцарцем. В отличие от вас я не надеюсь ни на что. Я не возлагаю никаких надежд на общественное устройство, как не возлагаю их на людей. Итак, это все, что вы можете мне предложить? Я разочарован.

— Брэдфилд, я ведь теперь знаю ее. И я знаю вас и понимаю, что вы должны чувствовать! Вы ненавидите его. Вы ненавидите его сильнее, чем хотите себе в этом признаться. Вы ненавидите его за то, что он способен **чувствовать**: за то, что он может любить, даже за то, что он честен, за то, что он разбудил ее. За то, что принизил вас в ее глазах. Вы ненавидите его за каждое мгновение, которое она отдала ему, — за каждую ее мысль о нем, мечту о нем!

— И тем не менее вы ничего не можете предложить. Насколько я понимаю, все ваши минуты

уже истекли. Да, он совершил преступление, — добавил он небрежно, словно мимоходом возвращаясь к уже обсуждавшемуся вопросу, — Да. Совершил. И не столько против меня, как вы, вероятно, полагаете, сколько против порядка, созданного из хаоса; против укоренившегося шаблона бесцельного существования. Какое имел он право изливать свою ненависть на Карфельда и какое имел он право… Никто не давал ему права помнить. Если у вас и у меня остается еще какая-то цель в жизни — она в том, чтобы спасти мир от подобных посягательств.

— Да он один-единственный — вы слышите? — он один-единственный среди всех нас живой, настоящий! Единственный, кто сохранил веру и способен действовать! Для вас все это — бездушная, бессмысленная игра, традиционная и глупая семейная игра вроде лото, вот что это такое для вас — просто игра. А для Лео это неотделимо от него самого! Он знает, чего он хочет, и все сделает, чтобы этого достичь!

— Да. И уже этого достаточно, чтобы вынести ему приговор. — Брэдфилд забыл про Тернера в эту минуту. — Для таких, как он, больше нет места на земле. Хотя бы один этот урок мы все-таки сумели вынести из прошлого, благодарение

небу! — Его взгляд был устремлен на реку. — Мы познали, что даже ничто — это довольно хрупкий цветок. Послушать вас, так одни вносят свою лепту, а другие — нет. Словно все мы трудимся во имя того дня, когда не будем больше никому нужны, когда мир получит возможность сложить оружие и возделывать свой сад. Но результата нет, его не существует. Завершающий день не настанет никогда. Сегодняшний день — вот ради чего мы живем. Настоящее. То, что происходит сейчас, сию минуту. Каждую ночь, ложась спать, я говорю себе: вот и еще один день отвоеван. Мир отсчитал еще один день противоестественной жизни на смертном одре. И если я больше никогда не открою глаз, быть может, все то же самое будет продолжаться еще сотни лет. Да. — Он говорил, стоя лицом к реке. — Наша политика подобна этому течению — тоже то на три дюйма выше, то ниже. Три дюйма свободного выбора — вот предел нашей деятельности. Вне его — анархия и все эти романтические западни совести и протеста. Все мы жаждем большей свободы — каждый из нас. Ее не существует. Когда мы примем эту непреложную истину, нам будет спаться легко. Гартинг прежде всего не имел права спускаться туда, вниз. А вы обязаны были вернуться в Лон-

дон, когда получили мое распоряжение. Закон об истечении срока давности преступлений — это приказ забыть. Гартинг нарушил его, Прашко прав: Гартинг нарушил закон равновесия.

— Но мы же не роботы! Мы рождаемся на свет свободными от всех этих пут, я верю в это! Мы не властны над собственным рассудком, не можем диктовать ему свою волю!

— Боже милостивый, кто вам это сказал? — Он обернулся к Тернеру, в глазах его стояли слезы. — В течение восемнадцати лет моего брака и двадцати лет дипломатической службы я подчинял рассудок воле. Половину своей жизни я потратил на то, чтобы научиться не видеть, а другую половину — на то, чтобы научиться не чувствовать. И вы думаете, что после этого я не способен научиться забывать? Боже мой, порой меня гнетет то, чего я не знаю! Так какого же черта, почему не может забыть и он? Вы думаете, мне доставляет удовольствие то, что я вынужден делать? Разве вы не понимаете, что это он принудил меня к этому? Он заварил всю эту кашу, а не я! Его чудовищное бесстыдство…

— Брэдфилд! А что же, по-вашему, Карфельд? Разве Карфельд также не преступил все границы дозволенного?

— Что касается Карфельда, то в этом случае существуют различные способы воздействия. — Его голос снова обрел свою обычную непроницаемость.

— Лео нашел способ.

— Неправильный, как выяснилось.

— Почему неправильный?

— Не все ли вам равно — почему.

Он снова не спеша направился к машине, но Тернер опять закричал ему вслед:

— Что заставило Лео скрыться? Он что-то прочел. Он выкрал что-то. Что было в этой Зеленой папке? Что представляли собой эти «Беседы официальные и неофициальные» с немецкими политическими деятелями? Брэдфилд! Кто их вел и с кем?

— Умерьте ваш голос — они услышат.

— Скажите мне! В ы вели переговоры с Карфельдом? Вот что заставило Лео отправиться на эту ночную прогулку! Вот откуда все пошло!

Брэдфилд ничего не ответил.

— Господи помилуй! — прошептал Тернер. — В конце концов мы, значит, ничем не отличаемся от них. Мы такие же, как Зибкрон и Прашко: мы просто ставим на ту лошадку, у которой есть шансы завтра прийти первой!

— Тише! — предостерег его Брэдфилд.

— Аллертон… То, что сказал Аллертон…

— Аллертон? Ему ничего не известно!

— В ту пятницу вечером Карфельд приехал сюда из Ганновера. На совещание. В Бонне никто об этом не был оповещен. Все держалось в такой тайне, что он от вокзала шел пешком. Вы в тот вечер, в ту пятницу, так и не поехали в Ганновер в конце концов. Ваши намерения изменились, вы возвратили билет. Лео узнал об этом через служащих транспортного отдела…

— Вы несете какой-то вздор.

— Вы встретились с Карфельдом в Бонне. Встречу организовал Зибкрон, а Лео выследил вас, потому что он уже знал, что вы задумали!

— Вы не в своем уме.

— Нет, я в своем уме. А вот Лео действительно мог сойти с ума. Потому что у него возникли подозрения. Он все время в глубине души был уверен, что вы втайне подстраховываете себя на случай провала в Брюсселе. Однако до тех пор, пока он не увидел Зеленой папки, до тех пор, пока он полностью не убедился во всем, ему еще казалось возможным действовать в рамках закона. Но ознакомившись с содержанием Зеленой папки, он понял: да, в самом деле, все повторяется снача-

ла. Теперь он знал. Вот почему он начал спешить. Он должен был остановить вас… Он должен был остановить Карфельда, пока не поздно! Брэдфилд не проронил ни звука.

— Что было в Зеленой папке, Брэдфилд? Почему он взял ее с собой, словно залог любви? Почему именно **эту** единственную папку он унес? Потому что в ней были протоколы этих самых переговоров, не так ли? Вот чем он вызвал ваш огонь на себя! Вам нужно было во что бы то ни стало вернуть себе папку. Вы подписывали эти протоколы, Брэдфилд? Вот этим самым вашим на все готовым пером? — Его светлые глаза горели гневом. — Давайте-ка сообразим, когда именно выкрал он спецсумку — в пятницу… В пятницу утром его подозрения подтвердились, не так ли? Он увидел все черным по белому на бумаге: это было еще одно доказательство тому, что он искал. Он отправился с этим к Айкман. «Они снова берутся за старое… Мы должны поло жить этому конец, пока не поздно… Мы не как все, мы — избранники». Вот почему он унес Зеленую папку! Чтобы показать им. «Дети, глядите, — хотел он сказать всем, — история и в самом деле повторяется, и это далеко не фарс!»

— В папке были совершенно секретные доку-

менты. За одно это он мог на долгие годы сесть за решетку.

— Но он не сядет, потому что вам нужна папка, а не человек. Вот еще одна сторона вашей трехдюймовой свободы.

— А вы бы предпочли, чтобы я оказался фанатиком?

— Все то, что он подозревал уже несколько месяцев, то, что носилось в воздухе Бонна, ползло шепотком, мелькало в отрывочных сведениях, которые он получал от нее, — все это нашло свое подтверждение: англичане оставляли себе на всякий случай лазейку. Небольшая политическая перестраховка — одновременное заигрывание и с Бонном, и с Москвой. Такова ваша игра, Брэдфилд? Что же под всем этим кроется? Неудивительно, черт подери, если Зибкрон думал, что вы ведете тройную игру! Сначала вы делали ставку только на Брюссель, и это было вполне мудро. «Ничто не должно помешать осуществлению наших планов». А за тем вы переметнулись на сторону Карфельда и заручились поддержкой Зибкрона. «Сведите меня с Карфельдом, — сказали вы ему, — но только с соблюдением полнейшей тайны. Англичане интересуются возможностью такого союза».

Интересуются, понятно, совершенно неофициально, учтите. Только нащупывание почвы, встреча с глазу на глаз, учтите. Впрочем, в конечном счете торговое соглашение с Востоком отнюдь не снимается с повестки дня, герр доктор Карфельд, если в один прекрасный день вы окажетесь более надежным союзником, чем эта разваливающаяся коалиция! По правде-то говоря, в последнее время у нас очень сильны антиамериканские настроения: это ведь у нас в крови, вы знаете, герр доктор Карфельд…

— В вас даром пропадает талант…

— И что за этим последовало? Не успел Зибкрон поло жить Карфельда в вашу постель, как ему сообщили такое, что у него кровь заледенела в жилах: британское посольство составляет на Карфельда досье — выволакивает на свет божий все его неприглядное прошлое! Британское посольство уже раздобыло соответствующие документы — **уникальные** документы, Брэдфилд, — и теперь там прикидывают, нельзя ли прибегнуть к шантажу через третьих лиц. Но и это еще не все!

— Нет.

— Не успели Зибкрон и Карфельд оправиться от этого небольшого потрясения, как вы обрушили на их головы более сокрушительный удар. Такой,

что они едва устояли на ногах. Нет, даже Альбион, подумали они, не может быть настолько вероломен: англичане просто-напросто готовят покушение на Карфельда! Это выглядело полнейшим абсурдом, разумеется. Зачем убивать человека, которого вы намерены шантажировать? Они там небось чуть не спятили, теряясь в догадках. Неудивительно, что Зибкрон казался совсем больным во вторник вечером!

— Теперь вы знаете все. Вы проникли в тайну. Так сохраните ее.

— Брэдфилд! — Да?

— Кому желаете вы удачи на этот раз? Сегодня вече ром там на кого вы будете делать ставку, Брэдфилд? На Лео? Или на вашего купленного по дешевке союзника?

Брэдфилд включил мотор.

— Купленные по дешевке союзники!.. Только такие нам еще по карману? На большее у нас уже не хватает пороху? Мы — гордая нация, Брэдфилд! Вы еще можете заполучить Карфельда за полцены, не так ли? Он ненавидит нас, но это не имеет значения. Он сам переползет к нам! Люди меняются. А ведь он думает о нас непрестанно!..

А какой бы это был красивый старт! Небольшой пинок под зад коленом — и он побежит вперед

без оглядки.

— Либо вы здесь, либо там. Либо вы включаетесь в игру, либо нет. — Неуверенная пауза. — Или вы скорее предпочли бы быть швейцарцем?

Не прибавив больше ни слова, даже не взглянув на Тернера, Брэдфилд повел машину вниз с холма, свернул направо и скрылся в направлении Бонна. Тернер долго стоял, глядя ему вслед, а потом зашагал обратно вдоль реки, к стоянке такси. Внезапно за его спиной возник странный таинственный шум: глухой рокот голосов, шарканье ног — невыразимо унылые, невыразимо печальные звуки, печальнее он еще ничего не слышал в жизни. Серые колонны пришли в движение, они медленно двинулись вперед, безликие, тяжеловесные, страшные, — серое безмозглое чудовище, которое уже ничто не в силах остановить… Позади них лесистые очертания горы Чемберлена неясно проступали сквозь туман.

Эпилог

Брэдфилд шел впереди, де Лилл и Тернер — следом. Вечерело. На улицах почти не было движения. Бонн замер. Толпы молчаливых незнакомцев в сером текли по улочкам и переулкам, устремляясь к рыночной площади. Черные флаги лениво колыхались над разливавшимся людским потоком.

Бонн еще не видывал таких лиц. Старые и молодые, сытые и голодные, потерянные и обретенные, мудрецы и тупицы, послушные и непокорные — все дети республики, казалось, поднялись в едином порыве и, построившись в легион, двинулись на ее жалкие бастионы. Были тут люди с гор — темноволосые, кривоногие, тщательно вымытые и причесанные, как для праздника; были клерки, пропахшие нафталином, разрумянившиеся сейчас на свежем воздухе; были и фланеры — неторопливая пехота немецкого променада — в сером габардине и серых фетровых шляпах. Одни несли флаги стыдливо, точно сознавая, что им это уже не по возрасту; другие — как боевые знамена; третьи — как добычу на продажу. Словом, Бирнамский лес пошел

на Дансинан.

Брэдфилд подождал своих — они немного отстали.

— Зибкрон оставил для нас место, мы должны пройти на площадь несколько выше. Придется пробиваться вправо.

Тернер кивнул, еще не дослушав до конца. Он вертел во все стороны головой, стараясь заглянуть в каждое лицо, в каждое окно, в каждую лавчонку, закоулок, проулок. Внезапно он схватил де Лилла за локоть, но человек, привлекший его внимание, уже исчез, затерявшись в текучей толпе.

Не только сама площадь, но и все вокруг — балконы, окна, дверные проемы магазинов, каждая щель, каждый кусок пространства были заполнены белыми пятнами лиц и серыми пальто, зелеными мундирами солдат и полиции. Но люди все прибывали, их становилось все больше и больше, они забили все улицы и переулки, выходившие на площадь, они вытягивали шеи, стараясь увидеть трибуну, с которой будет выступать оратор, искали глазами лидера: безликие люди искали глазами одно лицо, а Тернер пытливо всматривался в толпу, тоже отчаянно стараясь найти лицо человека, которого никогда не видел.

Над головами в лучах прожекторов угрожающе свисали с проводов громкоговорители, а над ними медленно темнело небо.

«Ничего у него не выйдет, — угрюмо думал Тернер, — никогда ему не пробиться сквозь такую толпу». Но тут он снова услышал голос Хейзел Брэдфилд: «У меня был младший брат — отчаянный регбист, и Лео так похож на него, просто не отличишь».

— Берите левее, — сказал Брэдфилд. — Держите на правление на отель.

— Вы англичанин? — спросил женский голос. Так осведомляются за чашкой чая в кругу друзей. — У меня дочь живет в Ярмуте. — Толпа увлекла ее в сторону. Свернутые знамена, опущенные вниз, словно копья, преградили им путь. Знамена образовывали круг, и внутри него стояли студенты-цыгане у своего маленького костра.

— В огонь Акселя Шпрингера! — без особого воодушевления выкрикнул какой-то юнец; какой-то другой разодрал книгу и швырнул ее в огонь. Книга горела плохо, долго задыхаясь в дыму, прежде чем умереть. «Если так поступать с книгами, — подумал Тернер, — то потом недолго взяться и за людей». Несколько девушек полулежали на надувных матрацах, и отблески огня на

их лицах придавали им поэтичность.

— Если мы потеряем друг друга, встретимся у подъезда «Штерна», — распорядился Брэдфилд.

Какой-то мальчишка услышал это и ринулся к ним, подстрекаемый остальными, а две девчонки принялись кричать что-то по-французски.

— Англичане! — заорал юнец; видно было, что он сов сем еще подросток и очень волнуется. — Англичане — свиньи! — Услыхав, как радостно взвизгнули девчонки, он отчаянно замахал тощими кулачками над копьями свернутых знамен. Тернер ускорил шаг, но удар настиг Брэдфилда, попав ему в плечо; Брэдфилд сделал вид, что не заметил. Толпа раздалась, внезапно, по какому-то таинственному закону утратив свою злую волю, и перед ними в глубине площади, подобная сновидению, возникла городская ратуша — заколдованная волшебная гора розоватых леденцов и сусального золота. Законченное изысканное творение, сотканное из тончайшей филиграни и солнечных лучей. Ослепительное, возрождающее в памяти величие Рима и обитые шелком залы дворцов, где несыгранные менуэты де Лилла тешили сердца твердолобых бюргеров. Слева, все еще погруженный в сумрак, отрезанный от этого волшебства световой завесой прожекторов,

нацеленных на здание, ждал помост — ждал, как ждет палач появления владыки.

— Герр Брэдфилд? — спросил бледнолицый сыщик. Он был все в том же кожаном пальто, как тогда, на заре, в КJнингсвинтере. Но в его черной пасти не хватало двух зубов. Услышав это имя, его коллеги обратили к Брэдфилду свои лунообразные физиономии.

— Да, я Брэдфилд.

— Нам приказано освободить для вас место на ступеньках. — Он тщательно выговаривал английские слова, отрепетировав свою маленькую роль для этого пришельца. Радиоприемник в кармане его кожаного пальто затрещал, требуя внимания. Он поднес микрофон ко рту. — Господа дипломаты прибыли, — сказал он, — и находятся в безопасности. Джентльмен из Управления по исследованиям тоже тут.

Тернер в упор посмотрел на его изуродованный рот и улыбнулся.

— Эх ты, педик, — смачно произнес он. Губа у сыщика была рассечена, хотя и не так глубоко, как у Тернера.

— Извините?

— Педик, — повторил Тернер. — Педераст.

— Заткнитесь, — приказал Брэдфилд.

Со ступенек была видна вся площадь. Сумерки сгущались, и прожекторы, восторжествовав над дневным светом, озаряли бледные пятна лиц, плававшие, как белые диски, над темной массой толпы. Дома, магазины, кинотеатры — все растаяло, остались одни островерхие черепичные крыши — сказочные силуэты на фоне темного неба, и это было еще одно сновидение «Сказок Гофмана», игрушечный резной деревянный мирок, немецкая ворожба, чтобы продлить для немца его детство. Высоко над крышей мигала реклама кока-колы, отбрасывая ненатурально-розовые блики на черепичный скат; какой-то заблудившийся луч прожектора шарил по фасадам, заглядывая в пустые витрины магазинов, словно в глаза любовницы. На нижней ступеньке — спиной к лестнице, руки в карманах — стояли шпики: черные фигуры на сером фоне толпы.

— Карфельд появится сбоку, — внезапно сообщил де Лилл. — Из переулка слева.

Проследив за его вытянутой рукой, Тернер впервые заметил почти у самого подножия помоста узкий проулок между аптекой и городской ратушей, совсем узкий — не шире десяти футов, обстроенный с двух сторон высокими зданиями и казавшийся глубоким, как колодец.

— Мы остаемся здесь — ясно? На этих ступеньках. Что бы ни случилось. Мы здесь — наблюдатели, только наблюдатели, ничего больше. — В минуты напряжения сухое лицо Брэдфилда становилось волевым. — Если им удастся его обнаружить, они доставят его нам. Так мы договорились. И мы немедленно увезем его в посольство. Где для безопасности посадим под арест.

Оркестр — вспомнилось Тернеру. Он совершил это в Ганновере, когда оркестр играл особенно громко. Расчет был на то, что музыка заглушит звук выстрела. Ему пришли на память и фены, и он подумал: «Этот человек не из тех, кто станет менять приемы: если один раз сработало, значит, сработает и еще раз — в этом он немец. Как Карфельд со своими серыми автобусами».

Течение его мыслей нарушил гул толпы, взволнованной предвкушением зрелища, — гул, переросший в гневную мольбу, когда лучи прожекторов внезапно погасли, оставив освещенной лишь ратушу — сияющий и чистый алтарь — и группу его служителей, появившихся на балконе. Имена посыпались из бесчисленных ртов, вокруг зазвучала медленная литания:

Тильзит, вон Тильзит, Тильзит, старик-генерал, третий слева, смотри-ка, смотри: он надел

медаль, ту самую, которую хотели у него отнять, военную медаль за отличие, она висит у него на шее. Храбрый человек Тильзит. А вон Мейер-Лотринген — экономист. Ну да, der Grosse (Большой (нем.)), тот, высокий: глядите, как красиво машет он рукой, — еще бы, он ведь из родовитых. Говорят, наполовину Виттельсбах, кровь-то, она всегда скажется. А уж какой ученый — все знает. Смотрите-ка: и священники тут! Епископ! Глядите, глядите, сам епископ благословляет нас. Считайте, сколько раз он благословил нас своей святой рукой! А сейчас смотрит вправо! Вот опять поднял руку! А вон и молодой Гальбах — это горячая голова. Смотрите-ка, смотрите, он в свитере! До чего обнаглел: надеть свитер в такой день. И в Бонне! Эй, Гальбах! Du, toller Hund (Бешеная собака ((нем.))). Но ведь Гальбах — из Берлина, а берлинцы, они, известно, наглецы! Помяните мое слово: придет день, он всех нас поведет за собой, — молодой, а смотрите, до чего преуспел.

Перешептывания слились в рев — утробный, голодный, истошный, страстный, — рев такой мощный, какой не в силах исторгнуть в одиночку человеческая глотка, исполненный такой веры, какой не проникнется в одиночку самая набожная душа, такой любви, какой не может вместить

в одиночку человеческое сердце; этот рев взмыл и сник, упал до шепота, когда раздались первые тихие звуки музыки и видение ратуши исчезло и перед толпой возник помост. Кафедра проповедника, капитанский мостик, дирижерский пульт? Колыбель младенца, скромный гроб из простого тесаного дерева, нечто грандиозное и в то же время целомудренное, деревянная чаша Грааля, вместилище немецкой истины. И на этом помосте — совсем один, один, но неустрашимый, единственный борец за эту истину, обыкновенный человек по имени Карфельд.

— Питер! — Тернер осторожно указал на узкий проулок. Рука его дрожала, но взгляд неотрывно был устремлен в одну точку. Тень? Караульный, ставший на пост?

— Я бы на вашем месте не тыкал так пальцем, — прошептал де Лилл. — Ваш жест может быть неправильно истолкован.

Но никто в эту минуту не обращал на них внимания, ибо все видели только Карфельда.

— Клаус! — ревела толпа. — Клаус с нами!

Дети, помашите ему рукой, Клаус, волшебник, пришел к нам в Бонн на немецких сосновых ходулях.

— А этот Клаус очень смахивает на англичани-

на, — донесся до Тернера шепот де Лилла, — хоть он и ненавидит нас, смертельно ненавидит.

Он казался таким маленьким, стоя там, наверху. Говорили, что он высокий, и было бы совсем нетрудно с помощью всевозможных ухищрений сделать его выше на фут или на два. Но он, видно, сам хотел казаться меньше, словно для того, чтобы подчеркнуть, что великие истины изрекают скромные уста. А он, Карфельд, скромный человек и, совсем как англичане, не любит выставлять себя напоказ. При этом он был человек нервный, и ему явно мешали его очки — у него, видимо, не было времени протереть их в эти трудные дни, и теперь он снял их и принялся вовсю полировать стекла, точно понятия не имел, что на него смотрит толпа. Еще не сказав ни слова, он как бы говорил: это другие — не я — устроили такую церемонию, мы-то с вами, вы и я, знаем, зачем мы здесь.

Давайте помолимся.

— Больно уж яркий свет и бьет ему прямо в глаза, — произнес кто-то, — надо бы поубавить.

Он явно был одним из них, этот, стоявший там один-одинешенек, ученый человек, доктор наук; он башковитый, мозги что надо, но все равно — он один из них; нужно будет — сразу сойдет

с этого своего высокого помоста, сразу уступит другому, более достойному, если такой найдется. И, конечно, он никакой не политик. Да и не гонится за почестями — ведь только вчера заверил всех, что уступит свое место Гальбаху, если такова будет воля народа. Толпа перешептывалась, выражая свою симпатию, свою озабоченность. У Карфельда усталый вид; он очень посвежел; он отлично выглядит; у Карфельда совсем больной вид; он выглядит старше, моложе, выше, ниже… Говорят, он отходит от дел; неверно, он бросает свою фабрику и переключается полностью на политику. Откуда он возьмет средства? Да он же миллионер.

Он спокойно начал говорить.

Никто его не представлял, и он не отрекомендовал себя сам. Музыка, возвещавшая его появление, смолкла, оборвавшись на одинокой ноте, ибо Клаус Карфельд был один, он стоял совсем один там, наверху, и никакая музыка не могла послужить ему утешением. Карфельд — это не боннский пустомеля; он ученый, но он один из нас; Клаус Карфельд, гражданин и доктор наук, — добропорядочный человек, и, как добропорядочный человек, он озабочен судьбой Германии, и в силу этого чувство долга повелева-

ет ему обратиться к своим друзьям.

Он говорил так негромко, так ненавязчиво, что Тернеру вдруг показалось, будто вся эта масса, стоявшая на площади, подалась вперед и словно бы подставила ухо, чтобы Карфельд мог не обременять себя, не повышать голоса.

Когда все кончилось, Тернер не мог бы сказать, как много он понял или каким образом он понял так много. Сначала у него создалось впечатление, что все интересы Карфельда лежат в области истории. Он говорил о причинах, приведших к войне, и Тернер уловил все те же обветшалые символы былой веры — Версаль, хаос, депрессия, окружение, ошибки, допущенные государственными деятелями обеих сторон, ибо немцы не могут слагать с себя ответственность. Затем была кратко отдана дань всем, павшим жертвой безрассудства; слишком много людей погибло, сказал Карфельд, и лишь немногие знают — почему. Это никогда не должно повториться. Карфельд твердо в этом убежден. Он привез из Сталинграда не только раны, он привез память, неистребимую память об искалеченных душах, изуродованных телах и предательстве…

А ведь он и в самом деле помнит все это! Бедный Клаус! — шептала толпа. Он перестрадал

за всех нас.

И по-прежнему никакой риторики. Мы с вами, продолжал Карфельд, испытали на себе уроки истории, и мы уже можем посмотреть на все как бы со стороны. И сказать: это никогда не повторится. Правда, есть люди, которые рассматривают битвы девятьсот четырнадцатого и тридцать девятого годов как отдельные звенья крестового похода против врагов всего германского, но он, Карфельд — и он особо хотел подчеркнуть это для сведения своих друзей, — он, Клаус Карфельд, отнюдь не принадлежит к этой школе.

— Алан! — голос де Лилла звучал твердо, почти как приказ. Тернер проследил за направлением его взгляда.

Какая-то дрожь пробежала по толпе. На балконе возникло движение. Тернер увидел, как генерал Тильзит наклонил свою солдафонскую голову и Гальбах, студенческий вождь, что-то шепнул ему на ухо; он увидел, как Мейер-Лотринген перегнулся через резную ограду балкона, прислушиваясь к кому-то, кто обращался к нему снизу. Полицейский? Детектив в штатском? Он увидел, как блеснули очки, мелькнуло бесстрастное лицо хирурга — Зибкрон встал и исчез, и все снова успокоилось и только Карфельд, здравый

человек, академически мыслящий ученый, рассуждал о сегодняшнем дне.

Сегодня, говорил он, как никогда прежде, Германия — игрушка в руках своих союзников. Они ее купили, и теперь они ее продают. И это факт, заявил Карфельд, — он не собирается тут теоретизировать. В Бонне было уже слишком много теоретизирования, добавил он, и он не намерен выступать с новой теорией и увеличивать смятение в умах. Итак, это **факт.** И как он ни прискорбен, добрым и здравомыслящим друзьям не мешает обсудить между собой, как же союзникам Германии удалось достичь такого странного положения вещей. В конце концов Германия ведь богатая страна — она богаче Франции и богаче Италии. Она богаче Англии, как бы между прочим добавил он, но с англичанами надо быть терпимее, потому что в конечном-то счете это ведь англичане выиграли войну, они народ на редкость одаренный.

И с тем же поразительным спокойствием, так же рассудительно перечислил он все проявления английской одаренности: от них пошли миниюбки, эстрадные певцы, у них Рейнская армия, которая сидит в Лондоне; их империя понемногу разваливается на части; их национальный

долг растет — словом, не будь англичане так талантливы, Европа давно бы обанкротилась. Он, Карфельд, всегда это говорил.

Тут по толпе прокатился смех — греющий душу, злой смех, и Карфельд был шокирован и, пожалуй, даже чуть-чуть разочарован тем, что эти нежно любимые им грешники, наставить которых на путь истины господь бог повелел ему, ничтожному рабу своему, что они осмелились смеяться в храме. И Карфельд терпеливо выжидал, пока смех замрет.

Так как же могло случиться, что Германию, такую богатую, располагающую самой многочисленной армией в Европе и играющую столь важную роль в так называемом Общем рынке, как могло случиться, что Германию продают на площади как последнюю шлюху?

Выпрямившись на своей кафедре, он снял очки и умиротворяюще простер вперед руку, ибо по толпе прошел **гул** протеста и возмущения, а он, Карфельд, не такого, разумеется, добивался эффекта. Мы должны рассмотреть этот вопрос здраво, как подобает благочестивым людям, предостерег он, осветить его с чисто духовной стороны, без чрезмерных эмоций и злобы, как подобает добрым друзьям! Рука у него была пух-

лая, округлая и словно бы оплетенная невидимой паутиной, потому что он никогда не разжимал пальцев, и вечно сжатый кулак походил на набалдашник палки.

Так вот, пытаясь найти национальное объяснение этому весьма странному, чрезвычайно существенному и — по крайней мере для немцев — историческому факту, необходимо быть объективным. Во-первых, — и первый выстрел кулаков в воздух — мы имели двенадцать лет нацизма и тридцать пять антинацизма. Карфельду непонятно, что уж такого страшного в нацизме, чтобы весь мир навеки предал его анафеме. Нацисты преследовали евреев — и это было, конечно, плохо, и он хочет, чтобы его слова о том, что это плохо, были запротоколированы для истории. Подобно тому как он осуждает Оливера Кромвеля за обращение с ирландцами, США — за отношение к черным и, конечно, за геноцид против американских индейцев и желтой опасности в Юго-Восточной Азии, церковь — за преследование еретиков и англичан — за бомбежки Дрездена, так он осуждает и Гитлера за то, что тот сделал с евреями, и за то, что импортировал изобретение британцев, столь успешно применявшееся в Англо-бурской войне, — кон-

центрационные лагеря.

Тернер увидел, как молодой сыщик, стоявший прямо перед ним, осторожно сунул руку за борт своего кожаного пальто, и опять раздалось легкое потрескивание радио. Напрягая зрение, Тернер снова окинул внимательным взглядом толпу, балкон, переулки; снова вгляделся во все дверные проемы, во все окна — ничего. Ничего, кроме часовых, расставленных на крышах, и полиции, дожидавшейся в своих фургонах; ничего, кроме несметной толпы молчаливых мужчин и женщин, застывших, словно перед явлением Мессии.

Давайте рассмотрим, предложил Карфельд, поскольку это поможет нам прийти к логическому и объективному ответу на многие вопросы, одолевающие нас сегодня, — давайте рассмотрим, что же произошло после войны.

После войны, продолжал Карфельд, произошло всего лишь то, что к немцам стали относиться как к преступникам, а поскольку немцы практиковали расизм, то их сыновья и внуки тоже должны были рассматриваться как преступники. Но поскольку союзники люди добрые и хорошие, они склонны были пойти на некоторые уступки и несколько реабилитировали немцев: в качестве

особого одолжения их приняли в НАТО.

Немцев поначалу одолевала робость, они не хотели перевооружаться — многие были по горло сыты войной. Сам Карфельд принадлежал к этой категории: уроки Сталинграда каленым железом были выжжены в его молодой памяти. Но союзники были люди не только добрые, но и твердые. Немцы должны создать армию, а англичане, американцы и французы будут командовать ею… И голландцы тоже… И норвежцы… И португальцы… И любые иностранные генералы, которые готовы командовать побежденными.

— Да что там! Они могли бы дать нам даже африканских генералов командовать бундесвером!

Несколько человек — из тех, что стояли впереди, у подножия трибуны, в защи тном кольце одетых в кожаное людей, — эти несколько человек смеялись, но он жестом унял их.

— Слушайте! — сказал он им. — Слушайте, друзья мои! Мы это **заслужили!**. Мы проиграли войну! Мы преследовали евреев. Мы не годились, чтобы командовать! Мы годились только на то, чтобы платить! — Гнев их постепенно утихал. — Потому-то, — продолжал он, — мы и платим за пребывание у нас английской армии. Потому-то они и допустили нас в НАТО.

— Алан!

— Я их видел.

Два серых автобуса стояли у аптеки. Луч прожектора прошелся по их тусклой поверхности и скользнул дальше. Окна чернели, зашторенные изнутри.

И мы были благодарны за это, продолжал Карфельд. Благодарны за то, что нас приняли в этот привилегированный клуб. Конечно, мы были благодарны. Хотя клуб оказался, в сущности, не для нас: члены его не любят нас, членские взносы чрезмерно высоки, да к тому же немцам, поскольку они еще дети, не разрешают играть с оружием, которое может причинить вред их врагам. И тем не менее мы были благодарны, потому что мы немцы и потому что мы проиграли войну.

По толпе снова прошел ропот возмущения, и он снова оборвал его резким жестом руки.

— Нам здесь не нужны эмоции, — напомнил он. — Мы рассматриваем факты!

Примостившись на узком балконе, мать приподняла ребенка высоко над толпой.

— Смотри туда! — прошептала она. — Такого, как он, ты больше не увидишь.

Площадь застыла, недвижные головы все были повернуты в одну сторону, все смотрели в одну

сторону темными провалами глаз.

Как бы подчеркивая свою полную беспристрастность, Карфельд снова выпрямился на кафедре, не спеша поправил на носу очки и перелистал лежавшие перед ним страницы. Затем помедлил, с сомнением оглядывая ближайшие к нему лица, как бы раздумывая, пойдет ли за ним его паства и насколько она поддержит то, что он намерен сказать.

Какова же была роль немцев в этом привилегированном клубе? Он бы определил ее так. Сначала он ее сформулирует, а потом на примере покажет, с помощью чего можно было этого достичь. Роль немцев в НАТО вкратце сводилась к следующему: вести себя покорно в отношении Запада и враждебно в отношении Востока; понимать, что даже среди победоносных союзников могут быть добрые победители и злые победители.

Снова смех взорвался и стих. Вокруг зашептали: Клаус, Клаус — он понимает толк в шутке… И в самом деле. НАТО — это же типичный клуб. НАТО… Общий рынок… Все — обман, везде обман. И в Общем рынке все то же, что в НАТО. Так сказал Клаус, и потому немцы должны стоять подальше от Брюсселя. Это еще одна западня, новое окружение… Им заходят и с флангов и с тыла.

— Это Лезэр, — прошептал де Лилл.

Седеющий человек невысокого роста, чем-то показавшийся Тернеру похожим на кондуктора автобуса, присоединился к ним на ступеньках и удовлетворенно записывал что-то в блокнот.

— Французский советник, большой приятель Карфельда.

Когда Тернер снова перевел взгляд на трибуну, ему впервые бросилась в глаза небольшая группа людей, стоявшая в переулке, — необузданная, темная сила, маленькая армия, которая ждала лишь сигнала к выступлению.

Как раз напротив, на другой стороне площади, в плохо освещенном переулке, стояли и молча ждали люди. Они держали знамена, не производившие в сумерках впечатления черных, а впереди — Тернер отчетливо это разглядел — впереди стояли несколько музыкантов из военного оркестра. Свет дуговых фонарей поблескивал на трубе, на оплетенных тесьмой обручах барабана. Во главе их темнела одинокая фигура с поднятой, как у дирижера, требующей тишины рукой.

Снова затрещало радио, но слова потонули во взрывах смеха. Карфельд отпустил еще одну шутку, грубую шутку, которая не могла не вызвать у кого-то гнева: намек на одряхление Англии и на

королеву. Тон, каким он это произнес, был нов и необычен — легкий шлепок по спине, преднамеренный, похожий на ласку и на удар бича, от которого горит кожа и который способен затронуть политические чувства и вызвать злость. Итак, Англия вместе со своими союзниками принялась перевоспитывать немцев. Ну еще бы: где же вы найдете лучших воспитательниц? В конце концов, кто, как не Черчилль, впустил дикарей в Берлин, кто как не Трумэн, сбрасывал бомбы на беззащитные города; совместными усилиями они превратили Европу в развалины — так кто же лучше их сможет объяснить немцам, что такое цивилизация?

В переулке никакого движения. Рука дирижера по-прежнему поднята, маленький оркестр ждет сигнала.

— Это социалисты, — прошептал над ухом Тернера де Лилл. — Они решили устроить контрдемонстрацию. Какой дурак пустил их сюда?

Итак, союзники взялись за работу: надо научить немцев себя вести. Не надо было немцам убивать евреев, заявили они, — убивайте лучше коммунистов. Не надо было нападать на Россию, заявили они, но мы защитим вас, если русские на вас нападут. Не надо было сражаться за новые

границы, заявили они, но мы поддержим ваши притязания на восточные земли.

— Но мы-то знаем, что это за поддержка! — Карфельд выбросил руки ладонями вверх. — Пожалуйста, дорогая, пожалуйста! Можешь взять мой зонтик и оставить его у себя… пока не пойдет дождь!

Показалось Тернеру или в самом деле в этой реплике прозвучала интонация, к которой в свое время прибегали в немецких мюзик-холлах, когда хотели передать еврейский акцент? Толпа засмеялась, но Карфельд снова жестом утихомирил ее.

В переулке дирижер по-прежнему стоял — застыв, подняв руку. Неужели он никогда не устанет, подумал Тернер, отдавать этот поганый салют?

— Их уничтожат, — убежденно сказал де Лилл. — Толпа их уничтожит!

Так вот, друзья мои, что произошло. Победители в чистоте помыслов своих и в великой своей премудрости научили нас понимать, что такое демократия. Ура демократии! Демократия — это как Христос: все оправданно, что совершается во имя демократии.

— Прашко, — с расстановкой произнес Тер-

нер, — Прашко написал это для него.

— Он часто для него пишет, — сказал де Лилл.

— Демократия расстреливает негров в Америке и подкупает их золотом в Африке! Демократия управляет колониальной империей, сражается во Вьетнаме и нападает на Кубу. Демократия позволяет переложить все на совесть немцев! Демократия внушает: что бы ты ни сделал, ты никогда, никогда не будешь таким плохим, как немцы!

Он повысил голос, подавая сигнал — сигнал, которого ждал оркестр. Тернер снова посмотрел поверх голов толпы туда, в переулок, увидел, как белая-белая, точно салфетка, рука плавно опустилась в свете фонаря, как промелькнуло бледное лицо Зибкрона, поспешно покинувшего свой командный пост и отступившего в тень домов, и заметил, как головы начали поворачиваться одна за другой, когда и он сам услышал далекие звуки музыки — военный оркестр, и хор мужских голосов; он увидел, как Карфельд перегнулся через трибуну и обратился к кому-то стоявшему внизу, увидел, как он отступает в глубину возможно дальше, все еще продолжая говорить, и внезапно уловил в его голосе прорывавшиеся сквозь его возмущение, сквозь ярость, сквозь

все заклинания, визгливые призывы, брань и подстрекательства — отчетливо уловил нотки страха.

— Соци! — крикнул молодой сыщик далеко в толпе. Он стоял навытяжку, расправив обтянутые кожей плечи, и орал, сложив руки рупором. — Соци — там, в переулке! Социалисты решили на нас напасть!

— Это диверсия, — не повышая голоса, констатировал Тернер. — Зибкрон инсценирует диверсию. «Чтобы выманить его, подумал он, — чтобы выманить Лео и заставить его рискнуть. И музыка для того, чтобы заглушить выстрел, — мысленно добавил он, услышав «Марсельезу», — все подстроено, чтобы он начал действовать».

Сначала все продолжали стоять, не двигаясь. Первые такты музыки были едва слышны — невинные звуки, слабенькая мелодия, извлеченная ребенком из губной гармошки. Да и песня, зазвучавшая вослед, была вроде тех, что поют мужчины, собравшись в йоркширском трактире в субботу вечером, поют без воодушевления, не в лад, как люди, не привыкшие к музыке, — да, впрочем, толпу и не интересовала музыка, все ее внимание было приковано к Карфельду.

Но Карфельд — тот слышал музыку, она с

необыкновенной силой подстегнула его.

— Я уже не молодой человек, — закричал он. — Скоро я буду совсем старик. Какой вопрос, молодые люди, зада дите вы себе, когда проснетесь утром? Что вы скажете, глядя на эту американскую шлюху — Бонн? Вот что вы скажете: сколько же можно жить так, без чести? Вы посмотрите на своих правителей и скажете это, вы посмотрите на социалистов и скажете: неужто мы должны покорно следовать за любой собакой, если она носит казенный мундир?

«Он перефразирует Лира», — мелькнула у Тернера нелепая мысль, и в эту минуту все прожекторы вдруг погасли — словно опустили черный занавес. Мрак сразу накрыл площадь, и громче зазвучало пение «Марсельезы». Тернер почувствовал едкий запах смолы в ночном воздухе — по всей площади вспыхивало и гасло бессчетное множество искр; он услышал приглушенный оклик и приглушенный отзыв, услышал, как из уст в уста поспешно передавались слова команды. Пение и музыка внезапно слились в рев, подхваченный рупорами, — чудовищный, бессмысленный, одичалый рев, усиленный радио и искаженный до неузнаваемости, оглушающий, сводящий с ума.

«Да, — повторил про себя Тернер с чисто саксонской ясностью мышления, — да, именно так я бы и поступил на месте Зибкрона. Я бы инсценировал эту диверсию, накалил толпу и устроил побольше шума, чтобы спровоцировать его, чтобы он выстрелил».

Музыка гремела все громче. Он увидел, как полицейский на ступеньках повернулся к нему лицом, а молодой сыщик предупреждающе поднял руку.

— Оставайтесь, пожалуйста, на месте, мистер Брэдфилд! Мистер Тернер, оставайтесь, пожалуйста, на месте!

В толпе возбужденно перешептывались — она алчно предвкушала что-то.

— Прошу вынуть руки из карманов!

Вокруг них вспыхнули факелы — кто-то, видимо, подал сигнал. Они запылали безудержной надеждой, позолотив мрачные лица, исполнив их веры, вдохнув мечту в их прозаические черты, оживив тупой взгляд пророческим жаром апостолов. Маленький оркестр вступил на площадь, в нем было не больше двадцати душ, и армия, которая шла за ним, шагала вразброд, неуверенно; но музыка, усиленная рупорами Зибкрона, звучала теперь уже повсюду, олицетворяя террор

социалистов.

— Соци! — раздалось снова в толпе. — Соци идут на нас.

Кафедра проповедника опустела — Карфельд исчез, но социалисты продолжали продвигаться вперед.

— Бей их, бей наших врагов! Бей евреев! Бей красных! Разделаемся с мраком, шептали голоса, разделаемся со светом, разделаемся со шпионами-саботажниками: во всем виноваты социалисты.

А музыка звучала все громче.

— Ну вот, — ровным голосом сказал де Лилл, — они его и выманили.

Молчаливые люди деловито окружили подножие карфельдовского помоста из нетесаного белого дерева. Сгибались кожаные спины, мелькали луноподобные лица, шептались о чем-то.

— Бей соци! Бей! — Ярость толпы вздымалась, как на дрожжах. И трибуна, и Карфельд были позабыты. — Бей их!

Бей здесь, сейчас, бей все, что тебе не по нраву, шептали голоса, бей евреев, негров, кротов-конспираторов, крушителей, ниспровергателей, родителей, любовников, они хорошие, они плохие, умные, глупые.

— Бей евреев-социалистов! — Над головами

взмыли плакаты; голоса шептали: Иди! Иди!

«Мы должны убить его, Прашко, — в смятении сказал себе Алан Тернер, — или нам снова навесят бирки…»

— Бить-кого? — спросил он де Лилла. — Что они делают?

— Гонятся за своей неосуществленной мечтой.

Мелодии больше не было, звучала одна нота — хриплый, грубый рев, призыв к бою, призыв к ярости, призыв к убийству; истребить некрасивое, безобразное, уничтожить больных, недоразвитых, искалеченных, жалких, неумелых. Внезапно в свете факелов взмыли в воздух черные флаги и затрепетали, как растревоженная моль: толпа качнулась и накренилась в сторону; один край ее прорвался, и факелы потекли в переулок, гоня перед собой оркестр, провозглашая музыкантов своими героями, обжигая их поцелуями, с игривой яростью пускаясь между ними в пляс, разбивая инструменты, громя витрины, окна домов… Красные знамена взмыли вверх и упали, как капли крови, и толпа растоптала их и, отяжелевшая, глухо урча, потекла дальше по переулку, ведомая факелами. Затрещало радио. Тернер услышал голос Зибкрона, холодный и удивительно ясный, услышал краткую команду

— одно-единственное колючее слово: «Schafott» — и бросился бежать к помосту, рассекая людские волны; он почувствовал боль от удара в плечо, почувствовал, как руки уцелевших хватали его, но он сбрасывал их с себя, точно детские ручонки. Снова руки хватали его, и снова он отмахивался от них, как от веток. Перед ним возникло лицо — он ударил по нему и побежал дальше, преодолевая людские волны, стремясь добраться до помоста. И тут он увидел его. — Лео! — закричал он.

Он лежал на мостовой, как художник, который рисует на асфальте, вокруг неподвижно стояли люди. Они стояли, но ни один не касался его. Они сбились плотным кольцом вокруг, но оставили ему место умереть. Тернер видел, как он приподнялся и снова упал, и опять крикнул: «Лео!» Он увидел, как темные глаза обратились к нему, и услышал ответный возглас — мольбу к нему, к Тернеру, к миру, к богу или к милосердию, к любому человеку, который мог бы спасти его от свершившегося. Он увидел, как людское кольцо сомкнулось, склонившись над ним, и распалось, отпрянув в сторону, увидел, как покатилась мягкая шляпа по мокрой брусчатке, и ринулся вперед, повторяя: «Лео!» Он выхватил у кого-то факел, и в нос ему ударил запах паленой материи.

Он держал факел, отпихивая от себя чьи-то руки, и вдруг почувствовал, что никто больше не препятствует ему, — он стоял один на берегу, у края помоста, и смотрел вниз на свою собственную жизнь, на свое собственное лицо, на руки, пытавшиеся, словно любовницу, обнять брусчатку, и на листовки, кружившие, реявшие над маленьким телом, словно листья, гонимые ветром.

Рядом с ним не было никакого оружия — ничто не указывало на то, как он умер, — только шея повернута под каким-то странным углом там, где что-то сдвинулось с места и перестало совпадать одно с другим. Он лежал, распластанный, придавленный к мостовой теплым боннским воздухом, точно кукла, разбитая на куски и аккуратно сложенная потом. Человек, который жил и чувствовал и теперь не чувствовал ничего, — наивный человек, потянувшийся поверх всех барьеров за наградой, которой ему никогда не суждено было добыть.

Издалека долетал яростный крик толпы, все еще преследовавшей в переулках давно исчезнувших музыкантов, а за своей спиной Тернер услышал легкий звук шагов. — Обыщите его карманы, — сказал чей-то голос с истинно английским хладнокровием.

